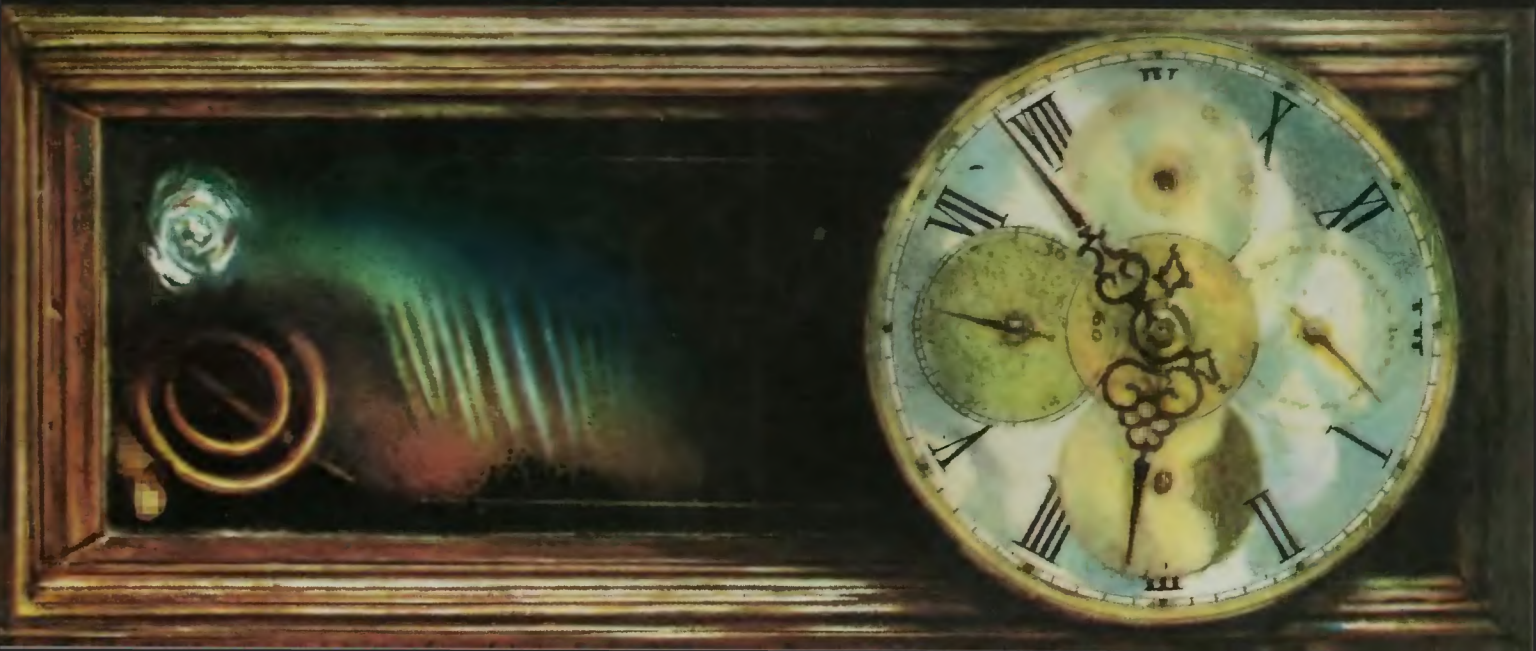
Русская
фантастическая
проза XIX—начала XX века

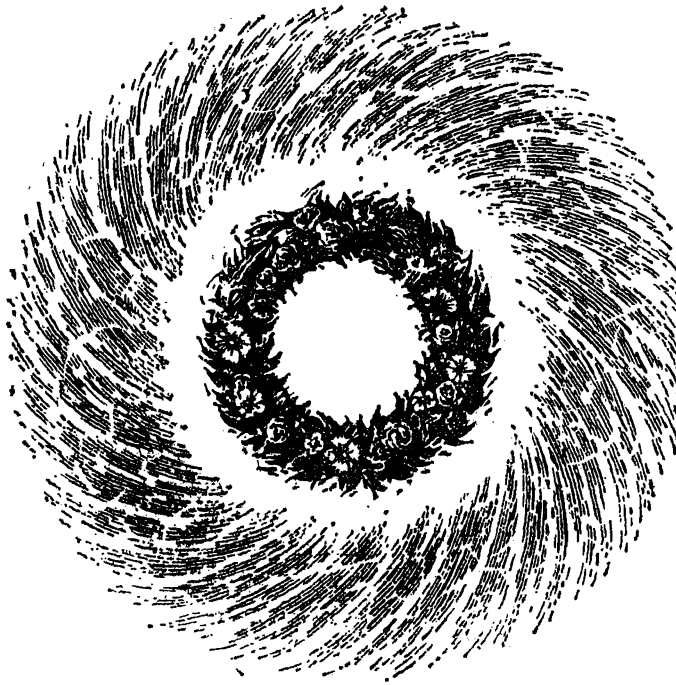
БИБЛИОТЕКА ФАНТАСТИКИ

РУССКАЯ ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПРОЗА XIX—начала XX века

01



„Библиотека фантастики“ в 24 томах



Редакционная
коллегия
серии
«Библиотека
фантастики»
А. П. Казанцев
(председатель)
Д. А. Жуков
В. П. Карцев
А. П. Кешоков
А. П. Кулешов
А. А. Леонов
В. Д. Петров
Е. И. Парнов

РУССКАЯ ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПРОЗА

XIX—начала XX века

Москва. Издательство «Правда». 1986

84 Р
Р 89

Составление и послесловие
Ю. Медведева.

Предисловие
А. Казанцева

Иллюстрации
И. Мельникова

Р $\frac{4702010000—1199}{080(02)—86}$ 1199—86 (подписное)

© Издательство «Правда», 1986. Составление, Предисловие, Послесловие. Иллюстрации.

Приглашение к Мечте

«Существует мало людей, фантазия которых направлена на правду реального мира. Обычно предпочитают уходить в неизведанные страны и обстановку, о которой не имеют ни малейшего представления и которую фантазия может разукрасить самым причудливым образом».

Сказал это в начале XIX века И.-В. Гете, но как верно звучат его слова применительно ко многим нынешним произведениям! Голое фантазирование не достигнет достоверности вероятного, не пробудит в читателе Мечту, а потому и не всякая литература поднимется до уровня Мечты, если разуметь под этим направленное желание.

Мечта — дитя фантазии, лежащей в основе всякого творчества. Фантазия позволяет ученому делать открытия, выдвигать гипотезы, поэту — взлетать на крыльях чувств, инженеру — создавать дотоле не существовавшие машины, философу — видеть основы общества без угнетения и порабощения одних другими, без войн и несправедливости. Словом, фантазия, возвышая человека над животным миром, делает нас способными видеть то, чего нет пока, но чего можно достигнуть.

Вместе с тем фантазии обязаны своим возникновением и различные религии, их мифы. Фантазия с помощью не-

вежества породила целый сонм сверхъестественных существ, суеверие и мракобесие, что не могло не найти своего отражения и в фантастике.

В этом плане стоит вспомнить о заблуждениях почтенных ученых, которые не так уж давно обсуждали всерьез перспективу вытеснения человечества с Земли киберами, более приспособленными для жизни в грядущем при убийственных для человеческого организма энергетических полях, вызванных безудержно растущей энергетикой.

Не упускаю случая опровергнуть эти выводы, ибо нигде не следует, что энерговооруженность человечества будет беспрерывно расти «по экспоненте». Во Вселенной действует не «закон беспредельного роста», а «закон сохранения энергии и вещества» и вытекающий из него «закон насыщения». Он проявляется и при образовании звезд из вещества туманности, и при намагничивании железа по кривой гистерезиса, равно как и при утолении голода и жажды любыми организмами, которые потребляют лишь необходимое, а не превращаются в своем развитии в цистерны или нефтяные баки из стремления больше съесть и выпить.

Хочется оспорить и пресловутый «веерный метод», предлагаемый иными фантастами для «исследования» будущего. Писатель, по их словам, должен стоять выше интересов сегодняшнего дня, выше всех философских течений. Эта надклассовая, надгосударственная позиция писателя будто бы позволяет ему лучше исследовать художественным методом грядущее. Думается, что такой метод псевдонаучного исследования, как и встречающийся в технике слепой метод «проб и ошибок», едва ли окажется действенным в литературе, ибо никак не уживается с нашими задачами построения будущего (которым должна служить фантастика) и прямо противоречит марксистской философии.

Из всего сказанного отнюдь не следует, что «Библиотека фантастики», предлагаемая широкому кругу читателей, в которой сделана попытка хотя бы частично отразить историю поисков гуманистических идеалов общества будущего, отказывается от романов-предупреждений или научной сказки, даже отдельных произведений «демонической» литературы. Однако основной упор в ней делается все же на литературу «впередсмотрящих».

Наряду с русской фантастикой прошлого века, представленной именами В. Одоевского, О. Сенковского, К. Аксакова, А. Богданова, К. Циолковского и других, в «Библиотеку» входит том западных утопий (Томас Мор, Томмазо Кампанелла, Сирано де Бержерак). В следующих томах встретятся имена К. Чапека («Война с саламандрами»), Я. Вайсса («Дом в 1000 этажей»), С. Лема («Солярис», «Магелланово облако»). Писатели Японии, Франции, Англии представлены в лице С. Комацу («Гибель дракона»), Ж. Верна («20 тысяч лье под водой»), Г. Уэллса («Машина времени», «Человек-невидимка»). Том американской фантастики составят произведения Р. Брэдбери, А. Азимова, К. Саймака, Р. Шекли. В отдельный том войдут произведения фантастов социалистических стран, созданные за последние годы.

Пристальное внимание уделяется в нашей «Библиотеке» произведениям советских авторов, находивших собственные приемы показа путей в грядущее и создававших образы героев — носителей черт будущего человека. По замыслу издателей, сборники «Советская фантастика. 20—40-е годы», «Советская фантастика. 50—70-е годы», «Советский фантастический рассказ», двухтомный сборник «Советская фантастическая повесть» должны познакомить читателя не только с широким кругом авторов, но и с историей советской фантастики, с процессом ее становления. Лучшие фантастические произведения советских писателей, ставшие классиче-

скими, такие, как «Аэлита» и «Гиперболоид инженера Гарина» А. Толстого, «Плутония» и «Земля Санникова» В. Обручева, «Голова профессора Доуэля» и «Человек-амфибия» А. Беляева, и др. выйдут отдельными томами.

Роман Ивана Ефремова «Туманность Андромеды» занимает в этом ряду особое место. Ученый огромной эрудиции, пришедший в литературу, Ефремов приоткрыл завесу над картиной коммунистического будущего, смело рисуя его облик и показывая героев, в которых проступают черты лучших людей современности, людей социализма. Немалое внимание уделил он и кардинальному вопросу всех времен — воспитанию, отвергая при этом «примат образования над воспитанием» — суждение, до недавнего времени почти не оспориваемое.

Коммунизм достигнут не представители нового биологического или кибернетического вида. Нет, не «мозги на щупальцах» или машины, лишенные человеческих эмоций и не нуждающиеся в человеческих потребностях, заселят коммунистическую планету Земля — на ней будут по-прежнему существовать такие же люди, как мы, но... воспитанные для жизни в новом обществе.

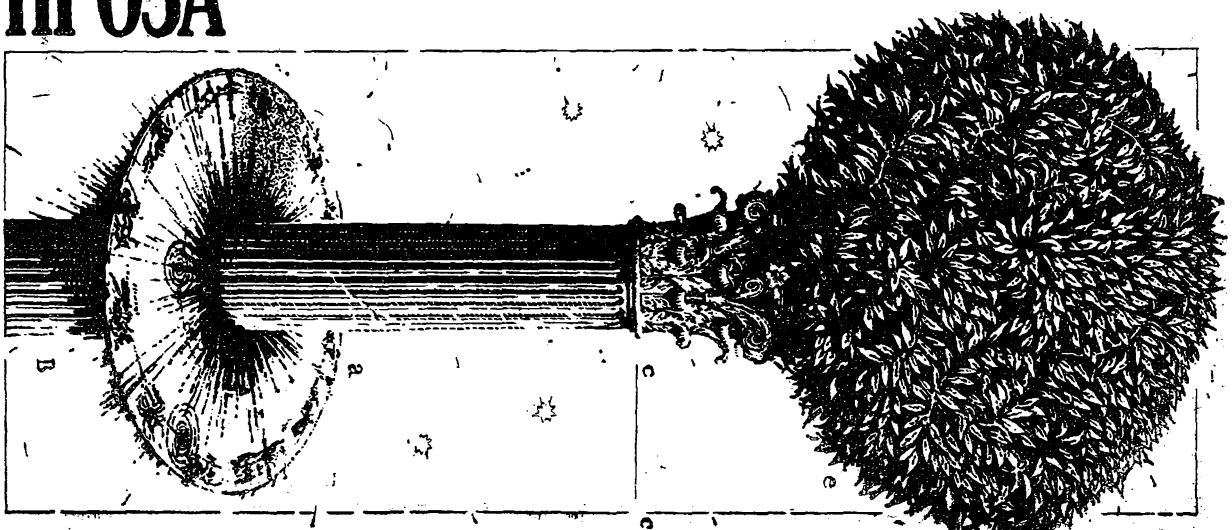
«Библиотека фантастики» выполнит свое назначение, если привьет вкус читателя к книгам, которые показывают, на кого может походить человек будущего, ибо пример и подражание лучшему всегда будут наиболее действенными приемами воспитания.

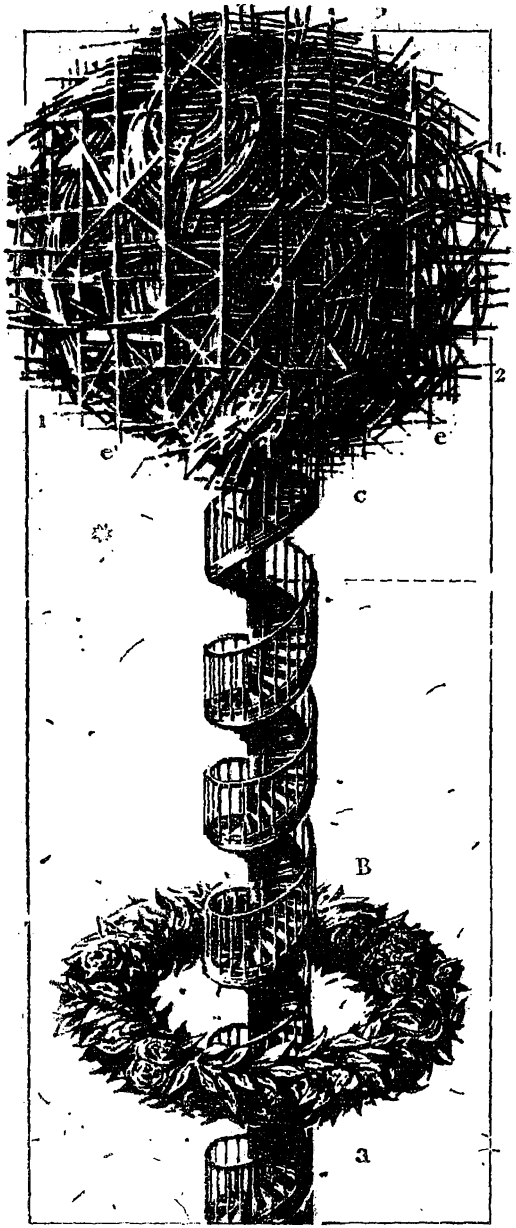
Каждая из книг «Библиотеки» в той или иной мере отвечает на эти вопросы. Хочется верить, что она действительно станет библиотекой Мечты и усилит стремление читателя к лучшему, светлому, неизбежно грядущему.

Александр Казанцев

РУССКАЯ ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ПРОЗА

XIX—начала XX века




1
2
e
e
c
B
a

Итак, я доказал, что люди,
жившие до потопа, были гораздо умнее
нынешних: как жалко, что
они потонули!..

Барон Кювье

Какой вздор!..

Гомер в своей «Илиаде»

. . . . . .

. . . . . 14 апреля (1828) отправились мы из Иркутска в дальнейший путь, по направлению к северовостоку, и в первых числах июня прибыли к Берендинской станции, проехав верхом с лишним тысячу верст. Мой товарищ, доктор философии Шпурцманн, отличный натуралист, но весьма дурной ездок, совершенно выбился из сил и не мог продолжать путешествие. Невозможно представить себе ничего забавнее почтенного испытателя природы, согнутого дугой на тощей лошади и увешанного со всех сторон ружьями, пистолетами, барометрами, термометрами, змеиными кожами, бобровыми хвостами, набитыми соломою сусликами и птицами, из которых одного ястреба особенного рода, за недостатком места за спиною и на груди, посадил он было у себя на шапке. В селениях, через которые мы проезжали, суеверные якуты, принимая его за великого странствующего шамана, с благоговением подносили ему кумысу и сушеной рыбы и всячески старались заставить его хоть немножко пошаманить над ними. Доктор сердился и бранил якутов по-немецки; те, полагая, что он говорит с ними священным тибетским наречием и другого языка не понимает, еще более оказывали ему уважения

и настоятельнее просили его изгонять из них чертей. Мы хохотали почти всю дорогу.

По мере приближения нашего к берегам Лены вид страны становился более и более занимательным. Кто не бывал в этой части Сибири, тот едва ли постигнет мыслию великолепие и разнообразие картин, которые здесь, на всяком почти шагу, прельщают взоры путешественника, возбуждая в душе его самые неожиданные и самые приятные ощущения. Все, что Вселенная, по разным своим уделам, вмещает в себе прекрасного, богатого, пленительного, ужасного, дикого, живописного: съеженные хребты гор, веселые бархатные луга, мрачные пропасти, роскошные долины, грозные утесы, озера с блещущею поверхностью, усеянною красивыми островами, леса, холмы, рощи, поля, потоки, величественные реки и шумные водопады — все собрано здесь в невероятном изобилии, набросано со вкусом или установлено с непостижимым искусством. Кажется, будто природа с особенным тщанием отделала эту страну для человека, не забыв в ней ничего, что только может служить к его удобству, счастию, удовольствию; и, в ожидании прибытия хозяина, сохраняет ее во всей свежести, во всем лоске нового изделия. Это замечание неоднократно представлялось нашему уму, и мы почти не хотели верить, чтоб, употребив столько старания, истощив столько сокровищ на устройство и украшение этого участка планеты, та же природа добровольно преградила вход в него любимому своему питомцу жестоким и негостеприимным климатом. Но Шпурцманн, как личный приятель природы, получающий от короля ганноверского деньги на поддержание связей своих с нею, извинял ее в этом случае, утверждая положительно, что она была принуждена к тому внешнею силою, одним из великих и внезапных переворотов, превративших прежние теплые края, где росли пальмы и бананы, где жили мамонты, слоны, мастодонты, в холодные страны, заваленные вечным льдом и снегом, в которых теперь ползают белые медведи и с трудом прозябают сосна и береза. В доказательство того, что северная часть Сибири была некогда жаркою полосою, он приводил кости и целые остовы животных, принадлежащих южным климатам, разбросанные во множестве по ее поверхности или вместе

с деревьями и плодами теплых стран света погребенные в верхних слоях тучной ее почвы. Доктор был нарочно отправлен Геттингенским университетом для собирания этих костей и с восторгом показывал на слоновый зуб или винную ягоду, превращенные в камень, которые продал ему один якут близ берегов Алдана. Он не сомневался, что до этого переворота, которым мог быть всеобщий потоп или один из частных потопов, не упомянутых даже в св. Писании, в окрестностях Лены вместо якутов и тунгусов обитали какие-нибудь предпотопные индийцы или итальянцы, которые ездили на этих окаменелых слонах и кушали эти окаменелые винные ягоды.

Ученые мечтания нашего товарища сначала возбуждали во мне улыбку; но теории прилипчивы, как гнилая горячка, и таково действие остроумных или благовидных учений на слабый ум человеческий, что те именно головы, которые сперва хвастают недоверчивостью, мало-помалу напитавшись летучим их началом, делаются отчаянными их последователями и готовы защищать их с мусульманским фанатизмом. Я еще спорил и улыбался, как вдруг почувствовал, что окаянный немец, среди дружеского спора, привил мне свою теорию; что она вместе с кровью расходится по всему моему телу и скользит по всем жилам; что жар ее бьет мне в голову; что я болен теориею. На другой день я уже был в бреду: мне беспрестанно грезились великие перевороты земного шара и сравнительная анатомия, с мамонтовыми челюстями, мастодонтовыми клыками, мегалосаурами, плезиосаурами, мегалотерионами, первобытными, вторичными и третичными почвами. Я горел жаждою излагать всем и каждому чудеса сравнительной анатомии. Быв нечаянно застигнут в степи припадком теории, за недостатком других слушателей, я объяснял бурятам, что они, скоты, не знают и не понимают того, что сначала на земле водились только устрицы и лопушник, которые были истреблены потопом, после которого жили на ней гидры, драконы и черепахи и росли огромные деревья, за которыми опять последовал потоп, от которого произошли мамонты и другие колоссальные животные, которых уничтожил новый потоп; и что теперь они, буряты, суть прямые потомки этих колоссальных живот-

ных. Потопы считал я уже такою безделицею — в одном Париже было их четыре! — такою, говорю, безделицею, что для удобнейшего объяснения нашей теории тетушке, или, попросту, в честь великому Кювье, казалось, я сам был бы в состоянии, при маленьком пособии со стороны природы, одним стаканом пуншу произвесть всеобщий потоп в Торопецком уезде.

Наводняя таким образом обширные земли, искореняя целые органические природы, чтоб на их месте водворить другие, переставляя горы и моря на земном шаре, как шашки на шахматной доске, утомленные спорами, соображениями и походом, прибыли мы на Берендинскую станцию, где светлая Лена, царица сибирских рек, явилась взорам нашим во всем своем величии. Мы приветствовали ее громогласным — ура! Доктор Шпурцманн снял с шапки своего ястреба, поставил в два ряда на земле все свои чучелы и окаменелости, повесил барометры на дереве и, улегшись на разостланном плаще, объявил решительно, что верхом не поедет более ни одного шагу. Я тоже чувствовал усталость от верховой езды и желал несколько отдохнуть в этом месте. Прочие наши товарищи охотно согласились со мною. Один только достопочтенный наш предводитель обербергпробирмейстер 7-го класса, Иван Антонович Страбинских, следовавший в Якутск по делам службы, негодовал на нашу леность и понуждал нас к отъезду. Он не верил ни сравнительной анатомии, ни нашему изнеможению и все это называл пустою теориею. В целой Сибири не видал я ума холоднее: доказанной истины для него было недовольно; он еще желал знать, которой она пробы. Его сердце, составленное из негорючих ископаемых веществ, было совершенно непреступно воспламенению. И когда доктор клялся, что натер себе на седле оконечность позвоночной кости, он и это причислял к разряду пустых теорий, ни к чему не ведущих в практике и по службе, и хотел наперед удостовериться в истине его показания своей пробирною иглою. Иван Антонович Страбинских был поистине человек ужасный!

После долгих переговоров мы единогласно определили оставить лошадей и следовать в Якутск водою. Иван Антонович, как знающий местные средства, принял на себя приискать для нас барку, и 6-го июня пу-

стились мы в путь по течению Лены. Берега этой прекрасной, благородной реки, одной из огромнейших и безопаснейших в мире, обставлены великолепными утесами и убраны беспрерывною цепью богатых и прелестных видов. Во многих местах утесы возвышаются отвесно и представляют взорам обманчивое подобие разрушенных башен, замков, храмов, чертогов. Очарование, производимое подобным зрелищем, еще более укрепило во мне понятия, почерпнутые из рассуждений доктора, о прежней теплоте климата и цветущем некогда состоянии этой чудесной страны. Предаваясь влечению утешительной мечты, я видел в Лене древний сибирский Нил и в храмообразных ее утесах развалины предпотопной роскоши и образованности народов, населявших его берега. И всяк, кто только одарен чувством, взглянув на эту волшебную картину, увидел бы в ней то же. После каждого наблюдения мы с доктором восклицали, восторженные: «Быть не может, чтоб эта земля с самого начала всегда была Сибирью!»— на что Иван Антонович всякий раз возражал хладнокровно, что с тех пор, как он служит в офицерском чине, здесь никогда ничего, кроме Сибири, не бывало.

Но кстати о Ниле. Я долго путешествовал по Египту и, быв в Париже, имел честь принадлежать к числу усерднейших учеников Шампольона-Младшего, прославившегося открытием ключа к иероглифам. В короткое время я сделал удивительные успехи в чтении этих таинственных письмен; свободно читал надписи на обелисках и пирамидах, объяснял мумии, переводил папирусы, сочинял иероглифические каймы для салфеток, иероглифами писал чувствительные записки к француженкам и сам даже открыл половину одной египетской, дотоле неизвестной буквы, за что покойный Шампольон обещал доставить мне бессмертие, упомянув обо мне в выноске к своему сочинению. Правда, что г. Гульянов оспаривал основательность нашей системы и предлагал другой, им самим придуманный способ чтения иероглифов, по которому смысл данного текста выходит совершенно противный тому, какой получается, читая его по Шампольону; но это не должно никого приводить в сомнение, ибо спор, заведенный почтенным членом Российской Академии с великим французским египтологом, я могу решить од-

ним словом: метода, предначертанная Шампольоном, так умна и замысловата, что, ежели египетские жрецы в самом деле были так мудры, какими изображают их древние, они не могли и не должны были читать своих иероглифов иначе, как по нашей методе; изобретенная же г. Гульяновым иероглифическая азбука так нехитра, что если где и когда-либо была она в употреблении, то разве у египетских дьячков и пономарей, с которыми мы не хотим иметь и дела.

В проезд наш из Иркутска до Берендинской станции я неоднократно излагал Шпурцманну иероглифическую систему Шампольона-Младшего; но верхом очень неловко говорить об иероглифах, и упрямый доктор никак не хотел верить в наши открытия, которые называл он филологическим мечтательством. Как теперь находились мы на барке, где удобно можно было чертить углем на досках всякие фигуры, я воспользовался этим случаем, чтоб убедить его в точности моих познаний. Сначала мой доктор усматривал во всем противоречия и недостатки; но по мере развития остроумных правил, приспособленных моим наставником к чтению неизвестных письмен почти неизвестного языка, недоверчивость его превращалась в восхищение, и он испытал над собою то же волшебное действие вновь постигаемой теории, какое недавно произвели во мне его сравнительная анатомия и четыре парижские потопа. Я растолковал ему, что, по нашей системе, всякий иероглиф есть или буква, или метафорическая фигура, изображающая известное понятие, или вместе буква и фигура, или ни буква, ни фигура, а только произвольное украшение почерка. Итак, нет ничего легче, как читать иероглифы: где не выходит смысла по буквам, там должно толковать их метафорически; если нельзя подобрать метафоры, то позволяется совсем пропустить иероглиф и перейти к следующему, понятнейшему. Шпурцманн, которому и в голову никогда не приходило, чтобы таким образом можно было дознаваться тайн глубочайшей древности, почти не находил слов для выражения своего восторга. Он взял все, какие у меня были, брошюры разных ученых об этом предмете и сел читать их со вниманием. Прочитавши, он уже совершенно был убежден в основательности сообщенной мною теории и дал мне слово, что с будущей

недели он начнет учиться чудесному искусству читать иероглифы; по возвращении же в Петербург пойдет прямо к Египетскому мосту, виденному им на Фонтанке, без сомнения, неправильно называемому извозчиками Бердовым и гораздо древнейшему известного К. И. Берда, и, не полагаясь на чужие толки, будет сам лично разбирать находящиеся на нем иероглифические надписи, чтоб узнать с достоверностью, в честь какого крокодила и за сколько столетий до Р. Х. построен этот любопытный мост.

Наконец увидели мы перед собою обширные луга, расстилающиеся на правом берегу Лены, на которых построен Якутск. Июня 10-го прибыли мы в этот небольшой, но весьма красивый город, изящным вкусом многих деревянных строений напоминающий царскосельские улицы, и остановились по разным домам, к хозяевам которых имели мы рекомендательные письма из Иркутска. Осмотрев местные достопримечательности и отобедав поочередно у всех якутских хлебосолов, у которых нашли мы сердце гораздо лучше их «красного ротвейну», всякий из нас начал думать об отъезде в свою сторону. Я ехал из Каира в Торопец и, признаюсь, сам не знал, каким образом и зачем забрался в Якутск; но как я находился в Якутске, то, по мнению опытных людей, ближайший путь в Торопец был — возвратиться в Иркутск и, уже не связываясь более ни с какими натуралистами и не провожая приятелей, следовать через Тобольск и Казань на запад, а не на восток. Доктор Шпурцманн ехал без определенной цели — туда, где, как ему скажут, есть много костей. Иван Антонович Страбинских отправлялся к устью Лены, имев поручение от начальства обозреть его в отношениях минералогическом и горного промысла. Мой натуралист тотчас возымел мысль обратить поездку обербергпробирмейстера 7-го класса на пользу сравнительной анатомии и вызвался сопутствовать ему под 70-й градус северной широты, где еще надеялся он найти средство проникнуть и далее, до Фадеевского Острова и даже до Костяного пролива.

Утром курил я сигарку в своей комнате, наблюдая с ученым вниманием, как табачный дым рисуется в сибирском воздухе, когда Шпурцманн вбежал ко мне с известием, что завтра отправляется он с Иваном

Антоновичем в дальнейший путь на север. Он был вне себя от радости и усердно приглашал меня ехать с ним туда, представляя выгоды этого путешествия в самом блистательном свете — занимательность наших ученых бесед — случай обозреть величественную Лену во всем ее течении и видеть ее устье, доселе не посещенное ни одним филологом, ни натуралистом — удовольствие плавать по Северному океану, среди ледяных гор и белых медведей, покойно спящих на волнуемых бурею льдинах — счастье побывать за 70-м градусом широты, в Новой Сибири и Костяном проливе, где найдем пропасть прекрасных костей разных предпотопных животных — наконец, приятность совокупить вместе наши разнородные познания, чтоб сделать какое-нибудь важное для науки открытие, которое прославило б нас навсегда в Европе, Азии и Америке. Чтоб подстрекнуть мое самолюбие, тонкий немец обещал доставить мне лестную известность во всех зоологических собраниях и кабинетах ископаемых редкостей, ибо, если в огромном числе разбросанных в тех странах островов удастся ему открыть какое-нибудь неизвестное в ученом свете животное, то, в память нашей дружбы, он даст этому животному мою почтеннейшую фамилию, назвав его мегало-брамбеусотерион, велико-зверем-Брамбеусом или как мне самому будет угодно, чтоб ловче передать мое имя отдаленным векам, бросив его вместе с этими костями голодному потомству. Хотя, сказать правду, и это весьма хороший путь к бессмертию, и многие не хуже меня достигли им громкой знаменитости, однако ж к принятию его предложения я скорее убедился бы следующим обстоятельством, чем надеждою быть дружески произведенным в предпотопные скоты. Доктор напомнил мне, что вне устья Лены находится известная пещера, которую, в числе прочих, Паллас и Гмелин старались описать по собранным от русских промышленников известиям, весьма сожалея, что им самим не случилось видеть ее собственными глазами. Наши рыбаки называют ее «Писанною Комнатою», имя, из которого Паллас сделал свой Pisanoi Komnat[1] и которое Рейнеггс перевел по-немецки das geschriebene Zim-

[1] Pallas Reise, т. II, p. 108.

mer [1]. Гмелин предлагал даже снарядить особую экспедицию для открытия и описания этой пещеры. Впрочем, о существовании ее было уже известно в средних веках. Арабские географы, слышавшие об ней от харасских купцов, именуют ее *Гар эль-китабе,* то есть «Пещерою письмен», а остров, на котором она находится, *Ард эль-гар,* или «Землею пещеры» [2]. Китайская Всеобщая География, приводимая ученым Клапротом, повествует об ней следующее: «Недалеко от устья реки Ли-но есть на высокой горе пещера с надписью на неизвестном языке, относимою к веку императора Яо. Мын-дзы полагает, что нельзя прочитать ее иначе, как при помощи травы ши, растущей на могиле Конфуция» [3]. Плано Карпини, путешествовавший в Сибири в XIII столетии, также упоминает о любопытной пещере, лежащей у последних пределов севера, in ultimo septentrioni, в окрестностях которой живут, по его словам, люди, имеющие только по одной ноге и одной руке: они ходить не могут и, когда хотят прогуляться, вертятся колесом, упираясь в землю попеременно ногою и рукою. О самой пещере суеверный посол папы присовокупляет только, что в ней находятся надписи на языке, которым говорили в раю.

Все эти сведения мне, как ученому путешественнику, кажется, давно были известны; но оно не мешало, чтобы доктор повторил их мне с надлежащею подробностью, для воспламенения моей ревности к подвигам на пользу науки. Я призадумался. В самом деле, стоило только отыскать эту прославленную пещеру, видеть ее, сделать список с надписи и привезти его в Европу, чтоб попасть в великие люди. Приятный трепет тщеславия пробежал по моему сердцу. Ехать ли мне или нет?.. Оно немножко в сторону от пути в Торопец!.. Но как оставить приятеля?.. Притом Шпурцманн не способен к подобным открытиям: он в состоянии не приметить надписи и скорее все испортит, чем сделает что-нибудь порядочное. Я — это другое дело!.. Я соз-

[1] Reineggs, Reise, p. 218.
[2] Origines Russes, extraits de divers manuscrits orientaux, par Hammer, p. 56.— Memoriae populorum, p. 317.
[3] Klaproth, Abhandlungen über die Sprache und Schrift der Uiguren, p. 72. См. также: Описание Джунгарии и Монголии, о. Иакинфа.

дан для снимания надписей; я видел их столько в разных странах света!

— Так и быть, любезный доктор! — вскричал я, обнимая предприимчивого натуралиста.— Еду провожать тебя в Костяной пролив.

На другой день поутру (15 июня) мы уже были на лодке и после обеда снялись с попутным ветром. Плавание наше по Лене продолжалось с лишком две недели, потому что Иван Антонович, который теперь совершенно располагал нами, принужден был часто останавливаться для осмотра гор, примыкающих во многих местах к самому руслу реки. Доктор прилежно сопровождал его во всех его официальных вылазках на берег; я оставался на лодке и курил сигарки. В продолжение этого путешествия имели мы случай узнать покороче нашего товарища и хозяина: он был не только человек добрый, честный, услужливый, но и весьма ученый по своей части, чего прежде, сквозь казенную его оболочку, мы вовсе не приметили. Мы полюбили его от всего сердца. Жаль только, что он терпеть не мог теорий и хотел пробовать все на своем оселке.

Время было ясное и жаркое. Лена и ее берега долго еще не переставали восхищать нас своею красотою: это настоящая панорама, составленная со вкусом из отличнейших видов вселенной. По мере удаления от Якутска деревья становятся реже и мельче; но за этот недостаток глаза с избытком вознаграждаются постепенно возрастающим величием безжизненной природы. Под 68-м градусом широты река уже уподобляется бесконечно длинному озеру, и смежные горы принимают грозную альпийскую наружность.

Наконец вступили мы в пустынное царство Севера. Зелени почти не видно. Гранит, вода и небо занимают все пространство. Природа кажется разоренною, взрытою, разграбленною недавно удалившимся врагом ее. Это поле сражения между планетою и ее атмосферою, в вечной борьбе которых лето составляет только мгновенное перемирие. В непрозрачном тусклом воздухе над полюсом висят растворенные зима и бури, ожидая только удаления солнца, чтоб во мраке, с новым ожесточением, броситься на планету; и планета, скинув свое красивое растительное платье, нагою грудью сби-

рается встретить неистовые стихии, свирепость которых как будто хочет она устрашить видом острых, черных, исполинских членов и железных ребр своих.

2 июля бросили мы якорь в небольшой бухте, у самого устья Лены, ширина которого простирается на несколько верст. Итак, мы находились в устье этой могущественной реки, под 70-м градусом широты; но ожидания наши были несколько обмануты: вместо пышного, необыкновенного вида мы здесь ничего не видали. Река и море, в своем соединении, представили нам одно плоское, синее, необозримое пространство вод, при котором великолепие берегов совершенно исчезло. Даже Ледовитый океан ничем не обрадовал нас после длинного и скучного путешествия: ни одной плавучей льдины, ни одного медведя!.. Я был очень недоволен устьем Лены и Ледовитым океаном.

Доктор остановил мое внимание на особенном устройстве этого устья, которое кажется будто усеченным. Берега здесь не ниже тех, какие видели мы за сто и за двести верст вверх по реке; из обоих же углов устья выходит длинная аллея утесистых островов, конец которой теряется из виду на отдаленных водах океана. Нельзя сомневаться, что это продолжение берегов Лены, которая в глубокую древность долженствовала тянуться несравненно далее на север; но один из тех великих переворотов в природе, о которых мы с доктором беспрестанно толковали, по-видимому, сократил ее течение, передав значительную часть русла ее во владение моря. Шпурцманн очень хорошо объяснял весь порядок этого происшествия, но его объяснения нисколько меня не утешали.

— Если б я управлял этим переворотом, я бы перенес устье Лены еще ближе к Якутску,— сказал я.

— И вы бы были таким вандалом, портить такую прекрасную реку! — сказал доктор.

Мы нашли здесь несколько юрт тунгусов, занимающихся рыбною ловлею: они составляли все народонаселение здешнего края. Два большие судна, отправленные одним купцом из Якутска для ловли тюленей, стояли у островка, закрывающего вход в нашу бухту. По разным показаниям мы уже знали с достоверностью, что Писанная Комната находится на так называемом Медвежьем Острове, лежащем между Фадеев-

ским Островом, Новою Сибирью и Костяным проливом. Как Антон Иванович намеревался пробыть здесь около десяти дней, то мы с доктором вступили в переговоры с приказчиком одного судна о перевезении нас на Медвежий Остров. Смелые промышленники в полной мере подтвердили сведения, сообщенные нам в разных местах по Лене, о предмете нашего путешествия, уверяя, что сами не раз бывали на этом острову и в Писанной Комнате. Заключив с ними условие, 4 июля простились мы с любезным нашим хозяином, который душевно сожалел, что должен был расстаться с нами, тогда как и сам он очень желал бы посетить столь любопытную пещеру. Он обещал дожидаться нашего возвращения в устье Лены и, когда мы поднимали паруса, прислал еще сказать нам, что, быть может, увидится он с нами на Медвежьем Острову, ежели мы долго пробудем в пещере и ему нечего здесь будет делать.

Миновав множество мелких островов, мы выплыли в открытое море. Безветрие удержало нас до вечера в виду берегов Сибири. Ночью поднялся довольно сильный северо-западный ветер, и на следующее утро мы уже неслись по Ледовитому океану. Несколько отдельно плавающих льдин служили единственною вывескою грозному его названию. После трехдневного плавания завидели мы вправо низкий остров, именуемый Малым; влево высокие утесы, образующие южный край Фадеевского Острова. Скоро проявились и нагруженные ледяными горами неприступные берега Новой Сибири, за юго-западным углом которой приказчик судна указал нам высокую пирамидальную массу камня со многими уступами. Это был Медвежий Остров.

Мы прибыли туда 8 июля, около полудня, и немедленно отправились на берег. Медвежий Остров состоит из одной, почти круглой, гранитной горы, окруженной водою, и от Новой Сибири отделяется только небольшим проливом. Вершина его господствует над всеми высотами близлежащих островов, возвышаясь над поверхностью моря на 2260 футов, по барометрическому измерению доктора Шпурцманна. Пещера, известная под именем Писанной Комнаты, лежит в верхней его части, почти под самою крышею горы. Один из промышленников проводил нас туда по весьма крутой тропинке, протоптанной, по его мнению, белыми мед-

ведями, которые осенью и зимою во множестве посещают этот остров, отчего произошло и его название. Мы не раз принуждены были карабкаться на четвереньках, пока достигли небольшой площадки, где находится вход в пещеру, заваленный до половины камнями и обломками гранита.

Преодолев с большим трудом все препятствия, очутились мы наконец в знаменитой пещере. Она действительно имеет вид огромной комнаты. Сначала недостаток света не дозволил нам ничего видеть; но когда глаза наши привыкли к полумраку, какое было наше восхищение, какая для меня радость, какое счастье для доктора открыть вместе и черты письмен, и кучу окаменелых костей!.. Шпурцманн бросился на кости как голодная гиена; я засветил карманный фонарик и стал разглядывать стены. Но тут именно и ожидало меня изумление. Я не верил своим взорам и протер глаза платком; я думал, что свет фонаря меня обманывает и три раза снял со свечки.

— Доктор!

— Мм?

— Посмотри сюда, ради бога!

— Не могу, барон. Я занят здесь. Какие богатства!.. Какие сокровища!.. Вот хвост плезиосауров, которого недостает у Геттингенского университета...

— Оставь его и поди скорее ко мне. Я покажу тебе нечто, гораздо любопытнее всех твоих хвостов.

— Раз, два, три, четыре... Четыре ляжки разных предпотопных собак—canis antediluvianus... И все новых, неизвестных пород!.. Вот, барон, избирайте любую: которую породу хотите вы удостоить вашего имени?.. Эту, например, собаку наречем вашею фамилиею; эту моею; этой можно будет дать имя вашей почтеннейшей сестр...

Я не мог выдержать долее, побежал к Шпурцманну и, вытащив его насильно из груды костей, привел за руку к стене. Наведя свет фонаря на письмена, я спросил, узнает ли он их. Шпурцманн посмотрел на стену и на меня в остолбенении.

— Барон!.. это, кажется?..

— Что такое?.. Говорите ваше мнение.

— Да это иероглифы!..

Я бросился целовать доктора.

— Так точно! — вскричал я с сердцем, трепещущим от радости,— это они, это египетские иероглифы! Я не ошибаюсь!.. Я узнал их с первого взгляда; я могу узнать египетские иероглифы везде и во всякое время, как свой собственный почерк.

— Вы также можете и читать их, барон?.. ведь вы ученик Шампольона?— важно присовокупил доктор.

— Я уже разобрал несколько строк.

— Этой надписи?

— Да. Она сочинена на диалекте, немножко различном от настоящего египетского, но довольно понятна и четка. Впрочем, вы знаете, что иероглифы можно читать на всех языках. Угадайте, любезный доктор, о чем в ней говорится?

— Ну, о чем?

— О потопе.

— О потопе!..— воскликнул доктор, прыгнув в ученом восторге вверх на пол-аршина.— О потопе!!— И, в свою очередь, он кинулся целовать меня, сильно прижимая к груди, как самый редкий хвост плезиозавров.— О потопе!!! Какое открытие!.. Видите, барон: а вы не соглашались ехать сюда со мною в устье Лены, хотели наплевать на Ледовитый океан?.. Видите, сколько еще остается людям сделать важных для науки приобретений. Что вы там смотрите?..

— Читаю надпись. Судя по содержанию некоторых мест, это описание великого переворота в природе.

— Возможно ли?..

— Кажется, будто кто-то, спасшийся от потопа в этой пещере, вздумал описать на стенах ее свои приключения.

— Да это клад!.. Надпись единственная, бесценная!.. Мы, вероятно, узнаем из нее много любопытных вещей о предпотопных нравах и обычаях, о живших в то время великих животных... Как я завидую, барон, вашим обширным познаниям по части египетских древностей!.. Знаете ли, что за одну эту надпись вы будете членом всех наших немецких университетов и корреспондентом всех ученых обществ, подобно египетскому паше?..

— Очень рад, что тогда буду иметь честь именоваться вашим товарищем, любезный доктор. Благодаря вашей предприимчивости, вашему ученому инстинк-

ту, мы с вами сделали истинно великое открытие; но меня приводит в сомнение одно обстоятельство, в котором никак не могу отдать себе отчета.

— Какое именно?

— То, каким непостижимым случаем египетские иероглифы забрались на Медвежий Остров, посреди Ледовитого океана. Не белые ли медведи сочинили эту надпись?..— спросил я.

— Белые медведи?.. Нет, это невозможно! — отвечал пресерьезно немецкий Gelehrter [1].— Я хорошо знаю зоологию и могу вас уверить, что белые медведи не в состоянии этого сделать. Но что же тут удивительного?.. Это только новое доказательство, что так называемые египетские иероглифы не суть египетские, а были переданы жрецам того края гораздо древнейшим народом, без сомнения, людьми, уцелевшими от последнего потопа. Итак, иероглифы суть, очевидно, письмена предпотопные, literae antediluvianae, первобытная грамота рода человеческого, и были в общем употреблении у народов, обитавших в теплой и прекрасной стране, теперь частию превращенной в Северную Сибирь, частию поглощенной Ледовитым морем, как это достаточно доказывается и самым устройством устья Лены. Вот почему мы находим египетскую надпись на Медвежьем Острову.

— Ваше замечание, любезный доктор, кажется мне весьма основательным.

— Оно по крайней мере естественно и само собою проистекает из прекрасной, бесподобной теории о четырех потопах, четырех почвах и четырех истребленных органических природах.

— Я совершенно согласен с вами. И мой покойный наставник и друг, Шампольон, потирая руки перед пирамидами, на которых тоже найдены иероглифические надписи, сказал однажды своим спутникам: «Эти здания не принадлежат египтянам: им с лишком 20 000 лет!»

— Видите, видите, барон! — воскликнул обрадованный Шпурцманн.— Я не египтолог, а сказал вам тотчас, что египетские иероглифы существовали еще до последнего потопа. Двадцать тысяч лет?.. Ну а потоп случился недавно!.. Итак, это доказано. Правда,

[1] Ученый *(нем.)*

я иногда шутил над иероглифами; но мы в Германии, в наших университетах, очень любим остроумие. В сердце я всегда питал особенное к ним почтение и могу вас уверить, что египетские иероглифы я уважаю наравне с мамонтовыми клыками. Как я сожалею, что, будучи в Париже, не учился иероглифам!..

Объяснив таким образом происхождение надписи и осмотрев с фонарем стены, плотно покрытые сверху донизу иероглифами, нам оставалось только решить, что с нею делать. Срисовать ее всю было невозможно: на это потребовалось бы с лишком двух месяцев, с другой стороны, у нас не было столько бумаги. Как тут быть?.. По зрелом соображении мы положили, возвратясь в Петербург, убедить Академию Наук к приведению в действие Гмелинова проекта, отправлением нарочной ученой экспедиции для снятия надписи в подлиннике сквозь вощеную бумагу, а между тем самим перевесть ее на месте и представить ученому совету в буквальном переводе. Но и это не так-то легко было бы исполнить. Стены имеют восемь аршин высоты, и вверху сходятся неправильным сводом. Надпись, хотя и крупными иероглифами, начинается так высоко, что, стоя на полу, никак нельзя разглядеть верхних строк. Притом строки очень не прямы, сбивчивы, даже перепутаны одни с другими и должны быть разбираемы с большим вниманием, чтоб при чтении и в переводе не перемешать порядка иероглифов и сопряженных с ними понятий. Надобно было непременно наперед построить леса кругом всей пещеры и потом, при свете фонарей или факелов, одному читать и переводить, а другому писать по диктовке.

Рассудив это и измерив пещеру, мы возвратились на судно, где собрали все ненужные доски, бревна, багры и лестницы и приказали перенести в Писанную Комнату. Трудолюбивые русские мужички за небольшую плату охотно и весело исполнили наши наставления. К вечеру материал уже был на горе; но постройка лесов заняла весь следующий день, в течение которого Шпурцманн копался в костях, а я отыскивал начало надписи и порядок, по которому стены следуют одни за другими. На третий день поутру (10-го июля) мы взяли с собою столик, скамей-

ку, чернила и бумагу и, прибыв в пещеру, немедленно приступили к делу.

Я взлез на леса с двумя промышленниками, долженствовавшими держать предо мною фонари; доктор уселся на скамейке за столиком; я закурил сигарку, он понюхал табаку, и мы начали работать. Зная, какой чрезмерной точности требует ученый народ от списывающих древние исторические памятники, мы условились переводить иероглифический текст по точным правилам Шампольоновой методы, от слова до слова, как он есть, без всяких украшений слога, и писать перевод каждой стены особо, не изобретая никакого нового разделения. В этом именно виде ученые мои читатели найдут его и здесь.

Но при первом слове вышел у нас с доктором жаркий спор о заглавии. Питомец запачканной чернилами Германии не хотел и писать без какого-нибудь загадочного или рогатого заглавия. Он предлагал назвать наш труд: *Homo diluviitestis* — «Человек был свидетелем потопа», потому что это неприметным образом состояло бы в косвенной, тонкой, весьма далекой и весьма остроумной связи с системою Шейхцера, который, нашед в своем погребу кусок окаменелого человека, под этим заглавием написал книгу, доказывая, что этот человек видел из погреба потоп собственными глазами, в опровержение последователей учению Кювье, утверждающих, что до потопа не было на земле ни людей, ни даже погребов. Я предпочитал этому педантству ясное и простое заглавие: *«Записки последнего предпотопного человека»*. Мы потеряли полчаса дорогого времени и ни на что не согласились. Я вышел из терпения и объявил доктору, что оставлю его одного в пещере, если он будет долее спорить со мною о таких пустяках. Шпурцманн образумился.

— Хорошо! — сказал он.— Мы решим заглавие в Европе.

— Хорошо! — сказал я.— Теперь извольте писать.

Стена I

«Подлейший раб солнца, луны и двенадцати звезд, управляющих судьбами, Шабахубосаар сын Бакуба-

рооса, сына Махубелехова, всем читающим это желаем здравия и благополучия.

Цель этого писания есть следующая:

Мучимый голодом, страхом, отчаянием, лишенный всякой надежды на спасение, среди ужасов всеобщей смерти, на этом лоскутке земли, случайно уцелевшем от разрушения, решился я начертать картину страшного происшествия, которого был свидетелем.

Если еще кто-либо, кроме меня, остался в живых на земле; если случай, любопытство или погибель привлечет его или сынов его в эту пещеру; если когда-нибудь сделается она доступною потомкам человека, исторгнутого рукою судьбы из последнего истребления его рода, пусть прочитают они мою историю, пусть постигнут ее содержание и затрепещут.

Никто уже из них не увидит ни отечеств, ни величия, ни пышности их злосчастных предков. Наши прекрасные родины, наши чертоги, памятники и сказания покоятся на дне морском, или под спудом новых огромных гор. Здесь, где теперь простирается это бурное море, покрытое льдинами, еще недавно процветало сильное и богатое государство, блистали яркие крыши бесчисленных городов, среди зелени пальмовых рощ и бамбуковых плантаций...»

— Видите, барон, как подтверждается все, что я вам доказывал об удивительных исследованиях Кювье? — воскликнул в этом месте Шпурцманн.

— Вижу,— отвечал я и продолжал диктовать начатое.

«...двигались шумные толпы народа и паслись стада под светлым и благотворным небом. Этот воздух, испещренный гадкими хлопьями снега, замешанный мрачным и тяжелым туманом, еще недавно был напитан благоуханием цветов и звучал пением прелестных птичек, вместо которого слышны только унылое карканье ворон и пронзительный крик бакланов. В том месте, где сегодня, на бушующих волнах, носится эта отдаленная, высокая ледяная гора, беспрестанно увеличиваясь новыми глыбами снега и окаменелой воды,— в том самом месте, в нескольких переездах отсюда, пять недель тому назад возвышался наш велико-

лепный Хухурун, столица могущественной Барабии и краса вселенной, огромностью, роскошью и блеском превосходивший все города, как мамонт превосходит всех животных. И все это исчезло, как сон, как привидение!..

О Барабия! о мое отечество! где ты теперь?.. где мой прекрасный дом?.. моя семья?.. любезная мать, братья, сестры, товарищи и все дорогие сердцу?.. Вы погибли в общем разрушении природы, погребены в пучинах нового океана или плаваете по его поверхности вместе со льдинами, которые трут ваши тела и разламывают ваши кости. Я один остался на свете, но и я скоро последую за вами!..

В горестном отчуждении от всего, что прежде существовало, одни лишь воспоминания еще составляют связь между мною и поглощенным светом. Но достанет ли у меня силы, чтоб возобновить память всего ужасного и смешного, сопровождавшего мучительную его кончину?.. Вода смыла с лица земли последний след глупостей и страданий нашего рода, и я не имею права нарушать тайны, которою сама природа, быть может, для нашей чести, покрыла его существование. Итак, я ограничусь здесь личными моими чувствованиями и приключениями: они принадлежат мне одному, и я, для собственного моего развлечения, опишу их подробно с самого начала постигшего нас бедствия.

В 10-й день второй луны сего, 11 789 года в северовосточной стороне неба появилась небольшая комета. Я тогда находился в Хухуруне. Вечер был бесподобный; несметное множество народа весело и беззаботно гуляло по мраморной набережной Лены, и лучшее общество столицы оживляло ее своим присутствием. Прекрасный пол... прекрасный пол..?»

— Чем вы затрудняетесь, барон?—прервал Шпурцманн, приподнимая голову.— Переводите, ради бога: это очень любопытно.

— Затрудняюсь тем,— отвечал я,— что не знаю, как назвать разные роды древних женских нарядов, о которых здесь упоминается.

— Нужды нет; называйте их нынешними именами, с присовокуплением общего прилагательного antedilu-

vianus, «предпотопный». Мы в сравнительной анатомии так называем все то, что неизвестно, когда оно существовало. Это очень удобно.

— Хорошо. Итак, пишите.

«Предпотопный прекрасный пол, в богатых предпотопных клоках, с щегольскими предпотопными шляпками на голове и предпотопными турецкими шалями, искусно накинутыми на плечи, сообщал этому стечению вид столь же пестрый, как и заманчивый».

— Прекрасно! — воскликнул мой доктор, нюхая табак.— И коротко и ясно.

— Но мне кажется,— примолвил я,— что было бы еще короче не прибавлять слова «предпотопный».

— Конечно! — отвечал он.— Это будет еще короче.

— Не прерывайте же меня теперь,— сказал я,— а то мы никогда не кончим.

«Лучи заходящего солнца, изливаясь розовыми струями сквозь длинные и высокие колоннады дворцов, украшавших противоположный берег реки, и озаряя волшебным светом желтые и голубые крыши храмов, восхищали праздных зрителей, более занятых своими удовольствиями, чем кометою и даже новостями из армии. Барабия была тогда в войне с двумя сильными державами: к юго-западу (около Шпицбергена и Новой Земли[1]) мы вели кровопролитную войну с Мурзуджаном, повелителем обширного государства, населенного неграми, а на внутреннем море (что ныне Киргизская Степь) наш флот сражался со славою против соединенных сил Пшармахии и Гарры. Наш царь, Мархусахааб, лично предводительствовал войсками против черного властелина, и прибывший накануне гонец привез радостное известие об одержанной нами незабвенной победе.

[1] Предваряю, однажды, навсегда, что объяснения имен собственных, заключенные в скобках, прибавлены к моему переводу доктором Шпурцманном: они, без сомнения, весьма основательны, но я не диктовал их ему.

Я тоже гулял по набережной, но на меня не только комета и победа, но даже и величественная игра лучей солнца не производили впечатления. Я был рассеян и грустен. За час перед тем я был у моей Саяны, прелестнейшей из женщин, живших когда-либо на земном шаре,— у Саяны, с которою долженствовал я скоро соединиться неразрывными узами брака и семейного счастия,— и расстался с нею с сердцем, отравленным подозрениями и ревностью. Я был ревнив до крайности; она была до крайности ветрена. Несколько уже раз случалось мне быть в размолвке с нею и всегда оставаться виноватым; но теперь я имел ясное доказательство ее измены. Теперь я сам видел, как она пожала руку молодому (предпотопному) франту, Саабарабу. «Возможно ли,— думал я,— чтоб столько коварства, вероломства таилось в юной и неопытной девушке, и еще под такою обворожительною оболочкою красоты, невинности, нежности?.. Она так недавно клялась мне, что, кроме меня, никого в свете любить не может; что без меня скучает, чувствует себя несчастною; что мое присутствие для нее благополучие, мое прикосновение — жизнь!..» Но, может статься, я ошибаюсь: может быть, я не то видел, и она верна мне по-прежнему?.. В самом деле, я не думаю, чтобы она могла любить кого-нибудь другого, особенно такого вертопраха, каков Саабараб... Впрочем, он красавец, знатен и нагл: многие женщины от него без памяти... Да и что значила эта рука в его руке?.. Откуда такая холодность в обращении со мною?.. Она даже не спросила меня, когда мы опять увидимся!.. Я приведу все это в ясность. И если удостоверюсь, что она действительно презирает мою любовь, то клянусь солнцем и луною!..» — Тут мои рассуждения были вдруг остановлены: я упал на мостовую, разбил себе лоб и был оглушен пронзительным визгом придавленного мною человека, который кричал мне в самое ухо: «Ай!.. ай!.. Шабахубосаар!.. сумасшедший!.. что ты делаешь?.. ты меня убил!.. ты меня душишь!.. Господа!.. пособите!..»

Я вскочил на ноги, весь в пыли и изумлении среди громкого смеха прохожих и плоских замечаний моих приятелей, и тогда только приметил, что, обуреваемый страстью, я так быстро мчался по набережной, что затоптал главного хухурунского астронома, горбатого

Шимшика, бывшего некогда моим учителем. Шимшик хотел воспользоваться появлением кометы на небе, чтоб на земле обратить общее внимание на себя. Став важно посреди гульбища, он вытянул шею и не сводил тусклых глаз своих с кометы, в том уповании, что гуляющие узнают по его лицу отношения его по должности к этому светилу; но в это время неосторожно был опрокинут мною на мостовую.

Прежде всего я пособил почтенному астроному привстать с земли. Мы уже были окружены толпою ротозеев. Тогда как он чистил и приводил в порядок свою бороду, я поправил на нем платье и подал ему свалившийся с головы его остроконечный колпак, извиняясь перед ним в моей опрометчивости. Но старик был чрезвычайно раздражен моим поступком и обременял меня упреками, что я не умею уважать его седин и глубоких познаний; что он давно предсказал появление этой кометы и что я, опрокинув его во время астрономических его наблюдений, разбил вдребезги прекрасную систему, которую создавал он о течении, свойстве и пользе комет. Я безмолвно выслушал его выговоры, ибо знал, что это громкое негодование имело более предметом дать знать народу, что он астроном и важное лицо в этом случае, чем огорчить и унизить меня перед посторонними. Веселость зрителей, возбужденная его приключением, вдруг превратилась в любопытство, как скоро узнали они, что этот горбатый человек может растолковать им значение появившейся на небе метлы. Они осыпали его вопросами, и он в своих ответах умел сообщить себе столько важности, что многие подумали, будто он в самом деле управляет кометами и может разразить любое светило над головою всякого, кто не станет оказывать должного почтения ему и его науке.

Я знал наклонность нашего мудреца к шарлатанству и при первой возможности утащил его оттуда, хотя он неохотно оставлял поприще своего торжества. Когда мы очутились с глазу на глаз, я сказал ему:

— Любезный Шимшик, вы крепко настращали народ этою кометою.

— Нужды нет! — отвечал он равнодушно.—Это возбуждает в невеждах уважение к наукам и ученым.

— Но вы сами мне говорили...

— Я всегда говорил вам, что придет комета. Я предсказывал это лет двадцать тому назад.

— Но вы говорили также, что комет нечего бояться; что эти светила не имеют никакой связи ни с Землею, ни с судьбами ее жителей.

— Да, я говорил это; но теперь я сочиняю другую, совсем новую систему мира, в которой хочу дать кометам занятие несколько важнее прежнего. Я имею убедительные к тому причины, которые объясню тебе после. Но ты, любезный Шабахубосаар! ты рыскаешь по гульбищам, как шальной палеотерион. Ты чуть не задавил твоего старого учителя, внезапно обрушившись на него всем телом. Я уже думал, что комета упала с неба прямо на меня.

— Простите, почтенный Шимшик, я был рассеян, почти не свой...

— Я знаю причину твоей рассеянности. Ты все еще возишься с своею Саяною. Верно, она тебе изменила?

— Отнюдь не то. Я люблю ее, обожаю; она достойна моей любви, хотя, кажется, немножко... ветрена.

— Ведь я тебе предсказывал это восемь месяцев тому назад? Ты не хотел верить!

— Она... она кокетка.

— Я предсказал это, когда она еще была малюткою. Мои предсказания всегда сбываются. И эта комета...

— Я признаюсь вам, что я в отчаянии...

— Понапрасну, друг мой Шабахубосаар! Что же тут необыкновенного?.. Все наши женщины ужасные кокетки».

— Постойте, барон, одно слово! — вскричал опять мой приятель Шпурцманн.— Я думаю, вы не так переводите.

— С чего же вы это взяли? — возразил я.

— Вы уже во второй раз упоминаете о кокетках,— сказал он.— Я не думаю, чтоб кокетки были известны еще до потопа... Тогда водились мамонты, мегалосауры, плезиосауры, палеотерионы и разные драконы и гидры; но кокетки — это произведения новейших времен.

— Извините, любезный доктор,— отвечал я Шпурцманну.— Вот иероглиф, лисица без сердца: это, по грамматике Шампольона-Младшего, должно означать

кокетку. Я, кажется, знаю язык иероглифический и перевожу грамматически.

— Может статься! — примолвил он.— Однако ж ни Кювье, ни Шейхцер, ни Гом, ни Букланд, ни Броньяр, ни Гумбольт не говорят ни слова об окаменелых кокетках, и остова древней кокетки нет ни в парижском Музеуме, ни в петербургской Кунсткамере.

— Это уж не мое дело! — сказал я.— Я перевожу так, как здесь написано. Извольте писать.

«Все наши женщины ужасные кокетки...»

— Постойте, барон! — прервал еще раз доктор.— Воля ваша, а здесь необходимо к слову «женщины» прибавить предпотопные или ископаемые. Боюсь, что нынешние дамы станут обижаться нашим переводом, и сама цензура не пропустит этого места, когда мы захотим его напечатать. Позвольте поставить это пояснение в скобках.

— Хорошо, хорошо! — отвечал я.— Пишите как вам угодно, только мне не мешайте.

— Уж более не скажу ни слова.

— Помните же, что это говорит астроном своему воспитаннику, Шабахубосаару.

«Все наши (предпотопные или ископаемые) женщины ужасные кокетки. Это естественное следствие той неограниченной свободы, которою они у нас пользуются. Многие наши мудрецы утверждают, что без этого наши общества никогда не достигли бы той степени образованности и просвещения, на которой они теперь находятся; но я никак не согласен с их мнением. Просвещенным можно сделаться и заперши свою жену замком в спальне — даже еще скорее; а что касается до высокой образованности, то спрашиваю: что такое называем мы этим именем? — утонченный разврат, и только! — разврат, приведенный в систему, подчиненный известным правилам, председательские кресла которого уступили мы женщинам. Зато они уж управляют им совершенно в свою пользу, распространяя

свою власть и стесняя наши права всякий день более и более. Могущество их над обществом дошло в наше время до своей высочайшей точки: они завладели всем, нравами, разговорами, делами, и нас не хотят более иметь своими мужьями, а только любовниками и невольниками. При таком порядке вещей общества неминуемо должны погибнуть.

— Вы, почтенный астроном, принадлежите, как вижу, к партии супружеского абсолютизма.

— Я принадлежу к партии людей благонамеренных и не люблю революций в спальнях, какие теперь происходят во многих государствах. Прежде этого не было. Пагубное учение о допущении женщин к участию в делах, о верховной их власти над обществом появилось только в наше время, и они, при помощи молодых повес, совершенно нас поработили. У нас, в Барабии, это еще хуже, чем в других местах. Наконец и правительства убедились, что с подобными началами общества существовать не могут, и повсюду принимаются меры к прекращению этих нравственных бунтов. Посмотрите, какие благоразумные меры приняты в Гарре, Шандарухии и Хаахабуре для обуздания гидры женского своенравия! Говорят, что в Бамбурии власть мужа уже совершенно восстановлена, хотя в наших гостиных утверждают, что в тамошних супружествах еще происходят смятения и драки. Но и мы приближаемся к важному общественному перелому: надеюсь, что владычество юбок скоро кончится в нашей святой Барабии. Знаешь ли, Шабахубосаар, настоящую цель нашего похода против негров Шахшух (Новой Земли)?

— Нет, не знаю.

— Так я тебе скажу. Это большая тайна; но я узнал ее через моего приятеля, великого жреца Солнца, который давно уговаривает царя принять действительные меры к ограничению чрезмерной свободы женского пола. Мы предприняли эту войну единственно для этой цели. Все обдумано, предусмотрено как нельзя лучше. Мы надеемся поработить полмиллиона арапов и составить из них грозную армию евнухов. Они будут приведены сюда в виде военнопленных и распределены по домам, под предлогом квартиры, по одному человеку на всякое супружество. При помощи их, в назначенный

день, мы схватим наших жен, запрем их в спальнях и приставим к дверям надежных стражей. Тогда и я с великим жрецом, хоть старики, имеем в виду жениться на молодых девушках и будем вкушать настоящее супружеское счастие. Но заклинаю тебя, не говори о том никому в свете, ибо испортишь все дело. Ежели мы этого не сделаем, то — увидишь! — не только с нами, но и со всем родом человеческим, и с целою нашею планетою может случиться из-за женщин величайшее бедствие!..

— Вы шутите, любезный Шимшик?

— Не шучу, братец. Я убежден в этом: женщины нас погубят. Но мы предупредим несчастие: скоро будет конец их самовластию над нравами. Советую и тебе, Шабахубосаар, отложить свою женитьбу до благополучного окончания войны с неграми.

Я смеялся до слез, слушая рассуждения главного астронома, и для большей потехи нарочно подстрекал его возражениями. Как ни странны были его мнения, как ни забавны сведения, сообщенные ему по секрету, но они, по несчастию, были не без основания. С некоторого времени все почти народы были поражены предчувствием какого-то ужасного бедствия; на земле провозглашались самые мрачные пророчества. Род человеческий, казалось, предвидел ожидающее его наказание за повсеместный разврат нравов; и как сильнейшие всегда сваливают вину на слабых, то все зло было, естественно, приписано людьми женскому их полу. Повсюду принимались меры против неограниченной свободы женщин, хотя мужчины не везде оставались победителями. Это было время гонения на юбки: все супружества в разбранке; в обществах господствовал хаос.

Шимшик расстался со мною очень поздно. Его причуды несколько рассеяли мою грусть. Как я был сердит на Саяну, то озлобление старого астронома против прекрасного пола отчасти заразило и мое сердце, и, ложась спать, я даже сотворил молитву к Луне об успехе нашего оружия против негров.

На другой день я застал город в тревоге. Все толковали о комете, Шимшике, его колпаке и его предсказаниях. Итак, маленькое небесное тело и маленький неуклюжий педант, о которых прежде никто и не

думал, теперь сделались предметом общего внимания! И все это потому, что я этого педанта сшиб с ног на мостовой!!. О люди! о умы!..

Я побежал к своей любезной с твердым намерением в душе наказать ее за вчерашнюю ветреность самым холодным с нею обращением. Сначала мы даже не смотрели друг на друга. Я завел разговор о комете. Она обнаружила нетерпение. Я стал рассказывать о моем приключении с Шимшиком и продолжал казаться равнодушным. Она начала сердиться. Я показал вид, будто этого не примечаю. Она бросилась мне на шею и сказала, что меня обожает. Ах, коварная!.. Но таковы были все наши (ископаемые [1]) женщины: слава Солнцу и Луне, что они потонули!..

Я был обезоружен и даже сам просил прощения. Наступили объяснения, слезы, клятвы; оказалось, что вчера я не то видел; что у меня должен быть странный порок в глазах; и полная амнистия за прошедшее была объявлена с обеих сторон. Я был в восторге и решился принудить ее родителей и мою мать к скорейшему окончанию дела, тем более что женитьба, во всяком случае, почиталась у нас (т. е. до потопа [2]) вернейшим средством к прекращению любовных терзаний.

Хотя брак мой с прекрасною Саяной давно уже был условлен нашими родителями, но приведение его в действие с некоторого времени встречало разные препятствия. Отец моей любезной занимал при дворе значительное место: он был отчаянный церемониймейстер и гордился тем, что ни один из царедворцев не умел поклониться ниже его. Он непременно требовал, чтоб я наперед как-нибудь втерся в дворцовую переднюю и подвергнул себя испытанию, отвесив в его присутствии поклон хоть наместнику государства, когда тот будет проходить с бумагами: опытный церемониймейстер хотел заключить, по углу наклонения моей спины к полу передней при первом моем поклоне, далеко ли пойдет зять его на поприще почестей. С другой стороны, моя мать была весьма недовольна будущею моею тещею: последняя считала себя не только знаменитее родом, но и моложе ее, тогда как матушка знала с достоверностью, что моя теща была старее ее

[1] Прибавление Шпурцманна.
[2] Тоже пояснение Шпурцманна.

шестьюдесятью годами: ей тогда было только двести пятьдесят пять лет, а той уже за триста!.. Они часто отпускали друг на друга презлые остроты, хотя в обществах казались душевными приятельницами. Матушка не советовала мне спешить с свадьбою под предлогом, что, по дошедшим до нее сведениям, дела родителей Саяны находились в большом расстройстве. Мать моей невесты желала выдать ее за меня замуж, но более была занята собственными своими удовольствиями, чем судьбою дочери. Но главною преградою к скорому совершению брака был мой дядя, Шашабаах. Он строил себе великолепный дом, с несколькими сотнями огромных колонн, и, по своему богатству, был чрезвычайно уважаем как отцом, так и матерью Саяны. Любя меня как родного сына, он объявил, что никто, кроме его, не имеет права пекшись о моем домашнем счастии, и решил своею властью, что нельзя и думать о моей свадьбе, пока не отделает он своей большой залы и не развесит своих картин, ибо теперь у него негде дать бал на такой торжественный случай. Судя по упрямству дяди Шашабааха и по раболепному благоговению наших родных перед его причудами, это препятствие более всех прочих казалось непреодолимым. Я не знал, что делать. Я был влюблен и ревнив. Саяна меня обожала; но, пока дядя развесил бы свои картины, самая добродетельная любовница успела бы раз десять изменить своему другу. Положение мое было самое затруднительное: я признал необходимым выйти из него во что бы то ни стало.

Я побежал к матушке, чтоб понудить ее к решению моей судьбы, и поссорился с нею ужасно. Потом пошел к отцу Саяны: тот вместо ответа прочитал мне сочиненную им программу церемониала для приближающегося при дворе праздника и отослал меня к своей жене. Будущая моя теща, быв накануне оставлена своим любовником, встретила меня грозною выходкою против нашего пола, доказывая, что все мужчины негодяи и не стоят того, чтобы женщины их любили. Я обратился к дяде Шашабааху, но и тут не мог добиться толку: он заставил меня целый день укладывать с ним антики в новой великолепной его библиотеке; на все мои отзывы о Саяне, о любви, о необходимости положить конец моим мучениям отвечал

длинными рассуждениями об искусстве обжигать горшки у древних и прогнал меня от себя палкою, когда я, потеряв терпение и присутствие духа, уронил из рук на землю и разбил в куски большой фаянсовый горшок особенного вида, древность которого, по его догадкам, восходила до двести пятнадцатого года от сотворения света. Я плакал, проклинал холодный эгоизм стариков, не постигающих пылкости юного сердца, но не унывал. После многократных просьб, отсрочек, споров и огорчений наконец успел я довести родных до согласия; но когда они сбирались объявить нам его в торжественном заседании за званым обедом, я вдруг рассорился с Саяною за то, что она слишком сладко улыбалась одному молодому человеку. Все рушилось; я опять был повергнут в отчаяние.

Я поклялся никогда не возвращаться к коварной и целых трое суток свято сдержал свой обет. Чтоб никто не мешал мне сердиться, я ходил гулять в местах уединенных, где не было ни живой души, где даже не было изменниц. Однажды ночь застигла меня в такой прогулке. Нет сомнения, что размолвка с любезною есть удобнейшее время для астрономических наблюдений, и самая астрономия была, как известно, изобретена в IV веке от сотворения света одним великим мудрецом, подравшимся ввечеру с женою и прогнанным ею из спальни. С досады я стал считать звезды на небе и увидел, что комета, которую, хлопоча о своей женитьбе, совсем выпустил из виду, с тех пор необыкновенно увеличилась в своем объеме. Голова ее уже не уступала величиною луне, а хвост бледно-желтого цвета, разбитый на две полосы, закрывал собою огромную часть небесного свода. Я удивился, каким образом такая перемена в наружном ее виде ускользнула от моего ведома и внимания. Пораженный странностью зрелища и наскучив одиночеством, я пошел к приятелю Шимшику потолковать об этом. Его не было дома; но мне сказали, что он на обсерватории, и я побежал туда. Астроном был в одной рубахе, без колпака и без чулок, и стоял, прикованный правым глазом к астролябии, завязав левый свой глаз скинутым с себя от жары исподним платьем. Он подал мне знак рукою, чтоб я не прерывал его занятия. Я простоял подле него несколько минут в безмолвии.

— Чем вы так заняты? — спросил я, когда он кончил свое дело и выпрямился передо мною, держась руками за спину.

— Я сделал наблюдения над хвостом кометы,— отвечал он с важностью.— Знаете ли вы его величину?

— Буду знать, когда вы мне скажете.

— Она простирается на 45 миллионов миль: это более чем дважды расстояние Земли от Солнца.

— Но объясните мне, почтеннейший Шимшик, как это сделалось, что он так скоро увеличился. Помните ли, как он казался малым в тот вечер, когда я опрокинул вас на набережной?

— Где же вы бывали, что не знаете, как и когда он увеличился? Вы все заняты своею вздорною любовию и не видите, не слышите того, что происходит вокруг вас. Полно, любезнейший!.. при таком ослеплении вы и того не приметите, как ваша любезная поставит вам на лбу комету с двумя хвостами длиннее этих.

— Оставьте ее в покое, г. астроном. Лучше будем говорить о том, что у нас перед глазами.

— С удовольствием. Вот, изволите видеть: тогда как вы не сводили глаз с розового личика Саяны, эта комета совсем переменила свой вид. Прежде она казалась маленькою, бледно-голубого цвета; теперь, по мере приближения к Солнцу, со дня на день представляется значительнее и сделалась желтою с темными пятнами. Я измерил ее ядро и атмосферу: первое, по-видимому, довольно плотное, имеет в поперечнике только 189 миль; но ее атмосфера простирается на 7000 миль и образует из нее тело втрое больше Земли. Она движется очень быстро, пролетая в час с лишком 50 000 миль. Судя по этому и по ее направлению, недели через три она будет находиться только в 200 000 милях от Земли. Но все эти подробности давно известны из моего последнего сочинения.

— Я в первый раз об них слышу,— сказал я.

— И не удивительно! — воскликнул мудрец.— Куда вам и думать о телах небесных, завязши по шею в таком белом земном тельце! Когда я был молод, я тоже охотнее волочился за красотками, чем за хвостом кометы. Но вы, верно, и того не знаете, что постепенное увеличение этой кометы поразило здешних жителей ужасным страхом?..

— Я не боюсь комет и на чужой страх не обращал внимания.

— Что царский астроном, Бурубух, мой соперник и враг, для успокоения встревоженных умов издал преглупое сочинение, на которое я буду отвечать?..

— Все это для меня новость.

— Да!.. он издал сочинение, которое удовлетворило многих, особенно таких дураков и трусов, как он сам. Но я обнаружу его невежество; я докажу ему, что он, просиживая по целым утрам в царской кухне, в состоянии понимать только теорию обращения жаркого на своей оси, а не обращение небесных светил. Он утверждает, что эта комета, хотя и подойдет довольно близко к Земле, но не причинит ей никакого вреда; что, вступив в круг действия притягательной ее силы, если ее хорошенько попросят, она может сделаться ее спутником, и мы будем иметь две луны вместо одной: не то она пролетит мимо и опять исчезнет; что, наконец, нет причины опасаться столкновения ее с земным шаром, ни того, чтоб она разбила его вдребезги, как старый горшок, потому что она жидка, как кисель, состоит из грязи и паров, и прочая, и прочая. Можете ли вы представить себе подобные глупости?..

— Но вы сами прежде были того мнения, и, когда я учился у вас астрономии...

— Конечно!.. Прежде оно в самом деле так было, и мой соперник так думает об этом по сю пору; но теперь я переменил свой образ мыслей. Я же не могу быть согласным в мнениях с таким невеждою, как Бурубух? Вы сами понимаете, что это было бы слишком для меня унизительно. Поэтому я сочиняю новую теорию мироздания и при помощи Солнца и Луны употреблю ее для уничтожения его. По моей теории, кометы играли важную роль в образовании солнц и планет. Знаете ли, любезный Шабахубосаар, что было время, когда кометы валились на землю, как гнилые яблоки с яблони?

— В то время, я думаю, опасно было даже ходить по улицам,— сказал я с улыбкою.— Я ни за что не согласился бы жить в таком веке, когда, вынимая носовой платок из кармана, вдруг можно было выронить из него на мостовую комету, упавшую туда с неба.

— Вы шутите! — возразил астроном.— Однако ж

это правда. И доказательство тому, что кометы не раз падали на землю, имеете вы в этих высоких хребтах гор, грозно торчащих на шару нашей планеты и загромождающих ее поверхность. Все это обрушившиеся кометы, тела, прилипшие к Земле, помятые и переломленные в своем падении. Довольно взглянуть на устройство каменных гор, на беспорядок их слоев, чтоб убедиться в этой истине. Иначе поверхность нашей планеты была бы совершенно гладка: нельзя даже предположить, чтоб природа, образуя какой-нибудь шар, первоначально не произвела его совсем круглым и ровным и нарочно портила свое дело выпуклостями, шероховатостями...

— Поэтому, любезный мой Шимшик,— воскликнул я, смеясь громко,— и ваша голова первоначально, в детских летах, была совершенно круглым и гладким шаром, нос же, торчащий на ней, есть, вероятно, постороннее тело, род кометы, случайно на нее упавшей...

— Милостивый государь!—вскричал разгневанный астроном.— Разве вы пришли сюда издеваться надо мною? Подите, шутите с кем вам угодно. Я не люблю шуток над тем, что относится к кругу наук точных.

Я извинялся в моей непочтительной веселости, однако ж не переставал смеяться. Его учение казалось мне столь забавным, что, даже расставшись с ним, я думал более об его носе, чем о вероломной Саяне. Проснувшись на следующее утро, прежде всего вспомнил я об его теории: я опять стал смеяться, смеялся от чистого сердца и кончил мыслию, что она в состоянии даже излечить меня от моей несчастной любви. Но в ту минуту отдали мне записку от... Кровь во мне закипела: я увидел почерк моей мучительницы. Она упрекала меня в непостоянстве, в жестокости!.. уверяла, что она меня любит, что она умрет, ежели я не отдам справедливости чистой, пламенной любви ее!.. Все мои обеты и теории Шимшика были в одно мгновение ока, подобно опрокинутой, по его учению, комете, смяты, переломаны, перепутаны в своих слоях и свалены в безобразную груду. Она права!.. я виноват, я непостоянен!.. Она так великодушна, что прощает меня за мою ветреность, мое жестокосердие!.. Через полчаса я уже был у ног добродетельной Саяны и, спустя еще минуту, в ее объятиях.

Я опять был счастлив и с новым усердием начал хлопотать о своем деле. Надобно было снова сблизить и согласить родных, разгневанных на меня и, при сей верной оказии, перессорившихся между собою; вынести их упреки и выговоры, склонить матушку, выслушать все рассуждения дяди Шашабааха и польстить теще, которая столь же пламенно желала освободиться от присутствия дочери в доме, сколько и надоесть ее свекрови и помучить меня своими капризами. Прибавьте к тому приготовления к свадьбе, советы старушек, опасения ревнивой любви, мою нетерпеливость, легкомысленность Саяны и тучи сплетней, разразившихся над моею головою, как скоро моя женитьба сделалась известною в городе — и вы будете иметь понятие об ужасах пути, по которому должен я был пробираться к домашнему счастию.

Этот ад продолжался две недели. К довершению моих страданий, события сердца беспрестанно сплетались у меня с хвостом кометы. Я должен был в одно и то же время отвечать на скучные комплименты знакомцев, ссориться с невестою за всякий пущенный мимо меня взгляд, за всякую зароненную в чужое сердце улыбку, и рассуждать со всеми о небесной метле, которая беспрестанными своими изменениями ежедневно подавала повод к новым толкам. И когда уже гости созваны были на свадьбу, тот же хвост еще преградил мне путь в капище Духа Супружеской Верности, с нетерпением ожидавшего нашей присяги. Мой Шимшик, не довольствуясь изданием в свет сочинения, предсказывающего падение кометы на землю, еще уговорил своего приятеля, великого жреца Солнца, воспользоваться, с ним пополам, произведенною в народе тревогою; и в самый день моей свадьбы глашатаи известили жителей столицы, что для отвращения угрожающего бедствия колоссальный истукан небесного Рака будет вынесен из храма на площадь и что по совершении жертвоприношения сам великий жрец будет заклинать его всенародно, чтобы он священными своими клещами поймал комету за хвост и удержал ее от падения. Расчет был весьма основателен; потому что, если комета пролетит мимо, это будет приписано народом святости великого жреца; если же обрушится, то Шимшик приобретет славу первого астронома в ми-

ре. Я смеялся в душе над шарлатанством того и другого; но мой тесть, церемониймейстер, узнав о затеваемом празднестве, совершенно потерял ум. Он забыл обо мне и своей дочери и побежал к великому жрецу обдумывать вместе с ним план церемониала. Моя свадьба была отложена до окончания торжественного молебствия. Какое мучение жениться на дочери церемониймейстера во время появления кометы!..

Наконец молебствие благополучно совершилось, великий жрец исполнил свое дело, не улыбнувшись ни одного разу; умы несколько поуспокоились, и наступил день моей свадьбы, день, незабвенный во всех отношениях. Мой дом, один из прекраснейших в Хухуруне, был убран и освещен великолепно. Толпы гостей наполняли палаты. Саяна, в нарядном платье, казалась царицею своего пола, и я, читая удивление во всех обращенных на нее взорах, чувствовал себя превыше человека. Я обладал ею!.. Она теперь принадлежала мне одному!.. Ничто не могло сравниться с моим блаженством.

Однако ж и этот вечер, вечер счастия и восторга, не прошел для меня без некоторых неприятных впечатлений. Саяна, сияющая красотою и любовию, почти не оставляла моей руки: она часто пожимала ее с чувством, и всякое пожатие отражалось в моем сердце небесною сладостью. Но в глазах ее, в ее улыбке по временам примечал я тоску, досаду: она, очевидно, была опечалена тем, что брачный обряд положил преграду между ею и ее бесчисленными обожателями; что для одного мужчины отказалась она добровольно от владычества над тысячею раболепных прислужников. Эта мысль приводила меня в бешенство. Из приличия старался я быть веселым и любезным даже с прежними моими соперниками; но украдкою жалил острыми, ревнивыми взглядами вертевшихся около нас франтов и в лучи моих зениц желал бы пролить яд птеродактиля, чтоб в одно мгновение ока поразить смертью всех врагов моего спокойствия, чтоб истребить весь мужской род и одному остаться мужчиною на свете, в котором живет Саяна...

Ночь была ясна и тиха. После ужина многие из гостей вышли на террасу подышать свежим воздухом. Шимшик, забытый всеми в покоях, выскочил из угла

и стремглав побежал за ними. Саяна предложила мне последовать за ним, чтоб позабавиться его рассуждениями. Наши взоры устремились на комету. До тех пор была она предметом страха только для суеверной черни; люди порядочные — у нас почиталось хорошим тоном ни во что не верить, для различия с чернию — люди порядочные, напротив, тешились ею, как дети, гоняющие по воздуху красивый мыльный пузырь. Для нас комета, ее хвост, споры астрономов и мой приятель Шимшик представляли только источник острот, шуток и любезного злословия; но в тот вечер она ужаснула и нас. С вчерашней ночи величина ее почти утроилась; ее наружность заключала в себе что-то зловещее, невольно заставлявшее трепетать. Мы увидели огромный, непрозрачный, сжатый с обеих сторон шар, темно-серебристого цвета, уподоблявшийся круглому озеру посреди небесного свода. Этот яйцеобразный шар составлял как бы ядро кометы и во многих местах был покрыт большими черными и серыми пятнами. Края его, очерченные весьма слабо, исчезали в туманной, грязной оболочке, просветлявшейся по мере удаления от плотной массы шара и наконец сливавшейся с чистою, прозрачною атмосферою кометы, озаренною прекрасным багровым светом и простиравшеюся вокруг ядра на весьма значительное расстояние: сквозь нее видно даже было мерцание звезд. Но и в этой прозрачной атмосфере, составленной, по-видимому, из воздухообразной жидкости, мелькали в разных местах темные пятна, похожие на облака и, вероятно, происходившие от сгущения газов. Хвост светила представлял вид еще грознейший: он уже не находился, как прежде, на стороне его, обращенной к востоку, но, очевидно, направлен был к Земле, и мы, казалось, смотрели на комету в конец ее хвоста, как в трубу; ибо ядро и багровая атмосфера помещались в его центре, и лучи его, подобно солнечным, осеняли их со всех сторон. За всем тем можно было приметить, что он еще висит косвенно к Земле: восточные его лучи были гораздо длиннее западных. Эта часть хвоста, как более обращенная к недавно закатившемуся солнцу, пылала тоже багровым цветом, похожим на цвет крови, который постепенно бледнел на северных и южных лучах круга и в восточной его

части переходил в желтый цвет, с зелеными и белыми полосами. Таким образом, комета с своим кругообразным хвостом занимала большую половину неба и, так сказать, всею массою своею тяготила на воздух нашей планеты. Светозарная материя, образующая хвост, казалась еще тоньше и прозрачнее самой атмосферы кометы: тысячи звезд, заслоненных этим разноцветным, круглым опахалом, просвечиваясь сквозь его стены, не только не теряли своего блеску, но еще горели сильнее и ярче; даже наша бледная луна, вступив в круг его лучей, внезапно озарилась новым, прекрасным светом, довольно похожим на сияние зеркальной лампы.

Несмотря на страх и беспокойство, невольно овладевшие нами, мы не могли не восхищаться величественным зрелищем огромного небесного тела, повисшего почти над нашими головами и оправленного еще огромнейшим колесом багровых, розовых, желтых и зеленых лучей, распущенным вокруг него в виде пышного павлиньего хвоста, по которому бесчисленные звезды рдели, подобно обставленным разноцветными стеклами лампадам. Мы долго стояли на террасе в глубоком безмолвии. Саяна, погруженная в задумчивость, небрежно опиралась на мою руку, и я чувствовал, как ее сердце сильно билось в груди.

— Что с тобою, друг мой? — спросил я.

— Меня терзают мрачные предчувствия,— отвечала она, нежно прижимаясь ко мне.— Неужели эта комета должна разрушить надежды мои на счастие с тобою, на долгое, бесконечное обладание твоим сердцем?..

— Не страшись, мой друг, напрасно,— примолвил я с притворным спокойствием духа, тогда как меня самого угнетало уныние.— Она пролетит и исчезнет, как все прочие кометы, и еще мы с тобою...

В ту минуту раздался в ушах моих голос Шимшика, громко рассуждавшего на другом конце террасы, и я, не кончив фразы, потащил туда Саяну. Он стоял в кругу гостей, плотно осаждавших его со всех сторон и слушавших его рассказ с тем беспокойным любопытством, какое внушается чувством предстоящей опасности.

— Что такое, что такое говорите вы, любезный мой наставник?..— спросил я, остановясь позади его слушателей.

— Я объясняю этим господам настоящее положение кометы,— отвечал он, пробираясь ко мне поближе.— Она теперь находится в расстоянии только 160 000 миль от Земли, которая уже плавает в ее хвосте. Завтра в седьмом часу утра последует у нас от нее полное затмение солнца. Это очень любопытно.

— Но что вы думаете насчет направления ее пути?

— Что же тут думать!.. Она прямехонько стремится к Земле. Я давно предсказывал вам это, а вы не хотели верить!..

— Право, нечего было спешить с доверенностью к таким предсказаниям! Но скажите, ради Солнца и Луны, упадет ли она на Землю или нет?

— Непременно упадет и наделает много шуму в ученом свете. Этот невежда, Бурубух, утверждал, что кометы состоят из паров и жидкостей; что они неплотны, мягки, как пареные сливы. Пусть же он, дурак, укусит ее зубами, ежели может. Вы теперь сами изволите видеть, как ядро ее темно, непрозрачно, тяжело: оно, очевидно, сделано из огромной массы гранита и только погружено в легкой прозрачной атмосфере, образуемой вокруг ее парами и газами, наподобие нашего воздуха.

— Следственно, падением своим она может произвести ужасные опустошения? — сказал я.

— Да!.. может! — отвечал Шимшик.— Но нужды нет: пусть ее производит. Круг ее опустошений будет ограничен. Ядро этой кометы, как я уже имел честь излагать вам, в большем своем поперечнике простирается только на 189 миль. Итак, она своими развалинами едва может засыпать три или четыре области — положим, три или четыре царства; но зато какое счастье!.. мы с достоверностью узнаем, что такое кометы и как они устроены. Следственно, мы не только не должны страшиться ее падения, но еще пламенно желать подобного случая, для расширения круга наших познаний.

— Как? — воскликнул я.— Засыпать гранитом три или четыре царства для расширения круга познаний?.. Вы с ума сходите, любезный Шимшик!..

— Отнюдь нет! — возразил астроном хладнокровно; потом, взяв меня за руку и отведя в сторону от гостей, он примолвил с презабавным жаром: — Вы мне приятель! вы должны наравне со мною желать, чтоб она упала на Землю! Как скоро это случится, я подам царю прошение, обнаружу невежество Бурубуха и буду просить о назначении меня на его место царским астрономом, с оставлением и при настоящей должности. Надеюсь, что вы и ваш почтеннейший тесть поддержите меня при этом случае. Попросите и вашу почтенную супругу, чтоб она также похлопотала при дворе в мою пользу: женщины — знаете!—когда захотят... Притом же и сам царь не прочь от такого хорошенького личика...

Я остолбенел.

— Как!.. вы хотите!.. чтоб Саяна!.. чтоб моя жена!..— вскричал я гневно и, вырывая от него мою руку с негодованием, толкнул его так, что горбатый пронырa чуть не свалился с террасы. Прибежав к Саяне, я схватил ее в мои объятия и пламенно, страстно прижал ее к сердцу. Она и все гости желали узнать, что такое сказал мне астроном, полагая, наверное, что он сообщил мне важный секрет касательно предосторожностей, какие должно принимать во время падения комет; но я не хотел входить в объяснения и предложил всем воротиться в комнаты.

Тщетно некоторые из моих молодых приятелей старались восстановить в обществе веселость и расположение к забавам. Все мои гости были встревожены, расстроены, печальны. Столь внезапное увеличение кометы сообщало некоторую основательность пророчествам Шимшика и приводило их в ужасное беспокойство. Я желал, чтоб они скорее разъехались по домам, оставив меня одного с женою; но, в общем волнении умов, никто из них не думал об удовольствиях хозяина. Многочисленные группы мужчин и женщин стояли во всех покоях, рассуждая с большим жаром о предполагаемых следствиях столкновения двух небесных тел. Одни ожидали красного снега; другие — рыбного дождя; иные, наконец, читавшие сочинения знаменитого мудреца Бурбуруфона, доказывали, что комета разобьет Землю на несколько частей, которые превратятся в небольшие шары и полетят всякий сво-

им путем кружить около Солнца. Некоторые уже прощались со своими друзьями на случай, ежели при раздроблении планеты они очутятся на отдельных с ними кусках ее; и эта теория в особенности нравилась многим из супругов, которые даже надеялись в минуту этого происшествия ловко перепрыгнуть с одного куска на другой, чтоб навсегда освободиться друг от друга и развестись без всяких хлопот, без шуму, сплетен и издержек. Каждый излагал свое мнение и свои надежды, и все беспрестанно выходили на террасу и возвращались оттуда в покои с кучею известий и наблюдений. Шимшик, сделавшийся душою их споров, бегал из одной комнаты в другую, опровергал все мнения, объяснял всякому свою теорию, чертил мелом на полу астрономические фигуры и казался полным хозяином кометы и моего дома. У меня уже недоставало терпения. Я вздумал жаловаться на усталость и головную боль, намекая моим гостям, что скоро начнет светать; но и тут весьма немногие приметили мое неудовольствие и принялись искать колпаки. Наконец несколько человек простились с нами и ушли. Мой тесть также приказал подвести своего мамонта, объявив торжественно, что пора оставить новобрачных. Слава Солнцу и Луне!.. Пока что случится с Землею, а я сегодня женился и не могу первую ночь после брака посвятить одним теориям!..

Мы уже радовались этому началу, когда двое из гостей вдруг воротились назад с известием, что никак нельзя пробраться домой, ибо в городе ужасная суматоха, народ толпится на улицах, все в отчаянии, и никто не помышляет о покое. Новая неприятность!.. Я послал людей узнать о причине тревоги и через несколько минут получил донесение, что в народе вспыхнул настоящий бунт. Бурубух объявил собравшейся на площади черни, что он лично был всегда врагом зловредности комет и даже подавал мнение в пользу того, чтобы эта метла пролетела мимо Земли, не подходя к ней так близко и не пугая ее жителей; но что главный астроном Шимшик воспротивился тому формальным образом и своими сочинениями накликал ее на нашу столицу; и потому, если теперь произойдет какое-нибудь бедствие, то единственным виновником должно признать этого шарлатана, чародея, невежду,

проныру, завистника, и прочая, и прочая. Народ, воспламененный речью Бурубуха, пришел в ожесточение, двинулся огромною толпою на обсерваторию, перебил инструменты, опустошил здание, разграбил квартиру Шимшика, и его самого ищет повсюду, чтоб принести в жертву своей ярости. Невозможно представить себе впечатления, произведенного в нас подобным известием, ибо все мы предчувствовали, что бешенство черни не ограничится разрушением обсерватории; но надобно было видеть жалкое лицо Шимшика во время этого рассказа!.. Он побледнел, облился крупным потом, пробормотал несколько слов в защиту своей теории и скрылся, не дослушав конца донесения.

В печальном безмолвии ожидали мы развязки возникающей бури. Поминутно доходили до нас известия, что народ более и более предается неистовству, грабит жилища знатнейших лиц и убивает на улицах всякого, кого лишь кто-нибудь назовет астрономом. Скоро и великолепная набережная Лены, где лежал мой дом, начала наполняться сволочью. Мы с ужасом вглядывались в свирепые толпы, блуждающие во мраке и оглашавшие своим воем портики бесчисленных зданий, как вдруг град камней посыпался в мои окна. Гости попрятались за стеною и за колоннами: Саяна в слезах бросилась ко мне на шею; теща упала в обморок; дядя закричал, что ему ушибли ногу; суматоха сделалась неимоверною. Услышав, что буйный народ считает бальное освещение моего дома оскорблением общественной печали, я тотчас приказал гасить лампы и запирать ставни. Мы остались почти впотьмах, но тем не менее принимали все возможные меры к защите в случае нападения. Вид шумной толпы служителей, лошадей, слонов и мамонтов, собранных на моем дворе и принадлежавших пирующим у меня вельможам, удержал мятежников от дальнейших покушений. Спустя некоторое время окрестности моего дома несколько очистились, но в других частях города беспорядки продолжались по-прежнему.

День уже брезжился. Не смея в подобных обстоятельствах никого выгонять на улицу, я предложил моим гостям ложиться спать где кто может — на софах, на диванах и даже в креслах. Все засуетились, и я, пользуясь общим движением ищущих средства

пристроиться на покой, утащил Саяну в спальню, убранную со вкусом и почти с царскою роскошью. Она дрожала и краснела; я дрожал тоже, но ободрял ее поцелуями, ободрял нежными клятвами, горел пламенем, запирал двери и был счастлив. Все мятежи земного шара и все небесные метлы не в состоянии смутить блаженство двух молодых любовников, представших впервые с глазу на глаз перед брачным ложем. Мы были одни в комнате и одни на всей земле. Саяна в сладостном смущении опоясала меня белыми, как молоко, руками и, пряча пылающее стыдом, девственное, розовое лицо свое на моей груди, сильно прижалась ко мне — сильно, как дитя, прощающееся навеки с дражайшею матерью. Я между тем поспешно выпутывал из шелковых ее волос богатое свадебное покрывало, срывал с плеч легкий, прозрачный платок, развязывал рукава и расстегивал платье сзади; и это последнее, скользя по стройному ее стану, быстро ссунулось на пол, обнаружив моим взорам ряд очаровательных прелестей. Я жадно прикрыл их горящими устами... Казалось, что никакая сила в природе не в состоянии расторгнуть пламенного, судорожного объятия, в котором держали мы тогда друг друга. Слитые огнем любви в одно тело и одну душу, мы стояли несколько минут в этом положении посредине комнаты, без дыхания, без чувств, без памяти... как вдруг кто-то чихнул позади нас. Никогда удар молнии, с треском обрушившись на наши головы, не мог бы внезапнее вывести нас из упоения и скорее приостановить в наших сердцах пылкие порывы страсти, чем это ничтожное действие страждущего насморком носа человеческого. Саяна вскрикнула и припала к земле; я отскочил несколько шагов назад и в изумлении оглянулся во все стороны. В спальне, однако ж, никого, кроме нас, не было!.. Я посмотрел во всех углах и, не нашед ни живой души, уверял жену, что это нам только так послышалось. Едва успел я успокоить ее несколько поцелуями, как опять в комнате раздалось чихание; и в этот раз уже в определенном месте — именно под нашею кроватью. Я заглянул туда и увидел две ноги в сапогах. В первом движении гнева я хотел убить на месте несчастного наглеца, осмелившегося нанести подобную обиду скромности юной суп-

руги и святотатным своим присутствием поругаться над неприкосновенностью тайн законной любви: я схватил его за ногу и стал тащить из-под кровати, крича страшным голосом: «Кто тут?.. Кто?.. Зачем?.. Убью мерзавца!..»

— Я!.. я!.. Погоди, любезнейший!.. Пусти!.. Я сам вылезу,— отвечал мне незваный гость.

— Говори, кто ты таков?

— Да не сердись!.. это я. Я... твой приятель...

— Кто?.. какой приятель?..

— Я, твой друг!.. Шимшик.

У меня опали руки. Я догадался, что он, спасаясь от поиска мятежников, завернул под нашу кровать единственно со страху, и мое исступление превратилось в веселость. Несмотря на отчаяние стыдливой Саяны, я не мог утерпеть, чтоб не расхохотаться.

— Ну что ты тут делал, негодяй?..— спросил я его с притворною суровостью.

— Я?.. я, брат, ничего худого не делал,— отвечал он, трепеща и карабкаясь под кроватью.— Я хотел наблюдать затмение Солнца...

Моя суровость опять была обезоружена. Тогда как, помирая со смеху, я помогал трусливому астроному вылезти задом из этой небывалой обсерватории, Саяна, по моей просьбе накинув на себя ночное платье, выбежала в боковые двери, ведущие в комнаты моей матери. Она была чрезвычайно огорчена этим приключением и моим неуместным смехом и, выходя из спальни, кричала гневно, пополам с плачем, что это ужас!.. что, видно, я не люблю ее, когда, вместо того, чтоб поразить этого дурака кинжалом, хохочу с ним об ее посрамлении!.. что она никогда ко мне не возвратится!.. Вот откуда нагрянула беда!

Стена II

Я полетел вслед за Саяною, желая усмирить ее сознанием своей вины, даже обещанием примерно наказать астронома; но у матушки было множество женщин, большею частию полураздетых; при моем появлении в дверях ее покоев они подняли такой крик, что я принужден был уйти назад в спальню. Возвращаясь, я побожился, что непременно убью Шимшика;

но едва взглянул на его длинное, помертвелое со страху лицо, как опять стал смеяться!..

Я взял его за руку и безо всяких чинов вытолкал коленом в залу, где, к моему удивлению, никто не думал о сне. Все мои гости были на ногах и расхаживали по комнатам в страшном беспокойстве. Нестерпимая духота, внезапно разливавшаяся в воздухе, не дозволила никому из них сомкнуть глаз, а плачевные известия из города, опустошаемого бесчинствующею чернью, и вид кометы, сделавшийся еще грознее при первых лучах солнца, действительно могли взволновать и самого хладнокровного. Как скоро я появился, многие из них, окружив меня, почти насильно утащили на террасу, чтоб показать мне, что делается на небе и на земле. Я оледенел от ужаса. Комета уподоблялась большой круглой туче и занимала всю восточную страну неба: она потеряла свою богатую, светлую оболочку и была бурого цвету, который всякую минуту темнел более и более. Солнце, недавно возникшее из-за небосклона, уже скрывало западный свой берег за краем этого исполинского шара. Под моими ногами город гремел глухим шумом и во многих местах возвышались массы густого дыму, в котором пылало пожарное пламя; по улицам передвигались дикие шайки грабителей, обагренных кровию и, перед лицом опасности, увлекающей всю природу в пропасть гибели, еще с жадностью уносящих в общую могилу исторгнутое у своих сограждан имение.

Спустя четверть часа солнце совершенно скрылось за ядром кометы, которая явилась нашим взорам черною, как смоль, и в таком близком расстоянии от земли, что можно было видеть на ней ямы, возвышения и другие неровности. В воздухе распространился почти ночной мрак, и мы ощутили приметный холод. Женщины начали рыдать; мужчины еще обнаруживали некоторую бодрость духа и даже старались любезничать с ними, хотя многие натянутыми улыбками глотали слезы, невольно сталкиваемые с ресниц скрытным отчаянием. Мне удалось проникнуть до Саяны. Она разделяла общее уныние и сверх того сердилась на меня. Я взял ее руку; она вырвала ее и не хотела говорить со мною. Я упал на колени, молил прощения, клялся в своей беспредельной любви, клялся

в преданности, в послушании... Ничто не могло смягчить ее гнева. Она даже произнесла ужасное в супружестве слово — мщение!.. Холодная дрожь пробежала по моим членам, ибо я знал, чем у нас (перед потопом [1]) женщины мстили своим мужьям и любовникам. Эта угроза взбесила меня до крайности. Мы поссорились, и я бледный, с расстроенным лицом, с пылающими глазами выбежал опрометью из ее комнаты.

К довершению моего смятения я неожиданно очутился среди моих гостей. Они уже не думали ни о комете, ни о бунте, ни о пожаре столицы. Я даже удивился их веселому и счастливому виду. Отгадайте же, чем были они так осчастливлены? — моим несчастьем! Они уже сообщали друг другу на ухо о любопытном происшествии, случившемся ночью в моей спальне. Одни утверждали, что новобрачная ушла от меня с криком и плачем к своей маменьке; другие важно объясняли этот поступок разными нелепыми на мой счет догадками; иные, наконец, уверяли положительно, что Саяна вышла за меня замуж по принуждению, что она терпеть меня не может и что даже я застал ее в спальне с одним молодым и прекрасным мужчиною, ее любовником, который тотчас спрятался под кроватью. Насмешливые взгляды, намеки, остроты насчет супружеского быта и кривляния ложного соболезнования, посыпавшиеся на меня со всех диванов и кресел, ясно дали мне почувствовать, что мое семейное счастие уже растерзано зубами клеветы; что мои любезные друзья, столкнув честь юной моей супруги и мою собственную в пропасть своего злословия, поспешили завалить ее осколками своего остроумия и еще стряхнули с себя на них грязь своих пороков. Я измерил мыслию эту пропасть и содрогнулся: мое прискорбие, мое негодование не знали предела. И, несмотря на это, я был принужден из приличия показывать им веселое лицо, улыбаться и дружески пожимать руки у моих убийц. О люди!.. о мерзкие люди!.. Злоба у вас сильнее даже чувства страха; вы готовы следовать ее внушениям на краю самой погибели. Общество!.. горький состав тысячи ядовитых страстей!.. жестокая пытка для неразвращенного сердца!.. Еже-

[1] Пояснение доктора Шпурцманна.

ли тебе суждено погибнуть теперь вместе с нами, то я душевно поздравляю себя с тем, что дал бал на твое погребение.

Не зная, куда деваться от людей и от самого себя, я опять вышел на террасу, сел в уединенном месте и, в моем огорчении, злобно любовался зрелищем многочисленных пожаров, которым мрак затмения сообщал великолепие отверзтого ада. Между тем утомленные разбоем и застигнутые среди светлого утра полночною темнотой мятежники мало-помалу рассеялись, и мои дорогие гости начали разъезжаться. Я уснул под раскинутою на террасе палаткою, чтоб не прощаться и не видеться с ними.

Затмение продолжалось до второго часу пополудни. Около того времени небо несколько просветлело, и узкий край солнца мелькнул из-за обращенного к западу края кометы. Я проснулся, сошел вниз и уже никого не застал в покоях. Скоро солнце засияло полным своим блеском; но в его отсутствие окружность кометы удивительно расширилась. С одной стороны значительная часть грязного и шероховатого ее диска погружалась за восточною чертою горизонта, тогда как противоположный берег упирался в верх небесного свода. Такое увеличение ее наружности, при видимом удалении ее от наших глаз к востоку, ясно доказывало, что она летит к Земле косвенно. В пятом часу пополудни она совсем закатилась.

Я застал Саяну и мою мать в слезах: не зная, что со мною сталось, они терзались печальными за меня опасениями — не вышел ли я из любопытства на улицу и не убит ли мятежною чернью за мои связи с Шимшиком. Мое появление исполнило их радости. Жена уже на меня не гневалась. Мы поцеловались с нею перед обедом; за обедом мы были очень нежны; после обеда еще нежнее...

Мы тогда были в спальне. Солнце уже клонилось к закату. Саяна сидела у меня на коленях, приклонив прелестную свою голову к моему плечу и оплетая мою шею своими руками. Я держал ее в своих объятиях и с восторгом счастливого любовника повторял ей, что теперь уже ничто не разлучит нас, ничто не смутит нашего блаженства. Она скрепила мое предсказание приложением горящего девственным стыдом долгого,

долгого поцелуя, и мы, сплоченные его магнитною силою, упивались чистейшей сладостью, дыша одною и тою же частицею воздуха, чувствуя и живя одною и тою же душою, как вдруг уста наши были расторгнуты внезапным потрясением всей комнаты. Казалось, будто пол поколебался под нами. Вслед за этим вторичный удар подтвердил прежнее ощущение, и пронзительный вой собак, раздавшийся в ту самую минуту, решил все догадки. Я схватил Саяну за руку и быстро потащил к дверям, говоря: «Друг мой!.. землетрясение!.. Надо уходить из комнат».

Мы пробежали длинный ряд покоев среди беспрерывных ударов потрясения, повторявшихся всякий раз чаще и сильнее. Лампы, подсвечники, статуи, картины, вазы, стулья и столики падали одни за другими кругом нас на землю; пол качался под нами, подобно палубе колеблемого волнами судна. Я кричал моим людям, чтоб они скорее спасались на двор, чтоб выводили из конюшен лошадей, мамонтов, мастодонтов, и сам с трепещущею Саяною стремглав бежал к лестнице, прыгая через опрокинутую утварь и уклоняясь от падающих со стен украшений. Едва достигли мы до сеней, как в большой зале с ужасным треском обрушился потолок, настланный из длинных и широких плит. На лестнице, где мы, слуги и невольники столпились все вместе, два новых подземных удара, поколебавшие землю в двух противоположных направлениях, свалили всех нас с ног, и мы целою громадою покатились вниз, один через другого, по лопающимся под нами ступеням, из которых последние уже не существовали. Стон раненых, крик испугавшихся и придавленных оглушили меня совершенно; но любовь сохранила во мне присутствие духа: я не выпустил руки Саяны. Таким образом мы с нею удержались на груде свалившегося у подножия лестницы народа, не попав на торчащие обломки камней, о которые многие разразились.

Но вставание было опаснее падения, ибо одновременные усилия высвободиться из кучи произвели в ней страшное замешательство. Всякий толкал или старался скинуть с себя своего соседа. При помощи одного невольника, который счастливо удержался на ступенях и схватил Саяну на руки, я успел вырваться из

лежащей в беспорядке толпы, и мы втроем первые выскочили на двор. Вся остальная куча была в то же мгновение сплюснута, размозжена, смолота внезапно слетевшим на нее великолепным сводом сеней, и кровь, выжатая из нее, брызнула во все стороны сквозь камни, как вода от брошенного в нее бревна.

Мы были на дворе, но отнюдь не вне опасности. Мои мастодонты, мамонты, слоны, верблюды и лошади, ведомые верным инстинктом животных, при первых признаках землетрясения силою освободились из своих тюрем, разломали стойла и двери и выбежали на открытый воздух. Двор уже был наполнен ими, когда мы туда прибыли. Их беспокойство и трепет, сопровождаемые громовым ревом, умножали суматоху между спасшимися и спасающимися, которые также вопили, кричали и бегали. Положение наше было ужасно. С одной стороны — целые ряды колонн, целая стена моих великолепных чертогов валились вокруг нас на землю, как детские игрушки, тронутые потаенною пружиною, бросая нам под ноги большие глыбы камня и засыпая глаза пылью; с другой — разъяренный мамонт или мастодонт одним поворотом своих исполинских клыков, похожих на длинные и толстые костяные колоды, одним ударом своих огромных ног мог бы истребить и потоптать нас. Между тем ад бушевал под нашими стопами. Подземный гром с оглушительным треском и воем беспрерывно катился под самою почвою, которая с непостижимою упругостью то раздувалась и поднималась вверх, то вдруг опадала, образуя страшные углубления, подобно волнам океана. В то же самое время поверхность ее качалась с севера на юг, и вслед за тем черта движения переменялась, и возникало перекрестное качание с востока на запад или обратно. Потом казалось, будто почва кружится под нами: мы, верблюды и лошади падали на землю, как опьяневшие; одни мамонты и мастодонты, расставив широко толстые свои ноги и вертя хоботами для сохранения равновесия, удерживались от падения. Изо всего семейства только я, Саяна и мой меньшой брат остались в живых; прочие, мать и сестра, и большая половина нашей многолюдной дворни не успели отыскать выхода и погибли в разных частях здания.

Уже наступала ночь. Землетрясение не уменьшалось, но для нас не было столь страшным. В два часа времени мы так к нему привыкли, как будто оно было всегдашнее состояние попираемой нами почвы: всякий избрал себе самое удобное на волнующейся земле положение и в молчании ожидал конца бури. Опасение быть раздавленным падением стен и портиков не могло тревожить нас более, ибо дом был разрушен до основания и представлял одну плоскую, широкую груду развалин, заключавшую нас и весь двор в своем кругу. Брусья и колонны были перемешаны в дивном беспорядке; связь строения разорвана; каждый камень лежал особо под другим камнем или подле него: они казались одушевленными судорожною жизнию червей, сложенных в кучу: при всяком ударе землетрясения, особенно когда почва выдувалась и опадала, они двигались, ворочались, становились прямо, падали и пересыпались целыми массами с одного места на другое, выбрасывая по временам из недр своих смолотые члены раздавленных ими жителей и опять поглощая их во внутренность разрушения.

Все было потеряно. Оставалось только подумать о том, как провести ночь на зыблющейся земле, под открытым небом, на средине обширного круга движущихся развалин. Весьма немного платья и еще меньше жизненных припасов было спасено моими людьми в самом начале бедствия: мы разделили все это между собою по равным частям. Два маленькие хлеба и кусок оставшегося от обеда жареного аноплотериума [1] составили превосходный ужин для Саяны и для меня с братом. Я закутал мою невинную жену в плащ одного конюха, и мы решились просидеть до утра на том же месте.

Несмотря на внутренние терзания планеты, которая при всяком ударе должна бы, казалось, разбиться в мелкие куски, над ее поверхностью царствовала ночь, столь же прекрасная, светлая и тихая, как и вчерашняя. Луна белыми лучами сребрила печальную

[1] Аноплотериум, anoplotherium gracile — род предпотопной газели, из которой жаркое, с испанским соусом и солеными сибирскими бананами, по мнению ученого Шлотгейма, долженствовало быть очень вкусно.— *Примечание доктора Шпурцманна.*

могилу нашей столицы. Небо пылало звездами; но, к удивлению, не было видно кометы. Мы полагали, что она взойдет позже, и не дождались ее появления. Неужто она исчезла?.. Неужели в самом деле где-нибудь обрушилась она на землю?.. Это землетрясение не есть ли следствие ее падения?.. Проклятый Шимшик! Он уверял нас, что комета опустошит только то место, о которое сама она расшибет свои бока!.. Но падение свершилось, и наш Шимшик прав: он умнее Бурубуха!.. Впрочем, это только случай, заметила Саяна: один из них предсказывал, что она упадет, другой — что она пройдет мимо: то или другое было неизбежно.

Тогда как мы были заняты подобными рассуждениями, подземные удары становились гораздо слабее и реже. Гром, бушевавший в недрах шара, превратился в глухой гул, который иногда умолкал совершенно, и в этих промежутках мучений природы рыдание жен и матерей, стон раненых и умирающих, крик или, лучше сказать, вой отчаяния уцелевших от погибели, но лишенных приюта и пропитания, жестоко потрясали наш слух и наши сердца. Нам довольно было взглянуть на самих себя, чтобы постигнуть горесть других.

Наконец настал день. Мы почти не узнали вчерашних развалин. Длинные брусья и большие камни были разбиты в мелкие части и как бы столчены в иготи; город представлял вид обширной насыпи обломков. Величественная Лена, протекавшая под моими окнами, оставила свое русло и, поворотясь к западу, проложила себе новый путь по опрокинутым башням, по разостланным на земле стенам прежних дворцов и храмов. Во многих местах груды развалин запрудили ее волны и заставили их расструиться по городу в разных направлениях. На площадях, на дворах больших строений и в углублениях почвы образовались бесчисленные лужи, и вся западная часть столицы представляла слепление множества озер различной величины, из которых там и сям торчали уединенные колонны и дымовые трубы, дивною игрою природы оставленные на своих основаниях, чтоб служить могильными памятниками погребенному у их подножия городу. Наводнение не коснулось восточного берега,

на котором находился мой дом; но мы приметили, что подобные лужи уже начинали появляться и по сию сторону прежнего русла реки. Землетрясение едва было ощутительно, однако не прекращалось, и от времени до времени более или менее сильный удар грозил, казалось, возобновлением вчерашних ужасов. Итак, нечего было долее оставаться на месте. Все уцелевшее народонаселение столицы спасалось на возвышениях, окружавших Хухурун с востока: мы последовали общему примеру.

Строение, в котором помещались мои конюшни и где жили мои мамонты, мастодонты и некоторые слуги, было деревянное, из прекрасного райского лесу. Мы раскидали переломанные бревна и вытащили из-под них все, что только нашли годного к употреблению. Нагрузив на одного мастодонта этот скудный остаток нашего богатства, я, Саяна, мой брат, два невольника и одна служанка сели на моего любимого рыжего мамонта; прочие служители взобрались на слонов и верблюдов или взялись вести в руках лошадей, и мы тронулись со двора, пробираясь через развалины дома. После долгих борений с преградами выехали мы на большую улицу, ведущую к восточной заставе, и слились с потоком народа, стремившегося в один и тот же путь с нами. Я не в силах передать впечатления, произведенного во мне зрелищем этого бесконечного погребального шествия, медленно и печально пробиравшегося узкою тропинкой между высокими валами обломков. Подобные нашей, длинные цепи мертвецов, восставших поутру из могилы своей родины, тянулись и по другим улицам. Не только люди, но и животные чувствовали огромность случившегося несчастия: мамонты явно разделяли нашу горесть. Эти благородные создания, первые в природе после человека, даже превыше многих людей одаренные редким умом и превосходною чувствительностью, принимали трогательное, хотя безмолвное участие в общественной печали. Мой рыжий мамонт, свободно понимавший разговоры на трех языках, колотил себя хоботом по бокам и грустно вздыхал, проходя мимо разрушенных жилищ моих приятелей, которых почитал он своими. Увидев моего дядю, расхаживающего по развалинам нового своего дома, он остановился и не хотел

идти далее, пока мы не скажем старику несколько утешительных слов.

— Мои картины!.. мои антики!..— восклицал дядя жалостным голосом.— Ах, если б я мог отыскать мою сковороду второго века мира, за которую заплатил так дорого!..

— Возьмите вместо ее один кирпич из развалин вашего нового дома,— сказал я ему.— Он со вчерашнего числа уже поступил в разряд драгоценных антиков.

— Ты ничего не смыслишь в древностях!..— отвечал дядя и опять стал рыться в развалинах. Он вытащил из них какую-то тряпку и начал с жаром излагать нам ее достоинства; но мой мамонт, видя, что дядя нимало не стал умнее от землетрясения, не хотел слушать вздору, и мы уехали.

Сожаление дяди о потере предмета столь пустой прихоти вынудило у меня улыбку; но она вдруг погасла, и я опять погрузился в мрачную думу, которая угнетала мою грудь с самого утра. Кроме скорби, возбуждаемой общим бедствием, моя любовь к Саяне была главным ее источником. Я принужден был страдать ревностью даже среди ужасов вспыхнувшего мятежа природы. Саяна плакала, не говорила со мною, отвергала мои утешения, и я по несчастию постигал причину ее горести: она грустила не о потере имения, не о погибели родных и отечества, не об истреблении нескольких сот тысяч сограждан, но о разрушении гостиных, о расстройстве общества — того избранного, шумного, блестящего общества, в котором царствовала она своею красотою; где она счастливила своими улыбками и приводила в отчаяние своими суровыми взглядами; где жили ее льстецы; где она затмевала и бесила своих соперниц. Спасение одного любовника, одного верного друга, не могло вознаградить ей отсутствия толпы холодных обожателей, рассеянного внезапною бурею роя красивых мотыльков, с которыми играла она всю свою молодость. Я для нее был ничто, или, лучше сказать, я был все — но один. Ей казалось, что нам вдвоем будет скучно!!. Я утверждал противное, доказывая, что без этих господ нам будет гораздо веселее. Легкий упрек в тщеславии, который позволил я себе сделать ей при этом случае, весьма ей не понравился. Она рассердилась, и мы поссорились

верхом на мамонте. Мы оборотились друг к другу задом. Мой мамонт выпрямил свой хобот вверх, наподобие столба, и покачал им тихонько в знак того, что нехорошо так ссориться в присутствии всего города!.. Я сказал мамонту, что он дурак.

Итак, мои любовные мучения не прекратились ни супружеством, ни землетрясением!.. Это почти невероятно. Вот что значит модная женщина, воспитанная в вихре большого света!.. Надобно же, чтоб подобные женщины были прелестны собою и чтоб люди были обязаны влюбляться в них без памяти?..

Мы уже выехали из города, уже поднимались на высоты и все еще не говорили друг с другом ни слова. Почва, по которой мы проезжали, была истрескана в странные узоры, и на пути нередко попадались широкие трещины, через которые следовало перескакивать. Холмы были разрушены: одни осыпались и изгладились; другие лежали разбитые на несколько частей. В иных местах разверзтая планета изрыгнула из своего лона кучи огромных утесов. Прежние озера иссякли, и вместо их появились другие. Но самый примечательный признак опустошения являли деревья: леса были всклочены; в роще и на поле не оставалось и двух дерев в перпендикулярном положении к земле: все стояли вкось, под различными углами наклонения и всякое в свою сторону. Многие дубы, теки, сикоморы и платаны были скручены, как липовые веточки, а некоторые расколоты так, что человек удобно мог бы пройти в них сквозь пень, как в двери. Мы долго искали цельного и не занятого другими куска земли, где бы могли временно поселиться, и наконец остановились в одной пальмовой роще. Мои люди мигом построили для нас шалаш из ветвей.

Сверх всякого чаяния, мы тут очутились в кругу наших знакомцев. Туча молодых франтов слетелась к нам изо всей рощи. Рассказы о вчерашних приключениях, шутки над минувшею опасностью, приветствия и остроты, лесть и злословие превратили наш приют в блистательную гостиную или в храм лицемерства. Саяна вдруг развеселилась. Она опять улыбалась, опять господствовала над всем мужским полом и опять была счастлива. В общей и весьма искусной раздаче приветливых взглядов и я, покорнейший муж и слуга,

удостоился от нее одного, в котором большими иероглифами начертано было милостивое прощение моей неуместной ревности и преступного желания, чтоб моя жена нравилась только одному мне. Я чуть не лопнул с досады.

Но вскоре убедились мы, что опасность еще не миновала. Не одна Лена переменила свое направление: все вообще реки и потоки оставили свои русла и, встретив преграды на вновь избранном пути, начали наводнять равнины. Вода показалась в небольшом расстоянии от нашего стана и поминутно поглощала большее и большее пространство. Некоторые утверждали, что она вытекает из-под земли, и здесь в первый раз произнесено было между нами ужасное слово — потоп! Все были того мнения, что надобно уходить в Сасахаарские горы, куда многие семейства отправились еще на заре.

Роща в одно мгновение ока оживилась повсеместным движением. Одни укладывали свои пожитки, другие седлали лошадей и слонов. Пока мои люди занимались подобными приготовлениями и моя жена заключала с вежливыми прислужниками трактат не оставлять друг друга в путешествии, я узнал случайно о спасении моей матери. Она не погибла в развалинах дома; она выскочила в окно на набережную, когда мы уходили на двор; многие видели ее недалеко от рощи, с одним знакомым нам семейством. Сердце мое сильно забилось от радости: я хотел тотчас бежать к возлюбленной родительнице, к одному истинному другу в этой горькой жизни. Но как тут быть?.. Оставить молодую, невинную супругу в кругу этих вертопрахов невозможно!.. Я предложил Саабарубу, тому самому идолу наших женщин, к которому ревновал Саяну, будучи еще женихом, и который теперь отчаянно любезничал с нею, пособить мне отыскать матушку. Он извинился каким-то предлогом, которого я не понял, но который жена нашла крайне уважительным. Я обнаружил беспокойство. Они посмотрели друг на друга и на меня и улыбнулись. Я в ту минуту готов был убить на месте их обоих; но, подумав, что женатому человеку неприлично сердиться на друзей своей супруги даже и после землетрясения, предпочел покрыть молчанием эту обидную улыбку. Они, очевидно, издева-

лись над моею ревностью!!. Итак, я вышел из шалаша; но, уходя, бросил на Саяну страшный взгляд, от которого она содрогнулась. Я взобрался на мамонта в совершенном расстройстве духа и, приказав людям дожидаться моего возвращения, с двумя невольниками отправился искать матушку.

Ее уже не было в указанном месте. Я объехал все окрестности, расспросил повсюду и нигде не доискался следа ее. Эта неудача огорчила меня еще более. Около полудня воротился я в рощу, которая уже была оставлена всеми и отчасти потоплена водою. Брат и слуги находились в жестоком беспокойстве. Я рассеянно подал знак к отъезду, спрашивая, где Саяна. Мне отвечали хладнокровно, что она ушла в рощу и не возвращалась.

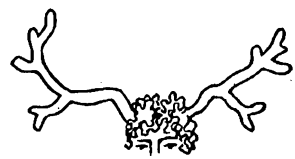
— Как?.. Саяна ушла?.. Она не возвращалась?..

И холодный пот выступил у меня на посиневшем челе, на дрожащих руках.

Она не возвращалась!.. Моя бедная, моя дражайшая Саяна!..

Первая мысль была о том, что она утонула. Я хотел бежать искать ее по всей роще, но служанка, безмолвно протянув руку, отдала мне записку на свернутом лоскутке папируса. Я раскрыл ее... О горе!.. там были начертаны женским почерком и даже без правописания только два следующие иероглифа:

(Прощай!)



(Ревнивый!)

Гнев, негодование, отчаяние, ярость вспыхнули в душе моей со всей силою огорченной любви, со всею неукротимостью обиженной чести. Итак, Саяна изменила мне!.. Она предпочла услужливость, лицемерное рабство низкого обольстителя мне, моей любви, нашему счастию!.. Вероломная, коварная!.. Уходит от сво-

его мужа с любовником во время всеобщего потопа!.. Ах он негодяй! Клянусь Солнцем и Луною, что этот кинжал!.. Что в их преступной крови!.. И волны мести, хлынувшие из сердца, залили мне голос в горле. Я не мог произнести более ни слова: только махнул брату рукою, давая знать, что предоставляю ему людей и все имущество, и в ту же минуту поскакал за уезжающими отыскивать жену и Саабаруба. Я не сомневался, что она убежала с этим повесою.

Но как и где найти их в такой тьме народа, бегущего из городов и селений, заваливающего все переправы, покрывающего все дороги и сухие места частыми, непроницаемыми толпами?.. Я скакал взад, вперед и поперек, бросался наудачу в различные стороны, спрашивал, заглядывал, подстерегал: нигде ни следа их!.. Как будто нырнули в воду! Я хотел воротиться к брату и его не отыскал. Пожираемый жгучей грустью, изнемогающий под бременем уныния, бесчестия, стыда, усталый, почти мертвый, наконец потерял я всю надежду и решился спокойно ехать вместе с прочими в горы. Там судьба счастливым случаем скорее может поблагоприятствовать моему мщению, чем здесь нарочные поиски.

В четвертом часу пополудни прибыли мы к одной переправе, образованной широко разлившимся ручьем. Бредущие в нем пешеходцы расступились, чтобы пропустить меня, один лишь крошечный, горбатый человечек, стоявший по колени в воде и который, казалось, весь дрожал со страху при виде брода не по его росту, не примечал нашего натиска и, несмотря на наш крик, никак не хотел посторониться. Мой мамонт мчался быстро, и мы уже думали, что он затопчет его в грязи, как вдруг великодушный гигант животного царства, чтоб очистить себе дорогу без угнетения пешеходцев, схватил его на бегу концом исполинского своего хобота, поднял вверх выше головы и понес через воду, как сноп соломы, воткнутый на длинные вилы. Горбатый человечек визжал, вертелся, махал ногами и руками, не постигая, что с ним случилось; мои невольники помирали со смеху; я приказывал им остановить мамонта, боясь, чтобы честная скотина из человеколюбия не задушила его в своих объятиях, ко-

гда он, нечаянно поворотив к нам голову, увидел меня на седле и вскричал радостным голосом:

— Ах!.. Вы здесь?.. Как я рад встретиться с вами в сем удобном месте...

— Шимшик!.. Шимшик!..— воскликнули мы единогласно, приветствуя его громким смехом.

— Спасите меня!..— кричал несчастный астроном.— Ай!.. Он помял мне все кости!.. Ну, что комета?.. Не говорил ли я вам?.. Ай, ай, ради Солнца!..

Пробежав брод, наш великан сам остановился и с удивительной ловкостью поставил бедного Шимшика на ноги. Мы бросили астроному веревочную лестницу, втащили его на седло и помчались далее. Шимшик рассказал мне свои приключения, я сообщил ему мои: он был сильно тронут моим несчастьем. Он спас свои сочинения, свои открытия и теории, которыми сбирался изумить современников и потомство; все его карманы были набиты славою, и, когда настигли мы его у переправы, он был в большом затруднении и не знал, что с собою делать, не смея отставать от бегущих и боясь замочить в ручье свое бессмертие. К счастию, добрый мамонт вывел его из этого неприятного положения и сохранил для науки и чести Барабии. Узнав от меня об измене Саяны, он воскликнул: «Ну, что?.. Не предсказывал ли я вам, что если бедствие случится с землею, то единственно из-за женщин?.. По несчастию, теперь нет и средства спасти ее: говорят, что негры Шах-шух (Новой Земли), сведав о нашем намерении оскопить все их царство, дрались как мегалотерионы и разбили наших, которые теперь бегут от них к столице. Вся надежда на получение евнухов исчезла: а это было одно средство обуздать разврат женского пола и восстановить нравы!..»

Наконец достигли мы гор, проскакав на мамонте в шесть часов девяносто географических миль. Мы находились на границе нашего прекрасного отечества, отделявшей его от двух больших государств, Хабара и Каско. Остановясь, мы приметили, что земля все еще шевелится под нами. В некоторых местах каменный хребет казался еще согретым от подземного огня, незадолго пред тем пролетавшего с громом в его внутренности. Разрушение природы представлялось здесь в самом величественном и ужасном виде: гранитные

стены были исписаны трещинами, из которых многие походили на пропасти; ущелия были завалены обрушившимися вершинами, толстые слои камня взорваны и взрыты, утесы вместе с росшими на них лесами опрокинуты, смяты, растасканы. Сасахаарские горы после вчерашнего землетрясения уподоблялись постели двух юных любовников, только что оставленной ими поутру в живописном беспорядке: развалины пылких страстей, еще дышащие вулканическою теплотою их сердец, среди холодных уже следов первого взрыва их любви.

Со времени поселения нашего в горах события и ужасы преследовали друг друга и нас с такою быстротою, что никакое воображение не в силах передать их другому, ни себе представить. Земля, небо, стихии, люди и их мятежные страсти были смешаны в один огромный хаос и вместе образовали мрачную, шумную, свирепую бурю.

Когда мы прибыли, горы уже были покрыты спасавшимся отвсюду народом. Противоположная их отлогость была усеяна каменьями различных цветов и видов, в числе которых многие удивляли нас своею красотою, прозрачностью и огненным блеском, а иные своим сходством с громовыми стрелами. Но с одной подоблачной вершины беглецы из тех окрестностей указали нам в северо-восточной стороне горизонта зрелище еще любопытнейшее—предлинный хребет гор, съёженный чрезвычайно высокими и острыми массами, которого прежде там не бывало. Это была одна только оконечность развалин вчера разразившейся о Землю кометы, которая разостлалась по ней необозримою чертою с бесчисленными боковыми ветвями; которая потрясла ее в самом основании и, ядром своим загромоздив огромную полосу нашего шара, по сторонам наваленных ею исполинских громад гранитной материи, все пространство смежных земель залила и засыпала дождем из грязи и песку и сильным каменным градом, шедшими несколько часов сряду во время и после ее падения. Следы этого града, коснувшегося самой подошвы Сасахаарских гор, видели мы в тех незнакомых нам разноцветных каменьях и блестящих голышах, а беглецы представили нам образцы красного и желтого песку, составлявшего, по-видимо-

му, почву кометы и подобранного ими на примыкающей к горам равнине. Желтый песок красивою, лоснящеюся своей наружностью в особенности чаровал наши взоры и сердца; всякий из нас хотел иметь у себя хоть несколько его зернышек. Он, видно, считался на комете весьма дорогою вещью.

По их рассказам, падению ее предшествовал...

Стена III

...страшный гул с треском в возвышенных странах атмосферы и вскоре совершенный мрак, прорезываемый яркими огнями, как бы выжатыми из воздуха, придавленного ее натиском, еще увеличил ужас роковой минуты. В то самое время пятьсот тысяч воинов Хабара и Каско стояли на поле сражения, защищая кровию и жизнию честолюбие своих предводителей, тщеславие своих сограждан и неприкосновенность небольшого куска земли, бесполезного их предводителям, согражданам и им самим. Военачальники воспламеняли их храбрость, толкуя грозные небесные явления в смысле благополучного для них предвещания и напоминая им о нетленной славе, долженствующей скоро увенчать их великие, бессмертные подвиги; города, села, деревни, крыши домов и холмы кипели народом, ожидавшим в беспокойстве следствия огненной борьбы стихий и кровавой борьбы своих ближних; поля и луга пестрели несметными стадами, которые, остолбенев со страху, забыв о корме, в общем предчувствии погибели соединяли печальное свое мычанне с ревом львов, тигров и тапиров, трепещущих в лесах и вертепах; воздух гремел смешанным криком непостижимого множества птиц, летавших густыми стаями в поминутно усиливающемся мраке — когда тяжелая масса воздушного камня с быстротою молнии хлынула на всю страну!.. Человечество и животное царство изрыгнули один внезапный, хрипливый стон, и вместе с этим стоном были размозжены слетевшими с неба горами, которые обрызганным их кровию основанием мигом сплюснули, раздавили и погребли навсегда быть надежды, гордость, славу и злобу бесчисленных миллионов существ. На необозримой могиле пятидесяти самолюбивых народов и пятисот развра-

ных городов вдруг соорудился огромный, неприступный, гремящий смертельным эхом и скрывающий куполы свои за облаками гробовый памятник, на котором судьба вселенной разбросанными в беспорядке гранитными буквами начертала таинственную надпись: «Здесь покоится половина органической жизни этой тусклой, зеленой планеты третьего разряда».

Мы стояли на утесе и в унылом безмолвии долго смотрели на валяющийся в углу нашего горизонта бледный, безобразный труп кометы, вчера еще столь яркой, блистательной, прекрасной, вчера еще двигавшейся собственною силою в пучинах пространства и как бы нарочно прилетевшей из отдаленных миров, от других солнц и других звезд, чтоб найти для себя, возле нас смертных, гроб на нашей планете и прах свой, перемешанный с нашим прахом, соединить с ее перстью.

Между тем другое явление, происходившее над нашими головами, проникло нас новым страхом. Уже прежде того мы приметили, что солнце слишком долго не клонится к закату: многие утверждали, что оно стоит неподвижно; другим казалось, будто оно шевелится вокруг одной и той же точки; иные, и сам Шимшик, доказывали, что оно, очевидно, сбилось с пути, не знает астрономии и забрело вовсе не туда, куда б ему следовало идти с календарем Академии в кармане. Мы объясняли это событие разными догадками, когда одним разом солнце тронулось с места и, подобно летучей звезде, быстро пробежав остальную часть пути, погрузилось за небосклоном. В одно мгновение ока зрелище переменилось: свет погас, небо зардело звездами, мы очутились в глубоком мраке, и крик отчаяния раздался кругом нас в горах. Мы полагали, что уже навсегда простились с благотворным светилом; что после истребления значительной части рода человеческого та же планета, на которой мы родились, назначена быть его остаткам темницею, где мы должны ожидать скоро смертного приговора. Невозможно изобразить горести, овладевшей нами при этой ужасной мысли. Мы провели несколько часов в этом положении; но тогда как некоторые из нас уже обдумывали средства, как бы пристроить остаток своего быта в мрачном заключении на нашей несчастной

планете, волны яркого света нечаянно залили наше зрение ослепительным блеском. Мы все поверглись на землю и долго не смели раскрыть глаз, опасаясь быть поражены его лучами. Наконец мы удостоверились, что он происходит от солнца, которое непонятным образом взошло с той стороны, где незадолго пред тем совершился его внезапный закат. Достигнув известной высоты, оно вдруг покатилось на юг; потом, поворотясь назад, приняло направление к северо-востоку. Не доходя до земли, оно поколебалось и пошло скользить параллельно черте горизонта, пока опять не завалилось за него недалеко от южной точки. Таким образом, в течение пятнадцати часов оно восходило четырежды, всякий раз в ином месте; и всякий раз, исчертив его кривыми линиями запутанного пути своего, заходило на другом пункте и ввергало в ночной мрак изумленные и измученные наши взоры.

Несмотря на ужас, распространенный в нас подобным ниспровержением вечного порядка мира, нельзя было не догадаться, что не солнце так странно блуждает над нами, но что земной шар, обремененный непомерною тяжестью кометы, потерял свое равновесие, выбился из прежнего центра тяготения и судорожно шатается на своей оси, ища в своей огромной массе, увеличенной чуждым телом, нового для себя центра и новой оси для суточного своего обращения. В самом деле, мы видели, что при каждом появлении солнца точка его восхождения более и более приближалась к северу, хотя закат не всегда соответствовал новому востоку и падал попеременно по правую и по левую сторону южного полюса. Наконец в пятый раз солнце засияло уже на самой точке севера и, пробежав зигзагом небесный свод в семь часов времени, закатилось почти правильно, на юге. Потом наступила долгая ночь, и после одиннадцати часов темноты день опять начал брезжиться на севере. Солнце взошло, попрежнему предшествуемое прекрасною зарею: мы приветствовали его радостным кликом, льстя себя мыслию, что теперь скоро будет конец нашим страданиям, все придет в порядок, и мы возвратимся на равнины. Один только Шимшик не мог утолить своей горести после потери прежнего востока и прежнего запада. Он говорил, что не перенесет такого безбожного пере-

ворота в астрономии и географии: двести сорок пять лет своей жизни употребил он на составление таблиц долготы и широты трех тысяч известнейших городов и местечек, а теперь, при перемене полюсов, все его исчисления, вся его ученость, заслуги перед потомством и право на полный пенсион от современников не стоили старой трялки!..

Я постигал печаль Шимшика, но он, окаянный, не умел оценить моей. Увы!.. Муж, от которого жена бежала с любовником во время падения кометы на Землю, во сто раз несчастнее всех астрономов. Ему скажут, что они взяли направление к востоку; он побежит за ними на восток, руководствуясь течением солнца; вдруг полюсы переменят свое положение, и он очутится на севере, в девяноста географических градусах от своей сожительницы. Это слишком жестоко!.. Сообразив все дело, я убедился, что в настоящих отношениях Земли к Солнцу нечего мне напрасно и искать своей жены.

Вдруг погода переменилась. Воздух стал затмеваться некоторым родом прозрачного, похожего на горячий пар, тумана, и крепкий запах серы поразил наше обоняние. Мы уже приобрели было некоторую привычку к необыкновенным явлениям и сначала мало заботились об этой перемене погоды, которая, впрочем, до тех пор удивляла нас своим постоянством. Скоро солнце сделалось тускло, кроваво, огромно, как во время зимнего заката, и в верхних слоях атмосферы начало мелькать пламя синего и красного цветов, напоминающее собою пыль зажженного спирта. Через полчаса пламя так усилилось, что мы были как бы покрыты движущимся огненным сводом.

— Воздух горит! — воскликнули многие из моих соседей.

— Воздух горит!!.— раздалось по всему хребту.— Мы пропали!

Основательность этого замечания не подлежала сомнению: воздух был подожжен!.. И нетрудно даже было предвидеть, какую смерть готовила нам ожесточенная природа: мы долженствовали сгореть живыми, дышать пламенем, видеть заживо внутренности наши сожженными, превращающимися в уголь. Какое положение!.. Какая будущность!..

Пожар атмосферы принял страшное напряжение. Вместо прежних мелких и частых клочков пламени огонь пылал на небе огромными массами, с оглушительным треском; и хотя вовсе не было облаков, дождь лился на нас крупными каплями. Но пламя удерживалось на известной высоте, отнюдь не понижаясь к земле. Дыхание сделалось трудным; все лица облеклись смертельною бледностью. У многих голова начала кружиться: они падали на землю и в ужасных корчах, сопровождаемых поносом и рвотою, испускали дух, не дождавшись конца представления. Смерть окружила нас своим волшебным жезлом. В течение нескольких часов большая половина спасшегося в горах народа сделалась ее жертвою, покрыв долины и утесы безобразными, отвратительными трупами. Те, которые выдержали первый ее приступ на последнее убежище скудных остатков нашего рода, были повержены в опьянение, не чуждое даже некоторой веселости. Я упал без чувств на камень.

Не знаю, как долго оставался я в этом положении, но, очнувшись, я почувствовал в себе признаки сильного похмелья. Мои товарищи чувствовали то же, хотя из них только немногие были свидетелями моего пробуждения. Мы страдали головною болью, тошнотою и оцепенением членов и в то же время были расположены к резвости. Поселение, которому я принадлежал, состоявшее только из пятидесяти человек мужчин, женщин и детей, в одно это происшествие лишилось тридцати двух душ; и мы тотчас пустились обнаруживать нашу новую и для нас самих непонятную склонность к шалостям, бросая с неистовым хохотом трупы усопших наших товарищей с обитаемого нами утеса в пропасть, лежащую у его подножия. Разыгравшись, мы хотели было швырнуть туда же и нашим астрономом, Шимшиком, и простили его потому только, что он обещал кувыркнуться три раза перед нами для нашей потехи. Но если б Саяна попалась мне тогда в руки, я бы с удовольствием перебросил ее чрез весь Сасахаарский хребет, так, что она очутилась бы на развалинах кометы.

Вместе с этою злобною веселостью в сердце ощущали мы еще во рту палящий, кислый вкус, очевидно, происходивший от воздуха, ибо, несмотря на все упот-

ребленные средства, никак не могли от него избавиться. Но гораздо изумительнейшее явление представлял самый воздух: во время нашего опьянения он очистился от туманного пара и от пылавшего в нем пламени, но совершенно переменил свой цвет и казался голубым, тогда как прежде природный цвет неба в хорошую погоду был светло-зеленый. Шимшик, у которого дело никогда не стало за причиною, объяснил нам эту перемену тем, что, кроме плотной, каменной массы ядра, комета принесла с собою на Землю свою атмосферу, составленную из паров и газов, большею частию чуждых нашему воздуху: в том числе, вероятно, был один газ особенного рода, одаренный кислым и палящим началом; и он-то произвел этот пожар в воздухе, который от смещения с ним пережегся, окис и даже преобразовал свою наружность. Шимшик, может статься, рассуждал и правильно, хотя он много врал, бездельник!..

Как бы то ни было, мы скоро удостоверились, что наш прежний, сладкий, мягкий, благодетельный, целебный воздух уже не существует; что прилив новых летучих жидкостей совсем его испортил, превратив в состав безвкусный, вонючий, пьяный, едкий, разрушительный. И в этом убийственном воздухе назначено было отселе жить роду человеческому!.. Мы с трудом вдыхали его в наши груди и, вдохнув, с отвращением немедленно выдыхали вон. Мы чувствовали, как он жжет, грызет, съедает наши внутренности. В одни сутки все мы состарились на двадцать лет. Женщины были в таком отчаянии, что рвали на себе волосы и хлипали без умолку. Мы с Шимшиком только вздохнули при мысли, что в этом воздухе жизнь человеческая должна значительно сократиться и что людям вперед не жить в нем по пятисот и более лет[1].

[1] Объяснение, данное сочинителем этой надписи касательно причины пожара в воздухе, весьма основательно. Изо всего явствует, что предпотопный воздух был составлен из газов, неизвестных в нынешнем воздухе, и что в нем не было кислотвора; или если и был кислотвор, то в другой пропорции. Я теперь знаю, из чего он был составлен, и издам о том диссертацию. Кстати: написать из Якутска в Геттингенский университет об ученых заслугах гофрата Шимшика, знаменитого предпотопного химика и астронома, и предложить, чтоб его бюст был поставлен в университетской библиотеке.— *Приписка на поле рукою доктора Шпурцманна.*

Но эта мысль недолго могла огорчать нас: в два дня мы так привыкли к новому воздуху, что не примечали в нем разницы с прежним, а смерть уже стояла пред нами в новом и еще грознейшем виде.

В горах пронесся слух, что Внутреннее Море (где ныне Киргизская и Монгольская Степи[1]) выступило из своего ложа и переливается в другую землю; что оно уже наводнило все пространство между прежним своим берегом и нашими горами. Выходцы, занимавшие нижнюю полосу хребта, оставив свои поселения, двинулись толпами на наши, устроенные почти в половине его высоты, внутри самой цепи. Они принесли нам плачевное известие, что подошва его уже кругом обложена морем, вытолкнутым из пропастей своих насильственным качанием земного шара, и что мы совершенно отделены водою от всего света. Тревога, беспорядок, отчаяние сделались всеобщими: можно сказать, что с той минуты началась наша мучительная кончина. Мы расстались с надеждою.

Свирепый ветер с обильным дождем и вьюгою разметал по воздуху и пропастям непрочные наши приюты и нас самих. Десять дней сряду нельзя было ни уснуть покойно, ни развести огня, чтоб согреться и сжарить кусок мяса. Все это время держались мы обеими руками за деревья, за кусты и скалы и нередко, вместе с деревьями, кустами и скалами, были опрокидываемы в бездны. Между тем вода не переставала подниматься, волны вторгались с шумом во все углубления и ущелья, и мы взбирались на крутые стены хребта всякий день выше и выше. Верхи утесов, уступы и площадки гор были завалены народом, сбившимся в плотные кучи, подобно роям пчел, висящим кистями на древесных ветвях. Все связи родства, дружбы, любви, знакомства были забыты: чтоб проложить себе путь или очистить уголок места, те, которые находились в середине толпы, без разбора сталкивали в пропасти стоявших по краям утесов. Оружие сверкало в руках у каждого, и сопротивление слабейшего немедленно омывалось его кровию. До тех пор мы питались мясом спасенных нами животных, особенно лошадиным, верблюжьим и лофиодонтовым; но

[1] Пояснение доктора Шпурцманна.

теперь и этого у нас не стало. Ежели кто-нибудь случайно сохранил малейший запас живности, другие, напав на него шайкою, похищали у несчастного последний кусок, нередко вместе с жизнью, и потом резались между собою за исторгнутую из чужих уст пищу. Разбои, убийства, насилия, мщение ежечасно целыми тысячами уменьшали количество горного народонаселения, еще не истребленного ядом повальных болезней и неистовством стихий. Казалось, будто люди поклялись искоренить свой род собственными своими руками, предоставив всеобщей погибели природы только труд стереть с планеты следы их злобы.

Наконец начали мы пожирать друг друга . . . . . [1]

Личные мои похождения немного отличались от общего рода жизни выходцев в те дни остервенения и горя. Спасаясь с одной горы на другую, я потерял своего мамонта и разлучился с прежними товарищами. С тех пор блуждал я по разным толпам, к которым судьба меня присоединяла. Мы жили как звери, вместе терзая зубами общий кусок добычи и без предварительного знакомства считая короткими знакомцами всех, принадлежащих нашему стаду, а не принадлежащих к нему — врагами, которых следовало кусать, душить и обращать себе на пищу. Но в одном из тех стад случилось со мною странное происшествие, которое дало моему быту несколько различное направление. У меня увидели десяток прекрасных разноцветных голышей, заброшенных в наши горы каменным дождем кометы и скоро вошедших у нас в большую цену; и как я не хотел добровольно поделиться ими, то мои злосчастные ближние, удрученные несчастием, страхом и голодом, трепещущие перед лицом неизбежного рока, чуть не разорвали меня по кускам за эти милые блестящие игрушки. Я бросил им голыши и ушел от них подальше.

Скитаясь по горам, я искал случая неприметно втереться в какую-нибудь толпу. На уступе одной горы видна была горстка народа. Она находилась в

[1] Строки, наполненные точками, означают те места надписи, которые время совсем почти изгладило и где никак нельзя было разобрать иероглифов.— *Примечание доктора Шпурцманна.*

страшном замешательстве, и я поспешил пристать к ней, не обратив на себя внимания. Причиною ее тревоги было неожиданное нападение огромного тигра, который из среды ее похитил одного человека. Подобные приключения случались с нами поминутно. Львы, тигры, гиены, мегалосауры и другие колоссальные звери, вытесненные из лесов и пещер водою, поднимались на горы вместе с нами: с некоторого времени они производили в наших остатках неслыханные опустошения и уже не довольствовались нашими трупами, но искали живых людей и теплой крови. Пользуясь волнением внезапно напуганных умов, я проникнул внутрь толпы, где несколько человек, стоявших полукружием, с любопытством поглядывало на землю. На земле не было, однако, ничего особенного: женщина лежала в обмороке; подле стоял на коленях мужчина, который нежно держал ее в своих объятиях и освежал лицо ее водою. Я подошел поближе и, сложив руки назад, стал зевать на них наряду с прочими.

Как?.. Возможно ли?.. Да это она!..

— Саяна!.. Саяна!.. Жена моя!!.— заревел я в исступлении среди изумленных незнакомцев и, подобно голодному тигру, прыгнул издали на занимательную чету с обнаженным кинжалом в руке. Схватив за волосы нежного обнимателя, я отвалил голову его назад и вонзил в горло убийственное железо по самую рукоятку. Кровь брызнула из него ключом на коварную. Из свидетелей никто не сказал ни слова. Я, не дожидаясь объяснений, поднял Саяну на руки и помчался с нею по скату горы.

Я не сомневался, что умерщвленный мною мужчина был ее обольститель. Впоследствии оказалось противное. Настоящий друг Саяны был за несколько минут до моего прибытия похищен огромным тигром, а тот, кого принес я в жертву моей мести, не имел прежде никаких с нею сношений и только из учтивости к женщинам старался восстановить в ней чувства. Итак, я убил его понапрасну?.. Очень сожалею!.. Не обнимай чужой жены, если ты ей не любовник!

Я продолжал нести Саяну. Она раскрыла глаза, вздохнула с тяжелым стоном и опять их сомкнула, не узнав во мне законного своего обладателя. Спустя некоторое время она произнесла томным голосом чье-то

незнакомое мне имя. В ответ на незнакомое имя я хотел было бросить ее в наполненную водою пропасть, по краю которой пробирался. Я уже хотел бросить, бросить со всей силы, с тяжестью вечного проклятия на шее,— и вместо того сильно прижал ее к своему сердцу... Мне суждено быть несчастным!.. Я опять был влюблен, и... опять ревнив!

Таща на плечах по острым, почти непроходимым скалам бремя своих обманутых надежд, своей страсти и своей обиды, я изнемогал, обливался кровавым потом, напрягал последние силы. Я спешил за гору, надеясь там найти уединенное место; но у самого поворота увидел всю площадку утеса, образовавшего бок горы, покрытую бурным собранием народа. Зрелище ужасное!.. Утес почти параллельно висел над ущелием, уже потопленным водою, и опасно потрясался от всякого удара волн, разражавшихся об его основание; на утесе люди, в оглушительном шуме, дрались, резались и терзали друг друга — за что ж? — за горстку уже бесполезной для них персти! Комета при своем разрушении навалила на это место слой желтого блестящего песку, о котором упомянул я выше, неизвестного на земле до ее падения; и эти безумцы, воспылав жадностью к дорогому дару, принесенному им из других миров, может быть, на погибель всему роду человеческому, кинулись на него толпами; стали копаться в нем как дети в гряде или как гиены в людских могилах; исторгали его один у другого, орошали своею кровию, скользили в крови, падали на землю и, привставая, израненные и полураздавленные, еще с восторгом приподнимали вверх пригоршни замешанного их кровию металлического песку, которые удалось им захватить под ногами других искателей. И я, уходя от людей, нечаянно очутился среди такого разъяренного алчностью и разбоем сборища!.. Я не знал, куда деваться. Опасаясь быть убитым, как посягатель на сокровища, ниспосланные им судьбою, и не видя возможности иначе пробраться через площадку на ту сторону утеса, я стал карабкаться на гору повыше площадки, с кладом своим на руках; но едва пробежал шагов двести, как вдруг зыблющийся утес с людьми и с желтым блестящим песком обрушился в ущелие. Распрыснувшиеся с шумом пучины окропили меня и

всю гору пеною. Камни, покрывающие горную стену, одним разом осунулись под моими стопами; я уронил Саяну из рук и полетел вниз, катясь по жестким обломкам гранита. Испуг и боль отняли у меня чувства...

. . . . . .

Когда пришел я в себя, голова моя, вся заплесканная кровию, лежала на коленях у доброй моей Саяны. Она не оставила меня в опасности. Увидев, что, прокатясь значительное пространство, я уперся в низкую скалу на самом краю вновь образовавшегося провала, она благородно пожертвовала своим страхом для моего спасения, спустилась ко мне по крутому, оборванному скату, оттащила меня от пропасти и положила в удобнейшем месте. Я не помнил ни что со мною сделалось, ни где я нахожусь. Долго не смел я раскрыть глаз по причине жестокой боли от ушибов по всем членам; но мне грезилось, будто ощущаю на челе легкий, приятный щекот робких поцелуев. Вместе с дневным светом увидел я подле себя — внизу — неизмеримую бездну с гремящими волнами, по которым носилось множество человеческих трупов,— вверху, над моим лицом, милое лицо Саяны. Я взглянул на него без любви, с простым, холодным чувством признательности, и в то самое время две крупные слезы, канувшие с ресниц преступницы, закипели на моих щеках. В жгучем их прикосновении я узнал огонь раскаяния, который плавит сердца и очищает их от обиды. Все было забыто: я опять любил в ней свою любовницу, невесту, жену... Но как она переменилась! Как состарилась в этом новом воздухе! Тому три недели она сияла всеми прелестями юности, красы, невинности, а теперь казалась она почти старушкою. Но нужды нет! Она все еще нравилась мне чрезвычайно.

Как скоро усмирилась первая боль и я мог приподняться, мы опять стали карабкаться на гору и, пособляя друг другу, достигли до одного возвышенного утеса, где решились провести ночь. Усталость и открытый в сердцах наших остаток прежнего счастия ниспослали нам крепительный сон, который застиг и оставил нас в объятиях друг у друга на жесткой каменной почве. На следующее утро я совершенно был уверен в добродетели Саяны, в чистоте ее намерений и даже в том,

что в течение целых трех недель нашей разлуки она никого в свете, кроме меня, не любила. Я никак не думал, чтобы подобная уверенность могла когда-либо забраться в мое сердце!! Однако ж это случилось: с влюбленными мужьями, особенно во время великих переворотов в природе, иногда случаются совсем невероятные вещи.

Но пора было подумать о нашем положении. Мы были довольны нашими чувствованиями, но голодны желудком и лишены всякого сообщения с людьми. Ночью вода поднялась так высоко, что цепь Сасахаарских гор была наконец вполне расторгнута: все огромное их здание потонуло в бурных пучинах; по хребтам средних высот уже свободно катились волны, и только вершины высших гор еще не были поглощены странствующим в чужие земли океаном: они посреди его образовали множество утесистых островов, представлявших вид обширного архипелага или вид кладбища скончавшихся государств прежнего мира. Всякая вершина сделалась особою страною, и судьба, играющая нами, ведшая нас по взволнованной земле, чрез отравленный воздух, чрез огонь, прямо в воду, как бы в насмешку над нашим политическим тщеславием вздумала еще согнанные в кучу остатки нашего племени разделить на несколько десятков независимых народов, дав каждому из них внаймы на короткие сроки по куску гранита для устройства мгновенных отечеств. Мы удобно могли видеть все, что происходило на ближайших вершинах, в новых обществах, созданных этою жестокою игрою: мы видели людей слабых и людей дерзких; людей, искусно ползущих вверх на четвереньках, и людей прямых, неловких, стремглав катящихся в бездны; людей, трудящихся вотще, людей, беззаботно пользующихся чужим трудом, людей гордых, людей злых, людей несчастных и людей, истребляющих других людей. Мы видели все это собственными глазами; и как теперь людей не стало, то можем засвидетельствовать, что они были людьми до последней минуты своего существования.

Гора, на которой находился я с Саяною, была высочайшая и самая неприступная во всем Сасахаарском хребте. Кроме птиц и нескольких заблудившихся животных, только мы вдвоем, и то случайно, остались ее

жителями, когда она превратилась в остров. Одиночество не столько было нам страшно, сколько обеспокоивал нас совершенный недостаток пищи. Первые мучения голода утолили мы листьями мелкого кустарника, росшего в одной трещине, и опять были довольны собою, довольны друг другом,— даже почти довольны нашею судьбою. Надежда последними своими лучами еще раз озарила наши сердца. В дарованном нам темном и пустынном уголке жизни мы с радостью увидели светлую частицу будущности, рдеющую бледным огнем древесной гнили, и при этом обманчивом свете пытались еще чертить обширные планы счастия — одного предоставленного нам счастия — умереть вместе!

Объев все листья найденного нами кустарника, мы отправились искать приюта в новом нашем отечестве и не замедлили познакомиться, по-видимому, с единственною нашею соотечественницею — гиеною. Дело само по себе было ясно: или она нас, или мы ее должны были пожрать непременно. Мой кинжал решил неравную борьбу в нашу пользу: я погрузил его в разинутую пасть гиены, когда она бросилась мне на грудь, и хищный зверь сделался нашею добычею. С каким удовольствием, после кустарных листьев, ели мы вязкое и вонючее его мясо! Мы кормились им восемь дней и находили, что, с любовью в сердце, сладка и сырая гиена.

Отыскав почти у самой вершины горы большую, удобную пещеру, ту самую, на стенах которой черчу теперь эти иероглифы, мы избрали ее нашим жилищем. Дожди с сильным ново-южным ветром продолжались без умолку, и вода все еще поднималась, всякий день поглощая по нескольку горных вершин, так что на шестое утро из всего архипелага оставалось не более пяти островов, значительно уменьшенных в своем объеме. На седьмой день ветер переменился и подул с нового севера, прежнего запада нашего. Спустя несколько часов все море покрылось бесчисленным множеством волнуемых на поверхности воды странного вида предметов, темных, продолговатых, круглых, походивших издали на короткие бревна черного дерева. Любопытство заставило нас выйти из пещеры, чтоб приглядеться к этой плавающей туче. К крайнему изумлению, в этих бревнах узнали мы

нашу блистательную армию, ходившую войною на негров, и черную, нагую рать нашего врага, обе заодно поднятые на волны, вероятно, во время сражения. Море выбросило на наш берег несколько длинных пик, бывших в употреблении у негров (Новой Земли). Я взял одну из них и притащил к себе прекрасный плоский ящик, плававший подле самой горы. Разломав его о скалу, мы нашли в нем только высокопарное слово, сочиненное накануне битвы для воспламенения храбрости воинов. Мы бросили высокопарное слово в море. Меж тем ветер подул с другой стороны, и обе армии, переменив черту движения, понеслись на восток.

Наконец последний остров потонул в море, и мы догрызали последнюю кость гиены. Одна лишь нами обитаемая вершина еще торчала из вздутых пучин. Итак, мы вдвоем остались последними жителями стран, завоеванных океаном у человека!.. Но берег моря уже был в пятидесяти саженях от нашей пещеры, и мы хладнокровно рассчитывали, сколько часов еще остается нам, законным наследникам прав нашего рода, господствовать над мятежною природою. Признаюсь . . . . . .

Стена IV

I

По правую сторону входа

. . . . . .

. . . . . потоп наскучил мне ужасно. Сидя голодные в пещере, от нечего делать мы начали ссориться. Я доказывал Саяне, что она меня не любит и никогда не любила; она упрекала меня в ревности, недоверчивости, грубости и многих других уголовных в супружестве преступлениях. Я молил Солнце и Луну, чтоб это скорее чем-нибудь да кончилось . . . . .

. . . . . увидели мы заглядывающую в отверстие пещеры длинную, безобразную змеиную голову, вертящуюся на весьма высокой и прямой как пень шее. Она держала в пасти человеческий труп и с любопытством смотрела на нас большими, в пядень,

глазами, в которых сверкал страшный зеленый огонь. Мы вдруг перестали ссориться. Саяна спряталась в угол; я вскочил на ноги, схватил пику и приготовился к защите. Но голова скрылась за камнями, накопленными у входа в пещеру. Мы ободрились, подошли к отверстию и с ужасом открыли пробирающегося к нам огромного плезиосаура длиною по крайней мере шагов в тридцать, на четырех чрезвычайно высоких ногах, с коротким, но толстым хвостом и двумя большими кожаными крыльями, стоящими в виде двух треугольных парусов на покрытой плотною чешуею спине. Грозное чудовище, без сомнения выгнанное водою из своего жилища, находившегося где-нибудь на той же горе, уронив труп из пасти, карабкалось по шатким камням с очевидным намерением завладеть нашим убежищем и нас самих принести в жертву своей лютости. Я почувствовал невозможность сопротивляться ему оружием; но тяжелые, неповоротливые его движения по съеженной набросанными скалами и почти отвесной поверхности внушили мне другое средство к отпору. При пособии Саяны я обрушил на него большой камень, лежавший весьма непрочно на пороге пещеры. Столкнутая с места глыба увлекла за собою множество других камней под ноги плезиосауру, и опрокинутый ими дракон скатился вместе с ними в море.

Мы нежно поцеловались с Саяною, поздравляя друг друга с избавлением от такой опасности, и снова были хорошими приятелями; мы даже произнесли торжественный обет никогда более не ссориться.

Освободясь от незваного гостя, мы подошли к трупу, который он у нас оставил в память своего посещения.

Представьте себе наше изумление: мы узнали в этом трупе почтеннейшего Шимшика! Он, видно, погиб очень недавно, ибо тело его было еще совершенно свежо. Сказав несколько сострадательных слов об его кончине, мы решились — голод рвал наши внутренности — мы решились его съесть. Я взял астронома за ногу и втащил его в пещеру.

Этот человек нарочно был создан для моего несчастия!.. Едва приступил я к осмотру худой его туши, как вдруг мы вспомнили о приключении под кроватью, где он, наблюдая затмение, расстроил первые порывы на-

шего счастия, и опять рассорились. Саяна воспользовалась этим предлогом, чтоб поразить меня упреками. Ей нужен был только предлог, ибо она уже скучала со мною. Одиночество всегда было для нее убийственно, и потоп казался бы ей очень-очень милым, очень веселым, если б могла она утонуть в хорошем обществе, в блистательном кругу угодников ее пола, которые вежливо подали б ей руку в желтой перчатке, чтоб ловче соскочить в бездну. Я проникал насквозь ее мысли и желания и насказал ей кучу жестких истин, от которых она упала в обморок. Какой характер!.. Мучить меня капризами даже во время потопа!.. Как будто не довольно перенес я от предпотопных капризов!.. А всему этому причиною этот проклятый Шимшик, который и по смерти не дает мне покоя!.. С досады, с гнева, бешенства, отчаяния я схватил крошечного астронома за ноги и швырнул им в море. Пропади ты, несчастный педант!.. Лучше умереть с голоду, чем портить себе желудок худою школярщиною, просяклою чернильными спорами.

Я пытался однако ж доставить моей подруге облегчение, но она отринула все мои услуги. Пришед в себя, она плакала и не говорила со мною. Я поклялся вперед не мешать ее горести. Мы поворотились друг к другу спиною и так провели двое суток. Приятный образ провождения времени в виду довершающегося потопа!.. Между тем голод повергал меня в исступление: я кусал самого себя.

— Саяна!..— вскричал я, срываясь с камня, на котором сидел, погруженный в печальной думе.— Саяна!.. Посмотри! вода уже потопила вход в пещеру.

Она оборотилась к отверстию и смотрела бесчувственными, окаменелыми глазами.

— Видишь ли эту воду, Саяна?..— примолвил я, протягивая к ней руку.— То наш гроб!..

Она все еще смотрела страшно, неподвижно, молча и как будто ничего не видя.

— Ты не отвечаешь, Саяна?..

Она закричала сумасшедшим голосом, бросилась в мои объятия и сильно, сильно прижала меня к своей груди. Это судорожное пожатие продолжалось несколько минут и ослабело одним разом. Голова ее упала взничь на мою руку; я с умилением погрузил взор свой

в ее глаза и долго не сводил его с них. Я видел внутри ее томные движения некогда пылкой страсти самолюбия; видел сквозь сухое стекло глаз несчастной, как в душе ее, подобно волшебным теням на полотне, проходили туманные образы всех по порядку прежних ее обожателей. Вдруг мне показалось, будто в том числе промелькнул и мой образ. Слезы прыснули у меня дождем: несколько из них упало на ее уста, и она с жадностью проглотила их, чтоб утолить свой голод. Бедная Саяна!.. Я спаял мои уста с ее устами искренним, сердечным поцелуем и несколько времени оставался без памяти в этом положении. Когда я их оторгнул, она была уже холодна, как мрамор... Она уже не существовала!

Я рыдал целый день над ее трупом. Несчастная Саяна!.. Кто препятствовал тебе умереть счастливою на лоне истинной любви?.. Ты не знала этой нежной, роскошной страсти!.. Нет, ты ее не знала, и родилась женщиною только из тщеславия!..

Я, однако же, и тогда еще обожал ее, как в то время, когда произносили мы первую клятву любить друг друга до гробовой доски. Я осыпал тело ее страстными поцелуями... Вдруг почувствовал я в себе жгучий припадок голода и в остервенении запустил алчные зубы в белое, мягкое тело, которое осыпал поцелуями... Но я опомнился и с ужасом отскочил к стене. . . . .

2

По левую сторону входа

Вода остановилась на одной точке и выше не поднимается. Я съел кокетку! . . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

15 числа шестой луны. Вода значительно упала. Несколько горных вершин опять появилось из моря в виде островков. . . . . .

. . . . . .

19 числа. Море, при ново-северном ветре, вчера покрылось частыми льдинами.

. . . . . .

26 числа. Сегодня окончил я вырезывать кинжалом на стенах этой пещеры историю моих похождений.

28 числа. Кругом образуются ледяные горы. . . . . .

30 числа. Стужа усиливается. . . . . .

Постскрипт. Я мерзну, умира...»

Этими словами прекращается длинная иероглифическая надпись знаменитой пещеры, именуемой Писанною Комнатою, и мы тем кончили наш перевод. Мы трудились над ним шесть дней с утра до вечера, израсходовали пуд свечей и две дести бумаги, выкурили и вынюхали пропасть табаку, измучились, устали, чуть не захворали; но наконец кончили. Я соскочил с лесов, доктор встал из-за столика, и мы сошлись на середине пещеры. Он держал в руках два окаменелые человеческие ребра и звонил в них в знак радости, говоря:

— Знаете ли, барон, что мы совершили великий, удивительный подвиг? Мы теперь бессмертны и можем умереть хоть сегодня. Вот и кости предпотопной четы... Эта кость женина: в том нет ни малейшего сомнения. Посмотрите, как она звонка, когда ударишь в нее мужниною костью!..

Почтенный Шпурцманн был в беспредельном восхищении от костей, от пещеры, от надписи и ее перевода. Я одушевлялся тем же чувством, соображая вообще необыкновенную важность открытий, которые судьба позволила нам сделать в самой отдаленной и весьма редко приступной стране Севера; но не совсем был доволен слогом перевода. Я намекнул о необходимости исправить его общими силами в Якутске по правилам риторики профессора Толмачева и подсыпать в него несколько пудов предпотопных местоимений *сей* и *оный,* без которых у нас нет ни счастия, ни крючка, ни изящной прозы.

— Сохрани бог! — воскликнул доктор,— не надобно переменять ни одной буквы. Это слог настоящий иероглифический, подлинно египетский.

— По крайней мере, позвольте прибавить десяток ископаемых, окаменелых прилагательных *вышеупомянутый, реченный* и так далее: они удивительно облаго-

раживают рассказ и делают его достойным уст думного дьяка.

Шпурцманн и на то не согласился.

Я принужден был дать ему слово, что без его ведома не коснусь пером ни одной строки этого перевода.

— Но что вы думаете о самом содержании надписи? — спросил я.

— Я думаю,— отвечал он важно,— что оно драгоценно для науки, для всего просвещенного света. Оно объясняет и доказывает множество любопытных и поныне не решенных вопросов. Во-первых, имеете вы в нем верное, ясное, подлинное, доселе единственное наставление о том, что происходит в потоп, как должно производить его и чего избегать в подобном случае. Теперь мы с вами знаем, что нет ничего опаснее...

— Как жениться перед самым потопом! — подхватил я.

— Нет! — сказал доктор.— Как быть влюбленным в предпотопную, или ископаемую, жену, uxor fossilis, seu antediluviana. Это удивительный род женщин!.. Какие неслыханные кокетки!.. Признаюсь вам, что по возвращении в Германию я имел намерение жениться на одной молодой, прекрасной девице, которую давно люблю; но теперь — сохрани, господи! — и думать о том не стану.

— Чего же вы боитесь? — возразил я.— Нынешние жены совсем непохожи на предпотопных.

— Как чего я боюсь?..— вскричал он.— А если, женившись, я буду влюблен в свою жену, и вдруг комета упадет на землю и произойдет потоп?.. Ведь тогда моя жена, как бы она добродетельна ни была, по необходимости сделается предпотопною?

— Правда! — сказал я улыбаясь. Моя проницательность не простиралась так далеко, и я вовсе не предусматривал подобного случая.

— А, любезный барон!..— промолвил мой товарищ.— Ученый человек, то есть ученый муж, должен все предусматривать и всего бояться. Зная зоологию и сравнительную анатомию, я в полной мере постигаю несчастное положение сочинителя этой надписи. Известно, что до потопа все, что существовало на свете, было вдвое, втрое, вдесятеро огромнее нынешнего; на земле водились животные, именно мегатерионы, кото-

рых одно ребро было толще и длиннее мачты, что на нашем судне. Возьмите же мегатериново ребро за основание и представьте себе все прочее в природе по этой пропорции: тогда увидите, какие страшные, колоссальные, исполинские долженствовали быть предпотопные капризы и предпотопные неверности и... и... и все предпотопное. Но возвратимся к надписи. Во-вторых, эта надпись подтверждает вполне и самым блистательным образом все ныне принятые теории о великих переворотах земного шара. В-третьих, она ясно доказывает, что египетская образованность есть самая древнейшая в мире и некогда распространялась по всей почти земле, в особенности же процветала в Сибири; что многие науки, как то: астрономия, химия, физика и так далее — уже тогда, то есть до потопа, находились в здешних странах на степени совершенства; что предпотопные, или ископаемые, люди были очень умны и учены, но большие плуты, и прочее, и прочее. Все это удивительно как объясняется содержанием этой надписи. Но я не утаю от вас, барон, одного сомнения, которое...

— Какого сомнения? — спросил я с беспокойством, полагая, что он сомневается в основательности моих иероглифических познаний.

— Того, что это не есть описание всеобщего потопа?

— О! в этом я совершенно согласен с вами.

— Это, по моему мнению, только история одного из частных потопов, которых, как известно, было несколько в разных частях света.

— И я так думаю.

— Словом, это история сибирского домашнего потопа.

— И я так думаю.

— За всем тем, это необыкновенная история!..

— И я так думаю.

Мы приказали промышленникам тотчас убирать леса и кости и готовиться к немедленному отплытию в море, ибо у нас все уже было объяснено, решено и кончено.

Чтоб не оставить Медвежьего Острова без приятного в будущем времени воспоминания, я велел еще принести в пещеру две последние бутылки шампан-

ского, купленного мною в Якутске, и мы распили их вдвоем в Писанной Комнате.

Первый тост был единогласно условлен нами в честь ученых путешествий, которым род человеческий обязан столь многими полезными открытиями. За тем пошли другие.

— Теперь выпьем за здоровье ученой, доброй и трудолюбивой Германии,— сказал я моему товарищу, наливая вторую рюмку.

— Ну, а теперь за здоровье великой, могущественной, гостеприимной России,— сказал мне вежливый товарищ, опять прибегая к бутылке.

— Да здравствуют потопы! — воскликнул я.

— Да здравствуют иероглифы! — воскликнул доктор.

— Да процветают сравнительная анатомия и все умные теории! — вскричал я.

— Да процветают все ученые исследователи, Медвежий Остров и белые медведи!— вскричал доктор.

— Многая лета мегалосаурам, мегалониксам, мегалотерионам, всем мегало-скотам и мегало-животным!!.— возопил я при осьмой рюмке.

— Всем рыжим мамонтам, мастодонтам, переводчикам и египтологам многая лета!!.— возопил полупьяный натуралист при девятой.

— Виват, Шабахубосаар!!! — заревели мы оба вместе.

— Виват, прекрасная Саяна!!!

— Ура, предпотопные кокетки!!!

— Ура, Шимшик!.. Ископаемый философии доктор, ура!.. ура!!!

Мы поставили порожние бутылки и рюмки посреди пещеры и отправились на берег. Я сполз с горы кое-как, без чужой помощи; Шпурцманна промышленники принесли вместе с шестами. Ученое путешествие совершилось по всем правилам.

Мы горели нетерпением как можно скорее прибыть в Европу с нашею надписью, чтоб наслаждаться изумлением ученого света и читать выспренные похвалы нам во всех журналах; но, по несчастию, сильный противный ветер препятствовал выйти из бухты, и мы пробыли в ней еще трое суток, скучая смертельно без дела и без шампанского. На четвертое утро уви-

дели мы судно, плывущее к нам по направлению от Малого Острова.

— Не Иван ли Антонович это? — воскликнули мы оба в один голос.— Уж, наверное, он! Какой он любезный!..

— Вот было бы приятно повидаться с ним в этом месте, на поприще наших бессмертных открытий. Не правда ли, доктор?

— Ja wohl![1] мы могли бы сообщить ему много полезных для него сведений.

Около полудня судно вошло в бухту. В самом деле это был он — Иван Антонович Страбинских с своею пробирною иглою. Как хозяева острова в отсутствии белых медведей, мы встретили его завтраком на берегу.

Выпив две предварительных рюмки водки и закусив хлебом, обмакнутым в самом источнике соли — солонке, он спросил нас, довольны ли мы нашею экспедициею на Медвежий Остров?

— О! как нельзя более! — воскликнул мой товарищ, Шпурцманн.— Мы собрали обильную жатву самых новых и важных для наук фактов. А вы, Иван Антонович, что хорошего сделали в устье Лены?

— Я исполнил мое поручение,— отвечал он скромно,— и надеюсь, что мое благосклонное начальство уважит мои труды. Я обозрел почти всю страну и нашел следы золотого песку...

— Я знал еще до прибытия вашего сюда, что вы нашли там золотоносный песок,— сказал доктор с торжественною улыбкою.

— Как же вы могли знать это? — спросил Иван Антонович.

— Уж это мне известно! — примолвил доктор.— Поищите-ка хорошенько, и вы найдете там еще алмазы, яхонты, изумруды и многие другие диковинки. Я не только знаю, что там есть эти камни и золотой песок, но даже могу сказать вам с достоверностью, кто их положил туда и в котором году.

— Ради бога, скажите мне это! — вскричал Иван Антонович с крайним любопытством.— Я сию минуту пошлю рапорт о том по команде.

— Извольте! Их навалила туда комета при своем обрушении,— важно объявил мой приятель.

[1] Пожалуй! *(нем.)*

— Комета-с?..— возразил изумленный оберберг-пробирмейстер 7-го класса.— Какая комета?

— Да, да! комета! — подтвердил он.— Комета, упавшая на землю с своим ядром и атмосферою в 11879 году, в 17-й день пятой луны, в пятом часу пополудни.

— В 11879 году, изволите вы говорить?..— примолвил чиновник, выпучив огромные глаза.— Какой это эры? сиречь, по какому летосчислению?

— Это было еще до потопа,— сказал равнодушно доктор,— эры барабинской.

— Эры барабинской! — повторил Иван Антонович в совершенном смятении от такого града ученых фактов.— Да!.. Знаю!.. Это у нас в Сибири называется Барабинскою Степью.

Мы захохотали. Торжествующий немецкий Gelehrter [1], сжалясь над невежеством почтенного сибиряка, объяснил ему с благосклонною учтивостью, что нынешняя Барабинская Степь, в которой живут буряты и тунгузы, есть, по всей вероятности, только остаток славной, богатой, просвещенной предпотопной империи, называвшейся Барабиею, где люди ездили на мамонтах и мастодонтах, кушали котлеты из аноплотерионов, сосиски из антракотерионов, жаркое из лофиодонтов, с солеными бананами вместо огурцов, и жили по пятисот лет и более. Иван Антонович не мог отвечать на то ни слова и выпил еще раз водки.

— Знаете ли, любезный Иван Антонович,— присовокупил Шпурцманн, лукаво посматривая на меня,— что некогда в якутской области по всем канцеляриям писали египетскими иероглифами так же ловко и бойко, как теперь гражданскою грамотою? Вы ничего о том не слыхали?..

— Не случалось! — сказал чиновник.

— А мы нашли египетские иероглифы даже на этому острову,— продолжал он.— Все стены Писанной Комнаты покрыты ими сверху донизу. Вы не верите?..

— Верю.

— Не угодно ли вам пойти с нами в пещеру полюбоваться на наши прекрасные открытия?

[1] Ученый *(нем.)*.

— С удовольствием.

— Вы, верно, никогда не видали египетских иероглифов!..

— Как-то не приводилось их видеть.

— Ну так теперь приведется, и вы удостоверитесь собственными глазами в их существовании в северных странах Сибири.

Мы встали и начали собираться в поход.

— Иван Антонович! — воскликнули мы еще оба в одно слово, подтрунивая над его недоверчивостью.— Не забудьте, ради бога, вашего оселка и пробирной иглы!..

— Они у меня всегда с собою, в кармане,— примолвил он спокойно.

Мы пошли.

Прибыв в пещеру, мы вдвоем остановились на средине ее и пустили его одного осматривать стены. Он обошел всю комнату, придвинул нос к каждой стене, привздернул голову вверх и обозрел со вниманием свод и опять принялся за стены. Мы читали в его лице изумление, соединенное с какою-то минералогическою радостью, и толкали друг друга, с коварным удовольствием наслаждаясь его впечатлениями. Он поправил свечу в фонаре и еще раз обошел кругом комнаты. Мы все молчали.

— Да!.. Это очень любопытно!..— воскликнул наконец почтенный обербергпробирмейстер, колупая пальцем в стене.— Но где же иероглифы?..

— Как где иероглифы?..— возразили мы с доктором.— Неужели вы их не видите?.. Вот они!.. Вот!.. И вот!.. Все стены исчерчены ими.

— Будто это иероглифы!!.— сказал протяжным голосом удивленный Иван Антонович.— Это кристаллизация сталагмита, называемого у нас, по минералогии, «глифическим», или «живописным».

— Что?.. Как?.. Сталагмита?..— вскричали мы с жаром.— Это невозможно!..

— Могу вас уверить,— примолвил он хладнокровно,— что это сталагмит, и сталагмит очень редкий. Он находится только в странах, приближенных к полюсу, и первоначально был открыт в одной пещере на острове Гренландии. Потом нашли его в пещерах Калифорнии. Действием сильного холода, обыкновенно сопро-

вождающего его кристаллизацию, он рисуется по стенам пещер разными странными узорами, являющими подобие крестов, треугольников, полукружий, шаров, линий, звезд, зигзагов и других фантастических фигур, в числе которых, при небольшом пособии воображения, можно даже отличить довольно естественные представления многих предметов домашней утвари, цветов, растений, птиц и животных. В этом состоянии, по словам Гайленда, он действительно напоминает собою египетские иероглифы и потому именно получил от минералогов прозвание «глифического», или «живописного». В Гренландии долго почитали его за рунические надписи, а в Калифорнии туземцы и теперь уверены, что в узорах этого минерала заключаются таинственные заветы их богов. Гилль, путешествовавший в Северной Америке, срисовал целую стену одной пещеры, покрытой узорчатою кристаллизациею сталагмита, чтоб дать читателям понятие об этой удивительной игре природы. Я покажу вам его сочинение, и вы сами убедитесь, что это не что иное, как сталагмит, особенный род капельника, замеченного путешественниками в известной пещере острова Пароса и в египетских гротах Самун. Кристаллизация полярных снегов представляет еще удивительнейшее явление в рассуждении разнообразности фигур и непостижимого искусства их рисунка...

Мы были разражены в прах этим нечаянным извержением каменной учености горного чиновника. Мой приятель Шпурцманн слушал его в настоящем остолбенении; и когда Иван Антонович кончил свою жестокую диссертацию, он только произнес длинное в поларшина: Ja!!![1] Я стал насвистывать мою любимую арию:

Чем тебя я огорчила?..

Обербергпробирмейстер 7-го класса немедленно вынул из кармана свои инструменты и начал ломать наши иероглифы, говоря, что ему очень приятно найти здесь этот негодный, изменнический, бессовестный минерал, ибо у нас, в России, даже в Петербурге, доселе не было никаких образцов сталагмита живописного, за присылку которых он, несомненно, получит по

[1] О да!!! *(нем.)*.

команде лестную благодарность. Во время этой работы мы с доктором философии Шпурцманном, оба разочарованные очень неприятным образом, стояли в двух противоположных концах пещеры и страшно смотрели в глаза друг другу, не смея взаимно сближаться, чтобы в первом порыве гнева, негодования, досады по неосторожности не проглотить один другого.

— Барон?..— сказал он.

— Что такое?..— сказал я.

— Как же вы переводили эти иероглифы?

— Я переводил их по Шампольону: всякий иероглиф есть или буква, или метафорическая фигура, или ни фигура, ни буква, а простое украшение почерка. Ежели смысл не выходит по буквам, то...

— И слушать не хочу такой теории чтения!..— воскликнул натуралист.— Это насмешка над здравым смыслом. Вы меня обманули!

— Милостивый государь! не говорите мне этого. Напротив, вы меня обманули. Кто из нас первый сказал, что это иероглифы?.. Кто состряпал теорию для объяснения того, каким образом египетские иероглифы зашли на Медвежий Остров?.. По милости вашей, я даром просидел шесть дней на лесах, потерял время и труд, перевел с таким тщанием то, что не стоило даже внимания...

— Я сказал, что это иероглифы потому, что вы вскружили мне голову своим Шампольоном,— возразил доктор.

— А я увидел в них полную историю потопа потому, что вы вскружили мне голову своими теориями о великих переворотах земного шара,— возразил я.

— Но желал бы я знать,— примолвил он,—каким образом вывели вы смысл, переводя простую игру природы!

На что, естественным образом, отвечал я доктору:

— Не моя же вина, ежели природа играет так, что из ее глупых шуток выходит, по грамматике Шампольона, очень порядочный смысл!

— Так и быть! — воскликнул доктор.— Но я скажу вам откровенно, что, когда вы диктовали мне свой перевод, я не верил вам ни одного слова. Я тотчас приметил, что в вашей сказке кроется пропасть невероятностей, несообразностей...

— Однако ж вы восхищались ими, пока они подтверждали вашу теорию,— подхватил я.

— Я?..— вскричал доктор.— Отнюдь нет!

— А кто прибавил к тексту моего перевода разные пояснения и выноски?..— спросил я гневно.— Вы, милостивый государь мой, даже хотели предложить гофрата Шимшика в ископаемые почетные члены Геттингенского университета.

— Барон!.. не угодно ли табачку!

— Я табаку не нюхаю.

— По крайней мере, отдайте мне ваш перевод: он писан весь моею рукою.

— Не отдам. Я его напечатаю, и с вашими примечаниями.

— Фуй, барон!..— сказал Шпурцманн с неподражаемой важностью.— Подобного рода шутки не водятся между такими известными, как мы, учеными.

На другой день мы оставили Медвежий Остров и возвратились в устье Лены, а оттуда в Якутск. Плавание наше было самое несчастливое: мы претерпели сильную бурю и все время бились с льдинами, покрывавшими море и Лену. Я отморозил себе нос.

Отделавшись от Шпурцманна, я поклялся не предпринимать более ученых путешествий.

[*1833*]

I

Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие. Цирюльник Иван Яковлевич, живущий на Вознесенском проспекте (фамилия его утрачена, и даже на вывеске его — где изображен господин с намыленною щекою и надписью: «И кровь отворяют» — не выставлено ничего более), цирюльник Иван Яковлевич проснулся довольно рано и услышал запах горячего хлеба. Приподнявшись немного на кровати, он увидел, что супруга его, довольно почтенная дама, очень любившая пить кофий, вынимала из печи только что испеченные хлебы.

— Сегодня я, Прасковья Осиповна, не буду пить кофию,— сказал Иван Яковлевич,— а вместо того хочется мне съесть горячего хлебца с луком.

(То есть Иван Яковлевич хотел бы и того и другого, но знал, что было совершенно невозможно требовать двух вещей разом, ибо Прасковья Осиповна очень не любила таких прихотей.) «Пусть дурак ест хлеб; мне же лучше,— подумала про себя супруга,— останется кофию лишняя порция». И бросила один хлеб на стол.

Иван Яковлевич для приличия надел сверх рубашки фрак и, усевшись перед столом, насыпал соль, приготовил две головки луку, взял в руки нож и, сделавши значительную мину, принялся резать хлеб. Разрезавши хлеб на две половины, он поглядел в середину и, к удивлению своему, увидел что-то белевшееся. Иван Яковлевич ковырнул осторожно ножом и пощупал пальцем. «Плотное! — сказал он сам про себя,— что бы это такое было?»

Он засунул пальцы и вытащил — нос!.. Иван Яковлевич и руки опустил; стал протирать глаза и щупать: нос, точно нос! и еще, казалось, как будто чей-то знакомый. Ужас изобразился в лице Ивана Яковлевича. Но этот ужас был ничто против негодования, которое овладело его супругою.

— Где это ты, зверь, отрезал нос? — закричала она с гневом.— Мошенник! пьяница! Я сама на тебя донесу полиции. Разбойник какой! Вот уж я от трех человек слышала, что ты во время бритья так теребишь за носы, что еле держатся.

Но Иван Яковлевич был ни жив ни мертв. Он узнал, что этот нос был не чей другой, как коллежского асессора Ковалева, которого он брил каждую середу и воскресенье.

— Стой, Прасковья Осиповна! Я положу его, завернувши в тряпку, в уголок: пусть там маленечко полежит, а после его вынесу.

— И слушать не хочу! Чтобы я позволила у себя в комнате лежать отрезанному носу?.. Сухарь поджаристый! Знай умеет только бритвой возить по ремню, а долга своего скоро совсем не в состоянии будет исполнять, потаскушка, негодяй! Чтобы я стала за тебя отвечать полиции?.. Ах ты пачкун, бревно глупое! Вон его! вон! неси куда хочешь! чтобы я духу его не слыхала!

Иван Яковлевич стоял совершенно как убитый. Он думал, думал — и не знал что подумать.

— Черт его знает как это сделалось,— сказал он наконец, почесав рукою за ухом.— Пьян ли я вчера возвратился или нет, уж наверное сказать не могу. А по всем приметам должно быть происшествие несбыточное: ибо хлеб — дело печеное, а нос совсем не то. Ничего не разберу!..

Иван Яковлевич замолчал. Мысль о том, что полицейские отыщут у него нос и обвинят его, привела его в совершенное беспамятство. Уже ему мерещился алый воротник, красиво вышитый серебром, шпага... и он дрожал всем телом. Наконец достал он свое исподнее платье и сапоги, натащил на себя всю эту дрянь и, сопровождаемый нелегкими увещаниями Прасковьи Осиповны, завернул нос в тряпку и вышел на улицу.

Он хотел его куда-нибудь подсунуть: или в тумбу

под воротами, или так как-нибудь нечаянно выронить, да и повернуть в переулок. Но на беду ему попадался какой-нибудь знакомый человек, который начинал тотчас запросом: «Куда идешь?» или: «Кого так рано собрался брить?» — так что Иван Яковлевич никак не мог улучить минуты. В другой раз он уже совсем уронил его, но будочник еще издали указал ему алебардою, примолвив: «Подыми! вон ты что-то уронил!» И Иван Яковлевич должен был поднять нос и спрятать его в карман. Отчаяние овладело им, тем более что народ беспрестанно умножался на улице, по мере того как начали отпираться магазины и лавочки.

Он решился идти к Исакиевскому мосту: не удастся ли как-нибудь швырнуть его в Неву?.. Но я несколько виноват, что до сих пор не сказал ничего об Иване Яковлевиче, человеке почтенном во многих отношениях.

Иван Яковлевич, как всякий порядочный русский мастеровой, был пьяница страшный. И хотя каждый день брил чужие подбородки, но его собственный был у него вечно небрит. Фрак у Ивана Яковлевича (Иван Яковлевич никогда не ходил в сюртуке) был пегий; то есть он был черный, но весь в коричнево-желтых и серых яблоках; воротник лоснился, а вместо трех пуговиц висели одни только ниточки. Иван Яковлевич был большой циник, и когда коллежский асессор Ковалев обыкновенно говорил ему во время бритья: «У тебя, Иван Яковлевич, вечно воняют руки!» — то Иван Яковлевич отвечал на это вопросом: «Отчего же бы им вонять?» — «Не знаю, братец, только воняют»,— говорил коллежский асессор, и Иван Яковлевич, понюхавши табаку, мылил ему за это и на щеке, и под носом, и за ухом, и под бородою — одним словом, где только ему была охота.

Этот почтенный гражданин находился уже на Исакиевском мосту. Он прежде всего осмотрелся; потом нагнулся на перила, будто бы посмотреть под мост: много ли рыбы бегает, и швырнул потихоньку тряпку с носом. Он почувствовал, как будто бы с него разом свалилось десять пуд; Иван Яковлевич даже усмехнулся. Вместо того чтобы идти брить чиновничьи подбородки, он отправился в заведение с надписью «Кушанье и чай» спросить стакан пуншу, как вдруг заметил в

конце моста квартального надзирателя благородной наружности, с широкими бакенбардами, в треугольной шляпе, со шпагою. Он обмер; а между тем квартальный кивал ему пальцем и говорил:

— А подойди сюда, любезный!

Иван Яковлевич, зная форму, снял издали еще картуз и, подошедши проворно, сказал:

— Желаю здравия вашему благородию!

— Нет, нет, братец, не благородию; скажи-ка, что ты там делал, стоя на мосту?

— Ей-богу, сударь, ходил брить, да посмотрел только, шибко ли река идет.

— Врешь, врешь! Этим не отделаешься. Изволь-ка отвечать!

— Я вашу милость два раза в неделю, или даже три, готов брить без всякого прекословия,— отвечал Иван Яковлевич.

— Нет, приятель, это пустяки! Меня три цирюльника бреют, да еще и за большую честь почитают. А вот изволь-ка рассказать, что ты там делал?

Иван Яковлевич побледнел... Но здесь происшествие совершенно закрывается туманом, и что далее произошло, решительно ничего не известно.

II

Коллежский асессор Ковалев проснулся довольно рано и сделал губами: «брр...» — что всегда он делал, когда просыпался, хотя сам не мог растолковать, по какой причине. Ковалев потянулся, приказал себе подать небольшое стоявшее на столе зеркало. Он хотел взглянуть на прыщик, который вчерашнего вечера вскочил у него на носу; но, к величайшему изумлению, увидел, что у него вместо носа совершенно гладкое место! Испугавшись, Ковалев велел подать воды и протер полотенцем глаза: точно, нет носа! Он начал щупать рукою, чтобы узнать: не спит ли он? кажется, не спит. Коллежский асессор Ковалев вскочил с кровати, встряхнулся: нет носа!.. Он велел тотчас подать себе одеться и полетел прямо к обер-полицмейстеру.

Но между тем необходимо сказать что-нибудь о Ковалеве, чтобы читатель мог видеть, какого рода был этот коллежский асессор. Коллежских асессоров, кото-

рые получают это звание с помощью ученых аттестатов, никак нельзя сравнивать с теми коллежскими асессорами, которые делались на Кавказе. Это два совершенно особенные рода. Ученые коллежские асессоры... Но Россия такая чудная земля, что если скажешь об одном коллежском асессоре, то все коллежские асессоры, от Риги до Камчатки, непременно примут на свой счет. То же разумей и о всех званиях и чинах. Ковалев был кавказский коллежский асессор. Он два года только еще состоял в этом звании и потому ни на минуту не мог его позабыть; а чтобы более придать себе благородства и веса, он никогда не называл себя коллежским асессором, но всегда майором. «Послушай, голубушка,— говорил он обыкновенно, встретивши на улице бабу, продававшую манишки,— ты приходи ко мне на дом; квартира моя в Садовой; спроси только: здесь ли живет майор Ковалев? — тебе всякий покажет». Если же встречал какую-нибудь смазливенькую, то давал ей сверх того секретное приказание, прибавляя: «Ты спроси, душенька, квартиру майора Ковалева». По этому-то самому и мы будем вперед этого коллежского асессора называть майором.

Майор Ковалев имел обыкновение каждый день прохаживаться по Невскому проспекту. Воротничок его манишки был всегда чрезвычайно чист и накрахмален. Бакенбарды у него были такого рода, какие и теперь еще можно видеть у губернских и уездных землемеров, у архитекторов и полковых докторов, также у отправляющих разные полицейские обязанности и вообще у всех тех мужей, которые имеют полные, румяные щеки и очень хорошо играют в бостон: эти бакенбарды идут по самой средине щеки и прямехонько доходят до носа. Майор Ковалев носил множество печаток сердоликовых, и с гербами, и таких, на которых было вырезано: середа, четверг, понедельник и проч. Майор Ковалев приехал в Петербург по надобности, а именно искать приличного своему званию места: если удастся, то вице-губернаторского, а не то — экзекуторского в каком-нибудь видном департаменте. Майор Ковалев был не прочь и жениться, но только в таком случае, когда за невестою случится двести тысяч капиталу. И потому читатель теперь может судить сам, каково было положение этого майора, когда он увидел

вместо довольно недурного и умеренного носа преглупое, ровное и гладкое место.

Как на беду, ни один извозчик не показывался на улице, и он должен был идти пешком, закутавшись в свой плащ и закрывши платком лицо, показывая вид, как будто у него шла кровь. «Но авось-либо мне так представилось: не может быть, чтобы нос пропал сдуру»,— подумал он и зашел в кондитерскую нарочно с тем, чтобы посмотреться в зеркало. К счастию, в кондитерской никого не было; мальчишки мели комнаты и расставляли стулья; некоторые с сонными глазами выносили на подносах горячие пирожки; на столах и стульях валялись залитые кофием вчерашние газеты. «Ну, слава богу, никого нет,— произнес он,— теперь можно поглядеть». Он робко подошел к зеркалу и взглянул. «Черт знает что, какая дрянь! — произнес он, плюнувши.— Хотя бы уже что-нибудь было вместо носа, а то ничего!..»

С досадою закусив губы, вышел он из кондитерской и решился, против своего обыкновения, не глядеть ни на кого и никому не улыбаться. Вдруг он стал как вкопанный у дверей одного дома; в глазах его произошло явление неизъяснимое: перед подъездом остановилась карета; дверцы отворились; выпрыгнул, согнувшись, господин в мундире и побежал вверх по лестнице. Каков же был ужас и вместе изумление Ковалева, когда он узнал, что это был собственный его нос! При этом необыкновенном зрелище, казалось ему, все переворотилось у него в глазах; он чувствовал, что едва мог стоять; но решился во что бы ни стало ожидать его возвращения в карету, весь дрожа как в лихорадке. Чрез две минуты нос действительно вышел. Он был в мундире, шитом золотом, с большим стоячим воротником; на нем были замшевые панталоны; при боку шпага. По шляпе с плюмажем можно было заключить, что он считался в ранге статского советника. По всему заметно было, что он ехал куда-нибудь с визитом. Он поглядел на обе стороны, закричал кучеру: «Подавай!» — сел и уехал.

Бедный Ковалев чуть не сошел с ума. Он не знал, как и подумать о таком странном происшествии. Как же можно, в самом деле, чтобы нос, который еще вчера был у него на лице, не мог ездить и ходить,— был в

мундире. Он побежал за каретою, которая, к счастию, проехала недалеко и остановилась перед Казанским собором.

Он поспешил в собор, пробрался сквозь ряд нищих старух с завязанными лицами и двумя отверстиями для глаз, над которыми он прежде так смеялся, и вошел в церковь. Молельщиков внутри церкви было немного; они все стояли только при входе в двери. Ковалев чувствовал себя в таком расстроенном состоянии, что никак не в силах был молиться, и искал глазами этого господина по всем углам. Наконец увидел его стоявшего в стороне. Нос спрятал совершенно лицо свое в большой стоячий воротник и с выражением величайшей набожности молился.

«Как подойти к нему? — думал Ковалев.— По всему, по мундиру, по шляпе видно, что он статский советник. Черт его знает, как это сделать!»

Он начал около него покашливать; но нос ни на минуту не оставлял набожного своего положения и отвешивал поклоны.

— Милостивый государь...— сказал Ковалев, внутренно принуждая себя ободриться,— милостивый государь...

— Что вам угодно? — отвечал нос, оборотившись.

— Мне странно, милостивый государь... мне кажется... вы должны знать свое место. И вдруг я вас нахожу, и где же? — в церкви. Согласитесь...

— Извините меня, я не могу взять в толк, о чем вы изволите говорить... объяснитесь.

«Как мне ему объяснить?» — подумал Ковалев и, собравшись с духом, начал:

— Конечно, я... впрочем, я майор. Мне ходить без носа, согласитесь, это неприлично. Какой-нибудь торговке, которая продает на Воскресенском мосту очищенные апельсины, можно сидеть без носа; но, имея в виду получить... притом будучи во многих домах знаком с дамами: Чехтарева, статская советница, и другие... Вы посудите сами... я не знаю, милостивый государь. (При этом майор Ковалев пожал плечами). Извините... если на это смотреть сообразно с правилами долга и чести... вы сами можете понять...

— Ничего решительно не понимаю,— отвечал нос.— Изъяснитесь удовлетворительнее.

— Милостивый государь...— сказал Ковалев с чувством собственного достоинства,— я не знаю, как понимать слова ваши... Здесь все дело, кажется, совершенно очевидно... Или вы хотите... Ведь вы мой собственный нос!

Нос посмотрел на майора, и брови его несколько нахмурились.

— Вы ошибаетесь, милостивый государь. Я сам по себе. Притом между нами не может быть никаких тесных отношений. Судя по пуговицам вашего вицмундира, вы должны служить по другому ведомству.

Сказавши это, нос отвернулся и продолжал молиться.

Ковалев совершенно смешался, не зная, что делать и что даже подумать. В это время послышался приятный шум дамского платья; подошла пожилая дама, вся убранная кружевами, и с нею тоненькая, в белом платье, очень мило рисовавшемся на ее стройной талии, в палевой шляпке, легкой, как пирожное. За ними остановился и открыл табакерку высокий гайдук с большими бакенбардами и целой дюжиной воротников.

Ковалев подступил поближе, высунул батистовый воротничок манишки, поправил висевшие на золотой цепочке свои печатки и, улыбаясь по сторонам, обратил внимание на легонькую даму, которая, как весенний цветочек, слегка наклонялась и подносила ко лбу свою беленькую ручку с полупрозрачными пальцами. Улыбка на лице Ковалева раздвинулась еще далее, когда он увидел из-под шляпки ее кругленький, яркой белизны подбородок и часть щеки, осененной цветом первой весенней розы. Но вдруг он отскочил, как будто бы обжегшись. Он вспомнил, что у него вместо носа совершенно нет ничего, и слезы выдавились из глаз его. Он оборотился с тем, чтобы напрямик сказать господину в мундире, что он только прикинулся статским советником, что он плут и подлец и что он больше ничего, как только его собственный нос... Но носа уже не было; он успел ускакать, вероятно, опять к кому-нибудь с визитом.

Это повергло Ковалева в отчаяние. Он пошел назад и остановился с минуту под колоннадою, тщательно смотря во все стороны, не попадется ли где нос.

Он очень хорошо помнил, что шляпа на нем была с плюмажем и мундир с золотым шитьем; но шинель не заметил, ни цвета его кареты, ни лошадей, ни даже того, был ли у него сзади какой-нибудь лакей и в какой ливрее. Притом карет неслось такое множество взад и вперед и с такою быстротою, что трудно было даже приметить; но если бы и приметил он какую-нибудь из них, то не имел бы никаких средств остановить. День был прекрасный и солнечный. На Невском народу была тьма; дам целый цветочный водопад сыпался по всему тротуару, начиная от Полицейского до Аничкина моста. Вон и знакомый ему надворный советник идет, которого он называл подполковником, особливо ежели то случалось при посторонних. Вон и Ярыгин, столоначальник в сенате, большой приятель, который вечно в бостоне обремизивался, когда играл восемь. Вон и другой майор, получивший на Кавказе асессорство, машет рукой, чтобы шел к нему...

— А, черт возьми! — сказал Ковалев.— Эй, извозчик, вези прямо к обер-полицмейстеру!

Ковалев сел в дрожки и только покрикивал извозчику: «Валяй во всю ивановскую!»

— У себя обер-полицмейстер? — вскричал он, зашедши в сени.

— Никак нет,— отвечал привратник,— только что уехал.

— Вот тебе раз!

— Да,— прибавил привратник,— оно и не так давно, но уехал. Минуточкой бы пришли раньше, то, может, застали бы дома.

Ковалев, не отнимая платка от лица, сел на извозчика и закричал отчаянным голосом:

— Пошел!

— Куда? — сказал извозчик.

— Пошел прямо!

— Как прямо? тут поворот: направо или налево?

Этот вопрос остановил Ковалева и заставил его опять подумать. В его положении следовало ему прежде всего отнестись в Управу благочиния, не потому, что оно имело прямое отношение к полиции, но потому, что ее распоряжения могли быть гораздо быстрее, чем в других местах; искать же удовлетворения по начальству того места, при котором нос объявил себя слу-

жащим, было бы безрассудно, потому что из собственных ответов носа уже можно было видеть, что для этого человека ничего не было священного и он мог так же солгать и в этом случае, как солгал, уверяя, что он никогда не видался с ним. Итак, Ковалев уже хотел было приказать ехать в Управу благочиния, как опять пришла мысль ему, что этот плут и мошенник, который поступил уже при первой встрече таким бессовестным образом, мог опять, удобно пользуясь временем, как-нибудь улизнуть из города,— и тогда все искания будут тщетны или могут продолжиться, чего боже сохрани, на целый месяц. Наконец, казалось, само небо вразумило его. Он решился отнестись прямо в газетную экспедицию и заблаговременно сделать публикацию с обстоятельным описанием всех качеств, дабы всякий, встретивший его, мог в ту же минуту его представить к нему или по крайней мере дать знать о месте пребывания. Итак, он, решив на этом, велел извозчику ехать в газетную экспедицию и во всю дорогу не переставал его тузить кулаком в спину, приговаривая: «Скорей, подлец! скорей, мошенник!» — «Эх, барин!» — говорил извозчик, потряхивая головой и стегая вожжой свою лошадь, на которой шерсть была длинная, как на болонке. Дрожки наконец остановились, и Ковалев, запыхавшись, вбежал в небольшую приемную комнату, где седой чиновник, в старом фраке и очках, сидел за столом и, взявши в зубы перо, считал принесенные медные деньги.

— Кто здесь принимает объявления? — закричал Ковалев.— А, здравствуйте!

— Мое почтение,— сказал седой чиновник, поднявши на минуту глаза и опустивши их снова на разложенные кучи денег.

— Я желаю припечатать...

— Позвольте. Прошу немножко повременить,— произнес чиновник, ставя одною рукою цифру на бумаге и передвигая пальцами левой руки два очка на счетах.

Лакей с галунами и наружностью, показывавшею пребывание его в аристократическом доме, стоял возле стола, с запискою в руках, и почел приличным показать свою общежительность:

— Поверите ли, сударь, что собачонка не стóит

восьми гривен, то есть я не дал бы за нее и восьми грошей; а графиня любит, ей-богу любит,— и вот тому, кто ее отыщет, сто рублей! Если сказать по приличию, то вот так, как мы теперь с вами, вкусы людей совсем не совместны: уж когда охотник, то держи легавую собаку или пуделя; не пожалей пятисот, тысячу дай, но зато уж чтоб была собака хорошая.

Почтенный чиновник слушал это с значительною миною и в то же время занимался сметою: сколько букв в принесенной записке. По сторонам стояло множество старух, купеческих сидельцев и дворников с записками. В одной значилось, что отпускается в услужение кучер трезвого поведения; в другой — малоподержанная коляска, вывезенная в 1814 году из Парижа; там отпускалась дворовая девка девятнадцати лет, упражнявшаяся в прачечном деле, годная и для других работ, прочные дрожки без одной рессоры; молодая горячая лошадь в серых яблоках, семнадцати лет от роду; новые, полученные из Лондона, семена репы и редиса; дача со всеми угодьями: двумя стойлами для лошадей и местом, на котором можно развести превосходный березовый или еловый сад; там же находился вызов желающих купить старые подошвы, с приглашением явиться к переторжке каждый день от восьми до трех часов утра. Комната, в которой местилось все это общество, была маленькая, и воздух в ней был чрезвычайно густ; но коллежский асессор Ковалев не мог слышать запаха, потому что закрылся платком и потому что самый нос его находился бог знает в каких местах.

— Милостивый государь, позвольте вас попросить... Мне очень нужно,— сказал он наконец с нетерпением.

— Сейчас, сейчас! Два рубля сорок три копейки! Сию минуту! Рубль шестьдесят четыре копейки! — говорил седовласый господин, бросая старухам и дворникам записки в глаза.— Вам что угодно? — наконец сказал он, обратившись к Ковалеву.

— Я прошу...— сказал Ковалев,— случилось мошенничество или плутовство, я до сих пор не могу никак узнать. Я прошу только припечатать, что тот, кто ко мне этого подлеца представит, получит достаточное вознаграждение.

— Позвольте узнать, как ваша фамилия?

— Нет, зачем же фамилию? Мне нельзя сказать ее. У меня много знакомых: Чехтарева, статская советница, Палагея Григорьевна Подточина, штаб-офицерша... Вдруг узнают, боже сохрани! Вы можете просто написать: коллежский асессор, или, еще лучше, состоящий в майорском чине.

— А сбежавший был ваш дворовый человек?

— Какой дворовый человек? Это бы еще не такое большое мошенничество! Сбежал от меня... нос...

— Гм! какая странная фамилия! И на большую сумму этот господин Носов обокрал вас?

— Нос то есть... вы не то думаете! Нос, мой собственный нос пропал неизвестно куда. Черт хотел подшутить надо мною!

— Да каким же образом пропал? Я что-то не могу хорошенько понять.

— Да я не могу вам сказать, каким образом; но главное то, что он разъезжает теперь по городу и называет себя статским советником. И потому я вас прошу объявить, чтобы поймавший представил его немедленно ко мне в самом скорейшем времени. Вы посудите, в самом деле, как же мне быть без такой заметной части тела? Это не то, что какой-нибудь мизинный палец на ноге, которую я в сапог — и никто не увидит, если его нет. Я бываю по четвергам у статской советницы Чехтаревой; Подточина Палагея Григорьевна, штаб-офицерша, и у ней дочка очень хорошенькая, тоже очень хорошие знакомые, и вы посудите сами, как же мне теперь... Мне теперь к ним нельзя явиться.

Чиновник задумался, что означали крепко сжавшиеся его губы.

— Нет, я не могу поместить такого объявления в газетах,— сказал он наконец после долгого молчания.

— Как? отчего?

— Так. Газета может потерять репутацию. Если всякий начнет писать, что у него сбежал нос, то... И так уже говорят, что печатается много несообразностей и ложных слухов.

— Да чем же это дело несообразное? Тут, кажется, ничего нет такого.

— Это вам так кажется, что нет. А вот на прошлой неделе такой же был случай. Пришел чиновник таким

же образом, как вы теперь пришли, принес записку, денег по расчету пришлось два рубля семьдесят три копейки, и все объявление состояло в том, что сбежал пудель черной шерсти. Кажется, что бы тут такое? А вышел пасквиль: пудель-то этот был казначей, не помню какого-то заведения.

— Да ведь я вам не о пуделе делаю объявление, а о собственном моем носе: стало быть, почти то же, что о самом себе.

— Нет, такого объявления я никак не могу поместить.

— Да когда у меня точно пропал нос!

— Если пропал, то это дело медика. Говорят, что есть такие люди, которые могут приставить какой угодно нос. Но, впрочем, я замечаю, что вы должны быть человек веселого нрава и любите в обществе пошутить.

— Клянусь вам, вот как бог свят! Пожалуй, уж если до того дошло, то я покажу вам.

— Зачем беспокоиться! — продолжал чиновник, нюхая табак.— Впрочем, если не в беспокойство,— прибавил он с движением любопытства,— то желательно бы взглянуть.

Коллежский асессор отнял от лица платок.

— В самом деле, чрезвычайно странно! — сказал чиновник,— место совершенно гладкое, как будто бы только что выпеченный блин. Да, до невероятности ровное!

— Ну, вы и теперь будете спорить? Вы видите сами, что нельзя не напечатать. Я вам буду особенно благодарен; и очень рад, что этот случай доставил мне удовольствие с вами познакомиться...

Майор, как видно из этого, решился на сей раз немного поподличать.

— Напечатать-то, конечно, дело небольшое,— сказал чиновник,— только я не предвижу в этом никакой для вас выгоды. Если уже хотите, то отдайте тому, кто имеет искусное перо, описать это как редкое произведение натуры и напечатать эту статейку в «Северной пчеле» (тут он понюхал еще раз табаку) для пользы юношества (тут он утер нос) или так, для общего любопытства.

Коллежский асессор был совершенно обезнадежен. Он опустил глаза в низ газеты, где было извещение о

спектаклях; уже лицо его было готово улыбнуться, встретив имя актрисы, хорошенькой собою, и рука взялась за карман: есть ли при нем синяя ассигнация, потому что штаб-офицеры, по мнению Ковалева, должны сидеть в креслах,— но мысль о носе все испортила!

Сам чиновник, казалось, был тронут затруднительным положением Ковалева. Желая сколько-нибудь облегчить его горесть, он почел приличным выразить участие свое в нескольких словах:

— Мне, право, очень прискорбно, что с вами случился такой анекдот. Не угодно ли вам понюхать табачку? это разбивает головные боли и печальные расположения; даже в отношении к геморроидам это хорошо.

Говоря это, чиновник поднес Ковалеву табакерку, довольно ловко подвернув под нее крышку с портретом какой-то дамы в шляпке.

Этот неумышленный поступок вывел из терпения Ковалева.

— Я не понимаю, как вы находите место шуткам,— сказал он с сердцем,— разве вы не видите, что у меня именно нет того, чем бы я мог понюхать? Чтоб черт побрал ваш табак! Я теперь не могу смотреть на него, и не только на скверный ваш березинский, но хоть бы вы поднесли мне самого рапе.

Сказавши это, он вышел, глубоко раздосадованный, из газетной экспедиции и отправился к частному приставу, чрезвычайному охотнику до сахару. На дому его вся передняя, она же и столовая, была установлена сахарными головами, которые нанесли к нему из дружбы купцы. Кухарка в это время скидала с частного пристава казенные ботфорты; шпага и все военные доспехи уже мирно развесились по углам, и грозную треугольную шляпу уже затрогивал трехлетний сынок его; и он, после боевой, бранной жизни, готовился вкусить удовольствия мира.

Ковалев вошел к нему в то время, когда он потянулся, крякнул и сказал: «Эх, славно засну два часика!» И потому можно было предвидеть, что приход коллежского асессора был совершенно не вовремя; и не знаю, хотя бы он даже принес ему в то время несколько фунтов чаю или сукна, он бы не был принят слиш-

ком радушно. Частный был большой поощритель всех искусств и мануфактурностей, но государственную ассигнацию предпочитал всему. «Это вещь,— обыкновенно говорил он,— уж нет ничего лучше этой вещи: есть не просит, места займет немного, в кармане всегда поместится, уронишь — не расшибется».

Частный принял довольно сухо Ковалева и сказал, что после обеда не то время, чтобы производить следствие, что сама натура назначила, чтобы, наевшись, немного отдохнуть (из этого коллежский асессор мог видеть, что частному приставу были небезызвестны изречения древних мудрецов), что у порядочного человека не оторвут носа и что много есть на свете всяких майоров, которые не имеют даже и исподнего в приличном состоянии и таскаются по всяким непристойным местам.

То есть не в бровь, а прямо в глаз! Нужно заметить, что Ковалев был чрезвычайно обидчивый человек. Он мог простить все, что ни говорили о нем самом, но никак не извинял, если это относилось к чину или званию. Он даже полагал, что в театральных пьесах можно пропускать все, что относится к обер-офицерам, но на штаб-офицеров никак не должно нападать. Прием частного так его сконфузил, что он тряхнул головою и сказал с чувством достоинства, немного расставив свои руки: «Признаюсь, после этаких обидных с вашей стороны замечаний я ничего не могу прибавить...» — и вышел.

Он приехал домой, едва слыша под собою ноги. Были уже сумерки. Печальною или чрезвычайно гадкою показалась ему квартира после всех этих неудачных исканий. Взошедши в переднюю, увидел он на кожаном запачканном диване лакея своего Ивана, который, лежа на спине, плевал в потолок и попадал довольно удачно в одно и то же место. Такое равнодушие человека взбесило его; он ударил его шляпою по лбу, примолвив: «Ты, свинья, всегда глупостями занимаешься!»

Иван вскочил вдруг с своего места и бросился со всех ног снимать с него плащ.

Вошедши в свою комнату, майор, усталый и печальный, бросился в кресла и наконец после нескольких вздохов сказал:

— Боже мой! боже мой! За что это такое несчастие? Будь я без руки или без ноги — все бы это лучше; будь я без ушей — скверно, однако ж все сноснее; но без носа человек — черт знает что: птица не птица, гражданин не гражданин,— просто возьми да и вышвырни за окошко! И пусть бы уже на войне отрубили или на дуэли, или я сам был причиною; но ведь пропал ни за что ни про что, пропал даром, ни за грош!.. Только нет, не может быть,— прибавил он, немного подумав.— Невероятно, чтобы нос пропал; никаким образом невероятно. Это, верно, или во сне снится, или просто грезится; может быть, я как-нибудь ошибкою выпил вместо воды водку, которою вытираю после бритья себе бороду. Иван, дурак, не принял, и я, верно, хватил ее.

Чтобы действительно увериться, что он не пьян, майор ущипнул себя так больно, что сам вскрикнул. Эта боль совершенно уверила его, что он действует и живет наяву. Он потихоньку приблизился к зеркалу и сначала зажмурил глаза с тою мыслию, что авось-либо нос покажется на своем месте; но в ту же минуту отскочил назад, сказавши:

— Экой пасквильный вид!

Это было, точно, непонятно. Если бы пропала пуговица, серебряная ложка, часы или что-нибудь подобное; но пропасть, и кому же пропасть? и притом еще на собственной квартире!.. Майор Ковалев, сообразя все обстоятельства, предполагал едва ли не ближе всего к истине, что виною этого должен быть не кто другой, как штаб-офицерша Подточина, которая желала, чтобы он женился на ее дочери. Он и сам любил за нею приволокнуться, но избегал окончательной разделки. Когда же штаб-офицерша объявила ему напрямик, что она хочет выдать ее за него, он потихоньку отчалил с своими комплиментами, сказавши, что еще молод, что нужно ему прослужить лет пяток, чтобы уже ровно было сорок два года. И потому штаб-офицерша, верно из мщения, решилась его испортить и наняла для этого каких-нибудь колдовок-баб, потому что никаким образом нельзя было предположить, чтобы нос был отрезан: никто не входил к нему в комнату; цирюльник же Иван Яковлевич брил его еще в среду, а в продолжение всей среды и даже во весь четверток

нос у него был цел — это он помнил и знал очень хорошо; притом была бы им чувствуема боль, и, без сомнения, рана не могла бы так скоро зажить и быть гладкою, как блин. Он строил в голове планы: звать ли штаб-офицершу формальным порядком в суд или явиться к ней самому и уличить ее. Размышления его прерваны были светом, блеснувшим сквозь все скважины дверей, который дал знать, что свеча в передней уже зажжена Иваном. Скоро показался и сам Иван, неся ее перед собою и озаряя ярко всю комнату. Первым движением Ковалева было схватить платок и закрыть то место, где вчера еще был нос, чтобы в самом деле глупый человек не зазевался, увидя у барина такую странность.

Не успел Иван уйти в конуру свою, как послышался в передней незнакомый голос, произнесший:

— Здесь ли живет коллежский асессор Ковалев?

— Войдите. Майор Ковалев здесь,— сказал Ковалев, вскочивши поспешно и отворяя дверь.

Вошел полицейский чиновник красивой наружности, с бакенбардами не слишком светлыми и не темными, с довольно полными щеками, тот самый, который в начале повести стоял в конце Исакиевского моста.

— Вы изволили затерять нос свой?

— Так точно.

— Он теперь найден.

— Что вы говорите? — закричал майор Ковалев. Радость отняла у него язык. Он глядел в оба на стоявшего перед ним квартального, на полных губах и щеках которого ярко мелькал трепетный свет свечи.— Каким образом?

— Странным случаем: его перехватили почти на дороге. Он уже садился в дилижанс и хотел уехать в Ригу. И пашпорт давно был написан на имя одного чиновника. И странно то, что я сам принял его сначала за господина. Но, к счастию, были со мной очки, и я тот же час увидел, что это был нос. Ведь я близорук, и если вы станете передо мною, то я вижу только, что у вас лицо, но ни носа, ни бороды, ничего не замечу. Моя теща, то есть мать жены моей, тоже ничего не видит.

Ковалев был вне себя.

— Где же он? Где? Я сейчас побегу.

— Не беспокойтесь. Я, зная, что он вам нужен, принес его с собою. И странно то, что главный участник в этом деле есть мошенник цирюльник на Вознесенской улице, который сидит теперь на съезжей. Я давно подозревал его в пьянстве и воровстве, и еще третьего дня стащил он в одной лавочке бортище пуговиц. Нос ваш совершенно таков, как был.

При этом квартальный полез в карман и вытащил оттуда завернутый в бумажке нос.

— Так, он! — закричал Ковалев.— Точно, он! Выкушайте сегодня со мною чашечку чаю.

— Почел бы за большую приятность, но никак не могу: мне нужно заехать отсюда в смирительный дом... Очень большая поднялась дороговизна на все припасы... У меня в доме живет и теща, то есть мать моей жены, и дети; старший особенно подает большие надежды: очень умный мальчишка, но средств для воспитания совершенно нет никаких...

Ковалев догадался и, схватив со стола красную ассигнацию, сунул в руки надзирателю, который, расшаркавшись, вышел за дверь, и в ту же почти минуту Ковалев слышал уже голос его на улице, где он увещевал по зубам одного глупого мужика, наехавшего с своею телегою как раз на бульвар.

Коллежский асессор по уходе квартального несколько минут оставался в каком-то неопределенном состоянии и едва через несколько минут пришел в возможность видеть и чувствовать: в такое беспамятство повергла его неожиданная радость. Он взял бережливо найденный нос в обе руки, сложенные горстью, и еще раз рассмотрел его внимательно.

— Так, он, точно он! — говорил майор Ковалев.— Вот и прыщик на левой стороне, вскочивший вчерашнего дня.

Майор чуть не засмеялся от радости.

Но на свете нет ничего долговременного, а потому и радость в следующую минуту за первою уже не так жива; в третью минуту она становится еще слабее и наконец незаметно сливается с обыкновенным положением души, как на воде круг, рожденный падением камешка, наконец сливается с гладкою поверхностью. Ковалев начал размышлять и смекнул, что дело еще

не кончено: нос найден, но ведь нужно же его приставить, поместить на свое место.

— А что, если он не пристанет?

При таком вопросе, сделанном самому себе, майор побледнел.

С чувством неизъяснимого страха бросился он к столу, придвинул зеркало, чтобы как-нибудь не поставить нос криво. Руки его дрожали. Осторожно и осмотрительно наложил он его на прежнее место. О ужас! Нос не приклеивался!.. Он поднес его ко рту, нагрел его слегка своим дыханием и опять поднес к гладкому месту, находившемуся между двух щек; но нос никаким образом не держался.

— Ну! ну же! полезай, дурак! — говорил он ему. Но нос был как деревянный и падал на стол с таким странным звуком, как будто бы пробка. Лицо майора судорожно скривилось.— Неужели он не прирастет? — говорил он в испуге. Но сколько раз ни подносил он его на его же собственное место, старание было по-прежнему неуспешно.

Он кликнул Ивана и послал его за доктором, который занимал в том же самом доме лучшую квартиру в бельэтаже. Доктор этот был видный из себя мужчина, имел прекрасные смолистые бакенбарды, свежую, здоровую докторшу, ел поутру свежие яблоки и держал рот в необыкновенной чистоте, полоща его каждое утро почти три четверти часа и шлифуя зубы пятью разных родов щеточками. Доктор явился в ту же минуту. Спросивши, как давно случилось несчастие, он поднял майора Ковалева за подбородок и дал ему большим пальцем щелчка в то самое место, где прежде был нос, так что майор должен был откинуть свою голову назад с такою силою, что ударился затылком в стену. Медик сказал, что это ничего, и, посоветовавши отодвинуться немного от стены, велел ему перегнуть голову сначала на правую сторону и, пощупавши то место, где прежде был нос, сказал: «Гм!» Потом велел ему перегнуть голову на левую сторону и сказал: «Гм!» — и в заключение дал опять ему большим пальцем щелчка, так что майор Ковалев дернул головою, как конь, которому смотрят в зубы. Сделавши такую пробу, медик покачал головою и сказал:

— Нет, нельзя. Вы уж лучше так оставайтесь, потому что можно сделать еще хуже. Оно конечно, приставить можно; я бы, пожалуй, вам сейчас приставил его; но я вас уверяю, что это для вас хуже.

— Вот хорошо! как же мне оставаться без носа? — сказал Ковалев.— Уж хуже не может быть, как теперь. Это просто черт знает что! Куда же я с этакою пасквильностию покажуся? Я имею хорошее знакомство; вот и сегодня мне нужно быть на вечере в двух домах. Я со многими знаком: статская советница Чехтарева, Подточина — штаб-офицерша... хоть после теперешнего поступка ее я не имею с ней другого дела, как только чрез полицию. Сделайте милость,— произнес Ковалев умоляющим голосом,— нет ли средства? как-нибудь приставьте; хоть не хорошо, лишь бы только держался; я даже могу его слегка подпирать рукою в опасных случаях. Я же притом и не танцую, чтобы мог вредить каким-нибудь неосторожным движением. Все, что относится насчет благодарности за визиты, уж будьте уверены, сколько дозволят мои средства...

— Верите ли,— сказал доктор ни громким, ни тихим голосом, но чрезвычайно уветливым и магнетическим,— что я никогда из корысти не лечу. Это противно моим правилам и моему искусству. Правда, я беру за визиты, но единственно с тем только, чтобы не обидеть моим отказом. Конечно, я бы приставил ваш нос; но я вас уверяю честью, если уже вы не верите моему слову, что это будет гораздо хуже. Предоставьте лучше действию самой натуры. Мойте чаще холодною водою, и я вас уверяю, что вы, не имея носа, будете так же здоровы, как если бы имели его. А нос я вам советую положить в банку со спиртом или, еще лучше, влить туда две столовые ложки острой водки и подогретого уксуса,— и тогда вы можете взять за него порядочные деньги. Я даже сам возьму его, если вы только не подорожитесь.

— Нет, нет! ни за что не продам! — вскричал отчаянный майор Ковалев,— лучше пусть он пропадет!

— Извините! — сказал доктор, откланиваясь,— я хотел быть вам полезным... Что ж делать! По крайней мере, вы видели мое старание.

Сказавши это, доктор с благородною осанкою вышел из комнаты. Ковалев не заметил даже лица его и в глубокой бесчувственности видел только выглядывавшие из рукавов его черного фрака рукавчики белой и чистой, как снег, рубашки.

Он решился на другой же день, прежде представления жалобы, писать к штаб-офицерше, не согласится ли она без бою возвратить ему то, что следует. Письмо было такого содержания:

«Милостивая государыня
Александра Григорьевна!

Не могу понять странного со стороны вашей действия. Будьте уверены, что, поступая таким образом, ничего вы не выиграете и ничуть не принудите меня жениться на вашей дочери. Поверьте, что история насчет моего носа мне совершенно известна, равно как то, что в этом вы есть главные участницы, а не кто другой. Внезапное его отделение с своего места, побег и маскирование, то под видом одного чиновника, то, наконец, в собственном виде, есть больше ничего, кроме следствие волхвований, произведенных вами или теми, которые упражняются в подобных вам благородных занятиях. Я с своей стороны почитаю долгом вас предуведомить: если упоминаемый мною нос не будет сегодня же на своем месте, то я принужден буду прибегнуть к защите и покровительству законов.

Впрочем, с совершенным почтением к вам имею честь быть

Ваш покорный слуга
Платон Ковалев».

«Милостивый государь
Платон Кузьмич!

Чрезвычайно удивило меня письмо ваше. Я, признаюсь вам по откровенности, никак не ожидала, а тем более относительно несправедливых укоризн со стороны вашей. Предуведомляю вас, что я чиновника, о котором упоминаете вы, никогда не принимала у себя в доме, ни замаскированного, ни в настоящем виде. Бывал у меня, правда, Филипп Иванович Потанчиков. И хотя он, точно, искал руки моей дочери, бу-

дучи сам хорошего, трезвого поведения и великой учености, но я никогда не подавала ему никакой надежды. Вы упоминаете еще о носе. Если разумеете под сим, что будто бы я хотела оставить вас с носом, то есть дать вам формальный отказ, то меня удивляет, что вы сами об этом говорите, тогда как я, сколько вам известно, была совершенно противного мнения, и если вы теперь же посватаетесь на моей дочери законным образом, я готова сей же час удовлетворить вас, ибо это составляло всегда предмет моего живейшего желания, в надежде чего остаюсь всегда готовою к услугам вашим

Александра Подточина».

«Нет,— говорил Ковалев, прочитавши письмо.— Она точно не виновата. Не может быть! Письмо так написано, как не может написать человек, виноватый в преступлении.— Коллежский асессор был в этом сведущ потому, что был посылан несколько раз на следствие еще в Кавказской области.— Каким же образом, какими судьбами это приключилось? Только черт разберет это!» — сказал он наконец, опустив руки.

Между тем слухи об этом необыкновенном происшествии распространились по всей столице, и, как водится, не без особенных прибавлений. Тогда умы всех именно настроены были к чрезвычайному: недавно только что занимали публику опыты действия магнетизма. Притом история о танцующих стульях в Конюшенной улице была еще свежа, и потому нечего удивляться, что скоро начали говорить, будто нос коллежского асессора Ковалева ровно в три часа прогуливается по Невскому проспекту. Любопытных стекалось каждый день множество. Сказал кто-то, что нос будто бы находился в магазине Юнкера — и возле Юнкера такая сделалась толпа и давка, что должна была даже полиция вступиться. Один спекулятор почтенной наружности, с бакенбардами, продававший при входе в театр разные сухие кондитерские пирожки, нарочно поделал прекрасные деревянные прочные скамьи, на которые приглашал любопытных становиться за восемьдесят копеек от каждого посетителя. Один заслуженный полковник нарочно для этого вы-

шел раньше из дому и с большим трудом пробрался сквозь толпу; но, к большому негодованию своему, увидел в окне магазина вместо носа обыкновенную шерстяную фуфайку и литографированную картинку с изображением девушки, поправлявшей чулок, и глядевшего на нее из-за дерева франта с откидным жилетом и небольшою бородкою,— картинку, уже более десяти лет висящую все на одном месте. Отошед, он сказал с досадою: «Как можно этакими глупыми и неправдоподобными слухами смущать народ?»

Потом пронесся слух, что не на Невском проспекте, а в Таврическом саду прогуливается нос майора Ковалева, что будто бы он давно уже там; что когда еще проживал там Хозрев-Мирза, то очень удивлялся этой странной игре природы. Некоторые из студентов Хирургической академии отправились туда. Одна знатная, почтенная дама просила особенным письмом смотрителя за садом показать детям ее этот редкий феномен и, если можно, с объяснением наставительным и назидательным для юношей.

Всем этим происшествиям были чрезвычайно рады все светские, необходимые посетители раутов, любившие смешить дам, у которых запас в то время совершенно истощился. Небольшая часть почтенных и благонамеренных людей была чрезвычайно недовольна. Один господин говорил с негодованием, что он не понимает, как в нынешний просвещенный век могут распространяться нелепые выдумки, и что он удивляется, как не обратит на это внимание правительство. Господин этот, как видно, принадлежал к числу тех господ, которые желали бы внутать правительство во всё, даже в свои ежедневные ссоры с женою. Вслед за этим... но здесь вновь все происшествие скрывается туманом, и что было потом, решительно неизвестно.

III

Чепуха совершенная делается на свете. Иногда вовсе нет никакого правдоподобия: вдруг тот самый нос, который разъезжал в чине статского советника и наделал столько шуму в городе, очутился как ни в чем не бывало вновь на своем месте, то есть именно между двух щек майора Ковалева. Это случилось уже

апреля седьмого числа. Проснувшись и нечаянно взглянув в зеркало, видит он: нос! хвать рукою — точно нос! «Эге!» — сказал Ковалев и в радости чуть не дернул по всей комнате босиком тропака, но вошедший Иван помешал. Он приказал тот же час дать себе умыться и, умываясь, взглянул еще раз в зеркало: нос! Вытираясь утиральником, он опять взглянул в зеркало: нос!

— А посмотри, Иван, кажется, у меня на носу как будто прыщик,— сказал он и между тем думал: «Вот беда, как Иван скажет: да нет, сударь, не только прыщика, и самого носа нет!»

Но Иван сказал:

— Ничего-с, никакого прыщика: нос чистый!

«Хорошо, черт побери!» — сказал сам себе майор и щелкнул пальцами. В это время выглянул в дверь цирюльник Иван Яковлевич, но так боязливо, как кошка, которую только что высекли за кражу сала.

— Говори вперед: чисты руки? — кричал еще издали ему Ковалев.

— Чисты.

— Врешь!

— Ей-богу-с, чисты, судырь.

— Ну, смотри же.

Ковалев сел. Иван Яковлевич закрыл его салфеткою и в одно мгновенье с помощью кисточки превратил всю бороду его и часть щеки в крем, какой подают на купеческих именинах.

«Вишь ты! — сказал сам себе Иван Яковлевич, взглянувши на нос, и потом перегнул голову на другую сторону и посмотрел на него сбоку.— Вона! эк его, право, как подумаешь»,— продолжал он и долго смотрел на нос. Наконец легонько, с бережливостью, какую только можно себе вообразить, он приподнял два пальца, с тем чтобы поймать его за кончик. Такова уж была система Ивана Яковлевича.

— Ну, ну, ну, смотри! — закричал Ковалев.

Иван Яковлевич и руки опустил, оторопел и смутился, как никогда не смущался. Наконец осторожно стал он щекотать бритвой у него под бородою; и хотя ему было совсем несподручно и трудно брить без придержки за нюхательную часть тела, однако же, коекак упираясь своим шероховатым большим пальцем

ему в щеку и в нижнюю десну, наконец одолел все препятствия и выбрил.

Когда все было готово, Ковалев поспешил тот же час одеться, взял извозчика и поехал прямо в кондитерскую. Входя, закричал он еще издали: «Мальчик, чашку шоколаду!» — а сам в ту же минуту к зеркалу: есть нос! Он весело оборотился назад и с сатирическим видом посмотрел, несколько прищуря глаз, на двух военных, у одного из которых был нос никак не больше жилетной пуговицы. После того отправился он в канцелярию того департамента, где хлопотал об вицегубернаторском месте, а в случае неудачи об экзекуторском. Проходя чрез приемную, он взглянул в зеркало: есть нос! Потом поехал он к другому коллежскому асессору, или майору, большому насмешнику, которому он часто говорил в ответ на разные заносистые заметки: «Ну, уж ты, я тебя знаю, ты шпилька!» Дорогою он подумал: «Если и майор не треснет со смеху, увидевши меня, тогда уж верный знак, что все, что ни есть, сидит на своем месте». Но коллежский асессор ничего. «Хорошо, хорошо, черт побери!» — подумал про себя Ковалев. На дороге встретил он штаб-офицершу Подточину вместе с дочерью, раскланялся с ними и был встречен с радостными восклицаньями: стало быть, ничего, в нем нет никакого ущерба. Он разговаривал с ними очень долго и, нарочно вынувши табакерку, набивал пред ними весьма долго свой нос с обоих подъездов, приговаривая про себя: «Вот, мол, вам, бабьё, куриный народ! а на дочке все-таки не женюсь. Так просто, par amour [1],— изволь!» И майор Ковалев с тех пор прогуливался как ни в чем не бывало и на Невском проспекте, и в театрах, и везде. И нос тоже как ни в чем не бывало сидел на его лице, не показывая даже вида, чтобы отлучался по сторонам. И после того майора Ковалева видели вечно в хорошем юморе, улыбающегося, преследующего решительно всех хорошеньких дам и даже остановившегося один раз перед лавочкой в Гостином дворе и покупавшего какую-то орденскую ленточку, неизвестно для каких причин, потому что он сам не был кавалером никакого ордена.

[1] по любви *(фр.)*.

Вот какая история случилась в северной столице нашего обширного государства! теперь только, по соображении всего, видим, что в ней есть много неправдоподобного. Не говоря уже о том, что точно странно сверхъестественное отделение носа и появленье его в разных местах в виде статского советника,— как Ковалев не смекнул, что нельзя чрез газетную экспедицию объявлять о носе? Я здесь не в том смысле говорю, чтобы мне казалось дорого заплатить за объявление: это вздор, и я совсем не из числа корыстолюбивых людей. Но неприлично, неловко, нехорошо! И опять тоже — как нос очутился в печеном хлебе и как сам Иван Яковлевич?.. нет, этого я никак не понимаю, решительно не понимаю! Но что страннее, что непонятнее всего,— это то, как авторы могут брать подобные сюжеты. Признаюсь, это уж совсем непостижимо, это точно... нет, нет, совсем не понимаю. Во-первых, пользы отечеству решительно никакой; во-вторых... но и во-вторых тоже нет пользы. Просто я не знаю, что это...

А однако же, при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может даже... ну да и где ж не бывает несообразностей?.. А все, однако же, как поразмыслишь, во всем этом, право, есть что-то. Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете,— редко, но бывают.

[1836]

Предисловие

Примечание. Эти письма доставлены нижеподписавшемуся человеком весьма примечательным в некоторых отношениях (он не желает объявлять своего имени). Занимаясь в продолжение нескольких лет месмерическими опытами, он достиг такой степени в сем искусстве, что может сам собою по произволу приходить в сомнамбулическое состояние; любопытнее всего то, что он заранее может выбрать предмет, на который должно устремиться его магнетическое зрение.

Таким образом он переносится в какую угодно страну, эпоху или в положение какого-либо лица почти без всяких усилий; его природная способность, изощренная долгим упражнением, дозволяет ему рассказывать или записывать все, что представляется его магнетической фантазии; проснувшись, он все забывает и сам, по крайней мере, с любопытством прочитывает написанное. Вычисления астрономов, доказывающих, что в 4339 году, то есть 2500 лет после нас, комета Вьелы должна непременно встретиться с Землею, сильно поразили нашего сомнамбула; ему захотелось проведать, в каком положении будет находиться род человеческий за год до этой страшной минуты; какие об ней будут толки, какое впечатление она произведет на людей, вообще какие будут тогда нравы, образ жизни; какую форму получат сильнейшие чувства человека: че-

[1] По вычислениям некоторых астрономов, комета Вьелы должна в 4339 году, то есть 2500 лет после нас, встретиться с Землею. Действие романа, из которого взяты сии письма, проходит за год до сей катастрофы.

столюбие, любознательность, любовь; с этим намерением он погрузился в сомнамбулическое состояние, продолжавшееся довольно долго; вышедши из него, сомнамбул увидел пред собою исписанные листы бумаги, из которых узнал, что он во время сомнамбулизма был китайцем XLIV столетия, путешествовал по России и очень усердно переписывался с своим другом, оставшимся в Пекине.

Когда сомнамбул сообщил эти письма своим приятелям, тогда ему сделаны были разные возражения; одно казалось в них слишком обыкновенным, другое невозможным; он отвечал: «Не спорю,— может быть, сомнамбулическая фантазия иногда обманывает, ибо она всегда более или менее находится под влиянием настоящих наших понятий, а иногда отвлекается от истинного пути, по законам до сих пор еще не объясненным»; однако же, соображая рассказ моего китайца с разными нам теперь известными обстоятельствами, нельзя сказать, чтобы он во многом ошибался: во-первых, люди всегда останутся людьми, как это было с начала мира: останутся все те же страсти, все те же побуждения; с другой стороны, формы их мыслей и чувств, а в особенности их физический быт должен значительно измениться. Вам кажется странным их понятие о нашем времени; вы полагаете, что мы более знаем, например, о том, что случилось за 2500 лет до нас; но заметьте, что характеристическая черта новых поколений — заниматься настоящим и забывать о прошедшем; человечество, как сказал некто, как брошенный сверху камень, который беспрестанно ускоряет свое движение; будущим поколениям столько будет дела в настоящем, что они гораздо более нас раззнакомятся с прошедшим; этому поможет неминуемое истребление наших письменных памятников: действительно, известно, что в некоторых странах, например, в Америке, книги по причине одних насекомых не переживут и столетия; но сколько других обстоятельств должны истребить нашу тряпичную бумагу в продолжение нескольких столетий: скажите, что бы мы знали о временах Нехао, даже Дария, Псамметиха, Солона, если бы древние писали на нашей бумаге, а не на папирусе, пергаменте или, того лучше, на каменных памятниках, которые у них были

в таком употреблении; не только чрез 2500 лет, но едва ли чрез 1000 останется что-либо от наших нынешних книг; разумеется, некоторые из них будут перепечатываться, но когда исчезнут первые документы, тогда явятся настоящие и мнимые ошибки, поверить будет нечем; догадки прибавят новое число ошибок, а между тем ближайшие памятники истребятся в свою очередь; сообразите все это, и тогда уверитесь, что чрез 2500 лет об нашем времени люди несравненно меньше будут иметь понятия, нежели какое мы имеем о времени за 700 лет до Р. Х., то есть за 2500 лет до нас.

Истребление пород лошадей есть также дело очевидное, и тому существуют тысячи примеров в наше время. Не говоря уже о допотопных животных, об огромных ящерицах, которые, как доказал Кювье, некогда населяли нашу землю, вспомним, что, по свидетельству Геродота, львы водились в Македонии, в Малой Азии и в Сирии, а теперь редки даже за пределами Персии и Индии, в степях Аравийских и Африке. Измельчание породы собак совершилось почти на наших глазах и может быть производимо искусством, точно так же как садовники обращают большие лиственные и хвойные деревья в небольшие горшечные растения.

Нынешние успехи химии делают возможным предположение об изобретении эластического стекла, которого недостаток чувствует наша нынешняя промышленность и которое некогда было представлено Нерону, в чем еще ни один историк не сомневался. Нынешнее медицинское употребление газов также должно некогда обратиться в ежедневное употребление подобно перцу, ванили, спирту, кофе, табаку, которые некогда употребляли только в виде лекарства; об аэростатах нечего и говорить; если в наше время перед нашими глазами паровые машины достигли от чайника, случайно прикрытого тяжестию, до нынешнего своего состояния, то как сомневаться, что, может быть, XIX столетие еще не кончится, как аэростаты войдут во всеобщее употребление и изменят формы общественной жизни в тысячу раз более, нежели паровые машины и железные дороги. Словом, продолжал мой знакомый, в рассказе моего китайца я не нахожу ничего

такого, существование чего не могло бы естественным образом быть выведено из общих законов развития сил человека в мире природы и искусства. Следственно, не должно слишком упрекать мою фантазию в преувеличении.

Мы сочли нужным поместить сии строки в виде предисловия к нижеследующим письмам.

Кн. В. Одоевский

От Ипполита Цунгиева, студента Главной Пекинской школы, к Лингину, студенту той же школы.

Константинополь, 27-го декабря 4337-го года.

Письмо 1-е

Пишу к тебе несколько слов, любезный друг,— с границы Северного Царства. До сих пор поездка моя была благополучна; мы с быстротою молнии пролетели сквозь Гималайский туннель, но в Каспийском туннеле были остановлены неожиданным препятствием: ты, верно, слышал об огромном аеролите, недавно пролетевшем чрез южное полушарие; этот аеролит упал невдалеке от Каспийского туннеля и засыпал дорогу. Мы должны были выйти из электрохода и с смирением пробираться просто пешком между грудами метеорического железа; в это время на море была буря; седой Каспий ревел над нашими головами и каждую минуту, кажется, готов был на нас рухнуться; действительно, если бы аеролит упал несколькими саженями далее, то туннель бы непременно прорвался и сердитое море отомстило бы человеку его дерзкую смелость; но, однако ж, на этот раз человеческое искусство выдержало натиск дикой природы; за несколько шагов нас ожидал в туннеле новый электроход, великолепно освещенный гальваническими фонарями, и в одно мгновение ока Ерзерумские башни промелькнули мимо нас.

Теперь,— теперь слушай и ужасайся! я сажусь в русский гальваностат! — увидев эти воздушные корабли, признаюсь, я забыл и увещания деда Орлия, и

собственную опасность,— и все наши понятия об этом предмете.

Воля твоя — летать по воздуху есть врожденное чувство человеку. Конечно, наше правительство поступило основательно, запретив плавание по воздуху; в состоянии нашего просвещения еще рано было нам и помышлять об этом; несчастные случаи, стоившие жизни десяткам тысяч людей, доказывают необходимость решительной меры, принятой нашим правительством. Но в России совсем другое; если бы ты видел, с какою усмешкою русские выслушали мои опасения, мои вопросы о предосторожностях... они меня не понимали! они так верят в силу науки и в собственную бодрость духа, что для них летать по воздуху то же, что нам ездить по железной дороге. Впрочем, русские имеют право смеяться над нами; каждым гальваностатом управляет особый профессор; весьма тонкие многосложные снаряды показывают перемену в слоях воздуха и предупреждают направление ветра. Весьма немногие из русских подвержены воздушной болезни; при крепости их сложения они в самых верхних слоях атмосферы почти не чувствуют ни стеснения в груди, ни напора крови — может быть, тут многое значит привычка.

Однако я не могу от тебя скрыть, что и здесь распространилось большое беспокойство. На воздушной станции я застал русского министра гальваностатики вместе с министром астрономии; вокруг них толпилось множество ученых, они осматривали почтовые гальваностаты и аэростаты, приводили в действие разные инструменты и снаряды — тревога была написана на всех лицах.

Дело в том, любезный друг, что падение Галлеевой кометы на Землю, или, если хочешь, соединение ее с Землею, кажется делом решенным; приблизительно назначает время падения нынешним годом,— но ни точного времени, ни места падения, по разным соображениям, определить нельзя.

С. Пбург. 4 Янв. 4338-го.

Письмо 2-е

Наконец я в центре русского полушария и всемирного просвещения; пишу к тебе, сидя в прекрасном доме, на выпуклой крышке которого огромными хрустальными буквами изображено: *Гостиница для прилетающих.* Здесь такое уже обыкновение: на богатых домах крыши все хрустальные или крыты хрустальною же белою черепицей, а имя хозяина сделано из цветных хрусталей. Ночью, как дома освещены внутри, эти блестящие ряды кровель представляют волшебный вид; сверх того, сие обыкновение очень полезно,— не так, как у нас, в Пекине, где ночью сверху никак не узнаешь дома своего знакомого, надобно спускаться на землю. Мы летели очень тихо; хотя здешние почтовые аэростаты и прекрасно устроены, но нас беспрестанно задерживали противные ветры. Представь себе, мы сюда из Пекина дотащились едва на восьмой день! Что за город, любезный товарищ! что за великолепие! что за огромность! Пролетая через него, я верил баснословному преданию, что здесь некогда были два города, из которых один назывался Москвою, а другой собственно Петербургом, и они были отделены друг от друга едва ли не степью. Действительно, в той части города, которая называется Московскою и где находятся величественные остатки древнего Кремля, есть в характере архитектуры что-то особенное. Впрочем, больших новостей от меня не жди; я почти ничего не мог рассмотреть, ибо дядюшка очень спешил; я успел заметить только одно: что воздушные дороги здесь содержат в отличном порядке, да — чуть не забыл — мы залетели к экватору, но лишь на короткое время, посмотреть начало системы теплохранилищ, которые отсюда тянутся почти по всему северному полушарию; истинно, дело достойное удивления! труд веков и науки! Представь себе: здесь непрерывно огромные машины вгоняют горячий воздух в трубы, соединяющиеся с главными резервуарами; а с этими резервуарами все теплохранилища, особо устроенные в каждом городе сего обширного государства; из городских хранилищ теплый воздух проведен частию в дома и в крытые сады, а частию устремляется по направлению воздушного пути, так что во всю дорогу, несмотря на суровость

климата, мы почти не чувствовали холода. Так русские победили даже враждебный свой климат! Мне сказывали, что здесь общество промышленников хотело предложить нашему правительству доставлять, наоборот, отсюда холодный воздух прямо в Пекин для освежения улиц; но теперь не до того: все заняты одним — кометою, которая через год должна разрушить нашу Землю. Ты знаешь, что дядюшка отправлен нашим императором в Петербург для негоциации именно по сему предмету. Уже было несколько дипломатических собраний: наше дело, во-первых, осмотреть на месте все принимаемые меры против сего бедствия и, во-вторых, ввести Китай в союз государств, соединившихся для общих издержек по сему случаю. Впрочем, здешние ученые очень спокойны и решительно говорят, что если только рабочие не потеряют присутствия духа при действии снарядами, то весьма возможно будет предупредить падение кометы на Землю: нужно только знать заблаговременно, на какой пункт комета устремится; но астрономы обещают вычислить это в точности, как скоро она будет видима в телескоп. В одном из следующих писем я тебе расскажу все меры, предпринятые здесь по сему случаю правительством. Сколько знаний! сколько глубокомыслия! Удивительная ученость, и еще более удивительная изобретательность в этом народе! Она здесь видна на каждом шагу; по одной смелой мысли воспротивиться падению кометы ты можешь судить об остальном: все в таком же размере, и часто, признаюсь, со стыдом вспоминал я о состоянии нашего отечества; правда, однако ж, и то, что мы народ молодой, а здесь, в России, просвещение считается тысячелетиями: это одно может утешить народное самолюбие.

Смотря на все меня окружающее, я часто, любезный товарищ, спрашиваю самого себя, что было бы с нами, если б за 500 лет перед сим не родился наш великий Хунг-Гин, который пробудил наконец Китай от его векового усыпления или, лучше сказать, мертвого застоя; если б он не уничтожил следов наших древних, ребяческих наук, не заменил наш фетишизм истинною верою, не ввел нас в общее семейство образованных народов? Мы, без шуток, сделались бы теперь похожими на этих одичавших американцев, ко-

торые, за недостатком других спекуляций, продают свои города с публичного торгу, потом приходят к нам грабить и против которых мы одни в целом мире должны содержать войско. Ужас подумать, что не более двухсот лет, как воздухоплавание у нас вошло во всеобщее употребление, и что лишь победы русских над нами научили нас сему искусству! А всему виною была эта закоснелость, в которой наши поэты еще и теперь находят что-то поэтическое. Конечно, мы, китайцы, ныне ударились в противоположную крайность — в безотчетное подражание иноземцам; все у нас на русский манер: и платье, и обычаи, и литература; одного у нас нет — русской сметливости, но и ее приобретем со временем. Да, мой друг, мы отстали, очень отстали от наших знаменитых соседей; будем же спешить учиться, пока мы молоды и есть еще время. Прощай; пиши ко мне с первым телеграфом.

P. S. Скажи твоему батюшке, что я исполнил его комиссию и поручил одному из лучших химиков снять в камер-обскуру некоторые из древнейших здешних зданий, как они есть, с абрисом и красками; ты увидишь, как мало на них походят так называемые у нас дома в русском вкусе.

Письмо 3-е

Один из здешних ученых, г-н Хартин, водил меня вчера в Кабинет Редкостей, которому посвящено огромное здание, построенное на самой средине Невы и имеющее вид целого города. Многочисленные арки служат сообщением между берегами; из окон виден огромный водомет, который спасает приморскую часть Петербурга от наводнений. Ближний остров, который в древности назывался Васильевским, также принадлежит к Кабинету. Он занят огромным крытым садом, где растут деревья и кустарники, а за решетками, но на свободе, гуляют разные звери; этот сад есть чудо искусства! Он весь построен на сводах, которые нагреваются теплым воздухом постепенно, так, что несколько шагов отделяют знойный климат от умеренного; словом, этот сад — сокращение всей нашей планеты; исходить его то же, что сделать путешествие вокруг света. Произведения всех стран со-

браны в этом уголке, и в том порядке, в каком они существуют на земном шаре. Сверх того, в средине здания, посвященного Кабинету, на самой Неве, устроен огромный бассейн нагреваемый, в котором содержат множество редких рыб и земноводных различных пород; по обеим сторонам находятся залы, наполненные сухими произведениями всех царств природы, расположенными в хронологическом порядке, начиная от допотопных произведений до наших времен. Осмотрев все это хотя бегло, я понял, каким образом русские ученые приобретают такие изумительные сведения. Стоит только походить по сему Кабинету — и, не заглядывая в книги, сделаешься очень сведущим натуралистом. Здесь, между прочим, очень замечательна коллекция животных... Сколько пород исчезло с лица земли или изменилось в своих формах! Особенно поразил меня очень редкий экземпляр гигантской лошади, на которой сохранилась даже шерсть. Она совершенно походит на тех лошадок, которых дамы держат ныне вместе с постельными собачками; но только древняя лошадь была огромного размеру: я едва мог достать ее голову.

— Можно ли верить тому,— спросил я у смотрителя Кабинета,— что люди некогда садились на этих чудовищ?

— Хотя на это нет достоверных сведений,— отвечал он,— но до сих пор сохранились древние памятники, где люди изображены верхом на лошадях.

— Не имеют ли эти изображения какого-нибудь аллегорического смысла? Может быть, древние хотели этим выразить победу человека над природою или над своими страстями?

— Так думают многие, и не без основания,— сказал Хартин,— но кажется, однако же, что эти аллегорические изображения были взяты из действительного мира; иначе как объяснить слова «конница», «конное войско», часто встречаемые в древних рукописях? Сверх того, посмотрите,— сказал он, показывая мне одну поднятую ногу лошади, где я увидел выгнутый кусок ржавого железа, прибитого гвоздями к копыту,— вот,— продолжал мой ученый,— одна из драгоценнейших редкостей нашего Кабинета; посмотрите: это железо прибито гвоздями, следы этих гвоздей вид-

ны и на остальных копытах. Здесь явно дело рук человеческих.

— Для какого же употребления могло быть это железо?

— Вероятно, чтоб ослабить силу этого страшного животного,— заметил смотритель.

— А может быть, их во время войны пускали против неприятеля; и этим железом могли наносить ему больше вреда?

— Ваше замечание очень остроумно,— отвечал учтивый ученый,— но где для него доказательства?

Я замолчал.

— Недавно открыли здесь очень древнюю картину,— сказал Хартин,— на которой изображен снаряд, который употребляли, вероятно, для усмирения лошади; на этой картине ноги лошади привязаны к стойкам, и человек молотом набивает ей копыто; возле находится другая лошадь, запряженная в какую-то странную повозку на колесах.

— Это очень любопытно. Но как объяснить умельчение породы этих животных?

— Это объясняют различным образом; самое вероятное мнение то, что во втором тысячелетии после Р. Х. всеобщее распространение аэростатов сделало лошадей более ненужными; оставленные на произвол судьбы, лошади ушли в леса, одичали; никто не пекся о сохранении прежней породы, и большая часть их погибла; когда же лошади сделались предметом любопытства, тогда человек докончил дело природы; тому несколько веков существовала мода на маленьких животных, на маленькие растения; лошади подверглись той же участи: при пособии человека они мельчали постепенно и наконец дошли до нынешнего состояния забавных, но бесполезных домашних животных.

— Или должно думать,— сказал я, смотря на скелет,— что на лошадях в древности ездили одни герои, или должно сознаться, что люди были гораздо смелее нынешнего. Как осмелиться сесть на такое чудовище!

— Действительно, люди в древности охотнее нашего подвергались опасностям. Например, теперь неоспоримо доказано, что пары, которые мы нынче употреб-

ляем только для взрыва земли, эта страшная и опасная сила в продолжение нескольких сот лет служила людям для возки экипажей...

— Это непостижимо!

— О! Я в этом уверен, что если бы сохранились древние книги, то мы много б узнали такого, что почитаем теперь непостижимым.

— Вы в этом отношении еще счастливее нас: ваш климат сохранил хотя некоторые отрывки древних писаний, и вы успели их перенести на стекло; но у нас — что не истлело само собою, то источено насекомыми, так что для Китая письменных памятников уже не существует.

— И у нас немного сохранилось,— заметил Хартин.— В огромных связках антикварии находят лишь отдельные слова или буквы, и они-то служат основанием всей нашей древней истории.

— Должно ожидать многого от трудов ваших почтенных антиквариев. Я слышал, что новый словарь, ими приготовляемый, будет содержать в себе две тысячи древних слов более против прежнего.

— Так! — заметил смотритель,— но к чему это послужит? На каждое слово напишут по две тысячи диссертаций и все-таки не откроют их значения. Вот, например, хоть слово «немцы», сколько труда оно стоило нашим ученым, и все не могут добраться до настоящего его смысла.

Физик задел мою чувствительную струну; студенту истории больно показалось такое сомнение; я решился блеснуть своими знаниями.

— Немцы были народ, обитавший на юг от древней России,— сказал я,— это, кажется, доказано; немцев покорили Аллеманцы, потом на месте Аллеманнов являются Тедески, Тедесков покорили Германцы или, правильнее, Жерманийцы, а Жерманийцев Дейчеры— народ знаменитый, от которого даже язык сохранился в нескольких отрывках, оставшихся от их поэта Гёте...

— Да! Так думали до сих пор,— отвечал Хартии,— но теперь здесь между антикварнями почти общее мнение, что Дейчеры были нечто совсем другое, а Немцы составляли род особой касты, к которой принадлежали люди разных племен.

— Признаюсь вам, что это для меня совершенно новая точка зрения; я вижу, как мы отстали от ваших открытий.

В таких разговорах мы прошли весь Кабинет; я выпросил позволение посещать его чаще, и смотритель сказал мне, что Кабинет открыт ежедневно днем и ночью. Ты можешь себе представить, как я рад, что познакомился с таким основательным ученым.

В сем же здании помещаются различные Академии, которые носят общее название: Постоянного Ученого Конгресса. Через несколько дней Академия будет открыта посетителям; мы с Хартиным условились не пропустить первого заседания.

Письмо 4-е

Я забыл тебе сказать, что мы приехали в Петербург в самое неприятное для иностранца время, в так называемый *месяц отдохновения*. Таких месяцев постановлено у русских два: один в начале года, другой в половине; в продолжение этих месяцев все дела прекращаются, правительственные места закрываются, никто не посещает друг друга. Это обыкновение мне очень нравится: нашли нужным определить время, в которое всякий мог бы войти в себя и, оставив всю внешнюю деятельность, заняться внутренним своим усовершенствованием или, если угодно, своими домашними обстоятельствами. Сначала боялись, чтобы от сего не произошла остановка в делах, но вышло напротив: всякий, имея определенное время для своих внутренних занятий, посвящает исключительно остальное время на дела общественные, уже ничем не развлекаясь, и от того все дела пошли вдвое быстрее. Это постановление имело, сверх того, спасительное влияние на уменьшение тяжб: всякий успевает одуматься, а закрытие присутственных мест препятствует тяжущимся действовать в минуту движения страстей. Только один такой экстренный случай, каково ожидание кометы, мог до некоторой степени нарушить столь похвальное обыкновение; но, несмотря на то, до сих пор вечеров и собраний нигде не было. Наконец сегодня мы получили домашнюю газету от первого здешнего министра, где, между прочим, и мы приглашены были к нему на вечер. Надобно тебе

знать, что во многих домах, особенно между теми, которые имеют большие знакомства, издаются подобные газеты; ими заменяется обыкновенная переписка. Обязанность издавать такой журнал раз в неделю или ежедневно возлагается в каждом доме на столового дворецкого. Это делается очень просто: каждый раз, получив приказание от хозяев, он записывает все ему сказанное, потом в камер-обскуру снимает нужное число экземпляров и рассылает их по знакомым. В этой газете помещаются обыкновенно извещение о здоровье или болезни хозяев и другие домашние новости, потом разные мысли, замечания, небольшие изобретения, а также и приглашения; когда же бывает зов на обед, то и le menu [1]. Сверх того, для сношений в непредвиденном случае между знакомыми домами устроены магнетические телеграфы, посредством которых живущие на далеком расстоянии разговаривают друг с другом.

Итак, я наконец увижу здешнее высшее общество. В будущем письме опишу тебе, какое впечатление оно на меня сделало. Не худо заметить для нас, китайцев, которые любят обращать ночь в день, что здесь вечер начинается в пять часов пополудни, в восемь часов ужинают и в девять уже ложатся спать; зато встают в четыре часа и обедают в двенадцать. Посетить кого-нибудь утром считается величайшею неучтивостью, ибо предполагается, что утром всякий занят. Мне сказывали, что даже те, которые ничего не делают, утром запирают свои двери для тона.

Письмо 5-е

Дом первого министра находится в лучшей части города, близ Пулковой горы, возле знаменитой древней Обсерватории, которая, говорят, построена за 2500 лет до нашего времени. Когда мы приблизились к дому, уже над кровлею было множество аэростатов: иные носились в воздухе, другие были прикреплены к нарочно для того устроенным колоннам. Мы вышли на платформу, которая в одну минуту опустилась, и мы увидели себя в прекрасном крытом саду, который служил министру приемною. Весь сад, заса-

[1] Меню *(фр.)*.

женный редкими растениями, освещался прекрасно сделанным электрическим снарядом в виде солнца. Мне сказывали, что оно не только освещает, но химически действует на дерева и кустарники; в самом деле, никогда мне еще не случалось видеть такой роскошной растительности.

Я бы желал, чтобы наши китайские приверженцы старых обычаев посмотрели на здешние светские приемы и обращение; здесь нет ничего похожего на наши китайские учтивости, от которых до сих пор мы не можем отвыкнуть. Здешняя простота обращения с первого вида походит на холодность, но потом к нему так привыкаешь, оно кажется весьма естественным, и уверяешься, что эта мнимая холодность соединена с неиритворным радушием. Когда мы вошли в приемную, она уже была полна гостями; в разных местах между деревьями мелькали группы гуляющих; иные говорили с жаром, другие их слушали молча. Надобно тебе заметить, что здесь ни на кого не налагается обязанность говорить: можно войти в комнату, не говоря ни слова, и даже не отвечать на вопросы,— это никому не покажется странным; записные ж фешионабли решительно молчат по целым вечерам,— это в большом тоне; спрашивать кого-нибудь о здоровье, о его делах, о погоде или вообще предложить пустой вопрос считается большою неучтивостью; но зато начавшийся разговор продолжается горячо и живо. Дам было множество, вообще прекрасных и особенно свежих; худощавость и бледность считается признаком невежества, потому что здесь в хорошее воспитание входит наука здравия и часть медицины, так, что кто не умеет беречь своего здоровья, о том, особенно о дамах, говорят, что они худо воспитаны.

Дамы были одеты великолепно, большею частию в платьях из эластичного хрусталя разных цветов; по иным струились все отливы радуги, у других в ткани были заплавлены разные металлические кристаллизации, редкие растения, бабочки, блестящие жуки. У одной из фешенебельных дам в фестонах платья были даже живые светящиеся мошки, которые в темных аллеях, при движении, производили ослепительный блеск; такое платье, как говорили здесь, стоит очень дорого и может быть надето только один раз, ибо на-

секомые скоро умирают. Я не без удивления заметил по разговорам, что в высшем обществе наша роковая комета гораздо менее возбуждала внимания, нежели как того можно было ожидать. Об ней заговорили нечаянно; одни ученым образом толковали о большем или меньшем успехе принятых мер, рассчитывали вес кометы, быстроту ее падения и степень сопротивления устроенных снарядов; другие вспоминали все победы, уже одержанные человеческим искусством над природою, и их вера в могущество ума была столь сильна, что они с насмешкою говорили об ожидаемом бедствии; в иных спокойствие происходило от другой причины: они намекали, что уже довольно пожито и что надобно же всему когда-нибудь кончиться; но большая часть толковали о текущих делах, о будущих планах, как будто ничего не должно перемениться. Некоторые из дам носили уборки à la comête [1]; они состояли в маленьком электрическом снаряде, из которого сыпались беспрестанные искры. Я заметил, как эти дамы из кокетства старались чаще уходить в тень, чтобы пощеголять прекрасною электрическою кистью, изображавшею хвост кометы, и которая как бы блестящим пером украшала их волосы, придавая лицу особенный оттенок.

В разных местах сада по временам раздавалась скрытая музыка, которая, однако ж, играла очень тихо, чтобы не мешать разговорам. Охотники садились на резонанс, особо устроенный над невидимым оркестром; меня пригласили сесть туда же, но с непривычки мои нервы так раздражились от этого приятного, но слишком сильного сотрясения, что я, не высидев двух минут, соскочил на землю, чему дамы много смеялись. Вообще на нас с дядюшкою, как на иностранцев, все гости обращали особенное внимание и старались, по древнему русскому обычаю, показать нам всеми возможными способами свое радушное гостеприимство, преимущественно дамы, которым, сказать без самолюбия, я очень понравился, как увидишь впоследствии. Проходя по дорожке, устланной бархатным ковром, мы остановились у небольшого бассейна, который тихо журчал, выбрасывая брызги ароматной воды; одна из

[1] В виде кометы *(фр.)*.

дам, прекрасная собою и прекрасно одетая, с которою я как-то больше сошелся, нежели с другими, подошла к бассейну, и в одно мгновение журчание превратилось в прекрасную тихую музыку: таких странных звуков мне еще никогда не случалось слышать; я приблизился к моей даме и с удивлением увидел, что она играла на клавишах, приделанных к бассейну: эти клавиши были соединены с отверстиями, из которых по временам вода падала на хрустальные колокола и производила чудесную гармонию. Иногда вода выбегала быстрою, порывистою струей, и тогда звуки походили на гул разъяренных волн, приведенный в дикую, но правильную гармонию; иногда струи катились спокойно, и тогда как бы из отдаления прилетали величественные, полные аккорды; иногда струи рассыпались мелкими брызгами по звонкому стеклу, и тогда слышно было тихое, мелодическое журчание. Этот инструмент назывался гидрофоном; он недавно изобретен здесь и еще не вошел в общее употребление. Никогда моя прекрасная дама не казалась мне столь прелестною: электрические фиолетовые искры головного убора огненным дождем сыпались на ее белые, пышные плечи, отражались в быстробегущих струях и мгновенным блеском освещали ее прекрасное, выразительное лицо и роскошные локоны; сквозь радужные полосы ее платья мелькали блестящие струйки и по временам обрисовывали ее прекрасные формы, казавшиеся полупризрачными. Вскоре к звукам гидрофона присоединился ее чистый, выразительный голос и словно утопал в гармонических переливах инструмента. Действие этой музыки, как бы выходившей из недостижимой глубины вод; чудный магический блеск; воздух, напитанный ароматами; наконец, прекрасная женщина, которая, казалось, плавала в этом чудном слиянии звуков, волн и света,— все это привело меня в такое упоение, что красавица кончила, а я долго еще не мог прийти в себя, что она, если не ошибаюсь, заметила.

Почти такое же действие она произвела и на других, но, однако ж, не раздалось ни рукоплесканий, ни комплиментов — это здесь не в обыкновении. Всякий знает степень своего искусства: дурной музыкант не терзает ушей слушателей, а хороший не заставляет себя упрашивать. Впрочем, здесь музыка входит в общее

воспитание, как необходимая часть его, и она так же обыкновенна, как чтение и письмо; иногда играют чужую музыку, но всего чаще, особенно дамы, подобно моей красавице, импровизируют без всякого вызова, когда почувствуют внутренне к тому расположение.

В разных местах сада стояли деревья, обремененные плодами,— для гостей; некоторые из этих плодов были чудное произведение садового искусства, которое здесь в таком совершенстве. Смотря на них, я не мог не подумать, каких усилий ума и терпения стоило соединить посредством постепенных прививок разные породы плодов, совершенно разнокачественных, и произвести новые, небывалые породы; так, например, я заметил плоды, которые были нечто среднее между ананасом и персиком; ничего нельзя сравнить со вкусом этого плода; я заметил также финики, привитые к вишневому дереву, бананы, соединенные с грушей; всех новых пород, так сказать, изобретенных здешними садовниками, невозможно исчислить. Вокруг этих деревьев стояли небольшие графины с золотыми кранами; гости брали эти графины, отворяли краны и без церемонии втягивали в себя содержавшийся в них, как я думал, напиток. Я последовал общему примеру; в графинах находилась ароматная смесь возбуждающих газов; вкусом они походят на запах вина (bouquet) и мгновенно разливают по всему организму удивительную живость и веселость, которая при некоторой степени доходит до того, что нельзя удержаться от беспрерывной улыбки. Эти газы совершенно безвредны, и их употребление очень одобряется медиками; этим воздушным напитком здесь в высшем обществе совершенно заменились вина, которые употребляются только простыми ремесленниками, никак не решающимися оставить своей грубой влаги.

Через несколько времени хозяин пригласил нас в особое отделение, где находилась магнетическая ванна. Надобно тебе сказать, что здесь животный магнетизм составляет любимое занятие в гостиных, совершенно заменившее древние карты, кости, танцы и другие игры. Вот как это делается: один из присутствующих становится у ванны,— обыкновенно более привыкший к магнетической манипуляции,— все другие берут в руки протянутый от ванны шнурок, и магнетизация

начинается: одних она приводит в простой магнетический сон, укрепляющий здоровье; на других она вовсе не действует до времени; иные же тотчас приходят в степень сомнамбулизма, и в этом состоит цель всей забавы. Я по непривычке был в числе тех, на которых магнетизм не действовал, и потому мог быть свидетелем всего происходившего.

Скоро начался разговор преинтересный; сомнамбулы наперерыв высказывали свои самые тайные помышления и чувства. «Признаюсь,— сказал один,— хоть я и стараюсь показать, что не боюсь кометы, но меня очень пугает ее приближение».— «Я сегодня нарочно рассердила своего мужа,— сказала одна хорошенькая дама,— потому что, когда он сердит, у него делается прекрасная физиономия».— «Ваше радужное платье,— сказала щеголиха своей соседке,— так хорошо, что я намерена непременно выпросить его у вас себе на фасон, хотя мне и очень стыдно просить вас об этом».

Я подошел к кружку дам, где сидела и моя красавица. Едва я пришел с ними в сообщение, как красавица мне сказала: «Вы не можете себе представить, как вы мне нравитесь; когда я вас увидела, я готова была вас поцеловать!» — «И я также, и я также»,— вскричало несколько дамских голосов; присутствующие засмеялись и поздравили меня с блестящим успехом у петербургских дам.

Эта забава продолжалась около часа. Вышедшие из сомнамбулического состояния забывают все, что они говорили, и сказанные ими откровенно слова дают повод к тысяче мистификаций, которые немало служат к оживлению общественной жизни: здесь начало свадеб, любовных интриг, а равно и дружбы. Часто люди, дотоле едва знакомые, узнают в этом состоянии свое расположение друг к другу, а старинные связи еще более укрепляются этими неподдельными выражениями внутренних чувств. Иногда одни мужчины магнетизируются, а дамы остаются свидетелями; иногда, в свою очередь, дамы садятся за магнетическую ванну и рассказывают свои тайны мужчинам. Сверх того, распространение магнетизации совершенно изгнало из общества всякое лицемерие и притворство: оно, очевидно, невозможно; однако же дипломаты, по долгу своего звания, удаляются от этой забавы, и оттого иг-

рают самую незначительную роль в гостиных. Вообще, здесь не любят тех, которые уклоняются от участия в общем магнетизме: в них всегда предполагают какие-нибудь враждебные мысли или порочные наклонности.

Усталый от всех разнообразных впечатлений, испытанных мною в продолжение этого дня, я не дождался ужина, отыскал свой аэростат; на дворе была метель и вьюга, и, несмотря на огромные отверстия вентиляторов, которые беспрестанно выпускают в воздух огромное количество теплоты, я должен был плотно закутываться в мою стеклянную епанчу; но образ прекрасной дамы согревал мое сердце — как говорили древние. Она, как узнал я, единственная дочь здешнего министра медицины; но, несмотря на ее ко мне расположение, как мне надеяться вполне заслужить ее благосклонность, пока я не ознаменовал себя каким-нибудь ученым открытием, и потому считаюсь недорослем!

Письмо 6-е

В последнем моем письме, которое было так длинно, я не успел тебе рассказать о некоторых замечательных лицах, виденных мною на вечере у Председателя Совета. Здесь, как я уже тебе писал, было все высшее общество: Министр философии, Министр изящных искусств, Министр воздушных сил, поэты и философы и историки первого и второго класса. К счастию, я встретил здесь г. Хартина, с которым я прежде еще познакомился у дядюшки; он мне рассказал об этих господах разные любопытные подробности, кои оставляю до другого времени. Вообще скажу тебе, что здесь приготовление и образование первых сановников государства имеет в себе много замечательного. Все они образуются в особенном училище, которое носит название: Училище государственных людей. Сюда поступают отличнейшие ученики из всех других заведений, и за развитием их способностей следят с самого раннего возраста. По выдержании строгого экзамена они присутствуют в продолжение нескольких лет при заседаниях Государственного совета, для приобретения нужной опытности; из сего рассадника они поступают

прямо на высшие государственные места; оттого нередко между первыми сановниками встречаешь людей молодых — это кажется и необходимо, ибо одна свежесть и деятельность молодых сил может выдержать трудные обязанности, на них возложенные; они стареют преждевременно, и им одним не ставится в вину расстройство их здоровья, ибо этою ценою покупается благосостояние всего общества.

Министр примирений есть первый сановник в империи и Председатель Государственного совета. Его должность самая трудная и скользкая. Под его ведением состоят все мирные судьи во всем государстве, избираемые из почетнейших и богатейших людей; их должность быть в близкой связи со всеми домами вверенного им округа и предупреждать все семейственные несогласия, распри, а особенно тяжбы, а начавшиеся стараться прекратить миролюбно; для затруднительных случаев они имеют от правительства значительную сумму, носящую название примирительной, которую употребляют под своею ответственностию на удовлетворение несогласных на примирение; этой суммы ныне, при общем нравственном улучшении, выходит втрое менее того, что в старину употреблялось на содержание Министерства юстиции и полиции. Замечательно, что мирные судьи, сверх внутреннего побуждения к добру (на что при выборе обращается строгое внимание), обязаны и внешними обстоятельствами заниматься своим делом рачительно, ибо за каждую тяжбу, не предупрежденную ими, они должны вносить пеню, которая поступает в общий примирительный капитал. Министр примирений, в свою очередь, ответствует за выбор судей и за их действия. Сам он есть первый мирный судья, и на него лично возложено согласие в действиях всех правительственных мест и лиц; ему равным образом вверено наблюдение за всеми учеными и литературными спорами; он обязан наблюдать, чтобы этого рода споры продолжались столько, сколько это может быть полезно для совершенствования науки и никогда бы не обращались на личность. Поэтому ты можешь себе представить, какими познаниями должен обладать этот сановник и какое усердие к общему благу должно оживлять его. Вообще заметим, что жизнь сих сановников бывает кратковременна —

непомерные труды убивают их, и не мудрено, ибо он не только должен заботиться о спокойствии всего государства, но и беспрестанно заниматься собственным совершенствованием,— а на это едва достает сил человеческих.

Нынешний Министр примирений вполне достоин своего звания; он еще молод, но волосы его уже поседели от беспрерывных трудов; в лице его выражается доброта, вместе с проницательностию и глубокомыслием.

Кабинет его завален множеством книг и бумаг; между прочим, я видел у него большую редкость: свод русских законов, изданный в половине XIX столетия по Р. Х.; многие листы истлели совершенно, но другие еще сохранились в целости; эта редкость как святыня хранится под стеклом в драгоценном ковчеге, на котором начертано имя Государя, при котором этот свод был издан.

«Это один из первых памятников,— сказал мне хозяин,— Русского законодательства; от изменения языка, в течение столь долгого времени, многое в сем памятнике сделалось ныне совершенно необъяснимым, но из того, что мы до сих пор могли разобрать, видно, как древне наше просвещение! Такие памятники должно сохранять благодарное потомство».

Письмо 7-е

Сегодня поутру зашел ко мне г-н Хартин и пригласил осмотреть залу общего собрания Академии. «Не знаю,— сказал он,— позволят ли нам сегодня остаться в заседании, но до начала его вы успеете познакомиться с некоторыми из здешних ученых».

Зала Ученого Конгресса, как я тебе уже писал, находится в здании Кабинета Редкостей. Сюда, сверх еженедельных собраний, собираются ученые почти ежедневно; большею частию они здесь и живут, чтобы удобнее пользоваться огромными библиотеками и физическою лабораторией Кабинета. Сюда приходят и физик, и историк, и поэт, и музыкант, и живописец; они благородно поверяют друг другу свои мысли, опыты, даже и неудачные, самые зародыши своих открытий, ничего не скрывая, без ложной скромности и без

самохвальства; здесь они совещаются о средствах согласовать труды свои и дать им единство направления; сему весьма способствует особая организация сего сословия, которую я опишу тебе в одном из будущих моих писем. Мы вошли в огромную залу, украшенную статуями и портретами великих людей; несколько столов были заняты книгами, а другие физическими снарядами, приготовленными для опытов; к одному из столов были протянуты проводники от огромнейшей в мире гальвано-магнетической цепи, которая одна занимала особое здание в несколько этажей.

Было еще рано и посетителей мало. В небольшом кружку с жаром говорили о недавно вышедшей книжке; эта книжка была представлена Конгрессу одним молодым археологом и имела предметом объяснить весьма спорную и любопытную задачу, а именно о древнем названии Петербурга. Тебе, может быть, неизвестно, что по сему предмету существуют самые противоречащие мнения. Исторические свидетельства убеждают, что этот город был основан тем великим Государем, которого он носит имя. Об этом никто не спорит; но открытия некоторых древних рукописей привели к мысли, что, по неизъяснимым причинам, сей знаменитый город в продолжение тысячелетия несколько раз переменял свое название. Эти открытия привели в волнение всех здешних археологов: один из них доказывает, что древнейшее название Петербурга было Петрополь, и приводит в доказательство стих древнего поэта:

Петрополь с башнями дремал...

Ему возражали, и не без основания, что в этом стихе должна быть опечатка. Другой утверждает, также основываясь на древних свидетельствах, что древнейшее название Петербурга было Петроград. Я не буду тебе высчитывать всех других предположений по сему предмету: молодой археолог опровергает их всех без исключения. Перерывая полуистлевшие слои древних книг, он нашел связку рукописей, которых некоторые листы больше других были пощажены временем. Несколько уцелевших строк подали ему повод написать целую книгу комментарий, в которых он доказывает, что древнее название Петербурга было Питер; в под-

тверждение своего мнения, он представил Конгрессу подлинную рукопись. Я видел сей драгоценный памятник древности; он писан на той ткани, которую древние называли *бумагою* и которой тайна приготовления ныне потеряна; впрочем, жалеть нечего, ибо ее непрочность причиною тому, что для нас исчезли совершенно все письменные памятники древности. Я списал для тебя эти несколько строк, приведших в движение всех ученых; вот они:

«Пишу к вам, почтеннейший, из Питера, а на днях отправляюсь в Кронштадт, где мне предлагают место помощника столоначальника... с жалованьем по пятисот рублей в год...» Остальное истребилось временем.

Ты можешь себе легко представить, к каким любопытным исследованиям могут вести сии немногие драгоценные строки; очевидно, что это отрывок из письма, но кем и к кому оно было писано? вот вопрос, вполне достойный внимания ученого мира. К счастию, сам писавший дает уже нам приблизительное понятие о своем звании: он говорит, что ему предлагают место помощника столоначальника; но здесь важное недоразумение: что значит слово «столоначальник»? Оно в первый раз еще встречается в древних рукописях. Большинство голосов того мнения, что звание столоначальника было звание важное, подобно званиям военачальников и градоначальников. Я совершенно с этим согласен — аналогия очевидная! Предполагают, и не без основания, что военачальник в древности заведовал военною частию, градоначальник — гражданскою, а столоначальник, как высшее лицо, распоряжал действиями сих обоих сановников. Слово «почтеннейший», которого окончание, по мнению грамматиков, означает высшую степень уважения, оказываемого людям, показывает, что это письмо было писано также к важному лицу. Все это так ясно, что, кажется, не подлежит ни малейшему сомнению; в сем случае существует только одно затруднение: как согласить столь незначительное жалованье, пятьсот рублей, с важностию такого места, каково долженствовало быть место помощника столоначальника. Это легко объясняется предположением, что в древности слово «рубль» было общим выражением числа вещей: как, например, слово «мириада», но, по моему мнению, здесь скрывается нечто важнейшее.

Эта незначительность суммы не ведет ли к заключению, что в древности количество жалованья высшим сановникам было гораздо менее того, которое выдавалось людям низших должностей; ибо высшее звание предполагало в человеке, его занимавшем, больше любви к общему благу, больше самоотвержения, больше поэзии; такая глубокая мысль вполне достойна мудрости древних.

Впрочем, все это показывает, любезный друг, как еще мало знаем мы их историю, несмотря на все труды новейших изыскателей!

В первый раз еще мне удалось видеть в подлиннике древнюю рукопись; ты не можешь представить, какое особенное чувство возбудилось в моей душе, когда я смотрел на этот величественный памятник древности, на этот почерк вельможи, может быть, великого человека, переживший его, по крайней мере, четыре тысячи столетия, человека, от которого, может быть, зависела судьба миллионов; в самом почерке есть что-то необыкновенно стройное и величественное. Но только чего стоило древним выписывать столько букв для слов, которые мы ныне выражаем одним значком. Откуда они брали время на письмо? а писали они много: недавно мне показывали мельком огромное здание, сохраняющееся доныне от древнейших времен; оно сверху донизу наполнено истлевшими связками писаной бумаги; все попытки разобрать их были тщетны; они разлетаются в пыль при малейшем прикосновении; успели списать лишь несколько слов, встречающихся чаще других, как-то: *рапорт,* или, правильнее, *репорт, инструкция, отпуск провианта* и прочее т. п., которых значение совершенно потерялось. Сколько сокровищ для истории, для поэзии, для наук должно храниться в этих связках, и все истреблено неумолимым временем! Если мы во многом отстали от древних, то по крайней мере наши писания не погибнут. Я видел здесь книги, за тысячу лет писанные на нашем стеклянном папирусе — как вчера писаны! разве комета растопит их?!

Между тем, пока мы занимались рассмотрением сего памятника древности, в залу собрались члены Академии, и как это заседание не было публичное, то мы должны были выйти. Сегодня Конгресс должен занять-

ся рассмотрением различных проектов, относящихся до средств воспротивиться падению кометы; по сей причине назначено тайное заседание, ибо в обыкновенные дни зала едва может вмещать посторонних посетителей: так сильна здесь общая любовь к ученым занятиям!

Вышедши наверх к нашему аэростату, мы увидели на ближней платформе толпу людей, которые громко кричали, махали руками и, кажется, бранились.

«Что это такое?» — спросил я у Хартина.

«О, не спрашивайте лучше,— отвечал Хартии,— эта толпа — одно из самых странных явлений нашего века. В нашем полушарии просвещение распространилось до низших степеней; оттого многие люди, которые едва годны быть простыми ремесленниками, объявляют притязание на ученость и литераторство; эти люди почти каждый день собираются у передней нашей Академии, куда, разумеется, им двери затворены, и своим криком стараются обратить внимание проходящих. Они до сих пор не могли постичь, отчего наши ученые гнушаются их сообществом, и в досаде принялись их передразнивать, завели также нечто похожее на науку и на литературу; но, чуждые благородных побуждений истинного ученого, они обратили и ту и другую в род ремесла: один лепит нелепости, другой хвалит, третий продает, кто больше продаст — тот у них и великий человек; от беспрестанных денежных сделок у них беспрестанные ссоры, или, как они называют, партии: один обманет другого — вот и две партии, и чуть не до драки; всякому хочется захватить монополию, а более всего завладеть настоящими учеными и литераторами; в этом отношении они забывают свою междоусобную вражду и действуют согласно; тех, которые избегают их сплетней, промышленники называют аристократами, дружатся с их лакеями, стараются выведать их домашние тайны и потом взводят на своих мнимых врагов разные небылицы. Впрочем, все эти затеи не удаются нашим промышленникам и только увеличивают каждый день общее к ним презрение».

«Скажите,— спросил я,— откуда взяться могли такие люди в русском благословенном царстве?»

«Они большею частию пришельцы из разных стран света; незнакомые с русским духом, они чужды и люб-

ви к русскому просвещению: им бы только нажиться,— а Россия богата. В древности такого рода людей не существовало, по крайней мере об них не сохранилось никакого предания. Один мой знакомый, занимающийся сравнительною антропологиею, полагает, что этого рода люди происходят по прямой линии от кулашных бойцов, некогда существовавших в Европе. Что делать! Эти люди — темная сторона нашего века, надобно надеяться, что с большим распространением просвещения исчезнут и эти пятна на русском солнце».

Здесь мы приблизились к дому.

Фрагменты

I

В начале 4837 года, когда Петербург уже выстроили и перестали в нем чинить мостовую, дорожный гальваностат[1] быстро спустился к платформе высокой башни, находившейся над *Гостиницей для прилетающих;* почтальон проворно закинул несколько крюков к кольцам платформы, выдернул задвижную лестницу, и человек в широкой одежде из эластического стекла выскочил из гальваностата, проворно взбежал на платформу, дернул за шнурок, и платформа тихо опустилась в общую залу.

— Что у вас приготовлено к столу? — спросил путешественник, сбрасывая с себя стеклянную епанчу и поправляя свое полукафтанье из тонкого паутинного сукна.

— С кем имею честь говорить? — спросил учтиво трактирщик.

— Ординарный Историк при дворе американского поэта Орлия.

Трактирщик подошел к стене, на которой висели несколько прейскурантов под различными надписями: поэты, историки, музыканты, живописцы, и проч., и проч.

Один из таких прейскурантов был поднесен трактирщиком путешественнику.

— Это что значит? — спросил сей последний, прочитавши заглавие: «Прейскурант для Историков».

[1] Воздушный шар, приводимый в действие гальванизмом.

— Да! Я и забыл, что в вашем полушарии для каждого звания особый обед. Я слышал об этом — признайтесь, однако же, что это постановление у вас довольно странно.

— Судьба нашего отечества,— возразил, улыбаясь, трактирщик,— состоит, кажется, в том, что его никогда не будут понимать иностранцы. Я знаю, многие американцы смеялись над этим учреждением оттого только, что не хотели в него вникнуть. Подумайте немного, и вы тотчас увидите, что оно основано на правилах настоящей нравственной математики: прейскурант для каждого звания соображен с той степенью пользы, которую может оно принести человечеству.

Американец насмешливо улыбнулся:

— О! Страна поэтов! У вас везде поэзия, даже в обеденном прейскуранте... Я, южный прозаик, спрошу у вас: что вы будете делать, если вам захочется блюдо, не находящееся в историческом прейскуранте?..

— Вы можете получить его, но только за деньги...

— Как, стало быть, все, что в этом прейскуранте?..

— Вы получаете даром... от вас потребуется в нашем крае только жизни и деятельности, сообразной с вашим званием, а правительство уже платит мне за каждого путешественника по установленной таксе...

— Это не совсем дурно,— заметил расчетливый американец,— мне подлинно неизвестно было это распоряжение — вот что значит не вылетать из своего полушария. Я не бывал дальше Новой Голландии.

— А откуда вы сели? — смею спросить.

— С Магелланского пролива... но поговорим об обеде... дайте мне: хорошую порцию крахмального экстракта на спаржевой эссенции; порцию сгущенного азота à la fleur d'orange, ананасной эссенции и добрую бутылку углекислого газа с водородом. Да после обеда нельзя ли мне иметь магнетическую ванну — я очень устал с дороги...

— До какой степени, до сомнамбулизма или менее?..

— Нет, простую магнетическую ванну для подкрепления сил...

— Сейчас будет готова.

Между тем к эластическому дивану на золотых жердях опустили с потолка опрятный стол из резного

рубина, накрыли скатертью из эластического стекла; под рубиновыми колпаками поставили питательные эссенции, а кислоугольный газ — в рубиновых же бутылках с золотыми кранами, которые оканчивались длинною трубочкою.

Путешественник кушал за двоих — и попросил другую порцию азота.

Когда он опорожнил бутылку углекислоты, то сделался говорливее.

— Превкусный азот! — сказал он трактирщику,— мне случалось только один раз есть такой в Мадагаскаре.

II

Пока дядюшка занимался своими дипломатическими интригами, я успел здесь свести многие интересные знакомства. Я встретился у дядюшки с г. Хартиным, ординарным историком при первом здешнем поэте Орлии. (Это одно из почтеннейших званий в империи; должность историка приготовлять исторические материалы для поэтических соображений Поэта или производить новые исследования по его указаниям; его звание учреждено недавно, но уже принесло значительные услуги государству; исторические изыскания приобрели больше последовательности, а от сего пролили новый свет на многие темные пункты в истории.)

Я, не теряя времени, попросил мне Хартина объяснить подробно, в чем состоит его должность, которая, как известно, принадлежит у русских к почетнейшим,— и о чем мы в Китае имели только поверхностное сведение; вот что он отвечал мне:

«Вам, как человеку учившемуся, известно, сколько усилий употребляли знаменитые мужи для соединения всех наук в одну; особливо замечательны в сем отношении труды 3-го тысячелетия по Р. Х. В глубочайшей древности встречаются жалобы на излишнее раздробление наук; десятки веков протекли, и все опыты соединить их оказались тщетными,— ничто не помогло — ни упрощение метод, ни классификация знаний. Человек не мог выйти из сей ужасной дилеммы: или его знание было односторонне, или поверхностно. Чего не сде-

лали труды ученых, то произошло естественно из гражданского устройства; давнее разделение общества на сословия Историков, Географов, Физиков, Поэтов — каждое из этих сословий действовало отдельно — дало повод к счастливой мысли ныне царствующего у нас Государя, который сам принадлежит к числу первых поэтов нашего времени: он заметил, что в сем собрании ученых естественным образом одно сословие подчинилось другому,— он решился, следуя сему естественному указанию, соединить эти различные сословия не одною ученою, но и гражданскою связью; мысль, по-видимому, очень простая, но которая, как все простые и великие мысли, приходит в голову только великим людям. Может быть, при этом первом опыте некоторые сословия не так классифицированы — но этот недостаток легко исправится временем. Теперь к удостоенному звания поэта или философа определяется несколько ординарных историков, физиков, лингвистов и других ученых, которые обязаны действовать по указанию своего начальника или приготовлять для него материалы: каждый из историков имеет, в свою очередь, под своим ведением несколько хронологов, филологов-антикваріев, географов; физик — несколько химиков, ...ологов, минерологов, так и далее. Минеролог и пр. имеет под своим ведением несколько металлургов и так далее до простых копистов... испытателей, которые занимаются простыми грубыми опытами.

От такого распределения занятий все выигрывают: недостающее знание одному пополнится другим, какое-либо изыскание производится в одно время со всех различных сторон; поэт не отвлекается от своего вдохновения, философ от своего мышления — материальною работою. Вообще обществу это единство направления ученой деятельности принесло плоды неимоверные; явились открытия неожиданные, усовершенствования почти сверхъестественные — и сему, но единству в особенности, мы обязаны теми блистательными успехами, которые ознаменовали наше отечество в последние годы».

Я поблагодарил г. Хартина за его благосклонность и внутренно вздохнул, подумав, когда-то Китай достигнет до той степени, когда подобное устройство ученых занятий будет у нас возможно.

Заметки

Сочинитель романа «The last man[1]» так думал описать последнюю эпоху мира и описал только ту, которая чрез несколько лет после него началася. Это значит, что он чувствовал уже в себе те начала, которые должны были развиться не в нем, а в последовавших за ним людях. Вообще редкие могут найти выражение для отдаленного будущего, но я уверен, что всякий человек, который, освободив себя от всех предрассудков, от всех мнений, в его минуту господствующих, и отсекая все мысли и чувства, порождаемые в нем привычкою, воспитанием, обстоятельствами жизни, его собственными и чужими страстями, предастся инстинктуальному свободному влечению души своей,— тот в последовательном ряду своих мыслей найдет непременно те мысли и чувства, которые будут господствовать в близкую от него эпоху.

История природы есть каталог предметов, которые были и будут. История человечества есть каталог предметов, которые только были и никогда не возвратятся.

Первую надобно знать, чтобы составить общую науку предвидения,— вторую для того, чтобы не принять умершее за живое.

Аэростаты и их влияния

Довольно замечательно, что все так называемые житейские условия возможны лишь в определенном пространстве — и лишь на плоскости; так что все условия торговли, промышленности, местожительства и проч. будут совсем иные в пространстве; так что можно сказать, что продолжение условий нынешней жизни зависит от какого-нибудь колеса, над которым теперь трудится какой-нибудь неизвестный механик,— колеса, которое позволит управлять аэростатом. Любопытно знать, когда жизнь человечества будет в пространстве, какую форму получат торговля, браки, границы, домашняя жизнь, законодательство, преследование

[1] «Последний человек» *(англ.)*.

преступлений и проч. т. п.— словом, все общественное устройство?

Замечательно и то, что аэростат, локомотивы, все роды машин, независимо от прямой пользы, ими приносимой в их осуществлении, действуют на просвещение людей самым своим происхождением, ибо, во 1-х, требуют от производителей и ремесленников приготовительных познаний, и, во 2-х, требуют такой гимнастики для разумения, каковой вовсе не нужно для лопаты или лома.

Зеленые люди на аэростате спустились в Лондон.

Письма из Луны

Нашли способ сообщения с Луною; она необитаема и служит только источником снабжения Земли разными житейскими потребностями, чем отвращается гибель, грозящая Земле по причине ее огромного народонаселения. Эти экспедиции чрезвычайно опасны, опаснее, нежели прежние экспедиции вокруг света; на эти экспедиции единственно употребляется войско. Путешественники берут с собой разные газы для составления воздуха, которого нет на Луне.

Эпоха 4000 лет после нас

Орлий, сын Орлия поэта, не может жениться на своей любезной, если не ознаменует своей жизни важным открытием в какой-либо отрасли познаний; он избирает историю — его археолог доставляет ему рукописи за 4000 лет, которые никто разобрать не может. Его комментарии на сии письма.

Петербургские письма

XIX век *Через 2000 лет*

Сын поэта, чтобы удостоиться руки женщины, должен сделать какое-либо важное открытие в науках, как прежде ему должно было отличить себя на турнирах и битвах. В развалинах находят ману-

скрипт — неизвестно к какому времени принадлежащий. Ординарный философ при поэте-отце отправляет его к ординарному археологу при поэте-сыне в другое полушарие чрез туннель, сделанный насквозь земного шара, дабы он разобрал ее, дабы восстановить прошедшее неизвестное время.

Сын находит, что по сему манускрипту можно заключить, что тогда Россия была только частию мира, а не обхватывала обоих полушарий. Что в это время люди употребляли для своих сношений письмо. Что в музыке учились играть, а не умели с первого раза читать ее.

Судии находят, что поэт не нашел истины и что все изъяснения его суть игра воображения; что хотя он и прочел несколько имен, но что это ничего не значит. Отчаяние молодого поэта. Он жалуется на свой век и пишет к своей любезной, что его не понимают, и спрашивает, хочет ли она любить его просто как не поэта.

В Петербургских письмах (чрез 2000 лет). Человечество достигает того сознания, что природный организм человека не способен к тем отправлениям, которых требует умственное развитие; что, словом, оказывается несостоятельность орудий человека в сравнении с тою целию, мысль о которой выработалась умственною деятельностию. Этою невозможностью достижения умственной цели, этою несоразмерностью человеческих средств с целию наводится на все человечество безнадежное уныние — человечество в своем общем составе занемогает предсмертною болезнию.

Там же: кочевая жизнь возникает в следующем виде — юноши и мужи живут на севере, а стариков и детей переселяют на юг.

Нельзя сомневаться, чтобы люди не нашли средства *превращать климаты* или по крайней мере улучшать их. Может быть, огнедышащие горы в холодной Камчатке (на южной стороне этого полуострова) будут употреблены, как постоянные горны для нагревания сей страны.

Посредством различных химических соединений почвы найдено средство нагревать и расхоложать атмосферу, для отвращения ветров придуманы вентиляторы.

Петербург в разные часы дня.

Часы из запахов: час кактуса, час фиалки, резеды, жасмина, розы, гелиотропа, гвоздики, мускуса, ангелики, уксуса, эфира; у богатых расцветают самые цветы.

Усовершенствование френологии производит то, что лицемерие и притворство уничтожаются; всякий носит своя *внутренняя* в форме своей головы et les hommes le savent naturellement[1].

Увеличившееся чувство любви к человечеству достигает до того, что люди не могут видеть трагедий и удивляются, как мы могли любоваться видом нравственных несчастий, точно так же как мы не можем постигнуть удовольствия древних смотреть на гладиаторов.

Ныне — модная гимнастика состоит из аэростатики и животного магнетизма; в обществах взаимное магнетизирование делается обыкновенною забавою. Магнетическая симпатия и антипатия дают повод к порождению нового рода фешенебельности, и по мере того как государства слились в одно и то же, частные общества разделились более яркими чертами, производимыми этою внутреннею симпатиею или антипатиею, которая обнаруживается при магнетических действиях.

Удивляются, каким образом люди решились ездить в пароходах и в каретах — думают, что в них ездили только герои, и из сего выводят заключение, что люди сделались трусливее.

Изобретение книги, в которой посредством машины изменяются буквы в несколько книг.

[1] И люди осознают это естественно *(фр.)*.

Машины для романов и для отечественной драмы.

...Настанет время, когда книги будут писаться слогом телеграфических депешей; из этого обычая будут исключены разве только таблицы, карты и некоторые тезисы на листочках. Типографии будут употребляться лишь для газет и для визитных карточек; переписка заменится электрическим разговором; проживут еще романы, и то недолго — их заменит театр, учебные книги заменятся публичными лекциями. Новому труженику науки будет предстоять труд немалый: поутру облетать (тогда вместо извозчиков будут аэростаты) с десяток лекций, прочесть до двадцати газет и столько же книжек, написать на лету десяток страниц и по-настоящему поспеть в театр; но главное дело будет: отучить ум от усталости, приучить его переходить мгновенно от одного предмета к другому; изощрить его так, чтобы самая сложная операция была ему с первой минуты легкою; будет приискана математическая формула для того, чтобы в огромной книге нападать именно на ту страницу, которая нужна, и быстро расчислить, сколько затем страниц можно пропустить без изъяна.

Скажем: это мечта! ничего не бывало! за исключением аэростатов — все это воочью совершается: каждый из нас — такой труженик, и облегчительная формула для чтения найдена — спросите у кого угодно. Воля ваша. Non multum sed multa [1] — без этого жизнь невозможна...

[*1840*]

[1] В немногом — многое (*лат.*).

Бал был очень многолюден. После шумного вальса Руневский отвел свою даму на ее место и стал прохаживаться по комнатам, посматривая на различные группы гостей. Ему бросился в глаза человек, по-видимому, еще молодой, но бледный и почти совершенно седой. Он стоял, прислонясь к камину, и с таким вниманием смотрел в один угол залы, что не заметил, как пола его фрака дотронулась до огня и начала куриться. Руневский, возбужденный странным видом незнакомца, воспользовался этим случаем, чтоб завести с ним разговор.

— Вы, верно, кого-нибудь ищете,— сказал он,— а между тем ваше платье скоро начнет гореть.

Незнакомец оглянулся, отошел от камина и, пристально посмотрев на Руневского, отвечал:

— Нет, я никого не ищу; мне только странно, что на сегодняшнем бале я вижу *упырей!*

— Упырей? — повторил Руневский,— как упырей?

— Упырей,— отвечал очень хладнокровно незнакомец.— Вы их, бог знает почему, называете *вампирами,* но я могу вас уверить, что им настоящее русское название: упырь; а так как они происхождения чисто славянского, хотя встречаются во всей Европе и даже в Азии, то и неосновательно придерживаться имени, исковерканного венгерскими монахами, которые вздумали было все переворачивать на латинский лад и из упыря сделали *вампира. Вампир, вампир!* — повторил он с презрением, это все равно, что если бы мы, русские, говорили вместо привидения — *фантом* или *ревенант!*

— Но, однако,— спросил Руневский,— каким бы образом попали сюда вампиры или упыри?

Вместо ответа незнакомец протянул руку и указал на пожилую даму, которая разговаривала с другою дамою и приветливо поглядывала на молодую девушку, сидевшую возле нее. Разговор, очевидно, касался до девушки, ибо она время от времени улыбалась и слегка краснела.

— Знаете ли вы эту старуху? — спросил он Руневского.

— Это бригадирша Сугробина,— отвечал тот.— Я ее лично не знаю, но мне говорили, что она очень богата и что у нее недалеко от Москвы есть прекрасная дача совсем не в бригадирском вкусе.

— Да, она точно была Сугробина несколько лет тому назад, но теперь она не что иное, как самый гнусный упырь, который только ждет случая, чтобы насытиться человеческою кровью. Смотрите, как она глядит на эту бедную девушку; это ее родная внучка. Послушайте, что говорит старуха: она ее расхваливает и уговаривает приехать недели на две к ней на дачу, про которую вы говорите; но я вас уверяю, что не пройдет трех дней, как бедняжка умрет. Доктора скажут, что это горячка или воспаление легких; но вы им не верьте!

Руневский слушал и не верил ушам своим.

— Вы сомневаетесь? — продолжал тот.— Никто, однако, лучше меня не может доказать, что Сугробина упырь, ибо я был на ее похоронах. Если бы меня тогда послушались, то ей бы вбили осиновый кол между плеч для предосторожности; ну, да что прикажете? Наследники были в отсутствии, а чужим какое дело?

В эту минуту подошел к старухе какой-то оригинал в коричневом фраке, в парике, с большим Владимирским крестом на шее и с знаком отличия за сорок пять лет беспорочной службы. Он держал обеими руками золотую табакерку и еще издали протягивал ее бригадирше.

— И это упырь? — спросил Руневский.

— Без сомнения,— отвечал незнакомец.— Это статский советник Теляев; он большой приятель Сугробиной и умер двумя неделями прежде ее.

Приблизившись к бригадирше, Теляев улыбнулся и

шаркнул ногой. Старуха также улыбнулась и опустила пальцы в табакерку статского советника.

— С донником, мой батюшка? — спросила она.

— С донником, сударыня,— отвечал сладким голосом Теляев.

— Слышите? — сказал незнакомец Руневскому.— Это слово в слово их ежедневный разговор, когда они еще были живы. Теляев всякий раз, встречаясь с Сугробиной, подносил ей табакерку, из которой она брала щепотку, спросив наперед, с донником ли табак? Тогда Теляев отвечал, что с донником, и садился возле нее.

— Скажите мне,— спросил Руневский,— каким образом вы узнаете, кто упырь и кто нет?

— Это совсем не мудрено. Что касается до этих двух, то я не могу в них ошибаться, потому что знал их еще прежде смерти, и (мимоходом буди сказано) немало удивился, встретив их между людьми, которым они довольно известны. Надобно признаться, что на это нужна удивительная дерзость. Но вы спрашиваете, каким образом узнавать упырей? Заметьте только, как они, встречаясь друг с другом, щелкают языком. Это по-настоящему не щелканье, а звук, похожий на тот, который производят губами, когда сосут апельсин. Это их условный знак, и так они друг друга узнают и приветствуют.

Тут к Руневскому подошел один щеголь и напомнил ему, что он его vis-á-vis [1]. Все пары уже стояли на месте, и так как у Руневского еще не было дамы, то он поспешил пригласить ту молодую девушку, которой незнакомец пророчил скорую смерть, ежели она согласится ехать к бабушке на дачу. Во время танца он имел случай рассмотреть ее с примечанием. Она была лет семнадцати; черты лица ее, уже сами по себе прекрасные, имели какое-то необыкновенно трогательное выражение. Можно было подумать, что тихая грусть составляет ее постоянный характер; но когда Руневский, разговаривая с нею, касался смешной стороны какого-нибудь предмета, выражение это исчезало, а на место его появлялась самая веселая улыбка. Все ответы ее были остроумны, все замечания разительны и оригинальны. Она смеялась и шутила без

[1] Сидящий или стоящий напротив *(фр.)*.— Ред.

всякого злословия и так чистосердечно, что даже те, которые служили целью ее шуткам, не могли бы рассердиться, если б они их слышали. Видно было, что она не гоняется за мыслями и не изыскивает выражений, но что первые рождаются внезапно, а вторые приходят сами собою. Иногда она забывалась, и тогда опять облако грусти помрачало ее чело. Переход от веселого выраженья к печальному и от печального к веселому составлял странную противоположность. Когда стройный и легкий стан ее мелькал между танцующими, Руневскому казалось, что он видит не существо земное, но одно из тех воздушных созданий, которые, как уверяют поэты, в месячные ночи порхают по цветам, не сгибая их под своей тяжестью. Никогда никакая девушка не производила на Руневского такого сильного впечатления; он тотчас после танца попросил, чтоб его представили ее матери.

Вышло, что дама, разговаривавшая с Сугробиной, была не мать ее, а какая-то тетка, которую звали Зориной и у которой она воспитывалась. Руневский узнал после, что девушка уже давно сирота. Сколько он мог заметить, тетка ее не любила; бабушка ее ласкала и называла своим сокровищем, но трудно было угадать, от чистого ли сердца происходили ее ласки? Сверх этих двух родственниц у нее никого не было на свете. Одинокое положение бедной девушки еще более возбудило участие Руневского,— но, к сожалению его, он не мог продолжать с ней разговора. Толстая тетка, после нескольких пошлых вопросов, представила его своей дочери, жеманной барышне, которая тотчас им завладела.

— Вы много смеялись с моей кузиной,— сказала она ему.— Кузина любит смеяться, когда бывает в духе. Я чаю, всем от нее досталось?

— Мы мало говорили о присутствующих,— отвечал Руневский.— Разговор наш более касался Французского театра.

— Право? Но признайтесь, что наш театр не заслуживает даже, чтоб его бранили. Я всегда страх как скучаю, когда туда езжу, но я это делаю для кузины; маменька по-французски не понимает, и для нее все равно, есть ли театр или нет, а бабушка и слышать про него не хочет. Вы еще не знаете бабушки;

это в полном смысле слова — бригадирша. Поверите ли, она сожалеет, что мы более не пудримся?

Софья Карповна (так называли барышню), посмеявшись насчет бабушки и желая ослепить Руневского своею колкостью, перешла и к прочим гостям. Более всех от нее доставалось одному маленькому офицеру с черными усами, который очень высоко прыгал, танцуя французскую кадриль.

— Посмотрите, пожалуйста, на эту фигуру,— говорила она Руневскому.— Можно ли видеть что-нибудь смешнее ее и можно ли для нее придумать фамилию приличней той, которой она гордится: ее зовут Фрышкин! Это самый несносный человек в Москве, и, что всего досаднее, он себя считает красавцем и думает, что все в него влюблены. Смотрите, смотрите, как его эполеты хлопают о плечи! Мне кажется, он скоро проломает паркет!

Софья Карповна продолжала злословить всех и каждого, а Фрышкин между тем, приняв сердитый вид и закручивая усы, прыгал самым отчаянным образом. Руневский, глядя на него, не мог удержаться от смеха. Софья Карповна, ободренная его веселостью, удвоила свое злословие насчет бедного Фрышкина. Наконец Руневскому удалось избавиться от докучливой собеседницы. Он подошел к ее толстой матери, попросил позволения ее навещать и завел разговор с бригадиршей.

— Смотри ж, мой батюшка,— сказала ему ласково старуха,— к Зориной-то ходи, к Федосье Акимовне, да и меня, грешную, не забывай. Ведь не все ж с молодежью-то балагурить! В наше время не то было, что теперь: тогда молодые люди меньше франтили да больше слушали стариков; куцых-то фраков не носили, а не хуже вашего одевались. Ну, не в укор тебе сказать, а на что ты похож, мой батюшка, с своими хвостиками-то? Птица не птица, человек не человек! Да и обхождение-то было другое; учтивее люди были, нечего сказать! А офицеры-то не ломались на балах, вот как этот Фрышкин, а дрались-то не хуже ваших. Вот как покойный мой Игнатий Савельич, бывало, начнет рассказывать, как они под турку-то ходили, так индо слушать страшно. Мы, говорит, стоим себе на Дунае, говорит, с графом Петром Александрови-

чем, а на той стороне турка стоит; наших-то немного, да и всё почти новички, а ихних-то тьма-тьмущая. Вот от матушки-государыни повеленье пришло к графу: перейди, дискать, через Дунай да разбей басурмана! Нечего делать, не хотелось графу, а послушался, перешел через Дунай, с ним и мой Игнатий Савельич. В наше время не рассуждали, мой батюшка: куда велят идти, туда и шли. Вот стали осаждать крепость-то басурманскую, что зовут Силистрией, да силы не хватило; начал отступать граф Петр Александрович, а они-то, некрести, и заслонили ему дорогу. Прищемили его между трех армий; тут бы ему и живот кончить, да и моему Игнатию Савельичу с ним, если б немец-то, Вейсман, не выручил. Напал он на тех, что переправу-то стерегли, да и разбил в пух супостата, даром что немец. Тут же и Игнатий Савельич был, и ногу ему прострелили басурманы, а Вейсмана-то убили совсем. Что ж, мой батюшка? Граф-то переправился на свою сторону, да тотчас и начал готовиться опять к бою с некрестями! Не уступлю, дискать; знай наших! Вот каковы, мой батюшка, в старину люди-то были, не нашим чета, даром что куцых-то фраков не носили, не в укор тебе буди сказано!

Старуха еще много говорила про старину, про Игнатья Савельича и про Румянцева.

— Вот приехал бы ты ко мне на дачу,— сказала она ему под конец,— я бы тебе показала портрет и графа Петра Александровича, и князя Григория Александровича, и моего Игнатья Савельича. Живу я не так, как живали прежде, не то теперь время; а гостям всегда рада. Кто меня вспомнит, тот и завернет ко мне в Березовую Рощу, а мне-то оно и любо. Семен Семенович,— прибавила она, указывая на Теляева,— меня тоже не забывает и через несколько дней обещался ко мне приехать. Вот и моя Дашенька у меня погостит; она доброе дитя и не оставит своей старой бабушки; не правда ли, Даша?

Даша молча улыбнулась, а Семен Семенович поклонился Руневскому, и, вынув из кармана золотую табакерку, обтер ее рукавом, и поднес ему обеими руками, сделав притом шаг назад, вместо того, чтоб сделать его вперед.

— Рад служить, рад служить, матушка Марфа

Сергеевна,— сказал он сладким голосом бригадирше,— и даже... если бы... то есть...— Тут Семен Семенович щелкнул точно так, как описывал незнакомец, и Руневский невольно вздрогнул. Он вспомнил о странном человеке, с которым разговаривал в начале вечера, и, увидев его на том же месте, возле камина, обратился к Сугробиной и спросил ее: не знает ли она, кто он? Старуха вынула из мешка очки, протерла их платком, надела на нос и, поглядев на незнакомца, отвечала Руневскому:

— Знаю, мой батюшка, знаю; это господин Рыбаренко. Он родом малороссиянин и из хорошей фамилии, только он, бедняжка, уж три года, как помешался в уме. А все это от модного воспитания. Ведь кажется, еще молоко на губах не обсохло, а надо было поехать в чужие края! Пошатался там с года два, да и приехал с умом наизнанку.— Сказав это, она своротила разговор на кампании Игнатья Савельича.

Вся тайна обращения г. Рыбаренки объяснилась теперь в глазах Руневского. Он был сумасшедший, бригадирша Сугробина добрая старушка, а Семен Семенович Теляев не что иное, как оригинал, который щелкал только потому, что заикался или что у него недоставало зубов.

Прошло несколько дней после бала, и Руневский короче познакомился с тетушкой Даши. Сколько Даша ему нравилась, столько же он чувствовал отвращения к Федосье Акимовне Зориной. Она была женщина лет сорока пяти, замечательно толстая, очень неприятной наружности и с большими притязаниями на щегольство и на светское обращение. Недоброжелательство ее к племяннице, которое, несмотря на свои старания, она часто не могла скрыть, Руневский приписал тому, что собственная ее дочь, Софья Карповна, не имела ни Дашиной красоты, ни молодости. Софья Карповна, казалось, сама это чувствовала и старалась всячески отмстить своей сопернице. Она была так хитра, что никогда открыто ее не злословила, но пользовалась всеми случаями, когда могла неприметно подать об ней невыгодное мнение: между тем Софья Карповна притворялась ее искреннею приятельницею и с жаром извиняла ее мнимые недостатки.

Руневский заметил с самого начала, что ей очень

хочется его пленить, и сколько это ни было ему неприятно, но он почел за нужное не показывать, до какой степени она ему противна, и старался обходиться с нею как можно учтивее.

Общество, посещавшее дом Зориной, состояло из людей, которых не встречали в высших кругах и из коих большая часть, по примеру хозяйки дома, проводила время в сплетнях и злословии. Среди всех этих лиц Даша являлась как светлая птичка, залетевшая из цветущей стороны в темный и неопрятный курятник. Но, хотя она не могла не чувствовать перед ними своего превосходства, ей и в мысль не приходило чуждаться или пренебрегать людьми, коих привычки и воспитание так мало согласовывались с тем родом жизни, для которого она была рождена. Руневский удивлялся ее терпению, когда из снисхождения к старикам она слушала их длинные рассказы, не занимающие ее нисколько; он удивлялся ее постоянной приветливости к этим барыням и барышням, из коих большая часть не могла ее терпеть. Не раз также он был свидетелем, как она, со всею приличною скромностью, иногда одним только взглядом, удерживала молодых франтов в границах должной почтительности, когда в разговорах с нею им хотелось забыться. Мало-помалу Даша привыкла к Руневскому. Она уже не старалась скрыть своей радости при его посещениях; казалось, внутреннее чувство говорило ей, что она может положиться на него, как на верного друга. Доверенность ее с каждым днем возрастала; она уже поверяла ему иногда свои маленькие печали и наконец однажды призналась, как она несчастлива в доме своей тетки.

— Я знаю,— говорила она,— что они меня не любят и что я им в тягость; вы не поверите, как это меня мучит. Хотя я с другими смеюсь и бываю весела, но зато как часто, наедине, я горько плачу!

— А ваша бабушка? — спросил Руневский.

— О, бабушка совсем другое дело! Она меня любит, всегда меня ласкает и не иначе со мной обходится, когда мы одни, как и при чужих. Кроме бабушки и еще старой маменькиной гувернантки, я думаю, нет никого, кто бы меня любил! Эту гувернантку зовут Клеопатрой Платоновной; она меня знала еще ребенком, и только с ней я и могу разговаривать про ма-

меньку. Я так рада, что увижу ее у бабушки на даче; не правда ли, вы тоже туда приедете?

— Непременно приеду, если это вам не будет неприятно.

— О, напротив! Не знаю почему, хотя я с вами знакома только несколько дней, но мне кажется, будто бы я вас знаю уже так давно, что я и не припомню, когда мы в первый раз виделись. Может быть, это оттого, что вы мне напоминаете двоюродного брата, которого я люблю как родного и который теперь на Кавказе.

Однажды Руневский застал Дашу с заплаканными глазами. Боясь ее еще более расстроить, он притворился, будто ничего не примечает, и начал разговаривать об обыкновенных предметах. Даша хотела отвечать, но слезы брызнули из ее глаз, она не могла выговорить ни слова, закрыла лицо платком и выбежала из комнаты.

Через несколько времени вошла Софья Карповна и стала извинять Дашу в странности ее поступка.

— Мне самой стыдно за сестрицу,— сказала она,— но это такой ребенок, что малейшая безделица может привести ее в слезы. Сегодня ей очень хотелось ехать в театр, но, к несчастию, никак не могли достать ложи, и это ее так расстроило, что она еще долго не утешится. Впрочем, ежели бы вы знали все ее хорошие качества, вы бы ей охотно простили эти маленькие слабости. Я думаю, нет на свете существа добрее ее. Кого она любит, тот хоть сделай преступление, она найдет средство его извинить и уверить всех, что он прав. Зато уж об ком она дурного мнения, того она не оставит в покое и всем расскажет, что́ она об нем думает.

Таким образом, Софья Карповна, расхваливая бедную Дашу, успела намекнуть Руневскому, что она малодушна, пристрастна и несправедлива. Но слова ее не сделали на него никакого впечатления. Он в них видел одну только зависть и вскоре удостоверился, что́ не ошибся в своем предположении.

— Вам, вероятно, показалось странным,— сказала ему на другой день Даша,— что я от вас ушла, когда вы со мной говорили; но, право, я не могла сделать иначе. Я нечаянно нашла письмо от моей бедной маменьки. Теперь уже девять лет, как она скончалась; я была еще ребенком, когда его получила, и оно мне

так живо напомнило время моего детства, что я не могла удержаться от слез, когда при вас об нем подумала. Ах, как я тогда была счастлива! Как я радовалась, когда получила это письмо! Мы тогда были в деревне, маменька писала из Москвы и обещалась скоро приехать. Она в самом деле приехала на другой день и застала меня в саду. Я помню, как я вырвалась из рук нянюшки и бросилась к маменьке на шею.

Даша остановилась и несколько времени молчала, как бы забывшись.

— Вскоре потом,— продолжала она,— маменька вдруг, без всякой причины, сделалась больна, стала худеть и чахнуть и через неделю скончалась. Добрая бабушка до самой последней минуты от нее не отходила. Она по целым ночам сидела у ее кровати и за ней ухаживала. Я помню, как в последний день ее платье было покрыто маменькиной кровью. Это на меня сделало ужасное впечатление, но мне сказали, что маменька умерла от чахотки и кровохарканья. Вскоре я переехала к тетушке, и тогда все переменилось!

Руневский слушал Дашу с большим участием. Он старался превозмочь свое смущение; но слезы показались на его глазах, и, не будучи в состоянии удержать долее порыва своего сердца, он схватил ее руку и сжал ее крепко.

— Позвольте мне быть вашим другом,— вскричал он,— положитесь на меня! Я не могу вам заменить той, которую вы потеряли, но, клянусь честью, буду вам верным защитником, доколе останусь жив!

Он прижал ее руку к горячим устам, она приклонила голову к его плечу и тихонько заплакала. Чьи-то шаги послышались в ближней комнате.

Даша легонько оттолкнула Руневского и сказала ему тихим, но твердым голосом:

— Оставьте меня; я, может быть, дурно сделала, что предалась своему чувству, но я не могу себе представить, что вы чужой; внутренний голос мне говорит, что вы достойны моей доверенности.

— Даша, любезная Даша!— вскричал Руневский,— еще одно слово! Скажите мне, что вы меня любите, и я буду самый счастливый смертный!

— Можете ли в этом сомневаться?— отвечала она спокойно и вышла из комнаты, оставя его пораженным

этим ответом и в недоумении, поняла ли она точный смысл его слов?

В тридцати верстах от Москвы находится село Березовая Роща. Еще издали виден большой каменный дом, выстроенный по-старинному и осененный высокими липами, главным украшением пространного сада, который расположен на покатом пригорке, в регулярном французском вкусе.

Никто, видя этот дом и не зная его истории, не мог бы подумать, что он принадлежит той самой бригадирше, которая рассказывает про походы Игнатия Савельича и нюхает русский табак с донником. Здание было вместе легко и величественно; можно было с первого взгляда угадать, что его строил архитектор итальянский, ибо оно во многом напоминало прекрасные виллы в Ломбардии или в окрестностях Рима. В России, к сожалению, мало таких домов; но они вообще отличаются своею красотою, как настоящие образцы хорошего вкуса прошедшего века, а дом Сугробиной можно бесспорно назвать первым в этом роде.

В один теплый июльский вечер окна казались освещенными ярче обыкновенного, и даже, что редко случалось, в третьем этаже видны были блуждающие огни, переходящие из одной комнаты в другую.

В это время на дороге показалась коляска, которая, поравнявшись с дачею, въехала через длинную аллею на господский двор и остановилась перед подъездом дома. К ней подбежал казачок в изорванном платье и помог выйти Руневскому.

Когда Руневский вошел в комнату, он увидел множество гостей, из которых иные играли в вист, а другие разговаривали между собою. К числу первых принадлежала сама хозяйка, и против нее сидел Семен Семенович Теляев. В одном углу комнаты накрыт был стол с огромным самоваром, и за ним заседала пожилая дама, та самая Клеопатра Платоновна, о которой Руневскому говорила Даша. Она казалась одних лет с бригадиршей, но бледное лицо ее выражало глубокую горечь, как будто бы ее тяготила страшная тайна.

При входе Руневского бригадирша ласково его приветствовала.

— Спасибо тебе, мой батюшка,— сказала она,— что ты не забыл меня, старуху. А я уж начинала ду-

мать, что ты совсем не приедешь; садись-ка возле нас, да выпей-ка чайку, да расскажи нам, что у нас нового в городе?

Семен Семенович сделал Руневскому очень оригинальный поклон, коего характер невозможно выразить словами, и, вынув из кармана свою табакерку, сказал ему сладким голосом:

— Не прикажете ли? Настоящий русский, с донником. Я французского не употребляю: этот гораздо здоровее, да и к тому ж... в рассуждении насморка...

Громкий удар языком окончил эту фразу, и щелканье старого чиновника обратилось в неопределенное сосанье.

— Покорно благодарю,— отвечал Руневский,— я табаку не нюхаю.

Но бригадирша бросила недовольный взгляд на Теляева и, обратившись к соседке, сказала ей вполголоса:

— Что за неприятная привычка у Семен Семеновича вечно щелкать. Уж я бы на его месте вставила себе фальшивый зуб да говорила бы, как другие.

Руневский очень рассеянно слушал и бригадиршу и Семена Семеновича. Взоры его искали Даши, и он увидел ее в кругу других девушек возле чайного стола. Она приняла его с обыкновенной своей приветливостью и со спокойствием, которое могло бы показаться равнодушием. Что касается до Руневского, ему было трудно скрыть свое смущение, и неловкость, с которой он отвечал на ее слова, можно было принять за замешательство. Вскоре, однако, он оправился; его представили некоторым дамам, и он стал с ними разговаривать как будто ни в чем не бывало.

Все в доме бригадирши ему казалось необычайным. Богатое убранство высоких комнат, освещенных сальными свечами; картины итальянской школы, покрытые пылью и паутиной; столы из флорентийского мозаика, на которых валялись недовязанные чулки, ореховая скорлупа и грязные карты,— все это, вместе с простонародными приемами гостей, с старосветскими разговорами хозяйки и со щелканьем Семена Семеновича, составляло самую странную смесь.

Когда приняли самовар, девушки захотели во что-нибудь играть и предложили Руневскому сесть за их стол.

— Давайте гадать,— сказала Даша.— Вот какая-то книга; каждая из нас должна по очереди ее раскрыть наудачу, а другая назвать любую строчку с правой или с левой стороны. Содержание будет для нас пророчеством. Например, я начинаю; господин Руневский, назовите строчку.

— Седьмая на левой стороне, считая снизу.

Даша прочитала:

— *Пусть бабушка внучкину высосет кровь.*

— Ах, боже мой! — вскричали девушки, смеясь,— что это значит? Прочитайте это сначала, чтобы можно было понять!

Даша передала книгу Руневскому. Это был какой-то манускрипт, и он начал читать следующее:

Как филин поймал летучую мышь,
Когтями сжал ее кости,
Как рыцарь Амвросий с толпой удальцов
К соседу собирается в гости.
Хоть много цепей и замков у ворот,
Ворота хозяйка гостям отопрет.

«Что ж, Марфа, веди нас, где спит твой старик?
Зачем ты так побледнела?
Под замком кипит и клубится Дунай,
Ночь скроет кровавое дело.
Не бойся, из гроба мертвец не встает,
Что будет, то будет,— веди нас вперед!»

Под замком бежит и клубится Дунай,
Бегут облака полосою:
Уж кончено дело, зарезан старик,
Амвросий пирует с толпою.
В кровавые воды глядится луна,
С Амвросьем пирует злодейка-жена.

Под замком бежит и клубится Дунай,
Над замком пламя пожара,
Амвросий своим удальцам говорит:
«Всех резать от мала до стара!
Не сетуй, хозяйка, и будь веселей!
Сама ж ты впустила веселых гостей!»

Сверкая, клубясь, отражает Дунай
Весь замок, пожаром объятый;
Амвросий своим удальцам говорит:
«Пора уж домой нам, ребята!
Не сетуй, хозяйка, и будь веселей,
Сама ж ты впустила веселых гостей!»

Над Марфой проклятие мужа гремит,
Он проклял ее, умирая:
«Чтоб сгинула ты и чтоб сгинул твой род.
Сто раз я тебя проклинаю!
Пусть вечно иссякнет меж вами любовь,
Пусть бабушка внучкину высосет кровь!

И род твой проклятье мое да гнетет,
И места ему да не станет
Дотоль, пока замуж портрет не пойдет,
Невеста из гроба не встанет,
И, череп разбивши, не ляжет в крови
Последняя жертва преступной любви!»

Как филин поймал летучую мышь,
Когтями сжал ее кости,
Как рыцарь Амвросий с толпой удальцов
К соседу нахлынули гости.
Не сетуй, хозяйка, и будь веселей,
Сама ж ты впустила веселых гостей!

Руневский замолчал, и ему опять пришли в голову слова того человека, которого он видел несколько времени тому на бале и который в свете слыл сумасшедшим. Пока он читал, Сугробина, сидя за карточным столом, со вниманием слушала и сказала ему, когда он кончил:

— Что ты, мой батюшка, там за страсти читаешь? Уж не вздумал ли ты пугать нас, отец мой?

— Бабушка,— отвечала Даша,— я сама не знаю, что это за книга. Сегодня в моей комнате передвигали большой шкап, и она упала с самого верху.

Семен Семенович Теляев мигнул бригадирше и, повернувшись на стуле, сказал:

— Это должна быть какая-нибудь аллегория, что-нибудь такое метафорическое, гм!.. фантазия!..

— То-то, фантазия! — проворчала старуха.— В наше время фантазий-то не писали, да никто бы их и читать не захотел! Вот что вздумали! — продолжала она с недовольным видом.— Придет же в голову писать стихи про летучих мышей! Я их смерть боюсь, да и филинов тоже. Нечего сказать, не трус был и мой Игнатий Савельич, как под турку-то ходил, а мышей и крыс терпеть не мог; такая у него уж натура была; а все это с тех пор, как им в Молдавии крысы житья не давали. И провизию-то, мой батюшка, и амуницию —

всё поели. Бывало, заснешь, говорит, в палатке-то, ан крысы придут да за самую косу теребят. Тогда-то косы еще носили, мой батюшка, не то что теперь, взъероша волосы, ходят.

Даша шутила над предсказанием, а Руневский старался прогнать странные мысли, теснившиеся в его голове, и ему удалось себя уверить, что соответственность читанных им стихов с словами г. Рыбаренки не что иное, как случай. Они продолжали гадать, а старики между тем кончили вист и встали из-за столов.

К крайней досаде Руневского, ему ни разу не удалось поговорить с Дашей так, чтобы их не слыхали другие. Его мучила неизвестность; он знал, что Даша на него смотрит как на друга, но не был уверен в ее любви и не хотел просить руки ее, не получив на то позволения от нее самой.

В продолжение вечера Теляев несколько раз принимался щелкать, с значительным видом посматривая на Руневского.

Около одиннадцати часов гости начали расходиться. Руневский простился с хозяйкою, и Клеопатра Платоновна, позвав одного лакея, коего пунцовый нос ясно обнаруживал пристрастие к крепким напиткам, приказала отвести гостя в приготовленную для него квартиру.

— В зеленых комнатах? — спросил питомец Бахуса.

— Разумеется, в зеленых! — отвечала Клеопатра Платоновна.— Разве ты забыл, что в других нет места?

— Да, да,— проворчал лакей,— в других нет места. Однако с тех пор, как скончалась Прасковья Андреевна, в них никто еще не жил!

Разговор этот напомнил Руневскому несколько сказок о старинных замках, обитаемых привидениями. В этих сказках обыкновенно путешественник, застигнутый ночью на дороге, останавливается у одинокой корчмы и требует ночлега; но хозяин ему объявляет, что корчма уже полна приезжими, но что в замке, коего башни торчат из-за густого леса, он найдет покойную квартиру, если только он человек нетрусливого десятка. Путешественник соглашается, и целую ночь привидения не дают ему заснуть.

Вообще когда Руневский вступил в дом Сугробиной, странное чувство им овладело, как будто что-то необыкновенное должно с ним случиться в этом доме. Он приписал это влиянию слов Рыбаренки и особенному расположению духа.

— Впрочем, мне все равно,— продолжал лакей,— в зеленых так в зеленых!

— Ну, ну, возьми свечку и не умничай!

Лакей взял свечку и повел Руневского во второй этаж.

Прошедши несколько ступенек, он оглянулся и, увидев, что Клеопатра Платоновна ушла, стал громко сам с собой разговаривать:

— Не умничай! Да разве я умничаю? Какое мне дело до их комнат? Разве с меня мало передней? Гм, не умничай! Вот кабы я был генеральша, так я бы, разумеется, их не запирал, велел бы освятить, да и принимал бы в них гостей или сам жил. А то на что они? Какой от них прок?

— А что это за комнаты? — спросил Руневский.

— Что за комнаты? Позвольте, я вам сейчас растолкую. Блаженной памяти Прасковья Андреевна,— сказал он набожным голосом, остановясь среди лестницы и подымая глаза кверху,— дай господь ей царство небесное...

— После, после расскажешь! — сказал Руневский,— прежде проводи меня.

Он вошел в просторную комнату с высоким камином, в котором уже успели разложить огонь. Предосторожность эта, казалось, была взята не столько против холода, как для того, чтобы очистить спертый воздух и дать старинному покою более жилой вид. Руневского поразил женский портрет, висевший над диваном, близ небольшой затворенной двери. То была девушка лет семнадцати, в платье на фижмах с короткими рукавами, обшитыми кружевом, напудренная и с розовым букетом на груди. Если бы не старинное одеяние, он бы непременно принял этот портрет за Дашин. Тут были все ее черты, ее взгляд, ее выражение.

— Чей это портрет? — спросил он лакея.

— Это она-то и есть, покойница Прасковья Андреевна. Господа говорят, что они похожи на Дарью Васильевну-с; но признательно сказать, я тут сходства

не вижу! у этой волосы напудренные-с, а у Дарьи Васильевны они темно-русого цвета. К тому же Дарья Васильевна так не одеваются, это старинный манер!

Руневский не счел за нужное опровергать логические рассуждения своего чичероне, но ему очень хотелось знать, кто была Прасковья Андреевна, и он спросил об ней у лакея.

— Прасковья Андреевна,— отвечал тот,— была сестрица бабушки теперешней генеральши-с. Они, извольте видеть, были еще невесты какого-то... как бишь его!.. ну, провал его возьми! Приехал он из чужих краев, скряга был такой престрашный!.. Я-то его не помню, а так понаслышке знаю, бог с ним! Он-то, извольте видеть, и дом этот выстроил, а наши господа уже после всю дачу купили. Вот для него да для Прасковьи Андреевны приготовили эти покои, что мы называем зелеными, отделали их получше, обили полы коврами, а стены обвешали картинами и зеркалами. Вот уже все было готово, как за день перед свадьбою жених вдруг пропал. Прасковья Андреевна тужили, тужили, да с горя и скончались. А матушка, вишь, их, это выходит бабушка нашей генеральши, купила дом у наследников, да и оставили комнаты, приготовленные для их дочери, точь-в-точь как они были при их жизни. Прочие покои несколько раз переделывали да обновляли, а до этих никто не смел и дотронуться. Вот и наша генеральша их до сих пор запирали, да, вишь, много наехало гостей, так негде было бы вашей милости ночевать.

— Но ты, кажется, говорил, что на месте генеральши велел бы освятить эти комнаты?

— Да, оно бы, сударь, и не мешало; куда лет шестьдесят никто крещеный не входил, там мудрено ли другим хозяевам поселиться?

Руневский попросил красноносого лакея, чтобы он теперь его оставил; но тот, казалось, был не очень расположен исполнить эту просьбу. Ему все хотелось рассказывать и рассуждать.

— Вот тут,— говорил он, указывая на затворенную дверь возле дивана,— есть еще целый ряд покоев, в которых никто никогда не жил. Если б их отделать по-нынешнему да вынесть из них старую мебель, так они были бы еще лучше тех, где живет барыня. Ну да

что прикажете, сами господа не догадаются, а у нашего брата совета не спросят!

Чтобы от него скорее избавиться, Руневский всунул ему в руку целковый и сказал, что ему теперь хочется спать и что он желает остаться один.

— Чувствительнейше благодарим,— отвечал лакей,— желаю вашей милости спокойной ночи. Ежели вам что-нибудь, сударь, понадобится, извольте только позвонить, и я сейчас явлюсь к вашей милости. Ваш камердинер не то, что здешний человек, им дом неизвестен, а мы, слава богу, впотьмах не споткнемся.

Он удалился, и Руневский еще слышал, как он, уходя с его человеком, толковал ему, сколь бы выгодно было, если бы бригадирша не запирала зеленых комнат.

Оставшись один, он заметил углубление в стене и в нем богатую кровать с штофными занавесами и высоким балдахином; но либо из почтения к памяти той, для кого она была назначена, либо оттого, что ее считали беспокойною, ему приготовили постель на диване, возле маленькой затворенной двери.

Собираясь лечь, Руневский бросил еще взгляд на портрет, столь живо напомнивший ему черты, вырезанные в его сердце.

«Вот,— подумал он,— картина, которая по всем законам фантастического мира должна ночью оживиться и повесть меня в какое-нибудь подземелье, чтобы показать мне неотпетые свои кости!» Но сходство с Дашей дало другое направление его мыслям. Потушив свечку, он старался заснуть, но никак не мог. Мысль о Даше не давала ему покою; он долго ворочался с боку на бок и наконец погрузился в какой-то полусон, где, как в тумане, вертелись перед ним старая бригадирша, г. Рыбаренко, рыцарь Амвросий и Семен Семенович Теляев.

Тяжелый сон, вырвавшийся как будто из стесненной сильным отчаянием груди, его внезапно пробудил. Он открыл глаза и при свете огня, еще не погасшего в камине, увидел подле себя Дашу. Вид ее очень его удивил, но его еще более поразило ее одеяние. На ней было совершенно такое платье, как на портрете Прасковьи Андреевны; розовый букет был приколот к ее груди, и в руке она держала старинное опахало.

— Вы ли это? — вскричал Руневский,— об эту пору, в этом наряде!

— Мой друг,— отвечала она,— если я вам мешаю, я уйду прочь.

— Останьтесь, останьтесь! — возразил он.— Скажите, что вас сюда привело и чем я могу вам служить?

Она опять застонала, и стон этот был так странен и выразителен, что он пронзил ему сердце.

— Ах,— сказала она,— мне немного времени остается с вами говорить; я скоро должна возвратиться туда, откуда пришла; а там так жарко!

Она опустилась на кресла подле дивана, где лежал Руневский, и стала обмахивать себя опахалом.

— Где жарко? Откуда вы пришли? — спросил Руневский.

— Не спрашивайте меня,— отвечала она, вздрогнув при его вопросе,— не говорите со мной об этом! Я так рада, что вас вижу,— прибавила она с улыбкой.— Вы долго здесь пробудете?

— Как можно дольше!

— И всегда будете здесь почевать?

— Я думаю. Но зачем вы меня об этом спрашиваете?

— Для того чтобы мне можно было говорить с вами наедине. Я всякую ночь сюда прихожу, но в первый раз вас здесь вижу.

— Это немудрено, я только сегодня приехал.

— Руневский,— сказала она, помолчав,— окажите мне услугу. В углу, возле дивана, на этажерке есть коробочка; в ней вы найдете золотое кольцо; возьмите его и завтра обручитесь с моим портретом.

— Боже мой! — воскликнул Руневский,— чего вы от меня требуете!

Она в третий раз застонала еще жалобнее, нежели прежде.

— Ради бога,— закричал он, не в силах удержаться от внутреннего содрогания,— ради бога, не шутите надо мной! Скажите мне, что вас сюда привело? Зачем вы так нарядились? Сделайте милость, поверьте мне свою тайну!

Он схватил ее руку, но сжал только холодные костяные пальцы и почувствовал, что держит руку остова.

— Даша, Даша! — закричал он в исступлении, — что это значит?

— Я не Даша, — отвечало насмешливым голосом привидение, — отчего вы приняли меня за Дашу?

Руневский чуть не упал в обморок, но в эту минуту послышался сильный стук в дверь, и знакомый его лакей вошел со свечою в руках.

— Чего изволите, сударь? — спросил он.

— Я тебя не звал.

— Да вы изволили позвонить. Вот и снурок еще болтается!

Руневский в самом деле увидел снурок от колокольчика, которого прежде не заметил, и в то же время понял причину своего испуга. То, что он принял за Дашу, был портрет Прасковьи Андреевны; когда он ее хотел взять за руку, он схватил жесткую кисть снурка, и ему показалось, что он держит костяные пальцы скелета.

Но он с нею разговаривал, она ему отвечала; он принужден был внутренне сознаться, что истолкование его не совсем естественно, и решил, что все виденное им — один из тех снов, которым на русском языке нет, кажется, приличного слова, но которые французы называют cauchemar. Сны эти обыкновенно продолжаются и после пробуждения и часто, но не всегда, бывают сопряжены с давлением в груди. Отличительная их черта — ясность и совершенное сходство с действительностью.

Руневский отослал лакея и готовился уснуть, как вдруг лакей опять явился в дверях. Пионы на его носу уступили место смертельной бледности; он дрожал всем телом.

— Что с тобой случилось? — спросил Руневский.

— Воля ваша, — отвечал он, — я не могу ночевать в этом этаже и ни за что не войду опять в свою комнату!

— Да говори же, что в твоей комнате?

— Что в моей комнате? А то, что в ней сидит портрет Прасковьи Андреевны!

— Что ты говоришь! Это тебе показалось, оттого что ты пьян!

— Нет, нет, сударь, помилуйте! Я только что хотел войти, как увидел, что она там, сердечная; прости меня, боже! Она сидела ко мне спиной, и я бы умер со

страха, если бы она оглянулась, да, к счастью, я успел тихонько уйти, и она меня не заметила.

В эту минуту вошел слуга Руневского.

— Александр Андреевич,— сказал он дрожащим голосом,— здесь что-то не хорошо!

На вопрос Руневского он продолжал:

— Мы было поговорили с Яковом Антипычем да и легли спать, как Яков Антипыч мне говорит: ваш барин звонит! Я, признаться, засыпал, да к тому ж Яков Антипыч не совсем были в пропорции, так я и думаю себе, что им так показалось; повернулся на другой бок, да и захрапел. Чуть только захрапел, слышу — кто-то шарк, шарк, да как будто каблучками постукивает. Я открыл глаза, да уж не знаю, увидел ли что или нет, а так холодом и обдало; вскочил и пустился бежать по коридору; теперь уж как прикажете, а позвольте мне ночевать где-нибудь в другом месте, хоть во дворе!

Руневский решился исследовать эту загадку. Надев халат, он взял в руки свечу и отправился туда, где, по словам Якова, была Прасковья Андреевна. Яков и слуга Руневского следовали за ним и дрожали от страха. Дошедши до полурастворенной двери, Руневский остановился. Всех его сил едва достало, чтобы выдержать зрелище, представившееся его глазам.

То самое привидение, которое он видел у себя в комнате, сидело тут на старинных креслах и казалось погруженным в размышления. Черты лица его были бледны и прекрасны, ибо то были черты Даши, но оно подняло руку — и рука была костяная! Привидение долго на нее смотрело, горестно покачало головой и застонало.

Стон этот проник в самую глубину души Руневского.

Он, сам себя не помня, отворил дверь и увидел, что в комнате никого нет. То, что казалось ему привидением, было не что иное, как пестрая ливрея, повешенная через спинку кресла и которую издали можно было принять за сидящую женщину. Руневский не понимал, как он до такой степени мог обмануться. Но товарищи его все еще не решались войти в комнату.

— Позвольте мне ночевать поближе к вам,— сказал лакей,— оно все-таки лучше; да и к тому ж, если вы меня потребуете, я буду у вас под рукою. Извольте только крикнуть: Яков!

— Позвольте уж и мне остаться с Яковом Антипычем, а то неравно...

Руневский воротился в свою спальню, а слуга его и лакей расположились за дверьми в коридоре. Остаток ночи Руневский провел спокойно; но когда проснулся, он не мог забыть своего приключения.

Сколько он ни заговаривал об зеленых комнатах, но всегда бригадирша или Клеопатра Платоновна находили средство своротить разговор на другой предмет. Все, что он мог узнать, было то же, что ему рассказывал Яков: тетушка Сугробиной, будучи еще очень молода, должна была выйти за богатого иностранца, но за день перед свадьбою жених исчез, а бедная невеста занемогла от горести и вскоре умерла. Многие даже в то время уверяли, что она отравила себя ядом. Комнаты, назначенные для нее, остались в том же виде, как были первоначально, и никто до приезда Руневского не смел в них входить. Когда он удивлялся сходству старинного портрета с Дашей, Сугробина ему говорила:

— И немудрено, мой батюшка; ведь Прасковья-то Андреевна мне родная тетка, а я родная бабушка Даши. Так что ж тут необыкновенного, если они одна на другую похожи? А что с Прасковьей-то с Андреевной несчастье случилось, так и этому нечего удивляться. Вышла бы за нашего, за русского, так и теперь бы еще жива была, а то полюбился ей бродяга какой-то! Нечего сказать, и в наше время иногда затмение на людей находило; только не прогневайся, мой батюшка, а все-таки умнее люди были теперешних!

Семен Семенович Теляев ничего не говорил, а только потчевал Руневского табаком и щелкал и сосал попеременно.

В этот день Руневский нашел случай объясниться с Дашей и открыл свое сердце старой бригадирше. Она сначала очень удивилась, но нельзя было заметить, чтобы его предложение ей было неприятно. Напротив того, она поцеловала его в лоб и сказала ему, что, с ее стороны, она не желает для своей внучки жениха лучше Руневского.

— А что касается до Даши,— прибавила она,— то я давно заметила, что ты ей понравился. Да, мой батюшка, даром что старуха, а довольно знаю вашу

братью молодежь! Впрочем, в наше время дочерей-то не спрашивали; кого выберет отец или мать, за того они и выходили, а право, женитьбы-то счастливее были! Да и воспитание было другое, не хуже вашего. И в наше время, отец мой, науками-то не брезгали, да фанаберии-то глупой девкам в головы не вбивали; оттого и выходили они поскромнее ваших попрыгуний-то. Вот и я, мой батюшка, даром что сама по-французски не говорю, а взяла же гувернантку для Дашиной матери, и учители-то к ней ходили, и танцмейстер был. Всему научилась, нечего сказать, а все-таки скромной и послушной девушкой осталась. Да и сама-то я за Игнатья Савельича по воле отцовской вышла, а уж полюбила-то его как! Не наплачусь, бывало, как в поход ему идти придется, да нечего делать, сам, бывало, рассердится, как плакать-то начну. Что ты, говорит, Марфа Сергеевна, расхныкалась-то? На то я и бригадир, чтоб верой и правдой матушке-государыне служить! Не за печкой же сидеть мне, пока его сиятельство граф Петр Александрович будет с турками воевать! Ворочусь — хорошо! не ворочусь — так уж, по крайней мере, долг свой исполню по-солдатски! А мундир-то какой красивый на нем был! весь светло-зеленый, шитый золотом, воротник алый, сапоги как зеркало!.. Да что я, старуха, заболталась про старину-то! Не до того тебе, мой батюшка, не до того; поезжай-ка в Москву да попроси Дашиной руки у тетки ее, у Зориной, Федосьи Акимовны; от нее Даша зависит, она опекунша. А когда Зорина-то согласится, тогда уж приезжай сюда женихом да поживи с нами. Надобно ж тебе покороче познакомиться с твоей будущей бабушкой!

Старуха еще много говорила, но Руневский уже ее не слушал. Он бросился в коляску и поскакал в Москву.

Уже было поздно, когда Руневский приехал домой, и он почел за нужное отложить до другого утра свой визит к Дашиной тетушке. Между тем сон его убегал, и он, пользуясь лунной ночью, пошел ходить по городу без всякой цели, единственно, чтоб успокоить волнение своего сердца.

Улицы были уже почти пусты, лишь изредка раздавались на тротуарах поспешные шаги или сонно стучали о мостовую дрожки извозчиков. Вскоре и эти звуки утихли, и Руневский остался один посреди огромного города и самой глубокой тишины. Прошед всю Моховую, он повернул в Кремлевский сад и хотел идти еще далее, как на одной скамье увидел человека, погруженного в размышления. Когда он поравнялся со скамьею, незнакомец поднял голову, месяц осветил его лицо, и Руневский узнал г. Рыбаренко. В другое время встреча с сумасшедшим не могла бы ему быть приятна, но в этот вечер, как будто нарочно, он все думал о Рыбаренко. Напрасно он сам себе повторял, что все слова этого человека не что иное, как бред расстроенного рассудка; что-то ему говорило, что Рыбаренко не совсем сумасшедший, что он, может быть, не без причины облекает здравый смысл своих речей в странные формы, которые для непосвященного должны казаться дикими и несвязными, но коими он, Руневский, не должен пренебрегать. Его даже мучила совесть за то, что он оставил Дашу одну в таком месте, где ей угрожала опасность.

Увидев его, Рыбаренко встал и протянул к нему руку.

— У нас, видно, одни вкусы,— сказал он улыбаясь.— Тем лучше! Сядем вместе и поболтаем о чем-нибудь.

Руневский молча опустился на скамью, и несколько времени оба сидели, не говоря ни слова.

Наконец Рыбаренко прервал молчание.

— Признайтесь,— сказал он,— что когда мы познакомились на бале, вы приняли меня за сумасшедшего?

— Не могу скрыть от вас,— отвечал Руневский,— что вы мне показались очень странным. Ваши слова, ваши замечания...

— Да, да; я думаю, что я вам показался странным. Меня рассердили проклятые упыри. Да впрочем, и было за что сердиться, я никогда не видывал такого бесстыдства. Что, вы после никого из них не встречали?

— Я был на даче бригадирши Сугробиной и видел там тех, которых вы называли упырями.

— На даче у Сугробиной? — повторил Рыбаренко.— Скажите, поехала ли к ней ее внучка?

— Она теперь у нее, я видел ее недавно.

— Как, и она еще жива?

— Конечно, жива! Не прогневайтесь, почтенный друг, но мне кажется, что вы сильно наклепали на бедную бригадиршу. Она предобрая старушка и любит свою внучку от чистого сердца.

Рыбаренко, казалось, не слыхал последних слов Руневского. Он приставил палец к губам с видом человека, ошибшегося в своем расчете.

— Странно,— сказал он наконец,— упыри обыкновенно так долго не мешкают. А Теляев там?

— Там.

— Это меня еще более удивляет. Теляев принадлежит к самой лютой породе упырей, и он еще гораздо кровожаднее Сугробиной. Но это так недолго продолжится, и если вы принимаете участие в бедной девушке, я вам советую взять свои меры как можно скорей.

— Воля ваша,— отвечал Руневский,— я никак не могу думать, чтоб вы говорили серьезно. Ни старая бригадирша, ни Теляев мне не кажутся упырями.

— Как,— возразил Рыбаренко,— вы в них ничего не приметили необыкновенного? Вы не слыхали, как Семен Семенович щелкает?

— Слышал; но, по мне, это еще не есть достаточная причина, чтоб обвинять человека, почтенного летами, служащего уже более сорока пяти лет беспорочно и пользующегося общим уважением.

— О, как вы мало знаете Теляева! Но положим, что он щелкает без всякого намерения, неужели вас ничто не поразило во всем быту бригадирши? Неужели, проведши ночь у нее в доме, вы не почувствовали ни одного содрогания, ни одного из тех минутных недугов, которые напоминают нам, что мы находимся вблизи существ нам антипатических и принадлежащих другому миру?

— Что касается до такого рода ощущений, то я не могу сказать, чтобы их не имел; но я все приписал своему воображению и думаю, что почувствовал их у Сугробиной, как мог бы почувствовать и во всяком другом месте. К тому же характер и приемы бригадирши, столь противуположные с архитектурой и убран-

ством ее дома, без сомнения, много содействуют к особенному расположению духа тех, которые ее посещают.

Рыбаренко улыбнулся.

— Вы заметили архитектуру ее дома? — сказал он.— Прекрасный фасад! совершенно в итальянском вкусе! Только будьте уверены, что не одно устройство дома на вас подействовало. Послушайте,— продолжал он, схватив руку Руневского,— будьте откровенны, скажите мне как другу, не случилось ли с вами чего-нибудь особенного на даче у старой Сугробиной?

Руневский вспомнил о зеленых комнатах, и так как Рыбаренко внушал ему невольную доверенность, то он не почел за нужное что-либо от него скрывать и все ему рассказал так точно, как оно было. Рыбаренко слушал его со вниманием и сказал ему, когда он кончил:

— Напрасно вы приписываете воображению то, что действительно с вами случилось. История покойной Прасковьи Андреевны мне известна. Если хотите, я вам когда-нибудь ее расскажу; впрочем, самые любопытные подробности могла бы вам сообщить Клеопатра Платоновна, если б она только захотела. Но, ради бога, не говорите легкомысленно о вашем приключении; оно имеет довольно сходства и более связи, нежели вы теперь можете подозревать, с одним обстоятельством моей жизни, которое я должен вам сообщить, чтобы вас предостеречь.

Рыбаренко несколько времени помолчал, как бы желая собраться с мыслями, и, прислонившись к липе, возле которой стояла скамья, начал следующим образом:

— Три года тому назад предпринял я путешествие в Италию для восстановления расстроенного здоровья, в особенности чтобы лечиться виноградным соком.

Прибыв в город Комо, на известном озере, куда обыкновенно посылают больных для этого рода лечения, услышал я, что на площади piazza Volta есть дом, уже около ста лет никем не обитаемый и известный под названием *чертова дома* (la casa del diavolo). Почти всякий день, идучи из предместья borgo Vico, где была моя квартира, в albergo[1] del Angelo, чтобы навещать

[1] Постоялый двор, гостиница *(ит.)*.— Ред.

одного приятеля, я проходил мимо этого дома; но, не зная об нем ничего особенного, никогда не обращал на него внимания. Теперь, услышав странное его название и несколько любопытных о нем преданий, вовсе одно на другое не похожих, я нарочно пошел на piazza Volta и с особенным примечанием начал его осматривать. Наружность не обещала ничего необыкновенного: окна нижнего этажа с толстыми железными решетками, ставни везде затворены, стены обклеены объявлениями о молитвах по умершим, а ворота заперты и ужасно запачканы.

В стороне была лавка цирюльника, и мне пришло в голову туда зайти, чтобы спросить, нельзя ли осмотреть внутренность *чертова дома?*

Входя, увидел я аббата, развалившегося в креслах и обвязанного грязным полотенцем. Толстый цирюльник, засучив рукава, тщательно и проворно мылил ему бороду и даже, в жару действия, нередко мазал его по носу и по ушам, что, однако, аббат сносил с большим терпением.

На вопрос мой цирюльник отвечал, что дом всегда заперт и что едва ли хозяин дозволит для кого-либо отпереть его. Не знаю почему, цирюльник принял меня за англичанина и, делая руками пояснительные знаки, рассказал очень красноречиво, что уже несколько из моих соотечественников старались получить позволение войти в этот дом, но что попытки их оставались тщетными, ибо дон Пьетро д'Урджина им всегда отвечал наотрез, что дом его не трактир и не картинная галерея.

Пока цирюльник говорил, аббат слушал его со вниманием, и я не раз заметил, как под толстым слоем мыльной пены странная улыбка показывалась на его губах.

Когда цирюльник, окончив свою работу, обтер ему бороду полотенцем, он встал, и мы вместе вышли из лавки.

— Могу вас уверить, синьор,— сказал он, обращаясь ко мне,— что вы напрасно так беспокоитесь и что *чертов дом* нисколько не заслуживает вашего внимания. Это совершенно пустое строение, и все, что вы могли о нем слышать, не что иное, как выдумка самого дон Пьетро.

— Помилуйте,— возразил я,— зачем бы хозяину клепать на свой дом, когда он, при таком стечении иностранцев, мог бы отдавать его внаймы и получать большой доход?

— На это есть более причин, чем вы думаете,— отвечал аббат.

— Как,— спросил я с удивлением, вспомнив известный анекдот про Тюренна,— неужели он делает фальшивую монету?

— Нет,— возразил аббат,— дон Пьетро — большой чудак, но честный человек. Говорят про него, что он торгует запрещенными товарами и что даже он в сношениях с известным контрабандистом Титта Каннелли; но я этому не верю.

— Кто такой Титта Каннелли? — спросил я.

— Титта Каннелли был лодочником на нашем озере, но раз на рынке он поспорил с товарищем и убил его на месте. Совершив преступление, он убежал в горы и сделался начальником контрабандистов. Говорят, будто ввозимые им из Швейцарии товары он складывает в одной вилле, принадлежащей дон Пьетро; еще говорят, что, кроме товаров, он в той же вилле сохраняет большие суммы денег, приобретенные им вовсе не торговлею; но, повторяю вам, я не верю этим слухам.

— Скажите же, ради бога, что за человек ваш дон Пьетро и что значит вся эта история про *чертов дом?*

— Это значит, что дон Пьетро, чтобы скрыть одно событие, случившееся в его семействе, и отвлечь внимание от настоящего места, где случилось это событие, распустил о городском доме своем множество слухов, один нелепее другого. Народ с жадностью бросился на эти рассказы, возбуждающие его любопытство, и забыл о приключении, которое первоначально дало им повод.

Надобно вам знать, что хозяину *чертова дома* с лишком восемьдесят лет. Отец его, который также назывался дон Пьетро д'Урджина, не пользовался уважением своих сограждан. В неурожайные годы, когда половина жителей умирала с голоду, он, имея огромные запасы хлеба, продавал его по необыкновенно высокой цене, несмотря на несметные свои богатства. В один из таких годов, не знаю для чего, предпринял он путешествие в ваше отечество. Я давно заметил,— продол-

жал аббат,— что вы не англичанин, а русский, несмотря на то, что синьор Финарди, мой цирюльник, уверен в противном. Итак, в один из самых несчастных годов старый дон Пьетро отправился в Россию, поручив все дела своему сыну, теперешнему дон Пьетро.

Между тем настала весна, новые урожаи обещали обильную жатву, и цена на хлеб значительно спала. Пришла осень, жатва кончилась, и хлеб стал нипочем. Сын дон Пьетро, которому отец, уезжая, оставил строгие наставления, сначала так дорожился, что не много сбывал своего товара; потом ему не стали уже давать цены, назначенной его отцом, и, наконец, перестали к нему приходить вовсе. В нашем краю, слава богу, неурожаи очень редки, и потому весь барыш, на который надеялся старый Урджина, обратился в ничто. Сын его несколько раз к нему писал, но перемена в цене произошла так быстро, что он не успел получить от отца разрешение ее убавить.

Многие уверяют, что покойный дон Пьетро был скуп до невероятности, но я скорее думаю, что он был большой злодей и притом такой же чудак, как и его сын. Письма сего последнего заставили его поспешно покинуть Россию и воротиться в Комо. Если бы дон Пьетро был так скуп, как говорят, то он бы или продал свой хлеб по существующей цене, или оставил его в магазинах; но он распустил в городе слух, что раздаст его бедным, а вместо того приказал весь запас вывалить в озеро. Когда же в назначенный день бедный народ собрался перед его домом, то он, высунувшись из окошка, закричал толпе, что хлеб ее на дне озера и что кто умеет нырять, может там достать его. Такой поступок еще более унизил его в глазах жителей Комо, и они дали ему прозвание злого, il cattivo.

В городе давно уже ходил слух, что он продал душу черту и что черт вручил ему каменную доску с кабалистическими знаками, которая до тех пор должна доставлять ему все наслаждения земные, пока не разобьется. С уничтожением ее магической силы черт, по договору, получил право взять душу дон Пьетро.

Тогда дон Пьетро жил в загородном доме, недалеко от villa d'Este. В одно утро приор монастыря св. Севастиана, стоя у окошка и смотря на дорогу, увидел человека на черной лошади, который остановился у ок-

на, и ему сказал: «Знай, что я черт и еду за Пьетро д'Урджина, чтобы отвести его в ад. Расскажи это всей братии!» Через несколько времени приор увидел того же человека, возвращающегося с дон Пьетро, лежащим поперек седла. Он скакал во весь опор, покрыв жертву свою черным плащом. Сильный ветер раздувал этот плащ, и приор мог заметить, что старик был в халате и в ночном колпаке: черт, посетивший его неожиданно, застал его в постели и не дал ему времени одеться.

Вот что говорит предание. Дело в том, что дон Пьетро вскоре по возвращении своем из России пропал без вести. Сын его, чтобы прекратить неприятные толки, объявил, что он скоропостижно умер, и велел для формы похоронить пустой гроб. После погребения, пришедши в спальню отца, он увидел на стене картину al fresco [1], которой никогда прежде не знал. То была женщина, играющая на гитаре. Несмотря на красоту лица, в глазах ее было что-то столь неприятное и даже страшное, что он немедленно приказал ее закрасить. Через несколько времени увидели ту же фигуру на другом месте; ее опять закрасили; но не прошло двух дней, как она опять явилась там же, где была в первый раз. Молодой Урджина так был этим поражен, что навсегда покинул свою виллу, приказав сперва заколотить двери и окна. С тех пор лодочники, проезжавшие мимо нее ночью, несколько раз слышали в ней звук гитары и два поющие голоса, один старого дон Пьетро, другой неизвестно чей; но последний был так ужасен, что лодочники недолго оставались под окнами.

— Вы видите, синьор,— продолжал аббат,— что хотя и есть нечто необыкновенное в истории дон Пьетро, но оно все относится к загородному дому, на берегу озера, недалеко от villa d'Este, по ту сторону Capriccio, а не к тому строению, которое вам так хотелось видеть.

— Скажите мне,— спросил я,— что, слышны ли еще в вилле дон Пьетро голоса и звук гитары?

— Не знаю,— отвечал аббат.— Но если это вас интересует,— прибавил он с улыбкой,— то кто вам мешает, когда сделается темно, пойти под окна виллы или, что еще лучше, провести в ней ночь?

Этого-то мне и хотелось.

[1] Фреску *(ит.)*.— Ред.

— Но как туда войти? — спросил я.— Ведь вы говорите, что сын дон Пьетро велел заколотить двери и окна?

Аббат призадумался.

— Правда,— сказал он наконец.— Но если не ошибаюсь, то можно, влезши на утес, к которому прислонен дом, спуститься в незаколоченное слуховое окно.

Разговаривая таким образом, мы, сами того не замечая, прошли весь borgo Vico и очутились на шоссе, ведущей вдоль озера к villa d'Este. Аббат остановился перед одним palazzo [1], которого фасад казался выстроен по рисункам славного Палладия. Величественная красота здания меня поразила, и я не мог понять, как, живучи столько времени в Комо, я ничего не слыхал о таком прекрасном дворце.

— Вот вилла дон Пьетро,— сказал аббат,— вот утес, а вот то окно, в которое вы можете влезть, если вам угодно.

В голосе аббата было что-то насмешливое, и мне показалось, что он сомневается в моей смелости. Но я твердо решился во что бы то ни стало проникнуть тайну, сильно возбудившую мое любопытство.

В этот день мне не сиделось дома. Я рыскал по городу без цели, заходил в готический собор и без удовольствия смотрел на прекрасные картины Bernardino Luini. Я спотыкался на корзины с фигами и виноградом и раз даже опрокинул целый лоток горячих каштанов. Надобно вам знать, что в Комо каштаны жарят на улицах; обычай этот существует и в других итальянских городах, но нигде я не видел столько жаровен и сковород, как здесь. Добрые ломбардцы на меня не сердились, но только смеялись от всего сердца и даже провожали благодарениями, когда за причиненный им убыток я им бросал несколько *цванцигеров*.

Вечером было собрание в villa Sallazar. Большая часть общества состояла из наших соотечественников, прочие почти все были австрийские офицеры или итальянцы, приехавшие из Милана посетить прелестные окрестности Комо.

Когда я рассказал свое намерение провести следующую ночь в villa Urgina, надо мной сначала начали

[1] Дворцом *(ит.)*.— Ред.

смеяться, потом мысль моя показалась оригинальною, а напоследок вызвалось множество охотников разделить со мной опасности моего предприятия. Замечательно, что не только я, но и никто из жителей Милана не знал о существовании этой виллы.

— Позвольте, господа,— сказал я,— если мы все пойдем туда ночевать, то экспедиция наша потеряет всю свою прелесть, и я уверен, что черт не захочет петь в присутствии такого общества знатоков; но я согласен взять с собой двух товарищей, которых назначит судьба.

Предложение было принято, и жребий пал на двух моих приятелей, из коих один был русский и назывался Владимиром, другой итальянец, по имени Антонио. Владимир был мой искренний друг и товарищ моего детства. Он, так же как и я, приехал в Комо лечиться виноградом и вместе со мной должен был по окончании лечения ехать во Флоренцию и провести там зиму. Антонио был наш общий приятель, и хотя мы познакомились с ним только в Комо, но образ наших мыслей и вообще нравы наши так были сходны, что мы невольно сблизились. Мы поклялись вечно любить друг друга и не забывать до самой смерти. Антонио уже исполнил свою клятву.

Но я напрасно предаюсь печальным воспоминаниям и преждевременно намекаю на трагический оборот, который приняла наша необдуманная шалость.

Любезный друг! Вы молоды и имеете пылкий характер. Послушайте человека, узнавшего на опыте, что значит пренебрегать вещами, коих мы не в состоянии понять и которые, слава богу, отделены от нас темной, непроницаемой завесой. Горе тому, кто покусится ее поднять! Ужас, отчаянье, сумасшествие будут наградою его любопытства. Да, любезный друг, я тоже молод, но волосы мои седы, глаза мои впалы, я в цвете лет сделался стариком — я приподнял край покрывала, я заглянул в таинственный мир. Я так же, как и вы, тогда не верил ничему, что люди условились называть сверхъестественным; но, несмотря на то, нередко в груди моей раздавались странные отголоски, противоречившие моему убеждению. Я любил к ним прислушиваться, потому что мне нравилась противуположность мира, тогда передо мною открывшегося, с холодною

прозою мира настоящего; но я смотрел на картины, которые развивались передо мною, как зритель смотрит на интересную драму. Живая игра актеров его увлекает, но между тем он знает, что кулисы бумажные и что герой, покинув сцену, снимет шлем и наденет колпак. Поэтому, когда я затеял ночевать в villa Urgina, я не ожидал никаких приключений, но только хотел возбудить в себе то чувство чудесного, которого искал так жадно. О, сколь жестоко я обманулся! Но если мое несчастие послужит уроком для других, то это мне будет утешением и пребывание мое в доме дон Пьетро принесет хотя какую-нибудь пользу.

На другой день, едва лишь смеркалось, Владимир, Антонио и я уже шли на ночлег в таинственный palazzo. Малейшие обстоятельства этого вечера врезались в моей памяти, и хотя с тех пор прошло три года, но я так живо помню все подробности нашего разговора и наших неосторожных шуток, в которых мы так скоро раскаялись, что мне кажется, будто все это происходило не далее, как вчера.

Проходя мимо villa Remondi, Антонио остановился. В правом флигеле слышно было несколько женских голосов, поющих какую-то веселую песнь. Мелодия ее до сих пор раздается в моих ушах!

— Подождем,— сказал Антонио,— теперь еще рано, мы успеем вовремя туда прийти.

Сказав это, он хотел подойти к окну, чтобы лучше слышать, но, нагнувшись вперед, споткнулся на камень и упал на землю, разбив окно головой. На шум его падения выбежала молодая девушка со свечою. То была дочь сторожа villa Remondi. Лицо Антонио было покрыто кровью. Девушка казалась очень испуганною: она бегала, суетилась, принесла рукомойник с водою и, восклицая беспрестанно: «O dio! poverino! maladetta strada!» [1] — мыла ему лицо.

— Это дурной знак! — сказал, улыбаясь, Антонио, как скоро он оправился от своего падения.

— Да,— отвечал я,— не лучше ли нам воротиться и отложить до другого раза нашу шалость.

— О нет, нет! — возразил он.— Это совершенно ничего, и я не хочу, чтобы вы после смеялись надо мной

[1] О боже! бедняжка! проклятая дорога! *(ит.)* — Ред.

и думали, что мы, жители Юга, нежнее вас, русских!

Мы пошли далее. Минут через десять нас догнала та самая девушка, которая из villa Remondi вышла на помощь к Антонио. Она и теперь к нему обратилась и долго с ним говорила вполголоса. Я заметил, что она с трудом удерживалась от слез.

— Что она тебе сказала? — спросил его Владимир, когда девушка удалилась.

— Бедная Пепина,— отвечал Антонио,— просит меня, чтобы я через отца моего выхлопотал прощение ее брату. Она говорит, что уже несколько раз ко мне приходила, но никогда меня не заставала дома.

— А кто ее брат? — спросил я.

— Какой-то контрабандист, по имени Титта.

— А как фамилия этой девушки?

— Каннелли. Но что тебе до этого?

— Титта Каннелли! — воскликнул я и вспомнил аббата и рассказ его про старого Урджина. Воспоминание это очень неприятно на меня подействовало. Все, что я тогда считал выдумками, бреднями или плутовством каких-нибудь мошенников, теперь в воображении моем приняло характер страшной истины, и я бы непременно воротился, если бы мне не было стыдно. Я сказал своим товарищам, что уже прежде слыхал о Титта Каннелли, и мы продолжали идти. Вскоре в стороне показался свет лампады. Она освещала одну из тех часовен, которых так много в северной Италии и которые служат хранилищем человеческих костей. Я всегда имел отвращение от этого рода часовен, где в симметрическом порядке и как будто в насмешку расставлены и развешаны узорами печальные останки умерших. Но в этот вечер я почувствовал невольный страх, когда мимоходом заглянул за железную решетку. Я ничего, однако, не сказал, и мы молча дошли до виллы.

Нам было очень легко влезть на утес и оттуда посредством веревки спуститься в слуховое окно. Там мы зажгли одну из принесенных с собою свеч и, нашедши проход из-под крыши в верхний этаж, очутились в просторной зале, убранной по-старинному. Несколько картин, представлявших мифологические предметы, развешаны были на стенах, мебели обтянуты шелковою

тканью, а пол составлен из разноцветного мрамора. Мы прошли пять или шесть подобных покоев; в одном из них увидели маленькую лестницу и спустились по ней в большую комнату с старинной кроватью под золоченым балдахином. На столе, возле кровати, была гитара, на полу лежали дребезги от каменной доски. Я поднял один из этих обломков и увидел на нем странные, непонятные знаки.

— Это должна быть спальня старого дон Пьетро,— сказал Антонио, приблизив свечу к стене.— Вот та фигура, о которой тебе говорил аббат!

В самом деле, между дверью, ведущей на узкую лестницу, и кроватью виден был фреск, представляющий женщину необыкновенной красоты, играющую на гитаре.

— Как она похожа на Пепину,— сказал Владимир,— я бы это принял за ее портрет!

— Да,— отвечал Антонио,— черты лица довольно схожи, но у Пепины совсем другое выражение. У этой в глазах что-то такое зверское, несмотря на ее красоту. Заметь, как она косится на пустую кровать; знаешь ли что, мне при взгляде на нее делается страшно!

Я ничего не говорил, но вполне разделял чувство Антонио.

Комната возле спальни была большая круглая зала с колоннами, а примыкавшие к ней с разных сторон покои были все прекрасно убраны и обтянуты гобеленами, почти как на даче у Сугробиной, только еще богаче. Везде отсвечивали большие зеркала, мраморные столы, золоченые карнизы и дорогие материи. Гобелены представляли сюжеты из мифологии и из Ариостова «Orlando». Здесь Парис сидел в недоумении, которой из трех богинь вручить золотое яблоко, а там Ангелика с Медором обнимались под тенистым деревом, не замечая грозного рыцаря, выглядывающего на них из-за кустов.

Пока мы осматривали старинные ткани, оживленные красноватым отблеском свечи, остальные части комнаты терялись в неопределенном мраке, и когда я нечаянно поднял голову, то мне показалось, что фигуры на потолке шевелятся и что фантастические формы их отделяются от потолка и, сливаясь с темнотою, исчезают в глубине залы.

— Я думаю, мы теперь можем лечь спать,— сказал Владимир,— но чтобы уже все сделать по порядку, то вот мой совет: ляжем в трех разных комнатах и завтра поутру расскажем друг другу, что с нами случится в продолжение ночи.

Мы согласились. Мне, как предводителю экспедиции, дали спальню дон Пьетро; Владимир и Антонио расположились в двух отдаленных комнатах, и вскоре во всем доме воцарилась глубокая тишина.

Здесь г. Рыбаренко остановился и, обращаясь к Руневскому, сказал:

— Я вас, может быть, утомляю, любезный друг, теперь уже поздно, не хочется ли вам спать?

— Нисколько,— отвечал Руневский,— вы меня обяжете, если будете продолжать.

Рыбаренко немного помолчал и продолжал следующим образом:

— Оставшись один, я разделся, лег в старинную кровать под богатый балдахин, накрыл себя штофным одеялом и готовился потушить свечу, как дверь медленно отворилась и вошел Владимир. Он поставил свечу свою на маленький комод возле кровати и, подошедши ко мне, сказал:

— Я целый день не нашел случая поговорить с тобой о наших делах. Антонио уже спит; мы можем немного поболтать, и я опять уйду дожидаться приключений. Я тебе еще не сказывал, что получил письмо от матушки. Она пишет, что обстоятельства ее непременно требуют моего присутствия. Поэтому я не думаю, что проведу с тобой зиму во Флоренции.

Известие это меня крайне огорчило. Владимир тоже казался невесел. Он сел ко мне на постель, прочитал мне письмо, и мы долго разговаривали о его семейных делах и о наших взаимных намерениях. Пока он говорил, меня несколько раз в нем поражало что-то странное, но я не мог дать себе отчета, в чем именно оно состояло. Наконец он встал и сказал мне растроганным голосом:

— Меня мучит какое-то предчувствие; кто знает, увидимся ли мы завтра? Обними меня, мой друг... может быть, в последний раз!

— Что с тобой! — сказал я, засмеявшись.— С которых пор ты веришь предчувствиям?

— Обними меня! — продолжал Владимир, необыкновенным образом возвыся голос. Черты лица его переменились, глаза налились кровью и горели, как уголья. Он простер ко мне руки и хотел меня обнять.

— Поди, поди, Владимир,— сказал я, скрывая свое удивление,— дай бог тебе уснуть и забыть свои предчувствия!

Он что-то проворчал сквозь зубы и вышел. Мне показалось, что он странным образом смеется; но я не был уверен, его ли я слышу голос или чужой.

Между тем глаза мои мало-помалу сомкнулись, и я заснул. Не знаю, что я увидел во сне, но, вероятно, это было что-нибудь страшное, ибо я вскоре с испугом проснулся и начал протирать глаза. В ушах моих раздавались аккорды гитары, и я сначала думал, что звуки эти не что иное, как продолжение моего сновидения; но кто опишет мой ужас, когда между моею кроватью и стеною я увидел женщину-фреск, вперивший в меня какой-то страшный, нечеловеческий взгляд. В одной руке держала она гитару, другою трогала струны. Ужас мною овладел, я схватил со стола пистолет и только что хотел в нее выстрелить, как она уронила гитару и упала на колени. Я узнал Пепину.

— Пощадите меня, синьор,— кричала бедная девушка,— я ничего не хотела у вас украсть: будьте милосердны, не убивайте меня!

Мне очень было стыдно, что я в глазах ее обнаружил свой страх, и я всячески старался ее успокоить, спросив ее, однако: зачем она ко мне пришла и чего от меня хочет?

— Ах,— отвечала Пепина,— после того как я догнала синьора Антонио и с ним говорила, я тихонько пошла за вами и видела, что вы влезли в окно. Но я знала другой вход, ибо этот дом служит иногда убежищем брату моему Титта, об котором вы, вероятно, слыхали. Я из любопытства вошла за вами и когда хотела воротиться, то увидела, что в торопливости захлопнула за собою потаенную дверь и что мне невозможно выйти. Я пришла к вам в комнату и, не смея вас разбудить, стала играть на гитаре, чтобы вы проснулись. Ах, не сердитесь на меня; любовь к моему брату заставила меня вас беспокоить. Я знаю, что вы друг синьора Антонио, так спасите, если можете, моего брата! Я вам

клянусь всем, что дорого моему сердцу, он давно хочет сделаться честным человеком; но если его будут преследовать, как дикого зверя, он поневоле останется разбойником, убийствами отяготит свою душу и погубит себя навсегда! О, достаньте ему прощение, умоляю вас, на коленях умоляю вас, сжальтесь над его раскаяньем, сжальтесь над его бедною сестрою!

И, говоря это, она обнимала мои колени, и крупные слезы катились по ее щекам. Огненного цвета лента, опоясывавшая ее голову, развязалась, и волосы, извиваясь как змеи, упали на ее плечи. Она так была прекрасна, что в эту минуту я забыл о своем страхе, о вилле Urgina и об ее преданиях. Я вскочил с кровати, и уста наши соединились в долгий поцелуй. Знакомый голос в ближней зале нас пробудил.

— С кем ты там, Пепина? — сказал кто-то, отворяя дверь.

— Ах, это мой брат! — вскричала девушка и, вырвавшись из моих объятий, убежала прочь.

В комнату вошел человек в плаще и в шляпе с черным пером. Увидев меня, он остановился, и каково было мое удивление, когда, вглядевшись в черты его лица, я в нем узнал моего аббата!

— А, это вы, signor Russo![1] — сказал он, затыкая за пояс большой пистолет, которым готовился меня приветствовать.— Добро пожаловать! Не удивляйтесь перемене моего одеяния. Вы меня видели аббатом, в другой раз вы меня увидите ветурином или трубочистом. Увы, я до тех пор должен скрываться, пока не получу прощения от правительства!

Сказав это, Титта Каннелли глубоко вздохнул; потом, приняв веселый вид, подошел ко мне и ударил меня по плечу.

— Я вас нарочно,— сказал он,— зазвал в виллу друга моего дон Пьетро для небольшого дельца. Я нуждаюсь в деньгах, а у меня здесь спрятано множество дорогих вещей, между прочим целый ящик колец, ожерелий, серег и браслет. За все я с вас возьму только семьдесят семь наполеонов.— Он нагнулся под мою кровать, вытащил оттуда большой ящик, и я увидел кучу золотых уборов, один прекраснее другого. Несколько фермуаров были украшены самы-

[1] Синьор русский *(ит.)*.— Ред.

ми редкими каменьями, и все работано с таким вкусом, как я никогда еще не видывал. Цена, которую он требовал, мне показалась очень необыкновенною, и хотя она очевидно доказывала, что эти вещи достались ему даром, но теперь было не время входить в разбирательство; к тому ж Пепинин брат, стоя между моим оружием и мною, так красноречиво играл своим пистолетом, что я почел за нужное тотчас согласиться и, раскрыв свой кошелек, нашел в нем ровно семьдесят семь наполеонов, которые отдал разбойнику.

— Благодарю вас,— сказал он,— вы сделали доброе дело! Теперь мне только остается предупредить вас, что если вы вздумаете открыть полиции, откуда вы получили эти вещи, я вам непременно размозжу голову. Желаю вам покойной ночи.

Он мне дружески пожал руку и исчез так скоро, что я не мог видеть, куда он скрылся. Я только слышал, как в стене повернулись потаенные петли, и потом все погрузилось в молчание. Взоры мои нечаянно упали на изображение на стене, и я невольно вздрогнул. Мне опять показалось, что это была не Пепина, а нарисованная женщина, которая несколько минут тому назад выступила из стены и которую я целовал. Я стал сожалеть, что в то время не догадался посмотреть на стену, чтобы увидеть, там ли она или нет. Но я превозмог свою боязнь и принялся шарить в ящике. Между разными цепочками, флакончиками и прочими вещицами нашел я одну склянку *рококо,* величиною с большое яблоко и оправленную в золото с необыкновенным вкусом. Работа была так нежна, что я, боясь, чтобы склянка не исцарапалась в ящике, тщательно завернул ее в платок и поставил подле себя на стол. Потом, закрыв ящик, я опять лег и вскоре заснул. Во сне я всю ночь видел Пепину и женщину-фреск и часто среди самых приятных картин моего воображения я вскакивал в страхе и опять засыпал. Меня также беспокоило какое-то болезненное чувство на шее. Я думал, что простудился, солнце уже было высоко, и я, наскоро одевшись, спешил отыскать своих товарищей.

Антонио лежал в бреду. Он, как сумасшедший, махал руками и беспрестанно кричал:

— Оставьте меня! Разве я виноват, что Венера — прекраснейшая из богинь? Парис человек со вкусом, и я его непременно сделаю совестным судьею в Пекине, как скоро въеду в свое Китайское государство на крылатом грифоне!

Я употреблял все силы, чтобы привесть его в себя, как вдруг дверь отворилась, и Владимир, бледный, расстроенный, вбежал в комнату.

— Как,— вскричал он радостно, увидев Антонио,— он жив? я его не убил? Покажи, покажи, куда я его ранил?

Он бросился осматривать Антонио, но раны нигде не было видно.

— Вот видишь,— сказал Антонио,— я тебе говорил, что бог Пан так же искусно играет на свирели, как и стреляет из пистолета.

Владимир не переставал щупать Антонио и наконец, удостоверившись, что он жив и не ранен, вскричал с восторгом:

— Слава богу, я его не убил, это был только дурной сон!

— Друзья мои,— говорил я,— ради бога, объяснитесь, я ничего не могу понять!

Наконец мне и Владимиру удалось привести Антонио в память; но он так был слаб, что я ничего не хотел у него спрашивать, а попросил Владимира, чтобы он нам рассказал, что с ним случилось ночью.

— Вошедши в свою комнату,— сказал Владимир,— я воткнул свечу в один из ветвистых подсвечников, которые, как огромные пауки, держались на золотой раме зеркала, и тщательно осмотрел свои пистолеты. Мне удалось отворить заколоченную ставню, и с неизъяснимым удовольствием я стал дышать чистым воздухом ночи. Все вокруг меня было тихо. Луна была уже высоко, а воздух так прозрачен, что я мог различать все изгибы самых отдаленных гор, между которыми башня замка Baradello величественно подымала голову. Я погрузился в размышления и уже около полуночи смотрел на озеро и на горы, как легкий шорох за моими плечами заставил меня оглянуться. Свеча очень нагорела, и я сначала ничего не мог различить, но, вглядевшись хорошенько в темноту, я увидел в дверях большую белую фигуру.

«Кто там?» — закричал я. Фигура испустила жалобный вопль и как будто на невидимых колесах приблизилась ко мне. Я никогда не видел лица страшнее этого. Привидение подняло обе руки, как бы желая завернуть меня в свое покрывало. Я не знаю, что я почувствовал в эту минуту, но в руке моей был пистолет, раздался выстрел, и призрак упал на землю, закричав: «Владимир! Что ты делаешь? Я Антонио!» Я бросился его поднимать, но пуля пролетела ему сквозь грудь, кровь била фонтаном из раны, он хрипел, как умирающий.

«Владимир,— сказал он слабым голосом,— я хотел испытать твою храбрость, ты меня убил; прости мне, как я тебе прощаю!»

Я начал кричать, ты прибежал на мой крик; мы оба перенесли Антонио в его комнату.

— Что ты говоришь? — прервал я Владимира.— Я всю ночь не выходил из спальни. После того как ты мне прочитал письмо твоей матери и от меня ушел, я остался в постеле и ничего не знаю про Антонио. К тому же ты видишь, что он жив и здоров, стало быть, ты все это видел во сне!

— Ты сам говоришь во сне! — отвечал с досадою Владимир.— Никогда я к тебе не приходил и не читал тебе никакого письма от матушки!

Тут Антонио встал со стула и к нам подошел.

— О чем вы спорите?— сказал он.— Вы видите, что я жив. Клянусь честью, что я никогда и не думал стращать Владимира. Впрочем, мне и не до того было. Когда я остался один, я, так же как Владимир, сначала осмотрел свои пистолеты. Потом я лег на диван, и глаза мои невольно устремились на расписанный потолок и высокие карнизы, украшенные золотыми арабесками. Звери и птицы странным образом сплетались с цветами, фруктами и разного рода узорами. Мне показалось, что узоры эти шевелятся, и, чтобы не дать воли своему воображению, я встал и начал прохаживаться по зале. Вдруг что-то сорвалось с карниза и упало на пол. Хотя в зале так было темно, что я ничего не увидел, но я рассудил по звуку, что упавшее тело было мягкое, ибо оно совсем не произвело стуку, а только глухой шум. Через несколько времени я услышал за собою шаги, как будто жи-

вотного. Я оглянулся и увидел золотого грифона величиною с годовалого теленка. Он смотрел на меня умными глазами и повертывал своим орлиным носом. Крылья его были подняты, и концы их свернуты в кольца. Вид его меня удивил, но не испугал. Однако, чтобы от него избавиться, я на него закричал и притопнул ногою. Грифон поднял одну лапу, опустил голову и, пошевелив ушами, сказал мне человеческим голосом: «Напрасно вы беспокоитесь, синьор Антонио; я вам не сделаю никакого вреда. Меня нарочно прислал за вами хозяин, чтобы я вас отвез в Грецию. Наши богини опять поспорили за яблоко. Юнона уверяет, что Парис только потому отдал его Венере, что она обещала ему Елену. Минерва тоже говорит, что Парис покривил душой, и обе они обратились с жалобою к старику; а старик им сказал: пусть вас рассудит синьор Антонио. Теперь, если вам угодно, садитесь на меня верхом, я вас мигом привезу в Грецию».

Мысль эта мне так показалась забавна, что я уже подымал ногу, чтобы сесть на грифона, но он меня остановил. «Каждая земля,— сказал он,— имеет свои обычаи. Все над нами будут смеяться, если вы приедете в Грецию в сюртуке». «А как же мне ехать?» — спросил я. «Не иначе, как в национальном костюме: разденьтесь донага и обдрапируйтесь плащом. Все боги и даже богини точно так одеты». Я послушался грифона и сел к нему на спину. Он пустился бежать рысью, и мы долго ехали по разным коридорам, через длинные ряды комнат, опускались и подымались по лестницам и, наконец, прибыли в огромную залу, освещенную розовым светом. Потолок залы был расписан и представлял небо с летающими птицами и купидонами, а в конце ее возвышался золотой трон, и на нем сидел Юпитер. «Это наш хозяин, дон Пьетро д'Урджина!» — сказал мне грифон.

У ног трона протекала прозрачная река, и в ней купалось множество нимф и наяд, одна прекраснее другой. Реку эту, как я узнал после, называли Ладо́ном. На берегу ее росло очень много тростнику, у которого сидел аббат и играл на свирели. «Это кто такой?»— спросил я у грифона. «Это бог Пан»,— отвечал он. «Зачем же он в сюртуке?»— спросил я опять.

«Затем, что он принадлежит к духовному сословию, и ему бы неприлично было ходить голым». «Но как же он может сидеть на берегу реки, в которой купаются нимфы?» «Это для того, чтобы умерщвлять свою плоть; вы видите, что он от них отворачивается». «А для чего у него за поясом пистолеты?» «Ох,— отвечал с досадою грифон,— вы слишком любопытны; почему я это знаю!»

Мне показалось странным видеть в комнате реку, и я заглянул за китайские ширмы, из-за которых она вытекала. За ширмами сидел старик в напудренном парике и, по-видимому, дремал. Подошед к нему на цыпочках, я увидел, что река бежала из урны, на которую он опирался. Я начал его рассматривать с большим любопытством; но грифон подбежал ко мне, дернул меня за плащ и сказал мне на ухо: «Что ты делаешь, безрассудный? Ты разбудишь Ладона, и тогда непременно сделается наводнение. Ступай прочь, или мы все погибнем!» Я отошел. Мало-помалу зала наполнилась народом. Нимфы, дриады, ореады прогуливались между фавнами, сатирами и пастухами. Наяды вышли из воды и, накинув на себя легкие покрывала, стали также с ними прохаживаться. Боги не ходили, а чинно сидели с богинями возле Юпитерова трона и смотрели на гуляющих. Между последними заметил я одного человека в домино и в маске, который ни на кого не обращал внимания, но которому все давали место. «Это кто?»— спросил я у грифона. Грифон очевидно смешался. «Это так, кто-нибудь!— отвечал он, поправляя носом свои перья.— Не обращайте на него внимания!» Но в эту минуту к нам подлетел красивый попугай и, сев ко мне на плечо, проговорил гнусливым голосом: «Дуррак, дуррак! Ты не знаешь, кто этот человек? Это наш настоящий хозяин, и мы его почитаем более, нежели дон Пьетро!» Грифон с сердцем посмотрел на попугая и значительно мигнул ему одним глазом, но тот уже слетел с моего плеча и исчез в потолке между купидонами и облаками.

Вскоре в собрании сделалась суматоха. Толпа расступилась, и я увидел молодого человека в фригийской шапке, с связанными руками, которого вели две нимфы. «Парис! — сказал ему Юпитер или дон Пьет-

ро д'Урджина (как называл его грифон),— Парис! говорят, что ты золотое яблоко несправедливо присудил Венере. Смотри, ведь я шутить не люблю. Ты у меня как раз полетишь вверх ногами!» «О могущий громовержец! — отвечал Парис.— Клянусь Стиксом, я судил по чистой совести. Впрочем, вот синьор Антонио; он, я знаю, человек со вкусом. Вели ему произвесть следствие, и если он не точно так решит, как я, то я согласен полететь вверх ногами!» «Хорошо! — сказал Юпитер,— быть по-твоему!»

Тут меня посадили под лавровое дерево и дали мне в руки золотое яблоко. Когда ко мне подошли три богини, свирель аббата зазвучала сладостнее прежнего, тростник реки Ладона тихонько закачался, множество блестящих птичек вылетели из его середины, и песни их были так жалобны, так приятны и странны, что я не знал, плакать ли мне или смеяться от удовольствия. Между тем старик за ширмами, вероятно пробужденный песнями птичек и гармоническим шумом тростника, начал кашлять и произнес слабым голосом и как будто впросонках: «О Сиринга! о дочь моя!»

Я совсем забылся, но грифон очень больно ущипнул меня за руку и сердито сказал мне: «Скорей за дело, синьор Антонио! Богини вас ждут; решайте, пока старик не проснулся!» Я превозмог сладостное волнение, увлекшее меня далеко от виллы Urgina в неведомый мир цветов и звуков, и, собравшись с мыслями, устремил глаза на трех богинь. Они сбросили с себя покрывала. О мои друзья! как вам описать, что я тогда почувствовал! Какими словами дать вам понятие об остром летучем огне, который в одно мгновение пробежал по всем моим жилам! Все мои чувства смутились, все понятия перемешались, я забыл о вас, о родных, о самом себе, обо всей своей прошедшей жизни; я был уверен, что я сам Парис и что мне предоставлено великое решение, от которого пала Троя. В Юноне я узнал Пепину, но она была сто раз прекраснее, нежели когда она вышла ко мне на помощь из виллы Remondi. Она держала в руках гитару и тихонько трогала струны. Она так была обворожительна, что я уже протягивал руку, чтобы вручить ей яблоко, но, бросив взгляд на Венеру, внезапно пере-

менил намерение. Венера, сложив небрежно руки и приклонив голову к плечу, смотрела на меня с упреком. Взоры наши встретились, она покраснела и хотела отвернуться, но в этом движении столько было прелести, что я, не колеблясь, подал ей яблоко.

Парис восторжествовал; но человек в домино и в маске подошел к Венере и, вынув из-под полы большой бич, начал немилосердно ее хлестать, приговаривая при каждом ударе: «Вот тебе, вот тебе; вперед знай свою очередь и не кокетничай, когда тебя не спрашивают; сегодня не твой день, а Юнонин; не могла ты подождать? вот же тебе за то, вот тебе, вот тебе!» Венера плакала и рыдала, но незнакомец не переставал ее бить и, обратившись к Юпитеру, сказал: «Когда я с ней расправлюсь, то и до тебя дойдет очередь, проклятый старикашка!» — Тогда Юпитер и все боги соскочили с своих мест и бросились к незнакомцу в ноги, жалобно вопия: «Умилосердись, наш повелитель! В другой раз мы будем исправнее!» Между тем Юнона или Пепина (я до сих пор не знаю, кто она была) подошла ко мне и сказала мне с очаровательной улыбкой: «Не думай, мой милый друг, что я была на тебя сердита за то, что ты не мне присудил яблоко. Верно, так было написано в неисповедимой книге судьбы! Но чтобы ты видел, сколь я уважаю твое беспристрастие, позволь мне дать тебе поцелуй». Она обняла меня прелестными руками и жадно прижала свои розовые губы к моей шее. В ту же минуту я почувствовал в ней сильную боль, которая, однако, тотчас прошла. Пепина так ко мне ласкалась, так нежно меня обнимала, что я бы вторично забылся, если бы крики Венеры не отвлекли от нее моего внимания. Человек в домино, запустив руку в ее волосы, продолжал ее сечь самым бесчеловечным образом. Жестокость его меня взорвала. «Скоро ли ты перестанешь!» — закричал я в негодовании и бросился на него. Но из-под черной маски сверкнули на меня невыразимым блеском маленькие белые глаза, и взгляд этот меня пронзил как электрический удар. В одну секунду все боги, богини и нимфы исчезли.

Я очутился в Китайской комнате, возле круглой залы. Меня окружила толпа фарфоровых кукол, фаянсовых мандаринов и глиняных китаек, которые с

криком: «Да здравствует наш император, великий Антонио Фу Цинг Танг!» — бросились меня щекотать. Напрасно я старался от них отделаться. Маленькие их ручонки влезали мне в нос и в уши, я хохотал как сумасшедший. Не знаю, как я от них избавился, но когда я очнулся, то вы оба, друзья мои, стояли подле меня. Стократ вас благодарю за то, что вы меня спасли!

И Антонио начал нас обнимать и целовать, как ребенок. Когда прошел его восторг, то я, обратившись к нему и к Владимиру, сказал им очень сериозно:

— Я вижу, друзья мои, что вы оба бредили нынешнюю ночь. Что касается до меня, то я удовлетворился, что все чудесные слухи про этот palazzo не что иное, как выдумка контрабандиста Титта Каннелли. Я сам его видел и с ним говорил. Пойдем со мною, я вам покажу, что я у него купил.

С сими словами я пошел в свою спальню, Антонио и Владимир за мною последовали. Я открыл ящик, всунул в него руку и вытащил человеческие кости! Я их с ужасом отбросил и побежал к столу, на который накануне поставил склянку *рококо*. Развернув платок, я остолбенел. В нем был череп ребенка. Пустой кошелек мой лежал подле него.

— Это ты купил у твоего контрабандиста?— спросили меня в один голос Антонио и Владимир.

Я не знал, что отвечать. Владимир подошел к окну и воскликнул с удивлением:

— Ах, боже мой! где же озеро?

Я также подошел к окну. Передо мной была piazza Volta, и я увидел, что смотрю из окна *чертова дома*.

— Как мы сюда попали?— спросил я, обращаясь к Антонио.

Но Антонио не мог мне отвечать. Он был чрезвычайно бледен, силы его покинули, и он опустился в кресла. Тогда я только заметил, что у него на шее маленькая синяя ранка, как будто от пиявки, но немного более. Я тоже чувствовал слабость и, подошед к зеркалу, увидел у себя на шее такую же ранку, как у Антонио. Владимир ничего не чувствовал, и ранки у него не было. На вопросы мои Владимир признался, что когда он выстрелил в белый призрак и потом

узнал своего друга, то Антонио умолял его, чтобы он с ним в последний раз поцеловался; но Владимир никак не мог на это решиться, потому что его пугало что-то такое во взгляде Антонио.

Мы еще рассуждали о наших приключениях, как кто-то сильно стал стучаться в ворота. Мы увидели полицейского офицера с шестью солдатами.

— Господа! — кричал он снаружи.— Отворите ворота; вы арестованы от имени правительства.

Но ворота были так крепко заколочены, что их принуждены были сломать. Когда офицер вошел в комнату, мы его спросили, за что мы арестованы.

— За то,— отвечал он,— что вы издеваетесь над покойниками и нынешнюю ночь перетаскали все кости из Комской часовни. Один аббат, проходивший мимо, видел, как вы ломали решетку, и сегодня утром на вас донес.

Мы тщетно протестовали, офицер непременно хотел, чтобы мы шли за ним. К счастью, я увидел комского подесту (известного археолога R....i), с которым был знаком, и призвал его на помощь. Узнав меня и Антонио, он очень перед нами извинялся и велел привесть аббата, сделавшего на нас донос; но его нигде не могли отыскать. Когда я рассказал подесте, что с нами случилось, он нисколько не удивился, но пригласил меня в городской архив. Антонио был так слаб, что не мог за нами следовать, а Владимир остался, чтобы проводить его домой. Когда мы вошли в архив, подеста раскрыл большой in folio [1] и прочитал следующее:

«Сего 1679 года сентября 20-го дня казнен публично на городской площади разбойник Giorambatista Cannelli, около двадцати лет с шайкою своею наполнявший ужасом окрестности Комо и Милана. Родом он из Комо, лет ему по собственному показанию 50. Пришед на место казни, он не хотел приобщиться святых тайн и умер не как христианин, а как язычник».

Сверх того, подеста (человек во всех отношениях заслуживающий уважения и который скорее бы дал себе отрезать руку, нежели бы согласился сказать не-

[1] Книга большого формата — в лист, согнутый пополам (*лат.*).— Ред.

правду) открыл мне, что *чертов дом* построен на том самом месте, где некогда находился языческий храм, посвященный Гекате и ламиям. Многие пещеры и подземельные ходы этого храма, как гласит молва, и поныне сохранились. Они ведут глубоко в недра земли, и древние думали, что они имеют сообщение с тартаром. В народе ходит слух, что ламии, или эмпузы, которые, как вам известно, имели много сходства с нашими *упырями,* и поныне еще бродят около посвященного им места, принимая всевозможные виды, чтобы заманивать к себе неопытных людей и высасывать из них кровь. Странно еще то, что Владимир через несколько дней в самом деле получил письмо от своей матери, в котором она его просила возвратиться в Россию.

Рыбаренко замолчал и опять погрузился в размышления.

— Что ж,— спросил его Руневский,— и вы не делали никаких розысканий о вашем приключении?

— Делал,— отвечал Рыбаренко.— Сколько я ни уважал подесту, но истолкование его мне не казалось вероятным.

— И что ж вы узнали?

— Пепина ничего не понимала, когда ее спрашивали о брате ее Титта. Она говорила, что у нее никогда не бывало брата. На наши вопросы она отвечала, что она действительно вышла из виллы Remondi на помощь к Антонио, но что никогда она нас не догоняла и не просила Антонио, чтобы он выхлопотал прощение ее брату. Никто также ничего не знал о прекрасном дворце дон Пьетро между виллою Remondi и виллою d'Este, и когда я нарочно пошел его отыскивать, я ничего не нашел. Происшествие это сделало на меня сильное впечатление. Я выехал из Комо, оставив Антонио больным. Чрез месяц я узнал в Риме, что он умер от изнеможения. Я сам так был слаб, как будто после сильной и продолжительной болезни; но наконец старания искусных врачей возвратили мне, хотя не совсем, потерянное здоровье.

Прожив еще год в Италии, я возвратился в Россию и вступил в круг своих прежних занятий. Я работал с усердием, и труды мои меня развлекали; но каждое воспоминание о пребывании моем в Комо приводило

меня в содрогание. Поверите ли вы мне, что я и теперь часто не знаю, куда мне деваться от этого воспоминания! Оно повсюду меня преследует, как червь подтачивает мой рассудок, и бывают минуты, что я готов лишить себя жизни, чтобы только избавиться от его присутствия! Я бы ни за что не решился об этом говорить, если бы не думал, что рассказ мой вам послужит предостережением. Вы видите, что похождения мои несколько похожи на то, что с вами случилось на даче у старой бригадирши. Ради бога, берегитесь, любезный друг, а особливо не вздумайте шутить над вашим приключением.

Пока Рыбаренко говорил, заря уже начала освещать горизонт.

Сотни башен, колоколен и позолоченных глав заиграли солнечными лучами. Свежий ветер повеял от востока, и громкий, полнозвучный удар в колокол раздался на Иване Великом. Ему отвечали, один после другого, все колокола соборов кремлевских, потом всех московских церквей. Пространство наполнилось звуком, который, как будто на незримых волнах, колебался, разливаясь по воздуху. Москва превратилась в необъятную гармонику.

В это время странное чувство происходило в груди Руневского. С благоговением внимал он священному звону колоколов, с любовию смотрел на блестящий мир, красующийся перед ним. Он видел в нем образ будущего счастья и чем более увлекался этою мыслью, тем более страшные видения, вызванные из мрака рассказами Рыбаренки, бледнели и исчезали.

Рыбаренко также был погружен в размышления, но глубокая грусть омрачала его лицо. Он был смертельно бледен и не сводил глаз с Ивана Великого, как будто бы желал измерить его высоту.

— Пойдем,— сказал он наконец Руневскому,— вам нужно отдохнуть!

Они оба встали со скамьи, и Руневский, простившись с Рыбаренкой, отправился домой.

Когда он вошел в дом Дашиной тетушки, Федосьи Акимовны Зориной, то и она и дочь ее, Софья Карповна, приняли его с большой приветливостью. Но об-

хождение матери тотчас с ним изменилось, как скоро он объявил, зачем к ней приехал.

— Как,— вскричала она,— что это значит? а Софья-то? Разве вы для того так долго ездили в мой дом, чтобы над нею смеяться? Позвольте вам сказать: после ваших посещений, после всех слухов, которыми наполнен город о вашей женитьбе, поведенье это мне кажется чрезвычайно странным! Как, милостивый государь? обнадежив мою дочь, когда уже все ее считают невестой, вы вдруг сватаетесь на другой и просите ее руки — у кого же? у меня, у матери Софьи!

Слова эти как гром поразили Руневского. Он только теперь догадался, что Зорина давно уже на него метила как на жениха для своей дочери, а вовсе не для племянницы, и в то же время понял ее тактику. Пока еще она питала надежду, все ее действия были рассчитаны, чтобы удержать Руневского в кругу ее общества, она старалась отгадывать и предупреждать все его желания; но теперь, при неожиданном требовании, она решилась прибегнуть к последнему средству и через трагическую сцену надеялась вынудить у него обещание. К несчастью своему, она ошиблась в расчете, ибо Руневский весьма почтительно и холодно отвечал ей, что он никогда и не думал жениться на Софье Карповне, что он приехал просить руки Даши и надеется, что она не имеет причин ему отказать. Тогда Дашина тетушка позвала свою дочь и, задыхаясь от злости, рассказала ей, в чем дело. Софья Карповна не упала в обморок, но залилась слезами, и с ней сделалась истерика.

— Боже мой, боже мой,— кричала она,— что я ему сделала? За что хочет он убить меня? Нет, я не снесу этого удара, лучше тысячу раз умереть! Я не могу, я не хочу теперь жить на свете!

— Вот в какое положение вы привели бедную Софью,— сказала ему Зорина.— Но это не может так остаться!

Софья Карповна так искусно играла свою роль, что Руневскому стало ее жалко.

Он хотел отвечать, но ни матери, ни Софьи Карповны уже не было в комнате. Подождав несколько времени, он отправился домой с твердым намерением не прежде возвратиться на дачу к бригадирше, как по-

пытавшись еще раз получить от Дашиной тетушки удовлетворительный ответ.

Он сидел у себя задумавшись, когда ему пришли доложить, что ротмистр Зорин желает с ним говорить. Он приказал просить и увидел молодого человека, кого открытое и благородное лицо предупреждало в его пользу. Зорин был родной брат Софьи Карповны; но так как он только что приехал из Тифлиса, то Руневский никогда его не видел и не имел об нем никакого понятия.

— Я пришел с вами говорить о деле, касающемся до нас обоих,— сказал Зорин, учтиво поклонившись.

— Прошу садиться,— сказал Руневский.

— Два месяца тому назад вы познакомились с моею сестрою, начали ездить в дом к матушке, и скоро распространились слухи, что вы просите руки Софьи.

— Не знаю, распространились ли эти слухи,— прервал его Руневский,— но могу вас уверить, что не я был тому причиной.

— Сестра была уверена в вашей любви, и с самого начала обхождение ваше с нею оправдывало ее предположения. Вам удалось внушить ей участие, и она вас полюбила. Вы даже с нею объяснились...

— Никогда! — воскликнул Руневский.

Глаза молодого Зорина засверкали от негодования.

— Послушайте, милостивый государь,— вскричал он, выходя из пределов холодной учтивости, в которых сначала хотел остаться,— вам, верно, неизвестно, что когда я еще был на Кавказе, то Софья мне об вас писала; от нее я знаю, что вы обещали просить ее руки, и вот ее письма!

— Если Софья Карповна в них это говорит,— отвечал Руневский, не дотрагиваясь до писем, которые Зорин бросил на стол,— то я сожалею, что должен опровергать ее слова. Я повторяю вам, что не только никогда не хотел просить ее руки, но и не давал ей малейшего повода думать, что я ее люблю!

— Итак, вы не намерены на ней жениться?

— Нет. И доказательством тому, что я нарочно приехал в Москву просить у вашей матушки руки ее племянницы.

— Довольно. Я надеюсь, что вы не откажете мне

в удовлетворении за оскорбление, которое нанесли моему семейству.

— Я всегда к вашим услугам, но прежде прошу вас обдумать ваш поступок. Может быть, при хладнокровном размышлении, вы убедитесь, что я никогда и не помышлял наносить оскорблений вашему семейству.

Молодой ротмистр бросил гордый взгляд на Руневского.

— Завтра в пять часов я вас ожидаю на Владимирской дороге, на двадцатой версте от Москвы,— сказал он сухо.

Руневский поклонился в знак согласия. Оставшись один, он начал заниматься приготовлениями к следующему утру. У него было мало знакомых в Москве; к тому же почти все были на дачах; итак, неудивительно, что выбор его пал на Рыбаренку.

На другой день, в три часа утра, он и Рыбаренко уже ехали по Владимирской дороге и на условленном месте нашли Зорина с его секундантом.

Рыбаренко подошел к Зорину и взял его за руку.

— Владимир,— сказал он, сжав ее крепко,— ты не прав в этом деле: помирись с Руневским!

Зорин отвернулся.

— Владимир,— продолжал Рыбаренко,— не шути с судьбою, вспомни виллу Урджина!

— Полно, братец,— сказал Владимир, освобождая свою руку из рук Рыбаренки,— теперь не время говорить о пустяках!

Они углубились в кустарник.

Секундант Зорина был маленький офицер с длинными черными усами, которые он крутил беспрерывно. С самого начала лицо его показалось Руневскому знакомым; но когда, размеряя шаги для барьера, маленький офицер начал особенным родом подпрыгивать, Руневский тотчас узнал в нем Фрышкина, того самого, над которым Софья Карповна так смеялась на бале, где Руневский с ней познакомился.

— Друзья мои,— сказал Рыбаренко, обращаясь к Владимиру и к Руневскому,— помиритесь, пока еще можно: я чувствую, что один из вас не воротится домой.

Но Фрышкин, приняв сердитый вид, подскочил к Рыбаренке.

— Позвольте объяснить,— сказал он, уставив на него большие красные глаза,— здесь оскорбление нестерпимое-с... примирение невозможно-с... здесь обижено почтенное семейство-с, весьма почтенное-с... я до примирения не допущу-с... а если бы приятель мой Зорин и согласился, то я сам, Егор Фрышкин, буду стреляться вместо его-с!

Оба противника уже стояли один против другого. Вокруг их царствовала страшная тишина, прерванная на одну секунду щелканьем курков.

Фрышкин не переставал горячиться; он был красен как рак.

— Да,— кричал он,— я сам хочу стреляться с господином Руневским-с! Если приятель мой Зорин его не убьет, так я его убью-с!

Выстрел прервал его речь, и от головы Владимира отлетел клочок черных кудрей. Почти в ту же минуту раздался другой выстрел, и Руневский грянулся на землю с окровавленною грудью. Владимир и Рыбаренко бросились его подымать и перевязали его рану. Пуля пробила ему грудь; он был лишен чувств.

— Это твое видение в вилле Урджина! — сказал Рыбаренко на ухо Владимиру.— Ты убил друга.

Руневского перенесли в коляску, и так как дом бригадирши был самый ближний и хозяйка всем известна как добрая и человеколюбивая старушка, то его отвезли к ней, несмотря на сопротивление Рыбаренки.

Долго Руневский пролежал без памяти. Когда он начал приходить в себя, первое, что ему бросилось в глаза, был портрет Прасковьи Андреевны, висящий над диваном, на котором он лежал. В нише стояла старинная кровать с балдахином, а посреди стены виден был огромный камин.

Руневский узнал свою прежнюю квартиру, но он никак не мог понять, каким образом в нее попал и отчего он так слаб. Он захотел встать, но сильная боль в груди удержала его на диване, и он стал вспоминать свои похождения до поединка. Он также вспомнил, как дрался с Зориным, но не знал, когда это было и сколько времени продолжался его обморок. Пока он размышлял о своем положении, вошел незнакомый доктор, осмотрел его рану и, пощупав пульс, объявил,

что у него лихорадка. Ночью несколько раз приходил Яков и давал ему лекарство.

Таким образом прошло несколько дней, в продолжение коих он никого не видал, кроме доктора и Якова. С этим последним он иногда разговаривал о Дарье Александровне; но он мог от него только узнать, что Даша еще находилась у своей бабушки и что она совершенно здорова. Доктор, посещая Руневского, говорил ему, что нужно как можно более спокойствия, и на вопрос его, скоро ли ему можно будет встать, отвечал, что он еще должен пролежать, по крайней мере, неделю. Все это еще более усилило беспокойство и нетерпение Руневского, и лихорадка его, вместо того чтобы уменьшиться, значительно увеличилась.

В одну ночь, когда сильный жар никак не давал ему заснуть, странный шум раздался близ него. Он стал прислушиваться, и ему показалось, что шум этот происходит в покоях, смежных с его комнатою. Вскоре он начал различать голоса бригадирши и Клеопатры Платоновны.

— Подождите хоть один день, Марфа Сергеевна,— говорила Клеопатра Платоновна,— подождите хоть до утра!

— Не могу, мать моя,— отвечала Сугробина.— Да и ожидать-то к чему? Немного раньше, немного позже, а все тем же кончится. А ты, сударыня, уж всегда расхныкаешься, как девчонка какая. И в тот раз та же была история, как до Дашиной-то матери дело дошло. Какая бы я и бригадирша-то была, если б крови-то видеть не могла?

— Вы не хотите? — вскричала Клеопатра Платоновна.— Вы не хотите один раз отказаться от...

— Рыцарь Амвросий! — закричала Сугробина.

Руневский не мог удержаться, чтобы при этих словах не привстать и не приложить глаза к ключевой дыре.

Среди комнаты стоял Семен Семенович Теляев, одетый с ног до головы в железные латы. Перед ним на полу лежал какой-то предмет, закрытый красным сукном.

— Чего тебе надобно, Марфа? — спросил он грубым голосом.

— Пора, мой батюшка! — прошептала старуха.

Тут Руневский заметил, что на бригадирше было платье яркого красного цвета, с вышитою на груди большою черною летучею мышью. На латах Теляева изображен был филин, и на шлеме его торчали филиновы крылья.

Клеопатра Платоновна, коей черты обнаруживали ужасное внутреннее борение, подошла к стене и, сорвав с нее небольшую доску с странными, непонятными знаками, бросила ее на пол и разбила вдребезги.

Внезапно обои раздвинулись, и из потаенной двери вошел в комнату высокий человек в черном домино и в маске, при виде коего Руневский тотчас догадался, что это тот самый, которого видел Антонио в вилле дон Пьетро д'Урджина.

Сугробина и Теляев обмерли от страха, когда он вошел.

— Ты уж здесь? — сказала дрожа бригадирша.

— Пора! — отвечал незнакомец.

— Подожди хоть один день, подожди хоть до утра! Отец ты мой, кормилец, голубчик мой, благодетель!

Старуха упала на колени; лицо ее стало страшным образом кривляться.

— Не хочу ждать! — отвечал незнакомец.

— Еще хоть часочек! — простонала бригадирша. Она уже не говорила ни слова, но губы еще судорожно шевелились.

— Три минуты! — отвечал тот.— Воспользуйся ими, если можешь, старая ведьма!

Он подал знак Теляеву. Семен Семенович нагнулся, поднял с полу красное сукно, и Руневский увидел Дашу, лежащую без чувств, с связанными руками. Он громко вскрикнул и рванулся соскочить с дивана, но на него сверкнули маленькие белые глаза черного домино и пригвоздили его на месте. Он ничего более не видал; в ушах его страшно шумело; он не мог сделать ни одного движения. Вдруг холодная рука провела по его лицу, и оцепенение исчезло. За ним стояло привидение Прасковьи Андреевны и обмахивало себя опахалом.

— Хотите жениться на моем портрете? — сказало оно.— Я вам дам свое кольцо, и вы завтра его наде-

нете моему портрету на палец. Не правда ли, вы это сделаете для меня?

Прасковья Андреевна обхватила его костяными руками, и он упал на подушки, лишенный чувств.

Долго был болен Руневский, и почти все время он не переставал бредить. Иногда он приходил в себя, но тогда мрачное отчаянье блистало в его глазах. Он был уверен в смерти Даши, и хотя он ни в чем не был виноват, но проклинал себя за то, что не мог ее спасти. Лекарства, которые ему подносили, он с бешенством кидал далеко от себя, срывал перевязи с своей раны и часто приходил в такое исступление, что Яков боялся к нему подойти.

Однажды, страшный пароксизм только что миновался, природа взяла верх над отчаяньем, и он неприметно погружался в благодетельный сон, как ему показалось, что он слышит голос Даши. Он раскрыл глаза, но в комнате не было никого, и он вскоре заснул крепким сном. Во сне он был перенесен в виллу Урджина. Рыбаренко водил его по длинным залам и показывал ему места, где с ним случились те необыкновенные происшествия, которые он ему рассказывал. «Сойдем вниз по этой лестнице,— говорил Рыбаренко,— я вам покажу ту залу, куда Антонио ездил на грифоне». Они начали спускаться, но лестнице не было конца. Между тем воздух становился все жарче и жарче, и Руневский заметил, как сквозь щели стен по обеим сторонам лестницы время от времени мелькал красный огонь. «Я хочу воротиться»,— говорил Руневский; но Рыбаренко дал ему заметить, что по мере того как они подвигались вперед, лестница за ними заваливалась огромными утесами. «Нам нельзя воротиться,— говорил он,— надобно идти далее!» И они продолжали сходить вниз. Наконец ступени кончились, и они очутились перед большою медною дверью. Толстый швейцар молча ее отворил, и несколько слуг в блестящих ливреях проводили их через переднюю; один лакей спросил, как о них доложить, и Руневский увидел, что у него из рта выходит огонь. Они вошли в ярко освещенную комнату, в которой толпа народа кружилась под шумную музыку. Далее стояли карточные столы, и за одним из них сидела бригадирша и облизывала свои кровавые губы; но Теляева не

было с нею; вместо его напротив старухи сидело черное домино. «Ох! — вздыхала она,— скучно стало с этой чучелой! Когда-то к нам будет Семен Семенович!» — и длинная огненная струя выбежала из ее рта. Руневский хотел обратиться к Рыбаренке, но его уже не было; он находился один посреди незнакомых лиц. Вдруг из той комнаты, где танцевали, вышла Даша и подошла к нему. «Руневский,— сказала она,— зачем вы сюда пришли? Если они узнают, кто вы, то вам будет беда!» Руневскому сделалось страшно, он сам не знал отчего. «Следуйте за мной,— продолжала Даша,— я вас выведу отсюда, только не говорите ни слова, а то мы пропали». Он поспешно пошел за нею, но она вдруг воротилась. «Постойте,— сказала она,— я вам покажу наш оркестр!» Даша подвела его к одной двери и, отворив ее, сказала: «Посмотрите, вот наши музыканты!» Руневский увидел множество несчастных, скованных цепями и объятых огнем. Черные дьяволы с козлиными лицами хлопотливо раздували огонь и барабанили по их головам раскаленными молотками. Вопли, проклятия и стук цепей сливались в один ужасный гул, который Руневский сначала принял за музыку. Увидев его, несчастные жертвы протянули к нему длинные руки и завыли: «К нам! ступай к нам!» — «Прочь, прочь!» — закричала Даша и повлекла Руневского за собою в темный узкий коридор, в конце которого горела только одна лампа. Он слышал, как в зале все заколыхалось. «Где он? где он? — блеяли голоса,— ловите его, ловите его!» — «За мной, за мной!» — кричала Даша, и он, запыхаясь, бежал за нею, а позади их множество копыт стучало по коридору. Она отворила боковую дверь и, втащив в нее Руневского, захлопнула за собою. «Теперь мы спасены!» — сказала Даша и обняла его холодными костяными руками. Руневский увидел, что это не Даша, а Прасковья Андреевна. Он громко закричал и проснулся.

Возле его постели стояли Даша и Владимир.

— Я рад,— сказал Владимир, пожав ему руку,— что вы проснулись; вас тяготил неприятный сон, но мы боялись вас разбудить, чтоб вы не испугались. Доктор говорит, что ваша рана не опасна, и никто ему за это так не благодарен, как я. Я бы никогда себе не

простил, если б вы умерли. Простите же меня; я признаюсь, что погорячился!

— Любезный друг! — сказала Даша, улыбаясь,— не сердись на Владимира; он предобрый человек, только немножко вспыльчив. Ты его непременно полюбишь, когда с ним короче познакомишься!

Руневский не знал, верить ли ему своим глазам или нет. Но Даша стояла перед ним, он слышал ее голос, и в первый раз она ему говорила ты. С тех пор как он был болен, воображение столько раз его морочило, что понятия его совершенно смешались, и он не мог различить обмана от истины. Владимир заметил его недоверчивость и продолжал:

— С тех пор как вы лежите в постеле, много произошло перемен. Сестра моя вышла замуж за Фрышкина и уехала в Симбирск; старая бригадирша... но я вам слишком много рассказываю; когда вам будет лучше, вы всё узнаете!

— Нет, нет,— сказала Даша,— ему никогда не будет лучше, если он останется в недоумении. Ему надобно знать все. Бабушка,— продолжала она, обратившись со вздохом к Руневскому,— уже два месяца, как скончалась!

— Сама Даша,— прибавил Владимир,— была опасно больна и поправилась только после смерти Сугробиной. Постарайтесь и вы поскорей выздороветь, чтобы нам можно было сыграть свадьбу!

Видя, что Руневский смотрит на них, ничего не понимая, Даша улыбнулась.

— Самое главное,— сказала она,— мы и забыли ему сказать: тетушка согласна на наш брак и меня благословляет!

Услышав эти слова, Руневский схватил Дашину руку, покрыл ее поцелуями, обнял Владимира и спросил его, точно ли они дрались?

— Я бы не думал,— отвечал, смеясь, Владимир,— что вы можете в этом сомневаться.

— Но за что ж мы дрались? — спросил Руневский.

— Признаюсь вам, я и сам не знаю, за что. Вы были совершенно правы, и сказать правду, я рад, что вы не женились на Софье. Скоро я сам увидел ее неоткровенность и дурной нрав, особенно когда узнал, что из мщения к вам она пересказала Фрышкину, как вы

над ним смеялись; но тогда уже было поздно, и вы лежали в постеле с простреленною грудью. Не люблю я Софьи; но, впрочем, бог с нею! Желаю, чтобы она была счастлива с Фрышкиным, а мне до нее нет дела!

— Как тебе не стыдно, Владимир,— сказала Даша,— ты забываешь, что она твоя сестра!

— Сестра, сестра! — прервал ее Владимир,— хороша сестра, по милости которой я чуть не убил даром человека и чуть не сделал несчастною тебя, которую люблю, уж верно, больше Софьи.

Еще месяца три протекли после этого утра. Руневский и Даша уже были обвенчаны. Они сидели вместе с Владимиром перед пылающим камином, и Даша, в красивом утреннем платье и в чепчике, разливала чай. Клеопатра Платоновна, уступившая ей эту должность, сидела молча у окошка и что-то работала. Взор Руневского нечаянно упал на портрет Прасковьи Андреевны.

— До какой степени,— сказал он,— воображение может овладеть человеческим рассудком! Если б я не был уверен, что во время моей болезни оно непростительным образом меня морочило, я бы поклялся в истине странных видений, связанных с этим портретом.

— История Прасковьи Андреевны в самом деле много имеет странного,— сказал Владимир.— Я никогда не мог добиться, как она умерла и кто был этот жених, пропавший так внезапно. Я уверен, что Клеопатра Платоновна знает все эти подробности, но не хочет нам их открыть!

Клеопатра Платоновна, до этих пор ни на кого не обращавшая внимания, подняла глаза, и лицо ее приняло выражение еще горестнее обыкновенного.

— Если бы,— сказала она,— смерть старой бригадирши не разрешала моей клятвы, а женитьба Руневского и Даши не разрушила страшной судьбы, обременявшей ее семейство, вы бы никогда не узнали этой ужасной тайны. Но теперь обстоятельства переменились, и я могу удовлетворить вашему любопытству. Я подозреваю, об каких видениях говорит господин Руневский, и могу его уверить, что в этом случае он не должен обвинять своего воображения.

Чтобы объяснить многие обстоятельства, для вас непонятные, я должна вам объявить, что Дашина бабушка, урожденная Островичева, происходит от древней венгерской фамилии, ныне уже угасшей, но известной в конце пятнадцатого столетия под именем Ostroviczy. Герб ее был: черная летучая мышь в красном поле. Говорят, что бароны Ostroviczy хотели этим означать кровь своих врагов. Враги эти назывались Tellara и, чтоб показать свое преимущество над прадедами бригадирши, приняли в герб свой филина, величайшего врага летучей мыши. Другие утверждают, что филин этот намекает на происхождение фамилии Tellara от рода Тамерлана, который тоже имел в гербу своем филина.

Как бы то ни было, но обе фамилии вели беспрестанную войну одна с другою, и война эта долго бы не кончилась, если б измена и убийство не ускорили ее развязки. Марфа Ostroviczy, супруга последнего барона этого имени, женщина необыкновенной красоты, но жестокого сердца, пленилась наружностью и воинскою славой Амвросия Tellara, прозванного *Амвросием с широким мечом*. В одну ночь она впустила его в замок и с его помощью задушила мужа. Злодеяние ее, однако, не осталось без наказания, ибо рыцарь Амвросий, видя замок Ostroviczy в своей власти, последовал голосу врожденной ненависти и, потопив в Дунае всех приверженцев своего врага, предал его замок огню. Сама Марфа с трудом могла спастись. Все эти обстоятельства подробно рассказаны в древней хронике фамилии Ostroviczy, которая находится здесь в библиотеке.

Сказать вам, как и когда эта фамилия очутилась в России, я, право, не могу; но уверяю вас, что преступление Марфы было наказано почти на всех ее потомках. Многие из них уже в России умерли насильственною смертью, другие сошли с ума, а наконец, тетушка бригадирши, та самая, коей вы видите пред собою портрет, будучи невестою ломбардского дворянина Пьетро д'Урджина...

— Пьетро д'Урджина? — прервали Клеопатру Платоновну в один голос Руневский и Владимир.

— Да,— отвечала она,— жених Прасковьи Андреевны назывался дон Пьетро д' Урджина. Хотя это бы-

ло давно, но я его хорошо помню. Он был человек уже не молодой и к тому ж вдовец; но большие черные глаза его так горели, как будто бы ему было не более лет двадцати. Прасковья Андреевна была молодая девушка, и учтивые приемы ловкого иностранца легко ее обворожили. Она страстно в него влюбилась. Мать ее не имела той ненависти ко всему иностранному, которую покойная бригадирша, может быть, лишь для того так часто обнаруживала, чтобы тем лучше скрыть свое собственное происхождение. Она желала выдать дочь за дон Пьетро, ибо он был богат, приехал с большою свитой и жил как владетельный князь. К тому же он обещался навсегда поселиться в России и уступить ломбардские свои имения сыну, находившемуся тогда в городе Комо.

Дон Пьетро привез с собою множество отличных художников. Архитекторы его выстроили этот дом, живописцы и ваятели украсили его с истинно италиянским вкусом. Но, несмотря на необыкновенную роскошь дон Пьетро, многие замечали в нем черты самой отвратительной скупости. Когда он проигрывал в карты, лицо его видимо изменялось, он бледнел и дрожал; когда же он был в выигрыше, жадная улыбка показывалась на его устах и он с судорожным движением пальцев загребал добытое золото. Низкий его нрав, казалось, должен был переменить к нему расположение Прасковьи Андреевны и ее матери, но он так хорошо умел притворяться перед ними обеими, что ни та, ни другая ничего не приметили, и день свадьбы был торжественно объявлен.

Накануне он дал в своей новой даче блистательный ужин, и никогда его любезность не показывалась с таким блеском, как в этот вечер. Умный и живой разговор его занимал все собрание, и все были в самом веселом расположении духа, как хозяину дома подали письмо с иностранным клеймом. Прочитав содержание, он поспешно встал из-за стола и извинился перед обществом, говоря, что неожиданные дела непременно требуют его присутствия. В ту же ночь он уехал, и никто не знал, куда он скрылся.

Невеста была в отчаянии. Мать ее, употребив все средства, чтобы отыскать след жениха, начала приписывать поведение его одной уловке, чтобы отделаться

от брака с ее дочерью, тем более что дон Пьетро, несмотря на поспешность своего отъезда, успел оставить поверенному письменное наставление, как распорядиться с его домом и находящимися в нем вещами, из чего ясно можно было видеть, что дон Пьетро, если бы он только хотел, мог бы найти время уведомить Прасковью Андреевну о причине и назначении неожиданного своего путешествия.

Прошло несколько месяцев, а о женихе все еще не было известия. Бедная невеста не переставала плакать и так похудела, что золотое кольцо, которое подарил ей дон Пьетро, само собой спало с ее руки. Все уже потеряли надежду что-нибудь узнать о дон Пьетро, как мать Прасковьи Андреевны получила из Комо письмо, где ее уведомляли, что жених вскоре по приезде своем из России скоропостижно умер. Письмо было от сына умершего. Но один дальний родственник невесты, только что приехавший из Неаполя, рассказывал, что в тот самый день, когда, по словам молодого Урджина, отец его скончался в Комо, он, родственник, сбираясь влезть на Везувий, видел в корчме местечка Torr del Greco двух путешественников, из коих один был в халате и в ночном колпаке, а другой в черном домино и маске. Оба путешественника спорили между собой: человеку в халате не хотелось идти далее, а человек в домино его торопил, говоря, что им еще много дороги осталось до кратера и что на другой день праздник св. Антония. Наконец человек в домино схватил человека в халате и с исполинской силой потащил его за собой. Когда они скрылись, родственник спросил, кто эти чудаки? и ему отвечали, что один из них дон Пьетро д'Урджина, а другой какой-то англичанин, приехавший с ним нарочно, чтобы видеть извержение Везувия, и из странности никогда не снимающий с себя маски. Встреча эта, заключал родственник, ясно доказывает, что дон Пьетро не умер, а только отлучился на время из Комо в Неаполь.

К несчастью, другие известия подтвердили справедливость письма молодого Урджина. Несколько очевидцев уверяли, что они присутствовали при погребении дон Пьетро, и божились, что сами видели, как гроб его опущен был в землю. Итак, не осталось сомнения в участи жениха Прасковьи Андреевны.

Сын дон Пьетро, не желавший удалиться из Италии, поручил своему поверенному продать отцовскую дачу с публичного торга. Продажа состоялась довольно беспорядочно, и мать Прасковьи Андреевны купила Березовую Рощу за бесценок.

Сколько Прасковья Андреевна сначала горевала и плакала, столько она теперь казалась спокойною. Ее редко видали в покоях матери, но по целым дням она бродила в верхнем этаже из комнаты в комнату. Часто слуги, проходившие по коридору, слышали, как она сама с собой разговаривала. Любимое ее занятие было — припоминать малейшие подробности своего знакомства с дон Пьетро, малейшие обстоятельства последнего вечера, который она с ним провела. Иногда она без всякой причины смеялась, иногда так жалобно стонала, что нельзя было ее слышать без ужаса.

В один вечер с ней сделались конвульсии, и не прошло двух часов, как она умерла в страшных мучениях. Все полагали, что она себя отравила, и, со всем почтением к памяти покойницы, нельзя не думать, что это предположение справедливо. Иначе что бы значили эти звуки, которые вскоре после ее смерти начали раздаваться в ее комнатах? Чему приписать эти шаги, вздохи и даже несвязные слова, которые я сама не раз слышала, когда в бурные осенние ночи беспрестанный стук окон не давал мне заснуть, а ветер свистел в трубы, как будто бы наигрывал какую-то жалобную песнь. Тогда волосы мои становились дыбом, зубы стучали один об другой, и я громко молилась за упокой бедной грешницы.

— Но,— сказал Руневский, слушавший с возрастающим любопытством рассказ Клеопатры Платоновны,— можете ли вы нам сказать, какие именно слова произносила покойница?

— Ах,— отвечала Клеопатра Платоновна,— в то время в словах ее мне многое казалось странным. Смысл их всегда состоял в том, что ей до тех пор не будет покою, пока кто-нибудь не обручится с ее портретом и не наденет ему на палец ее собственного кольца. Слава всевышнему, теперь желание ее исполнилось, и ничто уже более не будет тревожить ее праха. Кольцо, которым обручалась Даша, есть то самое, которое дон

Пьетро подарил своей невесте; а разве Даша не живой портрет Прасковьи Андреевны?

— Клеопатра Платоновна! — сказал Руневский после некоторого молчания,— вы не все мне открыли. В этой истории о фамилии Ostroviczy, от которой, как вы говорите, происходит покойная бригадирша, есть какая-то непостижимая тайна, окружающая меня с самого того времени, как я вступил в этот дом. Что делала Сугробина вместе с Теляевым в одну ночь, когда они оба перерядились, одна в красную мантию, другой в старинные латы? Все это я считал сном или бредом моей горячки, но в вашем рассказе есть подробности, которые так хорошо соответствуют происшествиям той ужасной ночи, что их невозможно принять за игру воображения. Вы сами, Клеопатра Платоновна, присутствовали при каком-то страшном преступлении, от которого у меня осталось одно темное воспоминание, но коего главные участники были бригадирша и Семен Семенович Теляев. Мне самому стыдно,— продолжал Руневский, видя, что все на него смотрят с удивлением,— мне самому стыдно, что я еще думаю об этом. Рассудок мой говорит мне, что это бред, но это такой страшный бред, что я не могу не желать удостовериться в его ничтожности.

— Что ж вы видели? — спросила Клеопатра Платоновна с беспокойством.

— Я видел вас, видел Сугробину, Теляева и этого таинственного незнакомца в домино и в маске, который увлекал дон Пьетро д'Урджина в кратер Везувия и о котором мне уже рассказывал Рыбаренко.

— Рыбаренко! — вскричал, смеясь, Владимир,— твой секундант! Ну, любезный Руневский, если он тебе рассказывал похождения свои в Комо, то я не удивляюсь, что это тебе вскружило голову.

— Но ты сам и еще этот Антонио, вы вместе с Рыбаренкой ночевали в *чертовом доме?*

— Так точно, и все трое мы видели бог знает что во сне, с тою только разницею, что Антонио и я скоро обо всем забыли, а бедный Рыбаренко через несколько дней сошел с ума. Впрочем, ему, надобно отдать справедливость, было от чего помешаться. Я сам не понимаю, как уцелел. Если бы я только знал, кто подмешал нам опиума в этот пунш, который мы пили, прежде не-

жели пошли в *чертов дом*, он бы мне дорого заплатил за эту шутку.

— Но Рыбаренко мне ни слова не говорил про пунш.

— Оттого что он до сих пор не верит, что бред его был следствием пунша. Я ж в этом вполне уверен, ибо у меня от одного стакана закружилась голова, а Антонио начал шататься и даже упал на совершенно ровном месте.

— Но ведь Антонио умер от последствий вашей шалости?

— Правда, что он вскоре после нее умер, но правда и то, что он еще прежде страдал неизлечимой хронической болезнию.

— А кости, а череп ребенка, а казненный разбойник?

— Не прогневайся, любезный Руневский,— но в ответ на все это я тебе скажу только, что Рыбаренко, которого я, впрочем, очень люблю, помешался в Комо со страха. Все, что он видел во сне и наяву, все это он смешал, перепутал и прикрасил по-своему. Потом он рассказал это тебе, а ты, будучи в горячке, всю его чепуху еще более спутал и сверх того уверил себя в ее истине.

Руневский не довольствовался этим истолкованием.

— Отчего же,— сказал он,— история этого дон Пьетро, в дом которого вы забрались ночью, смешана с историею Прасковьи Андреевны, в которой, однако, мне кажется, никто из вас не сомневается.

Владимир пожал плечами.

— Все, что я тут вижу,— сказал он,— заключается в том, что дон Пьетро был жених Прасковьи Андреевны. Но из этого нисколько не следует, что он был унесен чертом в Неаполь и что все, что об нем снилось Рыбаренке, есть правда.

— Но родственник Прасковьи Андреевны говорил о человеке в черном домино. Рыбаренко также говорил об этом человеке, и я сам готов побожиться, что видел его своими глазами. Неужели бы три лица, не согласившись друг с другом, захотели сами себя обманывать?

— На это я тебе скажу, что черное домино вещь такая обыкновенная, что о ней могли бы говорить не три,

а тридцать человек, вовсе между собою не согласившись. Это все равно, что плащ, карета, дерево или дом — предметы, которые несколько раз в день могут быть в устах каждого. Заметь, что согласие слов Рыбаренки с словами родственника состоит только в том, что они оба говорят о черном домино; но обстоятельства, в которых оно является у каждого из них, ничего не имеют между собою схожего. Что ж касается до твоего собственного видения, то воображение твое просто воссоздало лицо, уже знакомое тебе по рассказам Рыбаренки.

— Но я ничего не знал ни о фамилии Ostroviczy, ни о фамилии Tellara, а между тем ясно видел на Сугробиной красное платье с летучей мышью, а на латах Теляева изображение филина.

— А пророчество? — сказала Даша.— Ты разве забыл, что в первый день, когда ты сюда приехал, ты сам прочитал род баллады, в которой говорилось о Марфе и о рыцаре Амвросии, о филине и о летучей мыши. Только я не знаю, что может быть общего у Теляева с филином или с рыцарем Амвросием!

— Эту балладу,— прибавила Клеопатра Платоновна,— извлек Рыбаренко из старинной хроники, о которой я вам уже говорила, но после того, как вы ее прочитали, Марфа Сергеевна мне приказала сжечь свою рукопись.

— И после этого вы полагаете,— продолжал Руневский, обращаясь к Владимиру и к Даше,— что она была не упырь?

— Как не упырь?

— Что она не вампир?

— Что ты, помилуй! — отчего бабушке быть вампиром?

— И Теляев не упырь?

— Да что с тобой? С какой стати ты хочешь, чтобы все были упырями или вампирами?

— Отчего же он щелкает?

Даша и Владимир посмотрели друг на друга, и наконец Даша так чистосердечно захохотала, что она увлекла за собой и Владимира. Оба начали кататься со смеху, и когда одна переставала, другой начинал снова. Они смеялись так откровенно, что Руневский, сколько это ему ни казалось некстати, сам не

мог удержаться от смеха. Одна Клеопатра Платоновна осталась по-прежнему печальною.

Веселье Владимира и Даши, вероятно, еще долго продолжалось, если бы не вошел Яков и не произнес громогласно: «Семен Семенович Теляев!»

— Просить, просить! — сказала радостно Даша.— Упыры! — повторяла она, помирая со смеху.— Семен Семенович упыры! Рыцарь Амвросий! Ха-ха-ха!

В передней послышались шаги, и все замолчали. Дверь отворилась, и знакомая фигура старого чиновника представилась их очам. Коричневый парик, коричневый фрак, коричневые панталоны и никогда не изменяющаяся улыбка были отличительными чертами этой фигуры и тотчас бросались в глаза.

— Здравия желаю, сударыня Дарья Александровна, мое почтение, Александр Андреевич! — сказал он сладким голосом, подходя к Даше и к Руневскому.— Душевно сожалею, что не мог поздравить молодых супругов, но отлучка... семейные обстоятельства... Он начал неприятным образом щелкать, всунул руку в карман и, вытащив из него золотую табакерку, поднес ее прежде Даше, а потом Руневскому, приговаривая:

— С донником... настоящий русский... покойница Марфа Сергеевна другого не употребляли...

— Посмотри,— шепнула Даша Руневскому,— вот откуда ты взял, что он рыцарь Амвросий!

Она указывала на табакерку Семена Семеновича, и Руневский увидел, что на ее крышке изображен ушастый филин.

Приметив, что он смотрит на это изображение, Семен Семенович странным образом на него взглянул и проговорил, повертывая головою:

— Гм! Это так-с, фантазия... аллегория... говорят, что филин означает мудрость...

Он опустился в кресло и продолжал с необыкновенно сладкой улыбкой:

— Много нового-с! Карлисты претерпели значительные поражения. Вчера некто известный вам бросился с колокольни Ивана Великого, коллежский асессор Рыбаренко...

— Как, Рыбаренко бросился с колокольни?

— Как изволите говорить... вчера в пять часов...

— И убился до смерти?

— Как изволите говорить...

— Но что его к этому побудило?

— Не могу доложить... причины неизвестны... Но смею сказать, что напрасно... коллежский асессор!.. далеко ли до коллежского советника... там статский советник... действительный...

Семен Семенович впал в щелканье, и во все остальное время его визита Руневский ничего более не слыхал.

— Бедный, бедный Рыбаренко! — сказал он, когда ушел Теляев.

Клеопатра Платоновна глубоко вздохнула.

— Итак,— сказала она,— пророчество исполнилось вполне. Проклятие не будет более тяготить этот род!

— Что вы говорите? — спросили Руневский и Владимир.

— Рыбаренко,— отвечала она,— был незаконнорожденный сын бригадирши!

— Рыбаренко? сын бригадирши?

— Он сам этого не знал. В балладе, которую вы читали, он странным образом предсказал свою смерть. Но это предсказание не есть его выдумка; оно в самом деле существовало в фамилии Ostroviczy.

Веселое выражение на лицах Даши и Владимира уступило место печальной задумчивости. Руневский погрузился также в размышления.

— О чем ты думаешь, мой друг?— сказала наконец Даша, прерывая общее молчание.

— Я думаю о Рыбаренко,— отвечал Руневский,— и еще думаю о том, что видел во время своей болезни. Оно не выходит у меня из головы, но ты здесь, со мною, и, стало быть, это был бред!

Сказав эти слова, он побледнел, ибо в то же время заметил на шее у Даши маленький шрам, как будто от недавно зажившей ранки.

— Откуда у тебя этот шрам?— спросил он.

— Не знаю, мой милый. Я была больна и, верно, обо что-нибудь укололась. Я сама удивилась, когда увидела свою подушку всю в крови.

— А когда это было? Не помнишь ли ты?

— В ту самую ночь, когда скончалась бабушка. Несколько минут перед ее смертью. Это маленькое приключение было причиною, что я не могла с нею проститься: так я вдруг сделалась слаба!

Клеопатра Платоновна в продолжение этого разговора что-то про себя шептала, и Руневскому показалось, что она тихонько молится.

— Да,— сказал он,— теперь я все понимаю. Вы спасли Дашу... вы, Клеопатра Платоновна, разбили каменную доску... такую ж доску, какая была у дон Пьетро...

Клеопатра Платоновна смотрела на Руневского умоляющими глазами.

— Но нет,— сказал он,— я ошибаюсь, не будем более об этом говорить! Я уверен, что это был бред!

Даша не совсем поняла смысл его слов, но она охотно замолчала. Клеопатра Платоновна бросила благодарный взгляд на Руневского и стерла две крупные слезы с своих бледных ланит.

— Ну, что ж мы все четверо повесили головы?— сказал Владимир.— Жаль бедного Рыбаренки, но помочь ему нельзя. Постойте, я вас сейчас развеселю: не правда ли, Теляев славный упырь?

Никто не засмеялся, а Руневский дернул за снурок колокольчик и сказал вошедшему Якову:

— Когда бы ни приехал Семен Семенович, нас никогда для него нет дома. Слышишь ли? никогда!

— Слушаю-с! — отвечал Яков.

С этих пор Руневский не говорил более ни про старую бригадиршу, ни про Семена Семеновича.

[1841]

Константин Аксаков
Облако

Фантастическая повесть

Был жаркий полдень, листок не шевелился, ветер подувал то с той, то с другой стороны. Десятилетний Лотарий выходил медленно из леса: он набегался и наигрался вдоволь; в руке у него был маленький детский лук и деревянные стрелки; пот катился с его хорошенького, разрумянившегося личика, оттененного светло-русыми кудрями. Ему оставалось пройти еще целое поле; с каждым шагом ступал он неохотнее и, наконец, бросился усталый на траву отдохнуть немного; его шапочка свалилась с него, и волосы рассыпались. Лотарий поднял глаза кверху, где ослепительным блеском сиял над ним безоблачный голубой свод с своим вечным светилом. Скоро эта однообразная лазурь утомила взоры дитяти, и он, поворотившись на бок, стал без всякой цели смотреть сквозь траву, его скрывавшую. Вдруг ему показалось, что на небе явилось что-то; он поднял опять глаза: легкое облачко неприметно неслось по небу. Лотарий устремил на него свои взоры. Какое хорошенькое облачко! Как отрадно показалось оно ему в пустыне неба. Облачко достигло до средины и как будто остановилось над мальчиком, потом опять медленно продолжало свой путь. Лотарий с сожалением смотрел, как облачко спускалось все ниже, ниже, коснулось земли, как бы опять остановилось на минуту и, наконец, исчезло на краю горизонта: в небе опять стало пусто, но Лотарий все смотрел вверх; он ждал, не появится ли опять милое облачко. В самом деле, через несколько минут (благодаря переменному ветру) показалось оно опять на краю неба. Сердце у Лотария сильно забилось: облачко сделалось уж как бы ему знако-

мым; он не спускал с него глаз; ему даже показалось, что оно имеет человеческий образ, и он еще более стал всматриваться; облако подвигалось так тихо, как будто не хотело сходить с неба, и, казалось, медлило; наш Лотарий долго еще любовался им; но другое большое облако поднялось, настигло легкое облачко, закрыло его собою и исчезло вместе с ним на противоположном конце неба. Крик досады вырвался у Лотария. «Проклятое облако,— сказал он,— теперь бог знает, увижу ли я опять свое милое облачко!» Он пролежал еще четверть часа, не сводя глаз с неба, но оно все по-прежнему было чисто и безоблачно. Лотарий, наконец, встал и пошел домой, в большой досаде. Следующий день был так же хорош. Лотарий пошел на то же место, в тот же час, но ничего не видал. Вечером, перед закатом солнца, сидел он над прудом; широкое пространство вод отражало в себе чистое небо, и наш ребенок задумался. Вдруг он видит в воде, что что-то несется по небу. Каково ж было его удивление и радость, когда он узнал свое милое облачко: он не смел отворотить глаз от пруда, он боялся потерять мгновение. Облачко плыло. Лотарий еще явственнее различал в нем вид человека, ему показалось теперь, что видит в нем прекрасный женский образ: распущенные волосы, струящаяся одежда... и все более и более вглядывался Лотарий, и все явственнее и явственнее становилось его виднее. Облачко достигло конца горизонта и исчезло. Лотарий ждал, не вернется ли оно, но облачко не возвращалось. На третий день он почти не сходил со двора и беспрестанно взглядывал на небо, боясь пропустить свое облачко; и он увидел его около полудня; оно было уже на середине; за ним неслось другое облако, которое Лотарий также узнал и погрозил ему кулачком своим. Теперь он совершенно уверился, что любимое его облачко имело женский образ; другое облако также он разглядел лучше; оно имело вид грозного старика с длинною бородою, с нахмуренными бровями; и то и другое облако, достигнув края небес, скрылось одно за другим. Лотарий ждал следующий день, третий, четвертый, но облако не появлялось, и он совершенно отчаялся его видеть и перестал ждать его. Прекрасная погода все продолжалась. В одну жаркую ночь все семейство Грюненфельдов (это была

фамилия Лотария) легло спать на дворе, маленький Лотарий также; скоро заснул он, и, когда нечаянно проснулся, то луна была высоко, и Лотарий, к удивлению и радости, увидел опять свое облачко, а за ним большое облако. Свет луны сквозь тонкий мрак ночи придавал еще более жизни фантастическим образам на небе. Промчались, пронеслись облака, спустились к земле и исчезли. Лотарий все еще смотрел на небо. Вдруг в роще послышался ему шум; он взглянул: между деревьев мелькала и приближалась стройная бледная девушка, в которой он сейчас узнал свое облачко, а за нею высокий мрачный старик, точь-в-точь как то большое облако, виденное им опять на небе. Они вышли из рощи и тихо между собою разговаривали.

— Пусти меня,— говорила девушка-облако,— я хочу взглянуть на этого милого невинного ребенка, хочу поцеловать его.

— Дитя мое,— говорит старик,— оставь людей в покое; не сходи на землю; не оставляй лазурного пространства прекрасной твоей родины. Человек рад будет лишить тебя твоего счастья.

— Нет, нет, отец мой; не променяю я небо на землю; здесь мне трудно ходить, на каждом шагу спотыкаюсь я, а там привольно летать и носиться на крыльях ветра; но мне нравится это милое дитя; мне хочется хоть раз подойти к нему, потрепать его русые кудри; ты видишь — он спит. Потому мы опять унесемся с тобою на небо и, если хочешь, умчимся далеко, далеко отсюда... О, позволь мне, я обещаю долго не прилетать в страну эту, сколько угодно тебе, позволь мне взглянуть вблизи на это милое дитя.

— Изволь,— сказал старик,— но мы сейчас же оставим эту страну.

Лотарий между тем догадался и закрыл глаза. Он чувствовал, как девушка подошла к нему, наклонилась над ним, потрепала слегка его розовые щеки, разбросала кудри и поцеловала его в лоб, сказав: «Милое дитя». Потом он слышал, как она удалялась; открыв глаза, он видел, как между ветвями еще мелькали девушка и старик и, наконец, исчезли в глубине рощи. Через минуту легкое облачко, а за ним большое облако промчались по небу над головою Лотария. (Ему показа-

лось, что девушка заметила, что он не спит, и с улыбкой кивнула ему головою.)

Всю ночь не мог заснуть Лотарий. Ему становилось грустно до слез, что он долго, а может быть, и никогда не увидит своей милой девушки-облака.

Весь следующий день он был очень задумчив.

Вот происшествие из младенческой жизни Лотария; оно сделало на него сильное впечатление; он не рассказывал его никому, как потому, что ему никто бы не поверил, так и потому, что воспоминание об этом было для него сокровищем, которого он ни с кем разделить не хотел. В самом деле, долго девушка-облако жила в его памяти, была его любимою мечтою, услаждала, освежала его душу. Но потом время, науки, университет, свет, в который вступил он, светские развлечения мало-помалу изгладили из сердца его память чудесного происшествия детских лет, и двадцатилетний Лотарий уж не мог и вспомнить о нем.

* * *

В освещенной большой зале гремела музыка и вертелись одна за одною легкие пары. Лотарий, одетый по последней моде, был там, и, казалось, весь предался удовольствию бала. Кто бы узнал в нем того десятилетнего мальчика с розовенькими щечками и веселым личиком! Его кудри, небрежно вившиеся по плечам, были теперь острижены модным парикмахером; его прежде полную открытую шейку сжимал щегольской галстук, во всем костюме видна была изысканность, на лице, прежде беззаботном и прекрасном, проглядывала смешная суетность и тщеславие, какое-то глупое самодовольство. Лотарий Грюненфельд считался одним из первых fashionables.

Танцуя в кадрили, он нечаянно обернулся и увидал, что какая-то девушка, бледная, высокая и прекрасная, которой он прежде не замечал, задумчиво и печально на него смотрит. Это польстило его самолюбию; но не желая показать, что обращает внимание, он небрежно оборотился к своей даме и начал с нею один из тех пустых разговоров, которые вы беспрестанно слышите и сами ведете на бале. Но через несколько времени он взглянул опять и опять встретил грустный, задумчивый взор; на сей раз взор этот смутил Лотария, и он

опустил глаза; в душе зашевелилось, поднялось что-то, какой-то упрек, какое-то обвинение. Не зная почему — только Лотарий чувствовал себя неправым, чувствовал стыд в душе своей, и в самом деле вся его жизнь, пустая, бесцветная, во всей отвратительной наготе своей представилась перед ним в эту минуту; в сердце его не было ни одного чувства, в голове ни одной мысли, и Грюненфельд невольно покраснел. В ту же минуту он опомнился и, видя, что забыл долг учтивого кавалера, начал поскорее разговор с своей дамой, но на этот раз очень вяло и неловко; кое-как окончил он кадриль и отошел к стороне; теперь уж он, за колонной, не сводил глаз с незнакомой девушки. Лицо ее казалось ему знакомым; он как будто видал ее где-то. Спустя несколько времени вышла какая-то женщина из гостиной.

— Эльвира,— сказала она,— пора, поедем.

Бледная девушка встала и собралась ехать. Проходя мимо Лотария, бросила она на него такой печальный, такой глубокий взгляд, что он долго не мог прийти в себя от смущения и тотчас уехал.

Приехав домой, Грюненфельд долго не мог заснуть. Прежний Лотарий проснулся в нем. Боже мой! Боже мой! Сколько верований и надежд погубил он понапрасну, сколько сил истощил даром! Упреки толпою вставали в душе его. Лотарий чувствовал твердую решимость переменить жизнь свою и вознаградить все потерянное время. Он чувствовал в себе возрождающиеся силы, бодрость духа; сердце его тихо наполнилось чувством, ум мыслью, на душе светлело. Лотарий не мог, однако же, в эту минуту не обратить внимания на причину его внезапной внутренней перемены — он вспомнил бледную девушку.

— О, это верно ангел-хранитель мой,— сказал он сам себе,— его желания будут моим законом, пусть будет она моим путеводителем в этой жизни.

И он лег с твердым намерением отыскать и узнать эту чудную девушку, которой считал себя столько обязанным. На другой день поутру поехал он к г-же Н., у которой на бале был он вчера. Она была дома. Лотарий заговорил о вчерашнем вечере и спросил, наконец, кто эта дама, приехавшая вчера с бледной девушкой.

— Это старинная моя знакомая; она приехала недавно из Англии; ее фамилия Линденбаум.

— А эта молодая девушка ее родственница?

— Я мало имею о ней сведений; но, сколько мне известно, это ее воспитанница.

— Она часто бывает у вас?

— Она нынче будет у меня обедать, но что вы ею так интересуетесь?

— Лицо вашей приятельницы мне чрезвычайно знакомо, и я хотел узнать о ней поподробнее.

В это время слуга доложил о приезде г-жи Линденбаум. Лотарий вздрогнул, и через минуту вошла г-жа Линденбаум с Эльвирой.

Робко взглянул молодой человек на девушку; но она не приметила, здороваясь в это время с хозяйкой. Подняв глаза через несколько времени, он встретил взор Эльвиры, которая смотрела на него приветнее и не так грустно, как вчера.

Г-жа Н. просила Лотария остаться обедать; он охотно согласился. До обеда Лотарий много говорил с г-жой Линденбаум. Эльвира слушала и иногда взглядывала на него; Лотарий не смел заговорить с нею; Эльвира молчала и только однажды, когда Лотарий говорил про первые лета жизни, говорил, что, может быть, младенчество имеет таинственное, для нас теперь потерянное значение, она тихо сказала: «Да». Это «да» отозвалось в сердце Грюненфельда; он взглянул на Эльвиру и замолчал; до обеда он ничего почти не говорил.

После обеда г-жа Линденбаум скоро уехала; она звала Лотария к себе, и он был вне себя от радости. Он так скоро воспользовался ее предложением, как только позволяло приличие. Когда он вошел, Эльвира была в зале. Она молча поклонилась ему; но Лотарию показалось, что на лице ее выразилась скрываемая радость. Она пошла в гостиную. Г-жа Линденбаум сидела и вышивала в пяльцах. После обыкновенных приветствий скоро начался одушевленный разговор, в котором и Эльвира принимала участие. Г-жа Линденбаум просила ее спеть. Она села за фортепиано, лицо ее оживилось невыразимым чувством, все существо, казалось, искало выражения и нашло его себе в песне. Она запела:

Смотри: там в царственном покое,
Восстав далеко от земли,
Сияет небо голубое
В недосягаемой дали.
Смотри: как быстро друг за другом
Летят и мчатся облака;
Там, под небесным полукругом
Их жизнь привольна и легка.
Пускай красою блещет тоже
Разнообразная земля,
Но им всего, всего дороже
Свои лазурные поля.
А ты к себе мольбой напрасной
Счастливцев неба не мани —
Не бросят родины прекрасной,
Нет, не сойдут к тебе они.
Но если в их груди эфирной
Забьется к смертному любовь,
Они покинут край свой мирный,
Приют беспечных облаков,
И, жизнию дыша единой,
Бросают милую семью,
И в край далекий, на чужбину
Они несут любовь свою.

Странное случилось с душою Лотария, когда Эльвира пропела эту песню. Какое-то воспоминание поднялось в душе его; какое-то событие детства силилось выбиться из-под тумана времени. Он хотел что-то вспомнить и не мог. С нами часто это бывает; с кем этого не случалось? Кто знает, это, может быть, воспоминание такого же происшествия, но которое мы забыли и вспомнить не можем, может быть, и у каждого из нас в детстве была девушка-облако или что-нибудь подобное (но в том только разница, что потом мы почти никогда не можем это вспомнить). Я, по крайней мере, твердо уверен, что я летал в детстве. Но обратимся к Лотарию; он долго простоял в таком положении, и когда очнулся, Эльвиры уже не было. Грюненфельд пошел в гостиную, где сидела г-жа Линденбаум.

— Как я виноват,— начал Лотарий,— я так заслушался, так забылся, что и не видел, как ушла девица Эльвира.

— Да, она ушла.

— Мне очень жаль, что я не успел поблагодарить ее: она так прекрасно поет.

— Да, она хорошо поет; она ушла теперь.

— Куда же?

— Не знаю; только ее нет дома.

Такое спокойное незнание показалось странным Лотарию. Он хотел непременно узнать от г-жи Линденбаум все подробности об Эльвире и для того решился открыться ей, какое впечатление произвела на него ее воспитанница.

— Вот третий раз, как я ее вижу,— говорил Лотарий,— но мне кажется, что я ее видел где-то, что я ее давно знаю, что наши души близки друг другу. Да, да, мы давно знакомы; я люблю ее; она теперь все для меня.

Г-жа Линденбаум улыбнулась, посмотрела на Лотария и потом сказала.

— Год тому назад, когда я была еще в Англии, в один прекрасный летний вечер пришел ко мне какой-то старик, и с ним прекрасная девушка. «Вот вам моя дочь,— сказал он,— я вам ее поручаю. Вы не будете раскаиваться, если ее возьмете. Чего вам нужно? Денег? Извольте, назначьте какую угодно плату; но с условием: пусть она живет у вас, пусть в обществе известна будет под именем вашей воспитанницы; но она не обязана давать вам никакого отчета; она может отлучаться куда ей угодно, не спросясь и не сказываясь; словом, она должна иметь полную свободу».

Меня это поразило, предложение было так странно, лицо девушки было так интересно, что я согласилась тотчас и отказалась от платы. Мне очень хотелось узнать причины, заставлявшие отца отдавать дитя свое в чужие руки. Я спросила его. «Это не ваше дело»,— отвечал он мне и ушел.

В этот вечер Эльвира очень плакала, вздыхала, смотрела на небо. На другой день вышла ко мне с лицом спокойным, на котором выражалась твердая решимость. Она была так же сурова, как и отец ее, но мало-помалу мы сблизились, и теперь, кажется, она меня очень любит. Часто уходит она бог знает куда, иногда надолго. Однажды я старалась у ней выведать; но она напомнила мне слова отца своего («Это не ваше дело»). Вот все, что я могу вам сказать.

Грюненфельд ничего не отвечал, потом поблагодарил г-жу Линденбаум и уехал. Остальное время дня он был задумчив и не говорил ни слова; он не мог также понять, почему, когда он бывал с Эльвирой, ему

вспоминались лета детства, и он не мог удержаться, чтоб не говорить об них.

Каждый день Лотарий стал посещать г-жу Линденбаум. Каждый день более и более знакомился он с Эльвирой и чем более сближался с ней, тем непонятнее, загадочнее и прелестнее была она для него.

Так шли дни, недели; Лотарий оставил свет и его законы, и его нигде не было видно. Понимаете ли вы это удовольствие — вырваться из круга людей, где жили вы внешнею жизнью, пренебречь их толками и досадою и предпочесть самолюбивому обществу одно существо, которое вы встретили здесь на земле, которое понимает вас и которому вы посвятили все свое время? Понимаете ли вы удовольствие улыбаться на шутки и насмешки друзей ваших, с которыми вы перестали видеться и которых случайно встретили, думать про себя, смеясь над ними: «Они не знают, как я счастлив!» Лотарий был в таком положении; Лотарий был счастлив.

Вдруг он получает письмо от матери, в котором она зовет его непременно в деревню по одному важному семейственному делу.

Как быть? Должно расстаться; но Лотарий пишет письмо к матери, пишет другое, и вот г-жа Н. получает письмо от г-жи Грюненфельд, в котором она благодарит г-жу Линденбаум за ласки, оказанные ее сыну, и просит ее вместе с н е ю приехать на лето к ним в деревню. Г-жа Н. едет к своей приятельнице; та, по обыкновению, совестится, наконец соглашается, и все дело уладилось.

Лотарий поскакал вперед на другой день к матери, в радостной надежде встретить там скоро Эльвиру. Давно уже не был он на своей родине; уж год, как мать его уехала из города. Он приехал вечером. Зачем описывать радость матери и сына после годовой разлуки? Есть минуты, есть сцены, которые даже оскорбляют чувство в описании. Итак, сын увидался с матерью. После Лотарий бросился бегать по дорожкам цветника, по аллее сада, побежал в березовую рощу, взглянул на липы, которые закрывали уже ветвями своими окна его детской комнатки, сбегал на реку — везде, везде воспоминания; он перенесся совершенно в лета младенчества, и ему стало грустно.

На другой день пошли хлопоты. Лотарий занимался с утра до вечера и в продолжение недели все окончил. Он признался во всем матери, и она почти с равным нетерпением дожидалась своих гостей.

Лотарий вышел вечером на дорогу; она вилась, вилась перед ним и исчезала в долине. Когда вы смотрите на нее и когда она, пустая, тянется вдоль перед вами, то она возбуждает какое-то чувство ожидания, вам становится грустно; перед вами ложится широкий след людей, и никого на нем не видно. Вы смотрите туда, где дорога сливается с небом, вы знаете, что она еще все тянется, туда, далеко, далеко, душа стремится за нею и летит, летит, а перед ней все даль туманная,— это чудное состояние, какое-то безотчетное, безграничное стремление, какое-то Sehnsucht; но, верно, вы сами испытали все это, когда в деревне вечером выходили на дорогу и смотрели вдаль.

Грустно было Лотарию, но сюда примешивалось еще и другое чувство — он смотрел и ждал: не едут ли; но нет, одна пустая дорога лежала перед ним, и ничто не оживляло ее. Лотарий задумался, опустил голову и, подняв ее через несколько времени, увидел что-то черное вдали по дороге. С минуту он еще стоял в недоумении, еще не смея верить своей надежде; но, наконец, точно разглядел дорожный экипаж, но еще все боясь ошибиться, Лотарий своротил с дороги и пошел по полю навстречу, удерживая свои шаги, как бы прогуливаясь. Но вот экипаж поравнялся с ним, и Лотарий узнал Эльвиру. Все вышли и пешком продолжали путь. Когда пришли в дом, мать Лотария была в саду; услыхав, она почти побежала навстречу, обняла г-жу Н., которая познакомила ее с г-жою Линденбаум, и поцеловала от души Эльвиру, которая сама кинулась к ней как к родной.

Ну, что и говорить, Лотарий был счастлив, счастлив и счастлив. Эльвира с такою радостью бегала по всем дорожкам и тропинкам, так внимательно осматривала все места, как будто бы сама родилась и провела здесь свое детство. Лотарий изумлялся. На другой день рано поутру попросила она Грюненфельда повести ее в поле, которое было недалеко от села, и к которому примыкал большой лес. Лотарий не мог не спросить ее: не была ли она когда-нибудь прежде в

этой деревне; но она, смешавшись, отвечала, что она здесь в первый раз и что, проезжая мимо, она любовалась этим местом, потому-то и хочет его видеть. Лотарий смолчал, хотя ответ не удовлетворил его, и повел в поле Эльвиру. Едва пришла она туда, начала, как дитя, бегать и рвать цветы. Ее русые волосы прыгали по плечам ее. Она была так рада, рада детски.

— Лотарий,— сказала она вдруг, остановившись и устремив на него взгляд свой.

— Ах, Эльвира,— вскричал тот, закрывши глаза рукою и как бы очнувшись,— я вспомнил что-то, вспомнил... постойте, постойте!..

— Ничего, ничего,— вскричала Эльвира,— поскорее пойдемте домой.

Час от часу более всею душою предавался Лотарий Эльвире, и все загадочнее становились для него ее поступки. Грюненфельд решился однажды спросить ее, кто она.

— Зачем вам?— гордо отвечала Эльвира.— Вы видите меня, я перед вами, чего ж вам больше? Вы еще хотите знать: кто я? Зачем знать бедняку, откуда падает луч солнца, который согревает его? Небо послало счастье человеку — наслаждайся и благодари.

* * *

Лотарий чувствовал, что любит Эльвиру, и не желал никакого ответного чувства. Он любил и благоговел перед нею, он уничтожался в своем чувстве; это был для него целый мир; он хотел только, чтобы он мог всегда любить ее, а не того, чтобы она его любила. Так дикий падает на колени перед солнцем, погружаясь в чувство благоговения и любви, и с благодарностию принимает лучи, которые оно льет на него, не замечая. (Здесь довольно собственного чувства, взаимности здесь и помину нет.)

* * *

В одну ночь с вечера не спалось ему, и он вышел в сад прогуляться. Луна накидывала веер дымчатых лучей своих на всю природу. Ее неверный блеск оживлял предметы; всякий из них, казалось, готов был оторваться и сойти с своего места. Лотарий принял на

себя это впечатление лунной ночи. Ему так было хорошо, и он, предаваясь мечтаниям, погружаясь в блаженстве своего чувства, шел все далее и далее; он уже хотел выйти на небольшой луг, находившийся на краю сада, как вдруг ему послышался шум; он остановился под огромною липою, весь закрытый ее ветвями.

На поляне стоял седой высокий пасмурный старик, весь в белом; перед ним, тоже в белом платье,— девушка с русыми волосами,— то была Эльвира. Вполне облитые сиянием лунным, они казались видениями.

Лотарий взглянул — точно молния осветила его душу. Он в одну минуту перенесся за десять лет своей жизни, он вспомнил и ночь, и луг, и этого старика, и эту девушку, виданную им еще в младенчестве,— ему теперь стало все ясно, он вспомнил, наконец, все вспомнил.

— Отец мой,— звучал голос Эльвиры,— будь спокоен, мне хорошо здесь; мы с тобой не расстаемся, ночью слетаешь ты ко мне, и я спешу к тебе навстречу. Я счастлива, отец мой, я люблю его.

— Но достоин ли он, дитя мое, чтобы такое чистое, прелестное, воздушное создание бросило для него свою милую родину и сошло на землю?

— Достоин, отец мой. Ах, ты не поверишь, как мне горько было встретить его в первый раз. Он жил у меня в памяти прелестным ребенком с темно-русыми кудрями, с сердцем невинным и чистым; и вдруг,— как он не похож был на себя: все прекрасное было в нем подавлено его пустою жизнью; грустно, грустно было, отец мой. Он заметил меня, и не знаю, глаза ли мои высказали мои чувства, или воспоминание проснулось в нем; только он смутился и тотчас оставил толпу. Он познакомился с г-жой Линденбаум; видно было, что он меня любит, и с тех пор какая перемена в нем, он опять так же прекрасен, как был назад тому десять лет.

— Тебе известно, дитя мое, что он не должен знать о любви твоей.

— Нет, нет! Он не узнает; и я не для того сошла на землю; нет — я буду его ангелом-хранителем, буду невидимо осенять его, услаждать все часы его

жизни,— ты видишь, я оживила его душу; разве это не счастие? К тому же я знаю, что он меня любит.

— Да будет благословение мое над тобою, дитя мое,— сказал старик, положив свои руки на ее голову,— но ты знаешь: если он узнает, кто ты, ты не можешь более здесь оставаться.

— Знаю, отец мой, но он не узнает; воспоминание тревожит его; но его усилия напрасны, он не вспомнит, нет.

— Прости, дитя мое.

— Прости, отец мой.

Старик исчез между деревьями. Эльвира смотрела ему вслед. Скоро белое облако промчалось по небу.

Эльвира вздохнула, опустила глаза и, поворотившись, чтобы идти назад, увидела Лотария, который во все это время был, как прикованный, и не знал, что делать. Она вся затрепетала, но, может быть, он и не видал. Эта мысль мелькнула в уме ее. Эльвира запела и, как бы теперь увидав Лотария, сказала ему:

— Вы тоже гуляете? — Но, увидав его смущенный, его неподвижный взор, она вскрикнула:— Ах несчастный, что ты сделал! Ты узнал меня? Да, я девушка-облако.

Бледная, трепещущая, она оперлась на плечо безмолвного Лотария и говорила грустно:

— Ах, боже мой, боже мой! Итак, нигде, нигде нельзя укрыться от человека, итак, всюду найдет он существа, ему подобные, и воды, и леса, и горы проник он своим взором; но по небу летали вольные облака; он и в них отыскал жизнь и создания, ему подобные, и там нет убежища.

Знай, что из каждого царства природы приходят в мир чудные создания, и когда перед тобою пронесется девушка с чудным, с вдохновенным взором, с небесной прелестью на лице,— знай: это гостья между вами, это создание из другого, чудесного мира.

Для тебя, мой Лотарий, сошла я на землю; тебе я посвятила себя; я никогда тебя не оставила бы, всегда лелеяла бы жизнь твою; я бы хранила счастие души твоей...

Но теперь, теперь...— и она становилась все бледнее и бледнее,— я должна с тобой расстаться. Ты слышал, знаешь!

Прости, мой Лотарий, ты меня никогда не увидишь более здесь, но иногда по небу пронесется облако, и ты узнаешь свою Эльвиру, которую знаешь и любишь еще с детства. Сейчас, отец мой...— говорила она, взглядывая на лес; вдали, между деревьями, мелькал белый призрак.— Прости, мой Лотарий!

Она крепко, крепко прижала его к сердцу, поцеловала в лоб и удалилась. Лотарий, как безумный, упал на траву и неподвижно смотрел на небо.

Через минуту два облака промчались по небу.

Лотарий долго пролежал, как оглушенный. Когда он высвободился, наконец, из этого состояния, которое ни сон, ни обморок, было уже светло на дворе; все, что вспоминал он, казалось ему каким-то сном.

Задумчиво пришел он домой.

Но Эльвиры уже не было.

* * *

Говорят, всегда потом Лотарий был молчалив и грустен; но случалось, что на лице его проглянет улыбка, и он весь оживится глубокою сердечною радостью. Тогда взор его бывал устремлен к небу — а по небу неслось легкое облачко.

Мать его грустила о сыне, расспрашивала его, но он ничего не мог ей сказать, и все усилия ее развлечь, рассеять Лотария были тщетны. Она подметила, что он становился радостен только при виде облака на небе, она даже заметила вид этого облака, но не могла добиться от сына объяснений.

Однажды, пришедши к своему сыну, она нашла его мертвым, а по небу удалялись два легких облачка.

[*1837*]

Глава первая

Лишь любить да мечтать умело оно,
Все природой им было даром дано.
Шиллер

И силу в грудь и свежесть в кровь
Дыханьем вольным пью.
Как сладко, мать-природа, вновь
Упасть на грудь твою!
Гете

В Индейском море, гораздо ближе к экватору, чем к южному тропику, был остров. Его выдвинул когда-то подземный огонь, который доныне изменяет там вид морского дна.

Над островом прошли тысячелетия. Растительная и животная жизнь, идя от развития к развитию, от победы к победе, успела, наконец, одеть роскошным обилием когда-то бесплодные трахиты и базальты.

Но внутренний огонь клокотал еще под почвою острова и искал себе выхода. Остров по временам содрогался.

Вдоль южного берега, опускавшегося в море утесистыми обрывами, шла горная гряда, которая дымилась всеми своими вышками. Три горы, замыкавшие эту гряду на восток, редко переставали грохотать и обливаться огненными ручьями. Они господствовали над всем островом, и со всех его точек виднелись над их высокими жерлами столбы багрового зарева, недвижимые и при бурных порывах ветра. Вершины других гор южной цепи дышали только дымом. Из иных с шипеньем и свистом вырывались по временам серные пары. Несколько гор, пониже, стояли как в зубчатых каменных венцах, и целые озера мутной воды кипели в их котловинах, одетых белым паром.

Северные скаты уже пышно зеленели и были усеяны цветами. Подошвы их тонули в высокой растительности долины, которая тянулась почти вдоль всего острова между цепью не погасших еще волканов и другою грядой лесистых гор, несколько ниже.

Дальше к северу, за этими горами, шла опять высокая, вечнозеленая долина. По долине вился поток, опушенный темными рощами. Он огибал высокий холм и исчезал за ним. Холм этот был только одним из звеньев целой цепи таких же пологих волнистых холмов, заросших густыми лесами. Они, как пышная бахрома, одевали их своею вечною зеленью. Холмы шли, параллельно с двумя южными грядами, вдоль всего острова, с востока к западу. Склоны их на севере были еще так же богато одеты лесами. Но чем далее к северному отлогому берегу, тем все более редела древесная растительность.

Она окаймляла только прибрежье реки, быстро бежавшей тут к морю, да кой-где стояли уже одинокие группы пальм, окруженные мелким кустарником. Между ними лежали болота и трясины, лишь изредка поросшие травой. Местами стройные и высокие стволы группы пальм были окружены желтым песком, и темная тень их сплетшихся вершин дрожала на нем своим причудливым узором. Тут подымались удушливые испарения, и эта часть острова была пустынна. На местах, темневших сожженными и ржавыми пятнами, вились струйки пара и огня: это горючие газы прорывались сквозь окрепшую на солнце кору ила.

Дальше берег длинным песчаным мысом уходил в голубое, как сапфир, море. Волны далеко заплескивали его, оставляя на песке пестрые кучки кораллов и раковин. Между раковинами много было и жемчужных; но никто не трогал жемчуга. Его не нужно было здесь никому, как и золота в этих плодоносных падях, как и алмазов в песке речного дна.

А на острове уже были люди.

II

Солнце только что выходит. С моря веет легкий ветер, стихавший на ночь. Пряные травы и деревья запахли сильнее.

В низменных частях острова воздух слишком жгуч, а ветер не умеряет зноя. Но в горных лесах есть прохлада. Лиственные своды их местами так густы и плотны, что ни один луч не может пронизать их. Тут всегда царит благовонная ночь. Разновидные стволы деревьев, то коленчатые, то гладкие, то колючие, стоят как ряды колонн какого-то таинственного лабиринта, полного запахом душистых смол и меда. Вьющиеся растения лишь слегка опутывают их своими цветущими вязями.

Но где вершины деревьев расступаются, там все с неудержимой силой рвется из теплой почвы к солнцу. Что под нашим скупым небом едва вырастает в тощую былинку, то поднимается здесь сильным деревом. Лианы сплошной плетеницей всползают по древесным стволам до самой вершины, причудливо убирая их своими порхающими листьями и цветами. Все виды растительности собрались тут как будто на состязание. Листы всех оттенков, всех форм и размеров мешаются в живом и цветущем хаосе. Под неподвижным и жестким листом пальмы дрожит чуткий лист мимозы; среди бахромчатой зелени лиан и зеленых кружев папоротника поднимается громадный завиток музы, будто гордясь своей величавою простотой. Тысячами красок горят на всех ветках цветы. Разноцветные попугаи и райские птицы, узорчатые бабочки и золотистые мухи кажутся порхающими цветами и лепестками цветов. Такими же яркими красками блестит спинка пестрой ящерицы, мелькающей в зелени, и кожа большой змеи, которая тройным кольцом обвилась вокруг толстого пня. Порой мелькает в кустах желтая спина леопарда.

Его мяуканье слышно по временам среди неумолкающего крика, свиста и щебетанья птиц, среди жужжанья и звенящего гула насекомых. Порою трещат ломаемые сучья и кусты, и почва как будто дрожит под тяжкою ступней слона. Маленькие орангутанги, качающиеся на деревьях, поднимают громкий визг и с любопытством заглядывают в переходы чащи. Местами, где почва становится вязкой и повсюду проступает вода, слышно хрюканье кабанов. Дальше плещется, тяжело сопя, носорог.

Кой-где есть небольшие лужайки, и деревья стоят тут одиноко в великолепных венцах своих широких листьев. У подножья их громоздятся в несколько кругов, как пышные зеленые подушки, сочные травы и кусты. Здесь на каждом шагу вспархивают багряные фламинго, радужные павлины.

Иногда в лесной чаще слышится журчанье ручья; иногда деревья, расступаясь, окружают гладкие, как зеркало, светлые голубые озера, и пальмы свешивают к их водам свои будто усталые бархомчатые листья. Тут еще более роится птиц, и порой тихо кружит над ними в высоте белоголовый ястреб. Темной неподвижной колодой виднеется из воды крокодил, тоже подстерегающий добычу. Не сводя с него глаз, большой орангутанг цепляется за толстый сук, нависший над самою водой, и пьет, неловко зачерпывая воду из озера узкой ладонью своей длинной руки.

Чем ближе к таким озерам, тем гуще лес. Иной раз чаща его совсем непроходима. Сломанные и гниющие на земле деревья, опутанные крепкими нитями вьющихся растений, преграждают путь. А подчас и ветви деревьев и лиан сплетаются посреди дороги в такую плотную сеть, что сквозь нее не проскочат ни тигр, ни ягуар, рыканье которых слышно порой в лесу и у реки. Черный буйвол не продерет своими каменными рогами этих живых плетней, выбравшись погулять из своих топких пастбищ.

Но где же люди? где их жилища? где следы их деятельности? Нигде на всем острове нет и шалаша, построенного ими; ни на чем не видно их руки.

III

В восточной части среднего горного хребта, где на горах есть небольшие каменистые и мало заросшие площадки, в перелесках, одевающих северные их склоны, и в свежих гротах, которыми прорезаны эти горы, живут и люди.

Но как еще мало похожи они на людей и как сходны с своим лесным соседом, орангутангом!

Как и на нем, одежды на них нет. Темная кожа обильно покрыта волосами, как редкою шерстью. Угловатый толстый череп, о который расщеплется са-

мый крепкий сук, наполовину ушел в затылок. Из-под свалявшихся, как войлок, блестящих черных курчавых волос чуть виден узкий и низкий бугроватый лоб. Будто постоянно настороженные уши отстали от головы и поднялись высоко. Челюсти выставились далеко вперед, и широкие, пухлые губы почти заслонили чуть выдающийся приплюснутый нос. Только глаза хороши. Темный и яркий зрачок среди чистого белка блестит отвагой, страстью, силой. Такою же свежей, нетронутою силой дышит и все темное тело: широкие, приподнятые плечи, толстая шея, железные мускулы рук (руки гораздо длиннее наших), мощные бедра, быстрые и крепкие ноги, тонкие книзу, без икр, как у сатиров и фавнов, созданных греческою фантазией,— только вместо копыта настоящая человеческая ступня, длинная, широкая и плоская. Пальцы на ней так гибки и сильны, что ими можно ухватиться за ветку дерева почти так же ловко, как и пальцами руки.

Эта сила, проглядывающая в каждом члене, в каждом движении, стоит нашей красоты. В этой силе независимость человека, его свобода, его счастье. С этою силой ему еще нечего много думать о самосохранении. Минута опасности редко не минута его победы.

Пусть другие животные далеко опередили его в изобретательности, в предусмотрительности и расчете! Ему еще незачем задумываться над тем, что заботит птицу, когда она вьет себе гнездо в безопасном месте, крота, когда он копит в потаенной кладовой свои запасы, муравьев, когда они составляют между собою строгий гражданский союз. Они строятся, копят запасы, составляют общины потому, что слабы, что им беспрестанно грозит беда от более сильного. А человек так еще силен! Эти постройки, эти запасы, эти союзы были бы для него неволей. И он живет, волен и счастлив, под открытым небом, без думы о пище на завтра, без необходимости связывать свою волю общественными цепями.

Утро пробуждает его в зыбкой постели из гибких и крепких живых лоз, которые он выбрал на эту ночь под самою вершиной пышной пальмы. Ее широкие листы накрыли его как плотный полог и не дадут даже капле росы упасть на него.

Если б ему хотелось ночлега прохладнее, он ночевал бы в одной из темных пещер соседней горы. Там его не разбудили бы шумные голоса, наполнившие лес при первом просвете зари. Входы пещер закрыты наглухо, как живыми дверями, переплетшимися ветками. Кто забирается за них спать, затягивает их крепким узлом в том месте, где пролез в пещеру. Утром стоит развязать их, чтоб выйти. Но никто, кроме человека, не сумеет попасть в такую дверь. Если на влажном полу пещеры наложить свежих листьев, уснешь лучше, чем на пуховике. Какой пух так нежен, как эти мягкие, благовонные травы? А что за свежесть в них!

Засыпая в своей воздушной люльке, человек не думал, чем будет завтракать поутру, когда проснется. Он знал, что завтрак будет готов без его забот. Стоит потянуть руку, чтобы сорвать румяный плод, или кисть ягод, или сочную завязь молодых листьев. Стоит надкусить немного мягкую кору дерева, наклонившего над его головой свою верхушку, чтобы утолить утреннюю жажду сладким и питательным питьем. Здесь всякий может завтракать в постели, как избалованный сибарит.

После завтрака можно еще потянуться, зевнуть, расправить члены. Потом надо и выглянуть из-под шатра листьев.

Все давно проснулось и загомозилось, зашумело вокруг, зажило беспокойною, но светлою, отрадною, полною жизнью.

И люди уже встали.

Кой-где, ныряя в волнистой зелени лесных вершин, мелькают темные курчавые головы, выставляются длинные мускулистые руки. Эти люди пробираются, должно быть, к озеру, которое ярко сверкает невдалеке на солнце.

Глаза еще немного слипаются после сна, веки тяжелы, лицо горит. Хорошо плеснуть на него свежей водой. В озере бьет несколько ключей; их сильную струю видно на дне сквозь хрустальную воду, и нигде на всем острове нет такой студеной воды, как тут.

Выше, на горе, на примятой лужайке, возятся и кричат дети. Одни уже держатся довольно прямо на ногах; другие умеют ходить только на четвереньках.

Один ребенок набил себе рот какой-то невкусной травой, выплевывает ее и громко ревет.

Из пещерной отдушины, выходящей на лужайку, выгляпула шершавая голова. Женщина это или мужчина? По лицу не вдруг разберешь. Впрочем, вероятно женщина: лицо не так заросло волосами.

Да, это женщина. Вот она высунулась по пояс. Уцепившись за ветку, она выскочила совсем, крикнула что-то резко и громко, и ребенок перестал реветь.

Она подбежала к группе детей, взяла его на руки, села на выдавшийся из зелени камень, вытащила пальцем изо рта у ребенка набитую в него траву и приложила его губы к своей налившейся груди. Он принялся сосать так громко и вкусно, что еще два-три товарища его из тех, что ползали на четвереньках, начали хныкать и кричать.

Один, попроворнее других, подполз к женщине, уцепился обеими ручонками за ее ногу и стал лезть к ней на колени к другому, незанятому соску. Она кричала на него, но не шевелила ногой, с которой назойливый мальчуган то и дело сваливался в траву.

Показалось и еще несколько женщин. Одни были с детьми на руках, другие без детей. Одни кормили своих маленьких грудью; другие укачивали их, забавляя или усыпляя; третьи взбирались на деревья, рвали на них плоды и ягоды и, поочередно, то сами ели, то бросали их вниз, толпе ребятишек, которые ждали этой подачки с криком, с поднятыми руками и с разинутым ртом.

Некоторые из них и сами старались взлезть на дерево, срывались, катились кубарем на землю и, визжа и крича, опять пытались начать то же восшествие.

Молодец, почивавший в лесу, ухватился руками за верхушки двух ближайших деревьев, сбросил ноги вниз и начал раскачиваться. Маленькие попугаи с криком взлетали по сторонам. Деревья только трещали. Подошвы его ног высоко мелькали в воздухе то с той, то с другой стороны.

Он глядел, качаясь, на возню детей на горе, и когда иной из них неловко валился, карабкаясь на де-

рево, он широко раскрывал свои пурпурные губы, показывал ряд блестящих белых зубов, прищуривал глаза и хохотал всем горлом.

Но как ни громок был этот хохот, ему казалось, видно, все-таки мало. Переставши качаться, взобрался он на самую макушку высокой пальмы, раза три глубоко вдохнул всею грудью воздух и вдруг гаркнул во весь голос. Эхо раскатилось по горам. Ласточки, залеплявшие своими клейкими гнездами отвесные скалы южного берега, вспорхнули тучей. Так громко и внезапно отдался молодецкий голос в их глухой утесистой бухте.

На этот крик отозвались из разных мест и другие звучные голоса. Больше всего послышалось их со стороны озера.

Голосистый молодец опять юркнул в листву и направился туда, то перекидываясь колесом с дерева на дерево, то соскакивая на землю, где только был проход.

Эта прогулка доставляла ему большое удовольствие. Он был здоров, как само здоровье, и в самом ясном расположении духа. Зоркие глаза его, обращаясь то в ту, то в другую сторону, старались не пропустить ни одного предмета, способного позабавить.

«Та-а-а-а!» — раздавался голос его по переходам леса.

Чуть не с каждой ветки спархивали роями птицы. Летучие ящерицы торопливо расправляли свои крыльчатые плащи и перескакивали на деревья подальше.

Из-под каждого шага подымался аромат, когда нога его сламывала ветки камфарного или коричневого дерева.

Мимоходом отламывал он крепкие сучья, тыкал ими в кусты и тешился разноголосным гуденьем насекомых, поднимавшимся тогда. Иногда спугнутая пчела начинала преследовать его; но он тотчас же вооружался махровой веткой и ловко отмахивался ею.

Вот захлопал он в ладоши и загикал с каким-то особенным присвистом. Пугливый олень, глодавший неподалеку молодые побеги дерева, поднял уши, закинул рога на спину и шарахнулся в сторону. Рога запутались в крепкой гирлянде лианы, перекинувшейся с дерева на дерево, и олень начал отчаянно биться.

«Та-а-а-а!» — загремело опять по лесу.

Идти прямо к озеру было невозможно. Беспрестанно попадалось что-нибудь на глаза такое, для чего стоило уклониться с прямой дороги или влево, или вправо.

Вон ягоды такие румяные, такие зрелые, что начинают уже лопаться и вытекать! Вон сочное яблоко, тоже готовое брызнуть сладкою пеной! Надо попробовать этого яблока; надо нарвать и ягод.

Вот сквозь надтреснувшую кору слезками катится смола. Надо лизнуть; это тоже вкусно.

Душистый цветок, свесившийся с длинной ветки, задел по самому лицу. Как же не сорвать его, не понюхать и не пожевать?

Сколько птиц вспорхнуло тут разом! а две опускаются опять — не летят дальше. Здесь, верно, у них гнезды. «Шшш!» Молодец замахал руками. Птицы с криком взлетели выше. Он развел кусты, достал два теплых пестрых яйца и пошел дальше.

Оскалив белые зубы, он разбил об них одно яйцо и высосал его с громким чмоканьем, потом другое.

Тут он вздумал опять попробовать голос, облизал себе губы и гаркнул так, что опять всполошил бы прибрежных ласточек, если бы лес не накрывал его своими густыми сводами. Голос пошел низом и замер в первой чаще.

В это время что-то быстро шевельнулось у него над головой. Он поднял глаза. Молодой леопард кинулся от него на соседнее дерево, а с того на другое, видимо избегая встречи.

Глаза у нашего молодца загорелись удовольствием, губы раскрылись, и он в два прыжка очутился под деревом, куда ускочил леопард.

Зверь сверкнул на него расширенными зрачками, мяукнул и съежился, сердито шипя и фыркая. Кажется, каждую минуту готов он был прыгнуть и вцепиться когтями и зубами в своего преследователя; но глаза человека пугали его. А тому было весело! Он поддразнивал его, как ручную кошку, шипел сам, скалил зубы и растопыривал свои пальцы перед его мордой.

Хвост леопарда распушился, пятнистая шерсть встала дыбом; он сжался весь и скакнул. Но враг его знал уже эти штуки: он быстро присел, отшатнулся немно-

го вбок и вдруг обернулся. Леопард перелетел через него.

Несмотря на неудачи, он, кажется, рад уже был убраться поскорее и вскочил на противоположное дерево. Но он не успел еще вскарабкаться по гладкому стволу до первого сучка, как наш молодец цепко ухватил его сразу одной рукой за хвост, а другою за шею. Длинные пальцы его, как железные клещи, сдавили леопарду загривок. Стараясь вырваться, зверь визжал и без толку скользил лапами по стволу дерева. Тут и другая рука, державшая его за хвост, мгновенно очутилась у него под горлом и стиснула его так же крепко. Леопард отцепил лапы от дерева и повис в этих тисках.

Он глухо захрипел; у рта показалась пена; глаза налились кровью; задние ноги судорожно сдвинулись с передними — раз, другой. Забава была кончена. Через минуту он лежал уже мертвый в высокой траве и под ним гомозилась стая жуков и муравьев.

Между тем по лесу неслось громче прежнего гигиканье победителя. Он вскарабкался на дерево и пошел опять перекидываться колесом с вершины на вершину. Темное лицо его лоснилось; по носу и по щекам катился пот. Глаза горели веселым блеском.

В этих глазах, может быть, можно уже было прочесть, что когда-нибудь потомки его станут величать себя венцом творения и царями земли.

IV

Озеро, с которого слышались людские голоса, было самое большое на всем острове. Со стороны леса у него был крутой берег; но несколько обвалов образовали род каменных сходов к самой воде. Только местами зеленела на них трава, да два или три дерева, странно уцелевшие, но с полуобнаженными корнями, росли между обрывов совсем наклонно, почти касаясь воды своими длинными свесившимися ветвями.

На этих естественно образованных ступенях берега собралось уже целое общество. Тут было человек двадцать и мужчин и женщин, и старых и молодых.

Знакомец наш, соскочив с последнего прибрежного дерева, задел ногой за плечо человека уже очень

почтенных лет, который сидел выше всех на берегу и усердно занимался едой. Оба они громко крикнули: молодой, кажется, только чтобы показать, каков у него голос, а старый, будто огрызаясь, с досадой, что его побеспокоили. Молодец не выказал никаких знаков уважения к старости и скрылся за верхним краем берега, скакнув на первый уступ. Почтенный возраст одиноко сидевшего человека обличала и голова с непомерно развившимся затылком, и почти исчезший лоб, и потускневшие глаза, и морщины на щеках и около ушей, но в особенности большое пузо, которое он не уставал набивать. Громко чавкая напичканным ртом, он беспрестанно повертывал голову то влево, то вправо, будто высматривая, нет ли где поблизости еще лакомого кусочка. А между тем недостатка в еде не было. Он припрятал около себя в траве порядочный запас плодов и орехов и умильно мычал, набивая себе рот. Смотрел он не только по сторонам, но и на озеро. Впрочем, там, по-видимому, ничто его не занимало. Все на этом озере, ярко сиявшем в лучах солнца, было ему слишком знакомо: и эти стаи больших и малых птиц, разгуливавших по сверкающей глади; и эти плавучие острова громадных жирных листов, на темной зелени которых алели и белели такие же громадные и жирные цветы. Даже исполинская серая башка какого-то странного зверя, не то лягушки, не то безрогого вола, безмолвно и строптиво выглядывая то там, то сям из воды, не привлекала его внимания. Берега, окруженные со всех сторон лесом, далее постепенно понижались, и на противуположной стороне из озера изливалась единственная река острова. Она терялась сначала в глухих и болотистых пущах, но потом все больше полнела и все глубже прокладывала себе ложе. С того места, где сидел старик, часть ее виднелась вдали прямой серебряной дорогой. Но какое было ему дело до всего этого? В молодости смутное любопытство тянуло его иногда побродить и в тех местах. Он забирался далеко, но и там все то же: еда не лучше. Сидеть в одном положении ему, однако ж, надоедало. Он то улаживался на корточках, то вытягивал ноги, то немного поджимал их и наконец улегся на спине. Из травы виднелось только его темное брюхо, точно круглая насыпь большого муравейника.

На уступе, куда соскочил наш приятель, было три женщины и семь или восемь мужчин. Одна из женщин, вся мокрая, стояла, отряхая с себя воду; две другие сидели порознь, опустив ноги за окраину берега, и около них в разных положениях группировались мужчины. Молодец наш вздумал было пошутить и полюбезничать с мокрой дамой, но в ответ получил тяжеловесную оплеуху по носу и по губам. Возобновлять любезностей он и не рассудил и подсел, громко гикнув, к одной из групп. Мужчины, сидевшие тут, отвечали на его гик не совсем приветливым рычаньем. Это, однако ж, нисколько не сконфузило его, и он вмешался в беседу. Разговор шел оживленный, хотя и нельзя сказать, чтобы очень разнообразный. Слышалось все что-то вроде: «а-а!», «о-о!», «у-у!». Женщина (уже с несколько увядшею грудью) отличалась веселым нравом. Она повертывала голову ко всем своим собеседникам и на каждое их «а-а!» отвечала очень милым «у-у!» и при этом показывала зубы и хохотала. Но видимым ее предпочтением пользовался ближайший ее сосед, сидевший тоже свесив ноги. Она по временам трепала его по плечу или слегка толкала, смеясь, в бок; он тоже позволял себе безнаказанно подобные любезности с нею. Не отдать ему предпочтения пред остальными было действительно трудно. Судя по плечам, это был силач едва ли не покрепче нашего знакомого. Недаром другие собеседники не пододвигались близко, и их остроумные замечания звучали не совсем смело и уверенно.

Эта компания, видно, не совсем понравилась нашему приятелю; другая группа, которую он издали окинул глазами, тоже не привлекала его. Он вскочил с места, совершенно неожиданно крикнул во всю мочь: «Бррр!» — так что брюхо у старика наверху дрогнуло, и чрез всю компанию прыгнул вниз, на последний уступ берега.

Здесь, под густыми ветвями дерева, почти прилегшего к озеру, слышались громкие всплески воды и отрывистые веселые восклицания. Между зеленью показывались мокрые головы; потом мокрые руки и ноги цеплялись за сучья, и выкупавшиеся ловко перебирались по дереву на берег. Тут были тоже и мужчины и женщины. Наш молодец не отстал от других. В одно

мгновение ока уцепился он руками за крепкий сук, крикнул: «Ух!» и, далеко разбрызнув воду, нырнул с головой. Ближайшая стая птиц поднялась и отлетела подальше. Он окунулся раз пять с головой, потом принялся колотить по воде ногами, так что поднял целый туман брызг; наконец выскочил, отряхнулся, как отряхиваются лошади, и взобрался прежнею дорогой к тому месту, где лежал старик.

Отсюда обозрел он другие берега озера. Что делается там? Людей было везде довольно. В местах, где почва была слишком вязка и болотиста, они удобно размещались на деревьях.

Зоркие глаза нашего молодца остановились с особенным вниманием на небольшой отмели почти у самого истока реки. На близко окружавших эту отмель деревьях сидело и качалось особенно много островитян и островитянок. Громкие и веселые крики их доносились на другую сторону озера. Видно было, что там происходило что-то очень забавное. Молодец наш разглядел и темную голову крокодила, выставившуюся из воды как раз под теми деревьями, где шел такой живой шум.

— А-у? — крикнул он вопросительно, во всю мочь своих легких.

Старик, продолжавший жевать лежа, испустил своим полным ртом недовольное рычанье.

— У-а! — донеслось в ответ несколько голосов разом.

Тон ответа был утвердительный, и наш знакомец тотчас же отправился бы туда, если бы после купанья ему не хотелось поесть. Обжорливый старик еще больше возбуждал в нем аппетит своим чавканьем.

Молодец взлез на дерево и с каждой ближайшей ветки чем-нибудь попользовался. После этой недолгой закуски он помчался к отмели, где собралась веселая компания, точно таким же способом, как направлялся к озеру от своего ночлега. На этот раз, однако ж, он менее развлекался посторонними предметами, а только попавшееся ему на дороге гнездо с очень крупными яйцами несколько задержало его: надо было достать и съесть парочку.

По мере того как он приближался к цели своей прогулки, крики у отмели становились все громче, сме-

шаннее. Хохот, взвизгиванье испуга, угрожающее уханье, одобрительное чмоканье губами, присвистыванье, гиканье раздавались разом.

Вынырнув из густой листвы, приятель наш был принят радушным приветом со всех сторон. Всякий и всякая старались объяснить ему односложными выкриками в чем дело. Но он и без этих объяснений все уже понял,— и на минуту прекратившаяся забава тотчас же возобновилась.

Все, крича, теснясь и толкаясь, разместились, как в амфитеатре, на крайних к воде деревьях. Небольшая площадка, которую эти деревья обступали и вода по временам заплескивала, была сценой забавного представления. Самое комическое лицо изображал собою огромный крокодил. Он выставил из воды только морду и не смыкал широкой зубастой пасти, оставаясь совершенно неподвижным. Большая часть зрителей-актеров была вооружена длинными ветками и сучьями. Свесившись немного с дерева, они хлестали ими по носу крокодила. Он почти все это переносил бесстрастно и только подзадоривал этим забавников. Они в свою очередь подзадоривали друг друга криком. Если крокодил хоть немного поводил носом, уклоняясь от хлеставшей его ветки, вокруг поднимался веселый хохот. Один забавник ловко прицелился большим колючим сучком и попал им прямо в пасть зверю. Челюсти его захлопнулись и с треском раздробили сучок. В это время молоденькая женщина, отличавшаяся особенною зоркостью, пробралась на верхушку самого близкого к крокодилу дерева, ощупала ветку покрепче, ухватилась за нее одною рукой и одною ногой, качнула ее сильно вниз, и зверь вдруг получил звонкую оплеуху от ее голой руки. Быстро разинутая за нею пасть защелкнулась на воздухе. Упругий сук уже поднял героиню на безопасную высоту, и она самодовольно защелкала языком. Кликам одобрения и громкому хохоту, казалось, не будет конца. Но тут на месте героини явился наш приятель. Он ухватился обеими руками за тот же сук, качнулся на нем и ударил крокодила пятками своих ног между самыми глазами. Крокодил тревожно завозился; но пасть его опять захлопнулась на воздухе. Обидчик его уже весело гикал на самой верхушке дерева. Опять раздался оглуши-

тельный крик и хохот. Ободренные такими примерами, другие с удвоенной энергией принялись хлестать крокодила по носу ветками. Один затеял даже повторить выходку молоденькой героини. Вот он точно так же уцепился за сук одною рукой и одною ногой; точно так же нагнул его вниз; точно так же занес руку... Вместо пощечины раздался отчаянный крик; вода заплеснула голову крокодила — и она исчезла вместе с неловким смельчаком. Распрямившийся сук обрызгал всех водой. Визг ужаса вылетел из всех уст; все заметались по деревьям, заголосили. Большая часть кинулась подальше от рокового места. Даже наш неустрашимый приятель пустился прочь.

Он направил свой путь к горе, на которой поутру его тешили своей возней дети. Он обливался потом и чувствовал усталость после всех своих подвигов. Солнце стояло в зените и страшно палило. Надо было поискать тени, где бы отдохнуть.

Он хотел было взлезть в первую же пещеру, но не успел просунуть голову сквозь заплетавшие вход ее лозы, как оттуда послышался резкий и неприветливый голос, который как будто говорил: «Тебе что здесь понадобилось?»

Глаза его, привыкшие к яркому свету, не вдруг рассмотрели, почему его встретили так недружелюбно. Но в пещере было небольшое отверстие сверху, и с помощью проходившего оттуда света можно было видеть, что пещера, и без того тесная, уже занята. На полу, обильно устланном травами, спало двое или трое с громким храпом.

Еще одному человеку, впрочем, можно было бы поместиться, и в другое время нашему молодцу, конечно, не помешал бы никто. Но тут случилось особенное обстоятельство. В ближайшем ко входу углу пещеры слышался крик новорожденного. Мать, остерегшая своим окликом непрошеного гостя, стояла на коленях и припала лицом к животу ребенка, закутанного в мягкие листья. Она зализывала ему только что скушенный пупок и в то же время старалась успокоить его, приставляя к его губам свою грудь. Не окликни она нашего молодца, он бы мог неосторожно задеть ребенка, взлезая в пещеру.

Гротов в горе было довольно, и он скоро нашел себе свежий угол и мягкое душистое ложе. Едва расположился он на нем и закрыл глаза, сон разлился по всем его членам.

V

Освеженный двухчасовым сном, опять так же бодро, как поутру, вышел он на свет и, взобравшись на ближайшее дерево, прежде всего прочистил себе горло легким криком. Затем он забрался подальше в лес, обедая по дороге всем, что попадалось на глаза вкусного.

Слоны семьями шли с спокойной уверенностью на водопой и купанье к реке. Но временами их уверенность исчезает; при малейшем шорохе они робко прислушиваются.

Он сидел в ветвях, уже кончив свой обед и будто в раздумье, куда бы ему пуститься теперь, как вершина соседнего дерева зашелестела и в листве показалась молоденькая женщина. Темное тело ее дышало такою же силой, как и у него; свежая грудь едва округлялась; черные глаза смотрели бойко; движенья были ловки, гибки, смелы. Она, конечно, не хуже утренней героини сумела бы дать пощечину крокодилу. А может быть, это была и она сама.

Приятель наш весь дрогнул при ее появлении, и оба они разом окликнули друг друга очень приветливо. Он тотчас же перебрался к ней на дерево. Она засмеялась, ударила его довольно звонко по плечу, увернулась от его рук и очутилась уже на другом дереве. Он за ней. Она соскочила на землю. Он притаился в листве, сорвал большой белый цветок лианы и бросил им в нее. Она опять засмеялась, подхватила цветок и стала жевать его. Потом крикнула и побежала по лесу. Молодец наш догонял ее. Как ни увертывалась она, он-таки настиг. Руки его обхватили ее сзади за упругую грудь. Она выбивалась, слабо вскрикивала, смеялась, все вместе. Он визжал умоляющим голосом. Она повернула к нему горячее, обрызганное потом лицо; зрачки ее горели, белки были влажны; румяные губы, к которым прильнул лепесток белого цветка, раскрылись. Она вся трепетала страстью и негой. Он хотел, кажется, снять этот лепесток своими

губами и вдруг почувствовал на них ее острые зубы. Руки невольно выпустили ее. Они еще не знают нашего поцелуя. Змей увлажает своими губами добычу, прежде чем пожрет ее. Мужчина еще не стал таким злодеем для женщины. Она опять захохотала и побежала; но по временам оглядывалась, бежит ли за нею он. Он, конечно, бежал. Вот лес расступается. Впереди пышный луг. Что тут цветов! Как мягка высокая трава! Ни у какого царя не бывало такого роскошного брачного ложа.

VI

Он лежал на траве, закинув руки за голову. Она сидела, поджав ноги, около него и ласково проводила своею ладонью по его груди. Ладонь ее, измозоленная и жесткая, казалась гладкою и нежною его грубой и толстой коже. В руке была свежесть, прохлаждавшая грудь. Широкие листы пальм, как великолепный шатер, покрывали их своею тенью. Лесная красавица увидала струйку крови на плече у своего милого, тихо визгнула, показала ему на плечо пальцем и потом припала губами к ране. Когда она наклонилась над ним, горячая грудь ее почти касалась его лица. На ней были следы ногтей. Кой-где на царапинах застыли капли крови. Он тихо слизывал эти капли.

Потом она встала и исчезла в зелени. Он побежал было за нею, но она уже возвратилась с тяжелыми гроздьями в руках. Теперь она протянулась в траве и положила гроздья себе на грудь; он сел около нее, и пурпуровый сок ягод окропил их белые зубы.

Между ними не шло никакого разговора. Если б их младенческий язык был и богаче, им бы нечего было говорить. Ведь они не думали ничего — они наслаждались. В тихом мычанье, в легком визге, в игривом смехе выражалось так полно их довольство жизнью, их отрада в ней!

Незаметно, как сладкая греза, прошло несколько часов. Солнце клонилось уже к закату, когда наш юноша расстался с своею милой. Они не условливались увидаться опять. Этого они не сумели бы. Да и могло ли им прийти в голову завтра? Все завтра будет сегодня, а с ним и сегодняшнее наслаждение. Мо-

жет быть, они встретятся, может быть, и нет. Не все ли равно? Он встретит другую, она встретит другого. В чаше наслаждения не видать еще дна.

Без дум о прожитом дне, без дум о дне будущем связывает наш приятель мягкие ветки у вершин двух деревьев, приготовляя себе опять воздушную постель. Приятная истома тела опять зовет ко сну,— и вот он тихо покачивается в своей лиственной колыбели. Сумерки начинают быстро облекать лес; голос за голосом утихают в нем дневные звуки. Примолкают даже свистки попугаев, и они выпархивают лишь для того, чтобы выбрать себе более удобную ветку для насеста. Их начинают заменять другие голоса, слышные только ночью. Дикий крик павлина возвещает закат солнца. Одна за другой огненные мушки летят, как сорвавшиеся с неба звезды. Гуденье жуков раздается так внятно над головой, не заглушаемое криком птиц. Но и птицы спят не все, вот ухнула сова, и круглые, желтые глаза ее сверкнули во мраке кустов. Издали послышался вой гиены. Он приближается. Она, верно, сыщет в траве задушенного леопарда. В реке и на озерах слышится по временам тяжелый плеск.

Синее небо давно потемнело, давно зажглись в нем чистые звезды, без трепетного лучистого света, ясные, как хрустальные лампады. В недрах гор слышно глухое урчание, словно угрожающий ропот, и зарево их горит ярче.

Приятель наш спит и ничего не видит, не слышит. <...>

Рассказ о поддразнивании крокодила перенесен мною на людей с обезьян. Вот его источник:

«Забавно видеть, как крокодилы изловливают обезьян, которым приходит иногда фантазия поиграть с ними: у самого берега лежит крокодил,— туловище в воде, и только вместительный рот его находится на поверхности, готовый схватить все, что только можно ему достать. Толпа обезьян подмечает его, по-видимому, советуется между собой, приближается мало-помалу и начинает свои шалости, поочередно играя роль то актеров, то зрителей. Одна из самых расторопных или самых наглых перепрыгивает с ветки на ветку и оста-

навливается в почтительном расстоянии от крокодила. Здесь, повиснув на одной лапе и со свойственною этим животным ловкостию то приближаясь, то удаляясь, она дает своему неприятелю удар лапой или же делает вид, что сделала это. Другие обезьяны, забавляясь этой шуткой, очевидно желают принять в ней участие; но так как другие ветви слишком высоки, то обезьяны образуют род цепи, взявшись друг за друга лапами, и таким образом качаются взад и вперед. Кто из них может только достать до крокодила, дразнит его как только умеет. Иногда страшные челюсти внезапно захлопываются, но дерзкая обезьяна успевает ускользнуть; тогда поднимаются торжественные крики шалунов, и они весело скачут кругом. Случается, однако ж, что лапа попадает в рот крокодилу, и он с быстротою молнии увлекает под воду свою жертву. Тогда вся толпа рассеивается с визгом и криком. Такое несчастие не мешает им, впрочем, возобновлять через несколько дней ту же игру» (Travels in the Central parts of Indo-China (Siam), Cambodia and Lavs during the years 1858, 1859 and 1860. By the late M. Henri Mouhot. 2 vols, London (Murray), 1864) [1].

Гексли говорит: «Неужто какой-нибудь великий поэт, философ или художник, гением своим прославивший и просветивший свой век, будет унижен, низведен с своего высокого места вследствие несомненной исторической вероятности,— чтобы не сказать уверенности,— что он по прямой линии произошел от какого-нибудь голого, звероподобного дикаря, у которого настолько хватило разума, чтобы хитростию превзойти лисицу и тем самым быть опаснее тигра? Разве филантроп может отказаться от старания вести примерную жизнь потому только, что при простейшем изучении человеческой природы мы находим в ее основании все эгоистические страсти и скотские побуждения обыкновенных четвероногих? Разве материнская любовь — низкое чувство, оттого что она проявляется у курицы, или верность — подлое свойство, потому что им отличаются собаки?»

[1] М. Генри Муо. Описание путешествий в Центральный Индо-Китай (Сиам), Камбоджу и Лаос в 1858, 1859 и 1860 гг. Посмертно. Два тома. Лондон (Мюррей), 1864 *(англ.)*.

«В начале земля была пышно цветущим садом,— рассказывал старый рапсод.— Жизнь человека была светлым и сладким пиром. Обилие, счастие и мир царствовали на земле. Крокодил ласкался к людям, как ручной голубь; тигры играли с детьми людей; боа приносила женщинам розы в своих губах. Каждая пядь земли давала пищу, с которою ничто не сравнится в сладости. Румяные яблоки, золотые грозды, изумрудные орехи, радужные ягоды висели на каждой ветке, под каждым листом; медвяный сок катился душистой струей по стеблям и стволам растений. Мягкая, кудрявая мурава расстилала повсюду свои бархатные подушки. Везде был готов пир человеку, везде готово ложе. Чуткая мимоза, вздрогнув, давала знак широколистным бананам, и они смыкали свои листья шатром, длинный лист махрового папоротника начинал тихо раскачиваться как опахало над горячим лицом спящего. Райская птичка вспархивала к вершинам деревьев и говорила своим старшим сестрам: «Тише! человек спит!» И умные попугаи примолкали на минуту, рассаживались над изголовьем его и, понизив свои резкие, крикливые голоса, начинали отрывисто и задумчиво рассказывать чудные сказки. Горлицы садились еще ближе и тихо ворковали ему баюкающие песни. Звери уходили подальше, затаив голос, стараясь не прошуметь травой, чтобы не мешать сну человека. Гремучая змея становилась на страже. Она высоко поднимала голову и звенела своими бубенчиками, когда кто-нибудь подходил близко к месту отдыха человека. Люди ни перед чем не знали страха. На земле было просторно жить всем. Ни один зверь не отнимал у другого пищи,— всем было ее слишком довольно. Ни один самец не дрался с другим из-за самки,— наслажденья было слишком довольно каждому. Человеку нечего было думать о прошедшем. Настоящий день был только продолжением того же счастья, той же неги и той же отрады, которые были вчера, и позавчера, и так дальше, до самого дня его рождения. Нечего ему было думать и о завтрашнем дне. Завтра ожидает его тот же сладкий пир, та же сладкая любовь. Объятья женщин были как пламя; они рождали, улыбаясь от сладкой боли,— такой же страстно-блаженной боли, от какой умирали временною смертью в объятиях люб-

ви. Из глаз человека никогда не текло слез, этой горькой влаги страдания. Безболезненно кончал жить человек. Это был тихий сон без вздохов, без грез, без пробуждения.

Все это переменилось, все прошло, как сон. Людям настало время горя. Давно в утробе земли горело потаенное пламя; давно вздыхала она тяжко и глубоко своими высокими грудями, горячими горами; давно слышались ее глухие стоны, как будто страшная боль раздирала ее недра. Часто, как из глубоких, смертельных ран, текла из нее огненная кровь, запекаясь камнем в долинах между горами. И настал страшный день. Море стало клокотать и дымиться, на его свист и шипенье отвечали глухие стоны и протяжные вопли из глубины земли. Все волны слились в пенистый водоворот, разлетаясь тучами брызг. Разинулось черное жерло посреди него, и пламенный столб взлетел до самого неба. Солнце померкло, и дрогнула земля от края до края. Грудь ее растреснулась,— из неисчислимых ран ее хлынула пламенная кровь ее сердца. Черные тучи загромоздили небо. В них грохотал гром: грохотал он и в море и на земле. Черный дождь полился из туч, завыл ураган. Море хлестало в тучи своими черными волнами; земля вскидывала к ним багровые потоки огня; тучи метали и в море и в землю свои огненные пращи и стрелы. Казалось, вся жизнь погибает на земле. Разверзались огненные бездны, и с треском проваливались в них горы. Из морской пучины выдвигались каменные громады. Море со свистом или шипеньем и воем рвалось залить землю. Долго длилась эта скорбная ночь. В ее громах и бурях не было слышно воя и воплей ужаса, какими оглашало землю все живое, видя идущую гибель или погибая. Но море, небо и земля кончили свою битву. Каждый взял свою добычу. Небо разбило своими стрелами горный оплот, мешавший свободно ходить его солнцу. Море захватило в свою жадную пасть клочок цветущей земли. Земля вдвинула свои жесткие скалы в его влажное лоно. И все утихло, утихло и усмирилось. Опять показалось солнце в небесной высоте; но что увидали на земле его лучи? Они увидали первую скорбь человека.

От людей и зверей, населявших землю, от трав и деревьев, осенявших ее, не осталось и половины. И зем-

ля стала не так обширна, как была. Половину ее поглотило море. И та половина, которая не далась его жадной пасти, стала похожа на печальную пустыню. Где стояли цветущие леса, дымились теперь зловонные болота. Где стояли щедро одетые зеленью горы, синели озера в глубоких котловинах. Реки, опушенной так густо темными рощами, как не бывало. Новый поток несся к морю. Он не проложил еще себе постоянного русла и метался как зверь, ударяясь в беге о голые и бесплодные скалы. Скалы эти выдвинулись в грозную ночь там, где расстилались вечноцветущие долины».

Глава вторая

Робок, наг и дик скрывался
Троглодит в пещерах скал.
Шиллер

I

Одна выше другой величавыми террасами встают горы. Вершины дальней цепи как будто уходят в небо и сливаются с ним своими легкими голубыми очертаниями. Местами полосы нетающих снегов ослепительно сияют розовыми отливами под тропическим солнцем. Они кажутся ступенями, с которых можно перешагнуть в эту лазурную глубь.

Эти горы, обступившие амфитеатром морское прибрежье, стоят так близко, если смотреть на них с длинной песчаной косы, заплескиваемой теплыми волнами. Воздух так прозрачен, что каждая белая тучка, набегающая на их синие вершины, видна ясно с прибрежья. Но между ним и этою грядой гор, замыкающих собою амфитеатр, лежит еще недостижимая даль для людей, которые живут в ближайших окрестностях берега. Они назвали бы эти дальние горы концом мира, глухою стеной, которая поддерживает с этой стороны небесную кровлю,— если бы мысль их могла хоть на минуту останавливаться на таком далеком для них предмете. Конец мира гораздо ближе для них. Но и до этой пограничной черты мысль их не

доходила. Она едва уловляет,— и то ненадолго, не успевая запечатлеть в слове,— явления и более близкие, когда они не касаются самых неизбежных потребностей. А потребности все в том, чтоб быть целу, быть сыту. Каждый день встает солнце, и каждый день блещет в лучах его бесконечное море; каждую ночь выходит в небо месяц и загораются над землей лампады звезд. Недвижимо стоят дальние горы. О них нет заботы человеку. Что же и думать о них? Они не возбуждают его воображения. Минута спокойствия есть для него минута сна. В грезах его бессознательно повторяются картины окружающей его природы. В этих грезах не все является в совершенно таком виде, как наяву. Но, пробуждаясь, он забывает за насущной заботой свою грезу и не останавливается на ней мыслью. Только то, что необходимо нужно, без чего нельзя жить,— только то, что грозит неминуемою гибелью, занимает его; только для этого есть у него название. Он дал имя морю, потому что оно страшно своими приливами; но у него нет еще имени небу. Потом он, может быть, назовет его неподвижным морем. У него есть название тигру — и нет названия солнцу. Когда-нибудь солнце превратится в его воображении и слове в небесного тигра.

Он говорит, как грудной младенец, но уже говорит. Значит, он живет не одиноко; значит, необходимость защиты сомкнула уже людей.

Если бы предание не ограничивалось у них только указанием на то, что можно есть и какого зверя надо бояться, если бы память их могла обнимать не несколько лишь ближайших дней,— эти люди, еще так похожие на обезьян, рассказали бы предание о всемирном потопе и об огненном дожде, истребившем их эдем. Но потоп и огненный дождь застали их еще разрозненными и бессловесными и оставили им только страх и нужду. И вот создалось человеческое стадо.

Эти места, где люди впервые почувствовали необходимость соединиться, действительно были раем еще недавно. Пятое или шестое поколение жило в скудных его остатках. Грозный геологический переворот видоизменил здесь морские берега. Такой же райский остров, к которому полосой шли коралловые рифы от этих берегов материка, был поглощен волнами, и взамен

его выдвинулся гораздо далее другой, больше, выше и шире. Страшное землетрясение погубило половину растительной и животной жизни на прибрежье. На месте лесов явились болота, река изменила свое ложе, в провалах гор образовались озера. Вместо холмов, одевавшихся кустами и деревьями, торчали голые скалы, которым еще долго ждать новой зеленой одежды.

Пройдут века, прежде чем солнце выпарит влагу из этих болот и семена, заносимые ветром, пустят в них ростки и корни и поднимутся опять роскошными лесами. Пройдут века, прежде чем периодические дожди и муссоны размочат и выветрят эти бесплодные скалы и облекут их корою плодоносной почвы. А до тех пор жизнь людей пойдет здесь печально, в вечной заботе о своем самосохранении. То время, когда каждый из них жил отдельно и самостоятельно, когда каждый носил в самом себе и свое право и свою защиту, когда встреча с другим нужна была только для забавы, для наслаждения,— то время миновало безвозвратно. Если природа этих берегов опять возвратит себе прежний блеск и прежнюю обильную красоту, она, может быть, не увидит уже тут людей, а если и увидит, то увидит совсем непохожими на тех, которые блаженствовали когда-то посреди ее неистощимых даров в райской анархии. «Они были зверями»,— скажет нынешний человек, самолюбию которого обидно признавать свое родство с орангутангом и гориллой, гордости которого тяжело назвать негра своим братом. Да, они были зверями, но зверями сытыми, здоровыми, спокойными, счастливыми, огражденными от нужды и опасности богатством окружающей природы. В этот второй период их развития, когда они видят, что жить врозь и вразброд стало нельзя, они все еще звери, но уже без прежнего довольства и счастья.

II

Остатки лесов, подходящих к первым отрогам прибрежных гор, еще очень пышны и тенисты. Будто чудом их пощадил подземный огонь, и они цветут в прежней красоте. Их семенам суждено оплодотворить когда-нибудь все пустынные теперь места этих гор и равнин; но семена, разносимые ветром с их деревьев и ку-

стов, падают еще на камень, на песок,— и леса остаются только оазисами среди окружающей бесплодной почвы. Их роскошное убежище перестало уже быть безопасным для человека. Ему нельзя, как прежде, кочевать с дерева на дерево, спать в воздушной, зыбкой постеле из ветвей и листов; нельзя привольно гулять, не страшась встречи ни с каким зверем. Эти встречи становились ему очень опасны. Хищный зверь, не находя вокруг себя прежнего обилия, стал смотреть на человека, как на хорошую добычу. А чем бы стал бороться и защищаться человек?

Первым оружием были руки, зубы и ногти
Или же камни и сучьев древесных обломки [1].

Этого оружия было мало, чтобы сражаться с врагом сильнейшим.

А между тем встречи с этим врагом были все-таки неизбежны. Лес доставлял всего более пищи, нужной человеку.

Прежде ему нечего было враждовать с другими животными. Для всех было довольно пищи — и мир не нарушался, как не нарушается он между сытыми домашними кошками и собаками, врагами на воле. Правда, истребительная борьба шла уже и прежде между сильнейшими и слабейшими породами. Но в этой борьбе человеку незачем еще было принимать участие. Он знал, что есть звери с зубами острее и крепче его зубов, с когтями, перед которыми ничтожны его ногти, с мускулами, невредимыми, как камень. Но они все-таки были не опасны. Им не приходилось еще вступать с ним в борьбу из-за существования. Теперь зверь стал голодать, и встретиться один на один с тигром, с медведем значило пасть в неравной борьбе. Человеку и самому приходилось чаще голодать — и он становился слабее.

Пещеры, бывшие прежде лишь местом его отдыха, стали теперь ему почти постоянным жильем, из которого он выходил только искать пропитания.

Вот эти пещеры в первой, ближайшей к берегу гряде гор. Некоторые из них не больше как узкие и неглубокие трещины с просветом вверху; другие похожи

[1] Лукреций.— *Прим. М. Л. Михайлова.*

на искусственно выбитые в скале гроты; третьи начинаются очень узким устьем, но расширяются дальше и идут коридором в глубь горы. Первые люди, решившиеся пролезть в черную узкую пасть подземных коридоров, были Бартами и Ливингстонами этих неведомых мест. Были и менее счастливые исследователи. Немало их задохлось от удушливых газов, наполнявших некоторые из пещер, или погибло в провалах, или потонуло в тине подземных ключей. Но у них не было еще имен, и о них не оставалось памяти, как о первых «жертвах науки».

Входы почти всех пещер завалены большими камнями. Это первые двери, в которые не может пробраться никто, кроме человека. Силы отвалить эти камни достало бы у многих других животных; но не достало бы ловкости. Но как долго нужно было напрягаться уму, чтобы придумать себе и эту защиту. И он не сам придумал ее. Ее указал ему случай; но и тут он еще не сразу последовал его указанию, а старался только воспользоваться счастливой случайностью. У самого устья одной из пещер лежал огромный, обрушившийся с ее сводов камень. За него можно было забраться, хотя и с трудом. Эта ограда была не вполне безопасна; но все же не всякий зверь мог пролезть в небольшое отверстие. И все стали тесниться в эту пещеру. Произошло немало ожесточенных драк за ночлег в ней. Надо было, чтобы несколько раз забралась туда голодная гиена, чтобы навести обитателей пещеры на мысль приваливать камень ближе к отверстию и совсем запирать вход. Так же трудно было придумать заваливать камнями входы других пещер. И удивительно ли это? Сколько десятков тысячелетий пар заставлял подпрыгивать и подниматься крышку над котлом с кипящей водой, прежде чем человек обратил внимание на это явление как на указание нового средства для своего благосостояния!

Но вот пещеры все снабжены дверями,— и с этой стороны обеспечена безопасность. Но довольно ли в них места для всех? Не совсем. Духота и теснота заставляют гнать оттуда тех, кто послабее. Первая аристократия уже создалась — аристократия силы. Бессильное ожесточение слабого мало-помалу обращается в хитрость; но она еще плохо помогает. Люди не

успели доразвиться до подлости и лести, чтобы найти в них замену силы.

Не взаимное условие, не договор соединили все людское население прибрежья в этих соседних друг с другом пещерах. Их просто согнал туда страх преследования от хищных зверей,— и они остались вместе. При первом же сближении между ними закипели ссоры, для которых прежде не было у них повода. Ночлег, лишний кусок, женщина — стали предметами вражды и столкновений. Из-за женской ласки происходили отчаянные схватки между мужчинами, такие же, какие мы видим теперь между так называемыми низшими животными. Не хуже собак рычали и грызлись они около женщины, ожидавшей себе мужа. Победа оставалась за самым сильным. Женщина тотчас же брала его сторону и помогала ему скорее соединиться с нею, отгоняя от себя с ожесточением всех более слабых. Сила была высшим достоинством человека, и ей еще по праву доставалось тогда первенство. Для борьбы с ожидавшими людей опасностями были нужны более всего физические силы,— и сама природа, казалось, указывала только наиболее одаренным силой становиться родоначальниками будущих поколений. Слабый жил почти без наслаждений, умирал без потомства.

Прежде вырвать из рук другого какой-нибудь надкушенный им плод — было только шуткою. Стоило протянуть руку, чтобы сорвать другой,— и ссориться было не из-за чего. Теперь это стало иначе. Первые зачатки собственности, хотя и не прочной, уже появились. И собственность принадлежала только сильным.

Забота данной минуты слишком поглощала все внимание, и люди не делали еще запасов. Надобны были опыты долгого повального голода, чтобы заставить их приберечь часть сегодняшней пищи на завтра.

III

Поутру на песчаном берегу, с которого только что отхлынул прилив, собрались почти все обитатели прибрежья. У пещер не осталось никого. Женщины принесли с собой и грудных детей.

Море, отхлынув, оставило на песке берега множество раковин, слизняков, мелкой рыбы. Все это потребляется с жадностью жителями прибрежья.

Только очень внимательный взгляд, обращенный на них, мог бы заметить в их лицах и в форме их тела некоторое изменение сравнительно с тем временем, когда главным местопребыванием их был лес. В глазах их светится как будто больше внимания, осторожности; спина стала прямее, ступня потеряла часть своей гибкости. Многим поколениям людей приходилось больше бегать и ходить, чем лазить по деревьям. Но у лучших представителей расы все еще очень широки плечи и все кости, все еще очень крепки мускулы. У всех их живот уже не выдается так вперед, как у их беззаботных предков. Умеренность в пище придала многим худобу. Умеренность эта, конечно, невольная; стоит посмотреть, с каким сладострастием их зубы рвут сырую и несколько уже испорченную рыбу, как разгрызают они раковины и выхлебывают из них слизистого моллюска.

Разговора не слыхать. Только женщины покрикивают иногда на детей, которые возятся в песке или бегают, отыскивая себе еду. Гортанные звуки их слов отрывисты, бессвязны. Порою слышатся будто одобрительные замечания от гастрономов, разлегшихся на песке и загребших поближе к себе свой завтрак. Они, кажется, похваливают его своими односложными восклицаниями. Есть люди, которым не нравится этот пир под самыми лучами палящего солнца. Они набирают запас разных разностей в руки и уходят в тень утесов и пещер — и удовлетворяют свой аппетит там.

Около полудня, когда солнце станет палить еще жарче, можно будет забраться и в опушку леса. Прекрасные плоды на верхушках деревьев, кажется, ждут сбора. Но редкий уносит хотя часть их с собою. Вот одному приходит в голову сорвать огромный лист и в него положить яблок и ягод, чтобы снести в пещеру, может быть, для оставшихся детей своих. Другие бросаются вслед за ним, отнимают у него его жатву, и он убегает лишь с скудными ее остатками в пальмовом листе. Не сразу догадываются другие, что могут и сами сделать такие запасы, каждый для себя.

Не все ограничивают свою прогулку по лесу одною

его опушкой. Многие забираются и в глубь его. Самые страшные из лесных зверей — это тигр и буйвол. Но в полдень они не бродят близко, и их можно избежать. А в глубине леса все растет обильнее. Да и поневоле надо искать пищи подальше. У самой опушки ее недостаточно для всех, и ее плоды обираются ежедневно.

Счастливый день, когда всем можно быть сытым и не драться из-за куска тухлой рыбы! Такие дни не всегда бывают. Как ни горячо это солнце, но оно не может заставить деревья приносить плоды круглый год. В эти промежутки надо питаться только тем, что приносит море. Но его даяния скудны. Надо вместо плодов и орехов питаться древесной корой. Эта кора вкусна и не похожа на жесткую и горькую кору наших печальных лесов. Но с нее не разжиреешь, ею не будешь очень сыт.

Между тем в пещерах довольно места, и на время недостатка можно бы устроить кладовую в их глубине. До этого они еще не скоро додумаются. Надо, чтобы сначала истощенье принесло с собою болезнь, смертность. Но и на умирающих собратий они посмотрят, может быть, как на помощь в беде. Голодные живые станут есть своих мертвых. Но этого им нельзя будет делать спокойно. Запах трупов приведет к их жилищам стаи гиен, шакалов и волков. Надо будет побросать им мертвых, чтобы только звери ушли в свои трущобы.

Все это тяжелые уроки; надо их пережить, чтобы сделать хоть шаг вперед в том, что мы называем теперь наукой. Да и довольно ли бывало одного такого урока? Конечно, нет. В этом порукой наше образованное время, наше цивилизованное общество с его политической историей, с его народным хозяйством. Разве не такие же уроки переживаем мы беспрестанно; а много ли дают они нам предусмотрительности? много ли отвращают бедствий и зла в будущем?

Чего же хотят от «зверей», какими еще были люди?

IV

Еще недавно человек стоял в уровень со всеми остальными животными; теперь он ниже большей части их. У него нет еще и той цивилизации, до которой

нужда и опыт довели многие слабейшие породы. Он мог бы поучиться у них многому, но ученье тяжело ему, как ребенку. На жизнь другого животного, если оно не вредит ему прямо или не прямо полезно ему, он смотрит совершенно равнодушными глазами. Гнезда птиц, норы подземных зверков, стройный порядок муравьиных куч, хлопоты о будущем, запасы их, поиски лучших мест для житья — все эти примеры перед ними постоянно; но когда еще они научат людей следовать им, делать то же? Паук плетет перед ними свою сеть и ловит в нее мух; они не думали еще, что можно так же ловить рыбу. Червь прядет нити из листка и делает из них себе мягкую постель; люди не думали еще об его искусстве. Муравьи делают вал вкруг своих жилищ; огораживают их; обращают стада тли в стада своего домашнего скота. У людей не являлось еще мысли о прочной ограде, о дружеском обмене услуг с другими, кроткими и способными к приручению животными. На все эти успехи нужны им века страданий, века нужды. Как прежде полное довольство мешало их развитию, так теперь мешает нужда. А будет время, когда человек станет гордо называть *разум* своею *привилегиею* перед *остальною тварью*.

Море принесло и оставило на берегу полусгнивший пень, весь окутанный цепкими и крепкими, как струны, стеблями какого-то вьющегося морского растения. При отливе пень уперся своими острыми и широкими корнями в вязкий песок, и волны не унесли его обратно. В путанице оплетавших его веток засело, как в сети, много рыбы и другой морской живности. Эту добычу открыл один из туземцев и завладел ею, пока другие, посильнее, не заметили нового удобного места ловли и не оттеснили его от его открытия. Пень стал самым привлекательным пунктом на берегу. Каждый раз после отлива к нему теснились с жадностью. В лесу довольно лоз. Самый случай учит их сплести из них первую вершу. Они умеют завязывать узел из двух веток. Это искусство появилось между ними еще в ту пору, когда они еще не умели различать себя от орангутангов. От узла нетрудно перейти и к связыванию трех-четырех веток вместе. Но нет, для них еще и это трудно. Мысль о верше придет им в голову разве тогда только, когда волны станут подмывать

пень и он станет покачиваться, грозя уплыть назад в море.

Сказка об изобретении финикийцами стекла, об открытии пурпура, эта сказка остается историею всех человеческих изобретений чуть не до самого нашего времени, до таких открытий, как пар, как электричество, как фотография. Недаром рассказываются такие же анекдоты, как про финикийцев, про Гуттенберга с попавшеюся ему строчкой Цицерона, про Ньютона с его яблоком. Только теперь начинаем мы — и то еще как слабо! — копить опыты и проверять их с определенною целью.

Как бы то ни было, первая верша изобретена, и прибрежное население превратилось в рыбаков. Шаги от какого-нибудь изобретения к его новым применениям, конечно, легче, чем самое изобретение. Но искать усовершенствований и новых применений может заставить только опять-таки какая-нибудь неудача, нужда или же столь могущественный для этих людей случай.

Эти потребности и нужды, эти случаи превратят сплетенную из лоз вершу в залитое глиною ведро, которое не будет пропускать сквозь себя воду; это ведро, плавая на поверхности воды, подаст и первую мысль о жалкой ладье. Острая раковина будет первым ножом, круглая и полая — первой чашкой. И между каждым из этих простых открытий будут проходить столетия, пока эти люди дойдут и до тех жалких успехов, на каких мы застали прибрежных жителей Австралии.

V

С первой же поры, как населению прибрежья пришлось сойтись в кучу, с первых же годов, когда им стало невозможно разделяться и разбрасываться по разным местам, явились и начатки того, что мы называем теперь обществом.

Только необходимость стоять ближе друг к другу, держаться крепче один за другого для своей защиты связала их. Как же самая эта необходимость принесла с собою и все то, что более всего было способно нарушить эту неизбежную и необходимую связь? В ту же минуту, как окружающий мир нарушил равенство в на-

слаждении для всех, нарушилось в детском сознании человека и равенство прав на наслаждение. Высшим правом стала сила,— исключительно сила физическая, потому что она одна была необорима. Наслаждения для всех уже недостаточно; то, что есть, пусть принадлежит сильному. Люди перестали быть просто людьми; явились отличия.

VI

Вот уже несколько дней, как неподалеку от пещер каждую ночь слышится громкое рыканье льва. Он, видно, голоден и ищет пищи. Иногда, проснувшись посреди ночи, обитатель пещеры слышит отчаянно-быстрый топот и бег. Это, верно, олень, спасающийся от преследования. Шаги его замерли в отдалении; примолк и голос льва. Его не будет уже слышно до завтрашней ночи.

Перед вечером все собрались на ночлег в свою пещеру. Она невелика. Устье ее довольно широко; каменный свод дальше поднимается так, что под ним можно свободно стоять не нагибаясь. Еще дальше, в самой глуби ее, небольшой поворот, в который можно только проползти, и то лишь так, что, когда голова коснется глухой стены, ноги все-таки остаются по щиколку снаружи. Это пространство годно разве на то, чтобы сделать в нем кладовую для каких-нибудь запасов. И точно, там стоят плетенные из лоз корзины с орехами и плодами.

Пол пещеры высоко устлан весь листьями. Нижние слои этой настилки давно превратились бы в сухую труху, если б постоянная влажность почвы долго не поддерживала в них свежести. На этих лиственных коврах располагаются спать жители пещеры. Их нет и десяти. Больше не было бы где поместиться. Тут четыре женщины и двое мужчин; остальные — дети. Все, сколько их ни есть, только что воротились в пещеру из своих поисков по ближайшей опушке леса. Многие жуют. Один набрал острых и разновидных кремней в горе и кладет их около груды таких же камней у самого входа. Он уже ловко умеет пускать их своей сильной и меткой рукой — и не раз спасал себя ими от голодных зверей. Около этих кремней лежат и другие орудия в этом

роде — толстые, суковатые палки, некоторые с расщепленными острыми концами, кости больших животных, похожие на булавы. Некоторые из кремней оббиты так друг о друга, что острыми изломами их можно резать не только мясо, даже дерево. В одном углу лежит вся скоробленная и полувылинявшая кожа оленя. Через несколько поколений эти люди, верно, будут хорошими охотниками.

Все они еще совершенно голы; потребности в одежде для тепла еще нет. Украшать себя ею? Эстетическое чувство еще не зарождалось.

Все очень говорливы,— и почти все говорят разом бедным, однозвучным гортанным языком. Один говорит: «Принес камень и две дубины»; другая говорит: «Лев близко»; третья кричит: «Прочь!» — мальчику, который лезет к ее груди, и засовывает ему в рот кусок какой-то коры; четвертый говорит: «Камень к пещере!»

Пещеру действительно пора заваливать камнем. Солнце скоро спрячется; свет разом почти сменяется ночью; сумерки так быстры. А только едва стемнеет, опять зарычит этот лев. Он все еще не устал бродить около этих мест, все еще не ушел искать себе добычи подальше.

Набегавшиеся в день, усталые, покрытые потом дети свернулись по углам и заснули. Они, как птицы, дают знать своим сном, что и верхняя окраина солнечного венца уже ушла за горизонт.

Все шестеро больших с громким и бессвязным криком берутся за громадный камень, чтобы привалить его ко входу; камень подымается своим влажным боком с своего обычного, давно надавленного им места. Вдруг все приостанавливаются — настороживают уши. Слышен легкий, быстрый, пугливый топот. Вот он ближе, ближе.

Крики в пещере усиливаются. Скорее поднимай камень! Это лев гонится за кем-то. Но только что громадный камень зашевелился быстрее в их руках, топот раздался у самого входа в пещеру, и между движущимся камнем и верхним сводом как стрела вскочила в пещеру дикая коза. В одно мгновение камень захлопнул вход, и в пещере стало совсем черно.

С такими же криками изумления и отчасти удовольствия все бросились к козе. Ее не видно было в потем-

ках; но они тотчас же ощупали ее на полу. Она лежала, вытянув ноги, и дышала тяжело.

Поднялся оживленный говор, что делать с этою добычей, которая досталась им сама собою: задушить ли ее теперь же, или оставить до утра?

Все были сыты и, покричав еще немного, полегли спать. Коза продолжала неподвижно лежать между ними. Мало-помалу усталость и испуг ее сменились тоже спокойным сном.

Ночью на этот раз никого не разбудил голос льва, раскатывавшийся обыкновенно таким громким эхом по всем пещерам и ущельям гор.

Перед утром, когда в щели между камнем, заваливавшим вход, и стенами проходили в пещеру первые лучи света и храп спавших в ней становился тише, один из грудных ребят проснулся и стал кричать и плакать. Его голос услыхала мать. Ночью ребенок далеко откатился от ее бока, и она слышала голос его почти по самой середине пещеры. Ей не хотелось ни вставать, ни открывать глаза. Грудь ее давно уже начинала скудеть молоком,— и теперь она не чувствовала в ней той тяжести, которая заставляет мать так быстро подниматься утром с постели и давать свой сосок плачущему ребенку. Вместо того чтобы встать и угомонить плач дитяти, женщина лениво закинула за голову свои руки и потянулась, не открывая глаз. Ребенок на минуту притих, потом опять закричал тем умоляющим голосом, каким обыкновенно просил груди,— потом опять притих, и матери послышалось, что губы ее ребенка как будто ухватили что-то и сосут с великим наслаждением. С быстрым любопытством привстала она с своей лиственной постели и окинула глазами пещеру, ища, где ее дитя.

В пещеру проникало уже довольно света. Ребенок лежал около козы, смирно оставшейся на том самом месте, на котором она упала вечером. Грудь ее была так полна молоком, что оно капля за каплей срывалось с ее сосков. Ребенок ухватился губами за один из них и с жадностью глотал молоко, почти не шевеля губами: рот его беспрестанно переполнялся, и молоко белыми струями текло по его черным надувшимся щекам.

Крик удивления вырвался у матери. Коза, лежав-

шая на боку, вздрогнула, подняла уши; но ребенок продолжал так усердно освобождать ее от молока, что она опять успокоилась.

Все начали уже просыпаться в пещере. Мать ребенка тотчас же обратила внимание всех на невиданное зрелище,— и все с любопытством окружили козу. Свет все больше проникал в пещеру. Коза глядела на окружавших ее людей кроткими и покорными глазами, будто умоляя не делать ей зла, пощадить ее за то, что она накормила маленького человека тем молоком, которого уже не будут есть ее козлята, разорванные львом.

Убьют ли, чтобы потом разорвать на части и съесть ее сырое мясо, или же пощадят ее эти люди?

Может быть, эта женщина, которой уже тяжело кормить своего ребенка грудью, уговорит остальных приберечь ее для него. Может быть, кто-нибудь полюбопытствует узнать вкус козьего молока, надавит его из соска себе в ладонь, попробует его, и оно понравится. Может быть, это будет первый опыт доенья. Но если ее пощадят и она как-нибудь вырвется и убежит? Тогда счастливый случай хорошего обеда пропал даром. Запереть ее в пещере, когда все соберутся уходить,— дать ей корму.

Потом она так привыкнет, что не будет и уходить далеко,— будет возвращаться домой на ночлег. Он безопасен.

Придет для нее пора любви,— и ее голос приведет к пещере самцов. Из них, может быть, ни один не захочет остаться тут; но зато у козы будут малютки. Они вырастут уже вместе с детьми людей,— они станут смотреть на них не пугливыми, а умными и благородными глазами.

Тогда в этих пещерах может появиться и такое хозяйство, какое было у циклопа Полифема на его острове, соседнем с островом коз.

Начали все мы в пещере просторной осматривать; много
Было сыров в тростниковых корзинах; в отдельных закутах
Заперты были козлята, барашки, по возрастам разным в порядке
Там размещенные: старшие с старшими, средние подле
Средних и с младшими младшие; ведра и чаши
Были до самых краев налиты простоквашей густою.

Но, может быть, они приручат прежде кроткого, податливого и робкого, но умного слона.

...До этого, впрочем, верно, еще очень долго ждать. <...>

Глава третья

I

Раскинув свои громадные крылья, высоко носится широкими кругами белоголовый орел. Он высматривает зорким взглядом какой-нибудь добычи. Под ним бесплодная болотистая низменность. С одной стороны подступили к ней горы, поднимаясь сначала отлого, потом все круче и круче. С другой стороны тянется пустая, голая степь, будто ложе недавно отхлынувшего моря. Глаза орла следят за необыкновенным движением в печальной низменности. Люди, как муравьи, расползаются в разные стороны небольшими группами и вереницами. Одни тянутся к горам, другие к пустыне. Орел чует, что ему скоро будет много поживы. Он видит первую эмиграцию людей с их исконных мест.

Тесно стало жить в этом жалком, скудном болоте. Люди перепробовали все средства, бывшие под рукой, но не могли спасти себя ни от голода, ни от мора. Повальные болезни разгоняли их; но они отходили недалеко от первых мест и часто опять возвращались к своим бедным жилищам. Скольких трудов и неудачных опытов стоило им построить себе их. Это такие же сооружения на сваях, какие сохранились в остатках в Швейцарии; но они еще далеко не так совершенны. Здесь еще нет искусственных устоев, на которых утверждается верхняя настилка. Первое дерево будет отделено от своего корня только тогда, когда люди сумеют добывать огонь и употреблять его в свою пользу. Эти люди знают огонь только как далекую от них и властительную силу: огонь солнца и звезд, огонь молнии. Блудящие огоньки их болот — те же звезды. Устои, на которых они приладили себе возвышенное помещение, просто стоящие на корне деревья со срезанными и плохо выровненными вершинами. Искусст-

во оббивать камень о камень так, чтобы из него выходило острое оружие, перешло к ним от их отцов; но им нельзя было усовершенствовать его. Каменистая местность довольно далека. Этих орудий было, впрочем, достаточно, чтобы с великим трудом и старанием обсечь сучья и ветви деревьев, назначенных служить устоями для жилья; достаточно, чтобы сравнять с еще большим трудом их вершины; достаточно, чтобы надрезать сверху донизу кору дерева с одной стороны и потом содрать ее с него. Эти лубки, плохо распрямленные, скоробленные на горячем солнце, и служат полом или, пожалуй, кровлей этим естественным устоям. Другое искусство, наследованное от отцов, помогло сплотить их. Они сумели залить их глиной и дать ей окрепнуть на солнце; где недоставало лубков, а было вдоволь тростнику или обрубленных с деревьев лоз, там настланы были плетенки — и все это обильно скрепилось глиной и землей и образовало прочную площадку над деревьями. С нее далеко видно кругом равнину. Защитою этой крепости служат на каждой такой кровле запасы острых камней (родоначальников будущих кремневых стрел). Их все ловко умеют метать в свою защиту. С каждым годом настилка утолщается и укрепляется. Местами на ней пробивается трава. Но вначале было так трудно оберегать ее! Под ливнем периодических дождей она становилась такою же шаткою и зыбкою, как едва связанный плот на волнах моря.

Как ни свирепствовали по временам голод и смерть в этих бедных поселениях, плодовитость племени боролась с ними могущественно. Население разрасталось все в больших размерах, и ему становилось тесно. Мало было не давать вырастать слабым детям и убивать их тотчас после рождения; мало было заводить между собою споры и драки, в которых должны были гибнуть слабейшие. Сильнейшие, оставаясь целыми, только еще более способствовали размножению племени. Закон Мальтуса оправдывался во всей силе. Надо было расходиться, искать новых мест.

Стали совещаться, смыкаться в группы, запасаться дубинами вместо оружия — и началось переселение.

Не сразу поднялось все в поход. Уже давно бывали от времени до времени попытки поискать лучшего уг-

ла для жизни. Пробовали уходить и в одиночку и по нескольку человек разом. Одни уходили и уже не возвращались. Никто не знал (да никто и не заботился), что с ними сталось: разорвал ли их дикий и голодный зверь, истомила ли до смерти жажда, сломили ль недуг и голод, или же они нашли себе такой приют, какого не было у них дома. Другие приходили обратно, изнуренные, истощенные, и готовы были лучше умереть, чем возобновить свое странствие. Бывали и такие, что возвращались бодро и весело, говорили о чудных странах, где все в изобилии, где для всех готово и жилье и пища, и звали с собою других идти в эти прекрасные места. Но иногда они выказывали и много фантазии, не меньше знаменитого английского путешественника сэра Джона Мандевиля или тех авантюристов, которые ездили за золотом и сокровищами Монтесумы. Самая правда принимала сказочный характер в повествованиях этих смелых странников. Картины, представляемые ими, увлекали воображение. Едва сытые желудки ныли и просили этой сладкой пищи. Начинался оживленный говор по кровлям, суета. И десятки и сотни людей шли за бывалыми вожатаями.

С течением времени все чаще и чаще становились эти выходы, и все больше и больше числом были уходившие партии колонистов.

Глядя с недосягаемой высоты на этот разброд людского муравейника, орел недаром ждет себе обильной поживы.

Не все эти толпы идут в места, где могут найти что-нибудь лучше того, что оставили на родине. Все они направляются больше или меньше в одну сторону, именно к этим обильным горам, которые как будто нарочно поднялись так высоко, такими чудными террасами и изломами, чтобы привлекать к себе мысль и воображение человека. Бывает ли ночь за этими сияющими вершинами? Солнце уходит за них и светит там, когда по сю сторону лежит темная ночь. Недаром эти верхи, будто окаймленные золотом, серебром и пурпуром, еще блещут, когда уже все погаснет здесь; недаром они первые вспыхивают опять ослепительными красками поутру, когда еще чуть алеет небосклон на востоке.

Все эти вереницы странников избрали эти горы целью своего путешествия; но не все они избрали прямой и верный путь. Одни дошли до печальной и бесплодной пустыни и остановились в раздумье, идти ли дальше, будет ли за этою пустыней место, где не умрешь с голоду, можно ли пройти самую эту пустыню. Часть путников отделяется, часть вступает в пустынные места. Кому посчастливится? Может быть, те, которые отделились и взяли несколько в сторону, дойдут до еще более бесплодной степи и погибнут там. А первый отряд переступит тяжелый переход и дойдет до стран, одаренных обильным плодородием. Для тех, кого случай не толкнул по этому пути, суждено другое. Голая степь будет чернеть их трупами, орел накличет своих товарищей, с воем набегут шакалы и гиены, они не оставят ни клочка кровавого мяса, и там, где лежали черные трупы, долго будут белеть груды костей, пока их не заметет песком пустынный вихорь.

Первый оазис после степного перехода остановит многих. Как тут привольно, обильно и хорошо! Зачем идти дальше. Будем жить здесь. Но привычка к странствию уже сделана. Не все захотят оставаться на этом первом приволье. Как знать! Может быть, там, дальше, за тою грядою гор, в верховьях той многоводной реки, природа еще обильнее, еще щедрее обделяет человека своими дарами.

И постепенно, медленно, из века в век, из поколения в поколение, все эти плодоносные склоны заселятся людьми. Если бы начертить все их дороги, вышел бы, вероятно, узор, похожий на тот, который рисует своими нитями паук в выбранном им углу.

II

Перед нами долина, которая граничит с непроходимым девственным лесом. Лес далеко раскинул свою первую опушку кустов и небольших деревьев. Лишь изредка поднимаются здесь посреди низменного кустарника деревья выше, тенистее. Почти к каждому из таких деревьев прислонены какие-то странные сооружения из ветвей и больших листов. Что это — норы зверей или жилища человека?

Некоторые из этих построек не что иное, как ряд жердей, упирающихся одним концом в землю, другим в ствол дерева и накрытых сверху грудою веток или же широкими листьями пальмы. Небольшое отверстие где-нибудь сбоку — это дверь этого первобытного шалаша. Многие из них сплочены так плохо, что стоит двинуть хорошенько плечом, пролезая в эту дверь, и все строение свалится вам на голову. Но только небрежность и беззаботность строится так непрочно. Некоторые из этих конусообразных шатров, окружающих стволы деревьев, построены крепко, насколько можно это при отсутствии помощи огня, которого они еще не умеют добывать. Где в стволе деревьев сделаны зарубки для того, чтобы жерди упирались в них и не соскальзывали, где концы жердей, упирающиеся в землю, врыты в нее глубже, там шалаш стоит прочно, пока не подмоет его дождь. Подмытый раз, два, три, он, может быть, будет укреплен еще лучше. Недалеко отсюда есть целая гряда каменистых холмов — и стоит обложить каменьями основу шалаша, он устоит и против дождя. Постройками этими занимаются женщины. Вот хлопочет около одного из шалашей еще совсем молоденькая. Она перевязывает и переплетает заново поперечные перекладины из веток и плотнее прикрывает их листьями. Судя по плечам и бедрам, по росту, она еще не достигла полного развития. В числе женщин, показывающихся у других шалашей, чуть не большинство почти ничем не разнятся от мужчин ни шириною плеч, ни высотою роста. Но у этой неразвитой женщины уже низко отвисли груди. Видно, что она выкормила ими не одного ребенка.

Первые обманчивые признаки зрелости, которые являются здесь так рано у женщины, не проходят незамеченными. Толпа мужчин тотчас начинает следить за новым предметом страсти, и, бессильная для борьбы, девочка, как назвали бы мы, достается по большей части наиболее сильному из претендентов. С этого уже времени начинается покорение женщины. Она постоянно то носит детей, то кормит. Промежутков нет. И мужчина начинает сознавать и выказывать преимущество своей физической силы, и женщина видит поневоле необходимость подчинения. Первым поводом к одежде будет, может быть, служить желанье отделываться

хоть немного долее от этого подчинения, попадать хоть немного позже в властительные руки мужчины. Мы и теперь видим у диких, которые почти не знают одежды, что женщина носит пояс, от которого идет повязка спереди назад. Этот пояс был вначале, верно, просто лозою какой-нибудь лианы, эта повязка — листьями. Ева этих рас изобрела себе лиственную одежду не из стыдливости, а из чувства страха, из чувства самосохранения. Но скоро ли стала оберегать и охранять ее эта одежда? Не вдруг притупила она чутье мужчин.

Сначала одно наслаждение сводило мужчину и женщину. Потом они расставались. Но как только мужчина заметил в себе перевес сил, создалась семья. Из женщины, кроме наслаждения, он мог извлекать и пользу. Она могла давать ему больше времени для праздности, сна. Она могла делать за него то, к чему ему лень протянуть руки. Дети еще не помеха. Мать долго может кормить ребенка; а когда она кончит эту заботу, ребенок недолго будет требовать забот. Если это мальчик, он будет ходить отыскивать пропитание сам; пока он не умеет еще владеть каменным копьем, он станет разорять птичьи гнезда. Если это девочка, будет то же, до тех пор, пока она не забеременеет и не попадет в такую же зависимость, в какой живет ее мать. Мужчине будет казаться выгодным иметь и не одну рабу. Вот начало многоженства. Вначале он, может быть, и без такого расчета приведет в свой шалаш другую женщину. Он приведет ее для удовлетворения своей страсти, потому что первая жена не может удовлетворить ее именно в это время. Она беременна или только что родила. Но и расчет на лишние рабочие руки явится следом.

Мужчина, еще не отдавая себе отчета в своих поступках и намерениях, смутно сознает уже то, что впоследствии назовет своим правом на женщину. Главная основа жизни — это пища. А пищу доставляет почти исключительно он. Всякий другой труд не имеет еще такой цены. Имеет ли он и какую-нибудь цену?

Посмотрим же на жизнь этой неразвитой физически женщины, которая так хлопотливо укрывает и чинит свою хижину. Муж ее (можно давать ему уже и это имя) — муж ее пошел в лес за добычей. Дома у них нечего есть, и вот он вооружился своим дротиком

и пошел на охоту. Он постарается не заходить далеко и высмотрит сначала все ближайшие места, где можно надеяться встретить дичь. Охота еще не доставляет ему удовольствия. Он ищет в ней только пропитания. Первая убитая им дикая коза, первый олень заставят его воротиться домой.

Вот он и возвращается из лесу. Но руки у него пусты. Он машет ими еще издали жене, и она бежит к нему навстречу. Он свое дело сделал, убил козу. Притащить ее домой может и жена. Он объясняет ей, где лежит добыча, и она быстро исчезает в лесу. Он идет между тем к своему шалашу, пролезает в его отверстие, бросает на пол свое окровавленное копье и в ожидании возврата жены с козой ложится отдыхать. Пол шалаша устлан листьями и кой-где мехами убитых им зверей. Надо выбрать место помягче и поудобнее. Жена на такое именно место уложила спящего ребенка. Он может лежать и пожестче. Отец бесцеремонно сталкивает своего ребенка с удобного места и вытягивается во всю длину своего тела. Ребенок ревет со сна. Это ничего. Поревет и перестанет. И охотник уже захрапел, не дождавшись конца плача.

Женщина отыскала убитую козу, взяла ее за ноги и потащила к дому. Но тащить ее так неудобно. Сучья и корни, по которым приходится волочить ее, только еще более раздирают две большие раны, свалившие ее. Женщина подымает ее за передние и задние ноги и закидывает себе за спину. Обливаясь потом, несет она ее по глухим лесным тропинкам. Кровь козы мешается с потом женщины, и она приходит к шалашу со спиной и грудью в красных полосах и узорах.

Охотник и среди крепкого сна услышит, что добыча уже дома. Он голоден, и ему уже снится лакомая еда. Но и открыв глаза и видя, что жена опустила на пол принесенную козу, он не пошевелится ни одним суставом. Он скажет только, чтобы жена сейчас же принялась потрошить козу, и станет, лежа неподвижно, следить, как она распорет каменным ножом ее живот, как станет отчасти им, отчасти ногтями сдирать кожу, как, наконец, разворотит кровавыми руками грудь козы.

Тут охотник вскочит с своего ложа и с сверкающими от удовольствия и ожидания глазами подсядет к

жене. Достанется ли ей хоть кусок от сердца, печени и почек козы, которые он с такою поспешностью выдирает из ее кровавой внутренности и с такою жадностью начинает жевать и глотать? Жена успеет оторвать небольшой кусок и отправит его к себе в рот. Но это может возбудить и спор и ссору.

До тех пор пока есть хоть маленький кусок козы, наш зверолов не пойдет на охоту. Он будет лежать, спать, есть. Нет никакой заботы. И еда будет идти к нему в рот совсем готовая. Жена обдерет кожу с козы, выпотрошит ее, разрежет мясо на куски и сложит их в вырытую ею же в земле яму и прикроет ее листьями. Не нужно даже и руку протягивать. Стоит крикнуть — и жена подаст.

Чем больше убитый зверь, тем долее можно наслаждаться кейфом, не брать в руки копья, не ходить в лес. Разлагающееся мясо, один запах которого произвел бы в нас тошноту, считается самым вкусным при неуменье варить и жарить его.

III

Каждое стадо знает самого сильного из своих членов, знает, что с ним борьба тяжела. Людям, живущим уже в первом подобии общества, нельзя не отличить между собою тех, кто наиболее наделен силой. Эта сила не раз обращает на себя внимание всех; не раз дает чувствовать себя многим. Сильный зверолов чаще одолевает такую дичь, перед которою отступает слабый.

Широкоплечий охотник, с крепкими, как железо, мускулами, возвращается из лесу весь окровавленный. Лицо его изодрано когтями какого-то могучего зверя; на одном плече кожа висит кровавыми клочьями. Древко его копья переломлено. Но он не спешит обмыть свои раны в ближайшем ручье и прилепить к ним листки растения, в котором случайно открыта сила останавливать кровь и заживлять язвы. Глаза его горят торжеством победы; улыбка его окровавленного лица обличает удовольствие. Он собирает около себя веселым криком не только жен, но и соседей. И его крику начинает вторить скоро оживленный говор всего сборища. Все дивятся, все чмокают губами; широ-

ко раскрывают глаза, качают головами. Какая неслыханная победа одержана! Какая проявлена отвага, ловкость! Этот человек убил тигра.

На этот раз целая толпа идет в лес за смельчаком. Вот желтеет в чаще шкура убитого зверя. Это правда! Он победил; он раздробил ему череп своим копьем; потом он кинулся в отчаянную борьбу и изловчился перерезать ему горло каменным ножом, который он один носит постоянно за поясом, свитым из тонких лоз. Уже это было его отличием. Теперь он приобрел новое.

С ликованьем и торжественным криком тащит толпа труп тигра. Все суетятся около него; каждому хочется проволочить его хоть несколько шагов. Кому-то приходит в голову нарвать лиан, привязать к ним тигра за ноги и тащить его так. Тогда все могут запрячься. Мысль принята, и составляется торжественное шествие. Во главе его идет победитель и его семья. Между людьми явился первый триумфатор.

При грозящей им опасности все глаза обратятся с надеждою на него. Когда понадобится вождь, он поведет их. Не он ли и теперь избавил их от сильного и досадного врага. Уже несколько человек, уходивших в лес на охоту, не возвращались оттуда к своим шалашам. Что с ними сделалось? Этот тигр загрыз их. Теперь его нет; месть совершена. Как же не приветствовать хвалебными кликами человека, совершившего такое великое дело? Оно действительно велико при тех жалких орудиях, какими еще могут располагать люди.

Около шалаша триумфатора пир. Жены его торжественно, при всех, сдерут с тигра кожу. Они будут скакать и прыгать от гордости и самодовольства, когда победитель хвастливо набросит себе на плечи еще теплую шкуру убитого зверя. Дети последуют примеру матерей и примутся также скакать и прыгать с визгом вокруг ободранного трупа. В этих прыжках зачаток будущих более искусственных плясок, может быть, будущих языческих религиозных обрядов. Важность случая заставляет на минуту забыть то, что не забывается ни при какой другой добыче. При поражении такого зверя, как тигр, можно и не думать о количестве мяса, годного на еду.

День этой победы будет долго памятен всем. Пестрый трофей, разостланный на полу шатра, не дает

никому забыть о нем. Победитель оторвет одну из лап тигра и станет носить ее за своим поясом. По этому ордену, к которому принадлежит он один, все будут знать его. Борьба с могучим зверем оставила ему и другую отметку, еще более прочную. Плечо его совсем зажило, и не видно следа бывшей раны, но когти тигра провели слишком глубоко три параллельных черты на его правой щеке. Шрам от них никогда не исчезнет. Он ясно виден на темной коже. Бывали и прежде люди со следами такой борьбы с сильным неприятелем на своем лице; но эти следы были памятью их слабости, их бессилия совладеть со зверем. У этого человека эти раны знак его победы. Щека его обезображена; но он гордится и хвастается этим безобразием, как особенною красотой. От этого шрама он получает имя, и под этим именем знают его все. Когда говорят о нем, говорят в то же время о следах тигровых когтей на его правой щеке. Блеск его славы падает и на его семью. Жены начинают гордиться не меньше мужа. Они хотят и себе придумать отличие. Может быть, им придет в голову привесить себе на уши на нити какого-нибудь растения по зубу тигра, убитого их мужем и господином. Это отличит их от всех других женщин и возбудит в них не столько уважения, сколько зависти. Но как сделать, чтобы и на детях видно было, чьи они дети. Подражая отцу, мальчики играют уже в тигров и охотников и царапают друг друга. Пусть и у них будут такие же отметы, как у отца. И вот у всех детей мужеского пола являются на правой щеке три искусственно проведенных и растравленных, потом заживленных шрама. Теперь уже нельзя смешать их с детьми других людей. На них переносится имя их отца. Это имя уже не умрет, пока не вымрет весь род победителя. Дети его, выросши и породивши детей, отметят и их наследственным гербом на щеке. Имя их станет именем господствующего рода; может быть, оно будет в их языке синонимом верховной власти — вождя, князя, царя; может быть, оно станет национальным именем всего племени, в котором были такие герои.

Соревнование выдвинет еще кого-нибудь из остальной темной среды. Явится новый герой, новый герб, новый аристократический род; два рода станут враждовать и спорить о первенстве. Бархатных книг и ди-

пломов еще нет, а уже есть и старая аристократия и новая. К отметкам на теле являются отметки и вроде серег у женщин. Одежда, которая лучше всего могла бы отделять одних от других, еще не существует. Но перья, воткнутые в волосы, борки из ярких зерен на шее и т. п. стали уже исключительными украшениями дикого дворянства.

IV

По русской поговорке «от добра добра не ищут» люди не думают покидать мест своего поселения без каких-нибудь особенно важных побуждений. Надо, чтобы их гнал голод или чтобы какое-нибудь пришедшее издалека и поселившееся рядом племя стало теснить их. Без таких побуждений не колонизуются люди и из наших цивилизованных государств и обществ.

Нигде привычка к месту своего жилья так не сильна, как у этих первобытных людей, потому что нигде не сильна так лень, неповоротливость и мозга и мускулов. Поколение за поколением живут в нездоровом болоте. Вредные испарения, губительные поветрия беспрестанно производят опустошения в населении; но смертность приписывается случаю, которого нельзя отстранить, с которым не в силах ничего сделать человек. Скорее болезнь и смерть примет в его воображении характер кары или вражды какого-то неведомого и невидимого ему врага; скорее создаст он миф о каком-нибудь всесильном существе, которое с крайних пределов мира дышит на него порою мором и заразой; скорее заподозрит в таинственном и зловредном искусстве морить людей кого-нибудь из своих же собратий, почему-нибудь несимпатичных ему; скорее сделает он все это, нежели задумает передвинуться с своего старого исконного места на другое, новое. У него нет опыта и знания, которые подсказали бы ему, что есть на свете страны гораздо обильнее, страны, еще не занятые никем, куда стоит только добраться, чтобы жить богаче, спокойнее, не умирать от каких-то необъяснимых и внезапных влияний. Понятия его о хорошем и дурном, о добре и зле ограничены тем тесным кругом, дальше которого не уводили его ноги. Ему представляется скорее, что везде за этим кругом жизнь

тяжелее, печальнее, хуже. Удалясь за версту, за две от своего жилья, он уже чувствует желание возвратиться к комфорту дома, которого тут не находит. Пусть этот дом не что иное, как непрочный шалаш из древесных ветвей или что-то вроде гнезда на верхушке дерева (как у нашего сказочного соловья-разбойника, только без такой роскоши, не на двенадцати дубах), пусть этот дом его ничем почти не отличается от убежища, какое он может устроить себе на каждом привале, если вздумал бы отправиться в путь,— он этого не знает, он не видел ничего лучшего,— и потребности и желания его нейдут дальше того, что он видел с детства и видит теперь вокруг себя. Он может жалеть о потере какого-нибудь удобства, какого-нибудь жалкого блага; может стремиться и стараться возвратить себе это удобство, это благо,— и только. Лучшего ему не надо; он и не поверит возможности лучшего, пока не увидит его своими глазами, не ощупает своими пальцами. Для уроженца Забайкалья яблоко кажется плодом, который растет только в земном раю (если он слыхал о нем); он считает баснями и хвастовством рассказы заезжих людей об иной растительности, чем к какой привык в своих горах, об иных климатах. А этот сибиряк настолько же выше по развитию тех людей, о которых мы говорим, насколько грек, осаждавший Трою, был выше нынешнего новозеландского маори или американского дикаря.

Даже перед грозным и опустошительным естественным переворотом человек отступает лишь ненадолго и уходит недалеко. Стихии успокоились, и он возвращается на старое место, не рассчитывая на их повторения. Он соберет остатки и обломки своих бедных хижин, срытых страшным наводнением, и постарается возвести их на прежних местах. На пепелище своих селений, похороненных бурным огнем волкана, он опять выстроится. И это сделает не только такой человек, которого мы самодовольно называем диким. Около могил Геркуланума и Помпеи построится Торре-дель-Греко, чтобы погибнуть под новым извержением. Голландцы и дитмарсы станут двадцать раз строить села и города в своих болотах, на прежних местах, после двадцати губительных наводнений, не оставивших камня на камне и бревна на бревне.

Страшное землетрясение губит город Мендосу в Ла-Плате, у подножья Андов. Остаток жителей, спасшихся почти чудом от гибели, возвращается возводить снова погибший город и жить в нем (из четырнадцати или семнадцати тысяч жителей уцелело не более двух тысяч. Из двух тысяч раненых почти все умерли. От города ничего не осталось).

Но при этой неохоте к передвижению, при этом пристраетии к своим местам, при переселениях только вследствие постоянных толчков и утеснений извне как заселились в такую раннюю пору острова, отделенные от материка и друг от друга целыми днями пути даже для наших усовершенствованных судов? На таких одиноких клочках земли, среди пустынного моря, первые европейские мореходы заставали население, родственное далеким континентальным берегам. Как могли забраться туда эти колонисты, когда у них и теперь еще суда похожи на скорлупу ореха и они не удаляются на них дальше тихой бухты?

У самого устья реки, подступая близко к морскому прибрежью, живет издавна рыбачье племя. Когда и что привело его поселиться на этих берегах — преданье не рассказывает. Но из века в век эти вначале беспомощные люди дошли постепенно, мало-помалу, до многих улучшений в своем быту. Главный промысел их, главное средство пропитания — рыболовство сделало уже много успехов. Они не ждут уже отливов, чтобы пользоваться только тем, что случайно оставит море на песке их берега; они могут и не нырять у берегов на неглубокое дно, чтобы добывать себе оттуда раковин и раков. Первый шаг к искусственному рыболовству — плетенная из лоз верша сменилась уже у многих сетью. Имя того, кто первый открыл возможность сучить веревки из коры растений, кто первый изобрел искусство выпрядывать нити из их волокон, неизвестно. Но в воспоминании своем об этом гениальном человеке рыбаки прибрежья готовы признавать его чем-то особым от себя и высшим. Это почти бог в их представлении и, верно, будет настоящим богом, если новое и еще важнейшее открытие какого-нибудь нового гения не заслонит в них памяти старого. Искусство, изобретенное проницательнейшим из этих рыбаков, очень далеко от совершенства; но спасибо и

за то! С ним явилась уверенность в существовании, безопасность от голода. С сетью нельзя остаться без улова.

И первый изобретатель челна из древесной коры неизвестен; но он так же высоко должен стоять во мнении своих земляков, как и изобретатель рыболовной сети. Улучшения в лодке явились постепенно, можно сказать сами собой. Чтобы остановить течь, стали залеплять отверстия глиной; когда глина не держалась и размокала, попробовали древесную смолу, и смола оказалась действительнее и полезнее для прочности челна. Сначала он был слишком открыт, слишком походил на половину устричной раковины, которая так легко захлебывается водой. Другие раковины, игравшие роль наших бумажных кораблей в играх рыбачьих детей, дали мысль более удобной и прочной формы для лодки. Ее удлинили, сузили с боков, закруглили. Эту несовершенную лодку вначале можно было бы назвать почти игрушкой, если бы на той ступени развития, на которой стоят эти прибрежные жители, хотя что-нибудь вызывалось прихотью, а не действительною потребностью. Время прихотей придет для них впоследствии и еще не скоро. Лодка понадобилась для того, чтобы опускать сеть на большой глубине. Управлять ею никто еще не думал. Трудность совладеть с силою волн казалась непреоборимою. К лодке прикреплялась веревка, и только на длину этой веревки могла она удаляться от берега. Даже опрокинуться в ней, неловко вытаскивая сеть, было не опасно. Берег так близко, и каждый — хороший пловец. Да и самая лодка не могла пропасть; ее притягивали за веревку к берегу, выплескивали из нее воду, просушивали, просмаливали, если в ней оказывалось повреждение, и она опять спускалась на воду. Мало-помалу целая флотилия таких лодок появилась у морских отмелей. На ночь и на время прилива каждый уносил свою посудину дальше от берега, и тогда они чернели на желтом песке своими опрокинутыми днами, будто большие недавно выловленные рыбы. Только у этих рыб не было еще плавательных перьев. Но скоро и они явились; явились весла у лодок. Эти весла были вначале не что иное, как просто короткие шесты,— по одному шесту на каждую лодку. С помощью такого ше-

ста оказалось возможным поворачивать лодку и ускорять ее движение. Не вдруг нашлись такие смельчаки, чтобы отвязать веревку от своего челна и совершенно отделиться от берега. Но расчет на более обильную ловлю стал мало-помалу заставлять прибрежных рыбаков отплывать довольно далеко. Прихоти и привычки моря около берегов уже довольно известны. Опасности тут всегда можно избежать. Но отплывая от берега на версту, как не отплыть и на две. Один авантюрист решился добраться до маленького острова, темневшего вдали, среди голубой глади моря. Он бойко принялся грести к нему своим шестом. Остальные товарищи следили за его плаваньем, оставаясь поодаль. Около самого острова лодка быстро закружилась. До них долетел крик пловца. Потом и он и его челнок исчезли под волнами. Их зоркие глаза очень ясно видели, что они погибли. На другой день прилив принес на берег несколько кусков лодки. Пловец так и не возвращался. Гибель его была опытом для других. Они узнали теперь, что приближаться к далекому островку опасно. К этой страшной харибде никто уже не поплывет. Море широко, и есть куда направить по нем свою лодку. Лучше всего держаться берегов. Отплывая дальше прежнего, рыбаки придумали увеличить несколько свои лодки. Вначале они были рассчитаны на одного человека; потом попробовали сделать их просторнее, так чтобы помещалось двое. Наконец придумали соединять две лодки в одну, связывая их веревками и просмаливая эти связи. Тут можно было помещаться уже четверым и даже пятерым; можно было брать и больше грузу. Втроем, вчетвером явилось больше уверенности и смелости. Вместо одного шеста у каждого было по шесту. Гребля пошла успешнее, особенно когда кто-то попробовал вместо прямого и ровного шеста нечто похожее на лопату. Но еще не было изобретено длинного поперечного шеста, который удерживал бы лодку в равновесии, как баланс удерживает плясуна на канате.

Все с большею и большею смелостью стали носиться лодки по открытому морю. Все дальше и дальше решались они уходить от берега. Мужчины и женщины безразлично плавали и промышляли в них.

Две лодки, каждая с тремя пловцами, отплывая вдоль берегов, отдалились от них на большее расстоя-

ние, чем когда-нибудь. Они вдруг очутились на кудрявой и быстрой зыби, справиться с которою были бессильны их весла. Сколько ни упирались они ими в волны, качавшие их челноки, ничего не выходило. Повернуть к берегу было невозможно. Они попали на морское течение. Усталые от бесплодной борьбы, пловцы заметили, что непреоборимая сила моря влечет их все дальше и дальше от родных берегов. Лодки раскачивались сильнее, выходя в открытое море. Страх пловцов, между которыми две женщины, выражается громкими криками. Этих криков не услышат на том берегу, от которого унесло их. Он все более пропадает из виду. Крик сменяется воплями. От их беспокойных движений лодки качаются еще больше — и с этой качкой возрастает страх. Солнце высоко стояло посреди неба, когда они попали на эту невольную дорогу. В каждом челноке было на дне по нескольку пойманных рыб. Рыбаки готовы уже были возвратиться домой, когда море сыграло с ними такую шутку.

Как ни печально положение их, но нельзя же вопить и плакаться беспрестанно. Они перестают кричать и стонать и начинают говорить, что им делать? Эти разговоры напрасны. Они пробуют силу своих весел. Весла бессильны, как солома, перед этим увлекающим их стремлением. Море все шире расстилается перед ними. Они смотрят назад, на свои берега. Видна только темная полоса; но и эта темная полоса превращается в туманную облачную гряду, которая уже не похожа на их родной берег. Знакомые очертания его исчезли. Каждый изгиб берега, каждая возвышенность, каждый выдающийся мыс так хорошо известны им с самого детства! Из дали, какую только может проникнуть их дальнозоркий глаз, они узнают каждую подробность своего прибрежья. Теперь все кажется им на этом прибрежье так чуждо. Они никогда не бывали в такой дали.

Ветер крепнет,— теплые волны его обдают пловцов, как ласковое дыхание; но ласка его так обманчива. Течение становится быстрее; одна широкая волна поднимает лодки, одна опускается с ними. Напрасно стараются пловцы рассмотреть берега позади себя. Еще за минуту они виднелись тонкою темною нитью. Теперь и эта нить исчезла. Кругом, куда ни взглянешь, вода

и вода. Солнце давно уже сошло с зенита. Оно тихо катится к той стороне моря, где исчезла земля, а пловцов несет в противуположную сторону. Им ничего не остается, как покориться увлекающей их стихии. Борьба с нею невозможна. Они смиренно сложили весла на дно своих лодок и сидят уже безмолвные, будто окаменевшие, и только по временам оглядывают бесконечное море. Они забыли на время и о голоде. Губы их пересохли, язык лежит во рту, как кусок коры, и слова с трудом произносятся им. Но вот они вспоминают о запасе рыбы, который есть с ними. Вместе с покорством судьбе должна была войти в них, возвратиться к ним забота об удовлетворении того, что еще можно удовлетворить. Рыба подкрепила их, и они опять начинают говорить. Не земля ли там вдали? И все всматриваются. Нет, это облачко, которое на минуту показалось над самой окраиной вод. Вот оно поднимается к ясному небу и кажется в нем совсем белым; оно разрывается на мелкие волокна, и каждое из этих волокон тает в яркой высоте, и от них не остается ни следа. Солнце все ниже опускается к морю. Один край его уже окунулся в море, и от него идет, ослепительно горя, прямая огненная дорога к лодкам. Волны этого пути отливаются серебром, золотом и пурпуром, как волны расплавленного металла. Дорога эта идет и вперед. Как бесконечный пояс, протянулась она по морю из края в край, и по ней гонит лодки ветер и теченье. И верхний край солнца уже погрузился в океан. Багровая заря протянулась полосой. Блестящая дорога темнеет; но еще быстрее темнеет над головами пловцов небо. В его темной глуби выступили звезды,— и на минуту погасавшие волны засверкали фосфорическими огнями. Опять позади и впереди пловцов лежит светлая дорога. Куда ведет она? Они знают только откуда.

С наступлением ночи сердца их больше сжимаются страхом; в журчанье воды под их лодками слышатся им движения следящих за ними морских чудовищ. Вот что-то плеснуло сильнее; вот лодка как будто дрогнула.

Между тем ветер стих, волны не так высоко вздымаются и не так глубоко опускают лодку. Безмесячная, но звездная ночь безмолвна. Кроме глухого журчанья

по следам лодок, не слышится ни звука. Все море вспыхивает звездами, как темное небо. Это время сна дома, сна крепкого, спокойного. Придет ли сон к этим невольным странникам? Они слишком здоровы, слишком полны жизни и сил, чтобы наложить на себя произвольно бессонницу. У некоторых, почти у всех веки тяжелеют и смыкаются от дремоты. В этом безмолвии ночи, в этом журчанье воды, в этой мерной качке есть что-то невольно усыпляющее. Пловцы, однако ж, уговариваются, чтобы один в каждой лодке не спал, пока остальные растянутся на дне и заснут. Он будет сторожем. Он разбудит их, если где-нибудь покажется земля. Ведь море должно же где-нибудь кончиться. Если он задремлет, он разбудит одного из спящих, и тот сменит его на страже.

Сторожа в обеих лодках недолго будут бодрствовать. Дремота одолеет их прежде, чем они успеют разбудить кого-нибудь из спящих товарищей. Опершись спиной о задок лодки и сидя можно уснуть так удобно. И спящие не будут недовольны, если их не разбудят. Да и можно ли добудиться их?

И море несет эти утлые челноки все дальше и дальше. Бедные пловцы, унесенные в такую страшную даль от родины, грезят, может быть, о своих хижинах, о твердой земле под своими ногами. А уцелеть ли им? Неподалеку выглянула из воды голова акулы с страшной пастью, которая может разгрызть вдребезги их жалкие челноки. Они спят и не слышат. Над головами их, уже перед утром, проносится стая птиц и своим криком будто хочет разбудить их, будто хочет внушить им надежду, что близко есть убежище, что и они могут пристать в тихую бухту острова, где эти птицы вьют свои гнезда. Никто из спящих пловцов не слышит утешительного голоса птиц.

Только когда восток зарумянился перед появлением солнца, проснулись пловцы в обеих лодках. Они увидали с удивлением, что между ними гораздо большее расстояние, чем было вчера. Отчего задняя лодка так отстала? Отчего передняя так далеко убежала вперед? Что такое было ночью? Никто не мог ничего отвечать на эти вопросы. Все спали так крепко и ничего не слыхали. Но теперь они так далеко друг от друга, что голоса с одной лодки едва долетают до другой.

Пловцы, ушедшие вперед, кричат задним, чтоб они помогли веслами бегу лодки и сравнялись с ними. Плыть рядом или близко друг к другу в двух челноках не так жутко, как нестись одиноко по широкому морю в одиноком челноке. Но весла не помогают задней лодке догнать переднюю и сравняться с нею. Напротив, она все больше отстает. С передней лодки все с любопытством следят за отставшими. Заднюю лодку как-то странно раскачивает. Видно, в ней произошло какое-нибудь повреждение. Пловцы кричат громко и отчаянно. Опустясь в глубину между двумя волнами, лодка показывается лишь одним краем. Между пловцами идет как будто борьба. Вот лодка и совсем захлебнулась водой. Показываются из воды головы, руки; на минуту мелькнула опрокинутая лодка. Чьи-то руки ухватились за нее,— и она опять исчезает в воде. Высокая волна поднимает одного из пловцов; но он изнемогает в борьбе.

На передней лодке поднимается жалобный крик. Такая же печальная судьба может постичь и ее. Долго еще с криком следят передовые пловцы за последнею борьбою своих несчастных товарищей. Но вот и следить уже не за чем. Борьба кончилась — и победило море.

Солнце взошло яркое и спокойное. Пловцы приветствовали его радостным восклицанием. Не покажет ли оно где-нибудь вдали хоть тень спасения? На небе не было ни единого облачка; нигде по краям горизонта не виднелось собирающихся клочков тумана. По крайней мере буря минует головы странников. Опять сильнее повеял ветер навстречу солнцу, и быстрее побежала лодка. Пловцы подкрепились остатками рыбы. Если в этот день они не доплывут до какого-нибудь убежища, им придется голодать. Гибель товарищей заставляет их осмотреть свою лодку — нет ли и в ней какого изъяна. Нигде не видно течи; она прочна; лишь бы не ударила гроза. Но вокруг не видно, чтобы она собиралась. Они уже знают, что им не увидать родного берега; но все-таки глаза их невольно обращаются назад. Море поглотило землю повсюду.

Солнце приближалось к полудню: пловцы обливались горячим потом; жажда начала мучить их. Вода кругом, а утолить жажды нечем. Один зачерпнул в ла-

донь морской воды и хлебнул, но язык и губы его стали еще больше сохнуть.

Но вот почти разом из всех уст вырвался радостный крик. Направо, вдалеке, что-то показалось из волн. Сначала пятно как будто не больше лодки; но пятно это растет. Это остров. Только как он далеко. Все-таки надо постараться своротить к нему. Они принимаются за свои весла. Теченье упрямо гонит их своей дорогой, и руки их все больше устают. При каждом небольшом повороте лодки волны грозят захлестнуть ее. Надо оставить и эту попытку, надо проститься и с этой надеждой. А между тем остров виден так ясно. Бесчисленные стаи морских птиц поднимаются над его остроконечными вершинами. Их белые крылья мелькают на солнце, как серебряные звезды. Там есть пища, там есть, конечно, и пресная вода, и лес — там можно жить. А здесь придется умереть.

Остров остался уже назади. Теченье не устает нести лодку в одном направлении. Вот уже опять вокруг нет ничего, кроме воды. Острова как не бывало — и у пловцов вырываются невольные стоны.

Мало-помалу отчаяние и жажда совсем лишают их сил. Они уже не говорят ни слова. От палящего солнца прилегли они на дне лодки, пряча свои головы в тени ее стенок. Будь что будет — они уже не выглянут; они отдались во власть моря — пусть губит. Горячечный сон, с бредом, с дикими грезами, одолевает их малопомалу. Они мечутся на дне лодки, забывая, что могут покачнуть ее.

В этом сне проходит почти весь день. Солнце уже так низко, что лучи его не проникают в лодку. Один из пловцов, посильнее других, одолевает свою дремоту,— как будто какое-то благодетельное дыхание повеяло на него свежестью. Он отрывает от дна лодки свою отяжелевшую голову и выглядывает. Что это? Грезит ли он, или точно видит то, что перед ним? На минуту он остается совсем неподвижным, немым. Прибой быстро несет лодку к земле. Широкий залив, к которому с трех сторон подступают отмели белых коралловых песков, как будто протянул к лодке свои объятия. Со всех сторон зеленеют стройными рядами пышные вершины кокосовых пальм. Прибой гонит лодку в самое устье реки, также обильно опушенной деревьями. Крик

пробудившегося пловца,— крик, в котором так странно смешались и радость, и страх, и восторг, и отчаянье, подымает и его товарищей из их оцепенения.

Лодка быстро мчится в устье реки ровным, некачким течением. В первый раз людские крики оглашают эти воды, эти теплые рощи. Векши с любопытством, но без страха слушают эти незнакомые голоса, смотрят на этих небывалых гостей острова. Вот они уже окружены прохладным мраком леса, весла помогают им причалить к берегу. Они с жадностью утоляют жажду пресной водой,— силы у них прибавилось; они не забывают вытащить на берег свою лодку и привязать ее к ближайшему дереву.

Этот пустынный остров — их владение. Эти люди населят его. Жалкая лодка их попала сюда так же случайно, как и орех кокоса, занесенный морем, орех, от которого коралловая почва острова оделась целыми рощами пальм.

Память о том, как они попали сюда чрез море, сохранится разве в названии ветра, который принес их на остров. Они станут называть его «родным ветром», как дикие американцы в Западной Канаде называют «родным» северо-западный ветер, не помня хорошенько самого своего переселения.

Вообще же они станут считать себя исконными жителями острова <...>

Глава четвертая

I

Страшная гроза шла по горам. По северным отлогим скатам этих гор местами расстилались плодоносные долины, представлявшие роскошное пастбище. Черные тучи быстро клубились по небу, сшибались, сыпали зубчатые молнии, раскатывались по горам грохотом и громом. Вихорь трепал и качал леса. Он ламывал и вырывал с корнями старые деревья; нагибал молодые вершинами к самой земле, будто натягивал их, как тугой лук. Звери и птицы прятались от грозы; прятались и люди, кочевавшие на этих покатых склонах гор, в долинах, около самых лесов, по берегам бы-

стрых горных рек. Буря, ломавшая деревья в лесу, не щадила и непрочных людских шатров. С криками теснились люди около них, стараясь общими силами не дать ветру сорвать те из этих шалашей, которые не были от него защищены или деревьями, или пригорком и неглубоко были вкопаны в землю. И с тех из шатров, которые могли лучше противостоять буре, она срывала крыши из древесной коры и листьев, распахивала войлока и циновки, составлявшие стены шалашей, и часто отрывала и уносила и их. Когда пройдет гроза, все можно будет собрать снова, лишь бы не унесло на реку. У реки же ничего не отнимешь; она унесет все на своих быстрых волнах неизвестно куда.

Посреди своих стараний защитить свои непрочные жилища люди со страхом взглядывали порой на темное небо, по которому вились молнии; они вздрагивали при каждом ударе грома. Это и неудивительно. Они уже знали по опыту, что гроза может зажечь дерево, убить животное, убить человека. Их предание сохранило несколько случаев такой гибели и с течением времени успело придать им смысл наказания, посылаемого от каких-то могучих существ, с которыми человек не в силах бороться и которые правят его жизнью. Гроза с громом и молнией представляется им уже гневом могучего бога. В их страхе перед нею, который есть уже вера, зачатки всех тех представлений, которые развились потом у исторических народов в культе Зевса Громовержца, Тора, Перуна. На их языке нет еще иного имени этому гневному богу, как гром. Оно, вероятно, останется и навсегда синонимом бога.

Гроза ударила на этот раз в одно из деревьев на границе леса и долины. Оно задымилось и вспыхнуло. Огонь быстро побежал по его смолистым ветвям; быстро перебежал на ветви другого дерева. Дождь, полившийся из туч косыми струями, не успел залить пожара. Ветер слишком быстро нес тучи. Дождь прошел длинною полосой по горам.

Проглянуло солнце над освеженною зеленью лесов и лугов; ветер притих — но лес продолжал гореть. При первом клубе дыма, при первой струе пламени почти все обратили внимание с громкими восклицаниями на горящее дерево. В этих восклицаниях слышалось как будто удовольствие.

Несколько человек побежало к месту пожара тотчас же, как только миновала гроза. Ветер совсем притих, и огонь не распространился дальше, тем более что зажженные молнией деревья стояли отдельною группой. Они уже рухнули на землю и пылали на ней как костер. Подошедшие к нему люди обрывали ветки, ламывали сучья с отдаленных деревьев и носили их охапками к костру. Как только пламя становилось слабее, они накидывали на костер сучья и ветки, и огонь опять вспыхивал с треском.

Другие между тем собирали по долине и по горам клочки и обломки своих шатров, раскиданных бурей. Женщины и мужчины хлопотали около них, приводя их в прежний вид,— и скоро кочевье приняло то же положение, в котором было до начала грозы.

Стадо овец, жавшееся к лесу, когда небо было черно и вспыхивало молниями, теперь опять разбрелось по освеженной мураве и щипало ее с наслаждением. Люди не успели загнать стада в ограду из кольев, построенную в полугоре. Так внезапно разразилась гроза, а овцы так далеко разбрелись по пастбищу.

Когда совершилось приручение этих стад, никто не мог бы сказать. Точно так никто не мог бы сказать, когда все это кочевое население перешло через горный хребет и рассеялось по его северной стороне. Смутное предание рассказывает, что наплыв каких-то кровожадных и зверообразных людей заставил этих кочевников оставить южные склоны гор и переселиться на север. Эти места, занятые ими теперь, также обильно могут кормить их; но здесь уже суровее воздух. Там одежда была совершенно излишнею. Здесь приходится в иные времена года прикрываться звериною шкурой. Стада, покорные им, доставляют им и другой род одежды. Из шерсти их они умеют уже валять войлок. Эти войлока годятся и для шатров и для прикрытия своей наготы.

Они узнали уже употребление огня, хотя еще не умеют добывать его. Грозы здесь часты, и ни одна почти не проходит без того, чтобы не зажечь где-нибудь дерево. Сначала испуганные этою силой, перед которою ничто не может устоять, они видели в ней только зло. Но полупогасшее, едва тлеющее пожарище согрело их в холодную ночь, и они поняли, что вместе с злом

в огне есть и добро. Это было не вполне новым открытием. Это было только применением к новому случаю понятий, образовавшихся в них еще прежде. Они уже знали, что гроза, несмотря на опустошения, которые производит, в то же время и освежает всю природу. В громе, в котором они видели сначала только какого-то злого и карающего духа, они стали видеть и благодетельное существо. Молитва их к нему, бывшая сначала только просьбой пощадить их, умилостивлением, стала теперь также и благодарностью за даруемые им блага и хвалою ему.

То же произошло и с огнем, этим сыном грома. Попаляя все на своем пути, он давал только отрадную теплоту, когда ему было мало пищи. Кусок мяса, положенный на уголья, становился вдвое вкуснее, нежели сырой, черепок глины из хрупкого превращался в жесткий. С горящим поленом в руке можно было идти безопасно в самую глухую пущу леса; всякий зверь бежал в страхе от этого факела. Так герой скандинавских преданий горящим деревом убил ничем не победимого дракона.

Но случай не показал еще этим людям, что огонь можно добывать трением двух кусков дерева друг о друга,— и пока надо беречь, как драгоценность, огонь, посланный с неба. У каждого почти шатра устраивается костер. Окраины его загораживаются камнями, чтобы ветер не разносил дров и пламени, чтобы угли могли одеться золой и спокойно тлеть под нею. Эти очаги становятся алтарями, и пламя хранится в них с таким же религиозным благоговением, как хранился огонь Весты. Только особенный случай может погасить его. Но люди уже научены опытом. Погасив по неосторожности огонь, разведенный так же, они должны были долго ждать новой грозы. И хранение огня поневоле стало религиозным обрядом. Если бы кто захотел его нарушить и мог погасить его вновь, все, как один человек, бросились бы на этого преступника и растерзали его. Это была бы и месть за преступление и жертва оскорбленному божеству.

Так, вероятно, начинались все эти религии, в которых играло главную роль поклонение огню. Пусть будет открыто, что огонь можно производить и проще, не дожидаясь, чтобы он снизошел с неба,— старая вера

уже останется. Фантазия и мысль могут обобщить частную пользу — найти связь костра, горящего в кочевой палатке, с солнцем,— и они не ошибутся. Но вместо простого физического закона, который выводим мы, они создадут целую фантастическую теорию, из которой выйдет с течением веков какая-нибудь Зент-Авеста.

II

Долина вся наполнилась смятением. Бедные шалаши, теснившиеся около реки, все опустели. Жалкий и полуобнаженный народ собрался в кучу и с отчаянным криком, размахивая руками, перебивая и не слушая друг друга, обращал головы и глаза к горам, на которых было какое-то странное движение. Оттуда спускался большой и шумный караван. Он двигался отчасти отдельными небольшими отрядами, отчасти многолюдными и густыми массами. Кой-где над этими толпами пеших людей поднимались высоко навьюченные слоны. Их было немного, но они больше всего внушали страха и изумления береговому населению.

Это население жило в долине, на берегу широкой и быстрой реки, пришло сюда с этих же гор, постоянно настигаемое и отодвигаемое с мест своего житья наплывом другого, более многочисленного и уже более развитого племени. Основываясь на новом месте, оно жило в постоянном опасении от нового натиска. Развитие его не успевало сделать ни одного прочного шага при этих переходах, повторявшихся каждое пятидесятилетие, а иногда и чаще. Они остались при тех же первых ничтожных успехах в удобстве жизни, при каких покинули свое первое поселение, все еще довольно привольное, чтобы променять его на более печальные и скудные места. В этих бесконечных и непрерывных скитаниях и переселениях им приходилось находить и такие клочки земли, где жизнь их могла бы идти спокойно, счастливо, по крайней мере сытно. Но ненадолго доводилось им оставаться тут. Опять, будто направляемые какою-то непреложною судьбой, двигались на них пришельцы — и они поднимались заранее с своих мест и двигались дальше, не ожидая и столкновения с более многочисленным племенем. Они попадали

обыкновенно на место еще худшее,— только бы утаиться от преследования. Численность их уменьшалась с каждым таким невольным переходом.

Частая опасность смыкала их довольно прочно между собою. И теперь, когда грозило им нападение (зачем же и идут эти люди, как не нападать?), и теперь они после нескольких минут бессвязного крика могли выбрать и выдвинуть из своей среды трех или четырех человек, от которых надеялись услышать дельное слово, рассудительное распоряжение, полезный совет. Это были герои и мудрецы племени. На этой ступени культуры героизм есть мудрость, мудрость — героизм. Толпа окружила их и примолкла, ожидая, что решат они.

Они стали говорить, что на этот раз не остается ничего делать, как взяться за оружие и ожидать неприятеля. Отступать некуда. Все знали это и без них. Река разлилась широко после весенних дождей. Они так недавно еще жили близ воды — и не знали никакого искусства справляться с нею. У них не было еще лодок; берега реки были болотисты и топки, а просто плавать едва ли кто умел. Да с этим уменьем попасть было некуда. За краем разлива, который едва можно было видеть, лежали топи, в которых надо было погибнуть. По сю сторону — тоже. Место, в котором группировалось их поселение, было загорожено с обеих сторон непроходимыми топкими дебрями. Оставался один исход. Можно было идти почти прямо навстречу каравану, а потом повернуть вдоль этих дебрей. Но прежде чем они могли бы уклониться на эту боковую дорогу, неприятель настиг бы их. Потому лучше оставаться на месте, вооружиться и ждать. Как знать! может быть, пришельцы и не заметят их поселения — и пойдут сами куда-нибудь в сторону. Тогда они останутся в покое. Последнее соображение было скорее утешением, нежели возможностью. Как не увидать этим кочевникам добычи? Глаза их так зорки! а это поселенье — разве это не привлекательная добыча? И охота и война, вначале бывшие только крайностью, необходимостью, успели уже превратиться в кровавую потеху. Но пусть надежда, что враги не увидят неприятеля, видящего их так ясно на горах,— пустая надежда; все остальное в советах выборных людей было совершенно справедливо.

Это знал, конечно, каждый из слушавших. А между тем ропот неудовольствия, а местами и крик ожесточения отвечали из толпы на благоразумные советы. Всякий как будто ждал от этих героев и мудрецов такой мысли, какая не являлась и не могла явиться темным головам остальных. Раздались крики обвинения; многие готовы были схватиться за свои дубины, за свои каменные молоты и топоры. В виду все ближе подступающего неприятеля все народонаселение едва не разделилось на два враждебные лагеря,— едва не завязалась ожесточенная междуусобная война в ожидании войны внешней, которая застигла бы их тогда еще более врасплох. Не кинься из толпы еще человек десять в защиту выборных от народного негодования и гнева, может быть, эти лучшие, сильнейшие и рассудительнейшие из них пали бы первые.

Наконец спокойствие опять восстановилось. Караван был уже так близко, что с горы слышались голоса и оклики чужеземцев. Блеянье стад, подвигавшихся по ее склонам, как пыльные облака, тоже порою доносилось. Времени терять было нечего. Все вооружилось чем попало. Главным оружием были дубины; только у немногих нашлись неуклюжие подобия копий с наконечниками из камня или кости; не больше было и каменных секир, крепко державшихся на деревянных топорищах. Все суетились, стараясь иметь что-нибудь в руках для своей защиты. Лица и движения женщин выражали такую же решимость, такую же силу и воинственность, как и лица мужчин. Руки их также вооружились. Кому не достало оружия, тот выламывал шест из шатра. Крики не умолкали; но всего слышнее был в нем визг и рев детей. Их постоянно отгоняли назад, чтобы они не мешали. Но они продолжали лезть к отцам и матерям, цепляться за их голые ноги и только затрудняли их движения. Обращать на них внимание было некогда — и их просто отталкивали грубым толчком и ударом ноги. Рев усиливался. Но до него ли? И большие стали кричать теперь так, что детских голосов не стало слышно.

Это был ответ на воинственный клич, донесшийся с гор. От передовых отрядов каравана отделилась толпа, которая направлялась, по-видимому, прямо к берегам. Пыль то и дело окутывала эту толпу. И всякий

раз, как пыль отшатывалась в сторону, толпа казалась больше и многочисленнее прежнего, как будто она успевала вырасти в то время, как ее одевало пыльное облако.

Наконец на последнем склоне горы, где трава была слишком высока и влажна, пыль совершенно рассеялась, и можно было во всех подробностях рассмотреть приближающихся неприятелей. Это точно были неприятели. Они шли не из любопытства, не на поиск чего-нибудь, не в гости к приречным жителям. Все это были воины, и счетом их было, вероятно, не меньше, чем и ожидавших нападение их, за исключением разве женщин. Между нападающими женщины не было ни одной.

Приближающаяся толпа была разделена на три отряда. Во главе каждого из них были вожди, отличавшиеся от других и ростом, и убором, и вооружением. У них были наброшены на одно плечо клочки звериных шкур, будто взамену щитов, которых ни у кого не было. Лица и грудь вождей были исчерчены рубцами и узорами, и местами узоры эти ярко виднелись темными красками на оливковой их коже. В завязанных на макушке волосах торчали, развеваясь, длинные орлиные перья. В руке были длинные копья, которые отличались от копий остальной дружины не только длиною, но и такими же украшениями из перьев в том месте, где насажено на древко деревянное острие.

Войско, следовавшее за этими предводителями, было как будто несколько темнокожее их. Все оно было также вооружено копьями; но ни у кого не развевалось перьев на голове, ни у кого не было узоров на лице и на остальном теле. Все были они обнажены, и только низ живота и бедры были прикрыты у них, так же, как и у вождей, повязками из звериных кож или же из какой-то грубой ткани. Кроме копья, у каждого были намотаны на руку ремни и веревки.

Жители речного берега становились в плотную кучу, ожидая приступа. Они с большим усилием вогнали в средину своей толпы детей, и толпа образовала вокруг них что-то вроде тесного и плотного каре.

И в неправильных рядах подступающего неприятеля, и в толпе осаждаемых шел смутный говор; но ни с той, ни с другой стороны не слышно было ни криков

команды, ни распоряжений. Только визг детей делал шумным стан на берегу. Толпа следила, не сводя глаз, за движением неприятелей. Вот им остается только спуститься с этого крутого обрыва горы, и по этой ровной покатости, идущей к самому берегу, они кинутся в атаку.

Вот они и спустились с обрыва; вот приостановились на минуту, будто с тем, чтобы установить между собою боевой порядок. Три отряда, каждый с вождем во главе, расположились рядом. Почти в одно время вожди подняли вверх свои копья, и по всем трем отрядам загремел оглушительный военный крик. В этом крике, от которого далеко убегал в страхе каждый лесной зверь, в этом крике смешивались, кажется, все дикие звуки, какие только способна издать человеческая грудь и человеческая гортань. Одного такого крика было довольно, чтобы отуманить голову, чтобы опьянить каждого его участника жаждою крови. Копья приняли горизонтальное направление во всех руках. Строй ощетинился, как спина дикобраза; и вслед за вождями, гордо размахивавшими своими изукрашенными копьями над головой, все быстрым бегом двинулись на неприятеля. Крик и вопль их беспрестанно возобновлялся.

Каре угрожаемых нападением всколебалось. На военный крик с горы отвечал такой же крик и отсюда, но гораздо слабее и нестройнее. Враги могли слышать по этому крику, что этот кричащий народ непривычен к войне, что это не столько крик вызова или согласия на вызов, сколько крик опасения, страха. Но глаза и у этих людей горели кровью. Они готовились защищать свою жизнь, свое право дышать, свое право ступать ногою по земле. Предводители их тоже выступили вперед и, будто подражая вождям неприятельского войска, начали размахивать над своими головами своими дубинами и дротиками.

Неприятели уже не дальше как во ста шагах. Топот их ног отдался страхом во всех ушах. Опять страшный, дикий, оглушительный крик. По бокам вождей явились по нескольку воинов из строя.

Каре не устояло. Оно заколебалось, и вся толпа, сваливая в беге детей и запинаясь за них, с отчаянным и яростным воплем кинулась навстречу подступающему неприятелю. Напрасно люди, к которым прибегали

за советом до нападения, кричали стоять на месте. Их самих увлек вперед народный поток. Несколько топоров со свистом ворвалось в их плотную массу. Трое или четверо упали.

Но глаза неприятелей смотрели уже прямо в глаза им, щетина копий врезалась в толпу — и все смешалось в пыли, в воплях и криках, в глухом стуке оружий. Как один клуб, сцепились все. Чаще всего мелькали высоко над этою сцепившеюся массой орлиные перья на головах вождей. Они с быстротою молнии являлись то тут, то там. Скрежет, вопли, треск сломанных оружий обозначали их дорогу. Неприятели оцепили со всех сторон осажденных,— копья и топоры их работали без устали. Могли ль против них устоять эти дубины, эти жалкие дротики, ломкие, как тростник. Битва шла и между теми, кто стоял на ногах, и между теми, кто влачился уже на земле, в лужах крови. Женщины, у которых было выбито из рук оружие, обвивались руками, как змеи, вкруг членов врага, вцеплялись зубами в их тело, пока не падали под ударом топора с раздробленною головой. Иные просили пощады, валяясь в грязи и крови, и в ответ падал на их голову удар копья или секиры. Только в самом начале битвы пало несколько человек из среды нападающих; но их было вдвое больше, и оружие их было вдвое лучше. Им было нетрудно задушить слабейшего неприятеля. Они сразу отрезали ему всякое отступление. Да и зачем побежал бы он? Чтоб быть тотчас же настигнутым и свалиться окровавленным и бездыханным трупом точно так же, как свалился теперь, не пытаясь бежать из ожесточенной свалки. В несколько минут судьба сражения была решена. Это было уже не сражение, а бойня. Неприятели с яростными криками дробили головы безоружным и прикалывали копьями тех, у кого доставало силы приподняться с земли. Когда всякому был уже виден перевес сил, женщин перестали бить, кроме лишь некоторых, мстительная ярость которых доходила до исступления и которые сами рвались грудью на острие копья.

Вожди выпрямились после свалки, высоко подняли свои копья и крикнули своим дружинам прекратить битву. В ответ им раздался такой же дикий крик, каким началась битва; но в этом крике было уже не

столько воинственной ярости, сколько довольства успешно конченным делом, торжества победы.

— Вяжи женщин!

И все смотали веревки и ремни со своих рук и при женском визге принялись вязать всех женщин, которые остались в живых, сваливая их в кровавые лужи и нажимая в грудь коленом.

— Добивай раненых!

Связанных женщин оттащили прочь; кучей согнали к ним детей; и когда толпа победителей отшатнулась немного от места побоища, оно представляло одну кровавую настилку разбитых тел, проломленных голов, и смешанная с землей кровь чернела везде запекшимися лужами. Раненые стонали, хрипели, выли; некоторые, изгибаясь от боли, грызли себе руки. Они недолго ждали себе конца. При малейшем движении посреди этих куч победители кидались к тому, у кого еще была сила пошевелиться, и добивали его. Кому мало было одного удара, на того падало их несколько, до тех пор пока он не переставал хрипеть. Ни одного мужчины не осталось в живых.

Своих убитых и раненых победители оттащили прочь и положили отдельно.

Каждый из вождей вытащил из груды мертвых тел по мужскому трупу. С криками торжественного привета остальные воины отступили прочь и стали в порядке, окружив пленных женщин и детей. Вожди отерли кровавый пот со своих пестрых лиц и положили три вытащенных ими трупа на пригорке перед дружиной. Дружина стояла в молчании, будто благоговейно ожидала совершения какого-то религиозного таинства.

Каждый из вождей вынул по ножу из-за своего пояса, и почти все трое разом распороли грудь мертвым. Каждый вырвал из теплой еще груди врага его сердце и поднял в руке, показывая войску. Сердце в руке одного из вождей вздрагивало,— и громкий клик войска сменил безмолвное ожидание.

В присутствии своих воинов вожди съели кровавые сердца врагов.

Оставаться дольше на месте битвы нечего. Эти враги были так бедны, что после них нечем поживиться. Можно разве собрать осколки их скудного оружия. А больше у них нет ничего. Шалаши их построены из

древесной коры, из листьев; в шалашах этих нет никаких запасов. Они жили изо дня в день тем, что пошлет случай или счастье.

Вся добыча заключается в этих женщинах, в этих детях. И победители знают уже, что эта добыча для них ценнее всего остального. Уже не в первый раз они приводят пленных из битвы с соседним племенем. Еще не случалось им одерживать победы такой полной, еще никогда не забирали они в свои руки стольких женщин и детей; но это все-таки не первый опыт.

В первой стычке они взяли в плен нескольких мужчин; но они не оставили их в живых. Это были враги в их среде: можно ли было терпеть их? И их убили. Так повторялось и при каждой новой войне. Женщин и детей они щадили, как более слабых, и делили их между собой,— и в их кочевом обществе создалось первое прочное основание рабства.

Рабство было и до тех пор; но рабами были только женщины — жены, дочери,— жены рабами вечными, дочери рабами до замужества, то есть до нового и более сурового рабства. Рабами отцов были и сыновья; но только до совершеннолетия. Детям пленным не было положено такого предела. Из них образовалось сословие рабов, не связанное никакими родственными узами с своими господами.

1869

Федор Достоевский
Сон смешного человека

Фантастический рассказ

I

Я смешной человек. Они меня называют теперь сумасшедшим. Это было бы повышение в чине, если б я все еще не оставался для них таким же смешным, как и прежде. Но теперь уж я не сержусь, теперь они все мне милы, и даже когда они смеются надо мной — и тогда чем-то даже особенно милы. Я бы сам смеялся с ними,— не то что над собой, а их любя, если б мне не было так грустно, на них глядя. Грустно потому, что они не знают истины, а я знаю истину. Ох, как тяжело одному знать истину! Но они этого не поймут. Нет, не поймут.

А прежде я тосковал очень, оттого, что казался смешным. Не казался, а был. Я всегда был смешон, и знаю это, может быть, с самого моего рождения. Может быть, я уже семи лет знал, что я смешон. Потом я учился в школе, потом в университете, и что же — чем больше я учился, тем больше я научался тому, что я смешон. Так что для меня вся моя университетская наука как бы для того только и существовала под конец, чтобы доказать и объяснять мне, по мере того как я в нее углублялся, что я смешон. Подобно как в науке, шло и в жизни. С каждым годом нарастало и укреплялось во мне то же самое сознание о моем смешном виде во всех отношениях. Надо мной смеялись все и всегда. Но не знали они никто и не догадывались о том, что если был человек на земле, больше всех знавший про то, что я смешон, так это был сам я, и вот это-то было для меня всего обиднее, что они этого не знают, но тут я сам был виноват: я всегда был так горд, что ни за что и никогда не

хотел никому в этом признаться. Гордость эта росла во мне с годами, и если б случилось так, что я хоть перед кем бы то ни было позволил бы себе признаться, что я смешной, то, мне кажется, я тут же, в тот же вечер, раздробил бы себе голову из револьвера. О, как я страдал в моем отрочестве о том, что я не выдержу и вдруг как-нибудь признаюсь сам товарищам. Но с тех пор, как я стал молодым человеком, я хоть и узнавал с каждым годом все больше и больше о моем ужасном качестве, но почему-то стал немного спокойнее. Именно почему-то, потому что я и до сих пор не могу определить почему. Может быть, потому, что в душе моей нарастала страшная тоска по одному обстоятельству, которое было уже бесконечно выше всего меня: именно — это было постигшее меня одно убеждение в том, что на свете везде *все равно*. Я очень давно предчувствовал это, но полное убеждение явилось в последний год как-то вдруг. Я вдруг почувствовал, что мне *все равно* было бы, существовал ли бы мир, или если б нигде ничего не было. Я стал слышать и чувствовать всем существом моим, что *ничего при мне не было*. Сначала мне все казалось, что зато было много прежде, но потом я догадался, что и прежде ничего тоже не было, а только почему-то казалось. Мало-помалу я убедился, что и никогда ничего не будет. Тогда я вдруг перестал сердиться на людей, и почти стал не примечать их. Право, это обнаруживалось даже в самых мелких пустяках: я, например, случалось, иду по улице и натыкаюсь на людей. И не то чтоб от задумчивости: об чем мне было думать, я совсем перестал тогда думать: мне было все равно. И добро бы я разрешил вопросы: о; ни одного не разрешил, а сколько их было? Но мне стало *все равно*, и вопросы все удалились.

И вот, после того уж, я узнал истину. Истину я узнал в прошлом ноябре, и именно третьего ноября, и с того времени я каждое мгновение мое помню. Это было в мрачный, самый мрачный вечер, какой только может быть. Я возвращался тогда в одиннадцатом часу вечера домой, и именно, помню, я подумал, что уж не может быть более мрачного времени. Даже в физическом отношении. Дождь лил весь день, и это был самый холодный и мрачный дождь, какой-то даже грез-

ный дождь, я это помню, с явной враждебностью к людям, а тут вдруг, в одиннадцатом часу, перестал, и началась страшная сырость, сырее и холоднее, чем когда дождь шел, и ото всего шел какой-то пар, от каждого камня на улице и из каждого переулка, если заглянуть в него в самую глубь, подальше, с улицы. Мне вдруг представилось, что если б потух везде газ, то стало бы отраднее, а с газом грустнее сердцу, потому что он все это освещает. Я в этот день почти не обедал и с раннего вечера просидел у одного инженера, а у него сидели еще двое приятелей. Я все молчал и, кажется, им надоел. Они говорили об чем-то вызывающем и вдруг даже разгорячились. Но им было все равно, я это видел, и они горячились только так. Я им вдруг и высказал это: «Господа, ведь вам, говорю, все равно». Они не обиделись, а все надо мной засмеялись. Это оттого, что я сказал без всякого упрека и просто потому, что мне было все равно. Они и увидели, что мне все равно, и им стало весело.

Когда я на улице подумал про газ, то взглянул на небо. Небо было ужасно темное, но явно можно было различить разорванные облака, а между ними бездонные черные пятна. Вдруг я заметил в одном из этих пятен звездочку и стал пристально глядеть на нее. Это потому, что эта звездочка дала мне мысль: я положил в эту ночь убить себя. У меня это было твердо положено еще два месяца назад, и как я ни беден, а купил прекрасный револьвер и в тот же день зарядил его. Но прошло уже два месяца, а он все лежал в ящике; но мне было до того все равно, что захотелось, наконец, улучить минуту, когда будет не так все равно, для чего так — не знаю. И, таким образом, в эти два месяца я каждую ночь, возвращаясь домой, думал, что застрелюсь. Я все ждал минуты. И вот теперь эта звездочка дала мне мысль, и я положил, что это будет непременно уже в эту ночь. А почему звездочка дала мысль — не знаю.

И вот, когда я смотрел на небо, меня вдруг схватила за локоть эта девочка. Улица уже была пуста и никого почти не было. Вдали спал на дрожках извозчик. Девочка была лет восьми, в платочке и в одном платьишке, вся мокрая, но я запомнил особенно ее мокрые разорванные башмаки, и теперь помню. Они мне осо-

бенно мелькнули в глаза. Она вдруг стала дергать меня за локоть и звать. Она не плакала, но как-то отрывисто выкрикивала какие-то слова, которые не могла хорошо выговорить, потому что вся дрожала мелкой дрожью в ознобе. Она была от чего-то в ужасе и кричала отчаянно: «Мамочка! мамочка!» Я обернул было к ней лицо, но не сказал ни слова и продолжал идти, но она бежала и дергала меня, и в голосе ее прозвучал тот звук, который у очень испуганных детей означает отчаяние. Я знаю этот звук. Хоть она и не договаривала слова, но я понял, что ее мать где-то помирает или что-то там с ними случилось, и она выбежала позвать кого-то, найти что-то, чтоб помочь маме. Но я не пошел за ней, и, напротив, у меня явилась вдруг мысль прогнать ее. Я сначала ей сказал, чтоб она отыскала городового. Но она вдруг сложила ручки и, всхлипывая, задыхаясь, все бежала сбоку и не покидала меня. Вот тогда-то я топнул на нее и крикнул. Она прокричала лишь: «Барин, барин!..», но вдруг бросила меня и стремглав перебежала улицу: там показался тоже какой-то прохожий, и она, видно, бросилась от меня к нему.

Я поднялся в мой пятый этаж. Я живу от хозяев, и у нас номера. Комната у меня бедная и маленькая, а окно чердачное, полукруглое. У меня клеенчатый диван, стол, на котором книги, два стула и покойное кресло, старое-престарое, но зато вольтеровское. Я сел, зажег свечку и стал думать. Рядом, в другой комнате за перегородкой, продолжался содом. Он шел у них еще с третьего дня. Там жил отставной капитан, а у него были гости — человек шесть стрюцких, пили водку и играли в штос старыми картами. В прошлую ночь была драка, и я знаю, что двое из них долго таскали друг друга за волосы. Хозяйка хотела жаловаться, но она боится капитана ужасно. Прочих жильцов у нас в номерах всего одна маленькая ростом и худенькая дама, из полковых, приезжая, с тремя маленькими и заболевшими уже у нас в номерах детьми. И она и дети боятся капитана до обмороку и всю ночь трясутся и крестятся, а с самым маленьким ребенком был от страху какой-то припадок. Этот капитан, я наверно знаю, останавливает иной раз прохожих на Невском и просит на бедность. На службу его не принимают, но,

странное дело (я ведь к тому и рассказываю это), капитан во весь месяц, с тех пор как живет у нас, не возбудил во мне никакой досады. От знакомства я, конечно, уклонился с самого начала, да ему и самому скучно со мной стало с первого же разу, но сколько бы они ни кричали за своей перегородкой, и сколько бы их там ни было,— мне всегда все равно. Я сижу всю ночь и, право, их не слышу,— до того о них забываю. Я ведь каждую ночь не сплю до самого рассвета, и вот уже этак год. Я просиживаю всю ночь у стола в креслах и ничего не делаю. Книги читаю я только днем. Сижу и даже не думаю, а так, какие-то мысли бродят, а я их пускаю на волю. Свечка сгорает в ночь вся. Я сел у стола тихо, вынул револьвер и положил перед собою. Когда я его положил, то, помню, спросил себя: «Так ли?», и совершенно утвердительно ответил себе: «Так». То есть застрелюсь. Я знал, что уж в эту ночь застрелюсь наверно, но сколько еще просижу до тех пор за столом — этого не знал. И уж конечно бы, застрелился, если б не та девочка.

II

Видите ли: хоть мне и было все равно, но ведь боль-то я, например, чувствовал. Ударь меня кто, и я бы почувствовал боль. Так точно и в нравственном отношении: случись что-нибудь очень жалкое, то почувствовал бы жалость, так же как и тогда, когда мне было еще в жизни не все равно. Я и почувствовал жалость давеча: уж ребенку-то я бы непременно помог. Почему ж я не помог девочке? А из одной явившейся тогда идеи: когда она дергала и звала меня, то вдруг возник тогда передо мной вопрос, и я не мог разрешить его. Вопрос был праздный, но я рассердился. Рассердился вследствие того вывода, что если я уже решил, что в нынешнюю ночь с собой покончу, то, стало быть, мне все на свете должно было стать теперь, более чем когда-нибудь, все равно. Отчего же я вдруг почувствовал, что мне не все равно, и я жалею девочку? Я помню, что я ее очень пожалел; до какой-то даже странной боли, и совсем даже невероятной в моем положении. Право, я не умею лучше передать этого тогдашнего моего мимолетного ощущения, но ощущение продолжалось и дома, когда уже я засел за столом, и я очень

был раздражен, как давно уже не был. Рассуждение текло за рассуждением. Представлялось ясным, что если я человек, и еще не нуль, и пока не обратился в нуль, то живу, а следственно, могу страдать, сердиться и ощущать стыд за свои поступки. Пусть. Но ведь если я убью себя, например, через два часа, то что мне девочка и какое мне тогда дело и до стыда и до всего на свете? Я обращаюсь в нуль, в нуль абсолютный. И неужели сознание о том, что я сейчас совершенно не буду существовать, а стало быть, и ничто не будет существовать, не могло иметь ни малейшего влияния ни на чувство жалости к девочке, ни на чувство стыда после сделанной подлости? Ведь я потому-то и затопал и закричал диким голосом на несчастного ребенка, что, «дескать, не только вот не чувствую жалости, но если и бесчеловечную подлость сделаю, то теперь могу, потому что через два часа все угаснет». Верите ли, что потому закричал? я теперь почти убежден в этом. Ясным представлялось, что жизнь и мир теперь как бы от меня зависят. Можно сказать даже так, что мир теперь как бы для меня одного и сделан: застрелюсь я, и мира не будет, по крайней мере для меня. Не говоря уже о том, что, может быть, и действительно ни для кого ничего не будет после меня, и весь мир, только лишь угаснет мое сознание, угаснет тотчас, как призрак, как принадлежность лишь одного моего сознания, и упразднится, ибо, может быть, весь этот мир и все эти люди — я-то сам один и есть. Помню, что, сидя и рассуждая, я обертывал все эти новые вопросы, теснившиеся один за другим, совсем даже в другую сторону и выдумывал совсем уж новое. Например, мне вдруг представилось одно странное соображение, что если б я жил прежде на луне или на Марсе, и сделал бы там какой-нибудь самый срамный и бесчестный поступок, какой только можно себе представить, и был там за него поруган и обесчещен так, как только можно ощутить и представить лишь разве иногда во сне, в кошмаре, и если б, очутившись потом на земле, я продолжал бы сохранять сознание о том, что сделал на другой планете, и, кроме того, знал бы, что уже туда ни за что и никогда не возвращусь, то, смотря с земли на луну,— было бы мне *все равно* или нет? Ощущал ли бы я за тот поступок стыд или нет? Вопросы были празд-

ные и лишние, так как револьвер лежал уже передо мною, и я всем существом моим знал, что *это* будет наверно, но они горячили меня, и я бесился. Я как бы уже не мог умереть теперь, чего-то не разрешив предварительно. Одним словом, эта девочка спасла меня, потому что я вопросами отдалил выстрел. У капитана же между тем стало тоже все утихать: они кончили в карты, устраивались спать, а пока ворчали и лениво доругивались. Вот тут-то я вдруг и заснул, чего никогда со мной не случалось прежде, за столом в креслах. Я заснул совершенно мне неприметно. Сны, как известно, чрезвычайно странная вещь: одно представляется с ужасающей ясностью, с ювелирски мелочною отделкой подробностей, а через другое перескакиваешь, как бы не замечая вовсе, например через пространство и время. Сны, кажется, стремит не рассудок, а желание, не голова, а сердце, а между тем какие хитрейшие вещи проделывал иногда мой рассудок во сне! Между тем с ним происходят во сне вещи совсем непостижимые. Мой брат, например, умер пять лет назад. Я иногда его вижу во сне: он принимает участие в моих делах, мы очень заинтересованы, а между тем я ведь вполне, во все продолжение сна, знаю и помню, что брат мой помер и схоронен. Как же я не дивлюсь тому, что он хоть и мертвый, а все-таки тут подле меня и со мной хлопочет? Почему разум мой совершенно допускает все это? Но довольно. Приступаю к сну моему. Да, мне приснился тогда этот сон, мой сон третьего ноября! Они дразнят меня теперь тем, что ведь это был только сон. Но неужели не все равно, сон или нет, если сон этот возвестил мне Истину? Ведь если раз узнал истину и увидел ее, то ведь знаешь, что она истина и другой нет и не может быть, спите вы или живете. Ну и пусть сон, и пусть, но эту жизнь, которую вы так превозносите, я хотел погасить самоубийством, а сон мой, сон мой,— о, он возвестил мне новую, великую, обновленную, сильную жизнь!

Слушайте.

III

Я сказал, что заснул незаметно и даже как бы продолжая рассуждать о тех же материях. Вдруг приснилось мне, что я беру револьвер и, сидя, наставляю его

прямо в сердце,— в сердце, а не в голову; я же положил прежде непременно застрелиться в голову, и именно в правый висок. Наставив в грудь, я подождал секунду или две, и свечка моя, стол и стена передо мною вдруг задвигались и заколыхались. Я поскорее выстрелил.

Во сне вы падаете иногда с высоты, или режут вас, или бьют, но вы никогда не чувствуете боли, кроме разве если сами как-нибудь действительно ушибетесь в кровати, тут вы почувствуете боль и всегда почти от боли проснетесь. Так и во сне моем: боли я не почувствовал, но мне представилось, что с выстрелом моим все во мне сотряслось и все вдруг потухло, и стало кругом меня ужасно черно. Я как будто ослеп и онемел, и вот я лежу на чем-то твердом, протянутый, навзничь, ничего не вижу и не могу сделать ни малейшего движения. Кругом ходят и кричат, басит капитан, визжит хозяйка,— и вдруг опять перерыв, и вот уже меня несут в закрытом гробе. И я чувствую, как колыхается гроб, и рассуждаю об этом, и вдруг меня в первый раз поражает идея, что ведь я умер, совсем умер, знаю это и не сомневаюсь, не вижу и не движусь, а между тем чувствую и рассуждаю. Но я скоро мирюсь с этим и по обыкновению, как во сне, принимаю действительность без спору.

И вот меня зарывают в землю. Все уходят, я один, совершенно один. Я не движусь. Всегда, когда я прежде наяву представлял себе, как меня похоронят в могиле, то собственно с могилой соединял лишь одно ощущение сырости и холода. Так и теперь я почувствовал, что мне очень холодно, особенно концам пальцев на ногах, но больше ничего не почувствовал.

Я лежал и, странно,— ничего не ждал, без спору принимая, что мертвому ждать нечего. Но было сыро. Не знаю, сколько прошло времени,— час, или несколько дней, или много дней. Но вот вдруг на левый закрытый глаз мой упала просочившаяся через крышу гроба капля воды, за ней через минуту другая, затем через минуту третья, и так далее и так далее, все через минуту. Глубокое негодование загорелось вдруг в сердце моем, и вдруг я почувствовал в нем физическую боль. «Это рана моя,— подумал я,— это выстрел, там пуля...» А капля все капала, каждую минуту и прямо на

закрытый глаз. И я вдруг воззвал, не голосом, ибо был недвижим, но всем существом моим к властителю всего того, что совершалось со мною:

— Как бы ты ни был, но если ты есть, и если существует что-нибудь разумнее того, что теперь совершается, то дозволь ему быть и здесь. Если же ты мстишь мне за неразумное самоубийство мое безобразием и нелепостью дальнейшего бытия, то знай, что никогда и никакому мучению, какое бы ни постигло меня, не сравниться с тем презрением, которое я буду молча ощущать, хотя бы в продолжение миллионов лет мученичества!..

Я воззвал и смолк. Целую почти минуту продолжалось глубокое молчание, и даже еще одна капля упала, но я знал, я беспредельно и нерушимо знал и верил, что непременно сейчас все изменится. И вот вдруг разверзлась могила моя. То есть я не знаю, была ли она раскрыта и раскопана, но я был взят каким-то темным и неизвестным мне существом, и мы очутились в пространстве. Я вдруг прозрел: была глубокая ночь, и никогда, никогда еще не было такой темноты! Мы неслись в пространстве уже далеко от земли. Я не спрашивал того, который нес меня, ни о чем, я ждал и был горд. Я уверял себя, что не боюсь, и замирал от восхищения при мысли, что не боюсь. Я не помню, сколько времени мы неслись, и не могу представить: совершалось все так, как всегда во сне, когда перескакиваешь через пространство и время и через законы бытия и рассудка, и останавливаешься лишь на точках, о которых грезит сердце. Я помню, что вдруг увидал в темноте одну звездочку. «Это Сириус?» — спросил я, вдруг не удержавшись, ибо я не хотел ни о чем спрашивать. «Нет, это та самая звезда, которую ты видел между облаками, возвращаясь домой»,— отвечало мне существо, уносившее меня. Я знал, что оно имело как бы лик человеческий. Странное дело, я не любил это существо, даже чувствовал глубокое отвращение. Я ждал совершенного небытия и с тем выстрелил себе в сердце. И вот я в руках существа, конечно, не человеческого, но которое *есть*, существует: «А стало быть, есть и за гробом жизнь!» — подумал я с странным легкомыслием сна, но сущность сердца моего оставалась со мною во всей глубине: «И если надо *быть* снова,— подумал

я,— и жить опять по чьей-то неустранимой воле, то не хочу, чтоб меня победили и унизили!» — «Ты знаешь, что я боюсь тебя, и за то презираешь меня»,— сказал я вдруг моему спутнику, не удержавшись от унизительного вопроса, в котором заключалось признание, и ощутив, как укол булавки, в сердце моем унижение мое. Он не ответил на вопрос мой, но я вдруг почувствовал, что меня не презирают и надо мной не смеются, и даже не сожалеют меня и что путь наш имеет цель неизвестную и таинственную и касающуюся одного меня. Страх нарастал в моем сердце. Что-то немо, но с мучением сообщалось мне от моего молчащего спутника и как бы проницало меня. Мы неслись в темных и неведомых пространствах. Я давно уже перестал видеть знакомые глазу созвездия. Я знал, что есть такие звезды в небесных пространствах, от которых лучи доходят на землю лишь в тысячи и миллионы лет. Может быть, мы уже пролетали эти пространства. Я ждал чего-то в страшной измучившей мое сердце тоске. И вдруг какое-то знакомое и в высшей степени зовущее чувство сотрясло меня: я увидел вдруг *наше солнце*! Я знал, что это не могло быть *наше* солнце, породившее *нашу* землю, и что мы от нашего солнца на бесконечном расстоянии, но я узнал почему-то всем существом моим, что это совершенно такое же солнце, как и наше, повторение его и двойник его. Сладкое, зовущее чувство зазвучало восторгом в душе моей: родная сила света, того же, который родил меня, отозвалась в моем сердце и воскресила его, и я ощутил жизнь, прежнюю жизнь, в первый раз после моей могилы.

— Но если это — солнце, если это совершенно такое же солнце, как наше,— вскричал я,— то где же земля? — И мой спутник указал мне на звездочку, сверкавшую в темноте изумрудным блеском. Мы неслись прямо к ней.

— И неужели возможны такие повторения во вселенной, неужели таков природный закон?.. И если это там земля, то неужели она такая же земля, как и наша... совершенно такая же, несчастная, бедная, но дорогая и вечно любимая, и такую же мучительную любовь рождающая к себе в самых неблагодарных даже детях своих, как и наша?..— вскрикивал я, сотрясаясь от неудержимой, восторженной любви к той родной

прежней земле, которую я покинул. Образ бедной девочки, которую я обидел, промелькнул передо мною.

— Увидишь все,— ответил мой спутник, и какая-то печаль послышалась в его слове. Но мы быстро приближались к планете. Она росла в глазах моих, я уже различал океан, очертания Европы, и вдруг странное чувство какой-то великой, святой ревности возгорелось в сердце моем: «Как может быть подобное повторение и для чего? Я люблю, я могу любить лишь ту землю, которую я оставил, на которой остались брызги крови моей, когда я, неблагодарный, выстрелом в сердце мое погасил мою жизнь. Но никогда, никогда не переставал я любить ту землю, и даже в ту ночь, расставаясь с ней, я, может быть, любил ее мучительнее, чем когда-либо. Есть ли мучение на этой новой земле? На нашей земле мы истинно можем любить лишь с мучением и только через мучение! Мы иначе не умеем любить и не знаем иной любви. Я хочу мучения, чтоб любить. Я хочу, я жажду, в сию минуту, целовать, обливаясь слезами, лишь одну ту землю, которую я оставил, и не хочу, не принимаю жизни ни на какой иной!..»

Но спутник мой уже оставил меня. Я вдруг, совсем как бы для меня незаметно, стал на этой другой земле в ярком свете солнечного, прелестного, как рай, дня. Я стоял, кажется, на одном из тех островов, которые составляют на нашей земле греческий архипелаг, или где-нибудь на прибрежье материка, прилегающего к этому архипелагу. О, все было точно так же, как у нас, но, казалось, всюду сияло каким-то праздником и великим, святым и достигнутым, наконец, торжеством. Ласковое изумрудное море тихо плескало о берега и лобызало их с любовью, явной, видимой, почти сознательной. Высокие, прекрасные деревья стояли во всей роскоши своего цвета, а бесчисленные листочки их, я убежден в том, приветствовали меня тихим, ласковым своим шумом, и как бы выговаривали какие-то слова любви. Мурава горела яркими ароматными цветами. Птички стадами перелетали в воздухе и, не боясь меня, садились мне на плечи и на руки и радостно били меня своими милыми, трепетными крылышками. И, наконец, я увидел и узнал людей счастливой земли этой. Они пришли ко мне сами, они окружили меня, целовали меня. Дети солнца, дети своего солнца,— о, как они

были прекрасны! Никогда я не видывал на нашей земле такой красоты в человеке. Разве лишь в детях наших, в самые первые годы их возраста, можно бы было найти отдаленный, хотя и слабый отблеск красоты этой. Глаза этих счастливых людей сверкали ясным блеском. Лица их сияли разумом и каким-то восполнившимся уже до спокойствия сознанием, но лица эти были веселы; в словах и голосах этих людей звучала детская радость. О, я тотчас же, при первом взгляде на их лица, понял все, все! Это была земля, не оскверненная грехопадением, на ней жили люди не согрешившие, жили в таком же раю, в каком жили, по преданиям всего человечества, и наши согрешившие прародители, с тою только разницею, что вся земля здесь была повсюду одним и тем же раем. Эти люди, радостно смеясь, теснились ко мне и ласкали меня; они увели меня к себе, и всякому из них хотелось успокоить меня. О, они не расспрашивали меня ни о чем, но как бы все уже знали, так мне казалось, и им хотелось согнать поскорее страдание с лица моего.

IV

Видите ли что, опять-таки: ну, пусть это был только сон! Но ощущение любви этих невинных и прекрасных людей осталось во мне навеки, и я чувствую, что их любовь изливается на меня и теперь оттуда. Я видел их сам, их познал и убедился, я любил их, я страдал за них потом. О, я тотчас же понял, даже тогда, что во многом не пойму их вовсе; мне, как современному русскому прогрессисту и гнусному петербуржцу, казалось неразрешимым то, например, что они, зная столь много, не имеют нашей науки. Но я скоро понял, что знание их восполнялось и питалось иными проникновениями, чем у нас на земле, и что стремления их были тоже совсем иные. Они не желали ничего и были спокойны, они не стремились к познанию жизни так, как мы стремимся сознать ее, потому что жизнь их была восполнена. Но знание их было глубже и высшее, чем у нашей науки; ибо наука наша ищет объяснить, что такое жизнь, сама стремится сознать ее, чтоб научить других жить; они же и без науки знали, как им жить, и это я понял, но я не мог понять их знания. Они ука-

зывали мне на деревья свои, и я не мог понять той степени любви, с которою они смотрели на них: точно они говорили с себе подобными существами. И знаете, может быть, я не ошибусь, если скажу, что они говорили с ними! Да, они нашли их язык, и убежден, что те понимали их. Так смотрели они и на всю природу — на животных, которые жили с ними мирно, не нападали на них и любили их, побежденные их же любовью. Они указывали мне на звезды и говорили о них со мною о чем-то, чего я не мог понять, но я убежден, что они как бы чем-то соприкасались с небесными звездами, не мыслию только, а каким-то живым путем. О, эти люди и не добивались, чтоб я понимал их, они любили меня и без того, но зато я знал, что они никогда не поймут меня, а потому почти и не говорил им о нашей земле. Я лишь целовал при них ту землю, на которой они жили, и без слов обожал их самих, и они видели это и давали себя обожать, не стыдясь, что я их обожаю, потому что много любили сами. Они не страдали за меня, когда я, в слезах, порою целовал их ноги, радостно зная в сердце своем, какою силой любви они мне ответят. Порою я спрашивал себя в удивлении: как могли они, все время, не оскорбить такого, как я, и ни разу не возбудить в таком, как я, чувства ревности и зависти? Много раз я спрашивал себя, как я мог, хвастун и лжец, не говорить им о моих познаниях, о которых, конечно, они не имели понятия, не желать удивить их ими, или хотя бы только из любви к ним? Они были резвы и веселы, как дети. Они блуждали по своим прекрасным рощам и лесам, они пели свои прекрасные песни, они питались легкою пищею, плодами своих деревьев, медом лесов своих и молоком их любивших животных. Для пищи и для одежды своей они трудились лишь немного и слегка. У них была любовь и рождались дети, но никогда я не замечал в них порывов того жестокого сладострастия, которое постигает почти всех на нашей земле, всех и всякого, и служит единственным источником почти всех грехов нашего человечества. Они радовались являвшимся у них детям, как новым участникам в их блаженстве. Между ними не было ссор и не было ревности, и они не понимали даже, что это значит. Их дети были детьми всех, потому что все составляли одну семью. У них по-

чти совсем не было болезней, хотя и была смерть; но старики умирали тихо, как бы засыпая, окруженные прощавшимися с ними людьми, благословляя их, улыбаясь им и сами напутствуемые их светлыми улыбками. Скорби, слез при этом я не видал, а была лишь умножившаяся как бы до восторга любовь, но до восторга спокойного, восполнившегося, созерцательного. Подумать можно было, что они соприкасались еще с умершими своими даже и после их смерти и что земное единение между ними не прерывалось смертию. Они почти не понимали меня, когда я спрашивал их про вечную жизнь, но, видимо, были в ней до того убеждены безотчетно, что это не составляло для них вопроса. У них не было храмов, но у них было какое-то насущное, живое и беспрерывное единение с Целым вселенной; у них не было веры, зато было твердое знание, что когда восполнится их земная радость до пределов природы земной, тогда наступит для них, и для живущих и для умерших, еще большее расширение соприкосновения с Целым вселенной. Они ждали этого мгновения с радостию, но не торопясь, не страдая по нем, а как бы уже имея его в предчувствиях сердца своего, о которых они сообщали друг другу. По вечерам, отходя ко сну, они любили составлять согласные и стройные хоры. В этих песнях они передавали все ощущения, которые доставил им отходящий день, славили его и прощались с ним. Они славили природу, землю, море, леса. Они любили слагать песни друг о друге и хвалили друг друга, как дети; это были самые простые песни, но они выливались из сердца и проницали сердца. Да и не в песнях одних, а, казалось, и всю жизнь свою они проводили лишь в том, что любовались друг другом. Это была какая-то влюбленность друг в друга, всецелая, всеобщая. Иных же их песен, торжественных и восторженных, я почти не понимал вовсе. Понимая слова, я никогда не мог проникнуть во все их значение. Оно оставалось как бы недоступно моему уму, зато сердце мое как бы проникалось им безотчетно и все более и более. Я часто говорил им, что я все это давно уже прежде предчувствовал, что вся эта радость и слава сказывались мне еще на нашей земле зовущею тоскою, доходившею подчас до нестерпимой скорби; что я предчувствовал всех их и славу

их в снах моего сердца и в мечтах ума моего, что я часто не мог смотреть, на земле нашей, на заходящее солнце без слез... Что в ненависти моей к людям нашей земли заключалась всегда тоска: зачем я не могу ненавидеть их, не любя их, зачем не могу не прощать их, а в любви моей к ним тоска: зачем не могу любить их, не ненавидя их? Они слушали меня, и я видел, что они не могли представить себе то, что я говорю, но я не жалел, что им говорил о том: я знал, что они понимают всю силу тоски моей о тех, кого я покинул. Да, когда они глядели на меня своим милым, проникнутым любовью взглядом, когда я чувствовал, что при них и мое сердце становилось столь же невинным и правдивым, как и их сердца, то и я не жалел, что не понимаю их. От ощущения полноты жизни мне захватывало дух, и я молча молился на них.

О, все теперь смеются мне в глаза и уверяют меня, что и во сне нельзя видеть такие подробности, какие я передаю теперь, что во сне моем я видел или прочувствовал лишь одно ощущение, порожденное моим же сердцем в бреду, а подробности уже сам сочинил, проснувшись. И когда я открыл им, что, может быть, в самом деле так было — боже, какой смех они подняли мне в глаза и какое я им доставил веселье! О да, конечно, я был побежден лишь одним ощущением того сна, и оно только одно уцелело в до крови раненном сердце моем: но зато действительные образы и формы сна моего, то есть те, которые я в самом деле видел в самый час моего сновидения, были восполнены до такой гармонии, были до того обаятельны и прекрасны, и до того были истинны, что, проснувшись, я, конечно, не в силах был воплотить их в слабые слова наши, так что они должны были как бы стушеваться в уме моем, а стало быть, и действительно, может быть, я сам, бессознательно, принужден был сочинить потом подробности и, уж конечно, исказив их, особенно при таком страстном желании моем поскорее и хоть сколько-нибудь их передать. Но зато как же мне не верить, что все это было? Было, может быть, в тысячу раз лучше, светлее и радостнее, чем я рассказываю? Пусть это сон, но все это не могло не быть. Знаете ли, я скажу вам секрет: все это, быть может, было вовсе не сон! Ибо тут случилось нечто такое, нечто до такого ужаса истинное,

что это не могло бы пригрезиться во сне. Пусть сон мой породило сердце мое, но разве одно сердце мое в силах было породить ту ужасную правду, которая потом случилась со мной? Как бы мог я ее один выдумать или пригрезить сердцем? Неужели же мелкое сердце мое и капризный, ничтожный ум мой могли возвыситься до такого откровения правды! О, судите сами: я до сих пор скрывал, но теперь доскажу и эту правду. Дело в том, что я... развратил их всех!

V

Да, да, кончилось тем, что я развратил их всех! Как это могло совершиться — не знаю, но помню ясно. Сон пролетел через тысячелетия и оставил во мне лишь ощущение целого. Знаю только, что причиною грехопадения был я. Как скверная трихина, как атом чумы, заражающий целые государства, так и я заразил собой всю эту счастливую, безгрешную до меня землю. Они научились лгать и полюбили ложь и познали красоту лжи. О, это, может быть, началось *невинно,* с шутки, с кокетства, с любовной игры, в самом деле, может быть, с атома, но этот атом лжи проник в их сердца и понравился им. Затем быстро родилось сладострастие, сладострастие породило ревность, ревность — жестокость... О, не знаю, не помню, но скоро, очень скоро брызнула первая кровь: они удивились и ужаснулись, и стали расходиться, разъединяться. Явились союзы, но уже друг против друга.

Начались укоры, упреки. Они узнали стыд и стыд возвели в добродетель. Родилось понятие о чести, и в каждом союзе поднялось свое знамя. Они стали мучить животных, и животные удалились от них в леса и стали им врагами. Началась борьба за разъединение, за обособление, за личность, за мое и твое. Они стали говорить на разных языках. Они познали скорбь и полюбили скорбь, они жаждали мучения и говорили, что истина достигается лишь мучением. Тогда у них явилась наука. Когда они стали злы, то начали говорить о братстве и гуманности и поняли эти идеи. Когда они стали преступны, то изобрели справедливость и предписали себе целые кодексы, чтоб сохранить ее, а для обеспечения кодексов поставили гильотину. Они чуть-чуть лишь

помнили о том, что потеряли, даже не хотели верить тому, что были когда-то невинны и счастливы. Они смеялись даже над возможностью этого прежнего их счастья и называли его мечтой. Они не могли даже представить его себе в формах и образах, но странное и чудесное дело: утратив всякую веру в бывшее счастье, назвав его сказкой, они до того захотели быть невинными и счастливыми вновь, опять, что пали перед желаниями сердца своего, как дети, обоготворили это желание, настроили храмов и стали молиться своей же идее, своему же «желанию», в то же время вполне веруя в неисполнимость и неосуществимость его, но со слезами обожая его и поклоняясь ему. И, однако, если бы только могло так случиться, чтоб они возвратились в то невинное и счастливое состояние, которое они утратили, и если б кто вдруг им показал его вновь и спросил их: хотят ли они возвратиться к нему? — то они, наверно бы, отказались. Они отвечали мне: «Пусть мы лживы, злы и несправедливы, мы *знаем* это и плачем об этом, и мучим себя за это сами, и истязаем себя и наказываем больше, чем даже, может быть, тот милосердный судья, который будет судить нас и имени которого мы не знаем. Но у нас есть наука, и через нее мы отыщем вновь истину, но примем ее уже сознательно, знание выше чувства, сознание жизни — выше чувства, сознание жизни — выше жизни. Наука даст нам премудрость, премудрость откроет законы, а знание законов счастья — выше счастья». Вот что говорили они, и после слов таких каждый возлюбил себя больше всех, да и не могли они иначе сделать. Каждый стал столь ревнив к своей личности, что изо всех сил старался лишь унизить и умалить ее в других, и в том жизнь свою полагал. Явилось рабство, явилось даже добровольное рабство: слабые подчинялись охотно сильнейшим, с тем только, чтоб те помогали им давить еще слабейших, чем они сами. Явились праведники, которые приходили к этим людям со слезами и говорили им об их гордости, о потере меры и гармонии, об утрате ими стыда. Над ними смеялись или побивали их каменьями. Святая кровь лилась на порогах храмов. Зато стали появляться люди, которые начали придумывать: как бы всем вновь так соединиться, чтобы каждому, не переставая, любить себя больше всех,

в то же время не мешать никому другому, и жить таким образом всем вместе как бы и в согласном обществе. Целые войны поднялись из-за этой идеи. Все воюющие твердо верили в то же время, что наука, премудрость и чувство самосохранения заставят, наконец, человека соединиться в согласное и разумное общество, а потому пока, для ускорения дела, «премудрые» старались поскорее истребить всех «непремудрых» и не понимающих их идею, чтоб они не мешали торжеству ее. Но чувство самосохранения стало быстро ослабевать, явились гордецы и сладострастники, которые прямо потребовали всего иль ничего. Для приобретения всего прибегалось к злодейству, а если оно не удавалось — к самоубийству. Явились религии с культом небытия и саморазрушения ради вечного успокоения в ничтожестве. Наконец эти люди устали в бессмысленном труде, и на их лицах появилось страдание, и эти люди провозгласили, что страдание есть красота, ибо в страдании лишь мысль. Они воспели страдание в песнях своих. Я ходил между ними, ломая руки, и плакал над ними, но любил их, может быть, еще больше, чем прежде, когда на лицах их еще не было страдания и когда они были невинны и столь прекрасны. Я полюбил их осквернённую ими землю еще больше, чем когда она была раем, за то лишь, что на ней явилось горе. Увы, я всегда любил горе и скорбь, но лишь для себя, для себя, а об них я плакал, жалея их. Я простирал к ним руки, в отчаянии обвиняя, проклиная и презирая себя. Я говорил им, что все это сделал я, я один; что это я им принес разврат, заразу и ложь! Я умолял их, чтоб они распяли меня на кресте, я учил их, как сделать крест. Я не мог, не в силах был убить себя сам, но я хотел принять от них муки, я жаждал мук, жаждал, чтоб в этих муках пролита была моя кровь до капли. Но они лишь смеялись надо мной и стали меня считать под конец за юродивого. Они оправдывали меня, они говорили, что получили лишь то, чего сами желали, и что все то, что есть теперь, не могло не быть. Наконец, они объявили мне, что я становлюсь им опасен и что они посадят меня в сумасшедший дом, если я не замолчу. Тогда скорбь вошла в мою душу с такою силой, что сердце мое стеснилось, и я почувствовал, что умру, и тут... ну вот тут я и проснулся.

Было уже утро, то есть еще не рассвело, но было около шестого часу. Я очнулся в тех же креслах, свечка моя догорела вся, у капитана спали, и кругом была редкая в нашей квартире тишина. Первым делом я вскочил в чрезвычайном удивлении; никогда со мной не случалось ничего подобного, даже до пустяков и мелочей; никогда еще не засыпал я, например, так в моих креслах. Тут вдруг, пока я стоял и приходил в себя,— вдруг мелькнул передо мной мой револьвер, готовый, заряженный,— но я в один миг оттолкнул его от себя! О, теперь жизни и жизни! Я поднял руки и воззвал к вечной истине; не воззвал, а заплакал; восторг, неизмеримый восторг поднимал все существо мое. Да, жизнь и — проповедь! О проповеди я порешил в ту же минуту и уж, конечно, на всю жизнь! Я иду проповедовать, я хочу проповедовать,— что? Истину, ибо я видел ее, видел своими глазами, видел всю ее славу!

И вот с тех пор я и проповедую! Кроме того — люблю всех, которые надо мной смеются, больше всех остальных. Почему это так — не знаю и не могу объяснить, но пусть так и будет. Они говорят, что я уж и теперь сбиваюсь, то есть коль уж и теперь сбился так, что ж дальше-то будет? Правда истинная: я сбиваюсь и, может быть, дальше пойдет еще хуже. И, уж конечно, собьюсь несколько раз, пока отыщу, как проповедовать, то есть какими словами и какими делами, потому что это очень трудно исполнить. Я ведь и теперь все это как день вижу, но послушайте: кто же не сбивается! А между тем ведь все идут к одному и тому же, по крайней мере все стремятся к одному и тому же, от **мудреца до последнего разбойника**, только разными **дорогами. Старая это истина**, но вот что тут новое: я и **сбиться-то очень не** могу. Потому что я видел истину, **я видел и знаю**, что люди могут быть прекрасны и счастливы, не потеряв способности жить на земле. Я не хочу и не могу верить, чтобы зло было нормальным состоянием людей. А ведь они все только над этой верой-то моей и смеются. Но как мне не веровать: я видел истину,— не то что изобрел умом, а видел, видел, и *живой образ* ее наполнил душу мою навеки. Я видел ее в такой восполненной целости, что не могу поверить, чтоб ее не могло быть у людей. Итак, как же я собьюсь? Уклонюсь, конечно, даже несколько раз, и буду

говорить даже, может быть, чужими словами, но не надолго: живой образ того, что я видел, будет всегда со мной и всегда меня поправит и направит. О, я бодр, я свеж, я иду, иду и хотя бы на тысячу лет. Знаете, я хотел даже скрыть вначале, что я развратил их всех, но это была ошибка — вот уже первая ошибка! Но истина шепнула мне, что я *лгу*, и охранила меня и направила. Но как устроить рай — я не знаю, потому что не умею передать словами. После сна моего потерял слова. По крайней мере все главные слова, самые нужные. Но пусть: я пойду и все буду говорить, неустанно, потому что я все-таки видел воочию, хотя и не умею пересказать, что я видел. Но вот этого насмешники и не понимают: «Сон, дескать, видел, бред, галлюцинацию». Эх! Неужто это премудро? А они так гордятся! Сон? что такое сон? А наша-то жизнь не сон? Больше скажу: пусть, пусть это никогда не сбудется и не бывать раю (ведь уже это-то я понимаю!) — ну, а все-таки буду проповедовать. А между тем так это просто; в один бы день, в один бы час — все бы сразу устроилось! Главное — люби других как себя, вот что главное, и это все, больше ровно ничего не надо: тотчас найдешь, как устроиться. А между тем ведь это только — старая истина, которую биллион раз повторяли и читали, да ведь не ужилась же! «Сознание жизни выше жизни, знание законов счастья — выше счастья» — вот с чем бороться надо! И буду. Если только все захотят, то сейчас все устроится.

А ту маленькую девочку я отыскал... И пойду! И пойду!

1877

C'est un samedi, á six heures
du matin gue je suis mort.
Emile Zola [1].

I

Был восьмой час вечера, когда доктор приложил ухо к моему сердцу, поднес мне к губам маленькое зеркало и, обратясь к моей жене, сказал торжественно и тихо:

— Все кончено.

По этим словам я догадался, что я умер.

Собственно говоря, я умер гораздо раньше. Более тысячи часов я лежал без движения и не мог произнести ни слова, но изредка продолжал еще дышать. В продолжение всей моей болезни мне казалось, что я прикован бесчисленными цепями к какой-то глухой стене, которая меня мучила. Мало-помалу стена меня отпускала, страдания уменьшались, цепи ослабевали и распадались. В течение двух последних дней меня держала какая-то узенькая тесемка; теперь она оборвалась, и я почувствовал такую легкость, какой никогда не испытывал в жизни.

Вокруг меня началась невообразимая суматоха. Мой большой кабинет, в который меня перенесли с начала болезни, наполнился людьми, которые все сразу зашептали, заговорили, зарыдали. Старая ключница Юдишна даже заголосила каким-то не своим голосом. Жена моя с громким воплем упала мне на грудь: она столько плакала во время моей болезни, что я удивлялся, откуда у нее еще берутся слезы. Из всех голосов выделялся старческий дребез-

[1] Скончался я в субботу, в 6 часов утра. *Эмиль Золя.*

жащий голос моего камердинера Савелия. Еще в детстве моем был он приставлен ко мне дядькой и не покидал меня всю жизнь, но теперь был уже так стар, что жил почти без занятий. Утром он подавал мне халат и туфли, а затем целый день попивал «для здоровья» березовку и ссорился с остальной прислугой. Смерть моя не столько его огорчила, сколько ожесточила, а вместе с тем придала ему небывалую важность. Я слышал, как он кому-то приказывал съездить за моим братом, кого-то упрекал и чем-то распоряжался.

Глаза мои были закрыты, но я все видел и слышал, что происходило вокруг меня.

Вошел мой брат — сосредоточенный и надменный, как всегда. Жена моя терпеть его не могла, однако бросилась к нему на шею, и рыдания ее удвоились.

— Полно, Зоя, перестань, ведь слезами ты не поможешь,— говорил брат бесстрастным и словно заученным тоном,— побереги себя для детей, поверь что ему лучше там.

Он с трудом высвободил себя от ее объятий и усадил ее на диван.

— Надо сейчас же сделать кое-какие распоряжения... Ты мне позволишь помочь тебе, Зоя?

— Ах, André, ради бога, распоряжайтесь всем... Разве я могу о чем-нибудь думать?

Она опять заплакала, а брат уселся за письменный стол и подозвал к себе молодого расторопного буфетчика Семена.

— Это объявление ты отправишь в «Новое Время», а затем пошлешь за гробовщиком; да надо спросить у него, не знает ли он хорошего псаломщика?

— Ваше сиятельство,— отвечал, нагибаясь, Семен,— за гробовщиком посылать нечего, их тут четверо с утра толкутся у подъезда. Уж мы их гнали, гнали,— нейдут да и только. Прикажете их сюда позвать?

— Нет, я выйду на лестницу.

И брат громко прочел написанное им объявление: «Княгиня Зоя Борисовна Трубчевская с душевным прискорбием извещает о кончине своего мужа, князя Дмитрия Александровича Трубчевского, последовавшей 20-го февраля, в 8 часов вечера, после тяжкой и

продолжительной болезни. Панихиды в 2 часа дня и в 9 часов вечера».

— Больше ничего не надо, Зоя?

— Да, конечно, ничего. Только зачем вы написали это ужасное слово: «прискорбие»? Je ne puis pas souffrir ce mot. Mettez [1]: с глубокой скорбью.

Брат поправил.

— Я посылаю в «Новое Время». Этого довольно.

— Да, конечно, довольно. Можно еще в «Journal de S.-Pètersbourg» [2].

— Хорошо, я напишу по-французски.

— Все равно, там переведут.

Брат вышел. Жена подошла ко мне, опустилась на кресло, стоявшее возле кровати, и долго смотрела на меня каким-то молящим, вопрошающим взглядом. В этом молчаливом взгляде я прочел гораздо больше любви и горя, чем в рыданиях и воплях. Она вспоминала нашу общую жизнь, в которой немало было всяких треволнений и бурь. Теперь она во всем винила себя и думала о том, как ей следовало поступать тогда. Она так задумалась, что не заметила моего брата, который вернулся с гробовщиком и уже несколько минут стоял возле нее, не желая нарушать ее раздумья. Увидев гробовщика, она дико вскрикнула и лишилась чувств. Ее унесли в спальню.

— Будьте спокойны, ваше сиятельство,— говорил гробовщик, снимая с меня мерку так же бесцеремонно, как некогда делали это портные,— у нас все припасено: и покров, и паникадилы. Через час их можно переносить в залу. И насчет гроба не извольте сомневаться: такой будет покойный гроб, что хоть живому в него ложиться.

Кабинет опять начал наполняться. Гувернантка привела детей.

Соня бросалась на меня и рыдала совершенно как мать, но маленький Коля уперся, ни за что не хотел подойти ко мне и ревел от страха. Приплелась Настасья — любимая горничная жены, вышедшая замуж в прошлом году за буфетчика Семена и находившаяся в последнем периоде беременности. Она размашисто

[1] Я не переношу этого слова. Поставьте: *(фр.)*.
[2] «Санкт-Петербургские ведомости» *(фр.)*.

крестилась, все хотела стать на колени, но живот ей мешал, и она лениво всхлипывала.

— Слушай, Настя,— сказал ей тихо Семен,— не нагибайся, как бы чего не случилось. Шла бы лучше к себе; помолилась — и довольно.

— Да как же мне за него не молиться? — отвечала Настасья слегка нараспев и нарочно громко, чтоб все ее слышали.—Это не человек был, а ангел божий. Еще нынче перед самой смертью обо мне вспомнил и приказал, чтобы Софья Францевна неотлучно при мне находилась.

Настасья говорила правду. Произошло это так. Всю последнюю ночь жена провела у моей постели и, почти не переставая, плакала. Это меня истомило вконец. Рано утром, чтобы дать другое направление ее мыслям, а главное, чтобы попробовать, могу ли я явственно говорить, я сделал первый пришедший мне в голову вопрос: родила ли Настасья? Жена страшно обрадовалась тому, что я могу говорить, и спросила, не послать ли за знакомой акушеркой Софьей Францевной. Я отвечал: «Да, пошли». После этого я, кажется, действительно уже ничего не говорил, и Настасья наивно думала, что мои последние мысли были о ней.

Ключница Юдишна перестала, наконец, голосить и начала что-то рассматривать на моем письменном столе. Савелий набросился на нее с ожесточением.

— Нет, уж вы, Прасковья Юдишна, княжеский стол оставьте,— сказал он раздраженным шепотом,— здесь вам не место.

— Да что с вами, Савелий Петрович! — прошипела обиженная Юдишна.— Я ведь не красть собираюсь.

— Что вы там собираетесь делать, про то я не знаю, но только пока печати не приложены,— я к столу никого не допущу. Я недаром сорок лет князю-покойнику служил.

— Да что вы мне вашими сорока годами в глаза тычете? Я сама больше сорока лет в этом доме живу, а теперь выходит, что я и помолиться за княжескую душу не могу...

— Молиться можете, а до стола не прикасайтесь...

Люди эти, из уважения ко мне, ругались шепотом, а между тем я явственно слышал каждое их слово. Это

меня страшно удивило. «Неужели я в летаргии?» — подумал я с ужасом. Года два тому назад я прочитал какую-то французскую повесть, в которой подробно описывались впечатления заживо погребенного человека. И я усиливался восстановить в памяти этот рассказ, но никак не мог вспомнить главного, т. е. что именно он сделал, чтобы выйти из гроба.

В столовой начали бить стенные часы; я сосчитал одиннадцать. Васютка, девочка, жившая в доме «на побегушках», вбежала с известием, что пришел священник и что в зале все готово. Принесли большой таз с водой, меня раздели и начали тереть мокрой губкой, но я не почувствовал ее прикосновения; мне казалось, что моют чью-то чужую грудь, чьи-то чужие ноги.

«Ну, значит, это не летаргия,— соображал я, пока меня облекали в чистое белье,— но что же это такое?»

Доктор сказал: «все кончено», обо мне плачут, сейчас меня положат в гроб и дня через два похоронят. Тело, повиновавшееся мне столько лет, теперь не мое, я несомненно умер, а между тем я продолжаю видеть, слышать и понимать. Может быть, в мозгу жизнь продолжается дольше, но ведь мозг тоже тело. Это тело было похоже на квартиру, в которой я долго жил и с которой решился съехать. Все окна и двери открыты настежь, все вещи вывезены, все домашние вышли, и только хозяин застоялся перед выходом и бросает прощальный взгляд на ряд комнат, в которых прежде кипела жизнь и которые теперь давят его своей пустотой.

И тут в первый раз, в окружавших меня потемках блеснул какой-то маленький, слабый огонек,— не то ощущение, не то воспоминание. Мне показалось, что то, что происходит со мной теперь, что это состояние мне знакомо, что я его уже переживал когда-то, но только давно, очень давно...

II

Наступила ночь. Я лежал в большой зале на столе, обитом черным сукном. Мебель была вынесена, шторы спущены, картины завешены черной тафтой. Покров из золотой парчи закрывал мои ноги, в высоких серебряных паникадилах ярко горели восковые свечи. На-

право от меня, прислонясь к стене, недвижно стоял Савелий с желтыми, резко выдававшимися скулами, с голым черепом, с беззубым ртом и с пучками морщин вокруг полузакрытых глаз; он более, чем я, напоминал скелет мертвеца. Налево от меня стоял перед налоем высокий бледный человек в длиннополом сюртуке и монотонным, грудным голосом, гулко раздававшимся в пустой зале, читал:

«Онемех и не отверзох уст моих, яко Ты сотворил еси».

«Отстави от мене раны Твоя, от крепости бо руки Твоея аз исчезох».

Ровно два месяца тому назад в этой зале гремела музыка, кружились веселые пары, и разные люди, молодые и старые, то радостно приветствовали, то злословили друг друга. Я всегда ненавидел балы и, сверх того, с середины ноября чувствовал себя нехорошо, а потому всеми силами протестовал против этого бала, но жена непременно хотела дать его, потому что имела основание надеяться, что нас посетят весьма высокопоставленные лица. Мы чуть не поссорились, но она настояла. Бал вышел блестящий и невыносимый для меня. В этот вечер я впервые почувствовал утомление жизнью и ясно сознал, что жить мне осталось недолго.

Вся моя жизнь была целым рядом балов, и в этом заключается трагизм моего существования. Я любил деревню, чтение, охоту, любил тихую семейную жизнь, а между тем весь свой век провел в свете, сначала в угоду своим родителям, потом в угоду жене. Я всегда думал, что человек родится с весьма определенными вкусами и со всеми задатками своего будущего характера. Задача его заключается именно в том, чтобы осуществить этот характер; все зло происходит оттого, что обстоятельства ставят иногда преграды для такого существования. И я начал припоминать все мои дурные поступки, все те поступки, которые некогда тревожили мою совесть. Оказалось, что все они произошли от несогласия моего характера с той жизнью, которую я вел.

Воспоминания мои были прерваны легким шумом справа. Савелий, который давно начинал дремать, вдруг зашатался и едва не грохнулся на пол. Он перекрестился, вышел в переднюю и, принеся оттуда стул,

откровенно заснул в дальнем углу залы. Псаломщик читал все ленивее и тише, потом умолк совсем и последовал примеру Савелия. Настала мертвая тишина.

Среди этой глубокой тишины вся моя жизнь развернулась предо мной, как одно неизбежное целое, страшное по своей строгой логичности. Я видел уже не отрывочные факты, а одну прямую линию, которая начиналась со дня моего рождения и кончалась нынешним вечером. Дальше она идти не могла, мне это было ясно как день. Впрочем, я уже сказал, что близость смерти я сознал два месяца тому назад.

Да и все люди сознают это непременно. Предчувствие — одно из тех таинственных мировых явлений, которые доступны человеку и которыми человек не умеет пользоваться. Великий поэт удивительно метко изобразил это явление, сказав, что «грядущие события бросают перед собой тень». Если же люди иногда жалуются, что предчувствие их обмануло, это происходит оттого, что они не умеют разобраться в своих ощущениях. Они всегда чего-нибудь сильно желают или чего-нибудь сильно боятся и принимают за предчувствие свой страх или свои надежды.

Я, конечно, не мог определить точно день и час своей смерти, но знал их приблизительно. Я всю жизнь пользовался очень хорошим здоровьем и вдруг с начала ноября без всякой причины начал недомогать. Никакой болезни еще не было, но я чувствовал, что меня «клонит к смерти», так же ясно, как чувствовал, бывало, что меня клонит ко сну. Обыкновенно с начала зимы мы с женой составляли план того, как мы будем проводить лето. На этот раз я ничего не мог придумать, картины лета не складывались: казалось, что вообще никакого лета не будет. Болезнь между тем не приходила: ей, как церемонной гостье, нужен был какой-нибудь предлог. И вот со всех сторон стали подкрадываться предлоги. В конце декабря я должен был ехать на медвежью охоту. Время стояло очень холодное, и жена моя, которая без всякой причины начала беспокоиться о моем здоровье (вероятно, и ее посетило предчувствие), умоляла меня не ездить. Я был страстный охотник и потому решил все-таки ехать, но почти в минуту отъезда получил депешу, что медведи ушли и что охота отменяется. На этот раз церемонная

гостья не вошла в мой дом. Через неделю одна дама, за которой я слегка ухаживал, устроила пикник-monstre [1] с тройками, цыганами и катаньем с гор. Простуда была неизбежна, но жена моя вдруг заболела очень серьезно и упросила меня провести вечер дома. Может быть, она даже притворилась больной, потому что на следующий день уже была в театре. Как бы то ни было, но церемонная гостья опять прошла мимо. Через два дня после этого умер мой дядя Василий Иванович. Это был старейший из князей Трубчевских; мой брат, очень гордящийся своим происхождением, иногда говорил о нем: «ведь это наш граф Шамбор». Независимо от этого я очень любил дядю: не поехать на похороны было немыслимо. Я шел за гробом пешком, была страшная вьюга, я продрог до костей. Церемонная гостья не стала медлить и так обрадовалась предлогу, что ворвалась ко мне в тот же вечер. На третий день доктора нашли у меня воспаление в легких со всевозможными осложнениями и объявили, что больше двух дней я не проживу. Но до 28-го февраля было еще далеко, а раньше я умереть не мог. И вот началась та утомительная агония, которая сбила с толку стольких ученых мужей. Я то поправлялся, то заболевал с новой силой, то мучился, то переставал вовсе страдать, пока, наконец, не умер сегодня по всем правилам науки в тот самый день и час, которые мне были назначены для смерти с минуты рождения. Как добросовестный актер, я доиграл свою роль, не прибавив, не убавив ни одного слова из того, что мне было предписано автором пьесы. Это более чем избитое сравнение жизни с ролью актера приобретало для меня глубокий смысл. Ведь если я исполнил, как добросовестный актер, свою роль, то, вероятно, я играл и другие роли, участвовал и в других пьесах. Ведь если я не умер после своей видимой смерти, то, вероятно, я никогда не умирал и жил столько же времени, сколько существует мир. То, что вчера являлось мне, как смутное ощущение, превращалось теперь в уверенность. Но какие же это были роли, какие пьесы?

Я начал искать в моей протекшей жизни какого-нибудь ключа к этой загадке. Я стал припоминать пора-

[1] невообразимый, потрясающий *(фр.)*.

жавшие меня в свое время сны, полные неведомых мне стран и лиц, вспоминал разные встречи, производившие на меня непонятное, почти мистическое впечатление. И вдруг я вспомнил про замок Ларош-Моден.

III

Это был один из самых интересных и загадочных эпизодов моей жизни. Несколько лет тому назад мы, ради здоровья моей жены, провели почти полгода на юге Франции. Там мы, между прочим, познакомились с очень симпатичным семейством графа Ларош-Модена, который однажды пригласил нас в свой замок.

Помню, что в тот день и жена, и я были как-то особенно веселы. Мы ехали в открытой коляске; был один из тех теплых октябрьских дней, которые особенно очаровательны в том краю. Опустелые поля, разоренные виноградники, разноцветные листья дерев — все это под ласковыми лучами еще горячего солнца приобретало какой-то праздничный вид. Свежий бодрящий воздух располагал невольно к веселью, и мы болтали без умолку всю дорогу. Но вот мы въехали во владения графа Модена, и веселость моя мгновенно исчезла. Мне вдруг показалось, что это место мне знакомо, даже близко, что я когда-то жил здесь... Это ощущение, какое-то странное, ощущение неприятное и щемящее душу, росло с каждой минутой. Наконец, когда мы въехали в широкую avenue[1], которая вела к воротам замка, я сказал об этом жене.

— Какой вздор! — воскликнула жена.— Еще вчера ты говорил, что даже в детстве, когда ты с покойной матушкой жил в Париже, вы никогда сюда не заезжали.

Я не возражал, мне было не до возражений. Воображение, словно курьер, скакавший впереди, докладывало мне обо всем, что я увижу. Вот широкий двор (La cour d'honneur[2]), посыпанный красным песком; вот подъезд, увенчанный гербом графов Ларош-Моденов; вот зала в два света, вот большая гостиная, увешанная семейными портретами. Даже особенный, специфический запах этой гостиной — какой-то смешанный

[1] аллею *(фр.)*.
[2] для воздания почестей *(фр.)*.

запах мускуса, плесени и розового дерева — поразил меня, как что-то слишком знакомое.

Я впал в глубокую задумчивость, которая еще более усилилась, когда граф Ларош-Моден предложил мне сделать прогулку по парку. Здесь со всех сторон нахлынули на меня такие живучие, хотя и смутные воспоминания, что я едва слушал хозяина дома, который расточал весь запас своей любезности, чтобы заставить меня разговориться. Наконец, когда я на какой-то его вопрос ответил уже слишком невпопад, он посмотрел на меня сбоку с выражением удивленного сострадания.

— Не удивляйтесь моей рассеянности, граф,— сказал я, поймав этот взгляд,— я переживаю очень странное ощущение. Я, без сомнения, в первый раз в вашем замке, а между тем мне кажется, что я здесь прожил целые года.

— Тут нет ничего удивительного: все наши старые замки похожи один на другой.

— Да, но я именно жил в этом замке... Вы верите в переселение душ?

— Как вам сказать... Жена моя верит, а я не очень... А, впрочем, все возможно.

— Вот вы сами говорите, что это возможно, а я каждую минуту убеждаюсь в этом более и более.

Граф ответил мне какой-то шутливо-любезной фразой, выражая сожаление, что он не жил здесь сто лет тому назад, потому что и тогда он принимал бы меня в этом замке с таким же удовольствием, с каким принимает теперь.

— Может быть, вы перестанете смеяться,— сказал я, делая неимоверные усилия памяти,— если я скажу вам, что сейчас мы пойдем к широкой каштановой аллее.

— Вы совершенно правы, вот она, налево.

— А пройдя эту аллею, мы увидим озеро.

— Вы слишком любезны, называя эту массу воды (cette pièce d'eau) озером. Мы просто увидим пруд.

— Хорошо, я сделаю вам уступку, но это будет очень большой пруд.

— В таком случае, позвольте и мне быть уступчивым. Это маленькое озеро.

Я не шел, а бежал по каштановой аллее. Когда она кончилась, я увидел во всех подробностях карти-

ну, которая уже несколько минут рисовалась в моем воображении. Какие-то красивые цветы причудливой формы окаймляли довольно широкий пруд, у плота была привязана лодка, на противоположном берегу пруда виднелись группы старых плакучих ив... Боже мой! Да, конечно, я здесь жил когда-то, катался в такой же лодке, я сидел под теми плакучими ивами, я рвал эти красные цветы... Мы молча шли по берегу.

— Но позвольте,— сказал я, с недоумением смотря направо,— тут должен быть еще второй пруд, потом третий...

— Нет, дорогой князь, на этот раз память или воображение вам изменяют. Другого пруда нет.

— Но он был наверное. Посмотрите на эти красные цветы! Они так же окаймляют эту лужайку, как и первый пруд. Второй пруд был, и его засыпали, это очевидно.

— При всем желании моем согласиться с вами, дорогой князь, я не могу этого сделать. Мне скоро пятьдесят лет, я родился в этом замке и уверяю вас, что здесь никогда не было второго пруда.

— Но, может быть, у вас живет кто-нибудь из старожилов?

— Управляющий мой, Жозеф, гораздо старше меня... мы спросим его, вернувшись домой.

В словах графа Модена, сквозь его изысканную вежливость, уже ясно проглядывало опасение, что он имеет дело с каким-то маньяком, которому не следует перечить.

Когда мы перед обедом вошли в его уборную, чтобы привести себя в порядок, я напомнил о Жозефе. Граф сейчас же велел позвать его.

Вошел бодрый семидесятилетний старик и на все мои расспросы отвечал положительно, что в парке никогда второго пруда не было.

— Впрочем, у меня сохраняются все старые планы, и если граф позволит их принести...

— О да, принесите их — и поскорее. Надо, чтобы этот вопрос был исчерпан теперь, а то наш дорогой гость ничего не будет есть за обедом.

Жозеф принес планы, граф начал их лениво рассматривать и вдруг вскрикнул от удивления. На одном ветхом плане неизвестных годов были ясно обо-

значены три пруда, и даже вся часть этого парка носила название: les étangs [1].

— Je baisse pavillon devant le vaingueur [2],— произнёс граф с напускной веселостью и слегка бледнея.

Но я далеко не смотрел победителем. Я был как-то подавлен этим открытием,— словно случилось несчастье, которого я давно боялся.

Сходя в столовую, граф Моден просил меня ничего не говорить по этому поводу его жене, говоря, что она женщина очень нервная и наклонная к мистицизму.

К обеду съехалось много гостей, но хозяин дома и я — мы оба были так молчаливы за обедом, что получили от наших жен коллективный выговор за нелюбезность.

После этого жена моя часто бывала в замке Ларош-Моден, но я никогда не мог решиться туда поехать. Я очень близко сошелся с графом, он часто посещал меня, но не настаивал на своих приглашениях, потому что понимал меня хорошо.

Время понемногу изгладило впечатление, произведенное на меня этим странным эпизодом моей жизни; я даже старался не думать о нем, как о чем-то очень тяжелом. Теперь, лежа в гробу, я старался припомнить его со всеми подробностями и беспристрастно обсудить. Так как теперь я знал наверное, что жил на свете раньше, чем назывался князем Дмитрием Трубчевским, то для меня не было сомнения и в том, что я когда-нибудь был в замке Ларош-Моден. Но в качестве кого? Жил ли я там постоянно или попал туда случайно, был ли я хозяином, гостем, конюхом или крестьянином? На эти вопросы я не мог дать ответа, одно казалось мне несомненным; я был там очень несчастлив; иначе я не мог бы объяснить себе того щемящего чувства тоски, которое охватило меня при въезде в замок, которое томит меня и теперь, когда я вспоминаю о нем.

Иногда эти воспоминания делались несколько определеннее, что-то вроде общей нити начинало связывать отрывочные образы и звуки, но дружное храпе-

[1] пруды *(фр.)*.
[2] Я опускаю знамя перед победителем *(фр.)*.

ние Савелия и псаломщика развлекало меня, нить обрывалась, и мысль не могла сосредоточиться снова.

Савелий и псаломщик спали долго. Ярко горевшие в паникадилах восковые свечи уже потускнели, и первые лучи ясного морозного дня давно смотрели на меня сквозь опущенные шторы больших окон.

IV

Савелий вскочил со стула, перекрестился, протер глаза и, увидя спавшего псаломщика, разбудил его, причем не упустил случая осыпать его самыми горькими упреками. Потом он ушел, вымылся, приоделся, вероятно, выпил здоровую порцию «березовки» и вернулся окончательно ожесточенный.

«Кая польза в крови моей, внегда сходити ми во истленне»,— начал заунывным голосом псаломщик.

Дом проснулся. В разных углах его послышалась суетливая возня. Опять гувернантка привела детей. Соня на этот раз была спокойнее, а Коле очень понравился парчовый покров, и он уже без всякого страха начал играть кистями. Потом пришла акушерка Софья Францевна и сделала какое-то замечание Савелию, причем высказала такие тонкие познания в погребальном деле, каких никак нельзя было ожидать от ее специальности. Пришли прощаться со мной дворовые, кучера, кухонные мужики, дворники и даже совсем незнакомые люди: какие-то неведомые старухи, швейцары и дворники соседних домов. Все они очень усердно молились; старухи горько плакали. При этом я сделал замечание, что все прощавшиеся со мной, если это были люди простые, из народа, не только целовали меня в губы, но даже делали это с каким-то удовольствием: лица же моего круга — даже самые близкие мне люди — относились ко мне с брезгливостью, которая очень бы меня обидела, если б я мог смотреть на нее прежними земными глазами. Приплелась опять Настасья в широком голубом капоте с розовыми цветочками. Костюм этот не понравился Савелью, и он сделал ей строгое замечание.

— Да что же мне делать, Савелий Петрович? — оправдывалась Настасья.— Уж я пробовала темное платье надеть, ни одно не сходится.

— Ну, а не сходится, так и лежала бы у себя на кровати. Другая на твоем месте постыдилась бы и к княжескому гробу подходить с таким брюхом.

— За что же вы ее обижаете, Савелий Петрович? — вступился Семен.— Ведь она мне законная жена, тут греха никакого нет.

— Знаю я этих шлюх законных,— проворчал Савелий и отошел в свой угол.

Настасья страшно смутилась и хотела ответить какой-нибудь уничтожающей колкостью, но не находила слов; только губы ее перекосились от гнева и в глазах показались слезы.

«На аспида и василиска наступиши,— читал псаломщик,— и попереши льва и змия».

Настасья подошла совсем вплотную к Савелию и сказала ему тихо:

— Вот вы этот аспид и есть.

— Кто это аспид? Ах, ты...

Савелий не окончил фразы, потому что на лестнице раздался сильный звонок, и Васютка вбежала с известием, что приехала графиня Марья Михайловна. Зала мгновенно опустела.

Марья Михайловна — тетка жены, очень важная старуха. Она медленными шагами подошла ко мне, величественно помолилась и хотела приложиться ко мне, но передумала и несколько минут трясла надо мной своей седой головой, покрытой черным убором наподобие монашеского, после чего, почтительно поддерживаемая компаньонкой, направилась в комнату жены. Через четверть часа она воротилась, ведя, в свою очередь, мою жену. Жена была в белом ночном капоте, волосы у нее были распущены, а веки так распухли от слез, что она едва могла открывать глаза.

— Voyons, Zoe, mon enfant [1],— уговаривала ее графиня,— soyez ferme [2]. Вспомни, сколько я перенесла горя, возьми на себя.

— Oui, ma tante, je serai ferme [3],— отвечала жена и решительными шагами подошла ко мне, но, вероятно, я сильно изменился за ночь, потому что она отшат-

[1] Ну же, Зоя, дитя мое *(фр.)*.
[2] будьте стойкой *(фр.)*.
[3] Хорошо, тетя, я буду стойкой *(фр.)*.

нулась, вскрикнула и упала на руки окружавших ее женщин. Ее увели.

Жена моя, несомненно, была очень огорчена моей смертью, но при всяком публичном выражении печали есть непременно известная доля театральности, которой редко кто может избежать. Самый искренно огорченный человек не может отогнать от себя мысль, что другие на него смотрят.

Во втором часу стали съезжаться гости. Первым вошел высокий еще не старый генерал, с седыми закрученными усами и множеством орденов на груди. Он подошел ко мне и тоже хотел приложиться, но раздумал и долго крестился, не прикладывая пальцев ко лбу и груди, а размахивая ими по воздуху. Потом он обратился к Савелию:

— Ну, что, брат Савелий, потеряли мы нашего князя?

— Да-с, ваше превосходительство, сорок лет служил князю и мог ли я думать...

— Ничего, ничего, княгиня тебя не оставит.

И, потрепав по плечу Савелия, генерал пошел навстречу маленькому желтому сенатору, который, не подходя ко мне, прямо опустился на тот стул, на котором ночью спал Савелий. Кашель душил его.

— Ну, вот, Иван Ефимыч,— сказал генерал,— еще у нас одним членом стало меньше.

— Да, с Нового года это уж четвертый.

— Как четвертый? Не может быть?

— Как же «не может быть»? В самый день Нового года умер Ползиков, потом Борис Антоныч, потом князь Василий Иваныч...

— Ну, князя Василия Иваныча считать нечего, он два года не ездил в клуб.

— Однако он все-таки возобновлял билет.

— Ползиков тоже был стар, но князь Дмитрий Александрыч. Помилуйте, в цвете лет и сил, человек здоровый, полный жизни...

— Что делать! «Не вместе бо ни дне, ни часа...»

— Да, это все отлично! Но вместе, не вместе,— это так, а все-таки обидно уезжать вечером из клуба и не быть уверенным, что на другой день опять там будешь! А еще обиднее то, что никак не угадаете, где тебя эта шельма подстережет. Ведь вот князь Дмитрий Алек-

сандрыч поехал на похороны Василия Иваныча и простудился на похоронах, а мы с вами тоже были и не простудились.

Сенатора опять схватил припадок кашля, после чего он обыкновенно делался еще злее.

— Да-с, удивительная судьба была этого князя Василия Иваныча. Всю жизнь он делал всякие гадости, так ему и подобало. Но вот он умирает; казалось бы, что всем этим гадостям конец. Так вот нет же, на своих собственных похоронах сумел-таки уморить родного племянника.

— Ну, и язычок же у вас, Иван Ефимыч! Ругали бы живых, а то от вас и покойникам достается. Есть такая пословица: de mortis, de mortibus...

— Вы хотите сказать: «De mortuis aut bene, aut nihil [1]»? Но эта пословица нелепая, я ее несколько поправлю; я говорю: de mortuis aut bene, aut male [2]. Иначе ведь исчезла бы история, ни об одном историческом злодее нельзя было бы произнести справедливого приговора, потому что все они перемерли. А князь Василий был в своем роде лицо историческое, недаром у него было столько скверных историй...

— Перестаньте, перестаньте, Иван Ефимыч, будет вам на том свете за язычок ваш... По крайней мере о нашем дорогом Дмитрии Александровиче вы не можете сказать ничего худого и должны сознаться, что это был прекрасный человек...

— К чему преувеличивать, генерал? Если мы скажем, что он был любезный и обходительный человек, этого будет совершенно достаточно. Да поверьте, что и это со стороны князя Трубчевского большая заслуга, потому что вообще князья Трубчевские любезностью не отличаются. Возьмем, чтобы недалеко ходить, его брата Андрея...

— Ну, об этом я с вами спорить не буду: Андрей мне совсем не симпатичен. И чем он так важничает?

— Важничать ему решительно нечем, но не в этом дело-с. Если такой человек, как князь Андрей Александрыч, терпится в обществе, это доказывает только нашу необыкновенную снисходительность. По-настоя-

[1] О мертвых или хорошо, или ничего *(лат.)*.
[2] О мертвых или хорошо, или плохо *(лат.)*.

щему такому человеку не следует и руки подавать. Вот что я узнал о нем недавно из самых достоверных источников...

В эту минуту появился мой брат, и оба собеседника бросились к нему с выражением живейшего сочувствия.

Затем робкими шагами вошел мой старый товарищ Миша Звягин. Это был очень добрый и очень замотавшийся человек. В начале октября он приехал ко мне, объяснил свое безвыходное положение и попросил у меня на два месяца пять тысяч, которые могли его спасти. После некоторой борьбы я написал ему чек; он предложил мне вексель, но я отвечал, что этого не нужно. Через два месяца он, конечно, уплатить не мог и начал от меня скрываться. Во время моей болезни он несколько раз присылал узнавать о здоровье, но сам не заходил ни разу. Когда он подошел к моему гробу, я прочел в его глазах самые разнообразные чувства: и сожаление, и стыд, и страх, и даже где-то там, в глубине зрачков,— маленькую радость при мысли, что у него одним кредитором стало меньше. Впрочем, поймав себя на этой мысли, он очень ее устыдился и начал усердно молиться. В его сердце происходила борьба. Ему следовало заявить сейчас же о долге, но, с другой стороны, зачем же заявлять, если он не может заплатить! Долг этот он отдаст со временем, а теперь... известно ли кому-нибудь об этом долге, записан ли он мною в какую-нибудь книжку? Нет, необходимо заявить сейчас же.

Миша Звягин с решительным видом подошел к брату и начал расспрашивать его о моей болезни. Брат отвечал неохотно и смотрел в другую сторону: моя смерть давала ему законное право быть невнимательным и надменным.

— Видите ли, князь,— начал, запинаясь, Звягин,— я был должен покойному...

Брат начал прислушиваться и вопросительно посмотрел на него.

— Я хотел сказать, что я слишком обязан покойному Дмитрию Александровичу. Наша долголетняя служба...

Брат опять отвернулся, и бедный Миша Звягин отошел на прежнее место. Его красные щеки прыгали,

глаза беспокойно бегали по зале. Тут в первый раз после смерти я пожалел о том, что не могу говорить. Мне так хотелось сказать ему: «Да оставь себе эти пять тысяч, у детей моих и без этого денег довольно».

Зала быстро наполнялась. Дамы входили большей частью попарно и становились вдоль стены. Ко мне почти никто не подходил, меня как-то стыдились. Более близкие к нам дамы спрашивали у брата, могут ли они видеть жену; брат с молчаливым поклоном указывал им на двери гостиной. Дамы в минутном раздумье останавливались в дверях, после чего, опустив головы, как-то ныряли в гостиную, словно купальщики, которые после маленького колебания решительно бросаются головой вниз в холодную воду.

К двум часам собрался весь знатный Петербург, так что, будь я тщеславен, вид залы доставил бы мне большое удовольствие. Появились даже такие лица, о приезде которых тихонько докладывали брату, и он ходил встречать их на лестницу.

Я всегда с особенным умилением слушал панихиду, хотя многое в ней казалось мне непонятным. Особенно всегда смущала меня «жизнь бесконечная»; выражение это на панихиде казалось мне горькой иронией. Теперь все эти слова получали для меня глубокий смысл. Я сам жил этой «бесконечной жизнью», я именно находился в том месте, «иде же несть болезни, печали и воздыхания».

Напротив того, земные, доходившие до меня воздыхания казались мне чем-то чуждым и непонятным. Когда певчие запели о надгробном рыдании, словно в ответ им раздались сдержанные всхлипывания в разных углах залы. С женой моей сделалось дурно, ее опять увели.

Панихида кончилась. Дьякон густым басом произнес: «Во блаженном успении...», но в это время произошло нечто странное. В зале вдруг потемнело, точно сумерки сразу опустились на землю. Я перестал различать лица, а видел одни черные фигуры. Голос дьякона ослабел и постепенно отдалялся куда-то. Наконец, он замолк совсем, свечи потухли, все для меня исчезло. Я сразу перестал видеть и слышать.

V

Я очутился в каком-то темном, непонятном для меня месте. Впрочем, я упомянул о месте только по старой привычке: никакого понятия о пространстве для меня не существовало. Времени также не было, так что я не могу определить, сколько длилось то состояние, в котором я находился. Я ничего не видел, ничего не слышал, я только думал — настойчиво, усиленно думал.

Главная загадка, мучившая меня всю жизнь, была разрешена. Смерти нет, есть одна жизнь бесконечная. Я всегда был убежден в этом и прежде, но только не мог ясно формулировать своего убеждения. Основывалось это убеждение на том, что в противном случае вся жизнь была бы вопиющей нелепостью. Человек мыслит, чувствует, сознает все окружающее, наслаждается и страдает — и он исчезает. Его тело разлагается и служит к образованию новых тел,— это все могут видеть ежедневно. Но куда же девается то, что сознавало и себя и весь окружающий мир? Если материя бессмертна, отчего сознанию суждено исчезать бесследно? Если же оно исчезает, откуда оно появляется, и какая цель такого эфемерного появления? Я считал это нелепостью и потому допустить не мог.

Теперь я на собственном опыте видел, что сознание не умирает, что я никогда не переставал и, вероятно, никогда не перестану жить. Но в то же время назойливо восставали передо мной новые «проклятые вопросы». Если я никогда не умирал и всегда буду вновь воплощаться на земле, то какая цель этих последовательных существований? По какому закону они происходят и к чему в конце концов приведут меня? Вероятно, я бы мог уловить этот закон и понять его, если бы вспомнил все или хоть некоторые минувшие существования, но отчего же именно этого воспоминания лишен человек? За что он осужден быть вечным невеждой, что даже понятие о бессмертии является ему только в виде догадки? А если какой-нибудь неизвестный закон требует забвения и мрака, зачем в этом мраке являются странные просветы, как это случилось, например, со мной, когда я приехал в замок Ларош-Моден?

И я всей душой схватился за это воспоминание, как утопающий хватается за соломинку. Мне казалось, что если я вспомню ясно и точно свою жизнь в этом замке, это прольет свет на все остальное. Никакое внешнее впечатление меня не развлекало, я мог беспрепятственно вспоминать и старался не думать и не размышлять. И вот с какого-то глубокого душевного дна, точно туман со дна реки, начали подниматься неясные, бледные образы. Замелькали фигуры людей, зазвучали какие-то странные, едва понятные слова, но во всяком воспоминании были пробелы, которых я не мог наполнить: лица людей были окутаны туманом, в словах не было связи, все состояло из каких-то обрывков. Вот семейное кладбище графов Ларош-Моденов. На белой мраморной плите я явственно читаю черные буквы: Ci — gIt très haute et recommandable dame...[1]. Дальше идет имя, но я разобрать его не могу. Рядом саркофаг с мраморной урной, на которой я читаю: Ci — gît le coeur du marguis...[2]. Вот раздается в моих ушах крикливый, нетерпеливый голос, зовущий кого-то: Zo... Zo... Я напрягаю память и к великой радости явственно слышу имя: Zorobabel! Zorobabel!.. Это имя, столь мне знакомое, внезапно вызывает целый ряд картин. Я — на дворе замка, в большой толпе народа. «A la chambre du roi! A la chambre du roi!..»[3] — повелительно кричит тот же резкий, нетерпеливый голос. В каждом старинном французском замке была комната короля, т. е. комната, которую занимал бы король, если бы он когда-нибудь посетил замок. И вот я до мельчайших подробностей вижу эту комнату в замке Ларош-Моден. Потолок разрисован розовыми амурами с гирляндами в руках, стены покрыты гобеленами, изображающими охотничьи сцены. Я ясно вижу большого длиннорогого оленя, в отчаянной позе остановившегося над ручьем, и трех настигающих его охотников. В глубине комнаты — альков, увенчанный золотой короной; по синему штофному балдахину вышиты белые лилии. На противоположной стороне большой портрет короля во весь рост. Я вижу грудь в латах, вижу длинные, не-

[1] здесь покоится высокородная дама... *(фр.)*.
[2] здесь покоится сердце маркиза... *(фр.)*.
[3] «В комнате короля! В комнате короля!» *(фр.)*.

много кривые ноги в лосинах и ботфортах, но лица никак разглядеть не могу. Если бы я разглядел лицо, я бы узнал, может быть, в какое время я жил в этом замке, но именно этого я не вижу, какой-то тугой, упрямый клапан в моей памяти не хочет открыться. «Zorobabel! Zorobabel!» — кричит повелительный голос. Я напрягаю все силы, и вдруг в капризной памяти открывается совсем другой клапан. Замок Ларош-Моден исчезает, и новая, неожиданная картина развертывается предо мною!

VI

Я увидел большое русское село. Бревенчатые избы, крытые соломой, тянулись под гору по обеим сторонам широкой улицы. Был серый осенний день, а может быть, и вечер. Холодный дождь падал мелкими и частыми каплями с одноцветного неба, ветер гудел и свистал по широкой улице и, поднимая солому с полуразобранных крыш, крутил ее в воздухе. Внизу маленькая речонка быстро катила свои свинцовые вздувшиеся волны. Я перешел на ту сторону реки, горбатый мост без перил задрожал под моими ногами. С моста были две дороги: налево, в гору, продолжалось село, направо, словно нагнувшись над оврагом, стояла старая деревянная церковь с зеленым куполом. Я пошел направо. За церковью виднелось несколько насыпей с почерневшими от времени крестами, между могилами качались по ветру мокрые, почти обнаженные ветви молодых берез; вся земля, словно ковром, была покрыта желто-бурыми листьями. Дальше шло черное, совсем голое поле. И, несмотря на эту безотрадную картину, чем-то родным и хорошим повеяло на меня из далекой протекшей там жизни. Но отчего же такой мрак и такое безлюдье кругом? Отчего не видно ни одного живого лица? Отчего все избы растворены настежь? В какое время жил я в этом селе? Было ли это во времена нашествий татарских или позже? Иноземный ли разорил это гнездо, или свои внутренние воры выгнали жителей в леса и степи?

Я вернулся к мостику и пошел налево в гору. И там то же безлюдье, те же следы разрушения. Около обва-

лившегося колодца я увидел, наконец, живое существо. Это была старая, страшно исхудалая собака, вероятно, умиравшая от голода. Вся шерсть ее вылезла, спина и бока представляли почти обнаженные кости. Увидев меня, она с невероятными усилиями поднялась на ноги, но двинуться не могла и, упав в грязь, жалобно завыла.

Всеми силами души своей я старался представить себе это родное село при какой-нибудь другой обстановке. Ведь и здесь вставали румяные зори, и солнце пышно закатывалось за горой, и поле колосилось рожью, и речка замерзала, и вся гора искрилась серебром в морозные лунные ночи... Но как ни напрягал я свою память, не мог вспомнить ничего подобного. Словно круглый год серое небо поливало несчастное село мелким дождем, да ветер свободно входил в раскрытые избы и вырывался на простор через праздные, никому не нужные трубы. <...>

VII

Рамки моей памяти раздвигались все шире и шире. Предо мной проходили далекие, давно забытые и, как мне казалось, никогда не виданные страны, дикие леса, какие-то гигантские бои, в которых к людям примешивались и звери. Но это были туманные очертания, из которых еще не складывалось никакого определенного образа. Среди этих картин промелькнула девочка в голубом платье. Эта девочка была мне давно знакома; во время моего последнего существования она изредка являлась мне во сне, и я всегда считал такой сон дурным предзнаменованием. Это была девочка лет десяти, худая, бледная и некрасивая, только глаза у нее были чудесные: черные, глубокие, с серьезным, совсем не детским выражением. Иногда эти глаза выражали такое страдание и такой испуг, что, встретившись с ее взглядом, я немедленно просыпался с биением сердца и с каплями холодного пота на лбу. После этого я бывал уже не в силах заснуть и несколько дней находился в раздраженном, нервном состоянии. Теперь я убедился в том, что девочка эта действительно существовала и что я ее знал ко-

гда-то... Но кто была она? Была ли она мне дочь, или сестра, или совсем посторонняя? И отчего в ее испуганных глазах выражалось такое нечеловеческое страдание? Какой изверг мучил этого ребенка? А может быть, я сам мучил ее когда-то, и она являлась мне во сне, как наказание и упрек.

Странно, что среди моих воспоминаний не было вовсе веселых, радостных, что мои внутренние очи читали только страницы зла и горя. Конечно, бывали в моих существованиях и радостные дни, но, вероятно, их было немного, потому что они забылись и потонули в море всяких страданий. А если это так, то к чему же самая жизнь? Нельзя же предположить, что жизнь устроена для одного страдания. Есть ли у нее какая-нибудь другая конечная цель? Вероятно, есть, но узнаю ли я ее когда-нибудь?

Ввиду этого незнания мое теперешнее положение, т. е. состояние безусловной неподвижности и покоя, должно бы было мне казаться верхом блаженства. А между тем из всего этого хаоса неясных воспоминаний и отрывочных мыслей начало у меня выделяться одно странное чувство: меня потянуло опять в ту юдоль мрака и скорби, из которой я только что вышел. Я старался заглушить в себе это ощущение, но оно росло, крепло, побеждало все доводы,— и, наконец, перешло в страстную, неудержимую жажду жизни.

VIII

О, только бы жить! Я вовсе не прошу продолжения моего прежнего существования, мне все равно, чем родиться: князем или мужиком, богачом или нищим. Люди говорят: «Не в деньгах счастье» — и, однако, считают счастьем именно те блага жизни, которые приобретаются за деньги. Между тем счастье не в этих благах, а во внутреннем довольстве человека. Где начинается и где кончается это довольство? Все сравнительно, все зависит от горизонта и от масштаба. Нищий, протягивающий руку за грошом и получающий от неизвестного благодетеля рубль, испытывает, быть может, большее удовольствие, нежели банкир, выигрывающий неожиданно двести тысяч. Я и прежде так

думал, но утвердиться в этих мыслях мешали мне предрассудки, внушенные с детства и признававшиеся мной за аксиомы. Теперь эти миражи рассеялись, и я вижу все гораздо яснее. Я, например, страстно любил искусство и думал, что чувство красоты доступно только людям культурным, богатым, а без этого элемента вся жизнь казалась мне слишком скудной. Но что такое искусство? Понятия об искусстве так же условны, как понятия о добре и зле. Каждый век, каждая страна смотрят на добро и зло различно; что считается доблестью в одной стране, то в другой признается преступлением. К вопросу об искусстве, кроме этих различий времени и места, примешивается еще бесконечное разнообразие индивидуальных вкусов. Во Франции, считающей себя самой культурной страной мира, до нынешнего столетия не понимали и не признавали Шекспира: таких примеров можно вспомнить много. И мне кажется, что нет такого бедняка, такого дикаря, в которых не вспыхивало бы подчас чувство красоты, только их художественное понимание иное. Весьма вероятно, что деревенские мужики, усевшиеся в теплый весенний вечер на траве вокруг доморощенного балалаечника или гитариста, наслаждаются не менее профессоров консерватории, слушающих в душной зале фуги Баха.

О, только бы жить! Только бы видеть человеческие лица, слышать звуки человеческого голоса, войти опять в общение с людьми... со всякими людьми: хорошими и дурными! Да и есть ли на свете безусловно дурные люди? И если вспомнить те ужасные условия бессилия и неведения, среди которых осужден жить и вращаться человек, то скорей можно удивляться тому, что есть на свете безусловно хорошие люди. Человек не знает ничего из того, что ему больше всего нужно знать. Он не знает, зачем он родился, для чего живет, почему умирает. Он забывает все свои прежние существования и не может даже догадываться о будущих. Он не понимает цели всех этих последовательных существований и совершает непонятный для него обряд жизни среди мрака и разнородных страданий. А как ему хочется вырваться из этого мрака, как он силится понять, как хлопочет устроить и улучшить свой быт, как напрягает он свой бедный ограниченный разум.

И все его усилия пропадают даром, все изобретения — часто гениальные — не разрешают ни одного из волнующих его вопросов. Во всех своих стремлениях он встречает предел, дальше которого идти не может. Он, например, знает, что, кроме Земли, существуют другие миры, другие планеты; с помощью математических выкладок он знает, как эти планеты движутся, когда они приближаются к Земле и когда от нее удаляются; но что происходит на этих планетах и есть ли там подобные ему существа,— об этом он может догадываться, но наверное не узнает никогда. А он все-таки надеется и ищет. В Америке, на одной из самых высоких гор, собираются зажечь электрический костер, чтобы подать сигнал обитателям Марса. Разве не трогателен этот костер по своей детской наивности?

О, я хочу вернуться к этим несчастным, жалким, терпеливым и дорогим существам! Я хочу жить общей с ними жизнью, хочу опять вмешаться в их мелкие интересы и дрязги, которым они придают такое важное значение. Многих из них я буду любить, с другими бороться, третьих ненавидеть,— но я хочу этой любви, этой ненависти, этой борьбы!

О, только бы жить! Я хочу видеть, как солнце опускается за горой, и синее небо покрывается яркими звездами, как на зеркальной поверхности моря появляются белые барашки, и целые скалы волн разбиваются друг о друга под голос неожиданной бури. Я хочу броситься в челнок навстречу этой буре, хочу скакать на бешеной тройке по снежной степи, хочу идти с кинжалами на разъяренного медведя, хочу испытать все тревоги и все мелочи жизни. Я хочу видеть, как молния разрезает небо и как зеленый жук переползает с одной ветки на другую. Я хочу обонять запах скошенного сена и запах дегтя, хочу слышать пение соловья в кустах сирени и кваканье лягушек у пруда, звон колокола в деревенской церкви и стук дрожек по мостовой, хочу слышать торжественные аккорды героической симфонии и лихие звуки хоровой цыганской песни.

О, только бы жить! Только бы иметь возможность дохнуть земным воздухом и произнести одно человеческое слово, только бы крикнуть, крикнуть!..

IX

И вдруг я вскрикнул, всей грудью, изо всей силы вскрикнул. Безумная радость охватила меня при этом крике, но звук моего голоса поразил меня. Это не был мой обыкновенный голос: это был какой-то слабый, тщедушный крик. Я раскрыл глаза; яркий свет морозного ясного утра едва не ослепил меня. Я находился в комнате Настасьи. Софья Францевна держала меня на руках. Настасья лежала на кровати, вся красная, обложенная подушками, и тяжело дышала.

— Слушай, Васютка,— раздался голос Софьи Францевны,— продерись как-нибудь в залу и вызови Семена на минутку.

— Да как же я туда продерусь, тетенька? — отвечала Васютка.— Сейчас князя выносить будут, гостей собралось там видимо-невидимо.

— Ну, как-нибудь продерись, на минутку всего вызови, ведь все-таки отец.

Васютка исчезла и через минуту воротилась с Семеном. Он был в черном фраке, обшитом плерезами, и держал в руке какое-то огромное полотенце.

— Ну, что? — спросил он, вбегая.

— Все благополучно, поздравляю,— произнесла торжественно Софья Францевна.

— Ну, слава тебе, господи,— сказал Семен и, даже не посмотрев на меня, побежал обратно.

— Мальчик или девочка? — спросил он уже из коридора.

— Мальчик, мальчик!

— Ну, слава тебе, господи,— повторил Семен и скрылся.

В это время Юдишна оканчивала свой туалет перед комодом, на котором стояло старое кривое зеркало в медной оправе. Повязав голову черным шерстяным платком, чтобы идти на вынос, она обратила негодующий взгляд на Настасью.

— Нашла тоже время,— нечего сказать. Князя выносят, а она в это время рожать вздумала. О, чтоб тебя!..

Юдишна с ожесточением плюнула и, набожно крестясь, поплыла по коридору. Настасья ничего ей не ответила, только улыбнулась ей вслед какой-то блаженной улыбкой.

А меня выкупали в корыте, спеленали и уложили в люльку. Я немедленно заснул, как странник, уставший после долгого утомительного пути, и во время этого глубокого сна забыл все, что происходило со мной до этой минуты.

Чрез несколько часов я проснулся существом беспомощным, бессмысленным и хилым, обреченным на непрерывное страдание.

Я вступал в новую жизнь...

[1892]

I

Я проснулся и, лежа еще в постели, раздумывал о только что виденном мною сне: я видел себя купающимся, а так как была зима, то мне особенно казалось приятно помечтать о летнем купанье.

Пора вставать!

Потягиваюсь, приподнимаюсь... Как легко! Легко сидеть, легко стоять. Что это? Уж не продолжается ли сон? Я чувствую, что стою особенно легко, словно погруженный по шею в воду: ноги едва касаются пола.

Но где же вода? Не вижу. Махаю руками: не испытываю никакого сопротивления.

Не сплю ли я? Протираю глаза — все то же.

Странно!..

Однако надо же одеться!

Передвигаю стулья, отворяю шкафы, достаю платье, поднимаю разные вещи и — ничего не понимаю!

Разве увеличились мои силы?.. Почему все стало так воздушно? Почему я поднимаю такие предметы, которые прежде и сдвинуть не мог?

Нет! Это не мои ноги, не мои руки, не мое тело!

Те такие тяжелые и делают все с таким трудом...

Откуда мощь в руках и ногах?

Или, может быть, какая-нибудь сила тянет меня и все предметы вверх и облегчает тем мою работу? Но, в таком случае, как же она тащит сильно! Еще немного — и мне кажется: я увлечен буду к потолку.

Отчего это я не хожу, а прыгаю? Что-то тянет меня в сторону, противо-

положную тяжести, напрягает мускулы, заставляет делать скачок.

Не могу противиться искушению — прыгаю...

Мне показалось, что я довольно медленно поднялся и столь же медленно опустился.

Прыгаю сильнее и с порядочной высоты озираю комнату... Ай! Ушиб голову о потолок... Комнаты высокие... Не ожидал столкновения... Больше не буду таким неосторожным.

Крик, однако, разбудил моего друга: я вижу, как он заворочался и спустя немного вскочил с постели. Не стану описывать его изумления, подобного моему. Я увидел такое же зрелище, какое незаметно для себя несколько минут назад сам изображал собственной персоной. Мне доставляло большое удовольствие смотреть на вытаращенные глаза, смешные позы и неестественную живость движений моего друга; меня забавляли его странные восклицания, очень похожие на мои.

Дав истощиться запасу удивления моего приятеля-физика, я обратился к нему с просьбой разрешить мне вопрос: что такое случилось — увеличились ли наши силы или уменьшилась тяжесть?

И то и другое предположение были одинаково изумительны, но нет такой вещи, на которую человек, к ней привыкнув, не стал бы смотреть равнодушно. До этого мы еще не дошли с моим другом, но у нас уже зародилось желание постигнуть причины.

Мой друг, привыкший к анализу, скоро разобрался в массе явлений, ошеломивших и запутавших мой ум.

— По силомеру, или пружинным весам,— сказал он,— мы можем измерить нашу мускульную силу и узнать, увеличилась ли она или нет. Вот я упираюсь ногами в стену и тяну за нижний крюк силомера. Видишь — пять пудов: моя сила не увеличилась. Ты можешь проделать то же и также убедиться, что ты не стал богатырем, вроде Ильи Муромца.

— Мудрено с тобой согласиться,— возразил я,— факты противоречат. Объясни, каким образом я поднимаю край этого книжного шкафа, в котором не менее пятидесяти пудов? Сначала я вообразил себе, что он пуст, но, отворив его, увидел, что ни одной книги не пропало... Объясни, кстати, и прыжок на пятиаршинную высоту!

— Ты поднимаешь большие грузы, прыгаешь высоко и чувствуешь себя легко не оттого, что у тебя силы стало больше — это предположение уже опровергнуто силомером,— а оттого, что тяжесть уменьшилась, в чем можешь убедиться посредством тех же пружинных весов. Мы даже узнаем, во сколько именно раз она уменьшилась...

С этими словами он поднял первую попавшуюся гирю, оказавшуюся 12-ти фунтовиком, и привесил ее к динамометру (силомеру).

— Смотри! — продолжал он, взглянув на показание весов.— Двенадцатифунтовая гиря оказывается в два фунта. Значит, тяжесть ослабла в шесть раз.

Подумав, он прибавил:

— Точно такое же тяготение существует и на поверхности Луны, что там происходит от малого ее объема и малой плотности ее вещества.

— Уж не на Луне ли мы? — захохотал я.

— Если и на Луне,— смеялся физик, впадая в шутливый тон,— то беда в этом не велика, так как такое чудо, раз оно возможно, может повториться в обратном порядке, то есть мы опять возвратимся восвояси.

— Постой: довольно каламбурить... А что, если взвесить какой-нибудь предмет на обыкновенных рычажных весах! Заметно ли будет уменьшение тяжести?

— Нет, потому что взвешиваемый предмет уменьшается в весе во столько же раз, во сколько и гиря, положенная на другую чашку весов; так что равновесие не нарушается, несмотря на изменение тяжести.

— Да, понимаю!

Тем не менее я все-таки пробую сломать палку — в чаянии обнаружить прибавление силы, что мне, впрочем, не удается, хотя палка не толста и вчера еще хрустела у меня в руках.

— Этакий упрямец! Брось! — сказал мой друг-физик.— Подумай лучше о том, что теперь, вероятно, весь мир взволнован переменами...

— Ты прав,— ответил я, бросая палку,— я все забыл; забыл про существование человечества, с которым и мне, так же как и тебе, страстно хочется поделиться мыслями...

— Что-то стало с нашими друзьями?.. Не было ли и других переворотов?

Я открыл уже рот и отдернул занавеску (они все были опущены на ночь от лунного света, мешавшего нам спать), чтобы перемолвиться с соседом, но сейчас же поспешно отскочил. О ужас! Небо было чернее самых черных чернил!

Где же город? Где люди?

Это какая-то дикая, невообразимая, ярко освещенная солнцем местность!

Не перенеслись ли мы в самом деле на какую-нибудь пустынную планету?

Все это я только подумал — сказать же ничего не мог и только бессвязно мычал.

Приятель бросился было ко мне, предполагая, что мне дурно, но я указал ему на окно, и он сунулся туда и также онемел.

Если мы не упали в обморок, то единственно благодаря малой тяжести, препятствовавшей излишнему приливу крови к сердцу.

Мы оглянулись.

Окна были по-прежнему занавешены; того, что нас поражало, не было перед глазами; обыкновенный же вид комнаты и находившихся в ней хорошо знакомых предметов еще более нас успокоил.

Прижавшись с некоторой еще робостью друг к другу, мы сначала приподняли только край занавески, потом приподняли их все и, наконец, решились выйти из дому для наблюдения траурного неба и окрестностей.

Несмотря на то, что мысли наши поглощены были предстоящей прогулкой, мы еще кое-что замечали. Так, когда мы шли по обширным и высоким комнатам, нам приходилось действовать своими грубыми мускулами крайне осторожно — в противном случае подошва скользила по полу бесполезно, что, однако, не угрожало падением, как это было бы на мокром снегу или на земном льду; тело же при этом значительно подпрыгивало. Когда мы хотели сразу привести себя в быстрое горизонтальное движение, то в первый момент надо было заметно наклоняться вперед, подобно тому как лошадь наклоняется, если ее заставляют сдвинуть телегу с непосильным грузом; но это только так казалось — на самом деле все движения наши были край-

не легки... Спускаться с лестницы со ступеньки на ступеньку — как это скучно! Движение шагом — как это медленно! Скоро мы бросили все эти церемонии, пригодные для Земли и смешные здесь. Двигаться выучились вскачь; спускаться и подниматься стали через десять и более ступеней, как самые отчаянные школяры; а то иной раз прямо прыгали через всю лестницу или из окна. Одним словом, сила обстоятельств заставила нас превратиться в скачущих животных вроде кузнечиков или лягушек.

Итак, побегав по дому, мы выпрыгнули наружу и побежали вскачь по направлению к одной из ближайших гор.

Солнце было ослепительно и казалось синеватым. Закрыв глаза руками от Солнца и блиставших отраженным светом окрестностей, можно было видеть звезды и планеты, также большей частью синеватые. Ни те, ни другие не мерцали, что делало их похожими на вбитые в черный свод гвозди с серебряными головками.

А, вон и месяц — последняя четверть! Ну, он не мог нас не удивить, так как поперечник его казался раза в три или четыре больше, нежели диаметр прежде виденного нами месяца. Да и блестел он ярче, чем днем на Земле, когда он представляется в виде белого облачка. Тишина... ясная погода... безоблачное небо... Не видно ни растений, ни животных... Пустыня с черным однообразным сводом и с синим Солнцем-мертвецом. Ни озера, ни реки и ни капли воды! Хоть бы горизонт белелся — это указывало бы на присутствие паров, но он так же черен, как и зенит!

Нет ветра, который шелестит травой и качает на Земле вершинами деревьев... Не слышно стрекотанья кузнечиков... Не заметно ни птиц, ни разноцветных бабочек! Одни горы и горы, страшные, высокие горы, вершины которых, однако, не блестят от снега. Нигде ни одной снежинки! Вон долины, равнины, плоскогорья... Сколько там навалено камней... Черные и белые, большие и малые, но все острые, блестящие, не закругленные, не смягченные волной, которой никогда здесь не было, которая не играла ими с веселым шумом, не трудилась над ними!

А вот место совсем гладкое, хоть и волнистое: не

видно ни одного камешка, только черные трещины расползаются во все стороны, как змеи... Твердая почва — каменная... Нет мягкого чернозема; нет ни песка, ни глины.

Мрачная картина! Даже горы обнажены, бесстыдно раздеты, так как мы не видим на них легкой вуали — прозрачной синеватой дымки, которую накидывает на земные горы и отдаленные предметы воздух... Строгие, поразительно отчетливые ландшафты! А тени! О, какие темные! И какие резкие переходы от мрака к свету! Нет тех мягких переливов, к которым мы так привыкли и которые может дать только атмосфера. Даже Сахара — и та показалась бы раем в сравнении с тем, что мы видели тут. Мы жалели о ее скорпионах, о саранче, о вздымаемом сухим ветром раскаленном песке, не говоря уже об изредка встречаемой скудной растительности и финиковых рощах... Надо было думать о возвращении. Почва была холодна и дышала холодом, так что ноги зябли, но Солнце припекало. В общем, чувствовалось неприятное ощущение холода. Это было похоже на то, когда озябший человек греется перед пылающим камином и не может согреться, так как в комнате чересчур холодно: по его коже пробегают приятные струи тепла, не могущие превозмочь озноб.

На обратном пути мы согревались, перепрыгивая с легкостью серн через двухсаженные каменные груды... То были граниты, порфиры, сиениты, горные хрустали и разные прозрачные и непрозрачные кварцы и кремнеземы — все вулканические породы. Потом, впрочем, мы заметили следы нептунической деятельности.

Вот мы и дома!

В комнате чувствуешь себя хорошо: температура равномернее. Это располагало нас приступить к новым опытам и обсуждению всего нами виденного и замеченного. Ясное дело, что мы находимся на какой-то другой планете. На этой планете нет воздуха, нет и никакой другой атмосферы.

Если бы был газ, то мерцали бы звезды; если бы был воздух, небо было бы синим и была бы дымка на отдаленных горах. Но каким образом мы дышим и слышим друг друга? Этого мы не понимали. Из множества явлений можно было видеть отсутствие воздуха и какого бы то ни было газа: так, нам не удавалось

закурить сигару, и сгоряча мы попортили здесь пропасть спичек; каучуковый закрытый и непроницаемый мешок сдавливался без малейшего усилия, чего не было бы, если бы в его пространстве находился какой-нибудь газ. Это отсутствие газов ученые доказывают и на Луне.

— Не на Луне ли и мы?

— Ты заметил, что отсюда Солнце не кажется ни больше, ни меньше, чем с Земли? Такое явление можно наблюдать только с Земли да с ее спутника, так как эти небесные тела находятся почти на равном расстоянии от Солнца. С других же планет оно должно казаться или больше, или меньше: так, с Юпитера угол Солнца раз в пять меньше, с Марса — раза в полтора, а с Венеры, наоборот,— в полтора раза больше: на Венере Солнце жжет вдвое сильнее, а на Марсе — вдвое слабее. И такая разница с двух ближайших к Земле планет! На Юпитере же, например, Солнце согревает в двадцать пять раз меньше, чем на Земле. Ничего подобного мы здесь не видим, несмотря на то, что имеем к тому полнейшую возможность благодаря запасу угломерных и других измерительных приборов.

— Да, мы на Луне: все говорит про это!

— Говорит об этом даже размер месяца, который мы видели в виде облака и который есть, очевидно, покинутая нами, не по своей воле, планета. Жаль, что мы не можем рассмотреть теперь ее пятна, ее портрет и окончательно определить место своего нахождения. Дождемся ночи...

— Как же ты говоришь,— заметил я своему другу,— что Земля и Луна находятся на равном расстоянии от Солнца? А по-моему, так это разница весьма порядочная! Ведь она, сколько мне известно, равняется тремстам шестидесяти тысячам верст.

— Я говорю: почти, так как эти триста шестьдесят тысяч составляют только одну четырехсотую часть всего расстояния до Солнца,— возразил физик.— Одной четырехсотой можно пренебречь.

II

Как я устал, и не столько физически, сколько нравственно! Клонит ко сну непреодолимо... Что-то скажут часы?.. Мы встали в шесть, теперь пять... прошло один-

надцать часов; между тем, судя по теням, Солнце почти не сдвинулось: вон тень от крутой горы немного не доходила до дому, да и теперь столько же не доходит; вон тень от флюгера упирается на тот же камень...

Это еще новое доказательство того, что мы на Луне...

В самом деле, вращение ее вокруг оси так медленно... Здесь день должен продолжаться около пятнадцати наших суток, или триста шестьдесят часов, и столько же — ночь. Не совсем удобно... Солнце мешает спать! Я помню: я то же испытывал, когда приходилось прожить несколько летних недель в полярных странах: Солнце не сходило с небосклона и ужасно надоедало! Однако большая разница между тем и этим. Здесь Солнце движется медленно, но тем же порядком; там оно движется быстро и каждые двадцать четыре часа описывает невысоко над горизонтом круг...

И там и здесь можно употребить одно и то же средство: закрыть ставни...

Но верны ли часы? Отчего такое несогласие между карманными и стенными часами с маятником? На первых — пять, а на стенных — только десятый... Какие же верны? Что это маятник качается так лениво?

Очевидно, эти часы отстают!

Карманные же часы не могут врать, так как их маятник качает не тяжесть, а упругость стальной пружинки, которая все та же — как на Земле, так и на Луне.

Можем это проверить, считая пульс. У меня было семьдесят ударов в минуту... Теперь семьдесят пять... Немного больше, но это можно объяснить нервным возбуждением, зависящим от необычайной обстановки и сильных впечатлений.

Впрочем, есть еще возможность проверить время: ночью мы увидим Землю, которая делает оборот в двадцать четыре часа. Это лучшие и непогрешимые часы!

Несмотря на одолевавшую нас обоих дремоту, мой физик не утерпел, чтобы не поправить стенных часов. Я вижу, как он снимает длинный маятник, точно измеряет его и укорачивает в шесть раз или около этого. Почтенные часы превращаются в чикуши. Но здесь они уже не чикуши, ибо и короткий маятник ведет се-

бя степенно, хотя и не так, как длинный. Вследствие этой метаморфозы стенные часы сделались согласны с карманными.

Наконец мы ложимся и накрываемся легкими одеялами, которые здесь кажутся воздушными.

Подушки и тюфяки почти не применяются. Тут можно бы, кажется, спать даже на досках.

Не могу избавиться от мысли, что ложиться еще рано. О, это Солнце, это время! Вы застыли, как и вся лунная природа!

Товарищ мой перестал мне отвечать; заснул и я.

Веселое пробуждение... Бодрость и волчий аппетит... До сих пор волнение лишало нас обыкновенного позыва к еде.

Пить хочется! Открываю пробку... Что это — вода закипает! Вяло, но кипит. Дотрагиваюсь рукой до графина. Не обжечься бы... Нет, вода только тепла. Неприятно такую пить!

— Мой физик, что ты скажешь?

— Здесь абсолютная пустота, оттого вода и кипит, не удерживаемая давлением атмосферы. Пускай еще покипит: не закрывай пробку! В пустоте кипение оканчивается замерзанием... Но до замерзания мы не доведем ее... Довольно! Наливай воду в стакан, а пробку заткни, иначе много выкипит.

Медленно льется жидкость на Луне!..

Вода в графине успокоилась, а в стакане продолжает безжизненно волноваться — и чем дольше, тем слабее.

Остаток воды в стакане обратился в лед, но и лед испаряется и уменьшается в массе.

Как-то мы теперь пообедаем?

Хлеб и другую, более или менее твердую пищу можно было есть свободно, хотя она быстро сохла в не закрытом герметически ящике: хлеб обратился в камень, фрукты съежились и также сделались довольно тверды. Впрочем, их кожица все еще удерживала влажность.

— Ох, эта привычка кушать горячее! Как с нею быть? Ведь здесь нельзя развести огонь: ни дрова, ни уголь, ни даже спички не горят!

— Не употребить ли в дело Солнце?.. Пекут же яйца в раскаленном песке Сахары!..

И горшки, и кастрюли, и другие сосуды мы переделали так, чтобы крышки их плотно и крепко прикрывались. Все было наполнено чем следует, по правилам кулинарного искусства, и выставлено на солнечное место в одну кучу. Затем мы собрали все бывшие в доме зеркала и поставили их таким образом, чтобы отраженный от них солнечный свет падал на горшки и кастрюли.

Не прошло и часа, как мы могли уже есть хорошо сварившиеся и изжаренные кушанья.

Да что говорить!.. Вы слыхали про Мущо? Его усовершенствованная солнечная стряпня была далеко позади!.. Похвальба, хвастовство? Как хотите... Можете объяснить эти самонадеянные слова нашим волчьим аппетитом, при котором всякая гадость должна была казаться прелестью.

Одно было нехорошо: надо было спешить. Признаюсь, мы не раз-таки давились и захлебывались. Это станет понятно, если я скажу, что суп кипел и охлаждался не только в тарелках, но даже и в наших горлах, пищеводах и желудках; чуть зазевался — глядишь: вместо супа кусок льда...

Удивительно, как это целы наши желудки! Давление пара порядком-таки их растягивало...

Во всяком случае, мы были сыты и довольно покойны. Мы не понимали, как мы живем без воздуха, каким образом мы сами, наш дом, двор, сад и запасы пищи и питья в погребах и амбарах перенесены с Земли на Луну. На нас нападало даже сомнение. И мы думали: не сон ли это, не мечта ли, не наваждение ли бесовское? И за всем тем мы привыкли к своему положению и относились к нему отчасти с любопытством, отчасти равнодушно: необъяснимое нас не удивляло, а опасность умереть с голоду одинокими и несчастными нам даже не приходила на мысль.

Чем объясняется такой невозможный оптимизм, вы это узнаете из развязки наших похождений.

Прогуляться бы после еды... Спать много я не решаюсь: боюсь удара.

Увлекаю и приятеля.

Мы — на обширном дворе, в центре которого возвышается гимнастика, а по краям — забор и службы.

Зачем здесь этот камень? О него можно ушибиться. На дворе почва обыкновенная земная, мягкая. Вон его, через забор!.. Берись смело! Не пугайся величины! И вот камень пудов в шестьдесят обоюдными усилиями приподнят и перевален через забор. Мы слышали, как он глухо ударился о каменную почву Луны. Звук достиг нас не воздушным путем, а подземным: удар привел в сотрясение почву, затем наше тело и ушные кости. Таким путем мы нередко могли слышать производимые нами удары.

— Не так ли мы и друг друга слышим?

— Едва ли! Звук не раздавался бы, как в воздухе.

Легкость движений возбуждает сильнейшее желание полазить и попрыгать.

Сладкое время детства! Я помню, как взбирался на крыши и деревья, уподобляясь кошкам и птицам. Это было приятно...

А соревновательные прыжки через веревочку и рвы! А беготня на приз! Этому я отдавался страстно...

Не вспомнить ли старину? У меня было мало силы, особенно в руках. Прыгал и бегал я порядочно, но по канату и шесту взбирался с трудом.

Я мечтал о большой физической силе: отплатил бы я врагам и наградил бы друзей!.. Дитя и дикарь — одно и то же. Теперь для меня смешны эти мечты о сильных мускулах... Тем не менее желания мои, жаркие в детстве, здесь осуществляются: силы мои благодаря ничтожной лунной тяжести как будто ушестерились.

Кроме того, мне не нужно теперь одолевать вес собственного тела, что еще более увеличивает эффекты силы. Что такое для меня тут забор? Не более, чем порог или табурет, который на Земле я могу перешагнуть. И вот, как бы для проверки этой мысли, мы взвиваемся и без разбегу перелетаем через ограду. Вот вспрыгиваем и даже перепрыгиваем через сарай, но для этого приходится разбегаться. А как приятно бежать: ног не чувствуешь под собой. Давай-ка... кто кого?.. В галоп!..

При каждом ударе пяткой о почву мы пролетали сажени, в особенности в горизонтальном направлении. Стой! В минуту — весь двор: 500 сажен — скорость скаковой лошади...

Ваши «гигантские шаги» не дают возможности делать таких скачков!

Мы делали измерения: при галопе, довольно легком, над почвой поднимались аршина на четыре; в продольном же направлении пролетали сажен пять и более, смотря по быстроте бега.

— К гимнастике!..

Едва напрягая мускулы, даже, для смеху, с помощью одной левой руки мы взбирались по канату на ее площадку.

Страшно: четыре сажени до почвы!.. Все кажется, что находишься на неуклюжей Земле!.. Кружится голова...

С замирающим сердцем я первый решаюсь броситься вниз. Лечу... Ай! Ушиб слегка пятки!

Мне бы предупредить об этом приятеля, но я его коварно подбиваю спрыгнуть. Подняв голову, я кричу ему:

— Прыгай, ничего — не ушибешься!

— Напрасно уговариваешь: я отлично знаю, что прыжок отсюда равен прыжку на Земле с двухаршинной высоты. Понятно, придется немного по пяткам!

Летит и мой приятель. Медленный полет... особенно сначала. Всего он продолжался секунд пять.

В такой промежуток о многом можно подумать.

— Ну что, физик?

— Сердце бьется — больше ничего.

— В сад!.. По деревьям лазить, по аллеям бегать!..

— Почему же это там не высохли листья?

Свежая зелень... Защита от Солнца... Высокие липы и березы! Как белки, мы прыгали и лазили по нетолстым ветвям, и они не ломались. Еще бы — ведь мы здесь не тяжелее жирных индюшек!..

Мы скользили над кустарниками и между деревьями, и движение наше напоминало полет. О, это было весело! Как легко тут соблюдать равновесие! Покачнулся на сучке, готов упасть, но наклонность к падению так слаба и самое уклонение от равновесия так медленно, что малейшего движения рукой или ногой достаточно, чтобы его восстановить.

На простор!.. Огромный двор и сад кажутся клеткой... Сначала бежим по ровной местности. Встречаются неглубокие рвы, сажен до десяти шириной. С раз-

бегу мы перелетаем их, как птицы. Но вот начался подъем; сперва слабый, а затем все круче и круче. Какая крутизна! Боюсь одышки.

Напрасная боязнь: поднимаемся свободно, большими и быстрыми шагами по склону. Гора высока — и легкая Луна утомляет. Садимся. Отчего это так тут мягко? Не размягчились ли камни?

Беру большой камень и ударяю о другой; сыплются искры.

— Отдохнули. Назад...

— Сколько до дому?

— Теперь немного, сажен двести...

— Кинешь на это расстояние камень?

— Не знаю, попробую!

Мы взяли по небольшому угловатому камню... Кто бросит дальше? Мой камень перенесся через жилище. И отлично. Следя за его полетом, я очень опасался, что он разобьет стекла.

— А твой?.. Твой еще дальше!

Интересна здесь стрельба: пули и ядра должны пролетать в горизонтальном и вертикальном направлении сотни верст.

— Но будет ли тут работать порох?

— Взрывчатые вещества в пустоте должны проявлять себя даже с бóльшей силой, чем в воздухе, так как последний только препятствует их расширению; что же касается кислорода, то они в нем не нуждаются, потому что все необходимое его количество заключается в них самих.

III

Мы пришли домой.

— Я насыплю пороху на подоконник, освещенный Солнцем,— сказал я.— Наведи на него фокус зажигательного стекла... Видишь — огонь... взрыв, хотя и бесшумный.— Знакомый запах, моментально исчезнувший...

— Можешь выстрелить. Не забудь только надеть пистон: зажигательное стекло и Солнце заменят удар курка.

— Установим ружье вертикально, чтобы пулю после взрыва отыскать поблизости...

Огонь, слабый звук, легкое сотрясение почвы.

— Где же пыж? — воскликнул я. — Он должен быть тут, поблизости, хотя и не станет дымить!

— Пыж улетел вместе с пулей и едва ли от нее отстанет, так как только атмосфера мешает ему на Земле поспевать за свинцом, здесь же и пух падает и летит вверх с такой же стремительностью, как и камень... Ты бери пушинку, торчащую из подушки, а я возьму чугунный шарик: ты можешь кидать свой пух и попадать им в цель, даже отдаленную, с таким же удобством, как я шариком. Я могу при этой тяжести кинуть шарик сажен на двести; ты на такое же расстояние можешь бросить пушинку; правда, ты никого ею не убьешь и при бросании даже не почувствуешь, что ты что-нибудь бросаешь. Бросим наши метательные снаряды изо всех сил, которые у нас не очень различны, и в одну цель: вон в тот красный гранит...

Мы видим, как пушинка опередила немного чугунный шарик, как бы увлекаемая сильным вихрем...

— Но что это: со времени выстрела прошло три минуты, а пули нет? — сказал я.

— Подожди две минуты, и она, наверно, вернется, — отвечал физик.

Действительно, через указанный приблизительно срок мы ощущаем легкое сотрясение почвы и видим прыгающий невдалеке пыж.

— Где же пуля? Ведь не клок же пакли произвел сотрясение? — удивился я.

— Вероятно, от удара пуля накалилась до расплавления и мелкие брызги разлетелись в разные стороны.

Поискав кругом, мы в самом деле нашли несколько мельчайших дробинок, составлявших, очевидно, частицы пропавшей пули.

— Как долго летела пуля!.. На какую же высоту она должна подняться? — спросил я.

— Да верст на семьдесят. Эту высоту создают малая тяжесть и отсутствие воздушного сопротивления.

. . . . . .

Утомились ум и тело и потребовали отдыха. Луна Луною, а неумеренные прыжки дают себя чувствовать. Вследствие продолжительности полетов во время их совершения мы не всегда падали на ноги и — ушибались. В течение четырех — шести секунд полета можно

не только осмотреть окрестности с порядочной высоты, но и совершить некоторые движения руками и ногами; однако самовольно кувыркаться в пространстве нам не удавалось. Потом мы выучились одновременно сообщать себе поступательное и вращательное движения; в таких случаях мы переворачивались в пространстве раз до трех. Интересно испытать это движение, интересно и видеть его со стороны. Так я подолгу наблюдал за движением моего физика, совершавшего без опоры, без почвы под ногами многие опыты. Описать их — надо для этого целую книгу.

. . . . . .

Проспали часов восемь.

Становилось теплее. Солнце поднялось выше и пекло даже слабее, захватывая меньшую поверхность тела, но почва нагрелась и уже не обдавала холодом; в общем, действие Солнца и почвы было теплое, почти горячее.

Пора было, однако, принять меры предосторожности, так как нам становилось ясным, что еще до наступления полудня мы должны изжариться.

Как же быть?

У нас были разные планы.

— Несколько дней можно прожить в погребе, но нельзя ручаться, что вечером, то есть часов через двести пятьдесят, жара не проникнет туда, так как погреб недостаточно глубок. Кроме того, мы соскучимся при отсутствии всяких удобств и в закрытом пространстве.

Положим, терпеть скуку и неудобства легче, чем жариться.

Но не лучше ли выбрать ущелье поглубже? Заберемся туда и проведем там в приятной прохладе остаток дня и часть ночи.

Это гораздо веселее и поэтичнее. А то — погреб!..

Загонит же человека нужда в такое место!..

Итак, ущелье. Чем сильнее будет Солнце печь, тем ниже мы будем спускаться. Впрочем, достаточно глубины нескольких сажен.

Захватим зонтики, провизию в закупоренных ящиках и бочках; на плечи накинем шубы, которые нам могут пригодиться и при излишнем тепле и при излишнем холоде, притом они не отягчат здесь плечи.

Прошло еще несколько часов, в продолжение кото-

рых мы успели поесть, отдохнуть и поговорить еще о гимнастике на Луне и о том, какие чудеса могли бы произвести здесь земные акробаты. Медлить более было нельзя: жара стояла адская; по крайней мере, снаружи, в местах освещенных, каменная почва накаливалась до того, что пришлось подвязать под сапоги довольно толстые деревянные дощечки.

Второпях мы роняли стеклянную и глиняную посуду, но она не разбивалась — так слаба была тяжесть.

Чуть не забыл сказать про судьбу нашей лошади, занесенной сюда вместе с нами. Это несчастное животное, когда мы хотели его запрячь в телегу, как-то вырвалось из рук и сначала помчалось быстрее ветра, кувыркаясь и ушибаясь, затем, не сообразив силы инерции и не успев обогнуть встретившуюся на пути каменную глыбу, разбилось об нее вдребезги. Мясо и кровь сначала замерзли, а потом высохли.

Кстати сказать и о мухах. Они не могли летать, а только прыгали, по крайней мере на пол-аршина...

. . . . . .

Итак, захватив все необходимое, с огромным грузом на плечах, что нас немало потешало, так как все казалось пусто и тонко, что мы ни несли, и, закрыв двери, окна и ставни дома, чтобы он меньше прокалился и пострадал от высокой температуры,— мы отправились искать подходящее ущелье или пещеру.

Во время поисков нас поражали резкие перемены температуры: места, давно освещенные Солнцем, обдавали жаром раскаленной печи; мы старались их скорее миновать и освежались и отдыхали где-нибудь в тени, бросаемой большим камнем или скалой,— и до того освежались, что если бы помедлили, то с пользой могли бы употребить в дело шубы. Но и эти места вообще ненадежны: Солнце должно перейти на другую сторону и осветить место, где были тень и холод. Мы знали это и искали ущелье, где Солнце хотя и будет светить, но на короткое время и не успеет накалить камни.

Вот и ущелье со стенами, почти отвесными. Видно только начало стен — оно черно и представляется бездонным. Мы обошли теснину и нашли туда пологий спуск, ведший, по-видимому, в самый ад. Несколько шагов делаем благополучно, но тьма сгустилась, и впе-

реди ничего не было видно; идти далее казалось ужасным, да и рискованным... Мы вспомнили, что захватили электрическую лампу: свечи же и факелы тут невозможны... Засиял свет и моментально осветил ущелье сажен в двадцать глубиной; спуск оказался удобным.

Вот тебе и бездонное ущелье, вот тебе и ад! Нас разочаровала подобная мизерность.

Темнота его, во-первых, объясняется тем, что оно лежит в тени и вследствие его узости и глубины лучи от освещенных окрестностей и высоких гор не проникают туда; во-вторых, тем, что оно не освещается сверху атмосферой, что было бы на Земле, где нельзя поэтому ни в каком колодце встретить такой сильной темноты.

По мере того как мы опускались, хватаясь иногда за стены, температура понижалась, но менее 15 градусов по Цельсию не было. Видно, это средняя температура той широты, на которой мы находились... Выбираем удобное, ровное местечко, подстилаем шубы и располагаемся комфортабельно.

Но что это? Не наступила ли ночь? Заслонив лампу рукой, мы глядим на клок темного неба и на многочисленные звезды, сияющие довольно ярко над нашими головами.

Однако хронометр показывает, что времени прошло немного, а Солнце не могло внезапно закатиться.

Ах! Неловкое движение — и лампа разбита, хотя угольная полоска продолжает светиться даже сильнее; будь это на Земле, она сейчас же потухла бы, сгорев в воздухе.

Я с любопытством дотрагиваюсь до нее; она ломается — и все погружается во мрак: мы не видим друг друга, только на высоте края ущелья чуть заметны, да длинная и узкая полоса черного свода засветилась еще бóльшим количеством звезд.

Не верится, что день в разгаре. Я не могу утерпеть: с трудом отыскиваю запасную лампу, замыкаю электрический ток и иду вверх... Светлее и теплее... Свет ослепил меня; электрическая лампа как будто потухла.

Да, день! и Солнце и тени всё там же.

Жарко! Скорее назад.

IV

От нечего делать мы спали, как сурки. Нора наша не нагревалась.

Иногда мы выходили из нее, отыскивали тенистое местечко и наблюдали течение Солнца, звезд, планет и нашего большого месяца, который, по сравнительной величине с вашим жалким месяцем, был то же, что яблоко относительно вишни.

Солнце двигалось почти наравне со звездами и лишь едва заметно от них отставало, что и с Земли замечается.

Месяц стоял совершенно неподвижно и не был виден из ущелья, о чем мы очень тужили, так как из темноты мы могли бы наблюдать его с таким же успехом, как ночью, до которой было еще далеко. Напрасно мы не выбрали другого ущелья, из которого можно было бы видеть месяц, но теперь уже поздно!..

Приближался полдень; тени перестали укорачиваться; месяц имел вид узкого серпа, все более и более бледневшего, по мере приближения к нему Солнца.

Месяц — яблоко, Солнце — вишня; не зашла бы вишня за яблоко, не случилось бы солнечного затмения.

На Луне оно составляет частое и грандиозное явление; на Земле оно редко и ничтожно: пятнышко тени, чуть не с булавочную головку (а иногда и в несколько верст длины, но что это, как не булавочная головка в сравнении с величиной Земли), описывает полосу на планете, переходя в благоприятном случае из города в город и пребывая в каждом из них несколько минут. Здесь же тень покрывает или всю Луну, или в большинстве случаев значительную часть ее поверхности, так что полная темнота продолжается целые часы...

Серп стал еще у́же и наряду с Солнцем едва заметен...

Серп совсем сделался не виден.

Мы вылезли из ущелья и глядели на Солнце через темное стекло...

Вот как будто кто-то с одной стороны светила приплюснул невидимым гигантским пальцем его светящуюся массу.

Вот уже видна только половина Солнца.

Наконец исчезла последняя его частица, и все погрузилось в мрак. Набежала и прикрыла нас огромная тень.

Но слепота быстро исчезает: мы видим месяц и множество звезд.

Это не тот месяц — серп; этот имеет форму темного круга, охваченного великолепным багровым сиянием, особенно ярким, хотя и бледным с той стороны, где пропал остаток Солнца.

Да, я вижу цвета зари, которыми когда-то мы любовались с Земли.

И окрестности залиты багрянцем, как бы кровью...

Тысячи людей глядят невооруженными глазами и через стекла на нас, наблюдая полное лунное затмение...

Родные очи! Видите ли вы нас?..

Пока мы тут горевали, красный венок становился равномернее и красивее. Вот он равен по всей окружности месяца; это середина затмения. Вот одна сторона его, противоположная той, где скрылось Солнце, побледнела и посветлела... Вот она делается все блестящее и принимает вид брильянта, вставленного в красный перстень...

Брильянт превратился в кусочек Солнца — и венец невидим... Ночь переходит в день — и оцепенение наше пропадает: прежняя картина предстала перед глазами... Мы заговорили оживленно.

Я говорил: «Мы выбирали тенистое местечко и делали наблюдения», но вы можете спросить: «Каким образом из тенистого местечка вы наблюдали Солнце?»

Я отвечу: «Не все тенистые места холодны и не все освещенные места накалены. Действительно, температура почвы зависит от того, главным образом, сколько времени Солнце нагревало это место. Есть пространства, только несколько часов тому назад освещенные Солнцем и бывшие до того времени в тени. Понятно, температура их не только не могла быть высока, но она даже чересчур низка. Где есть скалы и крутые горы, бросающие тени, там есть и пространства, хотя освещенные, так что с них можно видеть Солнце, но холодные. Правда, только иногда их не бывает под

рукой, и прежде чем их отыщешь и дойдешь до них, порядком пропечешься — не спасет и зонтик».

Ради удобства и отчасти моциона мы, заметив множество камней в нашей щели, решили те из них, которые еще не успели нагреться, натаскать в достаточном количестве наружу, чтобы застелить ими некоторую, открытую со всех сторон площадь и тем защитить свои тела от жары.

Сказано — сделано...

Таким образом, мы всегда могли выходить наверх и, восседая в центре каменной груды, торжественно делать наблюдения.

Камни могли прогреться!

Можем натаскать новых, благо их тут внизу много; в силах, ушестеренных Луной, также недостатка быть не может.

Это мы совершили уже после солнечного затмения, которого даже и не ждали с уверенностью.

Кроме этого дела, тотчас после затмения мы занялись определением широты той местности Луны, на которой мы находились, что было сделать нетрудно, имея в виду эпоху равноденствия (она видна из случившегося затмения) и высоту Солнца. Таким образом, широта места оказалась в 40° северной широты и мы не находились, значит, на экваторе Луны.

Итак, прошел полдень — семь земных суток с восхода Солнца, чему мы не были свидетелями. В самом деле, хронометр указывает, что время нашего пребывания на Луне равно пяти земным суткам. Следовательно, мы явились на Луну рано утром, в сорок восьмом часу. Это объясняет, почему мы, проснувшись, нашли почву очень холодной: она не успела нагреться, будучи страшно охлаждена предшествующей продолжительной пятнадцатидневной ночью.

. . . . . .

Мы спали и просыпались и каждый раз видели над собой всё новые и новые звезды. Это все тот же знакомый Земле узор, всё те же звезды; только узкая дыра, в которой мы помещались, не дозволяла зараз видеть большое их количество, да не мерцали они на черном поле, да текли в двадцать восемь раз медленнее.

Вон показался Юпитер; его спутников можно видеть здесь невооруженными глазами, и мы наблюдали

их затмения. Перестал быть виден Юпитер. Выкатилась Полярная звезда. Бедная! Она не играет здесь важной роли. Только месяц один никогда не заглянет в наше ущелье, если мы даже будем тут дожидаться его тысячу лет. Не зайдет, потому что он вечно неподвижен. Его оживить может только движение наших тел на этой планете; тогда он может опуститься, подняться и закатиться... К этому вопросу мы еще вернемся...

. . . . . .

Нельзя все спать!

Мы принялись строить планы.

— Ночью выйдем из ущелья, но не тотчас после заката, когда почва накалена до крайней почти степени, а спустя несколько десятков часов. Посетим и наше жилище; что-то там делается? Не напроказило ли Солнце? Затем повояжируем при месячном освещении. Насладимся видом здешнего месяца. До сих пор мы видели его похожим на белое облачко; ночью же увидим во всей красе, во всем блеске и со всех сторон, так как он быстро вертится и сам себя покажет не более чем в двадцать четыре часа, то есть в незначительную часть лунных суток.

Наш большой месяц — Земля — имеет фазы, как и Луна, на которую мы прежде смотрели издали с мечтательным любопытством.

Для нашей местности в полдень бывает новомесячие, или новоземлие; при заходе Солнца — первая четверть; в полночь — полномесячие; при восходе — последняя четверть.

Мы находимся в местности, где ночи и даже дни вечно месячные. Это недурно, но только до тех пор, пока мы существуем в полушарии, видном с Земли; но как скоро мы переходим в другое полушарие, не видное с Земли, то тотчас же лишаемся ночного освещения. Лишаемся до тех пор, пока находимся в этом несчастном и вместе с тем столь таинственном полушарии. Таинственно оно для Земли, так как Земля его никогда не видит, и потому ученых оно очень интригует; несчастно оно потому, что его жители, буде они там есть, лишены ночного светила и великолепного зрелища.

В самом деле, есть ли на Луне обитатели? Каковы они? Похожи ли на нас? До сих пор мы их не встреча-

ли, да и довольно трудно было встретить, так как мы сидели чуть не на одном месте и занимались гораздо более гимнастикой, чем селенографией. Особенно интересна та неведомая половина, черные небеса которой по ночам вечно покрыты массой звезд, большей частью мелких, телескопических, так как нежное сияние их не разрушается многократными преломлениями атмосферы и не заглушается грубым светом огромного месяца.

Нет ли там углубления, в котором могут скопиться газы, жидкости и лунное население. Таково содержание наших разговоров, в которых мы проводили время, дожидаясь ночи и заката. Его мы ждали также с нетерпением. Было не очень скучно. Не забыли и про опыты с деревянным маслом, о котором заранее говорил физик.

Дело в том, что нам удавалось получить капли громадных размеров. Так, капли масла с горизонтальной плоскости при падении достигали величины яблока. Капли с острия были гораздо меньше; через отверстия масло вытекало раза в два с половиной медленнее, чем на Земле при одинаковых условиях. Явления волосности проявлялись на Луне с ушестеренной силой. Так, масло по краям сосуда поднималось над средним уровнем раз в шесть сильнее.

В маленькой рюмке масло имело форму почти сферическую — вдавленную...

Не забывали мы и о грешной своей утробе. Через каждые шесть — десять часов подкрепляли себя пищей и питьем.

С нами был самовар с плотно привинченной крышкой, и мы частенько попивали настой китайской травки.

Конечно, ставить его обыкновенным образом не приходилось, так как для горения угля и лучины необходим воздух; мы просто выносили его на солнце и обкладывали особенно накалившимися мелкими камешками. Поспевал он живо, не закипая. Горячая вода вырывалась с силой из открытого крана, побуждаемая к тому давлением пара, не уравновешенным тяжестью атмосферы.

Такой чай пить было не особенно приятно — ввиду

возможности жестоко обвариться, ибо вода разлеталась во все стороны, как взрываемый порох.

Поэтому мы, кладя заранее чай в самовар, давали ему сначала сильно нагреться, потом ждали, пока он, освобожденный от горячих камней, остынет, и, наконец, пили готовый чай, не обжигая губ. Но и этот, сравнительно холодный, чай вырывался с заметной силой и слабо кипел в стаканах и во рту, подобно сельтерской воде.

V

Скоро закат.

Мы смотрели, как Солнце коснулось вершины одной горы. На Земле мы смотрели бы на это явление простыми глазами — здесь это невозможно, потому что тут нет ни атмосферы, ни паров воды, вследствие чего Солнце нисколько не потеряло ни своей синеватости, ни своей тепловой и световой силы. Взглянуть на него без темного стекла можно было только мельком; это не то что наше багровое и слабое при закате и восходе Солнце!..

Оно погружалось, но медленно. Вот уже от первого его прикосновения к горизонту прошло полчаса, а половина его еще не скрылась.

В Петербурге или Москве время заката не более трех — пяти минут; в тропических же странах оно около двух минут; и только на полюсе оно может продолжаться несколько часов.

Наконец за горами потухла последняя частица Солнца, казавшаяся яркой звездой.

Но зари нет. Вместо зари мы видим кругом себя множество светящихся довольно ярким отраженным светом вершин гор и других возвышенных частей окрестности.

Этого света вполне достаточно, чтобы не потонуть во мраке в продолжение многих часов, если бы даже и не было месяца.

Одна отдаленная вершина, как фонарь, светилась в продолжение тридцати часов.

Но и она потухла.

Нам светил только месяц и звезды, а ведь световая сила звезд ничтожна.

Тотчас после заката и даже некоторое время спустя отраженный солнечный свет преобладал над свечением месяца.

Теперь же, когда потух последний конус горы, месяц — господин ночи — воцарился над Луной.

Обратим же к нему наш взор.

Поверхность его раз в пятнадцать больше поверхности земного месяца, который был перед этим, как я уже говорил, то же, что вишня перед яблоком.

Сила света его раз в пятьдесят — шестьдесят превышает свет знакомого нам месяца.

Без напряжения можно было читать; казалось, не ночь это, а какой-то фантастический день.

Его сияние, без особенных экранов, не позволяло видеть ни зодикальный свет, ни звездную мелочь.

Какой вид! Здравствуй, Земля! Наши сердца бились томительно: не то горько, не то сладко. Воспоминания врывались в душу...

Как была мила теперь и таинственна эта прежде ругаемая и пошлая Земля! Видим ее, как бы картину, закрытую голубым стеклом. Это стекло — воздушный океан Земли.

Видим Африку и часть Азии, Сахару, Гоби, Аравию! Страны бездождия и безоблачного неба! На вас нет пятен: вы всегда открыты для взоров селенита. Только при поворачивании планеты вокруг оси уносятся ею эти пустыни.

Белые бесформенные клоки и полосы — это облака.

Суша казалась грязно-желтой или грязно-зеленой.

Моря и океаны темны, но оттенки их различны, что зависит, вероятно, от степени их волнения и покоя. Вот там, может быть, на гребнях волн, играют барашки — так море белесовато. Воды кое-где покрыты облаками, но не все облака белоснежны, хотя сероватых мало: должно быть, они закрыты верхними светлыми слоями, состоящими из ледяной кристаллической пыли.

Два диаметральных конца планеты особенно блестели: это полярные снега и льды.

Северная белизна была чище и имела бóльшую поверхность, чем южная.

Если бы облака не двигались, то их трудно было бы отличить от снега. Впрочем, снега большей частью лежат глубже в воздушном океане, и потому покры-

вающий их голубой цвет темнее, чем эта же окраска у облаков.

Снеговые блестки небольшой величины мы видим рассеянными по всей планете и даже на экваторе — это вершины гор, иногда настолько высоких, что даже в тропических странах с них никогда не сходит снеговая шапка.

Это Альпы блестят!

Это Кавказские вершины!

Это Гималайский хребет!

Снеговые пятна более постоянны, чем облачные, но и они (снеговые) изменяются, исчезают и вновь появляются с временами года...

В телескоп можно было разобрать все подробности... Полюбовались мы!

Была первая четверть: темная половина Земли, освещенная слабой Луной, различалась с большим трудом и была далеко темнее темной (пепельной) части Луны, видимой с Земли.

Нам захотелось есть. Но прежде чем сойти в ущелье, мы пожелали узнать, очень ли еще горяча почва. Сходим с устроенной нами каменной настилки, уже несколько раз возобновляемой, и оказываемся в невозможно натопленной бане. Жар быстро проникает через подошвы... Поспешно ретируемся: не скоро еще остынет почва.

Мы обедаем в ущелье, края которого теперь не светятся, но звезд видно страшное множество.

Через каждые два-три часа мы выходили и наблюдали месяц — Землю.

Мы могли бы осмотреть ее всю часов в двадцать, если бы этому не мешала облачность вашей планеты. С некоторых мест облака упрямо не сходили и выводили нас из терпения, хотя мы и надеялись их еще увидать, и действительно мы их наблюдали, как только там выступало ведро.

. . . . . .

Пять дней мы скрывались в недрах Луны и если выходили, то в ближайшие места и на короткое время.

Почва остывала и к концу пятых суток по-земному, или к середине ночи — по-лунному, настолько охладилась, что мы решились предпринять свое путешествие

по Луне: по ее долам и горам. Ни в одном низком месте мы, собственно, и не были.

Эти темноватые, огромные и низкие пространства Луны принято называть морями, хотя совсем неправильно, так как там присутствие воды не обнаружено. Не найдем ли мы в этих «морях» и еще более низких местах следов нептунической деятельности — следов воды, воздуха и органической жизни, по мнению некоторых ученых, уже давно исчезнувших на Луне? Есть предположение, что все это когда-то на ней было, если и теперь не есть где-нибудь в расщелинах и пропастях: были вода и воздух, но всосались, поглотились с течением веков ее почвой, соединившейся с ними химически; были и организмы — какая-нибудь растительность несложного порядка, какие-нибудь раковины, потому что где вода и воздух, там и плесень, а плесень — начало органической жизни, по крайней мере низшей.

Что касается до моего приятеля-физика, то он думает и имеет на то основание, что на Луне никогда не было ни жизни, ни воды, ни воздуха. Если и была вода, если и был воздух, то при такой высокой температуре, при которой никакая органическая жизнь невозможна.

Да простят мне читатели, что я высказываю тут личный взгляд моего друга-физика, нисколько притом не доказанный.

Вот когда совершим кругосветное путешествие, тогда и видно будет, кто прав. Итак, захватив грузы, которые значительно облегчились по причине большого количества съеденного и выпитого, оставляем гостеприимное ущелье и по месяцу, стоявшему на одном и том же месте черного свода, направляемся к жилищу, которое вскоре и отыскиваем.

Деревянные ставни и другие части дома и служб, сделанные из того же материала, подверженные продолжительному действию Солнца, разложились и обуглились с поверхности. На дворе мы нашли обломки разорванной давлением пара бочки с водой, которую, закупорив, неосторожно оставили на солнечном припеке. Следов воды, конечно, не было: она улетучилась без остатка. У крыльца нашли осколки стекла — это от фонаря, оправа которого была сделана из легкоплавкого металла: понятно — она расплавилась, и стекла полетели вниз. В доме мы нашли меньше повреждений: тол-

стые каменные стены защитили. В погребе все оказалось целехонько.

Забрав из погреба необходимое, чтобы не умереть от жажды и голода, мы отправились в продолжительное путешествие к полюсу Луны и в другое таинственное полушарие, не виденное еще ни одним из людей.

— Не бежать ли нам за Солнцем к западу,— предложил физик,— склоняясь понемногу к одному из полюсов? Тогда мы можем зараз убить двух зайцев: первый заяц — достижение полюса и безмесячного полушария; второй заяц — избежание чрезмерного холода, так как, если не отстанем от Солнца, будем бежать по местам, нагреваемым Солнцем определенное время,— следовательно, по местам с неизменной температурой. Мы можем даже произвольно, по мере надобности, менять температуру: перегоняя Солнце, мы будем ее повышать, отставая — понижать. Особенно это хорошо, имея в виду, что мы приблизимся к полюсу, средняя температура которого низка.

— Да полно, возможно ли это? — заметил я на странные теории физика.

— Очень возможно,— ответил он.— Возьми только в расчет легкость бега на Луне и медленное движение (видимое) Солнца. В самом деле, наибольший лунный круг имеет тысяч десять верст протяжения. Это протяжение надо пробежать, чтобы не отстать от Солнца, в тридцать суток, или семьсот часов, выражаясь земным языком; следовательно, в час требуется пробежать четырнадцать с половиной верст.

— На Луне четырнадцать верст в час! — воскликнул я.— Гляжу на это число не иначе, как с презрением.

— Ну, вот видишь.

— Шутя пробежим вдвое больше! — продолжал я, припоминая наши обоюдные гимнастические упражнения.— И тогда можно через каждые двенадцать часов столько же спать...

— Другие параллели,— объяснял физик,— чем ближе к полюсу, тем меньше, а так как мы направляемся именно через этот пункт, то можем бежать, не отставая от Солнца, постепенно с меньшей быстротой. Однако холод полярных стран не позволит этого сде-

лать: по мере приближения к полюсу мы должны, чтобы не замерзнуть, приблизиться к Солнцу, то есть бежать по местам, хотя и полярным, но подверженным более продолжительному освещению Солнцем. Полярное Солнце стоит невысоко над горизонтом, и потому нагревание почвы несравненно слабее, так что даже при самом закате почва только тепла.

Чем ближе к полюсу, тем ближе мы должны быть к закату, ради возможного постоянства температуры.

— К западу, к западу!

Скользим, как тени, как привидения, бесшумно касаясь ногами приятно согревающей почвы. Месяц почти округлился и светил поэтому весьма ярко, представляя очаровательную картину, прикрытую голубым стеклом, толщина которого как бы возрастает к краям, так как чем ближе к ним, тем оно темнее; по самым краям нельзя разобрать ни суши, ни воды, ни форм облаков.

Теперь мы видим полушарие, богатое сушей; через двенадцать часов — наоборот, богатое водой,— почти один Тихий океан; он плохо отражает лучи солнца, и потому, если бы не облака и льды, сильно светящиеся, месяц не был бы так ярок, как сейчас.

Легко взбегаем на возвышения и еще легче сбегаем с них. Изредка погружаемся в тень, из которой видно более звезд. Пока встречаются только небольшие холмы. Но и высочайшие горы не составят препятствия, так как здесь температура места не зависит от его высоты: вершины гор так же теплы и свободны от снега, как и низкие долины... Неровные пространства, уступы, пропасти на Луне не страшны. Неровные места и пропасти, достигающие 10—15 сажен ширины, мы перепрыгиваем; а если они очень велики и недоступны, то стараемся обежать их стороной или лепимся по крутизнам и уступам с помощью тонких бечевок, острых палок с крючьями и колючих подошв.

Припомните нашу малую тяжесть, которая не требует для поддержания нас канатов,— и вам все будет понятно.

— Отчего мы не бежим к экватору, ведь мы там не были? — заметил я.

— Ничего не мешает нам туда бежать,— согласился физик.

И мы тотчас же изменили наш курс.

Бежали мы чересчур быстро, и потому почва становилась все теплее; наконец бежать становилось невозможно от жары, ибо мы попали в места, более нагретые Солнцем.

— Что будет,— спросил я,— если мы будем бежать, несмотря ни на какой жар, с этой быстротой и по тому же направлению — к западу?

— Дней, по-земному, через семь такого бега мы увидели бы сначала освещенные Солнцем вершины гор, а потом и самое Солнце, восходящее на западе.

— Неужели Солнце взошло бы там, где оно обыкновенно заходит? — усомнился я.

— Да, это верно, и будь мы сказочные саламандры, застрахованные от огня, мы могли бы воочию убедиться в этом явлении.

— Что же, Солнце только покажется и опять скроется или будет восходить обычным порядком?

— До тех пор, пока мы бежим, положим, по экватору со скоростью, превышающей четырнадцать с половиной верст, до тех пор Солнце будет двигаться от запада к востоку, где и зайдет; но стоит нам только остановиться, как оно тотчас же будет двигаться обычным порядком и, приподнятое насильно с запада, опять погрузится за горизонт.

— А что, если мы не будем бежать ни быстрее, ни тише четырнадцати с половиною верст в час, что тогда произойдет? — спросил еще я.

— Тогда Солнце, как во времена Иисуса Навина, остановится в небесах и день или ночь никогда не кончатся.

— Можно ли и на Земле все эти штуки проделать? — приставал я к физику.

— Можно, если ты только в состоянии бежать, ехать или лететь на Земле со скоростью до тысячи пятисот сорока верст в час и более.

— Как? В пятнадцать раз скорее бури или урагана? Ну, за это я не берусь... то есть забыл — не взялся бы!

— То-то! Что здесь возможно, даже легко, то вон на той Земле,— физик показал пальцем на месяц,— совсем немыслимо.

Так мы рассуждали, усевшись на камнях, ибо бежать было невозможно от жары, о чем я уже говорил.

Утомленные, мы скоро заснули.

Нас разбудила значительная свежесть. Бодро вскочив и припрыгивая аршин на пять, опять побежали мы на запад, склоняясь к экватору.

Вы помните: мы определили широту нашей хижины в 40°; поэтому до экватора оставалось порядочное расстояние. Но не считайте, пожалуйста, градус широты на Луне такой же длины, как и на Земле. Не забывайте, что величина Луны относится к величине Земли, как вишня к яблоку: градус лунной широты поэтому не более тридцати верст, тогда как земной — сто четыре версты.

О приближении к экватору мы, между прочим, убеждались тем, что температура глубоких расщелин, представляющих среднюю температуру, постепенно повышалась и, достигнув высоты 50 градусов по Реомюру, остановилась на этой величине; потом даже стала уменьшаться, что указывало на переход в другое полушарие.

Точнее свое положение мы определяли астрономически.

Но прежде чем мы перебежали экватор, мы встретили много гор и сухих «морей».

Форма лунных гор прекрасно известна земным жителям. Это большей частью круглая гора с котловиной посередине.

Котловина же не всегда пуста, не всегда оказывается кратером новейшим: в середине его иногда возвышается еще целая гора и опять с углублением, которое оказывается кратером более новым, но редко-редко действующим — с краснеющей внутри, на самом дне его, лавою.

Не вулканы ли эти в былое время выбросили довольно часто находимые нами камни? Иное происхождение их мне непонятно.

Мы нарочно из любопытства пробегали мимо вулканов, по самому их краю, и, заглядывая внутрь кратеров, два раза видели сверкающую и переливающуюся волнами лаву.

Однажды в стороне даже заметили над вершиной одной горы огромный и высокий сноп света, состоящий, вероятно, из большого числа накаленных до свечения камней: сотрясение от падения их достигло и наших легких здесь ног.

Вследствие ли недостатка кислорода на Луне или вследствие других причин, только нам попадались неокисленные металлы и минералы, всего чаще алюминий.

Низкие и ровные пространства, сухие «моря» в иных местах, вопреки убеждениям физика, были покрыты явными, хотя и жалкими следами нептунической деятельности. Мы любили такие, несколько *пыльные от прикосновения ног,* низменности; но мы так скоро бежали, что пыль оставалась позади и тотчас же улегалась, так как ее не поднимал ветер и не сыпал ею нам в глаза и нос. Мы любили их потому, что набивали пятки по каменистым местам, и они заменяли нам мягкие ковры или траву. Затруднять бега этот наносный слой не мог по причине его малой толщины, не превышающей нескольких дюймов или линий.

Физик указал мне вдаль рукой, и я увидел с правой стороны как бы костер, разбрызгивающий по всем направлениям красные искры. Последние описывали красивые дуги.

По согласию делаем крюк, чтобы объяснить себе причину этого явления.

Когда мы прибежали к месту, то увидели разбросанные куски более или менее накаленного железа. Маленькие куски уже успели остынуть, большие были еще красны.

— Это метеорное железо,— сказал физик, взяв в руки один из остывших кусков аэролита.— Такие же куски падают и на Землю,— продолжал он.— Я не раз видал их в музеях. Неправильно только название этих небесных камней, или, точнее, тел. В особенности это название неприменимо тут, на Луне, где нет атмосферы. Они и не бывают здесь видны до тех пор, пока не ударятся о гранитную почву и не накалятся вследствие превращения работы их движения в тепло. На Земле же они заметны при самом почти вступлении в атмосферу, так как накаляются еще в ней через трение о воздух.

Перебежав экватор, мы опять решили уклониться к Северному полюсу.

Удивительны были скалы и груды камней.

Их формы и положения были довольно смелы. Ничего подобного мы не видали на Земле.

Если бы переставить их туда, то есть на вашу планету, они неминуемо бы со страшным грохотом рухнули. Здесь же их причудливые формы объясняются малой тяжестью, не могущей их повалить.

Мы мчались и мчались, все более и более приближаясь к полюсу. Температура в расщелинах все понижалась. На поверхности же мы не чувствовали этого, потому что нагоняли постепенно Солнце. Скоро нам предстояло увидеть чудесный восход его на западе.

Мы бежали не быстро: не было в этом надобности.

Для сна уже не спускались в расщелины, потому что не хотели холода, а прямо отдыхали и ели, где останавливались.

Засыпали и на ходу, предаваясь бессвязным грезам; удивляться этому не следует, зная, что и на Земле подобные факты наблюдаются; тем более они возможны здесь, где стоять то же, что у нас — лежать (относительно тяжести говоря).

VI

Месяц опускался все ниже, освещая нас и лунные ландшафты то слабее, то сильнее, смотря по тому, какой стороной к нам обращался — водной или почвенной, или по тому, в какой степени его атмосфера была насыщена облаками.

Пришло и такое время, когда он коснулся горизонта и стал за него заходить — это означало, что мы достигли другого полушария, невидимого с Земли.

Часа через четыре он совсем скрылся, и мы видели только несколько освещенных им вершин. Но и они потухли. Мрак был замечательный. Звезд — бездна! Только в порядочный телескоп можно с Земли их столько видеть.

Неприятна, однако, их безжизненность, неподвижность, далекая от неподвижности голубого неба тропических стран.

И черный фон тяжел!

Что это вдали так сильно светит?

Через полчаса узнаем, что это верхушки горы. Засияли еще и еще такие же верхушки.

Приходится взбегать на гору. Половина ее светится. Там — Солнце! Но пока мы взбежали на нее, она уже успела погрузиться в темноту, и Солнце с нее не было видно.

Очевидно, это местность заката.

Припустились поскорее.

Летим, как стрелы, пущенные из лука.

Могли бы и не спешить так; все равно бы увидали Солнце, восходящее на западе, если бы бежали и со скоростью 5 верст в час, то есть не бежали — какой это бег! — а шли.

Нет — нельзя не торопиться.

И вот, о чудо!..

Заблистала восходящая звезда на западе. Размер ее быстро увеличивался... Виден целый отрезок Солнца... Все Солнце! Оно поднимается, отделяется от горизонта... Выше и выше!

И между тем все это только для нас, бегущих; вершины же гор, остающихся позади нас, тухнут одна за другой.

Если бы не глядеть на эти недвигающиеся тени, иллюзия была бы полная.

— Довольно, устали! — шутливо воскликнул физик, обращаясь к Солнцу.— Можешь отправиться на покой.

Мы уселись и дожидались того момента, когда Солнце, заходя обычным порядком, скроется из глаз.

— Кончена комедия!

Мы повертелись и заснули крепким сном.

Когда проснулись, то опять, но не спеша, единственно ради тепла и света, нагнали Солнце и уже не выпускали его из виду. Оно то поднималось, то опускалось, но постоянно было на небе и не переставало нас согревать. Засыпали мы — Солнце было довольно высоко: просыпались — каналья-Солнце делало поползновение зайти, но мы вовремя укрощали его и заставляли снова подниматься. Приближаемся к полюсу!

Солнце так низко и тени так громадны, что, перебегая их, мы порядочно зябнем. Вообще контраст температур поразителен. Какое-нибудь выдающееся место нагрелось до того, что к нему нельзя подойти близко. Другие же места, лежащие по пятнадцати и более суток (по-земному) в тени, нельзя пробежать, не рискуя схватить ревматизм. Не забывайте, что здесь Солнце, и почти лежащее на горизонте, нагревает плоскости камней (обращенных к его лучам) нисколько не слабее, а даже раза в два сильнее, чем земное Солнце, стоящее над самой головой. Конечно, этого не может быть в полярных странах Земли: потому что сила солнечных лучей, во-первых, почти поглощается толщей атмосферы, во-вторых, оно у вас не так упрямо светит и на полюсе; каждые двадцать четыре часа свет и Солнце обходят камень кругом, хотя и не выпускают его из виду.

Вы скажете: «А теплопроводность? Должно же тепло камня или горы уходить в холодную и каменную почву?» — «Иногда,— отвечу я,— оно и уходит, когда гора составляет одно целое с материком; но множество глыб гранита просто, несмотря на свою величину, брошено и прикасается к почве или к другой глыбе тремя-четырьмя точками. Через эти точки тепло уходит крайне медленно, лучше сказать — незаметно. И вот масса нагревается и нагревается; лучеиспускание же так слабо».

Затрудняли нас, впрочем, не камни эти, а очень охлажденные и лежащие в тени долины. Они мешали приближению нашему к полюсу, потому что чем ближе к нему, тем тенистые пространства обширнее и непроходимее.

Еще будь тут времена года более заметны, а то их здесь почти нет: летом Солнце на полюсе и не поднимается выше 5°, тогда как на Земле это поднятие впятеро больше.

Да и когда мы дождемся лета, которое, пожалуй, и дозволит, с грехом пополам, достигнуть полюса?

Итак, продвигаясь по тому же направлению за Солнцем и делая круг, или, вернее, спираль, на Луне, снова удаляемся от этого замороженного местами пункта с набросанными повсюду горячими камнями.

Мы не желали ни морозиться, ни обжигаться!.. Удаляемся и удаляемся... Все жарче и жарче... Принуждены потерять Солнце. Принуждены отстать от него, чтобы не зажариться. Бежим в темноте, сперва украшенной немного светлыми вершинами горных хребтов. Но их уже нет. Бежать легче: много съедено и выпито.

Скоро покажется месяц, который мы заставили двигаться.

Вот он.

Приветствуем тебя, о дорогая Земля!

Не шутя мы ей обрадовались.

Еще бы! Пробыть столько времени в разлуке!

Много и еще протекло часов. Хотя места эти и горы никогда нами не виданы, но они не привлекают нашего любопытства и кажутся однообразными. Все надоело — все эти чудеса! Сердце щемит, сердце болит. Вид прекрасной, но недоступной Земли только растравляет боль воспоминаний, язвы невозвратимых утрат. Скорее бы хоть достигнуть жилища! Сна нет! Но и там, в жилище, что нас ожидает? Знакомые, но неодушевленные предметы, способные еще более уколоть и уязвить сердце.

Откуда поднялась эта тоска?.. Мы прежде ее почти не знали. Не заслонял ли ее тогда интерес окружающего, не успевшего еще прискучить, интерес новизны?

Скорее к жилищу, чтобы хоть не видеть этих мертвых звезд и траурного неба!

Жилище, должно быть, близко. Оно тут, астрономически мы это установили, но, несмотря на несомненные указания, не только не находим знакомого двора, а даже не узнаем ни одного вида, ни одной горы, которые должны быть нам известны.

Ходим и ищем.

Туда и сюда! Нет нигде.

В отчаянии садимся и засыпаем.

Нас пробуждает холод.

Подкрепляем себя пищей, которой уж немного осталось.

Приходится спасаться от холода бегством.

Как назло, не попадается ни одной подходящей трещины, где мы могли бы укрыться от холода.

Опять бежать за Солнцем. Бежать подобно рабам, прикованным к колеснице! Бежать вечно!

О, далеко не вечно! Осталась только одна порция пищи.

Что тогда?

Съедена порция, последняя порция!

Сон смежил наши очи. Холод заставил нас братски прижаться друг к другу.

И куда подевались эти ущелья, попадавшиеся тогда, когда они не были нужны?

Недолго мы спали: холод, еще более сильный, пробудил нас. Бесцеремонный и беспощадный! Не дал и трех часов проспать. Не дал выспаться.

Бессильные, ослабленные тоской, голодом и надвигающимся холодом, мы не могли бежать с прежней быстротой.

Мы замерзали!

Сон клонил то меня — и физик удерживал друга, то его самого — и я удерживал от сна, от смертельного сна, физика, научившего меня понять значение этого ужасного, последнего усыпления.

Мы поддерживали и укрепляли друг друга. Нам не приходила, как я теперь припоминаю, даже мысль покинуть друг друга и отдалить час кончины.

Физик засыпал и бредил о Земле; я обнимал его тело, стараясь согреть своим.

Соблазнительные грезы: о теплой постели, об огоньке камина, о пище и вине овладели мной... Меня окружают домашние... Ходят за мной, жалеют... Подают...

. . . . . .

Мечты, мечты! Голубое небо, снег на соседних крышах... Пролетела птица... Лица, лица знакомые... Доктор... Что он говорит?..

— Летаргия, продолжительный сон, опасное положение... Значительное уменьшение в весе. Сильно исхудал... Ничего! Дыхание улучшилось... Чувствительность восстанавливается... Опасность миновала.

Кругом радостные, хотя и заплаканные лица...

Сказать короче, я спал болезненным сном и теперь проснулся: лег на Земле и пробудился на Земле; тело оставалось здесь, мысль же улетела на Луну.

Тем не менее я долго бредил: спрашивал про физика, говорил о Луне, удивлялся, как попали на нее мои друзья. Земное мешал с небесным: то воображал себя на Земле, то опять возвращался на Луну.

Доктор не велел со мной спорить и меня раздражать... Боялись помешательства.

Очень медленно приходил я в сознание и еще медленнее поправлялся.

Нечего и говорить, что физик очень удивился, когда я, по выздоровлении, рассказал ему всю эту историю. Он советовал мне ее записать и немного дополнить своими объяснениями.

[1893]

I

Капитан Немо сидел угрюм и задумчив в углу своего плавучего кабинета. «Наутилус» шел в это время на глубине 2000 метров по проливу Маточкин Шар; он избегал подниматься выше, потому что вот уже не первый день над головою его Северный океан бушевал жестоко. Еще недавно, в глазах Немо, опустилось на дно океана какое-то трехмачтовое судно, не выдержавшее бури; это случалось ему видеть нередко из-за громадного стеклянного глаза «Наутилуса», светившего в водяную тьму своим электрическим светом. Хотя «Наутилус», вооруженный всеми решительно приборами для предсказания, предупреждения, отклонения и, наконец, полного отвращения опасностей, не особенно боялся их, но капитан был все-таки осторожен и не отваживался на неизвестное. Как ни могуча наука, как ни точны цифры, но некоторая доля сомнения должна быть оставляема всегда и во всем: а ну как ошибку дать?

Цель путешествия «Наутилуса» на этот раз была очень своеобразна. Еще будучи в Гамбурге, в последнее свое посещение, капитан прочел в газетах о каком-то удивительном человеке, ученом сверх меры, убежавшем от света и поселившемся на одном из диких маленьких полуостровов русского северо-океанского побережья, не вдали от пролива Маточкин Шар. В гамбургских газетах сообщалось, что этот ученый, по имени Фиц-Рой, имеет на полуострове нечто вроде своей обсерватории, свой физический кабинет, химическую лабораторию и все нужные к ним приборы и аппараты; что, кроме жены

Фиц-Роя и находящегося в услужении его какого-то русского помора и еще одного семейного дикаря, подле него нет других людей; что все, все решительно добывает он там своими личными средствами, что машины его исполняют все обязанности полей, парников, чуть ли не пастухов и молочниц, доставляют ему всякую пищу и шьют платья, что фрукты созревают у него искусственно, что ураганы, проносящиеся над ним, дают ему живую силу, гораздо бóльшую, чем сила Ниагарского водопада, и что даже краткие северные сияния — и те подвергаются непосредственной концентрации и развивают свою магнитную силу для службы Фиц-Рою, когда ему это нужно. Сообщали газеты также и о том, что он очень гостеприимен, рад посещениям, которых, однако, почти не бывает, потому что отыскать его трудно, потому что на лодке к острову не подплыть, а в экипаже не подъехать.

Все это пленило болезненную фантазию капитана Немо; он рассчитывал встретить в Фиц-Рое человека, подобного ему, с ним вполне схожего по учености, с тою, однако, разницей, что он, Немо, чудодей на море, а тот, Фиц-Рой, такой же на суше.

По расчетам капитана Немо, «Наутилус» должен был находиться очень недалеко от цели своего путешествия. Чтобы точнее определить положение судна, капитан встал с места и подошел к столу, на котором лежала карта северного побережья России. Три дня тому назад «Наутилус» находился у Соловецких островов, на месте последней стоянки, и на этом месте карты виднелась неподвижная красная точка, обозначавшая положение «Наутилуса». Особая система приборов обусловливала то, что, при желании Немо, красная точка эта могла бежать или бежала по карте точь-в-точь по тому пути, по которому шел «Наутилус»; но если Немо не хотел этого, то точка оставалась неподвижно на месте последней остановки и только при желании его пробегала по карте именно тем же путем, по которому уже прошел «Наутилус» до той минуты, когда обратились к прибору.

Подойдя к столу, капитан прикоснулся к одной из многочисленных кнопок, торчавших подле стола на стене, и красная точка мгновенно побежала по карте именно так, как прошел «Наутилус», от Соловецких

островов до Маточкина Шара; тут красная точка остановилась между островками, упершись в черту, потому что карты больше не имелось. Необходима была большая осторожность.

Капитан нажал другую кнопку, и «Наутилус» мгновенно остановился. Никакого содрогания от мгновенной остановки не произошло благодаря особому приспособлению для обратного хода, нейтрализирующему энергию двигательной силы.

— Так вот мы где! — проговорил тихонько капитан.— Островков и мысков видимо-невидимо, но на котором же из них обретается Фиц-Рой?

Согласно желанию капитана, «Наутилус», остановившийся на глубине 2000 метров, начал медленно подниматься к поверхности океана. При освещении снопами электрического света, которые были направлены во все стороны, нетрудно было убедиться в вулканическом происхождении подводных частей побережья; испуганные неожиданным светом, киты, дельфины, акулы и прочие более мелкие обитатели глубины морской были потревожены чуть ли не впервые и сторонились от всплывавшего невиданного ими гостя — кто медленно, неуклюже-тяжело, а кто с юркостью и быстротою невероятною.

Так как дело происходило летом, в июне месяце, то было очень светло и днем, и ночью. «Наутилус», пока под рукою Немо имелись морские карты, двигался бесстрашно, но, когда он достиг мест, не подвергавшихся точной съемке, и красная точка остановилась, движение стало затруднительно и опасно. В одной из многочисленных, окруженных темными скалами бухт Немо решил остановиться; он застопорил машину, и «Наутилус», как сказано, начал подниматься.

Минут пять спустя один из приборов воздушного давления показал, что поверхность воды очень близка, а гармонический звон верхней части обнажавшегося, т. е. выходившего на воздух, «Наутилуса» подтвердил это; этот звон был одним из последних усовершенствований на «Наутилусе».

Капитан вышел на поверхность своего медного коня сквозь люк. Утро было восхитительное. Виды скалистых островков, без всякой растительности, окружавших неподвижно стоявший «Наутилус», смотрели

дико, пугали своею пустынностью; мириады всякой морской птицы носились над ним, перелетая со скалы на скалу, и кричали каким-то совсем особым голосом.

«Если,— думалось капитану Немо, стоявшему на «Наутилусе» и глядевшему в подзорную трубку,— Фиц-Рой действительно ученый человек, то это мы сейчас узнаем; он, может быть, уже извещен о моем приезде; надо только соединиться с матерью-землею».

Дав самый тихий ход «Наутилусу», капитан направил нос его к одной из ближайших скал и таким образом вошел в прямое соединение, т. е. в «контакт», с сушею, вследствие чего пользование предназначенными для этой цели аппаратами сделалось вполне возможным, так как Немо давно уже имел все нужное для переговоров на дальние пространства без посредства каких бы то ни было проводов.

«Но по какому же, однако, направлению буду я говорить? — задал себе капитан вопрос.— И какое между мною и Фиц-Роем может быть расстояние? Надо предпринять исследование по кругу, и один из радиусов непременно даст мне искомое».

Не успел капитан подумать о сказанном, как услыхал очень ясно донесшийся до него голос неизвестного лица, произносившего прекрасную английскую речь:

— Добро пожаловать! — говорил голос.— Если вы направляетесь ко мне, то вам придется немного изменить свой курс.

— Вы, может быть, господин Фиц-Рой? — спросил Немо, приставив к уху одну из находившихся под рукою его трубок.

— Да, да, я Фиц-Рой,— ответил голос,— а с кем имею удовольствие говорить я? — добавил он от себя.— Уж не со знаменитым ли капитаном Немо?

— Да, да, я капитан Немо, владелец «Наутилуса»,— ответил он; самолюбие его было сильно польщено последними словами Фиц-Роя.

— Ах, очень, очень рад! — возгласил Фиц-Рой.— Давно хотел я с вами познакомиться, давно. Смотрю я на вас,— продолжал голос,— и не верю глазам своим. Ваши портреты вовсе не похожи на вас.

— А вы разве видите меня? — спросил удивленный капитан.— Сколько миль отделяет нас друг от друга?

— Между нами двадцать пять миль, а вас я, конечно, отлично вижу, в Эдиссоновский прибор вижу; а разве у вас нет его?

Капитану Немо стало вдруг как-то очень совестно: впервые довелось ему уступить в первенстве человеку, более ученому, более сведущему, чем он; в нем шевельнулись все его злые инстинкты, и только что наслаждавшееся самолюбие было оскорблено.

— Был у меня этот прибор, да потерял в пути,— ответил Немо.

— Жаль, очень жаль! Но мы скоро увидимся лично. Я знаю с точностью место, на котором вы остановились. Ваш путь ко мне следующий: отойдите от берега на сто сажен в направлении к NNO, затем поверните нос вашего «Наутилуса» на два с половиною градуса к NO и направляйтесь самым малым ходом к береговой толще. При скорости хода 30 узлов в час вы через 25½ минут войдете в узкий пролив, достаточно широкий, однако и совершенно прямой; 8 минут спустя застопорьте машину, потому что в том месте существует сильное течение и вас понесет в сторону; через час пути вы увидите на берегу мое обиталище и меня самого. До скорого свидания? Не повторить ли вам сказанного мною? — спросил Фиц-Рой.

— О, нет, благодарю вас,— ответил Немо с некоторою даже гордостью,— ваши слова уже записаны, и я исполню их в точности.

Голос замолчал.

Немедленно вслед за этим «Наутилус», успевший немного обсохнуть, стал опять окачиваться океанскою волною. Немо исполнил в точности сказанное Фиц-Роем.

Именно на далеком севере, в необследованных русских водах, сказалось для капитана Немо некоторое неудобство, которого он, несмотря на всю свою проницательность, все-таки не предусмотрел: люк, служивший сообщением внутренности сказочного «Наутилуса» с внешним миром, оказался немного узким, во внимание к теплому одеянию, которое Немо должен был навьючить на себя, так как температура, несмотря на июнь месяц, не превышала семи градусов, а ветер пронизывал довольно резкий. Немо, не привыкше-

му к этому, пришлось надеть даже шапку с наушниками и меховые рукавицы.

«Наутилус» остановился у цели своего плавания. Высокие черные скалы, окружавшие со всех сторон глубокую, как бы озеро, бухту, в которой Немо находился, и весь пейзаж, несмотря на солнце, показались ему траурными. Вдоль отвесных расщелин скал белели кое-где длинные полосы девственного снега, и хотя подле них бок о бок, озаряемые полуденным солнцем, зеленели яркие мхи, тем не менее в общем вид мрачных скал подавлял собою. Невероятное количество всяких чаек, гагар, уток, альбатросов, от белых до черных включительно, реяло по воздуху и давало такой удивительный концерт, какого Немо никогда и нигде не слышал. Хотя глаза капитана были очень зорки и крепки, тем не менее он вооружился зрительною трубкою. Залив, или озеро, был не велик, и кое-где из темной океанской воды выкидывались дельфины. В одном из уголков этого холодного, неприглядного побережья виднелся на берегу большой косяк гревшихся моржей. Голубое небо, хотя и безоблачное, смотрело все-таки бледно, очень бледно. На берегу, справа от «Наутилуса», виднелось какое-то как бы жилье или здание, а перед ним, у края воды, стоял человек — вероятно, сам Фиц-Рой — в ожидании редкого и дорогого гостя.

— Бросьте якорь! — раздалось с берега в рупор.— Я пришлю за вами моего вестового! — крикнул Фиц-Рой.

Не успела загрохотать цепь якоря, как Немо заметил, что от берега отделилось какое-то небольшое темное тельце и быстро направилось к «Наутилусу»; на этой плавучей сигаре или рыбе не виднелось ни одного живого человека, но, несмотря на то, тельце шло с точностью удивительною, перерезывая наискось волны, прямо на «Наутилус»; оно подошло к нему и встало борт о борт, словно существо разумное и опытное. Немо не задумался тотчас перейти на сигару, сел на скамью и немедленно, влекомый неизвестной силою, направился к берегу; в самую минуту прикосновения к земле у своеобразной сигары как будто сразу выросли колеса; она побежала по направлению к Фиц-Рою и остановилась в одном шаге от него.

Два очень важных и любопытных человека, никогда не видевших друг друга, встретились за северным полярным кругом, в царстве русского царя, и пожали друг другу руку.

— Очень, очень рад! — сказал Фиц-Рой.

— И я не менее! — ответил Немо.

Насколько Немо был замкнут, мрачен, почти злобен своею внешностью, настолько же Фиц-Рой являлся приветливым, светлым и радушным. Два величайших ученых мира, два властителя всех знаний человеческих встретились; каждый из них был заинтересован в новом знакомстве, и так как подобные случайности происходят не часто, то оба они понимали значение этой встречи.

Берег был, как сказано, пустынен, но одно из углублений в скалах и одна из самых больших скал как бы обличали присутствие человеческого жилья, чрезвычайно своеобразного и исключительного. Совершенным особняком стоял впереди остального какой-то как бы дом, высеченный в скале, несомненно сорванной когда-то от вершины ближайшей скалы и улегшийся у подножия ее; прежнее место прикрепления этой скалы обозначилось на скале-матери широким розоватым рубцом, тогда как вся остальная поверхность ее являлась черною.

Немо, направлявшемуся к жилью рядом с хозяином, стоило взглянуть на это, чтобы увидеть воплощение труда и мысли почтенного Фиц-Роя.

— А давно вы эту скалу оторвали и эту титаническую шуточку устроили, положив ее сюда? — спросил он Фиц-Роя, указывая глазами на прежнее место скалы.

— Это мое первое обзаведение,— ответил Фиц-Рой.

— А сколько вольтов нужно было вам для этого свержения?

— Право, не помню, но помню очень хорошо, что вся трудность состояла не в том, чтобы оторвать скалу, а в том, чтобы заставить ее упасть так, как мне хотелось: я желал непременно, чтобы самою широкою плоскою стороною она упала к морю и чтобы иметь перед будущими окнами вид на него.

— И вы достигли цели?

— Я ошибся в моем вычислении футов на пять, не

больше и совершенно им доволен; вы видите: лежит как ей приказано.

— Смелая вещь, смелая! — ответил Немо.

— Да, такого метательного маневра со скалою около 400 000 пудов весу...— начал было Фиц-Рой, но капитан перебил его.

— А почему же вы на пуды, а не на тонны мерите? — спросил удивленный Немо.

— Да ведь мы с вами в России, капитан,— ответил, улыбаясь, Фиц-Рой.— Ну, если хотите, я скажу 700 тонн! Так видите ли: жена моя ужасно пугалась этого предстоявшего маневра...

— А вы женаты? — спросил Немо, и черная туча, вечно висевшая над его бровями, стала еще чернее.

— А вот я вас сейчас с женою познакомлю,— ответил хозяин.— Мэри, Мэри! — крикнул Фиц-Рой, приблизившись к жилью.

Немедленно вслед за этим возгласом на пороге входа в скалу показалась молодая женщина лет тридцати, не дурная собою. Последовало представление ей гостя.

— А вам бы закусить чего-нибудь, капитан Немо? — спросил хозяин.— Ты где же нас угощать будешь: в Африке, что ли?

— Хорошо, можно и в Африке,— ответила Мэри.

— Это мы с нею,— объяснил хозяин,— Африкою нашу маленькую оранжерейку называем: в ней у меня и кактусы, и пальмочки есть.

Фиц-Рой понял, что слово «Африка» должно было удивить Немо, и поэтому объяснил его.

Несколько собачонок выбежали к этому времени из дверей дома и весьма ласково обнюхали незнакомца.

— А это ваши сторожа? — спросил Немо.

— Да, это здешние лайки, удивительные твари; но, собственно говоря, мне сторожей не надо: я окружен электрическою изгородью.

— Да где же она у вас? — спросил Немо.

— Ее не видно, но действие ее вы можете увидеть тотчас же, если хотите, на первой птице, которая вздумает пролететь. Эй, Брут! — крикнул Фиц-Рой.

Явился откуда-то сбоку, из помещения в матерой скале, служитель, русский помор.

— А на какой вышине у нас в настоящую минуту наш забор?

— На десять сажен, господин,— ответил Брут.

— Подними на 150.

— Слушаю-с!

Брут повернулся и ушел для исполнения приказания, а Фиц-Рой объяснил, что на этой именно высоте, и отнюдь не выше, полетят сейчас встревоженные птицы и что опыт будет сделан тотчас же. Вынув из-за пояса револьвер, Фиц-Рой выстрелил на воздух. Откуда ни возьмись, из соседних скал поднялось невероятное множество испуганной птицы и бросилось врассыпную. Большинство из них отлетало далеко, но многие падали моментально на землю мертвыми, коснувшись на полете какого-то незримого смертоносного забора; мертвые, они лежали на земле по широкому, правильно очерченному вокруг поселения кругу.

Ничему не удивлявшийся Немо, привыкший сам удивлять всех и каждого, любовался виденным им зрелищем и даже как-то начинал злорадствовать. Он нашел себе человека по плечу и где же — на крайнем Севере, да еще в России.

— Ну-с, любезный гость, по пути к Африке пожалуйте в дом мой и в лабораторию; это все у меня под рукою, все в миниатюре.

— У вас опять, пожалуй, где-нибудь,— сказал Немо,— на электрическую защиту наткнешься?

— Мы примем меры,— ответил Фиц-Рой и немедленно нажал какую-то очень большую кнопку, мимо которой они проходили.

— Теперь,— сказал он,— все мое хозяйство обезоружено, и даже глупые пингвины могут напасть на меня и одолеть... ха-ха-ха!

При том широком просторе, который всегда царствует на далеком севере, на бесконечном побережье океана, всякое сравнение становится ошибочным. Скала, оторванная от матерой земли, показалась Немо гораздо меньшею снаружи, чем внутри. В ней помещались три большие комнаты и весьма просторная лаборатория. Внутренность лаборатории чрезвычайно напоминала внутренность «Наутилуса», с тою, однако, разницею, что она была гораздо богаче приборами и поражала своими размерами. Благодаря яркому солн-

цу лаборатория была залита обильным светом и блистала своими роскошными аппаратами.

— Вам, я думаю,— сказал Фиц-Рой,— тут показывать нечего — сами все знаете! Об одной только вещи я бы поговорил с вами и поговорю, и даже, может быть, попрошу принять на память как новинку; а теперь пожалуйте в оранжерею — должно быть, обед готов.

— Позвольте, позвольте,— перебил его Немо, завидев Брута, молчаливо торчавшего за одним из столиков, проверявшего инструменты и вносившего что-то в таблицы.— Это ваш помощник?

— Это мое все, весь мой живой рабочий инвентарь, кроме жены,— ответил Фиц-Рой.

— Англичанин?

— Нет, русский, и еще из простых мужиков.

— Как так из мужиков? — воскликнул Немо.

— Да, он уроженец соседнего Архангельска, удивительная голова, способностей замечательных, самородок чище золота, жаль только, что глуховат немного и глухота эта усиливается.

— Как так! Русский и еще мужик?

— Да, да, что же вы удивляетесь, капитан. Тут у них народ удивительный.

— Ну, уж! — ответил сквозь зубы Немо.— Царство мрака и сальных свечей — извините...

— Ах, как вы ошибаетесь, как вы ошибаетесь! — ответил Фиц-Рой, добродушно покачав головою.— Однако милости просим.

За лабораторией помещалась оранжерея. Хотя она была и невелика, и невысока, но тем не менее глаза путника, привыкшего на севере к бледным тонам красок, к чахлой растительности мхов, лишаев, карликовой сосны и березки, неожиданно встречались с очертаниями — правда, очень небольших — пальм и алоэ; несколько висевших в воздушных корзинах орхидей находилось в полном цвету; беседка из плющей стояла в углу оранжереи, а в ней был небольшой фонтан.

— Как, однако, у вас тут хорошо! — воскликнул против своей воли Немо.

— Тут царство Мэри, а не мое,— ответил Фиц-Рой.

— Но сколько же месяцев в году приходится вам

поддерживать электрический свет зимою для этих растений?

— Около девяти месяцев. Но должен сказать вам, что есть только два опасных момента в жизни моей маленькой Африки — это время перехода от солнечного света к электрическому и наоборот; некоторое преждевременное частичное обмирание сказывается при этом переходе всегда, и моя добрая Мэри бывает иногда в отчаянии.

— Милости просим, господа,— проговорила Мэри, подойдя к гостю и мужу,— чем бог послал!

— Уж не русская ли и жена ваша, достопочтенный Фиц-Рой? — спросил Немо.

— Да, русская.

— Как? И она? И как хорошо говорит по-английски? — опросил удивленный Немо, оглядывая хозяйку с ног до головы.

Хозяйка, приняв на себя этот взгляд, не могла удержаться от того, чтобы не улыбнуться самым добродушным, отнюдь не обидным образом.

— Милости просим покушать, пожалуйста! — обратился Фиц-Рой к капитану. Они уселись за стол в виду невысоких пальм и алоэ, совсем позабыв о близком соседстве к ним северного полюса.

II

Наступил уже третий день пребывания капитана Немо у Фиц-Роя. Это было воскресенье. За эти три дня переговорено было о всем решительно, показано было обоюдно, конечно, все и вся. Раз обедали на «Наутилусе». Тут превосходство погребка капитана, по сравнению с погребком Фиц-Роя, сказалось полностью. Но зато капитан не мог угостить своего посетителя такими местными диковинками, как Фиц-Рой. С особенною любовью показал Фиц-Рой своему гостю стадо своих оленей; ходили на охоту, причем Немо убил альбатроса, размах крыльев которого имел больше сажени; интересны были парники и теплички, разведенные в скалах, на полдень. Весьма и весьма практично устроены были машинное отделение и электрические аккумуляторы; стук от машины слышался денно и нощно. Очень велики были естественные запасы топлива,

потому что нечто вроде целой горы, обнаженной боком своим, виднелось шагах в двухстах от самого жилья, и вся эта гора была антрацитовая.

При осмотре этой замечательной горы Немо спросил Фиц-Роя:

— А скажите, пожалуйста, отчего именно выбрали вы для вашего любопытного поселения такую бесконечную глушь, такой дальний север и, наконец, такую дикую страну, как Россия?

— Милый мой гость,— ответил Фиц-Рой,— у меня в этом отношении совсем своеобразные взгляды. Во-первых, я жаркого пояса, экватора, тропиков не выношу; пробовал я жить под тропиками и окружал себя искусственными льдами, но окончательно изнывал. Грудь моя не особенно крепка, и если здесь, как вы видите, я имею полную возможность иметь под рукою в моей оранжерее кусочек Африки, то там при всех моих усилиях кусочка полярного круга в моем распоряжении я иметь не мог.

— Да, да,— добавила Мэри,— он ужасно опускается, стареет на юге; тепло не по нем.

— Но вы уроженец Англии? — спросил Немо.

— Нет, я австралиец, из Нового Южного Валлиса. На первый ваш вопрос о выборе дальнего севера я ответил, теперь отвечу на второй: разве для человека с головой и сердцем и в известных летах еще может существовать где-либо глушь? От него самого зависит населить эту глушь всеми созданиями своего труда, знаний, опыта, к его услугам фантазия, воображение и, наконец, неисчерпаемый мир воспоминаний. Укажите мне, капитан, место на земном шаре, где у меня не будет всего только что мною перечисленного, и тогда я соглашусь с вами, что существует на свете глушь и что я в глуши!

— Я понимаю цену одиночества,— возразил Немо,— но я не понимаю вашего сидения на месте, обусловливающего вечное одно и то же,— это скучно!

— А мы слово «скучно» не понимаем,— вставила от себя Мэри.

— Счастливая! — заметил Немо.

— Нет, я несчастливая,— возразила она,— у меня нет детей.

— Да, это и моя невзгода,— прибавил Фиц-Рой,— но что же прикажете — на то воля божья!

— Божья? — резко спросил Немо, взглянув на Фиц-Роя.

— А то как же,— ответил хозяин.

Некоторое молчание следовало за этими словами: на этой почве, видимо, разговор не мог продолжаться, и почву переменили.

Только что приведенная беседа имела место утром; через сутки, т. е. на следующий день, капитан Немо предполагал покинуть Фиц-Роя. Некоторые починки на «Наутилусе» были закончены, припасы кое-чем подновлены и, наконец, надобно же и честь знать.

Наступил третий день.

— Ну, капитан,— сказал Фиц-Рой,— если уже действительно вас не удержать, так я вам, как сказал, на добрую память подарочек сделать хочу. Пожалуйте в лабораторию.

— А чем же я вас отдарю? — спросил Немо, следуя за ним.

— Сосчитаемся! Мне тем приятнее поднести вам мое изобретение, что на «Наутилусе» у вас электрической силы вволю, а моя игрушка только при этом источнике силы и может действовать.

— Любопытно посмотреть на вашу игрушечку,— ответил Немо, входя вслед за хозяином в лабораторию.

Брут находился в это время в ней за своими обычными занятиями.

— Дай-ка мне, Брут,— сказал ему Фиц-Рой,— последнюю мою шапку.

Брут, не долго думая, вынул из одного из шкапов какую-то меховую шапку, и Фиц-Рой просил Немо надеть ее. Шапка оказалась довольно курьезною: к ней были приделаны наушники и очки.

— Вы в холодных странах, капитан: вам наушники нужны; вы в такой стороне, где света мало и туманов много — очки не лишнее. Наденьте!

Немо надел шапку, причем наушники покрыли его уши, а очки сами собою опустились на нос.

— Что вы видите? — спросил капитана Фиц-Рой.

Вместо ответа капитан отшатнулся: Фиц-Рой сто-

ял перед ним в образе костяка, об одеянии, о теле его не было и помину.

— Ну, что,— спросил Фиц-Рой,— хороша моя игрушечка?

В это время Немо снова увидел перед собой настоящего Фиц-Роя, а не костяк его.

— Недурна! — ответил капитан.— Но можно бы сделать и лучше.

— Можно и лучше, и ваше желание предусмотрено.

Опять видит Немо костяк своего хозяина, но, кроме того, слышит он и голос Мэри. Он повернул голову в сторону этого голоса и увидел сквозь саженную толщу скалы, составлявшей стену лаборатории, что Мэри стоит со своими собачонками и разговаривает с ними. Еще одно мгновение, и оба видения — как слуховое, так и видение зрения — прекратились: опять темная толща скалы, опять Фиц-Рой вместо костяка. В руках у него виднелась переносная кнопка, от которой шел небольшой провод к шапке.

Немо снял шапку и осмотрел ее. Металлические наушники являлись усовершенствованным аудифоном, а на днище шапки помещалась небольшая электрическая батарея, сообщавшаяся как с наушниками, так и с очками.

— Позвольте мне вашу кнопку,— попросил Немо, обращаясь к Фиц-Рою и надевая шапку; провод находился теперь в его распоряжении. Он нажал кнопку. Опять костяк хозяина, опять прозрачная скала, и за нею хозяйка с собаками, и разговор ее с ними. Немо тотчас же сообразил, что если он видел костяк хозяина, а хозяйка за стеною являлась в своем настоящем образе и в одеянии, и собаки тоже не скелетами, так это потому, что часть силы аппарата истрачивалась на то, чтобы осветить скалу до полной прозрачности.

Немо снял шапку.

— Спасибо! — сказал он Фиц-Рою, протягивая руку.— Подарок принимаю, но позволяю себе отдарить вас на «Наутилусе» чем-либо подобным.

Наступил, наконец, день отбытия. Капитану Немо, этому опытному морскому волку, уже прискучило проводить третьи сутки в мирном обиталище Фиц-Роя и видеть себя в обществе одной из женщин, которых он

вообще терпеть не мог. Как ни упрашивали его хозяева обождать еще, но он ни за что не соглашался и в ожидании отъезда стал даже нервным, раздражительным.

Часов в десять утра, когда не спускавшееся под горизонт солнце стояло в небе уже очень высоко и нагревало своими яркими лучами вычищенные и вылощенные бока «Наутилуса», его подвели к самому берегу с тою целью, чтобы имевшие прийти к отъезду Фиц-Рой и Мэри могли удобнее взойти на него.

Опускаясь сквозь люк в каюту, Фиц-Рой обратился к Немо с вопросом:

— А вы не кувырнете нас с женою, как тех дикарей, помните, электричеством?

Капитан Немо улыбнулся. Он велел с вечера приготовить хороший завтрак и вытащить из погребка превосходное вино: старый херес и шампанское. Немо и Фиц-Рой с супругою не замедлили сесть за стол. Завтрак прошел очень оживленно. Когда подали кофе, слух гостей был поражен удивительною, не слышанною ими музыкою. Слышалось не то журчание воды, не то воздушная Эолова арфа, не то церковный орган, но, в общем, нечто удивительно приятное, убаюкивающее. Звуки лились непрерывно и чередовались с таким гармоническим спокойствием, с такою умиротворяющею музыкальностью, что даже сам суровый Немо как будто поддался звуковому очарованию. Фиц-Рой слушал внимательно и одобрительно покачивал головою, а Мэри замечталась до такой степени, что ее чашка с кофе остыла совершенно.

— Чудесно, восхитительно!—проговорил Фиц-Рой.

— Да, очень, очень хорошо! — пробормотала Мэри.

Когда музыка прекратилась, Мэри изъявила желание ознакомиться с самим инструментом. Устроен он был в одном из боков кабинета, и вся музыкальность его основывалась на более или менее высоком падении сверху вниз, в водяной бассейн, более или менее больших капель воды. Медная доска с отверстиями для капель была укреплена над бассейном и могла быть легко заменена другою, с другими нотами; в инструменте этом имелось также нечто вроде педали: струя воздуха, до поры до времени пускаемая на падавшие капли и дробившая их, придавала звуку очень боль-

шую мягкость и могла вызывать даже тончайшие pianissimo; для этого, кроме струи воздуха, нужно было еще и уменьшение диаметра тех отверстий, сквозь которые капли падали; то и другое производилось механически.

— Но ведь это мы можем и у нас дома устроить?— сказала Мэри, обращаясь к мужу.

— Непременно устрою, непременно; мне эта музыка тоже очень нравится,— ответил Фиц-Рой.

— Это будет нам воспоминанием о вас, капитан,— проговорила Мэри.

При этих словах Немо поднялся с места и молча направился в соседнюю со столовой спальню; он скоро возвратился и принес с собою небольшой ящик, который и поставил на стол.

— Вот это воспоминание обо мне будет несколько существеннее,— сказал он, пощелкивая задвижками ящика, им принесенного, и открыв крышку.

— Что это такое? — спросил Фиц-Рой, заглядывая в ящик.

— А это вот что: вы жаловались мне на глухоту, одолевающую вашего Брута, ну, так благодаря этому прибору глухоты нет более.

— Не может быть! — воскликнула Мэри.

— Да, это верно,— добавил капитан Немо.— Прибор этот — микрофонограф; его недавнее изобретение сделает переворот в медицинской науке и во многом другом.

— Вероятно,— добавил от себя Фиц-Рой,— ваш прибор усиливает звуки?

— Да, в чудовищной, совершенно невероятной степени. Он делает со звуками, даже с самыми крохотными, никем не слышимыми и даже не подозреваемыми, то, что делает с изображением предмета лупа или микроскоп,— объяснил Немо.

— Но ведь в таком случае последствия этого изобретения действительно неисчислимы! — проговорил Фиц-Рой, очень хорошо и быстро сообразив, к чему может привести открытие.— Мало того, что глухонемые обретут слух, но ведь и медицина, ограничивающаяся выслушиванием и постукиванием, будет иметь в своем распоряжении гораздо более верного и нелицеприятного распознавателя, чем пальцы и уши врачей.

— Нет, конечно, сомнения в том,— ответил Немо,— что теперь можно будет изучать самомалейшие звуки как в здоровом, так и в больном организме, и какие чудесные диагнозы болезней будут возможны!

Немо вынул прибор из ящика и не замедлил поставить на стол, между тарелок и ножей.

— А уже делались с прибором опыты? — спросил Фиц-Рой.

— Делались, и весьма удачно. Для того, чтобы уловить едва слышные звуки, мало того, для того, чтобы записать их, приставляют к исследуемому органу особый микрофон и соединяют его с микрофонографом, т. е. с записывателем звуков; электрический провод от батареи в 60 небольших элементов из сернокислой ртути достаточен. Новый аппарат этот изобретение молодого французского ученого Дюссо, он записывает даже не слышимые нами звуки в сердце человека и в его легких с необыкновенною точностью.

— Но ведь это бесконечно и поразительно в своих применениях! — воскликнул Фиц-Рой.— Ведь таким способом можно будет, пожалуй, записывать и шумы движения мысли в мозгу человека!

— Да, да, конечно,— добавил Немо,— и по этому пути уже идут изобретатели. Аппарат Дюссо стал известным Эдиссону, и маг Америки работает над тем, чтобы сделать микрофонограф бесконечно чувствительным. Самому Дюссо уже удалось записать бесконечно малые шумы, производимые, например, насекомыми при их хождении; он записал также звуковые изменения, вызванные нервным волнением у артиста и оратора.

— Чудесно, чудесно! — добавил Фиц-Рой; он внимательно осматривал аппарат, знакомился с его не очень сложным механизмом.

— Так это поможет, значит, нашему бедному Бруту? — заметила Мэри.

— Да, несомненно,— сказали в один голос и Немо, и Фиц-Рой.

— А нельзя ли позвать сюда Брута сейчас же? — спросила Мэри.

— Конечно, можно...

Не прошло и пяти минут времени, как Брут появился на «Наутилусе». Приспособление аппарата, при том

условии, что им орудовали такие люди, как капитан Немо и Фиц-Рой, длилось очень недолго, а электричества на «Наутилусе» имелось достаточно всегда.

Брут, человек угрюмый от природы, по мере усиления глухоты становился еще угрюмее и молчаливее, и лицо его приобретало ту неподвижность, в которой нет места ни малейшей улыбке и которое отличает глухих и в особенности глухонемых.

Опыт с Брутом удался совершенно и вполне наглядно. Когда ему было предложено взять в руки микрофонографический рожок, схожий с давно знакомым ему телефонным, и приложить к уху, когда пущен был электрический ток, весьма слабый из осторожности, лицо Брута немедленно просияло, и он улыбнулся: мир звуков, ясных и отчетливых, давно ему незнакомых, возник для него снова и приобщил к жизни тем общением, которое когда-то, до глухоты, имелось для него.

Когда затем Немо, приставив микрофон к своему сердцу, соединил его с микрофонографом и дал опять рожок в руки Брута и он приложил его к уху,— лицо Брута стало совсем весело.

— Что ты слышишь? — спросила его Мэри, заметив эту веселость.

— Мельница стучит! — ответил он.

Все расхохотались, и даже сам Немо вместе с другими.

— Ну, многочтимый хозяин,— проговорил Немо,— вы, конечно, не откажетесь принять от меня этот прибор в обмен на вашу чудесную шапку.

— Не могу отказаться, спасибо! — ответил Фиц-Рой и, взяв гостя за руку, сильно пожал ее.

— Меня больше не нужно? — спросил Брут и, получив ответ, вышел.

Завтрак прошел очень оживленно. Особенно понравился Немо фаршированный язык трески, поданный к закуске. Такая роскошь возможна только на месте, где трески, не выдерживающей в свежем виде и нескольких часов перевозки, мириады.

— А вы из этих языков консервов не делаете? — спросил Немо.

— Не стоит того!

— Но, скажите, почтенный Фиц-Рой, я видел у вас на столе разные консервы, я видел у вас в лаборатории множество новых приборов; все ваши окна снабжены стеклами — откуда и как получаете вы все это и вообще как сообщаетесь с жилыми местностями, из которых ближайшая, кажется, Архангельск?

— Архангельск не ближайшая,— ответил Фиц-Рой,— но в ближайших, как, например, Мезень, ничего достать нельзя. Что касается до сообщений, то они чрезвычайно удобны и просты. Лучшее и главное, конечно, зимнее время. Бывают у нас иногда в море суда, но рейсы их не срочны, и на них надежда плохая, а вот зимою другое дело: на близкие расстояния ездим на собаках или на оленях, на далекие, по тундре, на буере!

— На буере? По тундре?

— Да, лучшей дороги на свете нет. Гладь неописуемая на тысячи верст. Большею частью, при посредстве тех или других ветров, достаточно одного только паруса, но на всякий случай я всегда беру с собою и электрический двигатель, который, однако, пустил в ход не более двух или трех раз.

— Но ведь вам необходим компас? — спросил Немо.

Вместо ответа Фиц-Рой взглянул на жену, немного вспыхнувшую и опустившую при этом глаза.

— Да,— ответил он,— однажды Мэри забыла компас, мы вспомнили о нем часа через два пути и едва не погибли.

— Да, это было ужасно! — ввернула от себя Мэри.

— Я помню, что сильнейший норд-ост успел отнести нас на запад в час времени не на один десяток верст. Совершенно неожиданно скользнули мы в область ветров. Кругом не было видно ни зги, и пришлось остановиться. Если бы не особенное счастье и не звезды небесные, которые явились к нам вдруг на помощь, едва ли бы имели мы удовольствие принимать вас, капитан, здесь у себя.

— Но нет худа без добра,— ответила Мэри,— с тех пор ни я, ни муж с компасом не расстаемся.

При этих словах она вынула из-за платья висевший у нее на груди вместо медальона компас; имелся

также компас на ременном поясе, которым опоясан был Фиц-Рой.

— Но что за восторг, если бы вы знали,— сказала Мэри,— нестись на буере со скоростью вихря по бесконечной тундре! Нам приходится надевать в этих случаях кожаные маски с очками. И красивы мы тогда, нечего сказать! — добавила она.

— Да, отмеривать по версте в полминуты — это удовольствие большое,— сказал Фиц-Рой.— А уж если хотите роскошную картину, так представьте себе безмолвную, тихую, зимнюю ночь, магнитное сияние, охватывающее полнеба и освещающее бесконечность, потрескивания этого сияния и тихий, равномерный стук электрического двигателя, уносящего вас по светлой, но мертвой бесконечности!

— Вот бы вы к нам зимою приехали, капитан! — сказала Мэри.

— На «Наутилусе»? — ответил Немо, улыбаясь.

Близилось время, назначенное для отбытия Немо,— ровно полдень. С невероятною быстротою погода, очень хорошая с утра, захмурилась, и свинцовые тучи начали облегать небо. Порывистый ветер крепчал, неслись по воде один другому навстречу шквалики, а неистовые завывания в расщелинах скал предрекали близость урагана. Облака в небе то сбивались в кучи, то рассеивались, образуя какие-то просветы, тотчас же закрывавшиеся. Беспокойство облаков передавалось и миру пернатых, начавших сновать над «Наутилусом» во все стороны с диким, испуганным криком. Вдали раздавались раскаты грома.

— Ведь грозы у вас здесь большая редкость? — спросил капитан Немо.

— Да, не часты,— ответил Фиц-Рой.

Немо ужасно боялся того, чтобы словоохотливый Фиц-Рой не начал болтать с ним по поводу гроз. В три истекших дня ему так надоело пребывание на суше, он так неудержимо стремился снова покачаться в океанских волнах, наступавшая гроза так манила его к себе, что он только и думал о том, как бы ему поскорее отчалить от берега. Он обратился к рупору, висевшему на стене за его спиною, и очень громко спросил в машинное отделение:

— Готовы ли к отплытию? А? Что? Готовы?

Ответ последовал утвердительный.

Хотя стоянка «Наутилуса» была совершенно безопасна и, казалось, никакая волна океанская не проникнет в этот спокойный заливчик, тем не менее «Наутилус» начал слегка постукивать своими металлическими боками о береговую скалу.

— Неужели вы тронетесь теперь,— спросила Мэри,— когда еще вчера вечером состоялось предсказание бури?

— Это ему нипочем, дорогая Мэри, он немедленно нырнет ниже пояса волнения.

— Нырну, конечно, нырну! — нервно ответил Немо. Он уже воображал себя на волнах.

Приближавшиеся раскаты грома учащались.

— Ну, если вас не удержать, так прощайте, капитан,— проговорил Фиц-Рой, вставая из-за стола; ему вслед поднялась и Мэри.

Хотя прощание последовало очень радушное, но Немо, видимо, не принадлежал более себе и ему стоило много усилий сдержать себя и быть вежливым.

— Да и по правде, действительно, вам надо торопиться,— говорил Фиц-Рой, выбираясь на воздух из широко раскрытого люка; за ним направилась Мэри, которой помог сойти на берег соскочивший на него Брут.

Последовали рукопожатия. Наконец, освободясь от гостей, Немо почувствовал себя в своей стихии и обратился к кнопкам. «Наутилус» тронулся.

— Прощайте, прощайте! — раздавалось с берега.

Но Немо не замечал более ничего. По мере быстрого усиления бури вырастал и он, и что значили ему эти мелкие людские возгласы, исчезавшие в чудовищных возгласах бури, что значило ему махание платками, когда, уйдя весь во внимание и хозяйничая с кнопками, он следил за движениями своего «Наутилуса».

Буря разыгралась страшная, и молнии заструились по совсем стемневшему небу змеями. Даже в мирном заливчике начали появляться на волнах зайчики, и Немо, спрятавшись в люк и обеспечив «Наутилус» герметическим закупориванием, застопорил машину и тронул клапан для погружения в воду.

Тихо, еле заметно для глаз, погрузилось чудесное судно, и сколько бы ни трудились Фиц-Рой и его жена

увидеть его, это было бы невозможно. Океанская глубина сказывалась подле самого берега, и Немо ознакомился с предстоявшим ему путем еще вчера, сделав несколько промеров.

Находя дальнейшее опускание «Наутилуса» излишним, потому что судно находилось в неволнующейся глубине, Немо, осветившись электричеством, стал тихонько двигаться в обратном направлении к тому, которое было у него записано до прибытия в бухту со слов Фиц-Роя и по которому он прибыл.

Тишина в каюте Немо наступила полная, так как гудевшая над водою неисчисленными голосами буря в эту область вечной тишины не доносилась, и о ее присутствии свидетельствовал только необычайно быстро упавший барометр.

Нервы капитана Немо вполне успокоились.

Верный своей всегдашней привычке, он только в пути намечал себе ближайшую цель дальнейшего следования. На этот раз капитан, почти не колеблясь, решил плыть прямо на Одессу с тем, чтобы познакомиться с Россией с другой стороны.

Есть полное основание полагать, что капитан благополучно обогнет всю Европу, пройдет по Средиземному и Черному морям, нисколько не заботясь о предъявлении своего вида в Дарданеллах, и прибудет вполне благополучно к Одессе. Есть также полное основание быть уверенным в том, что Немо сообщит людям о том, что он знает Россию и что бывал в ней.

Конечно, Немо будет совершенно прав.

[*1898*]

Валерий Брюсов
Республика Южного Креста

Статья в специальном № «Северо-Европейского Вечернего Вестника»

За последнее время появился целый ряд описаний страшной катастрофы, постигшей Республику Южного Креста. Они поразительно разнятся между собой и передают немало событий явно фантастических и невероятных. По-видимому, составители этих описаний слишком доверчиво относились к показаниям спасшихся жителей Звездного города, которые, как известно, *все были поражены психическим расстройством.* Вот почему мы считаем полезным и своевременным сделать здесь свод всех *достоверных* сведений, какие пока имеем о трагедии, разыгравшейся на Южном полюсе.

Республика Южного Креста возникла сорок лет тому назад из треста сталелитейных заводов, расположенных в южно-полярных областях. В циркулярной ноте, разосланной правительствам всего земного шара, новое государство выражало притязания на все земли, как материковые, так и островные, заключенные в пределах Южно-Полярного круга, равно как на все части этих земель, выходящие из указанных пределов. Земли эти оно изъявляло готовность приобрести покупкой у государств, считавших их под своим протекторатом. Претензии новой Республики не встретили противодействия со стороны пятнадцати великих держав мира. Спорные вопросы о некоторых островах, всецело лежащих за Полярным кругом, но тесно примыкавших к южно-полярным областям, потребовали отдельных трактатов. По исполнении различных формальностей Республика Южного Креста была принята в семью мировых государств и представители ее аккредитованы при их правительствах.

Главный город Республики, получивший название Звездного, был расположен на самом полюсе. В той воображаемой точке, где проходит земная ось и сходятся все земные меридианы, стояло здание городской ратуши, и острие ее шпиля, подымавшегося над городской крышей, было направлено к небесному надиру. Улицы города расходились по меридианам от ратуши, а меридиональные пересекались другими, шедшими по параллельным кругам. Высота всех строений и внешность построек были одинаковы. Окон в стенах не было, так как здания освещались изнутри электричеством. Электричеством же освещались и улицы. Ввиду суровости климата над городом была устроена непроницаемая для света крыша, с могучими вентиляторами для постоянного обмена воздуха. Те местности земного шара знают в течение года лишь один день в шесть месяцев и одну долгую ночь, тоже в шесть месяцев, но улицы Звездного города были неизменно залиты ясным и ровным светом. Подобно этому, во все времена года температура на улицах искусственно поддерживалась на одной и той же высоте.

По последней переписи число жителей Звездного города достигало 2 500 000 человек. Все остальное население Республики, исчислявшееся в 50 000 000, сосредоточивалось вокруг портов и заводов. Эти пункты образовывали тоже миллионные скопления людей и по внешнему устройству напоминали Звездный город. Благодаря остроумному применению электрической силы входы в местные гавани оставались открытыми весь год. Подвесные электрические дороги соединяли между собой населенные места Республики, перекидывая ежедневно из одного города в другой десятки тысяч людей и миллионы килограммов товара. Что касается внутренности страны, то она оставалась необитаемой. Перед взорами путешественников в окно вагона проходили только однообразные пустыни, совершенно белые зимой и поросшие скудной травой в три летних месяца. Дикие животные были давно истреблены, а человеку нечем было существовать там. И тем поразительнее была напряженная жизнь портовых городов и заводских центров. Чтобы дать понятие об этой жизни, достаточно сказать, что за последние годы около *семи десятых* всего металла, добываемого

на земле, поступало на обработку в государственные заводы Республики.

Конституция Республики по внешним признакам казалась осуществлением крайнего народовластия. Единственными полноправными гражданами считались работники металлургических заводов, составлявшие около 60 процентов всего населения. Заводы эти были государственной собственностью. Жизнь работников на заводах была обставлена не только всевозможными удобствами, но даже роскошью. В их распоряжение, кроме прекрасных помещений и изысканного стола, предоставлены были разнообразные образовательные учреждения и увеселения: библиотеки, музеи, театры, концерты, залы для всех видов спорта и т. д. Число рабочих часов в сутки было крайне незначительно. Воспитание и образование детей, медицинская и юридическая помощь, отправление религиозных служений разных культов было государственной заботой. Широко обеспеченные в удовлетворении всех своих нужд, потребностей и даже прихотей, работники государственных заводов не получали никакого денежного вознаграждения; но семьи граждан, прослуживших на заводе 20 лет, а также скончавшихся или лишившихся в годы службы работоспособности, получали богатую пожизненную пенсию с условием не покидать Республики. Из среды тех же работников, путем всеобщего голосования, избирались представители в Законодательную Палату Республики, ведавшую всеми вопросами политической жизни страны без права изменять ее основные законы.

Однако эта демократическая внешность прикрывала чисто самодержавную тиранию членов — учредителей бывшего треста. Предоставляя другим места депутатов в Палате, они неизменно проводили своих кандидатов в директора заводов. В руках совета этих директоров сосредоточивалась экономическая жизнь страны. Они принимали все заказы и распределяли их по заводам; они приобретали материалы и машины для работы; они вели все хозяйство заводов. Через их руки проходили громадные суммы денег, считавшиеся миллиардами. Законодательная Палата лишь утверждала представляемые ей росписи приходов и расходов по управлению заводами, хотя баланс этих росписей

далеко превышал весь бюджет Республики. Влияние совета директоров в международных отношениях было громадно. Его решения могли разорить целые страны. Цены, устанавливаемые им, определяли заработок миллионов трудящихся масс на всей земле. В то же время, хотя и не прямое, влияние совета на внутренние дела Республики всегда было решающим. Законодательная Палата, в сущности, являлась лишь покорным исполнителем воли совета.

Сохранением власти в своих руках совет был обязан прежде всего беспощадной регламентации всей жизни страны. При кажущейся свободе жизнь граждан была нормирована до мельчайших подробностей. Здания всех городов Республики строились по одному и тому же образцу, определенному законом. Убранство всех помещений, предоставляемых работникам, при всей его роскоши было строго единообразным. Все получали одинаковую пищу в одни и те же часы. Платье, выдававшееся из государственных складов, было неизменно в течение десятков лет, одного и того же покроя. После определенного часа, возвещавшегося сигналом с ратуши, воспрещалось выходить из дома. Вся печать страны подчинена была зоркой цензуре. Никакие статьи, направленные против диктатуры совета, не пропускались. Впрочем, вся страна настолько была убеждена в благодетельности этой диктатуры, что наборщики сами отказывались набирать строки, критикующие совет. Заводы были полны агентами совета. При малейшем проявлении недовольства советом агенты спешили на быстро собранных митингах страстными речами разубедить усомнившихся. Обезоруживающим доказательством служило, конечно, то, что жизнь работников в Республике была предметом зависти для всей земли. Утверждают, что в случае неуклонной агитации отдельных лиц совет не брезговал политическим убийством. Во всяком случае, за все время существования Республики общим голосованием граждан не было избрано в совет ни одного директора, враждебного членам-учредителям.

Население Звездного города состояло преимущественно из работников, отслуживших свой срок. То были, так сказать, государственные рантье. Средства, получаемые ими от государства, давали им возможность

жить богато. Неудивительно поэтому, что Звездный город считался одним из самых веселых городов мира.

Для разных антрепренеров и предпринимателей он был золотым дном. Знаменитости всей земли несли сюда свои таланты. Здесь были лучшие оперы, лучшие концерты, лучшие художественные выставки; здесь издавались самые осведомленные газеты. Магазины Звездного города поражали богатством выбора; рестораны — роскошью и утонченностью сервировки; притоны соблазняли всеми формами разврата, изобретенными древним и новым миром. Однако правительственная регламентация жизни сохранялась и в Звездном городе. Правда, убранство квартир и моды платья не были стеснены, но оставалось в силе воспрещение выхода из дому после определенного часа, сохранялась строгая цензура печати, содержался советом обширный штат шпионов. Порядок официально поддерживался народной стражей, но рядом с ней существовала тайная полиция всеведущего совета.

Таков был в самых общих чертах строй жизни в Республике Южного Креста и ее столице. Задачей будущего историка будет определить, насколько повлиял он на возникновение и распространение роковой эпидемии, приведшей к гибели Звездного города, а может быть, и всего молодого государства.

Первые случаи заболевания «противоречием» были отмечены в Республике уже лет 20 тому назад. Тогда болезнь имела характер случайных, спорадических заболеваний. Однако местные психиатры и невропатологи заинтересовались ею, дали ее подробное описание, и на состоявшемся тогда международном медицинском конгрессе в Лхассе ей было посвящено несколько докладов. Позднее ее как-то забыли, хотя в психиатрических лечебницах Звездного города никогда не было недостатка в заболевших ею. Свое название болезнь получила оттого, что больные ею постоянно сами противоречат своим желаниям, хотят одного, но говорят и делают другое. (Научное название болезни — mania contradicens.) Начинается она обыкновенно с довольно слабо выраженных симптомов, преимущественно в форме своеобразной афазии. Заболевший вместо «да» говорит «нет»; желая сказать ласковые слова, осыпает

собеседника бранью и т. д. Большею частью одновременно с этим больной начинает противоречить себе и своими поступками: намереваясь идти влево, поворачивает вправо, думая поднять шляпу, чтобы лучше видеть, нахлобучивает ее себе на глаза и т. д. С развитием болезни эти «противоречия» наполняют всю телесную и духовную жизнь больного, разумеется, представляя бесконечное разнообразие, сообразно с индивидуальными особенностями каждого. В общем, речь больного становится непонятной, его поступки нелепыми. Нарушается и правильность физиологических отправлений организма. Сознавая неразумность своего поведения, больной приходит в крайнее возбуждение, доходящее часто до исступления. Очень многие кончают жизнь самоубийством, иногда в припадке безумия, иногда, напротив, в минуту душевного просветления. Другие погибают от кровоизлияния в мозг. Почти всегда болезнь приводит к летальному исходу; случаи выздоровления крайне редки.

Эпидемический характер mania contradicens приняла в Звездном городе со средних месяцев текущего года. До этого времени число больных «противоречием» никогда не превышало 2% общего числа заболевших. Но это отношение в мае месяце (осеннем месяце в Республике) сразу возросло до 25% и все увеличивалось в следующие месяцы, причем с такой же стремительностью возрастало и абсолютное число заболеваний. В средних числах июня уже около 2% *всего населения*, т. е. около 50 000 человек, официально признавались больными «противоречием». Статистических данных позже этого времени у нас нет. Больницы переполнились. Контингент врачей быстро оказался совершенно недостаточным. К тому же сами врачи, а также и больничные служащие стали подвергаться тому же заболеванию. Очень скоро больным стало не к кому обращаться за врачебной помощью, и точная регистрация заболеваний стала невозможной. Впрочем, показания всех очевидцев сходятся на том, что в июле месяце нельзя было встретить семьи, где не было бы больного. При этом число здоровых неизменно уменьшалось, так как началась массовая эмиграция из города, как из зачумленного места, и число больных увеличивалось. Можно думать, что не далеки от истины те, кто утвер-

ждает, что в августе месяце *все* оставшиеся в Звездном городе были поражены психическим расстройством.

За первыми проявлениями эпидемии можно следить по местным газетам, заносившим их во все возраставшую у них рубрику: Manla contradicens. Так как распознание болезни в ее первых стадиях очень затруднительно, то хроника первых дней эпидемии полна комических эпизодов. Заболевший кондуктор метрополитена вместо того, чтобы получать деньги с пассажиров, сам платил им. Уличный стражник, обязанностью которого было регулировать уличное движение, путал его в течение всего дня. Посетитель музея, ходя по залам, снимал все картины и поворачивал их к стене. Газета, исправленная рукой заболевшего корректора, оказывалась переполненной смешными нелепостями. В концерте больной скрипач вдруг нарушал ужаснейшими диссонансами исполняемую оркестром пьесу и т. д. Длинный ряд таких случаев давал пищу остроумным выходкам местных фельетонистов. Но несколько случаев иного рода скоро остановили поток шуток. Первый состоял в том, что врач, заболевший «противоречием», прописал одной девушке средство, безусловно смертельное для нее, и его пациентка умерла. Дня три газеты были заняты этим происшествием. Затем две няньки в городском детском саду в припадке «противоречия» перерезали горло сорока одному ребенку. Сообщение об этом потрясло весь город. Но в тот же день вечером из дома, где помещались городские милиционеры, двое больных выкатили митральезу и осыпали картечью мирно гулявшую толпу. Убитых и раненых было до пятисот человек.

После этого все газеты, все общество закричали, что надо немедленно принять меры против эпидемии. Экстренное заседание соединенных городского совета и Законодательной Палаты порешило немедленно пригласить врачей из других городов и из-за границы, расширить существующие больницы, открыть новые и везде устроить покои для изоляции заболевших «противоречием», напечатать и распространить в 500 000 экземплярах брошюру о новой болезни, где указывались бы ее признаки и способы лечения, организовать на всех улицах специальные дежурства врачей и их сотрудников и обходы частных квартир для оказания пер-

вой помощи и т. д. Постановлено было также отправлять ежедневно по всем дорогам поезда исключительно для больных, так как врачи признавали лучшим средством против болезни перемену места. Сходные мероприятия были в то же время предприняты различными частными ассоциациями, союзами и клубами. Организовалось даже особое «Общество для борьбы с эпидемией», члены которого скоро проявили себя действительно самоотверженной деятельностью. Но, несмотря на то, что все эти и сходные меры проводились с неутомимой энергией, эпидемия не ослабевала, но усиливалась с каждым днем, поражая равно стариков и детей, мужчин и женщин, людей работающих и пользующихся отдыхом, воздержанных и распутных. И скоро все общество было охвачено неодолимым, стихийным ужасом перед неслыханным бедствием.

Началось бегство из Звездного города. Сначала некоторые лица, особенно из числа выдающихся сановников, директоров, членов Законодательной Палаты и городского совета, поспешили выслать свои семейства в южные города Австралии и Патагонии. За ними потянулось случайное пришлое население — иностранцы, охотно съезжавшиеся в «самый веселый город южного полушария», артисты всех профессий, разного рода дельцы, женщины легкого поведения. Затем, при новых успехах эпидемии, кинулись и торговцы. Они спешно распродавали товары или оставляли свои магазины на произвол судьбы. С ними вместе бежали банкиры, содержатели театров и ресторанов, издатели газет и книг. Наконец дело дошло и до коренных, местных жителей. По закону, бывшим работникам был воспрещен выезд из Республики без особого разрешения правительства, под угрозой лишения пенсии. Но на эту угрозу уже не обращали внимания, спасая свою жизнь. Началось и дезертирство. Бежали служащие городских учреждений, бежали чины народной милиции, бежали сиделки больниц, фармацевты, врачи. Стремление бежать, в свою очередь, стало манией. Бежали все, кто мог бежать.

Станции электрических дорог осаждались громадными толпами. Билеты в поездах покупались за громадные суммы и получались с бою. В минуту отхода поезда врывались в вагоны новые лица и не уступали

завоеванного места. Толпы останавливали поезда, снаряженные исключительно для больных, вытаскивали их из вагонов, занимали их койки и силой заставляли машиниста дать ход. Весь подвижной состав железных дорог Республики с конца мая работал только на линиях, соединяющих столицу с портами. Из Звездного города поезда шли переполненными; пассажиры стояли во всех проходах, отваживались даже стоять снаружи, хотя при скорости хода современных электрических дорог это грозит смертью от задушения. Пароходные компании Австралии, Южной Америки и Южной Африки несообразно нажились, перевозя эмигрантов Республики в другие страны. По направлению к Звездному городу, напротив, поезда шли почти пустыми; ни за какое жалованье нельзя было найти лиц, согласных ехать на службу в столицу; только изредка отправлялись в зачумленный город эксцентричные туристы, любители сильных ощущений. Вычислено, что с начала эмиграции по 22 июня, когда правильное движение поездов прекратилось, по всем шести железнодорожным линиям выехало из Звездного города полтора миллиона человек, т. е. почти две трети всего населения.

Своей предприимчивостью, силой воли и мужеством заслужил себе в это время вечную славу председатель городского совета Орас Дивиль. В экстренном заседании 5 июня городской совет по соглашению с Палатой и с советом директоров вручил Дивилю диктаторскую власть над городом, со званием Начальника, передав ему распоряжение городскими суммами, народной милицией и городскими предприятиями. Вслед за этим правительственные учреждения и архив были вывезены из Звездного города в Северный порт. Имя Ораса Дивиля должно быть записано золотыми буквами среди самых благородных имен человечества. В течение полутора месяцев он боролся с возрастающей анархией в городе. Ему удалось собрать вокруг себя группу столь же самоотверженных помощников. Он сумел долгое время удерживать дисциплину и повиновение в среде народной милиции и городских служащих, охваченных ужасом перед общим бедствием и постоянно децимируемых эпидемией. Орасу Дивилю обязаны сотни тысяч своим спасением, так как благодаря его

энергии и распорядительности им удалось уехать. Другим тысячам людей он облегчил последние дни, дав возможность умереть в больнице, при заботливом уходе, а не под ударами обезумевшей толпы. Наконец, человечеству Дивиль сохранил летопись всей катастрофы, так как нельзя назвать иначе краткие, но содержательные и точные телеграммы, которые он ежедневно и по нескольку раз в день отправлял из Звездного города во временную резиденцию правительства Республики, в Северный порт.

Первым делом Дивиля, при вступлении в должность Начальника города, была попытка успокоить встревоженные умы населения. Были изданы манифесты, указывавшие на то, что психическая зараза легче всего переносится на людей возбужденных, и призывавшие людей здоровых и уравновешенных влиять своим авторитетом на лиц слабых и нервных. При этом Дивиль вошел в сношение с «Обществом для борьбы с эпидемией» и распределил между его членами все общественные места, театры, собрания, площади, улицы. В эти дни почти не проходило часа, чтобы в любом месте не обнаруживались заболевания. То там, то здесь замечались лица или целые группы лиц, своим поведением явно доказывающие свою ненормальность. Большей частью у больных, понявших свое состояние, являлось немедленное желание обратиться за помощью. Но под влиянием расстроенной психики это желание выражалось у них какими-нибудь враждебными действиями против близ стоящих. Больные хотели бы спешить домой или в лечебницу, но вместо этого испуганно бросались бежать к окраинам города. Им являлась мысль просить кого-нибудь принять в них участие, но вместо того они хватали случайных прохожих за горло, душили их, наносили им побои, иногда даже раны ножом или палкой. Поэтому толпа, как только оказывался поблизости человек, пораженный «противоречием», обращалась в бегство. В эти-то минуты и являлись на помощь члены «Общества». Одни из них овладевали больным, успокаивали его и направляли в ближайшую лечебницу; другие старались вразумить толпу и объяснить ей, что нет никакой опасности, что случилось только новое несчастье, с которым все должны бороться по мере сил.

В театрах и собраниях случаи внезапного заболевания очень часто приводили к трагическим развязкам. В опере несколько сот зрителей, охваченных массовым безумием, вместо того чтобы выразить свой восторг певцам, ринулись на сцену и осыпали их побоями. В Большом Драматическом театре внезапно заболевший артист, который по роли должен был окончить самоубийством, произвел несколько выстрелов в зрительный зал. Револьвер, конечно, не был заряжен, но под влиянием первого напряжения у многих лиц в публике обнаружилась уже таившаяся в них болезнь. При происшедшем смятении, в котором естественная паника была усилена «противоречивыми» поступками безумцев, было убито несколько десятков человек. Но всего ужаснее было происшествие в Театре фейерверков. Наряд городской милиции, назначенный туда для наблюдения за безопасностью от огня, в припадке болезни поджег сцену и те вуали, за которыми распределяются световые эффекты. От огня и в давке погибло не менее 200 человек. После этого события Орас Дивиль распорядился прекратить все театральные и музыкальные исполнения в городе.

Громадную опасность для жителей представляли грабители и воры, которые при общей дезорганизации находили широкое поле для своей деятельности. Уверяют, что иные из них прибывали в это время в Звездный город из-за границы. Некоторые симулировали безумие, чтобы остаться безнаказанными. Другие не считали нужным даже прикрывать открытого грабежа притворством. Шайки разбойников смело входили в покинутые магазины и уносили более ценные вещи, врывались в частные квартиры и требовали золота, останавливали прохожих и отнимали у них драгоценности, часы, перстни, браслеты. К грабежам присоединились насилия всякого рода и прежде всего насилия над женщинами. Начальник города высылал целые отряды милиции против преступников, но те отваживались вступать в открытые сражения. Были страшные случаи, когда среди грабителей или среди милиционеров внезапно оказывались заболевшие «противоречием», обращавшие оружие против своих товарищей. Арестованных грабителей Начальник сначала высылал из города. Но граждане освобождали их из тюремных ваго-

нов, чтобы занять их место. Тогда Начальник принужден был приговаривать уличенных разбойников и насильников к смерти. Так, после почти трехвекового перерыва была возобновлена на земле открытая смертная казнь.

В июне в городе стала сказываться нужда в предметах первой необходимости. Недоставало жизненных припасов, недоставало медикаментов. Подвоз по железной дороге начал сокращаться, в городе же почти прекратились всякие производства. Дивиль организовал городские хлебопекарни и раздачу хлеба и мяса всем жителям. В городе были устроены общественные столовые по образцу существовавших на заводах. Но невозможно было найти достаточного числа работающих для них. Добровольцы-служащие трудились до изнеможения, но число их уменьшалось. Городские крематории пылали круглые сутки, но число мертвых тел в покойницких не убывало, а возрастало. Начали находить трупы на улицах и в частных домах. Городские центральные предприятия, по телеграфу, телефону, освещению, водопроводу, канализации, обслуживались все меньшим и меньшим числом лиц. Удивительно, как Дивиль успевал всюду. Он за всем следил, всем руководил. По его сообщениям можно подумать, что он не знал отдыха. И все спасшиеся после катастрофы свидетельствуют единогласно, что его деятельность была выше всякой похвалы.

В середине июня стал чувствоваться недостаток служащих на железных дорогах. Не было машинистов и кондукторов, чтобы обслуживать поезда, 17 июня произошло первое крушение на Юго-Западной линии, причиной которого было заболевание машиниста «противоречием». В припадке болезни машинист бросил весь поезд с пятисаженной высоты на ледяное поле. Почти все ехавшие были убиты или искалечены. Известие об этом, доставленное в город со следующим поездом, было подобно удару грома. Тотчас был отправлен санитарный поезд. Он привез трупы и изувеченные полуживые тела. Но к вечеру того же дня распространилась весть, что аналогичная катастрофа разразилась и на Первой линии. Два железнодорожных пути, соединяющих Звездный город с миром, оказались испорченными. Были посланы и из города и из Северного

порта отряды для исправления путей, но работа в тех странах почти невозможна в зимние месяцы. Эти две катастрофы были лишь образцами для следующих. Чем с большей тревогой брались машинисты за свое дело, тем вернее, в болезненном припадке, они повторяли проступок своих предшественников. Именно потому, что они *боялись*, как бы не погубить поезд, они губили его. За пять дней от 18 по 22 июня семь поездов, переполненных людьми, было сброшено в пропасть. Тысячи людей нашли себе смерть от ушибов и голода в снежных равнинах. Только у очень немногих достало сил вернуться в город. Вместе с тем все шесть магистралей, связывающих Звездный город с миром, оказались испорченными. Население города, доходившее в то время до 600 000 человек, оказалось отрезанным от всего человечества. Некоторое время их связывала только телеграфная нить.

24 июня остановилось движение по городскому метрополитену ввиду недостатка служащих. 26 июня была прекращена служба на городском телефоне. 27 июня были закрыты все аптеки, кроме одной центральной. 1 июля Начальник издал приказ всем жителям переселиться в Центральную часть города, совершенно покинув периферии, чтобы облегчить поддержание порядка, распределение припасов и врачебную помощь. Люди покидали свои квартиры и поселялись в чужих, оставленных владельцами. Чувство собственности исчезло. Никому не жаль было бросить свое, никому не странно было пользоваться чужим. Впрочем, находились еще мародеры и разбойники, которых скорее можно было признать психопатами. Они еще продолжали грабить, и в настоящее время в пустынных залах обезлюдевших домов открывают целые клады золота и драгоценностей, около которых лежит полусгнивший труп грабителя.

Замечательно, однако, что при всеобщей гибели жизнь еще сохраняла свои прежние формы. Еще находились торговцы, которые открывали магазины, продавая — почему-то по неимоверным ценам — уцелевшие товары: лакомства, цветы, книги, оружие... Покупатели, не жалея, бросали ненужное золото, а скрягикупцы прятали его неизвестно зачем. Еще существовали тайные притоны — карт, вина и разврата,— ку-

да убегали несчастные люди, чтобы забыть ужасную действительность. Больные смешивались там со здоровыми, и никто не вел хроники ужасных сцен, происходивших там. Еще выходили две-три газеты, издатели которых пытались сохранить значение литературного слова в общем разгроме. Номера этих газет, уже в настоящее время перепродающиеся в десять и двадцать раз дороже настоящей своей стоимости, должны стать величайшими библиографическими редкостями. В этих столбцах текста, написанных среди господствующего безумия и набранных полусумасшедшими наборщиками,— живое и страшное отражение всего, что переживал несчастный город. Находились репортеры, которые сообщали «городские происшествия», писатели, которые горячо обсуждали положение дел, и даже фельетонисты, которые пытались забавлять в дни трагизма. А телеграммы, приходившие из других стран, говорившие об истинной, здоровой жизни, должны были наполнять отчаянием души читателей, обреченных на гибель.

Делались безнадежные попытки спастись. В начале июля громадная толпа мужчин, женщин и детей, руководимая неким Джоном Дью, решилась идти пешком из города в ближайшее населенное место, Лёндонтоун. Дивиль понимал безумие их попытки, но не мог остановить их и сам снабдил теплой одеждой и съестными припасами. Вся эта толпа, около 2000 человек, заблудилась и погибла в снежных полях полярной страны, среди черной, шесть месяцев не рассветающей ночи. Некто Уайтинг начал проповедовать иное, более героическое средство. Он предлагал умертвить *всех* больных, полагая, что после этого эпидемия прекратится. У него нашлось немало последователей, да, впрочем, в те темные дни самое безумное, самое бесчеловечное предложение, сулящее избавление, нашло бы сторонников. Уайтинг и его друзья рыскали по всему городу, врывались во все дома и истребляли больных. В больницах они совершали массовые избиения. В исступлении убивали и тех, кого только можно было заподозрить, что он не совсем здоров. К идейным убийцам присоединились безумные и грабители. Весь город стал ареной битв. В эти трудные дни Орас Дивиль собрал своих сотрудников в дружину, одушевил

их и лично повел на борьбу со сторонниками Уайтинга. Несколько суток продолжалось преследование. Сотни человек пали с той и с другой стороны. Наконец, был захвачен сам Уайтинг. Он оказался в последней стадии mania contradicens, и его пришлось вести не на казнь, а в больницу, где он вскоре и скончался.

8 июля городу был нанесен один из самых страшных ударов. Лица, наблюдавшие за деятельностью центральной электрической станции, в припадке болезни поломали все машины. Электрический свет прекратился, и весь город, все улицы, все частные жилища погрузились в абсолютный мрак. Так как в городе не пользовались никаким другим освещением и никаким другим отоплением, кроме электричества, то все жители оказались в совершенно беспомощном положении. Дивиль предвидел такую опасность. Им были заготовлены склады смоляных факелов и топлива. Везде на улицах были зажжены костры. Жителям факелы раздавались тысячами. Но эти скудные светочи не могли озарить гигантских перспектив Звездного города, тянувшихся на десятки километров прямыми линиями, и грозной высоты тридцатиэтажных зданий. С наступлением мрака пала последняя дисциплина в городе. Ужас и безумие окончательно овладели душами. Здоровые перестали отличаться от больных. Началась страшная оргия отчаявшихся людей.

С поразительной быстротой обнаружилось во всех падение нравственного чувства. Культурность, словно тонкая кора, наросшая за тысячелетия, спала с этих людей, и в них обнажился дикий человек, человек-зверь, каким он, бывало, рыскал по девственной земле. Утратилось всякое понятие о праве, признавалась только сила. Для женщин единственным законом стала жажда наслаждений. Самые скромные матери семейства вели себя как проститутки, по доброй воле переходя из рук в руки и говоря непристойным языком домов терпимости. Девушки бегали по улицам, вызывая, кто желает воспользоваться их невинностью, уводили своего избранника в ближайшую дверь и отдавались ему на неизвестно чьей постели. Пьяницы устраивали пиры в разоренных погребах, не стесняясь тем, что среди них валялись неубранные трупы. Все это постоянно осложнялось припадками господствующей

болезни. Жалко было положение детей, брошенных родителями на произвол судьбы. Одних насиловали гнусные развратники, других подвергали пыткам поклонники садизма, которых внезапно нашлось значительное число. Дети умирали от голода в своих детских, от стыда и страданий после насилий; их убивали нарочно и нечаянно. Утверждают, что нашлись изверги, ловившие детей, чтобы насытить их мясом свои проснувшиеся людоедские инстинкты.

В этот последний период трагедии Орас Дивиль не мог, конечно, помочь всему населению. Но он устроил в здании Ратуши приют для всех сохранивших разум. Входы в здание были забаррикадированы и постоянно охранялись стражей. Внутри были заготовлены запасы пищи и воды для 3 000 человек на сорок дней. Но с Дивилем было всего 1 800 человек мужчин и женщин. Разумеется, в городе были и еще лица с непомраченным сознанием, но они не знали о приюте Дивиля и таились по домам. Многие не решались выходить на улицу, и теперь в некоторых комнатах находят трупы людей, умерших в одиночестве от голода. Замечательно, что среди запершихся в Ратуше было очень мало случаев заболевания «противоречием». Дивиль умел поддерживать дисциплину в своей небольшой общине. До последнего дня он вел журнал всего происходящего, и этот журнал вместе с телеграммами Дивиля служит лучшим источником наших сведений о катастрофе. Журнал этот найден в тайном шкафу Ратуши, где хранились особо ценные документы. Последняя запись относится к 20 июля. Дивиль сообщает в ней, что обезумевшая толпа начала штурм Ратуши и что он принужден отбивать нападение залпами из револьверов. «На что я надеюсь,— пишет Дивиль,— не знаю. Помощи раньше весны ждать невозможно. До весны прожить с теми запасами, какие в моем распоряжении, невозможно. Но я до конца исполню мой долг». Это последние слова Дивиля. Благородные слова!

Надо полагать, что 21 июля толпа взяла Ратушу приступом и что защитники ее были перебиты или рассеялись. Тело Дивиля пока не разыскано. Сколько-нибудь достоверных сообщений о том, что происходило в городе после 21 июля, у нас нет. По тем следам, какие находят теперь при расчистке города, надо пола-

гать, что анархия достигла последних пределов. Можно представить себе полутемные улицы, озаренные заревом костров, сложенных из мебели и из книг. Огонь добывали ударами кремня о железо. Около костров дико веселились толпы сумасшедших и пьяных. Общая чаша ходила кругом. Пили мужчины и женщины. Тут же совершались сцены скотского сладострастия. Какие-то темные, атавистические чувства оживали в душах этих городских обитателей, и, полунагие, немытые, нечесаные, они плясали хороводами пляски своих отдаленных пращуров, современников пещерных медведей, и пели те же дикие песни, как орды, нападавшие с каменными топорами на мамонта. С песнями, с бессвязными речами, с идиотским хохотом сливались выклики безумия больных, которые теряли способность выражать в словах даже свои бредовые грезы, и стоны умирающих, корчившихся тут же, среди разлагающихся трупов. Иногда пляски сменялись драками — за бочку вина, за красивую женщину или просто без повода, в припадке сумасшествия, толкавшего на бессмысленные, противоречивые поступки. Бежать было некуда: везде были те же сцены ужаса, везде были оргии, битвы, зверское веселье и зверская злоба — или абсолютная тьма, которая казалась еще более страшной, еще более нестерпимой потрясенному воображению.

В эти дни Звездный город был громадным черным ящиком, где несколько тысяч еще живых человекоподобных существ были закинуты в смрад сотен тысяч гниющих трупов, где среди живых уже не было ни одного, кто сознавал свое положение. Это был город безумных, гигантский дом сумасшедших, величайший и отвратительнейший Бедлам, какой когда-либо видела земля. И эти сумасшедшие истребляли друг друга, убивая кинжалами, перегрызая горло, умирали от безумия, умирали от ужаса, умирали от голода и от всех болезней, которые царствовали в зараженном воздухе.

Само собой разумеется, что правительство Республики не оставалось равнодушным зрителем жестокого бедствия, постигшего столицу. Но очень скоро прищ-

лось отказаться от всякой надежды оказать помощь. Врачи, сестры милосердия, военные части, служащие всякого рода решительно отказывались ехать в Звездный город. После прекращения рейсов электрических дорог прямая связь с городом утратилась, так как суровость местного климата не позволяет иных путей сообщения. К тому же все внимание правительства скоро обратилось на случаи заболевания «противоречием», которые стали обнаруживаться в других городах Республики. В некоторых из них болезнь тоже грозила принять эпидемический характер и начиналась общественная паника, напоминавшая события в Звездном городе. Это повело к эмиграции жителей изо всех населенных пунктов Республики. Работы на всех заводах были остановлены, и вся промышленная жизнь страны замерла. Однако благодаря решительным мерам, принятым вовремя, в других городах эпидемию удалось остановить, и нигде она не достигла тех размеров, как в столице.

Известно, с каким тревожным вниманием весь мир следил за несчастьями молодой Республики. Вначале, когда никто не ожидал, до каких неимоверных размеров разрастется бедствие, господствующим чувством было любопытство. Выдающиеся газеты всех стран (в том числе и наш «Северо-Европейский Вечерний Вестник») отправили специальных корреспондентов в Звездный город — сообщать о ходе эпидемии. Многие из этих храбрых рыцарей пера сделались жертвой своего профессионального долга. Когда же стали приходить вести угрожающего характера, правительства различных государств и частные общества предложили свои услуги правительству Республики. Одни отправили свои войска, другие сформировали кадры врачей, третьи внесли денежные пожертвования, но события шли с такой стремительностью, что большая часть этих начинаний не могла быть исполнена. После прекращения железнодорожного сообщения со Звездным городом единственными сведениями о жизни в нем были телеграммы Начальника. Эти телеграммы немедленно рассылались во все концы земли и расходились в миллионах экземпляров. После поломки электрических машин телеграф действовал еще несколько дней, так как на станции были заряженные

аккумуляторы. Точная причина, почему телеграфное сообщение совершенно прекратилось, неизвестна; может быть, были испорчены аппараты. Последняя телеграмма Ораса Дивиля помечена 27 июня. С этого дня в течение почти полутора месяцев все человечество оставалось без вестей из столицы Республики.

В последних числах августа до Звездного города достиг на своей летательной машине аэронавт Томас Билли. Он подобрал на крыше города двух человек, давно лишенных рассудка и полумертвых от стужи и голода. Через вентиляторы Билли видел, что улицы погружены в абсолютный мрак, и слышал дикие крики, показывавшие, что в городе есть еще живые существа. В самый город Билли не решился спуститься. К началу сентября удалось восстановить одну линию электрической железной дороги до станции Лиссис, в ста пяти километрах от города. Отряд хорошо вооруженных людей, снабженных припасами и средствами для оказания первой помощи, вошел в город через Северо-Западные ворота. Этот отряд, однако, не мог проникнуть дальше первых кварталов вследствие страшного смрада, стоявшего в воздухе. Пришлось подвигаться шаг за шагом, очищая улицы от трупов, оздоравливая воздух искусственными средствами. Все люди, которых встречали в городе живыми, были невменяемы. Они походили на диких животных по своей свирепости, и их приходилось захватывать силой. Наконец, к середине сентября удалось организовать правильное сообщение со Звездным городом и начать систематическое восстановление его.

В настоящее время большая часть города уже очищена от трупов. Электрическое освещение и отопление восстановлено. Остаются незанятыми лишь американские кварталы, но полагают, что там нет живых существ. Всего спасено до 10 000 человек, но большая часть их является людьми, неизлечимо расстроенными психически. Те, которые более или менее оправляются, очень неохотно говорят о пережитом ими в бедственные дни. К тому же рассказы их полны противоречий и очень часто не подтверждаются документальными данными. В различных местах разысканы номера газет, выходивших в городе до конца июля. Последний из найденных до сих пор, помеченный 22 июля,

содержит в себе сообщение о смерти Ораса Дивиля и призыв восстановить убежище в Ратуше. Правда, найден еще листок, помеченный августом, но содержание его таково, что необходимо признать его автора (который, вероятно, лично и набирал свой бред) решительно невменяемым. В Ратуше открыт дневник Ораса Дивиля, дающий последовательную летопись событий за три недели, от 28 июня по 20 июля. По страшным находкам на улицах и внутри домов можно составить себе яркое представление о неистовствах, совершавшихся в городе за последние дни. Всюду страшно изуродованные трупы: люди, умершие голодной смертью, люди, задушенные и замученные, люди, убитые безумцами в припадке исступления, и, наконец, полуобглоданные тела. Трупы находят в самых неожиданных местах: в тоннелях метрополитена, в канализационных трубах, в разных чуланах, в котлах — везде потерявшие рассудок жители искали спасения от окружающего ужаса. Внутренности почти всех домов разгромлены, и добро, оказавшееся ненужным грабителям, запрятано в потайные комнаты и подземные помещения.

Несомненно, пройдет еще несколько месяцев, прежде чем Звездный город станет вновь обитаемым. Теперь же он почти пуст. В городе, который может вместить до 3 000 000 жителей, живет около 30 000 рабочих, занятых расчисткой улиц и домов. Впрочем, прибыли и некоторые из прежних жителей, чтобы разыскивать тела близких и собирать остатки истребленного и расхищенного имущества. Приехало и несколько туристов, привлеченных исключительным зрелищем опустошенного города. Два предпринимателя уже открыли две гостиницы, торгующие довольно бойко. В скором времени открывается и небольшой кафешантан, труппа для которого уже собрана.

«Северо-Европейский Вечерний Вестник», в свою очередь, отправил в город нового корреспондента, г. Андрю Эвальда, и намерен в подробных сообщениях знакомить своих читателей со всеми новыми открытиями, которые будут сделаны в несчастной столице Республики Южного Креста.

[1904—1905]

Часть I

1. *Разрыв*

Это было тогда, когда только начиналась та великая ломка в нашей стране, которая идет еще до сих пор и, я думаю, близится теперь к своему неизбежному грозному концу.

Ее первые, кровавые дни так глубоко потрясли общественное сознание, что все ожидали скорого и светлого исхода борьбы: казалось, что худшее уже совершилось, что ничего еще худшего не может быть. Никто не представлял себе, до какой степени цепки костлявые руки мертвеца, который давил и еще продолжает давить живого в своих судорожных объятиях.

Боевое возбуждение стремительно разливалось в массах. Души людей беззаветно раскрывались навстречу будущему; настоящее расплывалось в розовом тумане, прошлое уходило куда-то вдаль, исчезая из глаз. Все человеческие отношения стали неустойчивы и непрочны, как никогда раньше.

В эти дни произошло то, что перевернуло мою жизнь и вырвало меня из потока народной борьбы.

Я был, несмотря на свои двадцать семь лет, одним из «старых» работников партии. За мною числились шесть лет работы, с перерывом всего на год тюрьмы. Я раньше, чем многие другие, почувствовал приближение бури и спокойнее, чем они, ее встретил. Работать приходилось гораздо больше прежнего; но я вместе с тем не бросал ни своих научных занятий — меня особенно интересовал вопрос о строении материи,— ни литературных: я писал в детских журналах, и это давало мне сред-

содержит в себе сообщение о смерти Ораса Дивиля и призыв восстановить убежище в Ратуше. Правда, найден еще листок, помеченный августом, но содержание его таково, что необходимо признать его автора (который, вероятно, лично и набирал свой бред) решительно невменяемым. В Ратуше открыт дневник Ораса Дивиля, дающий последовательную летопись событий за три недели, от 28 июня по 20 июля. По страшным находкам на улицах и внутри домов можно составить себе яркое представление о неистовствах, совершавшихся в городе за последние дни. Всюду страшно изуродованные трупы: люди, умершие голодной смертью, люди, задушенные и замученные, люди, убитые безумцами в припадке исступления, и, наконец, полуобглоданные тела. Трупы находят в самых неожиданных местах: в тоннелях метрополитена, в канализационных трубах, в разных чуланах, в котлах — везде потерявшие рассудок жители искали спасения от окружающего ужаса. Внутренности почти всех домов разгромлены, и добро, оказавшееся ненужным грабителям, запрятано в потайные комнаты и подземные помещения.

Несомненно, пройдет еще несколько месяцев, прежде чем Звездный город станет вновь обитаемым. Теперь же он почти пуст. В городе, который может вместить до 3 000 000 жителей, живет около 30 000 рабочих, занятых расчисткой улиц и домов. Впрочем, прибыли и некоторые из прежних жителей, чтобы разыскивать тела близких и собирать остатки истребленного и расхищенного имущества. Приехало и несколько туристов, привлеченных исключительным зрелищем опустошенного города. Два предпринимателя уже открыли две гостиницы, торгующие довольно бойко. В скором времени открывается и небольшой кафешантан, труппа для которого уже собрана.

«Северо-Европейский Вечерний Вестник», в свою очередь, отправил в город нового корреспондента, г. Андрю Эвальда, и намерен в подробных сообщениях знакомить своих читателей со всеми новыми открытиями, которые будут сделаны в несчастной столице Республики Южного Креста.

[*1904—1905*]

Часть I

1. *Разрыв*

Это было тогда, когда только начиналась та великая ломка в нашей стране, которая идет еще до сих пор и, я думаю, близится теперь к своему неизбежному грозному концу.

Ее первые, кровавые дни так глубоко потрясли общественное сознание, что все ожидали скорого и светлого исхода борьбы: казалось, что худшее уже совершилось, что ничего еще худшего не может быть. Никто не представлял себе, до какой степени цепки костлявые руки мертвеца, который давил и еще продолжает давить живого в своих судорожных объятиях.

Боевое возбуждение стремительно разливалось в массах. Души людей беззаветно раскрывались навстречу будущему; настоящее расплывалось в розовом тумане, прошлое уходило куда-то вдаль, исчезая из глаз. Все человеческие отношения стали неустойчивы и непрочны, как никогда раньше.

В эти дни произошло то, что перевернуло мою жизнь и вырвало меня из потока народной борьбы.

Я был, несмотря на свои двадцать семь лет, одним из «старых» работников партии. За мною числились шесть лет работы, с перерывом всего на год тюрьмы. Я раньше, чем многие другие, почувствовал приближение бури и спокойнее, чем они, ее встретил. Работать приходилось гораздо больше прежнего; но я вместе с тем не бросал ни своих научных занятий — меня особенно интересовал вопрос о строении материи,— ни литературных: я писал в детских журналах, и это давало мне сред-

ства к жизни. В то же время я любил... или мне казалось, что любил.

Ее партийное имя было Анна Николаевна.

Она принадлежала к другому, более умеренному течению нашей партии. Я объяснял это мягкостью ее натуры и общей путаницей политических отношений в нашей стране; несмотря на то, что она была старше меня, я считал ее еще не вполне определившимся человеком. В этом я ошибался...

И все же я не предвидел и не предполагал неизбежности разрыва,— когда в нашу жизнь проникло постороннее влияние, которое ускорило развязку.

Около этого времени в столицу приехал молодой человек, носивший необычайное у нас конспиративное имя Мэнни. Он привез с Юга некоторые сообщения и поручения, по которым можно было видеть, что он пользуется полным доверием товарищей. Выполнивши свое дело, он еще на некоторое время решил остаться в столице и стал нередко заходить к нам, обнаруживая явную склонность ближе сойтись со мною.

Это был человек оригинальный во многом, начиная с наружности. Его глаза были настолько замаскированы очень темными очками, что я не знал даже их цвета; его голова была несколько непропорционально велика; черты его лица, красивые, но удивительно неподвижные и безжизненные, совершенно не гармонировали с его мягким и выразительным голосом так же, как и с его стройной, юношески гибкой фигурой. Его речь была свободной и плавной и всегда полной содержания. Его научное образование было очень односторонне; по специальности он был, по-видимому, инженер.

В беседе Мэнни имел склонность постоянно сводить частные и практические вопросы к общим идейным основаниям. Когда он бывал у нас, выходило всегда както так, что противоречия натур и взглядов у меня с женой очень скоро выступали на первый план настолько отчетливо и ярко, что мы начинали мучительно чувствовать их безысходность. Мировоззрение Мэнни было, по-видимому, сходно с моим; он всегда высказывался очень мягко и осторожно по форме, но столь же резко и глубоко по существу. Наши политические разногласия с Анной Николаевной он умел так искусно

связывать с основным различием наших мировоззрений, что эти разногласия казались психологически неизбежными, почти логическими выводами из них, и исчезала всякая надежда повлиять друг на друга, сгладить противоречия и прийти к чему-нибудь общему. Анна Николаевна питала к Мэнни нечто вроде ненависти, соединенной с живым интересом. Мне он внушал большое уважение и смутное недоверие: я чувствовал, что он идет к какой-то цели, но не мог понять к какой.

В один из январских дней — это было уже в конце января — предстояло обсуждение в руководящих группах обоих течений партии проекта массовой демонстрации с вероятным исходом в вооруженное столкновение. Накануне вечером пришел к нам Мэнни и поднял вопрос об участии в этой демонстрации, если она будет решена, самих партийных руководителей. Завязался спор, который быстро принял жгучий характер.

Анна Николаевна заявила, что всякий, кто подает голос за демонстрацию, нравственно обязан идти в первых рядах. Я находил, что это вообще вовсе не обязательно, а идти следует тому, кто там необходим или кто может быть серьезно полезен, причем имел в виду именно себя, как человека с некоторым опытом в подобных делах. Мэнни пошел дальше и утверждал, что ввиду, очевидно, неизбежного столкновения с войсками, на поле действия должны находиться уличные агитаторы и боевые организаторы, политическим же руководителям там совсем не место, а люди физически слабые и нервные могут быть даже очень вредны. Анна Николаевна была прямо оскорблена этими рассуждениями, которые ей казались направленными специально против нее. Она оборвала разговор и ушла в свою комнату. Скоро ушел и Мэнни.

На другой день мне пришлось встать рано утром и уйти, не повидавшись с Анной Николаевной, а вернуться уже вечером. Демонстрация была отклонена и в нашем комитете, и, как я узнал, в руководящем коллективе другого течения. Я был этим доволен, потому что знал, насколько недостаточна подготовка для вооруженного конфликта, и считал такое выступление бесплодной растратой сил. Мне казалось, что это ре-

шение несколько ослабит остроту раздражения Анны Николаевны из-за вчерашнего разговора. На столе у себя я нашел записку от Анны Николаевны:

«Я уезжаю. Чем больше я понимаю себя и вас, тем более для меня становится ясно, что мы идем разными путями и что мы оба ошиблись. Лучше нам больше не встречаться. Простите».

Я долго бродил по улицам, утомленный, с чувством пустоты в голове и холода в сердце. Когда я вернулся домой, то застал там неожиданного гостя: у моего стола сидел Мэнни и писал записку.

II. *Приглашение*

Мне надо переговорить с вами по одному очень серьезному и несколько странному делу,— сказал Мэнни.

Мне было все равно; я сел и приготовился слушать.

— Я читал вашу брошюру об электронах и материи,— начал он.— Я сам несколько лет изучал этот вопрос и полагаю, что в вашей брошюре много верных мыслей.

Я молча поклонился. Он продолжал:

— В этой работе у вас есть одно особенно интересное для меня замечание. Вы высказали там предположение, что электрическая теория материи, необходимо представляя силу тяготения в виде какого-то производного от электрических сил притяжения и отталкивания, должна привести к открытию тяготения с другим знаком, то есть к получению такого типа материи, который отталкивается, а не притягивается Землей, Солнцем и другими знакомыми нам телами; вы указывали для сравнения на диамагнитное отталкивание тел и на отталкивание параллельных токов разного направления. Все это сказано мимоходом, но я думаю, что сами вы придавали этому большее значение, чем хотели обнаружить.

— Вы правы,— ответил я,— и я думаю, что именно на таком пути человечество решит как задачу вполне свободного воздушного передвижения, так затем и задачу сообщения между планетами. Но верна ли сама по себе эта идея, или нет, она совершенно бесплодна до тех пор, пока нет точной теории материи и тяготе-

ния. Если другой тип материи и существует, то просто найти его, очевидно, нельзя: силою отталкивания он давно уже устранен из всей Солнечной системы, а еще вернее — он не вошел в ее состав, когда она начинала организовываться в виде туманности. Значит, этот тип материи надо еще теоретически конструировать и затем практически воспроизвести. Теперь же для этого нет данных и можно, в сущности, только предчувствовать самую задачу.

— И тем не менее эта задача уже разрешена,— сказал Мэнни.

Я взглянул на него с изумлением. Лицо его было все так же неподвижно, но в его тоне было что-то такое, что не позволяло считать его за шарлатана.

«Может быть, душевнобольной»,— мелькнуло у меня в голове.

— Мне нет надобности обманывать вас, и я хорошо знаю, что говорю,— отвечал он на мою мысль.— Выслушайте меня терпеливо, а затем, если надо, я представлю доказательства.— И он рассказал следующее: — Великое открытие, о котором идет речь, не было совершено силами отдельной личности. Оно принадлежит целому научному обществу, существующему довольно давно и долго работавшему в этом направлении. Общество это было до сих пор тайным, и я не уполномочен знакомить вас ближе с его происхождением и историей, пока нам не удастся столковаться в главном.

Общество наше значительно опередило академический мир во многих важных вопросах науки. Радиирующие элементы и их распределение были известны нам гораздо раньше Кюри и Рамсая, и нашим товарищам удалось гораздо дальше и глубже провести анализ строения материи. На этом пути была предусмотрена возможность существования элементов, отталкиваемых земными телами, а затем выполнен синтез этой «минус-материи», как мы ее кратко обозначаем.

После этого было уже нетрудно разработать и осуществить технические применения этого открытия — сначала летательные аппараты для передвижения в земной атмосфере, а потом и для сообщения с другими планетами.

Несмотря на спокойно-убедительный тон Мэнни, его рассказ казался мне слишком странным и неправдоподобным.

— И вы сумели все это выполнить и сохранить в тайне? — заметил я, прерывая его речь.

— Да, потому что мы считали это в высшей степени важным. Мы находили, что было бы очень опасно опубликовать наши научные открытия, пока в большинстве стран остаются реакционные правительства. И вы, русский революционер, более чем кто-либо должны с нами согласиться. Посмотрите, как ваше азиатское государство пользуется европейскими способами сообщения и средствами истребления, чтобы подавлять и искоренять все, что есть у вас живого и прогрессивного. Многим ли лучше правительство той полуфеодальной, полуконституционной страны, трон которой занимает воинственно-болтливый глупец, управляемый знатными мошенниками? И чего стоят даже две мещанские республики Европы? А между тем ясно, что если бы наши летательные машины стали известны, то правительства прежде всего позаботились бы захватить их в свою монополию и использовать для усиления власти и могущества высших классов. Этого мы решительно не желаем и поэтому оставляем монополию за собой, выжидая более подходящих условий.

— И вам в самом деле уже удалось достигнуть других планет? — спросил я.

— Да, двух ближайших, теллурических планет, Венеры и Марса, не считая, конечно, мертвой Луны. Именно теперь мы заняты их подробным исследованием. У нас есть все необходимые средства, нам нужны люди сильные и надежные. По полномочию от моих товарищей я предлагаю вам вступить в наши ряды,— разумеется, со всеми вытекающими из этого правами и обязательствами.

Он остановился, ожидая ответа. Я не знал, что думать.

— Доказательства! — сказал я.— Вы обещали представить доказательства.

Мэнни вынул из кармана стеклянный флакон с какой-то металлической жидкостью, которую я принял за ртуть. Но странным образом эта жидкость, наполнявшая не больше трети флакона, находилась не на дне

сго, а в верхней части, около горлышка, и в горлышке до самой пробки. Мэнни перевернул флакон, и жидкость перелилась ко дну, то есть прямо вверх. Мэнни выпустил склянку из рук, и она повисла в воздухе. Это было невероятно, но несомненно и очевидно.

— Флакон этот из обыкновенного стекла,— пояснил Мэнни,— а налита в него жидкость, которая отталкивается телами Солнечной системы. Жидкости налито ровно столько, чтобы уравновесить тяжесть флакона; таким образом, то и другое вместе не имеет веса. По этому способу мы устраиваем и все летательные аппараты: они делаются из обыкновенных материалов, но заключают в себе резервуар, наполненный достаточным количеством «материи отрицательного типа». Затем остается дать всей этой невесомой системе надлежащую скорость движения. Для земных летательных машин применяются простые электрические двигатели с воздушным винтом; для междупланетного передвижения этот способ, конечно, не годен, и тут мы пользуемся совершенно иным методом, с которым впоследствии я могу познакомить вас ближе.

Сомневаться больше не приходилось.

— Какие же ограничения налагает ваше общество на вступающих в него, кроме, разумеется, обязательной тайны?

— Да вообще-то почти никаких. Ни личная жизнь, ни общественная деятельность товарищей ничем не стеснены, лишь бы не вредили деятельности общества в целом. Но каждый должен при самом своем вступлении исполнить какое-либо важное и ответственное поручение общества. Этим способом, с одной стороны, укрепляется его связь с обществом, с другой — выясняется на деле уровень его способностей и энергии.

— Значит, и мне будет теперь же предложено такое поручение?

— Да.

— Какое именно?

— Вы должны принять участие в отправляющейся завтра экспедиции большого этеронефа на планету Марс.

— Насколько продолжительна будет экспедиция?

— Это неизвестно. Одна дорога туда и обратно требует не менее пяти месяцев. Можно и совсем не вернуться.

— Это-то я понимаю; не в том дело. Но как мне быть с моей революционной работой? Вы сами, повидимому, социал-демократ и поймете мое затруднение.

— Выбирайте. Мы считаем перерыв в работе необходимым для завершения вашей подготовки. Поручение не может быть отложено. Отказ от него есть отказ от всего.

Я задумался. С выступлением на сцену широких масс устранение того или иного работника — факт совершенно ничтожный по своему значению для дела в его целом. К тому же это устранение временное, и, вернувшись к работе, я буду гораздо более полезен ей со своими новыми связями, знаниями и средствами. Я решился.

— Когда же я должен отправляться?

— Сейчас, со мною.

— Вы дадите мне два часа, чтобы известить товарищей? Меня надо завтра же заменить в районе.

— Это почти сделано. Сегодня приехал Андрей, бежавший с Юга. Я предупредил его, что вы можете уехать, и он готов занять ваше место. Дожидаясь вас, я написал ему на случай письмо с подробными указаниями. Мы можем завезти ему это письмо по дороге.

Больше толковать было не о чем. Я быстро уничтожил лишние бумаги, написал записку хозяйке и стал одеваться. Мэнни был уже готов.

— Итак, идем. С этой минуты я — ваш пленник.

— Вы — мой товарищ! — ответил Мэнни.

III. *Ночь*

Квартира Мэнни занимала весь пятый этаж большого дома, обособленно возвышавшегося среди маленьких домиков одной из окраин столицы. Нас никто не встретил. В комнатах, по которым мы шли, было пусто, и при ярком свете электрических лампочек пустота эта казалась особенно мрачной и неестественной. В третьей комнате Мэнни остановился.

— Вот здесь,—он указал на дверь четвертой комнаты,— находится воздушная лодочка, в которой мы сейчас поедем к большому этеронефу. Но раньше я должен подвергнуться маленькому превращению. В этой маске мне трудно было бы управлять гондолой.

Он расстегнул воротничок и снял с себя вместе с очками ту удивительно сделанную маску, которую я, как и все другие, принимал до этого момента за его лицо. Я был поражен тем, что увидел при этом. Его глаза были чудовищно громадны, какими никогда не бывают человеческие глаза. Их зрачки были расширены даже по сравнению с этой неестественной величиной самих глаз, что делало их выражение почти страшным. Верхняя часть лица и головы была настолько широка, насколько это было неизбежно для помещения таких глаз; напротив, нижняя часть лица, без всяких признаков бороды и усов, была сравнительно мала. Все вместе производило впечатление крайней оригинальности, пожалуй, уродства, но не карикатуры.

— Вы видите, какой наружностью наделила меня природа,—сказал Мэнни.— Вы понимаете, что я должен скрывать ее, хотя бы ради того, чтобы не пугать людей, не говоря уже о требованиях конспирации. Но вам уж придется привыкать к моему безобразию, вы по необходимости будете проводить много времени со мною.

Он отворил дверь следующей комнаты и осветил ее. Это была обширная зала. Посередине ее лежала небольшая, довольно широкая лодочка, сделанная из металла и стекла. В ее передней части и борта и дно были стеклянные, со стальными переплетами; эта прозрачная стенка в два сантиметра толщиной была, очевидно, очень прочна. Над носовыми бортами две плоские хрустальные пластинки, соединенные под острым углом, должны были разрезывать воздух и охранять пассажиров от ветра при быстром движении. Машина занимала среднюю часть лодочки, винт с тремя лопастями в полметра ширины находился в кормовой части. Передняя половина лодочки вместе с машиной была прикрыта сверху тонким пластинчатым навесом, прикрепленным к металлической оковке стеклянных бортов и к легким стальным колонкам. Все вместе было изящно как игрушка.

Мэнни предложил мне сесть на боковую скамеечку гондолы, погасил электрический свет и раскрыл огромное окно залы. Сам он сел спереди возле машины и выбросил несколько мешков балласта, лежавших на дне лодки. Затем он положил руку на рычаг машины. Лодка заколебалась, медленно поднялась и тихо проскользнула в открытое окно.

— Благодаря минус-материи для наших аэропланов не требуется ломких и неуклюжих крыльев,— заметил Мэнни.

Я сидел как прикованный, не решаясь пошевелиться. Шум винта становился все слышнее, холодный зимний воздух врывался под навес, приятно освежая мое горевшее лицо, но бессильный проникнуть под мое платье. Над нами сверкали, переливаясь, тысячи звезд, а внизу... Я видел через прозрачное дно гондолы, как уменьшались черные пятна домов и уходили вдаль яркие точки электрических фонарей столицы, и снежные равнины светились далеко под нами тусклым синевато-белым светом. Головокружение, сначала легкое и почти приятное, становилось все сильнее, и я закрыл глаза, чтобы избавиться от него.

Воздух становился все резче, шум винта и свист ветра все выше — очевидно, быстрота движения возрастала. Скоро среди этих звуков мое ухо стало различать тонкий, непрерывный и очень ровный серебристый звон — это дрожала, разбивая воздух, стеклянная стенка гондолы. Странная музыка заполняла сознание, мысли путались и уходили, оставалось только чувство стихийно-легкого и свободного движения, уносящего куда-то вперед и вперед, в бесконечное пространство.

— Четыре километра в минуту,— сказал Мэнни, и я открыл глаза.

— Это еще далеко? — спросил я.

— Около часу пути, на льду одного озера.

Мы находились на высоте нескольких сот метров, и лодка летела горизонтально, не опускаясь и не поднимаясь. Мои глаза привыкали к темноте, и я видел все яснее. Мы вступили в страну озер и гранитных скал. Эти скалы чернели местами, свободные от снега. Между ними кой-где лепились деревушки.

Налево позади нас оставалось вдали снежное поле замерзшего залива, справа — белые равнины громадного озера. На этом безжизненном зимнем ландшафте мне предстояло порвать свои связи со старой землею. И вдруг я почувствовал — не сомнение, нет, настоящую уверенность, что это — разрыв навсегда...

Гондола медленно опустилась между скалами, в небольшой бухте горного озера, перед темным сооружением, возвышавшимся на снегу. Ни окон, ни дверей не было видно. Часть металлической оболочки сооружения медленно сдвинулась в сторону, открывая черное отверстие, в которое и вплыла наша лодка. Затем отверстие снова закрылось, а пространство, где мы находились, осветилось электрическим светом. Это была большая удлиненная комната без мебели; на полу ее лежала масса мешков с балластом.

Мэнни прикрепил гондолу к специально предназначенным для этого колонкам и отворил одну из боковых дверей. Она вела в длинный полуосвещенный коридор. По сторонам его были расположены, повидимому, каюты. Мэнни привел меня в одну из них и сказал:

— Вот ваша каюта. Устраивайтесь сами, а я пойду в машинное отделение. Увидимся завтра утром.

Я был рад остаться один. Сквозь все возбуждение, вызванное странными событиями вечера, утомление давало себя знать, я не прикоснулся к приготовленному для меня на столе ужину и, погасив лампочку, лег в постель. Мысли нелепо перемешивались в голове, переходя от предмета к предмету самым неожиданным образом. Я упорно заставлял себя заснуть, но это мне долго не удавалось. Наконец сознание стало неясным; смутные, неустойчивые образы начали толпиться перед глазами, окружающее ушло куда-то далеко, и тяжелые грезы овладели моим мозгом.

Цепь снов закончилась ужасным кошмаром. Я стоял на краю громадной черной пропасти, на дне которой сияли звезды, и Мэнни с непреодолимой силой увлекал меня вниз, говоря, что не стоит бояться силы тяжести и что через несколько сот тысяч лет падения мы достигнем ближайшей звезды. Я застонал в мучительной последней борьбе и проснулся.

Нежный голубой свет наполнял мою комнату. Около меня сидел на постели и наклонялся ко мне... Мэнни? Да, он, но призрачно-странный и как будто другой: мне казалось, что он стал гораздо меньше, и глаза его не так резко выступали на лице, у него было мягкое, доброе выражение, а не холодное и непреклонное, как только что на краю бездны...

— Какой вы хороший...— произнес я, смутно сознавая эту перемену.

Он улыбнулся и положил руку мне на лоб. Это была маленькая мягкая рука. Я снова закрыл глаза и с нелепой мыслью о том, что надо поцеловать эту руку, забылся в спокойном, блаженном сне.

IV. *Объяснение*

Когда я проснулся и осветил комнату, часы показывали десять. Окончив свой туалет, я нажал кнопку звонка, и через минуту в комнату вошел Мэнни.

— Мы скоро отправимся? — спросил я.

— Через час,— ответил Мэнни.

— Вы заходили ко мне сегодня ночью или мне только приснилось?

— Нет, это не был сон; но приходил не я, а наш молодой доктор, Пэтти. Вы плохо и тревожно спали, он должен был усыпить вас посредством голубого света и внушения.

— Он ваш брат?

— Нет,— улыбаясь, сказал Мэнни.

— Вы до сих пор не сказали мне, какой вы национальности... Ваши остальные товарищи принадлежат к тому же типу, что и вы?

— Да,— ответил Мэнни.

— Значит, вы меня обманули,— резко заявил я.— Это не научное общество, а нечто другое?

— Да,— спокойно сказал Мэнни.— Все мы — жители другой планеты, представители другого человечества. Мы — марсиане.

— Зачем же вы меня обманули?

— А вы стали бы меня слушать, если бы я сразу сказал вам всю правду? У меня было слишком мало времени, чтобы убедить вас. Пришлось исказить исти-

ну ради правдоподобия. Без этой переходной ступени ваше сознание было бы чрезмерно потрясено. В главном же я сказал правду — в том, что касается предстоящего путешествия.

— Значит, я все-таки ваш пленник?

— Нет, вы и теперь свободны. У вас еще час времени, чтобы решить вопрос. Если вы откажетесь за это время, мы отвезем вас обратно, а путешествие отложим, потому что нам одним теперь возвращаться нет смысла.

— Зачем же я вам нужен?

— Чтобы послужить живой связью между нашим и земным человечеством, чтобы ознакомиться с нашим строем жизни и ближе ознакомить марсиан с земным, чтобы быть — пока вы этого пожелаете — представителем своей планеты в нашем мире.

— Это уже вполне правда?

— Да, вполне, если вы окажетесь в силах выполнить эту роль.

— В таком случае надо попытаться. Я остаюсь с вами.

— Это ваше окончательное решение? — спросил Мэнни.

— Да, если и последнее ваше объяснение не представляет какой-нибудь... переходной ступени.

— Итак, мы едем,— сказал Мэнни, оставляя без внимания мою колкость.— Сейчас я пойду сделать последние указания машинисту, а потом вернусь к вам, и мы пойдем вместе наблюдать отплытие этеронефа.

Он ушел, а я предался размышлениям. Наше объяснение, в сущности, не было вполне закончено. Оставался еще один вопрос, и довольно серьезный; но я не решился предложить его Мэнни. Сознательно ли содействовал он моему разрыву с Анной Николаевной? Мне казалось, что да. Вероятно, он видел в ней препятствие для своей цели. Может быть, он был прав. Во всяком случае, он мог только ускорить этот разрыв, а не создать его. Конечно, и это было дерзким вмешательством в мои личные дела. Но теперь я уже был связан с Мэнни и все равно должен был подавлять свою враждебность к нему. Значит, незачем было и трогать прошлое, лучше всего было и не думать об этом вопросе.

В общем, новый оборот дела не слишком меня поразил: сон подкрепил мои силы, а удивить меня чем-нибудь после всего пережитого накануне было уже довольно трудно. Надо было только выработать план дальнейших действий.

Задача состояла, очевидно, в том, чтобы как можно скорее и полнее ориентироваться в своей новой обстановке. Самое лучшее было — начинать с ближайшего и переходить шаг за шагом к более отдаленному. Ближайшим же являлось — этеронеф, его обитатели и начинающееся путешествие. Марс был еще далеко: самое меньшее на два месяца расстояния, как можно было заключить из вчерашних слов Мэнни.

Наружную форму этеронефа я успел заметить еще накануне: это был почти шар со сглаженным сегментом внизу, на манер поставленного колумбова яйца,— форма, рассчитанная, конечно, на то, чтобы получался наибольший объем при наименьшей поверхности, то есть наименьшей затрате материала и наименьшей площади охлаждения. Что касается материала, то преобладали, по-видимому, алюминий и стекло. Внутреннее устройство мне должен был показать и объяснить Мэнни, он же должен был познакомить меня со всеми остальными «чудовищами», как я мысленно называл моих новых товарищей.

Вернувшись, Мэнни повел меня к остальным марсианам. Все собрались в боковой зале с громадным хрустальным окном в половину стены. Настоящий солнечный свет был очень приятен после призрачного света электрических лампочек. Марсиан было человек двадцать, и все были, как мне тогда показалось, на одно лицо. Отсутствие бороды, усов, а также и морщин на их лицах почти сглаживало у них даже разницу возраста. Я невольно следил глазами за Мэнни, чтобы не потерять его среди этой чуждой мне компании. Впрочем, я скоро стал различать между ними моего посетителя, Нэтти, выделявшегося своей молодостью и живостью, а также широкоплечего гиганта Стэрни, поражавшего меня каким-то странно холодным, почти зловещим выражением лица. Кроме самого Мэнни, один Нэтти говорил со мною по-русски, Стэрни и еще три-четыре человека — по-французски, другие — по-английски и по-немецки, между собою же они говорили

на каком-то совершенно новом для меня — очевидно, своем родном языке. Язык этот был звучен и красив и, как я с удовольствием заметил, не представлял, по-видимому, никаких особенных трудностей в произношении.

V. *Отплытие*

Как ни интересны были «чудовища», но главное мое внимание было невольно устремлено к приближающемуся торжественному моменту «отплытия». Я пристально смотрел на снежную поверхность, находившуюся перед нами, и на отвесную гранитную стену, поднимавшуюся за нею. Я ожидал, что вот-вот почувствую резкий толчок и все это быстро замелькает, удаляясь от нас. Но ничего подобного я не дождался.

Бесшумное, медленное, чуть заметное движение стало понемногу отделять нас от снежной площади. В течение нескольких секунд поднятие было едва заметно.

— Ускорение два сантиметра,— сказал Мэнни.

Я понял, что это значило. В первую секунду мы должны были пройти всего один сантиметр, во вторую три, в третью пять, в четвертую семь сантиметров; и скорость должна была все время изменяться, непрерывно возрастая по закону арифметической прогрессии. Через минуту мы должны были достигнуть скорости идущего человека, через 15 минут — курьерского поезда и т. д.

Мы двигались по закону падения тел, но падали вверх и в 500 раз медленнее, чем обыкновенные тяжелые тела, падающие близ поверхности Земли.

Стеклянная пластинка окна начиналась от самого пола и составляла с ним тупой угол, сообразно направлению шаровой поверхности этеронефа, частью которого она являлась. Благодаря этому мы могли, наклоняясь вперед, видеть и то, что было прямо под нами.

Земля все быстрее уходила из-под нас, и горизонт расширялся. Уменьшились темные пятна скал и деревушек, очертания озер вырисовывались как на плане.

А небо становилось все темнее; и в то самое время как синяя полоса незамерзшего моря заняла западную сторону горизонта, мои глаза уже стали различать наиболее яркие звезды при полуденном солнечном свете.

Очень медленное вращательное движение этеронефа вокруг его вертикальной оси позволило нам видеть все пространство вокруг.

Нам казалось, что горизонт поднимается вместе с нами, и земная площадь под нами представлялась громадным вогнутым блюдечком с рельефными украшениями. Их контуры становились мельче, рельеф все площе, весь ландшафт принимал все в большей мере характер географической карты, резко вычерченной в середине, расплывчато и неясно к ее краям, где все заволакивалось полупрозрачным синеватым туманом. А небо сделалось совсем черным, и бесчисленные звезды, вплоть до самых мелких, сияли на нем спокойным, немерцающим светом, не боясь яркого солнца, лучи которого стали жгучими до боли.

— Скажите, Мэнни, это ускорение в два сантиметра, с которым мы сейчас движемся, будет продолжаться все время путешествия?

— Да,— отвечал он,— только его направление будет около 50 километров в секунду, а средняя скорость — около 25 километров, но к моменту прибытия она станет так же мала, как была в самом начале пути, и мы без всякого толчка и сотрясения опустимся на поверхность Марса. Без этих огромных переменных скоростей мы бы не могли достигнуть ни Земли, ни Венеры, потому что даже их ближайшие расстояния — 60 и 100 миллионов километров — при скорости, например, ваших поездов удалось бы проехать только в течение столетий, а не месяцев, как это сделаем мы с вами. Что же касается способа «пушечного выстрела», о котором я читал в ваших фантастических романах, то это, конечно, простая шутка, потому что по законам механики практически одно и то же — находиться ли внутри ядра во время выстрела или получить ядро внутрь.

— А каким путем вы достигаете такого равномерного замедления и ускорения?

— Движущая сила этеронефа — это одно из радиирующих веществ, которое нам удается добывать в большом количестве. Мы нашли способ ускорять раз-

ложение его элементов в сотни тысяч раз; это делается в наших двигателях при помощи довольно простых электрохимических приемов. Таким образом освобождается громадное количество энергии. Частицы распадающихся атомов разлетаются, как вам известно, со скоростью, которая в десятки тысяч раз превосходит скорость артиллерийских снарядов. Когда эти частицы могут вылетать из этеронефа только по одному определенному направлению, то есть по одному каналу с непроницаемыми для них стенками, тогда весь этеронеф движется в противоположную сторону, как это бывает при отдаче ружья или откате орудия. По известному вам закону живых сил вы легко можете рассчитать, что незначительной части миллиграмма таких частиц в секунду вполне достаточно, чтобы дать нашему этеронефу его равномерно ускоренное движение.

Во время нашего разговора все марсиане исчезли из залы. Мэнни предложил мне идти позавтракать в его каюте. Я пошел с ним. Его каюта примыкала к стенке этеронефа, и в ней было большое хрустальное окно. Мы продолжали беседу. Я знал, что мне предстоят новые, неиспытанные ощущения в виде потери тяжести моего тела, и расспрашивал об этом Мэнни.

— Да,— сказал Мэнни,— хотя Солнце продолжает притягивать нас, но здесь это действие ничтожно. Влияние Земли тоже станет незаметно завтра-послезавтра. Только благодаря непрерывному ускорению этеронефа у нас будет сохраняться $^1/_{400}$—$^1/_{500}$ нашего прежнего веса. В первый раз привыкать к этому нелегко, хотя перемена происходит очень постепенно. Приобретая легкость, вы будете делать массу неправильно рассчитанных движений, ведущих мимо цели. Удовольствие летать по воздуху покажется вам весьма сомнительным. Что касается неизбежных при этом сердцебиений, головокружений и даже тошноты, то избавиться от них поможет вам Нэтти. Трудно будет также справляться с водою и другими жидкостями, которые будут при малейших толчках ускользать из сосудов и разбрасываться повсюду в виде огромных сферических капель. Но у нас все старательно приспособлено для устранения этих неудобств: мебель и посуда прикрепляются к месту, жидкости сохраняются закупоренны-

ми, всюду приделаны ручки и ремни для остановки невольных полетов при резких движениях. Вообще же вы привыкнете; времени для этого хватит.

Со времени отъезда прошло около двух часов, а уменьшение веса было уже довольно ощутительно, хотя пока еще очень приятно; тело становилось легче, движения свободнее, и ничего больше. Атмосферу мы успели вполне миновать, но это нас не беспокоило, так как в нашем герметически закрытом корабле имелся, конечно, достаточный запас кислорода. Видимая область земной поверхности стала окончательно похожа на географическую карту, правда, с перепутанным масштабом: более крупным в середине, более мелким к горизонту; кое-где ее закрывали еще белые пятна облаков. На юге, за Средиземным морем, север Африки и Аравии был довольно ясно виден сквозь синюю дымку; на севере, за Скандинавией, взгляд терялся в снежной и ледяной пустыне, только скалы Шпицбергена выделялись еще темным пятном. На востоке, за зеленовато-бурой полосой Урала, местами прорезанной снежными пятнами, начиналось опять сплошное царство белого цвета, кое-где только с зеленоватым отливом — слабым напоминанием о громадных хвойных лесах Сибири. На западе, за ясными контурами средней Европы, терялись в облаках очертания берегов Англии и северной Франции. Я не мог долго смотреть на эту гигантскую картину, так как мысль о страшной глубине бездны, над которой мы находились, быстро вызывала у меня чувство, близкое к обмороку. Я возобновил разговор с Мэнни.

— Вы капитан этого корабля, не так ли?

Мэнни утвердительно кивнул головою и заметил:

— Но это не значит, чтобы я обладал тем, что у вас называется властью начальника. Просто я наиболее опытен в деле управления этеронефом, и мои указания принимаются так же, как я принимаю астрономические вычисления, выполняемые Стэрни, или как все мы принимаем медицинские советы Нэтти для поддержания нашего здоровья и рабочей силы.

— А сколько лет этому доктору Нэтти? Он кажется мне очень уж молодым.

— Не помню, шестнадцать или семнадцать,— с улыбкой ответил Мэнни.

Приблизительно так мне и казалось. Но я не мог не удивляться такой ранней учености.

— И в этом возрасте быть уже врачом! — невольно вырвалось у меня.

— И прибавьте: знающим и опытным врачом,— дополнил Мэнни.

В то время я не сообразил, а Мэнни умышленно не напомнил этого, что годы марсиан почти вдвое длиннее наших: оборот Марса вокруг Солнца совершается в 686 наших дней, и 16 лет Нэтти равнялись 30 земным годам.

VI. *Этеронеф*

После завтрака Мэнни провел меня осматривать наш «корабль». Прежде всего мы направились в машинное отделение. Оно занимало нижний этаж этеронефа, примыкая прямо к его уплощенному дну, и делилось перегородками на пять комнат — одну центральную и четыре боковые. В середине центральной комнаты возвышалась движущая машина, а вокруг нее со всех четырех сторон были сделаны в полу круглые стеклянные окна, одно из чистого хрусталя, три из цветного стекла различной окраски; стекла были в три сантиметра толщиной, удивительно прозрачные. В данную минуту мы могли видеть через них только часть земной поверхности.

Основную часть машины составлял вертикальный металлический цилиндр трех метров вышины и полметра в диаметре, сделанный, как мне объяснил Мэнни, из осмия — очень тугоплавкого, благородного металла, родственного платине. В этом цилиндре происходило разложение радиирующей материи; накаленные докрасна 20-сантиметровой толщины стенки ясно свидетельствовали об энергии этого процесса. И, однако, в комнате не было слишком жарко: весь цилиндр был окружен вдвое более широким футляром из какого-то прозрачного вещества, прекрасно защищающего от жары; а вверху этот футляр соединен был с трубами, по которым нагретый воздух отводился из него во все стороны для равномерного «отопления» этеронефа.

Остальные части машины, связанные разными способами с цилиндром,— электрические катушки, аккумуляторы, указатели с циферблатами и т. п.,— были расположены вокруг в красивом порядке, и дежурный машинист благодаря системе зеркал видел все их сразу, не сходя со своего кресла.

Из боковых комнат одна была «астрономическая», справа и слева от нее находились «водяная» и «кислородная», а на противоположной стороне — «вычислительная». В астрономической комнате пол и наружная стенка были сплошь хрустальные, из геометрически отшлифованного стекла идеальной чистоты. Их прозрачность была такова, что когда я, идя вслед за Мэнни по воздушным мостикам, решился взглянуть прямо вниз, то я ничего не видел между собой и бездной, расстилавшейся под нами,— мне приходилось закрыть глаза, чтобы остановить мучительное головокружение. Я старался смотреть по сторонам на инструменты, которые были расположены в промежутках сети мостиков, на сложных штативах, спускавшихся с потолка и внутренних стен комнаты. Главный телескоп был около двух метров длины, но с непропорционально большим объективом и, очевидно, такой же оптической силой.

— Окуляры мы применяем только алмазные,— сказал Мэнни,— они дают наибольшее поле зрения.

— Насколько значительно обычное увеличение этого телескопа? — спросил я.

— Ясное увеличение около 600 раз,— отвечал Мэнни,— но когда оно недостаточно, мы фотографируем поле зрения и рассматриваем фотографию под микроскопом. Этим путем увеличение фактически доводится до 60 тысяч и более; а заземление с фотографированием не составляет у нас и минуты.

Мэнни предложил мне сейчас же взглянуть в телескоп на покинутую Землю. Он сам направил трубу.

— Расстояние теперь около двух тысяч километров,— сказал он.— Узнаете ли вы, что перед вами?

Я сразу узнал гавань скандинавской столицы, где нередко проезжал по делам партии. Мне было интересно рассмотреть пароходы на рейде. Мэнни одним поворотом боковой ручки, имевшейся при телескопе, поставил на место окуляра фотографическую камеру, а

через несколько секунд снял ее с телескопа и целиком перенес в большой аппарат, стоявший сбоку и оказавшийся микроскопом.

— Мы проявляем и закрепляем изображение тут же, в микроскопе, не прикасаясь к пластинке руками,— пояснил он и после нескольких незначительных операций, через какие-нибудь полминуты предоставил мне окуляр микроскопа. Я с поразительной ясностью увидел знакомый мне пароход Северного общества, как будто он находился в нескольких десятках шагов от меня; изображение в проходящем свете казалось рельефным и имело совершенно натуральную окраску. На мостике стоял седой капитан, с которым я не раз беседовал во время поездки. Матрос, опускавший на палубу большой ящик, как будто застыл в своей позе, так же как и пассажир, указывающий ему что-то рукою. И все это было за две тысячи километров...

Молодой марсианин, помощник Стэрни, вошел в комнату. Ему надо было произвести точное измерение пройденного этеронефом расстояния. Мы не хотели мешать ему в работе и прошли дальше, в «водяную» комнату. Там находился огромный резервуар с водой и большие аппараты для ее очищения. Множество труб проводили эту воду из резервуара по всему этеронефу.

Далее шла «вычислительная» комната. Там стояли непонятные для меня машины со множеством циферблатов и стрелок. За самой большой машиной работал Стэрни. Из нее тянулась длинная лента, заключавшая, очевидно, результаты вычислений Стэрни; но знаки на ней, как и на всех циферблатах, были мне незнакомы. Мне не хотелось мешать Стэрни и вообще разговаривать с ним. Мы быстро прошли в последнее боковое отделение.

Это была «кислородная» комната. В ней хранились запасы кислорода в виде 25 тонн бертолетовой соли, из которой можно было выделить по мере надобности 10 тысяч кубических метров кислорода; это количество достаточно для нескольких путешествий, подобных нашему. Тут же находились аппараты для разложения бертолетовой соли. Далее, там же хранились запасы барита и едкого кали для поглощения из воздуха углекислоты, а также запасы серного ангидрида для погло-

щения лишней влаги и летучего левкомаина — того физиологического яда, который выделяется при дыхании и который несравненно вреднее углекислоты. Этой комнатой заведовал доктор Нэтти.

Затем мы вернулись в центральное машинное отделение и из него в небольшом подъемнике переправились прямо в самый верхний этаж этеронефа. Там центральную комнату занимала вторая обсерватория, во всем подобная нижней, но только с хрустальной оболочкой вверху, а не внизу и с инструментами более крупных размеров. Из этой обсерватории видна была другая половина небесной сферы вместе с «планетой назначения». Марс сиял своим красноватым светом в стороне от зенита. Мэнни направил туда телескоп, и я отчетливо увидел знакомые мне по картам Скиапарелли очертания материков, морей и сети каналов. Мэнни фотографировал планету, и под микроскопом выступила детальная карта. Но я не мог ничего понять в ней без объяснений Мэнни: пятна городов, лесов и озер отличались одни от других неуловимыми и непонятными для меня частностями.

— Как велико расстояние? — спросил я.

— Сейчас сравнительно близкое — около ста миллионов километров.

— А почему Марс не в зените купола? Мы, значит, летим не прямо к нему, а в сторону?

— Да, и мы не можем иначе. Отправляясь с Земли, мы в силу инерции сохраняем, между прочим, скорость ее движения вокруг Солнца — 30 километров в секунду. Скорость же Марса всего 24 километра, и если бы летели по перпендикуляру между обеими орбитами, то мы ударились бы о поверхность Марса с остаточной боковой скоростью 6 километров в секунду. Это очень неудобно, и мы должны выбирать криволинейный путь, на котором уравновешивается и лишняя боковая скорость.

— Как же велик в таком случае весь наш путь?

— Около 160 миллионов километров, что потребует не менее двух с половиной месяцев.

Если бы я не был математиком, эти цифры ничего не говорили бы моему сердцу. Но теперь они вызывали во мне ощущение, близкое к кошмару, и я поспешил уйти из астрономической комнаты.

Шесть боковых отделений верхнего сегмента, окружавших кольцом обсерваторию, были совсем без окон, и их потолок, представлявший часть шаровой поверхности, наклонно опускался к самому полу. У потолка помещались большие резервуары «минус-материи», отталкивание которой должно было парализовать вес всего этеронефа.

Средние этажи — третий и второй — были заняты общими залами, лабораториями отдельных членов экспедиции, их каютами, ваннымн, библиотекой, гимнастической комнатой и т. д.

Каюта Нэтти находилась рядом с моею.

VII. *Люди*

Потеря тяжести все больше давала себя знать. Возраставшее чувство легкости перестало быть приятным. К нему присоединился элемент неуверенности и какого-то смутного беспокойства. Я ушел в свою комнату и лег на койку.

Часа два спокойного положения и усиленных размышлений привели к тому, что я незаметно заснул. Когда я проснулся, в моей комнате у стола сидел Нэтти. Я невольно резким движением поднялся с постели и, как будто подброшенный чем-то кверху, ударился головой о потолок.

— Когда весишь менее двадцати фунтов, то надо быть осторожнее,— добродушно-философским тоном заметил Нэтти.

Он пришел ко мне со специальной целью дать все необходимые указания на случай той «морской болезни», которая уже началась у меня от потери тяжести. В каюте имелся особый сигнальный звонок в его комнату, которым я мог его всегда вызвать, если бы еще потребовалась его помощь.

Я воспользовался случаем разговориться с юным доктором,— меня как-то невольно влекло к этому симпатичному, очень ученому, но и очень веселому мальчику. Я спросил его, почему случилось так, что из всей компании марсиан на этеронефе он один, кроме Мэнни, владеет моим родным языком.

— Это очень просто,— объяснил он.— Когда мы искали человека, то Мэнни выбрал себя и меня для вашей страны, и мы провели в ней больше года, пока нам не удалось покончить это дело с вами.

— Значит, другие «искали человека» в других странах?

— Конечно, среди всех главных народов Земли. Но, как Мэнни и предвидел, найти его всего скорее удалось в вашей стране, где жизнь идет наиболее энергично и ярко, где люди вынуждены все больше смотреть вперед. Найдя человека, мы известили остальных; они собрались изо всех стран; и вот мы едем.

— Что вы, собственно, подразумеваете, когда говорите: «искали человека», «нашли человека»? Я понимаю, что дело шло о субъекте, пригодном для известной роли,— Мэнни объяснил мне, какой именно. Мне очень лестно видеть, что выбрали меня, но я хотел бы знать, чему я этим обязан.

— В самых общих чертах я могу сказать вам это. Нам нужен был человек, в натуре которого совмещалось бы как можно больше здоровья и гибкости, как можно больше способности к разумному труду, как можно меньше чисто личных привязанностей на Земле, как можно меньше индивидуализма. Наши физиологи и психологи полагали, что переход от условий жизни вашего общества, резко раздробленного вечной внутренней борьбой, к условиям нашего, организованного, как вы сказали, социалистически,— что переход этот очень тяжел и труден для отдельного человека и требует особенно благоприятной организации. Мэнни нашел, что вы подходите больше других.

— И мнения Мэнни было для всех вас достаточно?

— Да, мы вполне доверяем его оценке. Он — человек выдающейся силы и ясности ума и ошибается очень редко. Он имеет больше опыта в сношениях с земными людьми, чем кто-либо из нас; он первый начал эти сношения.

— А кто открыл самый способ сообщения между планетами?

— Это дело многих, а не одного. «Минус-материя» была добыта уже несколько десятков лет тому назад. Но вначале ее удавалось получать только в ничтожных количествах, и понадобились усилия очень многих

фабричных коллегий, чтобы найти и развить способы ее производства в больших размерах. Затем понадобилось усовершенствовать технику добывания и разложения радиирующих материй, чтобы иметь подходящий двигатель для этеронефов. Это также требовало массы усилий. Далее, много трудностей вытекало из самих условий межпланетной среды, с ее страшным холодом и жгучими солнечными лучами, не смягченными воздушной оболочкой. Вычисление пути оказалось тоже делом нелегким и подверженным таким погрешностям, которых не предвидели раньше. Словом, прежние экспедиции на Землю оканчивались гибелью всех участников, пока Мэнни не удалось организовать первую успешную экспедицию. А теперь, пользуясь его методами, мы проникли недавно и на Венеру.

— Но если так, то Мэнни настоящий великий человек,— сказал я.

— Да, если вам нравится так называть человека, который действительно много и хорошо работал.

— Я хотел сказать не это: работать много и хорошо могут и вполне обыкновенные люди, люди-исполнители. Мэнни же, очевидно, совсем иное: он гений, человек-творец, создающий новое и ведущий вперед человечество.

— Это все неясно и, кажется, неверно. Творец — каждый работник, но в каждом работнике творит человечество и природа. Разве в руках Мэнни не находится весь опыт предыдущих поколений и современных ему исследователей и разве не исходил из этого опыта каждый шаг его работы? И разве не природа предоставила ему все элементы и все зародыши его комбинации? И разве не из самой борьбы человечества с природой возникли все живые стимулы этих комбинаций? Человек — личность, но дело его безлично. Рано или поздно он умирает с его радостями и страданиями, а оно остается в беспредельно растущей жизни. В этом нет разницы между работниками; неодинакова только величина того, что они пережили, и того, что остается в жизни.

— Но ведь, например, имя такого человека, как Мэнни, не умирает же вместе с ним, а остается в памяти человечества, тогда как бесчисленные имена других исчезают бесследно.

— Имя каждого сохраняется до тех пор, пока живы те, кто жил с ним и знает его. Но человечеству не нужен мертвый символ личности, когда ее уже нет. Наша наука и наше искусство безлично хранят то, что сделано общей работой. Балласт имен прошлого бесполезен для памяти человечества.

— Вы, пожалуй, и правы; но чувство нашего мира возмущается против этой логики. Для нас имена вождей мысли и дела — живые символы, без которых не может обойтись ни наша наука, ни наше искусство, ни вся наша общественная жизнь. Часто в борьбе сил и в борьбе идей имя на знамени говорит больше, чем отвлеченный лозунг. И имена гениев не балласт для нашей памяти.

— Это оттого, что единое дело человечества для вас все еще не единое дело; в иллюзиях, порождаемых борьбой между людьми, оно дробится и кажется делом людей, а не человечества. Мне тоже было трудно понять вашу точку зрения, как вам нашу.

— Итак, хорошо это или плохо, но бессмертных нет в нашей компании. Зато смертные здесь, вероятно, все из самых отборных — не так ли? — из тех, которые «много и хорошо работали», как вы выражаетесь?

— Вообще да. Мэнни подбирал товарищей из числа многих тысяч, выразивших желание отправиться с ним.

— А самый крупный после него это, может быть, Стэрни?

— Да, если уж вам упорно хочется измерять и сравнивать людей. Стэрни — выдающийся ученый, хотя и совершенно в другом роде, чем Мэнни. Он математик, каких очень мало. Он раскрыл целый ряд погрешностей в тех вычислениях, по которым устраивались все прежние экспедиции на Землю, и показал, что некоторые из этих погрешностей сами по себе уже были достаточны для гибели дела и работников. Он нашел новые методы для таких вычислений, и до сих пор результаты, полученные им, оказались непогрешимыми.

— Я так его себе и представлял на основании слов Мэнни и первых впечатлений. А между тем я сам не понимаю, почему его вид вызывает во мне какое-то тревожное чувство, какое-то неопределенное беспокой-

ство, нечто вроде беспричинной антипатии. Не найдется ли у вас, доктор, какого-нибудь объяснения для этого?

— Видите ли, Стэрни — очень сильный, но холодный, главным образом аналитический ум. Он все разлагает, неумолимо и последовательно, и выводы его часто односторонни, иногда чрезмерно суровы, потому что анализ частей дает ведь не целое, а меньше целого: вы знаете, что везде, где есть жизнь, целое бывает больше суммы своих частей, как живое человеческое тело больше, чем груды его членов. Вследствие этого Стэрни меньше прочих может входить в настроения и мысли других людей. Он вам всегда охотно поможет в том, с чем вы сами к нему обратитесь, но он никогда не угадает за вас, что вам нужно. Этому мешает, конечно, и то, что его внимание почти всегда поглощено его работой, его голова постоянно полна какой-нибудь трудной задачей. В этом он непохож на Мэнни: тот всегда все видит вокруг и не раз умел объяснить даже мне самому, чего мне хочется, что меня беспокоит, чего ищет мой ум или мое чувство.

— Если все это так, то Стэрни, должно быть, к нам, земным людям, полным противоречий и недостатков, относится довольно враждебно?

— Враждебно? Нет; ему это чувство чуждо. Но скептицизма у него, я думаю, больше, чем следует. Он пробыл во Франции всего полгода и телеграфировал Мэнни: «Здесь искать нечего». Может быть, он был отчасти прав, потому что и Летта, который был вместе с ним, не нашел подходящего человека. Но характеристики, которые он дает виденным людям этой страны, гораздо суровее, чем те, которые дает Летта, и, конечно, гораздо более односторонни, хотя и не заключают в себе ничего прямо неверного.

— А кто такой этот Летта, о котором вы говорите? Я его как-то не запомнил.

— Химик, помощник Мэнни, немолодой человек, старше всех на нашем этеронефе. С ним вы сойдетесь легко, и это будет для вас очень полезно. У него мягкая натура и много понимания чужой души, хотя он не психолог, как Мэнни. Приходите к нему в лабораторию, он будет рад этому и покажет вам много интересного.

В этот момент я вспомнил, что мы уже далеко улетели от Земли, и мне захотелось посмотреть на нее. Мы отправились вместе в одну из боковых зал с большими окнами.

— Не придется ли нам проехать близко от Луны? — спросил я по дороге.

— Нет, Луна остается далеко в стороне, и это жаль. Мне тоже хотелось посмотреть на Луну поближе. С Земли она казалась мне такой странной. Большая, холодная, медленная, загадочно-спокойная, она совсем не то, что наши две маленькие луны, которые так быстро бегают по небу и так быстро меняют свое личико, точно живые, капризные дети. Правда, ваша Луна зато гораздо ярче, и свет ее такой приятный. Ярче и ваше солнце; вот в чем вы гораздо счастливее нас. Ваш мир вдвое светлее: оттого и не нужны вам такие глаза, как наши, с большими зрачками для собирания слабых лучей нашего дня и нашей ночи.

Мы сели у окна. Земля сияла вдали, как гигантский серп, на котором можно было различить только очертания запада Америки, северо-востока Азии, тусклое пятно, обозначавшее часть Великого океана, и белое пятно Северного Ледовитого. Весь Атлантический океан и Старый Свет лежали во мраке; за расплывчатым краем серпа их можно было только угадывать, и именно потому, что невидимая часть Земли закрывала звезды на обширном пространстве черного неба. Наша косвенная траектория и вращение Земли вокруг оси привели к такой перемене картины.

Я смотрел, и мне было грустно, что я не вижу родной страны, где столько жизни, борьбы и страданий, где вчера еще я стоял в рядах товарищей, а теперь на мое место должен был стать другой. И сомнение поднялось в моей душе.

— Там, внизу, льется кровь,— сказал я,— а здесь вчерашний работник в роли спокойного созерцателя...

— Кровь льется там ради лучшего будущего,— отвечал Нэтти,— но и для самой борьбы надо знать лучшее будущее. И ради этого знания вы здесь.

С невольным порывом я сжал его маленькую, почти детскую руку.

Земля все более удалялась и, точно худея от разлуки, превращалась в луновидный серп, сопровождаемый теперь совсем маленьким серпом настоящей Луны. Параллельно с этим все мы, обитатели этеронефа, становились какими-то фантастическими акробатами, способными летать без крыльев и удобно располагаться в любом направлении пространства, головой к полу, или к потолку, или к стене — почти безразлично... Понемногу я сходился со своими новыми товарищами и начинал чувствовать себя с ними свободнее.

Уже на другой день после нашего отплытия (мы сохранили этот счет времени, хотя для нас, конечно, уже не существовало настоящих дней и ночей) я по собственной инициативе переоделся в марсианский костюм, чтобы меньше выделяться между всеми. Правда, костюм этот и сам по себе нравился мне: простой, удобный, без всяких бесполезных, условных частей вроде галстука или манжет, он оставлял наибольшую возможную свободу для движений. Отдельные части костюма так соединялись маленькими застежками, что весь костюм превращался в одно целое, и в то же время легко было в случае надобности отстегнуть и снять, например, один рукав, или оба, или всю блузу. И манеры моих спутников были похожи на их костюм: простота, отсутствие всего лишнего и условного. Они никогда не здоровались, не прощались, не благодарили, не затягивали разговора из вежливости, если прямая цепь его была исчерпана; и в то же время они с большим терпением давали всегда всякие разъяснения, тщательно приспособляясь к уровню понимания собеседника и входя в его психологию, как бы мало она ни подходила к их собственной.

Разумеется, я с первых же дней принялся за изучение их родного языка, и все они с величайшей готовностью исполняли роль моих наставников, а больше всех Нэтти. Язык этот очень оригинален; и несмотря на большую простоту его грамматики и правил образования слов, в нем есть особенности, с которыми мне было нелегко справиться. Его правила вообще не имеют исключений, в нем нет таких разграничений, как мужской, женский и средний род; но рядом с этим

все названия предметов и свойств изменяются по временам. Это никак не укладывалось в моей голове.

— Скажите, какой смысл в этих формах? — спрашивал я Нэтти.

— Неужели вы не понимаете? А между тем в ваших языках, называя предмет, вы старательно обозначаете, считаете ли вы его мужчиной или женщиной, что, в сущности, очень неважно, а по отношению к неживым предметам даже довольно странно. Насколько важнее различие между теми предметами, которые существуют, и теми, которых уже нет, или теми, которые еще должны возникнуть. У вас «дом» — «мужчина», а «лодка» — «женщина», у французов это наоборот,— и дело от того нисколько не меняется. Но когда вы говорите о доме, который уже сгорел или который еще собираетесь выстроить, вы употребляете слово в той же форме, в которой говорите о доме, в котором живете. Разве есть в природе большее различие, чем между человеком, который живет, и человеком, который умер,— между тем, что есть, и тем, чего нет? Вам нужны целые слова и фразы для обозначения этого различия,— не лучше ли выражать его прибавлением одной буквы в самом слове?

Во всяком случае, Нэтти был доволен моей памятью, а его метод обучения был превосходен, и дело продвигалось вперед быстро. Это помогало мне сближаться с марсианами,— я начинал все с большей уверенностью путешествовать по всему этеронефу, заходя в комнаты и в лаборатории моих спутников и расспрашивая их обо всем, что меня занимало.

Молодой астроном Энно, помощник Стэрни, живой и веселый, тоже почти мальчик по возрасту, показывал мне массу интересных вещей, явно увлекаясь не столько измерениями и формулами, в которых он был, однако, настоящим мастером, сколько красотой наблюдаемого. У меня было хорошо на душе с юным астрономом-поэтом; а законное стремление ориентироваться в нашем положении среди природы давало мне постоянный повод проводить понемногу времени у Энно и его телескопов.

Один раз Энно показал мне при самом сильном увеличении крошечную планету Эрот, часть орбиты которой проходит между путями Земли и Марса, а осталь-

ная часть лежит дальше Марса, переходя в район астероидов. И хотя в это время Эрот находился от нас на расстоянии 150 миллионов километров, но фотография его маленького диска представляла в поле зрения микроскопа целую географическую карту, подобную картам Луны. Конечно, это безжизненная планета, такая же, как Луна.

В другой раз Энно фотографировал рой метеоритов, проходивший всего в нескольких миллионах километров от нас. Изображение представляло, разумеется, только неопределенную туманность. При этом случае Энно рассказал мне, что в одной из прежних экспедиций на Землю этеронеф погиб как раз в то время, когда прорезывал другой подобный рой. Астрономы, следившие за этеронефом в самые большие телескопы, увидали, как погас его электрический свет и этеронеф навеки исчез в пространстве.

— Вероятно, этеронеф столкнулся с несколькими из этих маленьких телец, а при громадной разности скоростей они должны были насквозь пронизать все его стенки. Тогда воздух ушел из него в пространство и холод междупланетной среды оледенил уже мертвые тела путешественников. И теперь этеронеф летит, продолжая свой путь по кометной орбите; он удаляется от Солнца навсегда, и неизвестно, где конец этого страшного корабля, населенного трупами.

При этих словах Энно холод эфирных пустынь как будто проник и в мое сердце. Я живо представил себе наш крошечный светлый островок среди бесконечного мертвого океана. Без всякой опоры в головокружительно быстром движении, и черная пустота повсюду вокруг... Энно угадал мое настроение.

— Мэнни — надежный кормчий,— сказал он,— и Стэрии не делает ошибок... А смерть... вы ее, вероятно, видели близко в своей жизни... ведь она только смерть, не более.

Очень скоро наступил час, когда мне пришлось вспомнить эти слова в борьбе с мучительной душевной болью.

Химик Летта привлекал меня к себе не только особенной мягкостью и чуткостью натуры, о которой говорил мне Нэтти, но также и своими громадными знаниями в наиболее интересном для меня научном во-

просе—о строении материи. Один Мэнни был еще компетентнее его в этой области, но я старался как можно меньше обращаться к Мэнни, понимая, что его время слишком драгоценно и для интересов науки, и для интересов экспедиции, чтобы я имел право отвлекать его для себя. А добродушный старик Летта с таким неистощимым терпением относился к моему невежеству, с такой предупредительностью и даже видимым удовольствием разъяснял мне самую азбуку предмета, что с ним я нисколько не чувствовал себя стесненным.

Летта стал читать мне целый курс по теории строения материи, причем иллюстрировал его рядом опытов разложения элементов и их синтеза. Многие из относящихся сюда опытов он должен был, однако, пропускать, ограничиваясь словесным их описанием,— именно те, в которых явления имеют особенно бурный характер и протекают в форме взрыва или могут принять такую форму.

Как-то раз во время лекции в лабораторию зашел Мэнни. Летта заканчивал описание очень интересного эксперимента и собирался приступить к его выполнению.

— Будьте осторожны,— сказал ему Мэнни,— я помню, что этот опыт однажды кончился у меня нехорошо; достаточно ничтожнейшей посторонней примеси к веществу, которое вы разлагаете, и тогда самый слабый электрический разряд может вызвать взрыв во время нагревания.

Летта хотел уже отказаться от выполнения опыта, но Мэнни, неизменно внимательный и любезный по отношению ко мне, сам предложил помочь ему тщательной проверкой всех условий опыта; и реакция прошла превосходно.

На следующий день предстояли новые опыты с тем же веществом. Мне казалось, что на этот раз Летта взял его не из той банки, из которой накануне. Когда он поставил уже реторту на электрическую баню, мне пришло в голову сказать ему об этом. Обеспокоенный, он тотчас пошел к шкафу с реактивами, оставив баню и реторту на столике у стены, которая была вместе с тем наружной стенкой этеронефа. Я пошел вместе с ним.

Вдруг раздался оглушительный треск, и нас обоих с большой силой ударило о дверцы шкафа. Затем последовал оглушительный свист, и вой, и металлическое дребезжанье. Я почувствовал, что непреодолимая сила, подобная урагану, увлекает меня назад, к наружной стене. Я успел машинально схватиться за крепкую ременную ручку, приделанную к шкафу, и повис горизонтально, удерживаемый в этом положении могучим потоком воздуха. Летта сделал то же самое.

— Держитесь крепче! — крикнул он мне, и я едва расслышал его голос среди шума бури. Резкий холод пронизал мое тело.

Летта быстро осмотрелся вокруг. Лицо его было страшно своей бледностью, но выражение растерянности вдруг сменилось на нем выражением ясной мысли и твердой решимости. Он сказал только два слова — я не мог их расслышать, но угадал, что это было прощанье навеки,— и его руки разжались.

Глухой звук удара, и вой урагана прекратился. Я почувствовал, что можно выпустить ручку, и оглянулся. От столика не было и следа, а у стены, плотно прижавшись к ней спиной, неподвижно стоял Летта. Глаза его были широко раскрыты, и все лицо как будто застыло. Одним прыжком я очутился у двери и отворил ее. Порыв теплого ветра отбросил меня назад. Через секунду в комнату вошел Мэнни. Он быстро подошел к Летта.

Еще через несколько секунд комната была полна народу. Нэтти оттолкнул всех с пути и бросился к Летта. Все остальные окружили нас в тревожном молчании.

— Летта умер,— раздался голос Мэнни.— Взрыв во время химического опыта пробил стенку этеронефа, и Летта своим телом закрыл брешь. Давление воздуха разорвало его легкие и парализовало сердце. Смерть была мгновенная. Летта спас нашего гостя, иначе гибель обоих была неизбежна.

У Нэтти вырвалось глухое рыдание.

IX. *Прошлое*

Несколько дней после катастрофы Нэтти не выходил из своей комнаты, а в глазах Стэрни я стал подмечать иногда прямо недоброжелательное выражение.

Бесспорно, из-за меня погиб выдающийся ученый, и математический ум Стэрни не мог не делать сравнения между величиной ценности той жизни, которая была утрачена, и той, которая была спасена. Мэнни оставался неизменно ровным и спокойным и даже удвоил свое внимание и заботливость обо мне; так же вели себя и Энно, и все остальные.

Я стал усиленно продолжать изучение языка марсиан и при первом удобном случае обратился к Мэнни с просьбой дать мне какую-нибудь книгу по истории их человечества. Мэнни нашел мою мысль очень удачной и принес мне руководство, в котором популярно излагалась для детей-марсиан всемирная история.

Я начал с помощью Нэтти читать и переводить книжку. Меня поражало искусство, с каким неизвестный автор оживлял и конкретизировал иллюстрациями самые общие, самые отвлеченные на первый взгляд понятия и схемы. Это искусство позволяло ему вести изложение по такой геометрически стройной системе, в такой логически выдержанной последовательности, как не решился бы писать для детей ни один из наших земных популяризаторов.

Первая глава имела прямо философский характер и была посвящена идее вселенной как единого целого, все заключающего в себе и все определяющего собой. Эта глава живо напомнила мне произведения того рабочего-мыслителя, который в простой и наивной форме первый изложил основы пролетарской философии природы.

В следующей главе изложение возвращалось к тому необозримо отдаленному времени, когда во вселенной не сложилось еще никаких знакомых нам форм, когда хаос и неопределенность царили в безграничном пространстве. Автор рассказывал, как обособлялись в этой среде первые бесформенные скопления неуловимо тонкой, химически неопределившейся материи; скопления эти послужили зародышами гигантских звездных миров, какими являются звездные туманности, и в числе их наш Млечный Путь с 20 миллионами солнц, среди которых наше Солнце — одно из самых маленьких.

Далее шла речь о том, как материя, концентрируясь и переходя к более устойчивым сочетаниям,

принимала форму химических элементов, а рядом с этим первичные, бесформенные скопления распадались и среди них выделялись газообразные солнечно-планетные туманности, каких сейчас еще при помощи телескопа можно найти многие тысячи. История развития этих туманностей, кристаллизации из них солнц и планет излагалась одинаково с нашей канто-лапласовской теорией происхождения миров, но с большей определенностью и большими подробностями.

— Скажите, Мэнни,— спросил я,— неужели вы считаете правильным давать детям с самого начала эти беспредельно общие и почти столь же отвлеченные идеи, эти бледные мировые картины, столь далекие от их ближайшей конкретной обстановки? Не значит ли это населять детский мозг почти пустыми, почти только словесными образами?

— Дело в том, что у нас никогда не начинают обучения с книг,— отвечал Мэнни.— Ребенок черпает свои сведения из живого наблюдения природы и живого общения с другими людьми. Раньше чем он возьмется за такую книгу, он уже совершил множество поездок, видел разнообразные картины природы, знает множество пород растений и животных, знаком с употреблением телескопа, микроскопа, фотографии, фонографа, слышал от старших детей, от воспитателей и других взрослых друзей много рассказов о прошлом и отдаленном. Книга, подобная этой, должна только связать воедино и упрочить его знания, заполняя мимоходом случайные пробелы и намечая дальнейший путь изучения. Понятно, что при этом идея целого прежде всего и постоянно должна выступать с полной отчетливостью, должна проводиться от начала и до конца, чтобы никогда не теряться в частностях. Цельного человека надо создавать уже в ребенке.

Все это было для меня очень непривычно, но я не стал подробнее расспрашивать Мэнни: мне все равно предстояло непосредственно познакомиться с марсианскими детьми и системой их воспитания. Я возвратился к своей книжке.

Предметом следующих глав являлась геологическая история Марса. Ее изложение, хотя и очень сжатое, было полно сопоставлений с историей Земли и Венеры. При значительном параллелизме всех трех ос-

новное различие заключалось в том, что Марс оказывался вдвое старше Земли и почти вчетверо старше Венеры. Были установлены и цифры возраста планет, я их хорошо помню, но не стану приводить здесь, чтобы не раздражать земных ученых, для которых они оказались бы довольно неожиданными.

Далее шла история жизни с самого ее начала. Давалось описание тех первичных соединений, сложных циановых производных, которые, не будучи еще настоящей живой материей, обладали многими ее свойствами, и описание тех геологических условий, при которых эти соединения химически создавались. Выяснялись причины, в силу которых такие вещества сохранялись и накоплялись среди других, более устойчивых, но менее гибких соединений. Прослеживалось шаг за шагом усложнение и дифференциация этих химических зародышей всякой жизни, вплоть до образования настоящих живых клеток, с которых начинается «царство протистов».

Картина дальнейшего развития жизни сводилась к лестнице прогресса живых существ или, вернее, к их общему генеалогическому дереву; от протистов до высших растений, с одной стороны, до человека, с другой стороны,— вместе с различными боковыми отверстиями. При сравнении с «земной» линией развития оказывалось, что на пути от первичной клетки до человека ряд первых звеньев цепи почти одинаков и так же незначительны различия в последних звеньях, а в средних различий гораздо больше. Это представлялось мне чрезвычайно странным.

— Этот вопрос,— сказал мне Нэтти,— насколько я знаю, еще не исследован специально. Ведь еще двадцать лет тому назад мы не знали, как устроены высшие животные на Земле, и мы сами были очень удивлены, найдя такое сходство с нашим типом. Очевидно, число возможных высших типов, выражающих наибольшую полноту жизни, не так велико; и на планетах, настолько сходных, как наши, в пределах весьма однородных условий природа могла достигнуть этого максимума жизни только одним способом.

— И притом,— заметил Мэнни,— высший тип, который завладеет своей планетой, есть тот, который наиболее целостно выражает всю сумму ее условий,

тогда как промежуточные стадии, способные захватить только часть своей среды, выражают эти условия так же частично и односторонне. Поэтому при громадном сходстве общей суммы условий высшие типы должны совпадать в наибольшей мере, а промежуточные в силу самой своей односторонности представляют больше простора для различий.

Я вспомнил, как мне еще во время моих университетских занятий та же мысль об ограниченном числе возможных высших типов пришла в голову по совершенно другому поводу: у спрутов, морских головоногих моллюсков, высших организмов целой ветви развития, глаза необычайно сходны с глазами нашей ветви — позвоночных; а между тем происхождение и развитие глаз головоногих совершенно иное, настолько иное, что даже соответственные слои тканей зрительного аппарата расположены у них в обратном нашему порядке...

Так или иначе, факт был налицо: на другой планете жили люди, похожие на нас, и мне оставалось усердно продолжать свое ознакомление с их жизнью и историей.

Что касается доисторических времен и вообще начальных фаз жизни человечества на Марсе, то и здесь сходство с земным миром было огромное. Те же формы родового быта, то же обособленное существование отдельных общин, то же развитие связи между ними посредством обмена. Но дальше начиналось расхождение, хотя и не в основном направлении развития, а скорее в его стиле и характере.

Ход истории на Марсе был как-то мягче и проще, чем на Земле. Были, конечно, войны племен и народов, была и борьба классов; но войны играли сравнительно небольшую роль в исторической жизни и сравнительно рано совсем прекратились; а классовая борьба гораздо меньше и реже проявлялась в виде столкновений грубой силы. Это, правда, не указывалось прямо в книге, которую я читал, но это было очевидно для меня из всего изложения.

Рабства марсиане вовсе не знали; в их феодализме было очень мало военщины; а их капитализм очень рано освободился от национально-государственного дробления и не создал ничего подобного нашим современным армиям <...>

X. *Прибытие*

Управляемый ясной головой Мэнни этеронеф без новых приключений продолжил свой путь к далекой цели. Мне удалось уже сносно приспособиться к условиям невесомого существования, а также и справиться с главными трудностями языка марсиан, когда Мэнни объявил нам всем, что мы прошли половину пути и достигли наивысшего предела скорости, которая отныне будет уменьшаться.

В точно указанный Мэнни момент этеронеф быстро и плавно перевернулся. Земля, которая давно уже из большого светлого серпа успела сделаться маленьким, а из маленького серпа — яркой зеленоватой звездой вблизи солнечного диска, теперь из нижней части черного шара небосвода перешла в верхнее полушарие, а красная звезда Марса, ярко сиявшая над нашими головами, оказалась внизу.

Прошли еще десятки и сотни часов, и звезда Марса превратилась в ясный маленький диск, и скоро стали заметны две маленькие звездочки его спутников — Деймос и Фобос, невинные крошечные планетки, ничем не заслужившие этих грозных имен, означающих по-гречески «Ужас» и «Страх». Серьезные марсиане оживились и все чаще приходили в обсерваторию Энно — посмотреть на родные страны. Смотрел и я, но плохо понимал то, что видел, несмотря на терпеливые объяснения Энно. Там было действительно много для меня странного.

Красные пятна оказывались лесами и лугами, а совсем темные — полями, готовыми к жатве. Города представлялись в виде синеватых пятен, и только воды и снега имели понятный для меня оттенок. Веселый Энно иногда заставлял меня угадывать, что я вижу в поле аппарата, и мои наивные ошибки сильно смешили его и Нэтти; я же за это платил им шутками, в свою очередь, называя их планету царством ученых слов и перепутанных красок.

Размеры красного диска все более возрастали — скоро он уже во много раз превосходил заметно уменьшившийся кружок Солнца и был похож на астрономическую карту без надписей. Сила тяжести тоже заметно начала прибавляться, что было для меня удиви-

тельно приятно. Деймос и Фобос из светлых точек превратились в крошечные, но ясно очерченные кружки.

Еще 15—20 часов, и вот уже Марс, как плоскошарие, развертывается под нами, и простым глазом я вижу больше, чем дают все астрономические карты наших ученых. Диск Деймоса скользит по этой круглой карте, а Фобос нам не виден — он теперь по ту сторону планеты.

Все радуются вокруг меня — я один не могу преодолеть тревожного, тоскливого ожидания.

Ближе и ближе. Никто не в силах чем бы то ни было заниматься — все смотрят вниз, где развертывается другой мир, для них родной, для меня полный тайны и загадок. Одного Мэнни нет с нами — он стоит у машины: последние часы пути самые опасные, надо проверять расстояние и регулировать скорость.

Что же я, невольный Колумб этого мира, не чувствую ни радости, ни гордости, ни даже того успокоения, которое должен принести вид твердого берега после долгого пути по океану Неосязаемого?

Будущие события уже бросают тень на настоящее...

Остается всего два часа. Скоро мы вступим в пределы атмосферы. Сердце начинает мучительно биться; я не могу больше смотреть и ухожу в свою комнату. Нэтти уходит за мною.

Он начинает со мной разговор — не о настоящем, а о прошлом, о далекой Земле, там вверху.

. — Вы должны еще туда вернуться, когда выполните задачу,— говорит он, и его слова звучат для меня как нежное напоминание о мужестве.

Мы разговариваем об этой задаче, о ее необходимости и ее трудностях. Время незаметно для меня проходит.

Нэтти смотрит на хронометр.

— Мы приехали, пойдем к ним! — говорит он.

Этеронеф остановился, сдвигаются широкие металлические пластинки, свежий воздух врывается внутрь. Чистое зеленовато-синее небо над нами, толпы народа вокруг.

Мэнни и Стэрни выходят первыми: они несут на руках прозрачный гроб, где лежит оледенелое тело погибшего товарища — Летта.

За ним выходят другие. Я и Нэтти выходим последними и вместе, рука об руку, идем через многотысячную толпу людей, похожих на него...

Часть II

I. *У Мэнни*

На первое время я поселился у Мэнни, в фабричном городке, центр и основу которого составляет большая химическая лаборатория, расположенная глубоко под землею. Надземная часть городка разбросана среди парка на протяжении десятка квадратных километров: это несколько сот жилищ работников лаборатории, большой Дом собраний, Потребительный склад — нечто вроде универсальной лавки и Станция сообщений, которая связывает химический городок со всем остальным миром. Мэнни был там руководителем всех работ и жил вблизи от общественных зданий, рядом с главным спуском в лабораторию.

Первое, что меня поразило в природе Марса и с чем мне всего труднее было освоиться,— это красный цвет растений. Их красящее вещество, по составу чрезвычайно близкое к хлорофиллу земных растений, выполняет совершенно аналогичную ему роль в жизненной экономии природы: создает ткани растений за счет углекислоты воздуха и энергии солнечных лучей.

Заботливый Нэтти предлагал мне носить предохранительные очки, чтобы избавиться от непривычного раздражения глаз. Я отказался.

— Это цвет нашего социалистического знамени,— сказал я.— Должен же я освоиться с вашей социалистической природой.

— Если так, то надо признать, что и в земной флоре есть социализм, но в скрытом виде,— заметил Мэнни.— Листья земных растений имеют и красный оттенок — он только замаскирован гораздо более сильным зеленым. Достаточно надеть очки из стекол, вполне поглощающих зеленые лучи и пропускающих красные, чтобы ваши леса и поля стали красными, как у нас.

Я не могу тратить время и место на то, чтобы описывать своеобразные формы растений и животных на

Марсе или его атмосферу, чистую и прозрачную, сравнительно разреженную, но богатую кислородом, или его небо, глубокое и темное, зеленоватого цвета, с похудевшим солнцем и крошечными лунами, с двумя яркими вечерними или утренними звездами — Венерой и Землей. Все это странное и чуждое тогда, прекрасное и дорогое мне теперь, в окраске воспоминаний, не так тесно связано с задачами моего повествования. Люди и их отношения — вот что всего важнее для меня; и во всей той сказочной обстановке именно они были всего фантастичнее, всего загадочнее.

Мэнни жил в небольшом двухэтажном домике, по архитектуре не отличавшемся от остальных. Самая оригинальная черта этой архитектуры заключалась в прозрачной крыше из нескольких громадных пластинок голубого стекла. Прямо под этой крышей помещалась спальня и комната для бесед с друзьями. Марсиане проводят часы отдыха непременно среди голубого освещения, ради его успокаивающего действия, и не находят неприятным тот мрачный для нашего глаза оттенок, который это освещение придает человеческому лицу.

Все рабочие комнаты — кабинет, домашняя лаборатория, комната сообщений — находились в нижнем этаже, большие окна которого свободно пропускали волны беспокойного красного света, отброшенного яркой листвой деревьев парка. Этот свет, который во мне первое время вызывал тревожное и рассеянное настроение, для марсиан является привычным возбуждением, полезным при работе.

В кабинете Мэнни было много книг и различные приборы для письма, от простых карандашей до печатающего фонографа. Последний аппарат представляет из себя сложный механизм, в котором запись фонографа при отчетливом произнесении слов тотчас передается рычагам пишущей машины таким способом, что получается точный перевод этой записи на обыкновенный алфавит. При этом фонограмма сохраняется в целости, так что ею можно пользоваться одинаково с печатным переводом, смотря по тому, что кажется удобнее.

Над письменным столом Мэнни висел портрет марсианина среднего возраста. Черты лица его сильно на-

поминали Мэнни, но отличались выражением суровой энергии и холодной решительности, почти грозным выражением, чуждым Мэнни, на лице которого всегда была только спокойная и твердая воля. Мэнни рассказал мне историю этого человека.

То был предок Мэнни, великий инженер. Он жил задолго до социальной революции, в эпоху прорытия Великих каналов; эти грандиозные работы были организованы по его плану и велись под его руководством. Его первый помощник, завидуя его славе и могуществу, повел интригу против него. Один из главных каналов, над которым работало несколько сот человек, начинался в болотистой, нездоровой местности. Многие тысячи работников умирали там от болезней, и среди остальных разгоралось недовольство. В то самое время как главный инженер вел переговоры с центральным правительством Марса о пенсиях семьям погибших на работе и тех, кто от болезней потерял способность к труду, старший помощник тайно вел агитацию против него среди недовольных: он подстрекал их устроить стачку, с требованием перенесения работ из этой местности в другую, что было невозможно по существу дела, так как разрушало весь план Великих работ, и отставки главного инженера, что было, конечно, вполне осуществимо. Когда тот узнал все это, он пригласил к себе старшего помощника для объяснений и убил его на месте. На суде инженер отказался от всякой защиты, а только заявил, что он считает свой образ действий справедливым и необходимым. Его приговорили к многолетнему заключению в тюрьме.

Но вскоре оказалось, что никто из его преемников не в силах вести гигантскую организацию работ; начались недоразумения, хищения, беспорядки, весь механизм дела пришел в расстройство, расходы возросли на сотни миллионов, а среди рабочих острое недовольство грозило перейти в восстание. Центральное правительство поспешило обратиться к прежнему инженеру; ему было предложено полное помилование и восстановление в должности. Он решительно отказался от помилования, но согласился руководить работами из тюрьмы.

Назначенные им ревизоры быстро выяснили положение дела на местах; при этом были разогнаны и от-

даны под суд тысячи инженеров и подрядчиков. Заработная плата была повышена, организация доставки рабочим пищи, одежды, орудий труда была перестроена заново, планы работ пересмотрены и исправлены. Скоро порядок был вполне восстановлен, и громадный механизм стал работать быстро и точно, как послушное орудие в руках настоящего мастера.

А мастер не только руководил всем делом, но и разрабатывал план его продолжения на будущие годы; и одновременно он готовил себе заместителя в лице одного энергичного и талантливого инженера, выдвинувшегося из рабочей среды. К тому дню, когда истекал срок тюремного заключения, все было подготовлено настолько, что великий мастер нашел возможным передать дело в другие руки без опасения за его судьбу; и в тот самый момент, когда в тюрьму явился первый министр центрального правительства, чтобы освободить заключенного, главный инженер покончил с собой.

Когда Мэнни рассказывал мне все это, его лицо как-то странно изменилось; у него появилось то же выражение непреклонной суровости, и он стал совершенно похож на своего предка. А я почувствовал, до какой степени ему близок и понятен этот человек, умерший за сотни лет до его рождения.

Комната сообщений была центральной комнатой нижнего этажа. В ней находились телефоны и соответствующие им оптические аппараты, передающие на каком угодно расстоянии изображения того, что перед ними происходит. Одни из приборов соединяли жилище Мэнни со Станцией сообщений, а через нее — со всеми другими домами города и со всеми городами планеты. Другие служили связью с подземной лабораторией, которою управлял Мэнни. Эти последние действовали непрерывно: на нескольких тонко-решетчатых пластинках видны были умеренные изображения освещенных зал, где находились большие металлические машины и стеклянные аппараты, а перед ними — десятки и сотни работающих людей. Я обратился к Мэнни с просьбой взять меня с собой в эту лабораторию.

— Это неудобно,— отвечал он.— Там ведутся работы над материей в ее неустойчивых состояниях; и как ни мала при наших предосторожностях опасность взры-

ва или отравления невидимыми лучами, но эта опасность всегда существует. Вы не должны ей подвергаться, потому что вы теперь у нас один и заменить вас было бы некем.

В домашней лаборатории Мэнни находились всегда только те приборы и материалы, которые относились к его исследованиям, выполняемым в данное время.

В коридоре нижнего этажа у потолка была подвешена воздушная гондола, на которую во всякое время можно было сесть и отправиться куда угодно.

— Где живет Нэтти? — спросил я у Мэнни.

— В большом городе, в двух часах воздушного пути отсюда. Там находится машинный завод с несколькими десятками тысяч работников, и у Нэтти больше материала для его медицинских исследований. Здесь же у нас есть другой доктор.

— А машинный завод мне не воспрещается осмотреть при случае?

— Конечно, нет: там не угрожают никакие особенные опасности. Если хотите, мы завтра же отправимся туда вместе.

Так мы и решили.

II. *На заводе*

Около 500 километров в два часа — скорость самого быстрого соколиного полета, не достигнутая до сих пор даже нашими электрическими дорогами... Внизу развертывались в быстрой смене незнакомые, странные ландшафты; еще быстрее проносились иногда мимо нас незнакомые странные птицы. Лучи солнца вспыхивали синим светом на крышах домов и обычным желтоватым светом на огромных куполах каких-то незнакомых мне зданий. Реки и каналы мелькали стальными лентами; мои глаза отдыхали на них, потому что они были такие же, как на Земле. Вот вдали стал виден огромный город, раскинутый вокруг маленького озера и перерезанный каналом. Гондола замедлила ход и плавно опустилась около небольшого красивого домика — домика Нэтти.

Нэтти был дома и радостно нас встретил. Он сел в нашу гондолу, и мы отправились дальше: завод был еще в нескольких километрах, на той стороне озера.

Пять громадных зданий, расположенных крестообразно, все одинакового устройства; чистый стеклянный свод, лежащий на нескольких десятках темных колонн, образующих точный круг или мало растянутый эллипс; такие же стеклянные пластинки, поочередно прозрачные и матовые, между колоннами в виде стен. Мы остановились у центрального, самого большого корпуса, перед воротами, занимавшими целый промежуток от колонны до колонны, метров десять ширины и метров двенадцать вышины. Потолок первого этажа горизонтально перерезывал посредине пространство ворот; несколько пар рельсов входили в ворота и терялись внутри корпуса.

Мы подплыли к верхней половине ворот и, оглушенные шумом машин, сразу попали во второй этаж. Впрочем, это не был особый этаж в точном смысле слова, а скорее сеть воздушных мостиков, оплетавшая со всех сторон гигантские машины незнакомого мне устройства. На несколько метров над нею находилась другая подобная сеть, еще выше — третья, четвертая, пятая; все они были образованы из стеклянного паркета, охваченного брусьями железных решеток, все были связаны множеством подъемников и лестниц, и каждая следующая сеть была меньше предыдущей.

Ни дыма, ни копоти, ни запаха, ни мелкой пыли. Среди чистого, свежего воздуха машины, залитые светом, неярким, но проникающим всюду, работали стройно и размеренно. Они резали, пилили, строгали, сверлили громадные куски железа, алюминия, никеля, меди. Рычаги, похожие на исполинские стальные руки, двигались ровно и плавно; большие платформы ходили вперед и назад со стихийной точностью; колеса и передаточные ремни казались неподвижными. Не грубая сила огня и пара, а тонкая, но еще более могучая сила электричества была душой этого грозного механизма.

Самый шум машин, когда ухо к нему несколько привыкало, начинал казаться почти мелодичным, кроме тех моментов, когда падает главный молот в несколько тысяч тонн и все содрогается в громовом ударе.

Сотни работников уверенно ходили между машинами, и ни шаги их, ни голоса не были слышны среди моря звуков. В выражении их лиц не было напряжен-

ной озабоченности, только спокойное внимание; они казались любознательными, учеными наблюдателями, которые, собственно, ни при чем во всем происходящем; им просто интересно видеть, как громадные куски металла, на рельсовых платформах выплывающие под прозрачный купол, попадают в железные объятия темных чудовищ, как эти чудовища затем разгрызают их своими крепкими челюстями, мнут своими тяжелыми, твердыми лапами, строгают и сверлят своими блестящими, острыми когтями и как, наконец, остатки этой жестокой игры увозятся с другой стороны корпуса легкими вагонами электрической дороги в виде стройных и изящных машинных частей с загадочным назначением. Казалось вполне естественным, что остальные чудовища не трогают маленьких большеглазых созерцателей, доверчиво гуляющих между ними: это было просто пренебрежение к слабости, признание добычи слишком ничтожною, недостойною грозной силы гигантов. Были неуловимы и невидимы со стороны те нити, которые связывали нежный мозг людей с несокрушимыми органами механизма.

Когда мы наконец вышли из корпуса, водивший нас техник спросил, желаем лы мы осматривать другие корпуса и вспомогательные строения сейчас же или намерены сделать перерыв для отдыха. Я высказался за перерыв.

— Я видел машины и работников,— сказал я,— но самой организации труда совершенно себе не представляю. Вот об этом мне хотелось бы расспросить вас.

Вместо ответа техник повел нас к маленькому кубической формы строению, находившемуся между центральным и одним из угловых корпусов. Таких строений было еще три, и все они были аналогично расположены. Их черные стены были покрыты рядами блестящих белых знаков — это были просто таблицы статистики труда. Я уже владел языком марсиан настолько, что мог разбирать их. На одной, отмеченной номером первым, значилось:

«Машинное производство имеет излишек в 968 757 рабочих часов ежедневно, из них 11 325 часов труда опытных специалистов».

«На этом заводе излишек 753 часа, из них 29 часов труда опытных специалистов».

«Нет недостатка работников в производствах: земледельческом, горном, земляных работ, химическом...» и т. д. (было перечислено в алфавитном порядке множество различных отраслей труда).

На таблице номер второй было написано:

«Производство одежды имеет недостаток в 392 685 рабочих часов ежедневно, из них 21 380 часов труда опытных механиков для специальных машин и 7852 часа труда специалистов-организаторов».

«Производство обуви нуждается в 79 360 часах; из них...» и т. д.

«Институт подсчетов — в 3078 часах...» и т. д.

Такого же содержания были и таблицы номеров 3-го и 4-го. В списке отраслей труда были и такие, как воспитание детей младшего возраста, воспитание детей среднего возраста, медицина городов, медицина сельских округов и проч.

— Почему излишек труда точно указан только в машинном производстве, а недостаток повсюду отмечен с такими подробностями? — спросил я.

— Это очень понятно,— отвечал Мэнни,— посредством таблиц надо повлиять на распределение труда: для этого необходимо, чтобы каждый мог видеть, где рабочей силы не хватает и в какой именно мере. Тогда, при одинаковой или приблизительно равной склонности к двум занятиям, человек выберет то из них, где недостаток сильнее. А об излишке труда знать точные данные достаточно только там, где этот излишек имеется, чтобы каждый работник такой отрасли мог сознательно принять в расчет и степень излишка, и степень своей склонности к перемене занятия.

В то время как мы таким образом разговаривали, я вдруг заметил, что некоторые цифры таблицы исчезли, а затем на их месте появились новые. Я спросил, что это значит.

— Цифры меняются каждый час,— объяснил Мэнни,— в течение часа несколько тысяч человек успели заявить о своем желании перейти с одних работ на другие. Центральный статистический механизм все время отмечает это, и каждый час электрическая передача разносит его сообщения повсюду.

— Но каким образом центральная статистика устанавливает цифры излишка и недочета?

— Институт подсчетов имеет везде свои агентуры, которые следят за движением продуктов в складах, за производительностью всех предприятий и изменением числа работников в них. Этим путем точно выясняется, сколько и чего следует произвести на определенный срок и сколько рабочих часов для этого требуется. Затем институту остается подсчитать по каждой отрасли труда разницу между тем, что есть, и тем, что должно быть, и сообщать об этом повсюду. Поток добровольцев тогда восстанавливает равновесие.

— А потребление продуктов ничем не ограничено?

— Решительно ничем: каждый берет то, что ему нужно, и столько, сколько хочет.

— И при этом не требуется ничего похожего на деньги, никаких свидетельств о количестве выполненного труда, или обязательств его выполнить, или вообще чего-нибудь в этом роде?

— Ничего подобного. В свободном труде у нас и без этого никогда не бывает недостатка: труд — естественная потребность развитого социалистического человека, и всякие виды замаскированного или явного принуждения к труду совершенно для нас излишни.

— Но если потребление ничем не ограничено, то не возможны ли в нем резкие колебания, которые могут опрокинуть все статистические расчеты?

— Конечно, нет. Отдельный человек, может быть, станет есть то или иное кушанье в двойном, в тройном против обычного количестве или захочет переменить десять костюмов в десять дней, но общество в три тысячи миллионов человек не подвержено таким колебаниям. При таких больших числах уклонения в ту и другую сторону уравновешиваются, и средние величины изменяются очень медленно, в строгой непрерывности.

— Таким образом, ваша статистика работает почти автоматически — простые вычисления, и ничего больше?

— Ну нет. Трудности тут очень большие. Институт подсчетов должен зорко следить за новыми изобретениями и за изменением природных условий производства, чтобы их точно учитывать. Вводится новая машина — она сразу требует перемещения труда как в той области, где применяется, так и в машинном про-

изводстве, а иногда и в производстве материалов для той или другой отрасли. Истощается руда, открываются новые минеральные богатства — опять перемещение труда в целом ряде рельсовых путей и т. д. Все это надо рассчитать с самого начала если не вполне точно, то с достаточной степенью приближения, а это вовсе не легко, пока не будут получены данные прямого наблюдения.

— При таких трудностях,— заметил я,— очевидно, необходимо иметь постоянно в запасе некоторый излишек труда?

— Именно так — в этом и заключается главная опора нашей системы. Лет двести тому назад, когда коллективного труда лишь кое-как хватало для удовлетворения всех потребностей общества, тогда была необходима полная точность в расчетах, и распределение труда не могло совершаться вполне свободно: существовал обязательный рабочий день, и в его пределах приходилось не всегда и не вполне считаться с призванием товарищей. Но каждое изобретение, создавая статистике временные трудности, облегчало главную задачу — переход к неограниченной свободе труда. Сначала рабочий день сокращался, затем, когда во всех областях труда оказался избыток, всякая обязательность была окончательно устранена. Заметьте, как незначительны все цифры, выражающие недостаток труда по производствам: тысячи, десятки, сотни тысяч рабочих часов, не более,— это при миллионах и десятках миллионов часов труда, который уже затрачивается в тех же производствах.

— Однако и недостаток труда все же бывает,— возразил я.— Правда, он, вероятно, покрывается последующим избытком, не так ли?

— И не только последующим избытком. В действительности самое вычисление необходимого труда ведется таким образом, что к основной цифре надбавляется еще некоторое количество. В самых важных для общества отраслях — в производстве пищи, одежды, зданий, машин — эта надбавка достигает 6 процентов, в менее важных — 1—2 процента. Таким образом, цифры недостатка в этих таблицах выражают, вообще говоря, только относительный, а не абсолютный недочет. Если бы обозначенные здесь десятки и сотни

тысяч часов и не были пополнены, это еще не значит, что общество стало бы терпеть недостаток.

— А сколько времени работает ежедневно каждый, например, на этом заводе?

— Большею частью полтора, два, два с половиной часа,— ответил техник,— но бывает и меньше и больше. Вот, например, товарищ, который заведует главным молотом, до того увлекается своей работой, что никому не позволяет сменить себя за все рабочее время завода, то есть шесть часов ежедневно.

Я мысленно перевел для себя все эти цифры на земной счет с марсианского, по которому сутки, немного более длинные, чем наши, заключают в себе 10 часов. Оказалось: обычная работа 4, 5, 6 часов; наибольшая продолжительность — 15 часов, то есть такая, как у нас, на Земле, в наиболее эксплуатируемых предприятиях.

— А разве не вредно товарищу на молоте работать так много? — спросил я.

— Пока еще не вредно,— отвечал Нэтти,— еще с полгода он может позволять себе такую роскошь. Но я, конечно, предупредил его об опасностях, которыми угрожает ему это увлечение. Одна из них — это возможность судорожного психического припадка, который с непреодолимой силой потянет его под молот. В прошлом году подобный случай произошел на этом же заводе с другим механиком, таким же любителем сильных ощущений. Только благодаря счастливой случайности успели остановить молот, и невольное самоубийство не удалось. Жажда сильных ощущений сама по себе не есть еще болезнь, но она легко подвергается извращениям, как только нервная система хоть немного пошатнулась от переутомления, душевной борьбы или какой-нибудь случайной болезни. Вообще же я, разумеется, не упускаю из виду тех товарищей, которые неумеренно предаются какой бы то ни было однообразной работе.

— А не должен ли был бы этот товарищ, о котором мы говорим, сократить свою работу ввиду того, что в машинном производстве есть избыток труда?

— Конечно, нет,— засмеялся Мэнни.— Почему именно он должен за свой счет восстановлять равновесие? Статистика никого ни к чему не обязывает.

Каждый принимает ее во внимание при своих расчетах, но не может руководиться ею одной. Если бы вы пожелали немедленно поступить на этот завод, вам, вероятно, нашлась бы работа, а в центральной статистике цифра излишка увеличилась бы на один-два часа, только и всего. Влияние статистики непрерывно сказывается на массовых перемещениях труда, но каждая личность свободна.

За разговором мы успели достаточно отдохнуть, и все, кроме Мэнни, отправились дальше осматривать завод. А Мэнни уехал домой — его вызывали в лабораторию.

Вечером я решил остаться у Нэтти: он обещал на следующий день свести меня в «дом детей», где одной из воспитательниц была его мать.

III. *«Дом детей»*

«Дом детей» занимал целую значительную и притом лучшую часть города с населением в 15—20 тысяч человек. Это население составляли действительно почти только дети с их воспитателями. Такие учреждения имеются во всех больших городах планеты, а во многих случаях образуют и самостоятельные города; только в маленьких поселениях, таких, как «химический городок» Мэнни, их по большей части нет.

Большие двухэтажные дома с обычными голубыми крышами, разбросанные среди садов с ручейками, прудами, площадками для игр и гимнастики, грядами цветов и полезных трав, домиками для ручных животных и птиц... Толпы большеглазых ребятишек неизвестного пола — благодаря одинаковому для мальчиков и девочек костюму... Правда, и среди взрослых марсиан трудно различать мужчин и женщин по костюму — в основных чертах он одинаков, некоторая разница только в стиле: у мужчин платье более точно передает формы тела, у женщин в большей мере их маскирует. Во всяком случае, та немолодая особа, которая встретила нас при выходе из гондолы перед дверями одного из самых больших домов, была, несомненно, женщина, ибо Нэтти, обнимая, назвал ее мамой. В дальнейшем разговоре он, впрочем, часто обозначал ее, как и всякого другого товарища, просто по имени — Нэлла.

Марсианка уже знала о цели нашего приезда и прямо повела нас в свой «дом детей», по всем его отделениям, начиная с отделения самых маленьких, которым она сама заведовала, до отделения старшего детского возраста, граничащего с отрочеством. Маленькие чудовища по пути присоединялись к нам и шли за нами, с интересом наблюдая своими огромными глазами человека с другой планеты,— они хорошо знали, кто я такой; и когда мы обходили последние отделения, нас сопровождала уже целая толпа, хотя большинство ребятишек еще с утра разбежалось по садам.

Всего жило в этом доме около трехсот детей различных возрастов. Я спросил Нэллу, почему в «домах детей» все возрасты соединяются вместе, а не отделяются каждый в особом доме, что значительно облегчило бы разделение труда между воспитателями и упростило бы всю их работу.

— Потому что тогда не было бы действительного воспитания,— отвечала мне Нэлла.— Чтобы получить воспитание для общества, ребенок должен жить в обществе. Всего больше жизненного опыта и знаний дети усваивают друг у друга. Изолировать один возраст от другого — значило бы создавать для них одностороннюю и узкую жизненную среду, в которой развитие будущего человека должно идти медленно, вяло и однообразно. И для прямой активности различие возрастов дает наибольший простор. Старшие дети — наши лучшие помощники в уходе за маленькими. Нет, мы не только сознательно соединяем все детские возрасты, но и воспитателей в каждом детском доме стараемся подобрать самых различных возрастов и различных практических специальностей.

— Однако в этом доме дети распределены по отделениям сообразно с возрастом, это как будто не согласуется с тем, что вы говорите?

— Дети собираются по отделениям только для того, чтобы спать, завтракать, обедать, тут, конечно, нет надобности смешивать различные возрасты. Но для игр и занятий они постоянно группируются так, как это им самим нравится. Даже когда бывают какие-нибудь чтения, беллетристические или научные, для детей одного отделения, в аудиторию всегда на-

бивается масса ребятишек всех других отделений. Дети сами выбирают себе свое общество и сами любят сходиться с детьми других возрастов, а особенно со взрослыми.

— Нэлла,— сказал в это время, выступая из толпы, один малыш,— Эста унесла мою лодочку, которую я сам сделал; возьми лодочку у нее и отдай мне.

— А она где? — спросила Нэлла.

— Она убежала к пруду спускать лодочку на воду,— объяснил ребенок.

— Ну, у меня сейчас нет времени идти туда; пусть кто-нибудь из старших детей идет с тобой и убедит Эсту не обижать тебя. А всего лучше иди туда один и помогай ей спускать лодочку; нет ничего удивительного, что лодочка ей понравилась, если сделана хорошо.

Ребенок ушел, а Нэлла обратилась к остальным:

— А вы, детки, хорошо бы сделали, если бы оставили нас одних. Иностранцу едва ли приятно, что на него таращится сотня детских глаз. Представь себе, Эльви, что на тебя внимательно смотрит целая толпа иностранцев. Что бы ты тогда сделал?

— Я бы убежал,— храбро заявил ближайший из толпы, которого она назвала. И все дети в ту же минуту со смехом разбежались. Мы вышли в сад.

— Да, вот посмотрите, какова сила прошлого,— с улыбкой сказала воспитательница.— Казалось бы, коммунизм у нас полный, отказывать детям почти никогда и ни в чем не приходится,— откуда взяться чувству личной собственности? А ребенок приходит и заявляет: «моя» лодочка, «я сам» делал. И это очень часто: иногда дело доходит и до драки. Ничего не поделаешь — общий закон жизни: развитие организма сокращенно повторяет развитие вида, развитие личности таким же образом повторяет развитие общества. Самоопределение ребенка среднего и старшего возраста в большинстве случаев имеет такой смутно-индивидуалистический характер. Приближение половой зрелости сначала еще усиливает этот оттенок. Только в юношеском возрасте социальная среда настоящего окончательно побеждает остатки прошлого.

— А вы знакомите детей с этим прошлым? — спросил я.

— Конечно, знакомим; и они очень любят разговоры и рассказы о старых временах. Сначала для них это сказки, красивые, немножко страшные сказки о другом мире, далеком и странном, но пробуждающем своими картинами борьбы и насилия неясные отзвуки в атавистической глубине детских инстинктов. Только впоследствии, преодолевая живые остатки прошлого в своей собственной душе, ребенок научается яснее воспринимать связь времен, и картины-сказки становятся для него действительностью истории, преобразуются в живые звенья живой непрерывности.

Мы шли по аллеям обширного сада. Временами нам попадались группы детей, занятых то играми, то рытьем канавок, то работой с какими-нибудь ремесленными инструментами, то постройкой беседок, то просто оживленным разговором. Все они с интересом оборачивались на меня, но никто не шел за нами: по-видимому, все были предупреждены. Большинство встречавшихся групп было смешанного возраста; во многих было по одному, по двое взрослых.

— В вашем доме довольно много воспитателей,— заметил я.

— Да, особенно если в числе их считать всех детей старшего возраста, как это по справедливости следует. Но воспитателей-специалистов у нас здесь всего трое; остальные взрослые, которых вы видите, это большей частью матери и отцы, временно поселяющиеся у нас около своих детей, или молодые люди, желающие изучить дело воспитания.

— Что же, все желающие родители могут здесь поселиться, чтобы жить со своими детьми?

— Да, разумеется; и некоторые из матерей живут здесь по нескольку лет. Но большинство их приезжает время от времени на неделю, на две, на месяц. Отцы живут здесь реже. В нашем доме всего 60 отдельных комнат для родителей и для тех детей, которые ищут уединения, и я не помню случая, чтобы этих комнат не хватало.

— Значит, и дети иногда отказываются жить в общих помещениях?

— Да, дети старшего возраста нередко предпочитают жить отдельно. В этом сказывается отчасти тот неопределенный индивидуализм, о котором я вам го-

ворила, отчасти же, особенно у детей, склонных сильно углубляться в научные занятия, просто стремление отстранить все, что развлекает и рассеивает внимание. Ведь и из числа взрослых у нас любят жить совершенно отдельно главным образом те, кто всего больше занимается научными исследованиями или художественным творчеством.

В этот момент впереди себя на небольшой полянке мы заметили ребенка, на мой взгляд лет шести или семи, который с палкой в руках гонялся за каким-то животным. Мы ускорили шаги; ребенок не обращал на нас внимания. В тот момент, как мы подошли, он настиг свою добычу — это оказалось нечто вроде большой лягушки — и сильно ударил ее палкой. Животное медленно поползло по траве с перешибленной лапой.

— Зачем ты это сделал, Альдо? — спокойно спросила Нэлла.

— Я никак не мог ее поймать, она все убегала,— объяснил мальчик.

— А ты знаешь, что ты сделал? Ты причинил лягушке боль и переломил ей лапку. Дай сюда палку, я тебе объясню это.

Мальчик подал тросточку Нэлле, и она быстрым движением сильно ударила его по руке. Мальчик вскрикнул.

— Тебе больно, Альдо? — все так же спокойно спросила воспитательница.

— Очень больно, злая Нэлла! — отвечал он.

— А лягушку ты ударил сильнее этого. Я только ушибла тебе руку, а ты ей сломал лапку. Ей не только гораздо больнее, чем тебе, но она теперь не может бегать и прыгать, ей нельзя будет находить пищу, и она умрет с голоду или ее загрызут злые животные, от которых она не может убежать. Что ты об этом думаешь, Альдо?

Ребенок стоял со слезами боли на глазах, придерживая ушибленную руку другой рукой. Но он задумался. Через минуту он сказал:

— Надо починить ей лапку.

— Вот это верно,— сказал Нэтти.— Дай, я научу тебя, как это сделать.

Они тотчас поймали раненое животное, которое успело отползти только на несколько шагов. Нэтти

вынул свой платок и разорвал его на полоски, а Альдо по его указанию принес ему несколько тонких щепочек. Затем оба, с серьезностью истинных детей, занятых очень важным делом, принялись устраивать плотную укрепляющую повязку на сломанную лапку лягушки.

Вскоре я и Нэтти собрались уходить домой.

— Да, вот что,— вспомнила Нэлла,— сегодня вечером вы могли бы застать у нас вашего старого друга Энно. Он будет читать детям старшего возраста о планете Венера.

— Значит, он живет в этом же городе? — спросил я.

— Нет, обсерватория, в которой он работает, лежит в трех часах пути отсюда. Но он очень любит детей и не забывает меня, свою старую воспитательницу. Поэтому он часто приезжает сюда и каждый раз рассказывает детям что-нибудь интересное.

Вечером, в назначенный час, мы, разумеется, опять явились в «дом детей», в большую аудиторию, где собрались уже все дети, кроме совсем маленьких, и несколько десятков взрослых. Энно радостно меня встретил.

— Я выбрал тему как будто для вас,— шутливо говорил он.— Вас огорчает отсталость вашей планеты и злые нравы вашего человечества. Я буду рассказывать о такой планете, где высшие представители жизни пока только динозавры и летучие ящеры, а их обычаи хуже, чем у вашей буржуазии. Ваш каменный уголь там не горит в огне капитализма, а еще только растет в виде гигантских лесов. Поедем когда-нибудь туда вместе охотиться на ихтиозавров? Эти тамошние Ротшильды и Рокфеллеры, правда, много умереннее ваших земных, но зато гораздо менее культурные. Там царство самого первоначального накопления, забытого в «Капитале» вашего Маркса... Ну, Нэлла уже хмурится на мою легкомысленную болтовню. Сейчас начинаю.

Он увлекательно описывал далекую планету с ее глубокими бурными океанами и горами громадной высоты, с ее жгучим солнцем и густыми белыми облаками, с ее страшными ураганами и грозами, с ее безобразными чудовищами и величественными исполинскими растениями. Все это он иллюстрировал живыми

фотографиями на экране, занимавшем целую стену залы. Голос Энно один был слышен во мраке; глубокое внимание царило в зале. Когда он, описывая приключения первых путешественников в этом мире, рассказал, как один из них ручной гранатой убил исполинскую ящерицу, произошла странная маленькая сцена, не замеченная большинством публики. Альдо, все время державшийся около Нэллы, вдруг тихо заплакал.

— Что с тобой? — наклонившись к нему, спросила Нэлла.

— Мне жаль чудовище. Ему было очень больно, и оно совсем умерло,— тихо отвечал мальчик.

Нэлла обняла ребенка и стала что-то ему объяснять вполголоса, но он не скоро еще успокоился.

А Энно между тем рассказывал о неисчислимых естественных богатствах прекрасной планеты, о ее гигантских водопадах в сотни миллионов лошадиных сил, о благородных металлах, найденных прямо на поверхности ее гор, о богатейших залежах радия на глубине нескольких сот метров, о запасах энергии на сотни тысяч лет. Я еще не настолько владел языком, чтобы чувствовать красоту изложения, но самые картины приковывали мое внимание так же всецело, как и внимание детей. Когда Энно кончил и зала осветилась, мне стало даже немного грустно, как детям бывает жаль, когда окончена красивая сказка.

По окончании лекции начались вопросы и возражения со стороны слушателей. Вопросы были разнообразны, как сами слушатели; они касались то подробностей в картинах природы, то способов борьбы с этой природой. Был такой вопрос: через сколько времени на Венере должны были бы из ее собственной природы появиться люди и какое должно у них быть устройство тела?

Возражения, большей частью наивные, но иногда и довольно остроумные, направленные главным образом против того вывода Энно, что в настоящую эпоху Венера — планета очень неудобная для людей и едва ли скоро удастся использовать сколько-нибудь значительно ее великие богатства. Юные оптимисты энергично восставали против этого положения, выражавшего взгляды большинства исследователей. Энно ука-

зывал, что жгучее солнце и влажный воздух с массою бактерий создают для людей опасность многих болезней, что испытали на себе все путешественники, побывавшие на Венере; что ураганы и грозы затрудняют работу и угрожают жизни людей, и многое другое. Дети находили, что перед подобными препятствиями странно отступать, когда надо овладеть такой прекрасной планетой. Для борьбы с бактериями и болезнями надо как можно скорее послать туда тысячу врачей, для борьбы с ураганами и грозами — сотни тысяч строителей, которые проведут, где надо, высокие стены и поставят громоотводы. «Пусть девять десятых погибнет,— говорил один пылкий мальчик лет двенадцати,— тут есть из-за чего умереть, лишь бы была одержана победа!» И по его горящим глазам было видно, что сам он, конечно, не отступил бы перед тем, чтобы оказаться в числе этих девяти десятых.

Энно мягко и спокойно разрушал карточные домики своих противников; но было видно, что в глубине души он сочувствует им и что в его горячей юной фантазии скрываются такие же решительные планы, разумеется, более обдуманные, но, может быть, не менее самоотверженные. Он сам еще не был на Венере, и по его увлечению было ясно, что ее красота и ее опасности сильно притягивают его.

Когда беседа закончилась, Энно отправился со мною и Нэтти. Он решил пробыть еще день в этом городе и предложил мне назавтра вместе пойти в музей искусства. Нэтти был занят — его вызывали в другой город на большое совещание врачей.

IV. *Музей искусства*

— Вот уж никак не предполагал, что у вас существовали особые музеи художественных произведений,— сказал я Энно по дороге в музей.— Я думал, что скульптурные и картинные галереи — особенность именно капитализма с его показной роскошью и стремлением грубо нагромождать богатства. В социалистическом же обществе, я предполагал, искусство рассеивается повсюду рядом с жизнью, которую оно украшает.

— В этом вы и не ошибались,— отвечал Энно.— Большая часть произведений искусства предназнача-

ется у нас всегда для общественных зданий — тех, в которых мы обсуждаем наши общие дела, тех, в которых учимся и исследуем, в которых отдыхаем... Гораздо меньше мы украшаем наши фабрики и заводы: эстетика могучих машин и их стройного движения приятна нам в ее чистом виде, и очень мало таких произведений искусства, которые вполне гармонировали бы с нею, нисколько не рассеивая и не ослабляя ее впечатлений. Всего меньше мы украшаем наши дома, в которых большей частью живем очень мало. А наши музеи искусства — это научно-эстетические учреждения, это школы для изучения того, как развиваются искусства или, вернее, как развивается человечество в его художественной деятельности.

Музей находился на маленьком острове озера, который узким мостом соединялся с берегом. Самое здание, удлиненным четырехугольником окружавшее сад с высокими фонтанами и множеством синих, белых, черных, зеленых цветов, было изящно разукрашено снаружи и полно света внутри.

Там действительно не было такого сумбурного скопления статуй и картин, как в больших музеях Земли. Передо мной в нескольких сотнях образцов прошла цепь развития пластических искусств, от первобытных грубых произведений доисторической эпохи до технически идеальных произведений последнего века. И от начала до конца всюду чувствовалась печать той живой внутренней цельности, которую люди называют «гением». Очевидно, это были лучшие произведения всех эпох.

Чтобы вполне ясно понимать красоту другого мира, надо глубоко знать его жизнь, а чтобы дать другим понятие об этой красоте, необходимо быть самому органически к ней причастным... Вот почему для меня невозможно описать то, что я там видел; я могу дать только намеки, только отрывочные указания на то, что меня всего более поразило.

Основной мотив марсианской, как и нашей, скульптуры — это прекрасное человеческое тело. Различия физического сложения марсиан от сложения земных людей в общем невелики; если не считать резкой разницы в величине глаз и отчасти, значит, в устройстве черепа, то различия эти не превосходят тех, какие су-

ществуют между земными расами. Я не сумел бы точно объяснить их — для этого я слишком плохо знаю анатомию; но мой глаз легко привыкал к ним и воспринимал их почти сразу не как безобразие, а как оригинальность.

Я заметил, что мужское и женское сложение сходны в большей мере, чем у большинства земных племен: сравнительно широкие плечи женщин, не так резко, благодаря некоторой полноте выступающая мускулатура мужчин и их менее узкий таз сглаживают разницу. Это, впрочем, относится главным образом к последней эпохе — к эпохе свободного человеческого развития: в статуях капиталистического периода половые различия выражены сильнее. Очевидно, домашнее рабство женщины и лихорадочная борьба за существование мужчины искажают их тело в двух несходных направлениях.

Ни на минуту не исчезало во мне то ясное, то смутное сознание, что передо мною образы чужого мира; оно придавало всем впечатлениям какую-то странную, полупризрачную окраску. И даже прекрасное женское тело этих статуй и картин вызывало во мне непонятное чувство, как будто совсем непохожее на знакомое мне любовно-эстетическое влечение, а похожее скорее на те неясные предчувствия, которые волновали меня когда-то давно, на границе детства и юности.

Статуи ранних эпох были одноцветные, как у нас, позднейшие — естественных цветов. Это меня не удивило. Я всегда думал, что отклонение от действительности не может быть необходимым элементом искусства, что оно даже антихудожественно, когда уменьшает богатство восприятия, как одноцветность скульптуры, что оно в этом случае не помогает, а мешает художественной идеализации, концентрирующей жизнь.

В статуях и картинах древних эпох, как в нашей античной скульптуре, преобладали образы безмятежной гармонии, свободной от всякого напряжения. В средние, переходные эпохи выступает иной характер: порыв, страсть, волнующее стремление, иногда смягченное до степени блуждания мечты, эротической или религиозной, иногда резко прорывающееся в предельном напряжении неуравновешенных сил души и тела. В социалистическую эпоху основной характер

опять меняется: это гармоничное движение, спокойно уверенное проявление силы, действия, чуждое болезненности усилия, стремление, свободное от волнения, живая активность, проникнутая сознанием своего стройного единства и своей непобедимой разумности.

Если идеальная женская красота древнего искусства выражала беспредельную возможность любви, а идеальная красота средних веков и времен Возрождения — неутолимую жажду любви, мистическую или чувственную, то здесь, в идеальной красоте другого идущего впереди нас мира, воплощалась сама любовь в ее спокойном и гордом самосознании, сама любовь — ясная, светлая, всепобеждающая...

Для позднейших художественных произведений, как и для древних, характерна чрезвычайная простота и единство мотива. Изображаются очень сложные человеческие существа с богатым и стройным жизненным содержанием, и при этом выбираются такие моменты их жизни, когда вся она сосредоточивается в одном каком-нибудь чувстве, стремлении... Любимые темы новейших художников — экстаз творческой мысли, экстаз любви, экстаз наслаждения природой, спокойствие добровольной смерти,— сюжеты, глубоко очерчивающие сущность великого племени, которое умеет жить со всей полнотой и напряженностью, умирать сознательно и с достоинством.

Отдел живописи и скульптуры составлял одну половину музея, другая была посвящена всецело архитектуре. Под архитектурой марсиане понимают не только эстетику зданий и больших инженерных сооружений, но также эстетику мебели, орудий, машин, вообще эстетику всего материально-полезного. Какую громадную роль в их жизни играет это искусство, о том можно было судить по особенной полноте и тщательности составления этой коллекции. От первобытных пещерных жилищ с их грубо украшенной утварью до роскошных общественных домов из стекла и алюминия с их внутренней обстановкой, исполненной лучшими художниками, до гигантских заводов с их грозно-красивыми машинами, до величайших каналов с их гранитными набережными и воздушными мостами,— тут были представлены все типические формы в виде картин, чертежей, моделей и особенно стереограмм в

больших стереоскопах, где все воспроизводилось с полной иллюзией тождества. Особое место занимала эстетика садов, полей и парков; и как ни была непривычна для меня природа планеты, но даже мне часто была понятна красота тех сочетаний цветов и форм, которые создавались из этой природы коллективным гением племени с большими глазами.

В произведениях прежних эпох очень часто, как и у нас, изящество достигалось за счет удобства, украшения вредили прочности, искусство совершало насилие над прямым полезным назначением предметов. Ничего подобного мой глаз не улавливал в произведениях новейшей эпохи — ни в ее мебели, ни в ее орудиях, ни в ее сооружениях. Я спросил Энно, допускает ли их современная архитектура уклонение от практического совершенства предметов ради их красоты.

— Никогда,— отвечал Энно,— это была бы фальшивая красота, искусственность, а не искусство.

В досоциалистические времена марсиане ставили памятники своим великим людям; теперь они ставят памятники только великим событиям; таким, как первая попытка достигнуть Земли, закончившаяся гибелью исследователей, таким, как уничтожение смертельной эпидемической болезни, таким, как открытие разложения и синтеза всех химических элементов. Ряд памятников был представлен в стереограммах того же отдела, где находились гробницы и храмы (у марсиан раньше существовали и религии). Одним из последних памятников великим людям был памятник того инженера, о котором рассказывал мне Мэнни. Художник сумел ясно представить силу души человека, победоносно руководившего армией труда в борьбе с природой и гордо отвергнувшего трусливый суд нравственности над его поступками. Когда я в невольной задумчивости остановился перед панорамой памятника, Энно тихо произнес несколько стихов, выражавших сущность душевной трагедии героя.

— Чьи это стихи? — спросил я.

— Мои,— ответил Энно,— я написал их для Мэнни.

Я не мог вполне судить о внутренней красоте стихов на чуждом еще для меня языке; но несомненно, что их мысль была ясна, ритм очень стройный, рифма

звучная и богатая. Это дало новое направление моим мыслям.

— Значит, у вас в поэзии еще процветают строгий ритм и рифма?

— Конечно,— с оттенком удивления сказал Энно.— Разве это кажется вам некрасивым?

— Нет, вовсе не то,— объяснил я,— но у нас распространено мнение, что эта форма была порождена вкусами господствующих классов нашего общества, как выражение их похотливости и пристрастия к условностям, сковывающим свободу художественной речи. Из этого делают вывод, что поэзия будущего, поэзия эпохи социализма должна отвергнуть и забыть эти стеснительные законы.

— Это совершенно несправедливо,— горячо возразил Энно.— Правильно ритмическое кажется нам красивым вовсе не из пристрастия к условному, а потому, что оно глубоко гармонирует с ритмической правильностью процессов нашей жизни и сознания. А рифма, завершающая ряд многообразий в одинаковых конечных аккордах, разве она не находится в таком же глубоком родстве с той жизненной связью людей, которая их внутреннее многообразие увеличивает единством наслаждения в искусстве? Без ритма вообще нет художественной формы. Где нет ритма звуков, там должен быть, и притом тем строже, ритм идей... А если рифма действительно феодального происхождения, то ведь это можно сказать и о многих других хороших и красивых вещах.

— Но ведь рифма в самом деле стесняет и затрудняет выражение поэтической идеи?

— Так что же из этого? Ведь это стеснение вытекает из цели, которую свободно ставит себе художник. Оно не только затрудняет, но и совершенствует выражение поэтической идеи, и только ради этого оно и существует. Чем сложнее цель, тем труднее путь к ней и, следовательно, тем больше стеснений на этом пути. Если вы хотите построить красивое здание, сколько правил техники и гармонии будут определять и, значит, «стеснять» вашу работу! Вы свободны в выборе целей — это и есть единственная человеческая свобода. Но раз вы желаете цели, тем самым вы желаете и средств, которыми она достигается.

Мы сошли в сад отдохнуть от массы впечатлений. Был уже вечер, ясный и мягкий весенний вечер. Цветы начинали свертывать свои чашечки и листья, чтобы закрыть их на ночь; эта общая особенность растений Марса, порожденная его холодными ночами. Я возобновил начатый разговор.

— Скажите, какие роды беллетристики у вас теперь преобладают?

— Драма, особенно трагедия, и поэзия картин природы,— ответил Энно.

— В чем же содержание вашей трагедии? Где материал для нее в вашем счастливом мирном сосуществовании?

— Счастливое? мирное? откуда вы это взяли? У нас царствует мир между людьми, это правда, но нет мира со стихийностью природы, и не может его быть. А это такой враг, в самом поражении которого всегда есть новая угроза. За последний период нашей истории мы в десятки раз увеличили эксплуатацию нашей планеты, наша численность возрастает, и еще несравненно быстрее растут наши потребности. Опасность истощения природных сил и средств уже не раз вставала перед нами то в одной, то в другой области труда. До сих пор нам удавалось преодолеть ее, не прибегая к ненавистному сокращению жизни — в себе и в потомстве; но именно теперь борьба принимает особенно серьезный характер.

—Я никак не думал, что при вашем техническом и научном могуществе возможны такие опасности. Вы говорите, что это уже случалось в вашей истории?

— Еще семьдесят лет тому назад, когда иссякли запасы каменного угля, а переход на водяную и электрическую энергию был далеко еще не завершен, нам, чтобы выполнить громадную перестройку машин, пришлось истребить значительную долю дорогих нам лесов нашей планеты, что на десятки лет обезобразило ее и ухудшило климат. Потом, когда мы оправились от этого кризиса, лет двадцать тому назад, оказалось, что приходят к концу железные руды. Началось спешное изучение твердых сплавов алюминия, и громадная доля технических сил, которыми мы располагали, была направлена на электрическое добывание алюминия из почвы. Теперь, по вычислениям статистиков,

нам угрожает через тридцать лет недостаток пищи, если до того времени не будет выполнен синтез белковых веществ из элементов.

— А другие планеты? — возразил я.— Разве там вы не можете найти, чем пополнить недостаток?

— Где? Венера, по-видимому, еще недоступна. Земля? Она имеет свое человечество, и вообще до сих пор не выяснено, насколько удастся нам использовать ее силы. На переезд туда нужна каждый раз громадная затрата энергии; а запасы радиирующей материи, необходимой для этого, по словам Мэнни, который недавно рассказывал мне о своих последних исследованиях, очень невелики на нашей планете. Нет, трудности повсюду значительны; и чем теснее наше человечество смыкает свои ряды для завоевания природы, тем теснее смыкаются и стихии для мести за победы.

— Но всегда же достаточно, например, сократить размножение, чтобы поправить дело?

— Сократить размножение? Да ведь это и есть победа стихий. Это отказ от безграничного роста жизни, это неизбежная ее остановка на одной из ближайших ступеней. Мы побеждаем, пока нападаем. Когда же мы откажемся от роста нашей армии, это будет значить, что мы уже осаждены стихиями со всех сторон. Тогда станет ослабевать вера в нашу коллективную силу, в нашу великую общую жизнь. А вместе с этой верой будет теряться и смысл жизни каждого из нас, потому что в каждом из нас, маленьких клеток великого организма, живет целое, и каждый живет этим целым. Нет! сократить размножение — это последнее, на что мы бы решились; а когда это случится помимо нашей воли, то оно будет началом конца.

— Ну хорошо, я понимаю, что трагедия целого для вас всегда существует, по крайней мере, как угрожающая возможность. Но пока победа остается еще за человечеством, личность достаточно защищена от этой трагедии коллективностью; даже когда наступает прямая опасность, гигантские усилия и страдания напряженной борьбы так ровно распределяются между бесчисленными личностями, что не могут серьезно нарушить их спокойного счастья. А для такого счастья у вас, кажется, есть все, что надо.

— Спокойное счастье! Да разве может личность не чувствовать сильно и глубоко потрясений жизни целого, в котором ее начало и конец? И разве не возникает глубоких противоречий жизни из самой ограниченности отдельного существа по сравнению с его целым, из самого бессилия вполне слиться с этим целым, вполне растворить в нем свое сознание и охватить его своим сознанием? Вам не понятны эти противоречия? Это потому, что они затемнены в вашем мире другими, более близкими и грубыми. Борьба классов, групп, личностей отнимает у вас идею целого, а с ней и то счастье, и те страдания, которые она приносит. Я видел ваш мир; я не мог бы вынести десятой доли того безумия, среди которого живут ваши братья. Но именно поэтому я не взялся бы решить, кто из нас ближе к спокойному счастью: чем жизнь стройнее и гармоничнее, тем мучительнее в ней неизбежные диссонансы.

— Но скажите, Энно, разве, например, вы не счастливый человек? Молодость, наука, поэзия и, наверное, любовь... Что могли вы испытать такого тяжелого, чтобы говорить настолько горячо о трагедии жизни?

— Это очень удачно,— засмеялся Энно, и странно звучал его смех.— Вы не знаете, что веселый Энно один раз уже решил было умереть. И если бы Мэнни всего на один день опоздал написать ему шесть слов, расстроивших все расчеты: «Не хотите ли ехать на Землю?» — то у вас не было бы вашего веселого спутника. Но сейчас я не сумел бы объяснить вам всего этого. Вы сами увидите потом, что если есть у нас счастье, так только не то мирное и спокойное счастье, о котором вы говорили.

Я не решился идти дальше в вопросах. Мы встали и вернулись в музей. Но я не мог больше систематически осматривать коллекции: мое внимание было рассеяно, мысли ускользали. Я остановился в отделе скульптуры перед одной из новейших статуй, изображавших прекрасного мальчика. Черты его лица напоминали Нэтти; но всего больше меня поразило то искусство, с которым художник сумел в несложившемся теле, в незаконченных чертах, в тревожных, пытливо вглядывающихся глазах ребенка воплотить зарождающуюся гениальность. Я долго неподвижно стоял

перед статуей, и все остальное успело исчезнуть из моего сознания, когда голос Энно заставил меня очнуться.

— Это вы,— сказал он, указывая на мальчика,— это ваш мир. Это будет чудесный мир, но он еще в детстве; и посмотрите, какие смутные грезы, какие тревожные образы волнуют его сознание... Он в полусне, но он проснется, я чувствую это, я глубоко верю в это!

К радостному чувству, которое вызвали во мне эти слова, примешивалось странное сожаление:

«Зачем не Нэтти сказал это!»

V. *В лечебнице*

Я возвратился домой очень утомленный, а после двух бессонных ночей и целого дня полной неспособности к работе я решил опять отправиться к Нэтти, так как мне не хотелось обращаться к незнакомому врачу химического городка. Нэтти с утра работал в лечебнице; там я и нашел его за приемом приходящих больных.

Когда Нэтти увидал меня в приемной, он тотчас подошел ко мне, внимательно посмотрел на мое лицо, взял за руку и отвел в отдельную маленькую комнату, где с мягким голубым светом смешивался легкий, приятный запах незнакомых мне духов и тишина ничем не нарушалась. Там он удобно усадил меня в глубокое кресло и сказал:

— Ни о чем не думайте, ни о чем не заботьтесь. На сегодня я беру все это себе. Отдохните, я потом приду.

Он ушел, а я ни о чем не думал, ни о чем не заботился, так как он взял на себя все мысли и заботы. Это было очень приятно, и через несколько минут я заснул. Когда я очнулся, Нэтти опять стоял передо мной и с улыбкой смотрел на меня.

— Вам теперь лучше? — спросил он.

— Я совершенно здоров, а вы — гениальный врач,— отвечал я.— Идите к своим больным и не беспокойтесь обо мне.

— Моя работа на сегодня уже кончена. Если хотите, я покажу вам нашу лечебницу,— предложил Нэтти.

Мне это было очень интересно, и мы отправились в обход по всему обширному красивому зданию.

Среди больных преобладали хирургические и нерв-

ные. Большая часть хирургических были жертвы несчастных случаев с машинами.

— Неужели у вас на заводах и фабриках недостаточно ограждений? — спросил я Нэтти.

— Абсолютных ограждений, при которых несчастные случаи были бы невозможны, почти не существует. Но здесь собраны эти больные из района с населением больше двух миллионов человек,— на такой район несколько десятков пострадавших не так много. Чаще всего это новички, еще не освоившиеся с устройством машин, на которых работают: у нас ведь все любят переходить из одной области производства в другую. Специалисты, ученые и художники особенно легко становятся жертвами своей рассеянности: внимание им часто изменяет, они задумываются или забываются в созерцании.

— А нервные больные — это, конечно, главным образом от переутомления?

— Да, таких немало. Но не меньше и болезней, вызванных волнениями и кризисами половой жизни, а также другими душевными потрясениями, например, смертью близких людей.

— А здесь есть душевнобольные с затемненным или спутанным сознанием?

— Нет, таких здесь нет; для них есть отдельные лечебницы. Там нужны особые приспособления для тех случаев, когда больной может причинить вред себе или другим.

— В этих случаях и у вас прибегают к насилию над больными?

— Настолько, насколько это безусловно необходимо, разумеется.

— Вот уже второй раз я встречаюсь с насилием в вашем мире. Первый раз это было в «доме детей». Скажите: вам, значит, не удается вполне устранить эти элементы из вашей жизни, вы принуждены их сознательно допускать?

— Да, как мы допускаем болезнь и смерть или, пожалуй, как горькое лекарство. Какое же разумное существо откажется от насилия, например, для самозащиты?

— Знаете, для меня это значительно уменьшает пропасть между нашими мирами.

— Но ведь их главное различие вовсе не в том заключается, что у вас много насилия и принуждения, а у нас мало. Главное различие в том, что у вас то и другое облекается в законы, внешние и внутренние, в нормы права и нравственности, которые господствуют над людьми и постоянно тяготеют над ними. У нас же насилие существует либо как проявление болезни, либо как разумный поступок разумного существа. В том и другом случае ни из него, ни для него не создается никаких общественных законов и норм, никаких личных или безличных повелений.

— Но установлены же у вас правила, по которым вы ограничиваете свободу ваших душевнобольных или ваших детей?

— Да, чисто научные правила ухода за больными и педагогики. Но, конечно, и в этих технических правилах вовсе не предусматриваются ни все случаи необходимости насилия, ни все способы его применения, ни его степень,— все это зависит от совокупности действительных условий.

— Но если так, то здесь возможен настоящий произвол со стороны воспитателей или тех, кто ухаживает за больными?

— Что означает это слово — «произвол»? Если оно означает ненужное, излишнее насилие, то оно возможно только со стороны больного человека, который сам подлежит лечению. А разумный и сознательный человек, конечно, не способен на это.

Мы миновали комнаты больных, операционные, комнаты лекарств, квартиры ухаживающих за больными и, поднявшись в верхний этаж, прошли в большую красивую залу, через прозрачные стены которой открывался вид на озеро, лес и отдаленные горы. Комнату украшали высокохудожественные статуи и картины, мебель была роскошна и изящна.

— Это комната умирающих,— сказал Нэтти.

— Вы приносите сюда всех умирающих? — спросил я.

— Да, или они сами сюда приходят,— отвечал Нэтти.

— Но разве ваши умирающие могут еще сами ходить? — удивился я.

— Те, которые физически здоровы, конечно, могут.

Я понял, что речь шла о самоубийцах.

— Вы предоставляете самоубийцам эту комнату для выполнения их дела?

— Да, и все средства спокойной, безболезненной смерти.

— И при этом никаких препятствий?

— Если сознание пациента ясно и его решение твердо, то какие же могут быть препятствия? Врач, конечно, сначала предлагает больному посоветоваться с ним. Некоторые соглашаются на это, другие нет.

— И самоубийства очень часты между вами?

— Да, особенно среди стариков. Когда чувство жизни слабеет и притупляется, тогда многие предпочитают не ждать естественного конца.

— Но вам приходится сталкиваться и с самоубийством молодых людей, полных сил и здоровья?

— Да, бывает и это, но это нечасто. На моей памяти в этой лечебнице было два таких случая; в третьем случае попытку удалось остановить.

— Кто же были эти несчастные и что привело их к гибели?

— Первый был мой учитель, знаменитый врач, который внес в науку много нового. У него была чрезмерно развита способность чувствовать страдания других людей. Это направило его ум и энергию в сторону медицины, но это и погубило его. Он не вынес. Свое душевное состояние он скрывал от всех так хорошо, что крушение произошло совершенно неожиданно. Это случилось после тяжелой эпидемии, возникшей при работах по осушению одного морского залива, вследствие разложения нескольких сот миллионов килограммов погибшей при этом рыбы. Болезнь была мучительна, как ваша холера, но еще гораздо опаснее и в девяти случаях из десяти оканчивалась смертью. Благодаря этой слабой возможности выздоровления врачи не могли даже исполнять просьб своих больных о скорой и легкой смерти: ведь нельзя считать вполне сознательным человека, захваченного острой лихорадочной болезнью. Мой учитель безумно работал во время эпидемии, и его исследования помогли довольно скоро покончить с нею. Но когда это было сделано, он отказался жить.

— Сколько лет ему было тогда?

— По нашему счету — около пятидесяти. У нас это еще совсем молодой возраст.

— А другой случай?

— Это была женщина, у которой умерли муж и ребенок одновременно.

— И наконец, третий случай?

— Его мог бы рассказать вам только сам товарищ, его переживший.

— Это правда,— сказал я.— Но объясните мне другое: почему у вас, марсиан, так долго сохраняется молодость? Особенность ли это вашей расы или результат лучших условий жизни, или еще что-нибудь?

— Раса тут ни при чем: лет двести тому назад мы были вдвое менее долговечны. Лучшие условия жизни? Да, в значительной мере именно это. Но не только это. Главную роль тут играет применяемое нами обновление жизни.

— Это что же такое?

— Вещь, в сущности, очень простая, но вам она, вероятно, покажется странной. А между тем в вашей науке уже имеются все данные для этого метода. Вы знаете, что природа, чтобы повысить жизнеспособность клеток или организмов, постоянно дополняет одну особь другою. Для этой цели одноклеточные существа, когда их жизнеспособность понизится в однообразной обстановке, сливаются по два в одно, и только этим путем возвращается в полной мере способность их к размножению — «бессмертие» их протоплазмы. Такой же смысл имеет и половое скрещивание высших растений и животных: здесь также соединяются жизненные элементы двух различных существ, чтобы получился более совершенный зародыш третьего. Наконец, вы знаете уже и применение кровяных сывороток для передачи от одного существа другому элементов жизнеспособности, так сказать, по частям — в виде, например, повышенного сопротивления той или другой болезни. Мы же идем дальше и устраиваем обмен крови между двумя человеческими существами, из которых каждое может передать другому массу условий повышения жизни. Это просто одновременное переливание крови от одного человека другому и обратно, путем двойного соединения соответственными приборами их кровеносных сосудов. При соблюдении всех предосторожностей

это совершенно безопасно; кровь одного человека продолжает жить в организме другого, смешавшись там с его кровью и внося глубокое обновление во все его ткани.

— И таким образом можно возвращать молодость старикам, вливая в их жилы юношескую кровь?

— Отчасти да, но не вполне, разумеется, потому что кровь не все в организме и она, в свою очередь, им перерабатывается. Поэтому, например, молодой человек не стареет от крови пожилого: то, что в ней есть слабого, старческого, быстро преодолевается молодым организмом, но в то же время из нее усваивается многое такое, чего не хватает этому организму; энергия и гибкость его жизненных отправлений также возрастают.

— Но если это так просто, то почему же наша земная медицина до сих пор не пользуется этим средством? Ведь она знает и переливание крови уж несколько сот лет, если не ошибаюсь.

— Не знаю, может быть, есть какие-нибудь особые органические условия, которые у вас лишают это средство его значения. А может быть, это просто результат господствующей у вас психологии индивидуализма, которая так глубоко отграничивает у вас одного человека от другого, что мысль об их жизненном слиянии для ваших ученых почти недоступна. Кроме того, у вас распространена такая масса болезней, отравляющих кровь, болезней, о которых сами больные часто не знают, а иногда и просто скрывают. Практикуемое в вашей медицине — теперь очень редко — переливание крови имеет какой-то филантропический характер: тот, у кого ее много, дает другому, у которого в ней есть острая нужда, вследствие, например, большого кровотечения из раны. У нас бывает, конечно, и это; но постоянно применяется другое — то, что соответствует всему нашему строю: товарищеский обмен жизни не только в идейном, но и в физиологическом существовании...

VI. *Работа и призраки*

Впечатления первых дней, бурным потоком нахлынувшие на мое сознание, дали мне понятие о громадных размерах той работы, которая мне предстояла. Надо было прежде всего постигнуть этот мир, неизме-

римо богатый и своеобразный в своей жизненной стройности. Надо было затем войти в него не в качестве интересного музейного экземпляра, а в качестве человека среди людей, работника среди работников. Только тогда могла быть выполнена моя миссия, только тогда я мог послужить началом действительной взаимной связи двух миров, между которыми я, социалист, находился на границе как бесконечно малый момент настоящего между прошлым и будущим.

Когда я уезжал из лечебницы, Нэтти сказал мне: «Не очень спешите!» Мне казалось, что он не прав. Надо было именно спешить, надо было пустить в ход все свои силы, всю свою энергию, потому что ответственность была страшно велика! Какую колоссальную пользу нашему старому, измученному человечеству, какое гигантское ускорение его развития, его расцвета должно было принести живое, энергичное влияние высшей культуры, могучей и гармоничной! И каждый момент замедления в моей работе мог отдалять это влияние... Нет, ждать, отдыхать было некогда.

И я очень много работал. Я знакомился с наукой и техникой нового мира, я напряженно наблюдал его общественную жизнь, я изучал его литературу. Да, тут было много трудного.

Их научные методы ставили меня в тупик: я механически усваивал их, убеждался на опыте, что применение их легко, просто и непогрешимо, а между тем я не понимал их, не понимал, почему они ведут к цели, где их связь с живыми явлениями, в чем их сущность. Я был точно те старые математики XVII века, неподвижная мысль которых органически не могла усваивать живой динамики бесконечно малых величин.

Общественные собрания марсиан поражали меня своим напряженно-деловым характером. Были ли они посвящены вопросам науки, или вопросам организации работ, или даже вопросам искусства,— доклады и речи были страшно сжаты и кратки, аргументация определенна и точна, никто никогда не повторялся и не повторял других. Решения собраний, чаще всего единогласные, выполнялись со сказочной быстротой. Решало собрание ученых одной специальности, что надо организовать такое-то научное учреждение; собрание статистиков труда, что надо устроить такое-то предприя-

тие; собрание жителей города, что надо украсить его таким-то зданием,— немедленно появлялись новые цифры необходимого труда, публикуемые центральным бюро, приезжали по воздуху сотни и тысячи новых работников, и через несколько дней или недель все было уже сделано, а новые работники исчезали неизвестно куда. Все это производило на меня впечатление как будто своеобразной магии, странной магии, спокойной и холодной, без заклинаний и мистических украшений, но тем более загадочной в своем сверхчеловеческом могуществе.

Литература нового мира, даже чисто художественная, не была также для меня ни отдыхом, ни успокоением. Ее образы были как будто несложны и ясны, но как-то внутренне чужды для меня. Мне хотелось глубже в них проникнуть, сделать их близкими и понятными, но мои усилия приводили к совершенно неожиданному результату: образы становились призрачными и одевались туманом.

Когда я шел в театр, то и здесь меня преследовало все то же чувство непонятного. Сюжеты были просты, игра превосходна, а жизнь оставалась далекой. Речи героев были так сдержанны и мягки, поведение так спокойно и осторожно, их чувства подчеркивались так мало, как будто они не хотели навязывать зрителю никаких настроений, как будто они были сплошные философы да еще, как мне казалось, сильно идеализированные. Только исторические пьесы из далекого прошлого давали мне сколько-нибудь знакомые впечатления, а игра актеров там была настолько же энергична и выражения личных чувств настолько же откровенны, как я привык видеть в наших театрах.

Было одно обстоятельство, которое, несмотря на все, привлекало меня в театр нашего маленького городка с особенной силой. Это именно то, что в нем вовсе не было актеров. Пьесы, которые я там видел, либо передавались оптическими и акустическими передаточными аппаратами из далеких больших городов, либо даже — и это чаще всего — были воспроизведением игры, которая была давно, иногда так давно, что сами актеры уже умерли. Марсиане, зная способы моментального фотографирования в естественных цветах, применяли их для того, чтобы фотографировать жизнь

в движении, как это делается для наших кинематографов. Но они не только соединяли кинематограф с фонографом как это начинают делать у нас на Земле,— пока еще весьма неудачно,— но они пользовались идеей стереоскопа и превращали изображения кинематографа в рельефные. На экране давалось одновременно два изображения — две половины стереограммы, а перед каждым креслом зрительной залы был прикреплен соответствующий стереоскопический бинокль, который сливал два плоских изображения в одно, но всех трех измерений. Было странно видеть ясно и отчетливо живых людей, которые движутся, действуют, выражают свои мысли и чувства, и сознавать в то же время, что там ничего нет, а есть матовая пластинка и за нею — фонограф и электрический фонарь с часовым механизмом. Это было почти мистически странно и порождало смутное сомнение во всей действительности.

Все это, однако, не облегчало мне выполнения моей задачи — понять чужой мир. Мне, конечно, нужна была помощь со стороны. Но я все реже обращался к Мэнни за указаниями и объяснениями. Мне было неловко обнаруживать свои затруднения во всем их объеме. К тому же внимание Мэнни в это время было страшно занято одним важным исследованием из области добывания «минус-материи». Он работал неутомимо, часто не спал целые ночи, и мне не хотелось мешать ему и отвлекать его; а его увлечение работой было как будто живым примером, который невольно побуждал меня идти дальше в своих усилиях.

Остальные друзья между тем временно исчезли с моего горизонта. Пэтти уехал за несколько тысяч километров руководить устройством и организацией новой гигантской лечебницы в другом полушарии планеты. Энно был занят как помощник Стэрни в его обсерватории измерениями и вычислениями, необходимыми для новых экспедиций на Землю и Венеру, а также для экспедиций на Луну и Меркурий с целью их лучше сфотографировать и привезти образчики их минералов. С другими марсианами я близко не сходился, а ограничивался необходимыми расспросами и деловыми разговорами: трудно и странно было сближаться с чуждыми мне и высшими, чем я, существами.

С течением времени мне стало казаться, что работа моя идет, в сущности, недурно. Я все меньше нуждался в отдыхе и даже в сне. То, что я изучал, как-то механически легко и свободно стало укладываться в моей голове, и при этом ощущение было таково, словно голова совершенно пуста и в ней можно поместить еще очень, очень много. Правда, когда я пытался по старой привычке отчетливо формулировать для себя то, что узнавал, это мне большей частью не удавалось; но я находил, что это неважно, что мне не хватает только выражений да каких-нибудь частностей и мелочей, а общее понятие у меня имеется, и это главное.

Никакого живого удовольствия мне мои занятия уже не доставляли; ничто не вызывало во мне прежнего непосредственного интереса. «Что же, это вполне понятно,— думал я,— после всего, что я видел и узнал, меня трудно чем-нибудь еще удивить; дело не в том, чтобы это мне было приятно, а в том, чтобы овладеть всем, чем надо».

Только одно было непонятно: все труднее становилось сосредоточивать внимание на одном предмете. Мысли отвлекались то и дело то в одну, то в другую сторону; яркие воспоминания, часто очень неожиданные и далекие, всплывали в сознании и заставляли забывать окружающее, отнимая драгоценные минуты. Я замечал это, спохватывался и с новой энергией принимался за работу; но проходило короткое время, и снова летучие образы прошлого или фантазии овладевали моим мозгом, и снова приходилось подавлять их резким усилием.

Все чаще меня тревожило какое-то странное, беспокойное чувство, точно было что-то важное и спешное, чего я не исполнил и о чем все забываю и стараюсь вспомнить. Вслед за этим чувством поднимался целый рой знакомых лиц и минувших событий и неудержимым потоком уносил меня все дальше назад, через юность и отрочество к самому раннему детству, теряясь затем в каких-то смутных и неясных ощущениях. После этого моя рассеянность становилась особенно сильной и упорной.

Подчиняясь внутреннему сопротивлению, которое не давало мне долго сосредоточиваться на чем-нибудь одном, я начинал все чаще и быстрее переходить от

предмета к предмету и для этого нарочно собирал в своей комнате целые груды книг, раскрытых заранее на нужном месте, таблиц, карт, стенограмм, фонограмм и т. д. Таким путем я надеялся устранить потерю времени, но рассеянность все незаметнее подкрадывалась ко мне, и я ловил себя на том, что уже долго смотрю в одну точку, ничего не понимая и ничего не делая.

Зато когда я ложился в постель и смотрел сквозь стеклянную крышу на темное небо, тогда мысль начинала самовольно работать с удивительной живостью и энергией. Целые страницы цифр и формул выступали перед моим внутренним зрением с такой ясностью, что я мог перечитывать их строчка за строчкой. Но эти образы скоро уходили, уступая место другим; и тогда мое сознание превращалось в какую-то панораму удивительно ярких и отчетливых картин, не имевших уже ничего общего с моими занятиями и заботами: земные ландшафты, театральные сцены, картины детских сказок спокойно, точно в зеркале, отражались в моей душе и исчезали и сменялись, не вызывая никакого волнения, а только легкое чувство интереса или любопытства, не лишенное очень слабого приятного оттенка. Эти отражения сначала проходили внутри моего сознания, не смешиваясь с окружающей обстановкой, потом они ее вытесняли, и я погружался в сон, полный живых и сложных сновидений, очень легко прерывавшийся и не дававший мне главного, к чему я стремился,— чувства отдыха.

Шум в ушах уже довольно давно меня беспокоил, а теперь он становился все постояннее и сильнее, так что иногда мешал мне слушать фонограммы, а по ночам уносил остатки сна. Время от времени из него выделялись человеческие голоса, знакомые и незнакомые; часто мне казалось, что меня окликают по имени, часто казалось, что я слышу разговор, слов которого из-за шума не могу разобрать. Я стал понимать, что уже не совсем здоров, тем более что рассеянность окончательно овладела мною и я не мог даже читать больше нескольких строчек подряд.

«Это, конечно, просто переутомление,— думал я.— Мне надо только больше отдыхать; я, пожалуй, слишком много работал. Но не надо, чтобы Мэнни заметил,

что со мной происходит: это слишком похоже на банкротство с первых же шагов моего дела».

И когда Мэнни заходил ко мне в комнату — это бывало тогда, правда, не часто,— я притворялся, что усердно занимаюсь. А он замечал мне, что я работаю слишком много и рискую переутомиться.

— Особенно сегодня у вас нездоровый вид,— говорил он.— Посмотрите в зеркало, как блестят ваши глаза и как вы бледны. Вам надо отдохнуть, вы этим выиграете в дальнейшем.

И я сам очень хотел бы этого, но мне не удавалось. Правда, я почти ничего не делал, но меня утомляло уже всякое, самое маленькое усилие; а бурный поток живых образов, воспоминаний и фантазий не прекращался ни днем, ни ночью. Окружающее как-то бледнело и терялось за ними и приобретало призрачный оттенок.

Наконец я должен был сдаться. Я видел, что вялость и апатия все сильнее овладевают моей волей и я все меньше могу бороться со своим состоянием. Раз утром, когда я встал с постели, у меня все сразу потемнело в глазах. Но это быстро прошло, и я подошел к окну, чтобы посмотреть на деревья парка. Вдруг я почувствовал, что на меня кто-то смотрит. Я обернулся — передо мной стояла Анна Николаевна. Лицо ее было бледно и грустно, взгляд полон упрека. Меня это огорчило, и я, совершенно не думая о странности ее появления, сделал шаг по направлению к ней и хотел сказать что-то. Но она исчезла, как будто растаяла в воздухе.

С этого момента началась оргия призраков. Многого я, конечно, не помню, и, кажется, сознание часто спутывалось у меня наяву, как во сне. Приходили и уходили или просто появлялись и исчезали самые различные люди, с какими я встречался в своей жизни, и даже совершенно незнакомые мне. Но между ними не было марсиан, это были все земные люди, большей частью те, которых я давно не видал,— старые школьные товарищи, молодой брат, который умер еще в детстве. Как-то раз через окно я увидел на скамейке знакомого шпиона, который со злобной насмешкой смотрел на меня своими хищными, бегающими глазами.

Призраки не разговаривали со мной, а ночью, когда было тихо, слуховые галлюцинации продолжались и усиливались, превращаясь в целые связные, но нелепобессодержательные разговоры большею частью между неизвестными мне лицами: то пассажир торговался с извозчиком, то приказчик уговаривал покупателя взять у него материю, то шумела университетская аудитория, а субинспектор убеждал успокоиться, потому что сейчас придет господин профессор. Зрительные галлюцинации были, по крайней мере, интересны, да и мешали мне гораздо меньше и реже.

После появления Анны Николаевны я, разумеется, сказал все Мэнни. Он тотчас уложил меня в постель, позвал ближайшего врача и телефонировал Нэтти за шесть тысяч километров. Врач сказал, что он не решается что-нибудь предпринять, потому что недостаточно знает организацию земного человека, но что, во всяком случае, главное для меня — спокойствие и отдых, и тогда неопасно подождать несколько дней, пока приедет Нэтти.

Нэтти явился на третий день, передав все свое дело другому. Увидав, в каком я состоянии, он с грустным упреком взглянул на Мэнни.

VII. *Нэтти*

Несмотря на лечение такого врача, как Нэтти, болезнь продолжалась еще несколько недель. Я лежал в постели, спокойный и апатичный, одинаково равнодушно наблюдая действительность и призраки; даже постоянное присутствие Нэтти доставляло мне лишь очень слабое, едва заметное удовольствие.

Мне странно вспоминать о своем тогдашнем отношении к галлюцинациям: хотя десятки раз мне приходилось убеждаться в их нереальности, но каждый раз, как они появлялись, я как будто забывал все это; даже если мое сознание не затемнялось и не спутывалось, я принимал их за действительные лица и вещи. Понимание их призрачности выступало только после их исчезновения или перед самым исчезновением.

Главные усилия Нэтти в его лечении были направлены на то, чтобы заставить меня спать и отдыхать. Никаких лекарств для этого, однако, и он применять

не решался, боясь, что все они могут оказаться ядами для земного организма. Несколько дней ему не удавалось усыпить меня его обычными способами: галлюцинаторные образы врывались в процесс внушения и разрушали его действие. Наконец ему удалось это, и, когда я проснулся после двух-трех часов сна, он сказал:

— Теперь ваше выздоровление несомненно, хотя болезнь еще довольно долго будет идти своим путем.

И она в самом деле шла своим путем. Галлюцинации становились реже, но они не были менее живыми и яркими; они даже стали несколько сложнее,— иногда призрачные гости вступали в разговор со мною.

Но из этих разговоров только один имел смысл и значение для меня. Это было в конце болезни.

Проснувшись утром, я увидал около себя по обыкновению Нэтти, а за его креслом стоял мой старший товарищ по революции, пожилой человек и очень злой насмешник, агитатор Ибрагим. Он как будто ожидал чего-то. Когда Нэтти вышел за другую комнату приготовить ванну, Ибрагим грубо и решительно сказал мне:

— Ты дурак! Чего ты зеваешь? Разве ты не видишь, кто твой доктор?

Я как-то мало удивился намеку, заключавшемуся в этих словах, а их циничный тон не возмутил меня — он был мне знаком и очень обычен для Ибрагима. Но я вспомнил железное пожатие маленькой руки Нэтти и не поверил Ибрагиму.

— Тем хуже для тебя! — сказал он с презрительной усмешкой и в ту же минуту исчез.

В комнату вошел Нэтти. При виде его я почувствовал странную неловкость. Он пристально посмотрел на меня.

— Это хорошо,— сказал он.— Ваше выздоровление идет быстро.

Весь день после этого он был как-то особенно молчалив и задумчив. На другой день, убедившись, что я чувствую себя хорошо и галлюцинации не повторяются, он уехал по своим делам до самой ночи, заменив себя другим врачом. После этого в течение целого ряда дней он являлся лишь по вечерам, чтобы усыпить меня на ночь. Тогда только мне стало ясно, насколько

для меня важно и приятно его присутствие. Вместе с волнами здоровья, которые как будто вливались в мой организм из всей окружающей природы, стали все чаще приходить размышления о намеке Ибрагима. Я колебался и всячески убеждал себя, что это нелепость, порожденная болезнью: из-за чего бы Нэтти и прочим друзьям обманывать меня относительно этого? Тем не менее смутное сомнение оставалось, и оно мне было приятно.

Иногда я допрашивал Нэтти, какими делами он сейчас занят. Он объяснял мне, что идет ряд собраний, связанных с устройством новых экспедиций на другие планеты, и он там нужен как эксперт. Мэнни руководил этими собраниями; но ни Нэтти, ни он не собирались скоро ехать, что меня очень радовало.

— А вы сами не думаете ехать домой? — спросил меня Нэтти, и в его тоне я подметил беспокойство.

— Но ведь я еще ничего не успел сделать,— отвечал я.

Лицо Нэтти просияло.

— Вы ошибаетесь, вы сделали многое... даже и этим ответом,— сказал он.

Я чувствовал в этом намек на что-то такое, чего я не знаю, но что касается меня.

— А не могу ли я отправиться с вами на одно из этих совещаний? — спросил я.

— Ни в каком случае! — решительно заявил Нэтти.— Кроме безусловного отдыха, который вам нужен, вам надо еще целые месяцы избегать всего, что имеет тесную связь с началом вашей болезни.

Я не спорил. Мне было так приятно отдыхать; а мой долг перед человечеством ушел куда-то далеко. Меня беспокоили только, и все сильнее, странные мысли о Нэтти.

Раз вечером я стоял у окна и смотрел на темневшую внизу таинственную красную «зелень» парка, и она казалась мне прекрасной, и не было в ней ничего чуждого моему сердцу. Раздался легкий стук в дверь; я сразу почувствовал, что это Нэтти. Он вошел своей быстрой, легкой походкой и, улыбаясь, протянул мне руку — старое, земное приветствие, которое нравилось ему. Я радостно сжал его руку с такой энергией, что и его сильным пальцам пришлось плохо.

— Ну, я вижу, моя роль врача окончена,— смеясь, сказал он.— Тем не менее я должен еще вас порасспросить, чтобы твердо установить это.

Он расспрашивал меня, я бестолково отвечал ему в непонятном смущении и читал скрытый смех в глубине его больших-больших глаз. Наконец я не выдержал:

— Объясните мне, откуда у меня такое сильное влечение к вам? Почему я так необыкновенно рад вас видеть?

— Всего скорее, я думаю, оттого, что я лечил вас, и вы бессознательно переносите на меня радость выздоровления. А может быть... и еще одно... это, что я... женщина...

Молния блеснула перед моими глазами, и все потемнело вокруг, и сердце словно перестало биться... Через секунду я как безумный сжимал Нэтти в своих объятиях и целовал ее руки, ее лицо, ее большие, глубокие глаза, зеленовато-синие, как небо ее планеты.

Великодушно и просто Нэтти уступала моим необузданным порывам... Когда я очнулся от своего радостного безумия и вновь целовал ее руки с невольными слезами благодарности на глазах,— то была, конечно, слабость от перенесенной болезни,— Нэтти сказала со своей милой улыбкой:

— Да, мне казалось сейчас, что весь ваш юный мир я чувствую в своих объятиях. Его деспотизм, его эгоизм, его отчаянная жажда счастья — все было в ваших ласках. Ваша любовь сродни убийству... Но... я люблю вас, Лэнни...

Это было счастье.

Часть III

I. *Счастье*

Эти месяцы... Когда я их вспоминаю, трепет охватывает мое тело, и туман застилает мои глаза, и все вокруг кажется ничтожным. И нет слов, чтобы выразить минувшее счастье.

Новый мир стал мне близок и, казалось, вполне понятен. Прошлые поражения не смущали меня,

юность и вера возвратились ко мне и, я думал, никогда не уйдут больше. У меня был надежный и сильный союзник, слабости не было места, будущее принадлежало мне.

К прошлому мысль моя возвращалась редко, а больше всего к тому, что касалось Нэтти и нашей любви.

— Зачем вы скрывали от меня свой пол? — спросил я ее вскоре после того вечера.

— Сначала это произошло само собой, случайно. Но потом я поддерживала ваше заблуждение вполне сознательно и даже умышленно изменила в своем костюме все то, что могло навести вас на истину. Меня напугала трудность и сложность вашей задачи, я боялась усложнить ее еще больше, особенно когда заметила ваше бессознательное влечение ко мне. Я и сама не вполне понимала себя... до вашей болезни.

— Значит, это она решила дело... Как я благодарен моим милым галлюцинациям!

— Да, когда я услышала о вашей болезни, это было как громовой удар. Если бы мне не удалось вполне вылечить вас, я бы, может быть, умерла.

После нескольких секунд молчания она прибавила:

— А знаете, в числе ваших друзей есть еще одна женщина, о которой вы этого не подозревали, и она также очень любит вас... конечно, не так, как я...

— Энно! — сейчас же догадался я.

— Ну конечно. И она также обманывала вас нарочно по моему совету.

— Ах, сколько обмана и коварства в вашем мире! — воскликнул я с шутливым пафосом. (...)

Дни проходили за днями, и я радостно овладевал прекрасным новым миром.

II. *Разлука*

И все-таки этот день наступил, день, о котором я не могу вспомнить без проклятья, день, когда между мной и Нэтти встала черная тень ненавистной и неизбежной... разлуки. Со спокойным и ясным, как всегда, выражением лица Нэтти сказала мне, что она должна отправиться на днях вместе с гигантской экспедицией, снаряжаемой на Венеру под руководством Мэнни.

Видя, как я ошеломлен этим известием, она прибавила:

— Это будет недолго; в случае успеха, в котором я не сомневаюсь, часть экспедиции вернется очень скоро, и я в том числе.

Затем она стала объяснять мне, в чем дело. На Марсе запасы радиоматерии, необходимой как двигатель междупланетного сообщения и как орудие разложения и синтеза всех элементов, приходили к концу: она только тратилась, и не было средств для ее возобновления. На Венере, молодой планете, которая существовала почти вчетверо меньше, чем Марс, было по несомненным признакам установлено присутствие у самой поверхности колоссальных залежей радиирующих веществ, не успевших самостоятельно разложиться. На одном острове, расположенном среди главного океана Венеры и носившем у марсиан имя «Острова горячих бурь», находилась самая богатая руда радиоматерии; и там решено было начать немедленно ее разработку. Но прежде всего для этого было необходимо постройкой очень высоких и прочных стен оградить работающих от гибельного действия влажного горячего ветра, который своей жестокостью далеко превосходит бури наших песчаных пустынь. Поэтому и потребовалась экспедиция из десяти этеронефов и полутора-двух тысяч человек, из них всего одна двадцатая для химических, а почти все остальные для строительных работ. Были привлечены лучшие научные силы, в том числе и наиболее опытные врачи: опасности здоровью угрожали и со стороны климата и со стороны убийственных лучей и эманаций радиирующего вещества. Нэтти, по ее словам, не могла уклониться от участия в экспедиции; но предполагалось, что если работы пойдут хорошо, то уже через три месяца один этеронеф отправится обратно с известиями и с запасом добытого вещества. С этим этеронефом должна была вернуться и Нэтти, значит, через 10—11 месяцев после отъезда.

Я не мог понять, почему Нэтти необходимо ехать. Она говорила мне, что предприятие слишком серьезное, чтобы от него можно было отказаться; что оно имеет большое значение и для моей задачи, так как его успех впервые даст возможность частых и широ-

ких сношений с Землею; что всякая ошибка в постановке медицинской помощи с самого начала может привести к крушению всего дела. Все это было убедительно,— я уже узнал, что Нэтти считается лучшим врачом для всех тех случаев, которые выходят из рамок старого медицинского опыта,— и все-таки мне казалось, что это не все. Я чувствовал, что тут есть что-то недоговоренное.

В одном я не сомневался — в самой Нэтти и в ее любви. Если она говорила, что ехать необходимо, значит, это было необходимо; если она не говорила почему, значит, мне не следовало ее допрашивать. Я видел страх и боль в ее прекрасных глазах, когда она думала, что я не смотрю на нее.

— Энно будет для тебя хорошим и милым другом,— сказала она с грустной улыбкой,— и Нэллу ты не забывай, она любит тебя за меня, у нее много опыта и ума, ее поддержка в трудные минуты драгоценна. А обо мне думай только одно: что я вернусь как можно скорее.

— Я верю в тебя, Нэтти,— сказал я,— и потому верю в себя, в человека, которого ты полюбила.

— Ты прав, Лэнни. И я убеждена, что из-под всякого гнета судьбы, из всякого крушения ты выйдешь верным себе, сильнее и чище, чем прежде.

Будущее бросало свою тень на наши прощальные ласки, и они смешались со слезами Нэтти.

III. *Фабрика одежды*

За те короткие месяцы я успел с помощью Нэтти в значительной мере подготовить выполнение своего главного плана — стать полезным работником марсианского общества. Я сознательно отклонял все предложения читать лекции о Земле и ее людях: было бы неразумно сделать это своей специальностью, так как это значило бы искусственно останавливать свое знание на образах своего прошлого, которое и без того не могло от меня уйти, вместо того будущего, которое надо было завоевать. Я решил поступить просто на фабрику и выбрал на первый раз, после обстоятельного сравнения и обсуждения, фабрику одежды.

Я выбрал, конечно, почти самое легкое. Но для меня и здесь потребовалась немалая и серьезная предварительная работа. Пришлось изучить выработанные наукою принципы устройства фабрик вообще, ознакомиться специально с устройством той фабрики, где мне предстояло работать, с ее архитектурой, с ее организацией труда, выяснить себе в основных чертах также устройство всех применяемых на ней машин, а той машины, с которою я специально должен был иметь дело,— конечно, во всех подробностях. При этом оказалось необходимо предварительно усвоить некоторые отделы общей и прикладной механики и технологии и даже математического анализа. Главные трудности тут возникали для меня не из содержания того, что приходилось изучать, а из формы. Учебники и руководства не были рассчитаны на человека низшей культуры. Я вспоминал, как в детстве мучил меня случайно попавшийся под руку французский учебник математики. У меня было серьезное влечение к этому предмету и, по-видимому, недюжинные способности к нему; трудные для большинства начинающих идеи «предела» и «производной» достались мне как-то незаметно, точно я всегда был знаком с ними. Но у меня не было той логической дисциплины и практики научного мышления, которую предполагал в читателе-ученике французский профессор, очень ясный и точный в выражениях, но очень скупой на объяснения. Он постоянно пропускал те логические мостики, которые могли сами собой подразумеваться для человека более высокой научной культуры, но не для юного азиата. И я не раз целыми часами думал над каким-нибудь магическим превращением, следующим за словами: «откуда, принимая во внимание предыдущие уравнения, мы выводим...». Так было со мной и теперь, только еще сильнее, когда я читал марсианские научные книги; иллюзия, которая владела мной в начале моей болезни, когда мне все казалось легко и понятно, исчезла без следа. Но терпеливая помощь Нэтти постоянно была со мною и сглаживала трудный путь.

Вскоре после отъезда Нэтти я решился и вступил на фабрику. Это было гигантское и очень сложное предприятие, совершенно не подходящее к нашему обычному представлению о фабрике одежды. Там сов-

мещалось пряденье, тканье, кройка, шитье, окраска одежды, а материалом работы служил не лен, не хлопок и вообще не волокна растений, и не шерсть, и не шелк, а нечто совсем иное.

В прежние времена марсиане приготовляли ткани для одежды приблизительно таким же способом, как это делается у нас: культивировали волокнистые растения, стригли шерсть с подходящих животных и сдирали с них кожу, разводили особые породы пауков, из паутины которых получалось вещество, подобное шелку, и т. д. Толчок к изменению техники дан был необходимостью увеличивать все более и более производство хлеба. Волокнистые растения стали вытесняться волокнистыми минералами вроде горного льна. Затем химики направили свои усилия на исследование паутинных тканей и на синтез новых веществ с аналогичными свойствами. Когда это удалось им, то за короткое время во всей этой отрасли промышленности произошла полная революция, и теперь ткани старого типа хранятся только в исторических музеях.

Наша фабрика была истинным воплощением этой революции. Несколько раз в месяц с ближайших химических заводов по рельсовым путям доставлялся «материал» для пряжи в виде полужидкого прозрачного вещества в больших цистернах. Из этих цистерн материал при помощи особых аппаратов, устраняющих доступ воздуха, переливался в огромный, высоко подвешенный металлический резервуар, плоское дно которого имело сотни тысяч тончайших микроскопических отверстий. Через отверстия вязкая жидкость продавливалась под большим давлением тончайшими струйками, которые под действием воздуха затвердевали уже в нескольких сантиметрах и превращались в прозрачные паутинные волокна. Десятки тысяч механических веретен подхватывали эти волокна, скручивали их десятками в нити различной толщины и плотности и тянули их дальше, передавая готовую «пряжу» в следующее ткацкое отделение. Там на ткацких станках нити переплетались в различные ткани, от самых нежных, как кисея и батист, до самых плотных, как сукно и войлок, которые бесконечными широкими лентами тянулись еще дальше, в мастерскую кройки. Здесь их подхватывали новые машины, тщательно складывали

во много слоев и вырезали из них тысячами заранее намеченные и размеренные по чертежам разнообразные выкройки отдельных частей костюма.

В швейной мастерской скроенные куски сшивались в готовое платье, но без всяких иголок, ниток и швейных машин. Ровно сложенные края кусков размягчались посредством особого химического растворителя, приходя в прежнее полужидкое состояние, и когда растворяющее вещество, очень летучее, через минуту испарялось, то куски материи оказывались прочно спаянными, лучше, чем это могло быть сделано каким бы то ни было швом. Одновременно с этим впаивались везде, где требовалось, и застежки, так что получались готовые части костюма — несколько тысяч образцов, различных по форме и размеру.

На каждый возраст имелось несколько сотен образцов, из которых на всякого желающего почти всегда можно было выбрать вполне подходящий, тем более что одежда у марсиан обыкновенно очень свободная. Если подходящего найти не удавалось, например вследствие не вполне нормального сложения, то немедленно снимали особую мерку, устанавливали машину для кройки по новым чертежам и «шили» специально на данное лицо, что требовало какого-нибудь часа времени.

Что касается цвета костюма, то большинство марсиан удовлетворяется обычными оттенками, темными и мягкими, в каких приготовляется самая материя. Если же требуется иной цвет, кроме того, какой оказался налицо, то костюм отправляют в красильное отделение, где в несколько минут при помощи электрохимических приемов он приобретает желательную окраску, идеально ровную и идеально прочную.

Из таких же тканей, только гораздо более плотных и прочных, и приблизительно такими же способами приготовляется обувь и теплая зимняя одежда. Наша фабрика этим не занималась, но другие, еще более крупные, производили сразу решительно все, что нужно, чтобы одеть человека с головы до ног.

Я работал поочередно во всех отделениях фабрики и вначале очень увлекался своей работой. Особенно интересно было заниматься в отделении кройки, где мне приходилось применять на деле новые для меня

способы математического анализа. Задача состояла в том, чтобы из данного куска материи с наименьшей потерей материала выкраивать все части костюма. Задача, конечно, очень прозаичная, но и очень серьезная; потому что даже минимальная ошибка, повторенная много миллионов раз, давала громадную потерю. И достигать успешного решения мне удавалось «не хуже» других.

Работать «не хуже» других — к этому я стремился всеми силами и в общем не без успеха. Но я не мог не заметить, что мне это стоит гораздо больших усилий, чем остальным работникам. После обычных 4—6 (по земному счету) часов труда я бывал сильно утомлен, и мне нужен был немедленный отдых, тогда как прочие отправлялись по музеям, библиотекам, лабораториям или на другие фабрики наблюдать производство, а иногда даже там еще работать...

Я надеялся, что придет привычка к новым видам труда и сравняет меня со всеми работниками. Но этого не было. Я все более убеждался, что у меня не хватает *культуры внимания*. Физических движений требовалось очень мало, и по их быстроте и ловкости я не уступал, даже превосходил многих. Но требовалось такое непрерывное и напряженное внимание при наблюдении за машинами и материалом, которое было очень тяжело для моего мозга: очевидно, только в ряде нескольких поколений могла развиться эта способность до той степени, какая здесь являлась обычной и средней.

Когда — обыкновенно к концу моей дневной работы — в ней начинало уже сказываться утомление и внимание мне начинало изменять, я делал ошибку или замедлял на секунду выполнение какого-нибудь акта работы, тогда неминуемо и безошибочно рука кого-нибудь из соседей поправляла дело.

Меня не только удивляла, но порой прямо возмущала их странная способность, ни на йоту не отрываясь от своего дела, замечать все происходящее вокруг. Их заботливость не столько трогала меня, сколько вызывала во мне досаду и раздражение; у меня являлось такое чувство, как будто все они постоянно следят за моими действиями... Это беспокойное настроение уве-

личивало еще более мою рассеянность и портило мою работу.

Теперь, спустя долгое время, когда я тщательно и уже беспристрастно вспоминаю все обстоятельства, я нахожу, что все это воспринималось неверно. Совершенно с такой же заботливостью и совершенно таким же образом — может быть, только менее часто — мои товарищи на фабрике помогали и друг другу. Я не был предметом какого-нибудь исключительного надзора и контроля, как мне тогда казалось. Я сам — человек индивидуалистического мира — невольно и бессознательно выделял себя из остальных и болезненно воспринимал их доброту и товарищеские услуги, за которые, как это казалось мне, человеку товарного мира, мне нечем было заплатить.

IV. *Энно*

Миновала и долгая осень; зима, малоснежная, но холодная, воцарилась в нашей области — в средних широтах северного полушария. Маленькое солнце совсем не грело и светило меньше прежнего. Природа сбросила яркие краски, стала бледной и суровой. Холод заполз в сердце, сомнения росли в душе, и нравственное одиночество пришельца из другого мира становилось все более мучительным.

Я отправился к Энно, с которой давно уже не виделся. Она встретила меня как близкого и родного человека,— точно яркий луч недалекого прошлого прорезал холод зимы и сумрак заботы. Потом я заметил, что она и сама была бледна и как будто утомлена или измучена чем-то; была какая-то скрытая печаль в ее манерах и разговоре. Нам было о чем говорить между собою, и несколько часов прошли для меня незаметно и хорошо, как не бывало с самого отъезда Нэтти.

Когда я встал, чтобы отправиться домой, нам обоим стало грустно.

— Если ваша работа не приковывает вас здесь, то поедем со мною,— сказал я.

Энно сразу согласилась, взяла с собой работу — она в это время занималась не наблюдением на обсерватории, а проверкой огромного запаса вычислений,— и мы поехали в химический городок, где я жил один в квартире Мэнни. По утрам я каждый день путешест-

вовал на свою фабрику, находившуюся в сотне километров, то есть в получасе пути оттуда, а долгие зимние вечера мы с Энно стали теперь проводить вместе в научных занятиях, разговорах и иногда прогулках по окрестностям.

Энно рассказала мне свою историю. Она любила Мэнни и была раньше его женой. Ей страстно хотелось иметь от него ребенка, но проходил год за годом, а ребенка не было. Тогда она обратилась к Нэтти за советом. Нэтти самым внимательным образом выяснила все обстоятельства и пришла к категорическому выводу, что детей никогда не будет. Мэнни слишком поздно сложился из мальчика в мужчину и слишком рано стал жить самой напряженной жизнью ученого и мыслителя. Активность его мозга своим чрезмерным развитием подорвала и подавила жизненность элементов размножения с самого начала; и это было непоправимо.

Приговор Нэтти был страшным ударом для Энно, у которой любовь к гениальному человеку и глубокий материнский инстинкт слились в одном страстном стремлении, оказавшемся вдруг безнадежным.

Но это было не все; исследование привело Нэтти еще к другому результату. Оказалось, что для гигантской умственной работы Мэнни, для полноты развития его гениальных способностей было нужно как можно больше физической сдержанности, как можно меньше любовных ласк. Энно не могла не последовать этому совету и быстро убедилась, насколько он был справедлив и разумен. Мэнни оживился, стал работать энергичнее, чем когда-либо, новые планы с необыкновенной быстротой зарождались в его голове и выполнялись особенно успешно, и, по-видимому, он нисколько не чувствовал лишения. Тогда Энно, для которой ее любовь была дороже жизни, но гений любимого человека дороже любви, сделала все выводы из того, что узнала.

Она разошлась с Мэнни; это вначале его огорчило, но потом он быстро примирился с фактом. Истинная причина разрыва осталась для него, может быть, даже неизвестной: Энно и Нэтти сохраняли ее в тайне; хотя, конечно, нельзя было знать наверное, не угадал ли проницательный ум Мэнни скрытую подкладку со-

бытий. А для Энно жизнь оказалась настолько опустошенной, подавленное чувство создавало такие страдания, что спустя короткое время молодая женщина решила умереть.

Чтобы помешать самоубийству, Нэтти, к содействию которой обратилась Энно, под разными предлогами затянула на день его выполнение, а сама известила Мэнни. Тот в это время организовывал экспедицию на Землю и тотчас послал Энно приглашение принять участие в этом важном и опасном предприятии. Уклониться было трудно. Энно приняла предложение. Масса новых впечатлений помогла ей справиться с душевною болью; и ко времени возвращения на Марс она успела уже овладеть собою настолько, что могла принять на себя вид веселого мальчика-поэта, которого я знал на этероплане.

В новую экспедицию Энно не поехала потому, что боялась вновь слишком привыкнуть к присутствию Мэнни. Но тревога за его судьбу не покидала ее, пока она оставалась в одиночестве: она слишком хорошо знала опасности предприятия. В долгие зимние вечера наши мысли и разговоры постоянно возвращались к одной и той же точке вселенной: туда, где под лучами огромного солнца, под дыханием палящего ветра самые близкие для нас обоих существа с лихорадочной энергией вели свою титанически смелую работу. Нас глубоко сближало это единство мысли и настроения. Энно была для меня более чем сестрою.

Как-то само собою, без порыва и без борьбы, наше сближение привело нас к любовным отношениям. Неизменно кроткая и добрая Энно не уклонялась от этой близости, хотя и не стремилась к ней сама. Она только решила не иметь от меня детей... Был оттенок мягкой грусти в ее ласках — ласках нежной дружбы, которая все позволяет...

А зима по-прежнему простирала над нами свои холодные, бледные крылья — долгая марсианская зима без оттепелей, бурь и метелей, спокойная и неподвижная, как смерть. И у нас обоих не было желания лететь на юг, где в это время грело солнце и полная жизни природа развертывала свою яркую одежду. Энно не хотелось той природы, слишком мало гармонировавшей с ее настроением; я же избегал новых людей и новой

обстановки, потому что знакомиться и привыкать к ним требовало нового, лишнего труда и утомления, а я и без того слишком медленно шел к своей цели. Призрачно-странной была наша дружба-любовь в царстве зимы, заботы, ожидания...

V. *У Нэллы*

Энно еще в ранней юности была самой близкой подругой Нэтти и много рассказывала мне о ней. В одном из наших разговоров мой слух поразило такое сочетание имен Нэтти и Стэрни, которое показалось мне странным. Когда я задал прямой вопрос, Энно сначала задумалась и как будто даже смутилась и затем ответила:

— Нэтти была раньше женой Стэрни. Если она этого вам не сказала, значит, и мне не следовало говорить. Я сделала, очевидно, ошибку, и дальше вы меня не расспрашивайте об этом.

Я был как-то странно потрясен тем, что услышал... Как будто не было ничего нового... Я никогда не предполагал, что я первый муж Нэтти. Было бы нелепостью думать, что женщина, полная жизни и здоровья, красивая телом и душой, дитя свободной высококультурной расы, могла без любви прожить до нашей встречи. Чем же вызвано было мое непонятно-ошеломленное состояние? Я не мог рассуждать об этом, я чувствовал только одно, что мне надо знать все, знать точно и ясно. Но допрашивать Энно, очевидно, было невозможно. Я вспомнил о Нэлле.

Нэтти, уезжая, говорила: «Не забывай о Нэлли, иди к ней в трудную минуту!» И я не раз уже думал о том, как бы повидаться с ней; но мешала отчасти работа, отчасти какой-то смутный страх перед сотнями любопытных детских глазок, которые ее окружали. Но теперь всякая нерешительность исчезла, и я в тот же день был в «доме детей», в Большом городе машин.

Нэлла тотчас бросила работу, которой была занята, и, попросив другую воспитательницу заменить себя, провела меня в свою комнату, где дети не могли мешать нам.

Я решил не говорить ей сразу о цели моего посещения, тем более что мне самому эта цель не казалась ни особенно разумной, ни особенно благородной. Было

как нельзя более естественно, что я завел разговор о самом близком для нас обоих человеке; а затем оставалось ожидать подходящего момента для моего вопроса. Нэлла много и с увлечением рассказывала мне о Нэтти, об ее детстве и юности.

Первые годы своей жизни Нэтти провела при матери, как в большинстве случаев и бывает у марсиан. Затем, когда надо было отдать Нэтти в «дом детей», чтобы не лишать ее воспитательного влияния детского общества, Нэлла не могла уже с нею расстаться и сначала временно поселилась в этом же доме, а потом навсегда осталась там воспитательницей. Это подходило и к ее научной специальности: она занималась главным образом психологией.

Нэтти была живым, энергичным, порывистым ребенком, с большой жаждой знаний и деятельности. Особенно интересовал и привлекал ее таинственный астрономический мир за пределами планеты. Земля, которой тогда еще не удавалось достигнуть, и ее невидимые люди были любимой мечтой Нэтти, любимым сюжетом ее разговоров с другими детьми и с воспитателями.

Когда был опубликован отчет о первой удачной экспедиции Мэнни на Землю, девочка чуть не сошла с ума от радости и восхищения. Доклад Мэнни она запомнила от слова до слова и поэтому замучила Нэллу и воспитателей требованиями объяснять ей каждый непонятный термин этого доклада. Она влюбилась в Мэнни заочно и написала ему восторженное письмо; в этом письме она, между прочим, умоляла его привезти с Земли ребенка, которого некому воспитывать; она бралась воспитать его самым лучшим образом. Она увешала всю свою комнату земными видами и портретами земных людей и стала изучать словари земных языков, как только они появились в печати. Она негодовала на насилие, которое Мэнни и его спутники применили к первому встреченному ими земному человеку: они взяли его в плен, чтобы он помог им познакомиться с земными языками; и в то же время она горячо сожалела, что, уезжая обратно, они отпустили его на свободу, а не привезли с собой на Марс. Она твердо решила когда-нибудь посхать на Землю и в ответ на шутку матери, что там она выйдет замуж

за земного человека, подумавши, заявила: «Очень может быть!»

Всего этого сама Нэтти никогда не рассказывала мне; в своих разговорах она вообще избегала касаться прошлого. И конечно, никто, даже она сама, не мог бы рассказать этого лучше Нэллы. Как ярко сияла материнская любовь в описаниях Нэллы! Минутами я совсем забывался и как живую видел перед собою чудную девочку с горящими большими глазами и с загадочным влечением к далекому, далекому миру... Но это быстро проходило: возвращалось сознание окружающего и воспоминание о цели разговора, и вновь становилось холодно на душе.

Наконец, когда разговор перешел к более поздним годам жизни Нэтти, я решился спросить с возможно спокойным и непринужденным видом, как возникли отношения Нэтти и Стэрни. Нэлла задумалась на минуту.

— А, вот что! — сказала она.— Так вы явились ко мне из-за этого... Почему же вы не сказали мне этого прямо?

Непривычная строгость звучала в ее голосе. Я молчал.

— Разумеется, я могу рассказать вам это,— продолжала она.— Это очень несложная история. Стэрни был один из учителей Нэтти, он читал молодежи лекции по математике и астрономии. Когда он вернулся из своей первой поездки на Землю — то была, кажется, вторая экспедиция Мэнни,— он выступил с целым рядом докладов об этой планете и ее обитателях. При этом Нэтти была его постоянной слушательницей. Особенно сблизило их то терпение и внимание, с которым он относился к ее бесконечным расспросам. Сближение привело к браку. Тут было своего рода полярное тяготение двух очень несходных, во многом противоположных натур. Впоследствии то же самое несходство, проявляясь более постоянно и во всей полноте в их совместной жизни, привело к охлаждению и к разрыву. Вот и все.

— Скажите, когда совершился этот разрыв?

— Окончательно — после смерти Летта. Собственно, уже сближение Нэтти и Летта было началом этого разрыва. Нэтти становилось не по себе от аналитически

холодного ума Стэрни; он слишком систематично и упорно разрушал все воздушные замки, все фантазии ума и чувства, которыми она так много и так сильно жила. Она невольно стала искать человека, который относился бы ко всему этому иначе. А у старого Летта было на редкость отзывчивое сердце и много полудетского энтузиазма. Нэтти нашла в нем такого товарища, какого ей было надо: он не только умел терпеливо относиться к порывам ее воображения, но нередко и сам увлекался вместе с нею. У него она отдыхала душой от суровой, все замораживающей критики Стэрни. Он, как и она, любил Землю мечтой и фантазией, верил в будущий союз двух миров, который принесет с собою великий расцвет и великую поэзию жизни. И когда она узнала, что человек с таким сокровищем чувства в душе никогда не знал женской любви и ласки, она не могла с этим примириться. Так возникла ее вторая связь. <...>

Почему Нэтти не говорила мне всего этого? И сколько еще тайн и обманов вокруг меня? И сколько их ожидать в будущем? Опять неправда! Тайна — да, это верно. Но обмана тут не было. А разве в этом случае тайна не обман?..

Эти мысли вихрем пронеслись в моей голове, когда дверь отворилась и в комнату опять вошла Нэлла. Она, очевидно, прочитала на моем лице, насколько мне было тяжело, потому что в ее тоне, когда она ко мне обратилась, уже не было прежней сухости и суровости.

— Конечно,— сказала она,— нелегко привыкать к совершенно чуждым жизненным отношениям и к обычаям другого мира, с которым не имеешь кровной связи. Вы преодолели уже много препятствий, справитесь и с этим. Нэтти в вас верит, и я думаю, что она права. А разве ваша вера в нее поколебалась?

— Отчего она скрывала все это от меня? Где тут ее вера? Я не могу ее понять.

— Почему она так поступила, я этого не знаю. Но я знаю, что она должна была иметь для этого серьезные и хорошие, а не мелкие мотивы. Может быть, их объяснит вам это письмо. Она мне оставила его для вас на случай именно такого разговора, какой сейчас был между нами.

Письмо было написано на моем родном языке, который так хорошо изучила моя Нэтти. Вот что я там прочитал:

«Мой Лэнни! Я ни разу не говорила с тобой о моих прежних личных связях, но это было не потому, что я хотела скрывать от тебя что бы то ни было из моей жизни. Я глубоко доверяю твоей ясной голове и твоему благородному сердцу; я не сомневаюсь, что, как бы ни были чужды и непривычны для тебя некоторые из наших жизненных отношений, ты в конце концов всегда сумеешь верно понять и справедливо оценить их.

Но я боялась одного... После болезни ты быстро накоплял силы для работы, но то душевное равновесие, от которого зависит самообладание в словах и поступках во всякую минуту и при всяком впечатлении, еще не вполне к тебе вернулось. Если бы под влиянием момента и стихийных сил прошлого, всегда таящихся в глубине человеческой души, ты хоть на секунду обнаружил ко мне, как женщине, то нехорошее, возникшее из насилия и рабства отношение, которое господствует в старом мире, ты никогда не простил бы себе этого. Да, дорогой мой, я знаю, ты строг, часто даже жесток к самому себе,— ты вынес эту черту из вашей суровой школы вечной борьбы земного мира, и одна секунда дурного, болезненного порыва навсегда осталась бы для тебя темным пятном на нашей любви.

Мой Лэнни, я хочу и могу тебя успокоить. Пусть спит и никогда не просыпается в душе твоей злое чувство, которое с любовью к человеку связывает беспокойство за живую собственность. У меня не будет других личных связей. Я могу легко и уверенно обещать тебе это, потому что перед моей любовью к тебе, перед страстным желанием помочь тебе в твоей великой жизненной задаче все остальное становится так мелко и ничтожно. Я люблю тебя не только как жена, я люблю тебя как мать, которая ведет своего ребенка в новую и чуждую ему жизнь, полную усилий и опасностей. Эта любовь сильнее и глубже всякой другой, какая может быть у человека к человеку. И потому в моем обещании нет жертвы.

До свидания, мое дорогое, любимое дитя.

Твоя Нэтти».

Когда я дочитал письмо, Нэлла вопросительно посмотрела на меня.

— Вы были правы,— сказал я и поцеловал ее руку.

VI. *В поисках*

От этого эпизода у меня осталось в душе чувство глубокого унижения. Еще болезненнее, чем прежде, я стал воспринимать превосходство надо мной окружающих и на фабрике и во всех других сношениях с марсианами. Несомненно, я даже преувеличивал это превосходство и свою слабость. В доброжелательстве и заботливости их обо мне я начинал видеть оттенок полупрезрительной снисходительности, в их осторожной сдержанности — скрытое отвращение к низшему существу. Точность восприятия и верность оценки все более нарушались в этом направлении.

Во всех других отношениях мысль оставалась ясной, и теперь она особенно сильно работала над заполнением пробелов, связанных с отъездом Нэтти. Больше, чем прежде, я был убежден, что для участия Нэтти в этой экспедиции существовали еще неизвестные мне мотивы, более сильные и более важные, чем те, которые приводились для меня. Новое доказательство любви Нэтти и того громадного значения, которое она придавала моей миссии в деле сближения двух миров, было новым подтверждением того, что без исключительных причин она не решилась бы покинуть меня надолго среди глубин и мелей и подводных камней океана чуждой мне жизни, лучше и яснее меня самого понимая своим умом, какие опасности тут угрожали. Было что-то, чего я не знал, но был убежден, что оно имело ко мне какое-то серьезное отношение; и надо было выяснить это что-то во что бы то ни стало.

Я решил добраться до истины путем систематического исследования. Припоминая некоторые случайные и невольные намеки Нэтти, беспокойное выражение, которое я очень задолго улавливал на ее лице, когда при мне заходила речь о колониальных экспедициях, я пришел к заключению, что Нэтти решилась на эту разлуку не тогда, когда об этом мне сказала, а очень давно, не позже первых дней нашего брака. Значит, и

причин надо искать около этого времени. Но где их искать?

Они могли быть связаны либо с личными делами Нэтти, либо с происхождением, характером, значением самой этой экспедиции. Первое после письма Нэтти представлялось наименее вероятным. Следовательно, прежде всего надо было направить розыски по второму направлению и начать с того, чтобы вполне выяснить историю происхождения экспедиции.

Само собой разумеется, что экспедиция была решена «колониальной группой» — так называлось собрание работников, активно участвующих в организации междупланетных путешествий, вместе с представителями от центральной статистики и от тех заводов, которые делают этеронефы и вообще доставляют необходимые средства для этих путешествий. Я знал, что последний съезд этой «колониальной группы» был как раз во время моей болезни. Мэнни и Нэтти участвовали там. Так как я тогда уже выздоравливал и мне было скучно без Нэтти, то я хотел быть тоже на этом съезде, но Нэтти сказала, что это опасно для моего здоровья. Не зависела ли «опасность» от чего-нибудь такого, чего мне не следовало знать? Очевидно, требовалось достать точные протоколы съезда и прочитать все, что могло относиться к данному вопросу.

Но тут встретились затруднения. В колониальной библиотеке мне дали только собрание решений съезда. В решениях была превосходно намечена, почти до мелочей, вся организация грандиозного предприятия на Венере, но не было ничего такого, что специально меня теперь интересовало. Это никоим образом для меня не исчерпывало вопроса. Решения при всей их обстоятельности были изложены без всякой мотивировки, без всяких указаний на все обсуждение, которое им предшествовало. Когда я сказал библиотекарю, что мне нужны самые протоколы, он мне объяснил, что протоколы не опубликованы и что подобных протоколов вообще не велось, как обыкновенно и делается при технически-деловых собраниях.

На первый взгляд это казалось правдоподобным. Марсиане действительно чаще всего публикуют только решения своих технических съездов, находя, что всякое разумное и полезное мнение, высказанное там, ли-

бо найдет себе отражение в принятой резолюции, либо гораздо лучше и обстоятельнее, чем в короткой речи, будет выяснено автором в особой статье, брошюре, книге, если сам автор находит его важным. Марсиане вообще не любят чрезмерно размножать литературу, и ничего подобного нашим многотомным «трудам комиссий» у них найти нельзя: все сжимается до наименьшего возможного объема. Но в данном случае я не поверил библиотекарю. Слишком крупные и важные вещи решались на съезде, чтобы можно было так отнестись к их обсуждению, как к обычным дебатам по какому-нибудь обычному техническому вопросу.

Я, однако, постарался скрыть свое недоверие и, чтобы отвлечь от себя всякое подозрение, покорно углубился в изучение того, что мне дали, в действительности же тем временем обдумывал план дальнейших действий.

Было очевидно, что в книжной библиотеке я не получу того, что мне надо: протоколов либо в самом деле не было, либо предупрежденный моим вопросом библиотекарь искусно спрячет их от меня. Оставалось другое — фонографическое отделение библиотеки.

Там протоколы могли найтись даже в том случае, если не были изданы в печати. Фонограф часто заменяет у марсиан стенографию, и в их архивах хранятся многие неизданные фонограммы различных общественных собраний.

Я выбрал момент, когда книжный библиотекарь был сильно поглощен работой, и незаметно для него прошел в фонографический отдел. Там я спросил у дежурного товарища большой каталог фонограмм. Он дал мне его.

По каталогу я быстро нашел номера фонограмм интересующего меня съезда и, делая вид, что не хочу беспокоить доставанием их дежурного товарища, отправился сам разыскивать их. Это мне также легко удалось.

Всех фонограмм было пятнадцать, по числу заседаний съезда. При каждой, как обыкновенно у марсиан делается, было приложено писаное оглавление. Я быстро пересмотрел их.

Первые пять заседаний оказались посвященными всецело докладам об экспедициях, устроенных после

предыдущего съезда, и новых усовершенствованиях в технике этеронефов.

В заголовке шестой фонограммы значилось:

«Предложение центральной статистики о переходе к массовой колонизации. Выбор планеты — Земля и Венера. Речи и предложения Стэрни, Нэтти, Мэнни и других. Предварительное решение в пользу Венеры».

Я почувствовал, что это то самое, что искал. Я вставил фонограмму в аппарат. То, что я услышал, навсегда врезалось мне в душу. Вот что там было.

Шестое заседание открыл Мэнни, председатель конгресса. Первым взял слово для доклада представитель центральной статистики.

Он посредством ряда точных цифр доказал, что при данном росте населения и прогрессе его потребностей, если марсиане будут ограничиваться эксплуатацией всей планеты, то через тридцать лет начнется недостаток в средствах питания. Помешать этому могло бы открытие технически легкого синтеза белков из неорганической материи, но никоим образом нельзя ручаться, что за тридцать лет этого удастся достигнуть. Поэтому совершенно необходимо, чтобы колониальная группа от простых научных экскурсий на другие планеты перешла к делу организации настоящего массового переселения туда марсиан. Налицо имеются две доступные для марсиан планеты с громадными естественными богатствами. Надо немедленно же решить, какую из них сделать для начала центром колонизации, и затем приступить к выработке плана.

Мэнни спрашивает, есть ли желающие возразить по существу против предложения центральной статистики или против его мотивировки. Желающих не оказывается.

Тогда Мэнни ставит на обсуждение вопрос о том, какую планету выбрать в первую очередь в деле массовой колонизации.

Слово берет Стэрни.

VII. *Стэрни*

— Первый вопрос, поставленный нам представителем центральной статистики,— так начал Стэрни своим обычным, математически-деловым тоном,— вопрос о выборе планеты для колонизации, на мой взгляд, не

нуждается в решении, потому что решен давно, решен самой действительностью. Выбирать не из чего. Из двух доступных нам теперь планет только одна вообще пригодна для массовой колонизации. Это Земля. О Венере существует большая литература, с которой все вы, конечно, знакомы. Вывод из всех собранных в ней данных возможен только один: овладеть Венерой мы теперь не можем. Ее жгучее солнце истомит и обессилит наших колонистов, ее страшные грозы и бури разрушат наши постройки, разметчут в пространстве наши аэропланы и разобьют их об исполинские горы. С ее чудовищами мы могли бы еще справиться, хотя и ценою немалых жертв; но ее бактериальный мир, страшно богатый формами, известен нам лишь в ничтожной степени,— а сколько новых болезней для нас скрывает он в себе? Ее вулканические силы еще находятся в беспокойном брожении; сколько неожиданных землетрясений, извержений лавы, океанических наводнений они нам обещают. Разумные существа не должны предпринимать невозможного. Попытка колонизовать Венеру дала бы нам бесчисленные, но и бесполезные жертвы, не жертвы науки и общего счастья, а жертвы безумия и мечты. Этот вопрос, мне кажется, ясен, и уже один доклад последней экспедиции на Венеру вряд ли в ком-нибудь мог оставить какие бы то ни было сомнения.

Таким образом, если дело идет вообще о массовом переселении, то, конечно, только о переселении на Землю. Тут препятствия со стороны природы ничтожны, ее богатства неисчислимы,— они в восемь раз превосходят то, что дает наша планета. Самое дело колонизации хорошо подготовлено уже существующей на Земле, хотя и невысокой культурой. Все это, разумеется, известно и центральной статистике. Если она предлагает нам вопрос о выборе, а мы находим нужным его обсуждать, то исключительно по той причине, что Земля представляет нам одно очень серьезное препятствие. Это ее человечество.

Люди Земли владеют ею, и ни в каком случае они ее добровольно не уступят, не уступят сколько-нибудь значительной доли ее поверхности. Это вытекает из всего характера их культуры. Ее основа есть собственность, огражденная организованным населением. Хотя

даже самые цивилизованные племена Земли эксплуатируют на деле только ничтожную часть доступных им сил природы, но стремление к захвату новых территорий у них никогда не ослабевает. Систематическое ограбление земель и имущества менее культурных племен носит у них название колониальной политики и рассматривается как одна из главных задач их государственной жизни. Можно себе представить, как отнесутся они к естественному и разумному предложению с нашей стороны — уступить нам часть их материков, взамен чего мы научили бы их и помогли бы им несравненно лучше пользоваться остальной частью... Для них колонизация — это вопрос только грубой силы и насилия; и хотим мы или не хотим, они заставят нас принять по отношению к ним эту точку зрения.

Если бы при этом дело шло только о том, чтобы один раз доказать им перевес нашей силы, это было бы сравнительно просто и потребовало бы не больше жертв, чем любая из их обычных бессмысленных и бесполезных войн. Существующие у них большие стада дрессированных для убийства людей, называемые армиями, послужили бы самым подходящим материалом для такого необходимого насилия. Любой из наших этеронефов мог бы посредством потока губительных лучей, возникающих при ускоренном разложении радия, уничтожить в несколько минут одно-два таких стада, и это было бы скорее полезно, чем вредно даже для их культуры. Но, к сожалению, дело не так просто, а главные трудности только начались бы с этого момента.

В вечной борьбе между племенами Земли у них сложилась психологическая особенность, называемая патриотизмом. Это неопределенное, но сильное и глубокое чувство заключает в себе и злобное недоверие ко всем чуждым народам и расам, и стихийную привычку к своей общей жизненной обстановке, особенно к территории, с которой земные племена срастаются, как черепаха со своей оболочкой, и какое-то коллективное самомнение, и часто кажется, простую жажду истребления, насилия, захватов. Патриотическое душевное состояние чрезвычайно усиливается и обостряется после военных поражений, особенно когда победители отнимают у побежденных часть территории; тогда патриотизм побежденных приобретает характер

длительной и жестокой ненависти к победителям, и месть им становится жизненным идеалом всего племени, не только его худших элементов — «высших», или правящих классов, но и лучших — его трудящихся масс.

И вот если бы мы взяли себе часть земной поверхности посредством необходимого насилия, то несомненно, что это повело бы к объединению всего земного человечества в одном чувстве земного патриотизма, в беспощадной расовой ненависти и злобе против наших колонистов; истребление пришельцев каким бы то ни было способом, вплоть до самых предательских, стало бы в глазах людей священным и благородным подвигом, дающим бессмертную славу. Существование наших колонистов сделалось бы совершенно невыносимым. Вы знаете, что разрушение жизни — дело вообще очень легкое, даже для нашей культуры; мы неизмеримо сильнее земных людей в случае открытой борьбы, но при неожиданных нападениях они могут убивать нас так же успешно, как обыкновенно делают это друг с другом. Надо к тому же заметить, что искусство истребления развито у них несравненно выше, чем все другие стороны их своеобразной культуры.

Жить вместе с ними и среди них было бы, конечно, прямо невозможно; это означало бы вечные заговоры и террор с их стороны, постоянное сознание неотвратимой опасности и бесчисленные жертвы для наших товарищей. Пришлось бы выселить их изо всех занятых нами областей — выселить сразу десятки, может быть, сотни миллионов. При их общественном строе, не признающем товарищеской взаимной поддержки, при их социальных отношениях, обусловливающих услуги и помощь уплатою денег, наконец, при их неуклюжих и лишенных гибкости способах производства, не допускающих достаточно быстрого расширения производительности и перераспределения продуктов труда,— эти миллионы выселенных нами людей были бы в громадном большинстве обречены на мучительную голодную смерть. А уцелевшее меньшинство образовало бы кадры ожесточенных, фанатичных агитаторов против нас среди всего остального человечества Земли.

Затем пришлось бы все-таки продолжать борьбу. Вся наша земная область должна была бы превратить-

ся в непрерывно охраняемый военный лагерь. Страх дальнейших захватов с нашей стороны и великая расовая ненависть направили бы все силы земных племен на подготовку и организацию войн против нас. Если уже теперь их оружие гораздо совершеннее их орудий труда, то тогда прогресс истребительной техники пойдет у них еще несравненно быстрее. В то же время они будут отыскивать и подстерегать случаи для внезапного открытия войны, и если им это удастся, они, несомненно, нанесут нам большие невознаградимые потери, хотя бы дело и окончилось нашей победой. Кроме того, нет ничего невозможного и в том, что они каким-нибудь способом узнают устройство нашего главного оружия. Радиирующая материя им уже известна, а метод ускоренного ее разложения может быть либо разведан ими каким-нибудь способом у нас, либо даже самостоятельно открыт их учеными. Но вы знаете, что при таком оружии тот, кто на несколько минут предупреждает противника своим нападением, тот неизбежно его уничтожает; и разрушить высшую жизнь в этом случае так же легко, как самую элементарную.

Каково же было бы существование наших товарищей среди этих опасностей и этого вечного ожидания? Были бы отравлены не только все радости жизни, но и самый тип ее скоро был бы извращен и принижен. В нее мало-помалу проникли бы подозрительность, мстительность, эгоистичная жажда самосохранения и неразрывно связанная с нею жестокость. Эта колония перестала бы быть нашей колонией, превратившись в военную республику среди побежденных, неизменно враждебных племен. Повторяющиеся нападения с их жертвами не только порождали бы чувство мести и злобы, искажающее дорогой нам образ человека, но и объективно вынуждали бы к переходу из самозащиты в беспощадное наступление. И в конце концов после долгих колебаний и бесплодной мучительной растраты сил дело пришло бы неизбежно к той постановке вопроса, какую мы, существа сознательные и предвидящие ход событий, должны принять с самого начала: *колонизация Земли требует полного истребления земного человечества.*

(Среди сотен слушателей проносится ропот ужаса,

из которого выделяется громкое негодующее восклицание Нэтти.) Когда тишина восстанавливается, Стэрни спокойно продолжает:

— Надо понять необходимость и твердо смотреть ей в глаза, как бы ни была она сурова. Нам предстоит одно из двух: либо остановка в развитии нашей жизни, либо уничтожение чуждой нам жизни на Земле. Ничего третьего нет перед нами. (Голос Нэтти: «Неправда!») Я знаю, что имеет в виду Нэтти, протестуя против моих слов, и разберу сейчас ту третью возможность, которую она предлагает.

Это попытка немедленного социалистического перевоспитания земного человечества, план, к которому все мы еще недавно склонялись и от которого теперь, по моему мнению, должны неизбежно отказаться. Мы достаточно уже знаем о людях Земли, чтобы понять всю неосуществимость этой идеи.

Уровень культуры передовых народов Земли приблизительно соответствует тому, на котором стояли наши предки в эпоху прорытия Больших каналов. Там также господствует капитализм и существует пролетариат, ведущий борьбу за социализм. Судя по этому, можно было думать, что недалек уже момент переворота, который устранит систему организованного насилия и создаст возможность свободного и быстрого развития человеческой жизни. Но у земного капитализма есть важные особенности, сильно изменяющие все дело.

С одной стороны, земной мир страшно раздроблен политическими и национальными делениями, так что борьба за социализм ведется не как единый цельный процесс в одном обширном обществе, а как целый ряд самостоятельных и своеобразных процессов в отдельных обществах, разъединенных государственной организацией, языком, иногда и расою. С другой стороны, формы социальной борьбы там гораздо грубее и механичнее, чем это было у нас, и несравненно большую роль в них играет прямое материальное насилие, воплощенное в постоянных армиях и вооруженных восстаниях.

Благодаря всему этому получается то, что вопрос о социальной революции становится очень неопределенным: предвидится не одна, а множество социаль-

ных революций, в разных странах в различное время, и даже во многом, вероятно, неодинакового характера, а главное — с сомнительным и неустойчивым исходом. Господствующие классы, опираясь на армию и высокую военную технику, в некоторых случаях могут нанести восставшему пролетариату такое истребительное поражение, которое в целых обширных государствах на десятки лет отбросит назад дело борьбы за социализм; и примеры подобного рода уже бывали в летописях Земли. Затем отдельные передовые страны, в которых социализм восторжествует, будут как острова среди враждебного им капиталистического, а частью даже докапиталистического мира. Борясь за свое собственное господство, высшие классы несоциалистических стран направят все свои усилия, чтобы разрушить эти острова, будут постоянно организовывать на них военные нападения и найдут среди социалистических наций достаточно союзников, готовых на всякое правительство, из числа прежних собственников, крупных и мелких. Результат этих столкновений трудно предугадать. Но даже там, где социализм удержится и выйдет победителем, его характер будет глубоко и надолго искажен многими годами осадного положения, необходимого террора и военщины, с неизбежным последствием — варварским патриотизмом. Это будет далеко не наш социализм.

Задача нашего вмешательства должна была, по нашим прежним планам, заключаться в том, чтобы ускорить и помочь торжеству социализма. Каким способом для нас возможно это сделать? Во-первых, мы можем передать людям Земли нашу технику, нашу науку, наше умение господствовать над силами природы и тем самым настолько сразу поднять их культуру, что отсталые формы экономической и политической жизни окажутся в слишком резком противоречии с нею и падут в силу своей негодности. Во-вторых, мы можем прямо поддержать социалистический пролетариат в его революционной борьбе и помочь ему сломить сопротивление двух классов. Иных способов нет. Но эти два достигают ли своей цели? Мы теперь достаточно знаем, чтобы решительно ответить: нет!

К чему приведет сообщение земным людям наших технических знаний и методов?

Первыми захватят их в свою пользу и увеличат ими свою силу *господствующие* классы всех стран. Это неизбежно, потому что в их руках находятся все материальные средства труда и им служат девяносто девять сотых всех ученых и инженеров,— значит, им будет принадлежать *вся возможность применения* новой техники. И они воспользуются ею ровно настолько, насколько это будет для них выгодно и насколько это будет усиливать их власть над массами. Более того: те новые и могущественные средства истребления и разрушения, которые при этом попадут в их руки, они постараются немедленно пустить в ход для подавления социалистического пролетариата. Они удесятерят его преследования и организуют широкую провокацию, чтобы поскорее вызвать его на открытый бой и в этом бою раздавить его сознательные и лучшие силы, идейно его обезглавить, пока он не успел, в свою очередь, овладеть новыми лучшими методами военного насилия. Таким образом, наше вмешательство послужит толчком для реакции сверху и в то же время даст ей оружие невиданной силы. В конечном итоге оно на целые десятки лет замедлит борьбу социализма.

А чего достигли бы мы попытками оказать прямую помощь социалистическому пролетариату против его врагов?

Предположим — это ведь еще не наверное,— что он примет союз с нами. Первые победы будут тогда одержаны легко. Но дальше? Неизбежное развитие среди всех других классов общества самого ожесточенного и бешеного патриотизма, направленного против нас и против социалистов Земли... Пролетариат все еще представляет меньшинство почти во всех, даже наиболее передовых странах Земли; большинство образуют не успевшие разложиться остатки класса мелких собственников, массы наиболее невежественные и темные. Восстановить всех их до крайней степени против пролетариата будет тогда для крупных собственников и их ближайших прислужников — чиновников и ученых — очень легко, потому что эти массы, по своей сущности консервативные и даже частью реакционные, чрезвычайно болезненно воспринимают всякий быстрый прогресс. Передовой пролетариат, окруженный со всех сторон страшно озлобленными, беспощадными

врагами,— к ним примкнут и обширные слои отсталых по развитию пролетариев,— окажется в таком же невыносимом положении, в каком оказались бы наши колонисты среди побежденных земных племен. Будут бесчисленные предательские нападения, погромы, резня, а главное, вся позиция пролетариата среди общества будет как нельзя более неблагоприятна для того, чтобы руководить преобразованием общества. И опять-таки наше вмешательство не приблизит, а замедлит социальный переворот.

Время этого переворота, таким образом, остается неопределенным, и не от нас зависит его ускорить. Во всяком случае, ждать его пришлось бы гораздо дольше, чем это для нас возможно. Уже через 30 лет у нас окажется 15—20 миллионов избыточного населения, а затем каждый год оно будет возрастать еще на 20—25 миллионов. Надо *заранее* произвести значительную колонизацию; иначе у нас не хватит сил и средств для того, чтобы сразу выполнить ее в необходимых размерах.

Кроме того, более чем сомнительно, чтобы нам удалось мирно столковаться даже с социалистическими обществами Земли, если бы они неожиданно скоро образовались. Как я уже говорил, это будет во многом не наш социализм.

Века национального дробления, взаимного непонимания, грубой и кровавой борьбы не могли пройти даром,— они надолго оставят глубокие следы в психологии освобожденного земного человечества; и мы не знаем, сколько варварства и узости социалисты Земли принесут с собою в свое новое общество.

Перед нами налицо опыт, который позволяет судить, в какой мере далека от нас психология Земли даже в лучших ее представителях. Из последней экспедиции мы привезли с собою одного земного социалиста, человека, выдающегося в своей среде душевной силой и физическим здоровьем. И что же? Вся наша жизнь оказалась для него такой чуждой, в таком противоречии со всей его организацией, что прошло очень немного времени, и он уже болен глубоким психическим расстройством.

Таков один из лучших, которого выбрал среди многих сам Мэнни. Чего мы можем ожидать от остальных?

Итак, остается все та же дилемма: или приостановка нашего собственного размножения, и с нею ослабление всего развития нашей жизни, или колонизация Земли, основанная на истреблении всего ее человечества.

Я говорю об истреблении всего ее человечества, потому что мы не можем даже сделать исключения для его социалистического авангарда. Нет, во-первых, никакой технической возможности среди всеобщего уничтожения выделить этот авангард среди остальных масс, незначительную долю которых он представляет. И, во-вторых, если бы нам удалось сохранить социалистов, они сами начали бы потом с нами ожесточенную, беспощадную войну, жертвуя в ней собою до полного истребления, потому что они никогда не могли бы примириться с убийством сотен миллионов людей, им подобных и с ними связанных многими, часто очень тесными жизненными связями. В столкновениях двух миров здесь нет компромисса.

Мы должны выбирать. И я говорю: мы можем выбирать только одно.

Высшей жизнью нельзя жертвовать ради низшей. Среди земных людей не найдется и нескольких миллионов, сознательно стремящихся к действительно человеческому типу жизни. Ради этих зародышевых людей мы не можем отказаться от возможности зарождения и развития десятков, может быть, сотен миллионов существ нашего мира — людей в несравненно более полном значении этого слова. И не будет жестокости в наших действиях, потому что мы сумеем выполнить это истребление с гораздо меньшими страданиями для них, чем они сами постоянно причиняют друг другу.

Мировая жизнь едина. И для нее будет не потерей, а приобретением, если на Земле вместо ее еще далеко полуварварского социализма развернется теперь же наш социализм, жизнь несравненно более гармоничная в ее непрерывном, беспредельном развитии.

(После речи Стэрни наступает сначала глубокая тишина. Ее прерывает Мэнни, предлагая высказаться тем, кто держится противоположного взгляда. Слово берет Нэтти.)

«Мировая жизнь едина» — это сказал Стэрни. И что же он предложил нам?

Уничтожить, навеки истребить целый своеобразный тип этой жизни, тип, которого потом мы никогда уже не сможем ни восстановить, ни заменить.

Сотни миллионов лет жила прекрасная планета, жила своей, особенной жизнью, не такой, как другие... И вот из ее могучих стихий стало организовываться сознание; поднимаясь в жестокой и трудной борьбе с низших ступеней на высшие, оно наконец приняло близкие, родные нам человеческие формы. Но эти формы не те, что у нас: в них отразилась и сосредоточилась история иной природы, иной борьбы; под ними скрыта иная стихийность, в них заключаются иные противоречия, иные возможности развития. Настала эпоха, когда впервые может осуществиться соединение двух великих линий жизни. Сколько нового многообразия, какая высшая гармония должна возникнуть из этого сочетания! И нам говорят: мировая жизнь едина, поэтому нам надо не объединять, а... разрушать ее.

Когда Стэрни указывал, насколько человечество Земли, его история, его нравы, его психология непохожи на наши, он опровергал свою идею почти лучше, чем я могу это сделать. Если бы они были совершенно похожи на нас во всем, кроме ступени развития, если бы они были тем, чем были наши предки в эпоху нашего капитализма, тогда со Стэрни можно было бы согласиться: низшей ступенью стоит пожертвовать ради высшей, слабыми ради сильных. Но земные люди не таковы, они не только ниже и слабее нас по культуре—они иные, чем мы, и потому, устраняя их, мы их не заместим в мировом развитии, мы только механически заполним собою ту пустоту, которую создадим в царстве форм жизни.

Не в варварстве, не в жестокости земной культуры заключается ее действительное различие от нашей. Варварство и жестокость—это только преходящие проявления той общей расточительности в процессе развития, которою отличается вся жизнь Земли. Там борьба за существование энергичнее и напряженнее, природа непрерывно создает гораздо больше форм, но гораздо

больше их и погибает жертвами развития. И это не может быть иначе, потому что от источника жизни — Солнца — Земля в целом получает лучистой энергии в восемь раз больше, чем наша планета. Оттого там рассеивается и разбрасывается так много жизни, оттого в разнообразии ее форм возникает так много противоречий и так мучительно сложен и полон крушений весь путь их примирения. В царстве растений и животных миллионы видов ожесточенно боролись и быстро вытесняли друг друга, участвуя своей жизнью и своей смертью в выработке новых, более законченных и гармоничных, более синтетических типов. Так было и в царстве человека.

Наша история, если ее сравнить с историей земного человечества, кажется удивительно простой, свободной от блужданий и правильной до схематичности. Спокойно и непрерывно происходило накопление элементов социализма,—исчезали мелкие собственники, поднимался со ступени на ступень пролетариат; все это происходило без колебаний и толчков, на всем протяжении планеты, объединенной в связное политическое целое. Велась борьба, но люди кое-как понимали друг друга; пролетариат не заглядывал далеко вперед, но и буржуазия не была утопична в своей реакционности; различные эпохи и общественные формации не перемешивались до такой степени, как это происходит на Земле, где в высококапиталистической стране возможна иногда феодальная реакция и многочисленное крестьянство, отстающее по своей культуре на целый исторический период, часто служит для высших классов орудием подавления пролетариата. Ровным и гладким путем мы пришли несколько поколений тому назад к такому общественному устройству, которое освобождает и объединяет все силы социального развития.

Не такова была дорога, по которой шли наши земные братья,— тернистая, с множеством поворотов и перерывов. Немногие из нас знают, и никто из нас не в силах себе ясно представить, до какого безумия было доведено искусство мучить людей у самых культурных народов Земли в идейных и политических организациях господства высших классов — в церкви и государстве. И что же в результате? Замедлилось развитие? Нет, мы не имеем основания утверждать это-

го, потому что первые стадии капитализма, до зарождения пролетарского социалистического сознания, протекли среди путаницы и жестокой борьбы различных формаций не медленнее, а быстрее, чем у нас,— в постепенных и более спокойных переходах. Но самая суровость и беспощадность борьбы породила в борцах такой подъем энергии и страсти, такую силу героизма и мученичества, каких не знала более умеренная и менее трагичная борьба наших предков. И в этом земной тип жизни людей не ниже, а выше нашего, хотя мы, старшие по культуре, стоим на гораздо более высокой ступени.

Земное человечество раздроблено, его отдельные расы и нации глубоко срослись со своими территориями, они говорят на разных языках, и глубокое непонимание друг друга проникает во все их жизненные отношения... Все это верно, и верно то, что общечеловеческое объединение, которое с великими трудностями пробивает себе дорогу через все эти границы, будет достигнуто нашими земными братьями сравнительно гораздо позже, чем нами. Это дробление возникло из обширности земного мира, богатства и разнообразия его природы. Оно ведет к возникновению множества различных точек зрения и оттенков в понимании вселенной. Разве все это ставит Землю и ее людей ниже, а не выше нашего мира в аналогичные эпохи его истории?

Даже механическое различие языков, на которых они говорят, во многом помогало развитию их мышления, освобождая понятие от грубой власти слов, которыми они выражаются. Сравните философию земных людей с философией наших капиталистических предков. Философия Земли не только разнообразнее, но и тоньше, не только исходит из более сложного материала, но в своих лучших школах и анализирует его глубже, вернее, устанавливая связь фактов и понятий. Конечно, всякая философия есть выражение слабости и разрозненности познания, недостаточности научного развития; это попытка дать единую картину бытия, заполняя предложениями пробелы научного опыта; поэтому философия будет устранена на Земле, как устранена уже у нас монизмом наука. Но посмотрите, сколько предложений философии, созданной

их передовыми мыслителями и борцами, предупреждают в грубых чертах открытия нашей науки — такова почти вся общественная философия социалистов. Ясно, что племена, превзошедшие наших предков в творчестве философском, могут впоследствии превзойти нас самих в творчестве научном.

И Стэрни хочет измерять это человечество счетом праведников — сознательных социалистов, которых оно сейчас в себе заключает,— хочет судить его по его нынешним противоречиям, а не по тем силам, которыми порождены и в свое время будут разрешены эти противоречия. Он хочет осушить навеки этот бурный, но прекрасный океан жизни!

Твердо и решительно мы должны ему ответить: *никогда!*

Мы должны подготовить свой будущий союз с человечеством Земли. Мы не можем значительно ускорить его переход к свободному строю; но то немногое, что мы в силах сделать для этого, мы сделать должны. И если первого посланника Земли в нашей среде мы не сумели уберечь от ненужных страданий болезни, это не делает чести нам, а не им. К счастью, он скоро выздоровеет, и даже если в конце концов его убьет это слишком быстрое сближение с чуждой для него жизнью, он успеет сделать еще многое для будущего союза двух миров.

А наши собственные затруднения и опасности мы должны преодолеть на других путях. Надо направить новые научные силы на химию белковых веществ, надо подготовлять, насколько возможно, колонизацию Венеры. Если мы не успеем решить этих задач в короткий срок, который нам остался, надо временно сократить размножение. Какой разумный акушер не пожертвует жизнью народившегося младенца, чтобы сохранить жизнь женщины? Мы должны также, если это необходимо, пожертвовать частицей той нашей жизни, которой еще нет, для той, пока еще чужой жизни, которая есть и развивается. Союз миров бесконечно окупит эту жертву.

Единство жизни есть высшая цель, и любовь — высший разум!

(Глубокое молчание. Затем слово берет Мэнни.)

— Я внимательно наблюдал настроение товарищей и вижу, что значительное большинство их на стороне Нэтти. Я очень рад этому, потому что приблизительно такова же и моя точка зрения. Прибавлю только одно практическое соображение, которое мне кажется очень важным. Существует серьезная опасность, что в настоящее время нам даже не хватило бы технических средств, если бы мы сделали попытку массовой колонизации других планет.

Мы можем построить десятки тысяч больших этеронефов, и может оказаться, что их нечем будет привести в движение. Той радиирующей материи, которая служит необходимым двигателем, нам придется тратить в сотни раз больше, чем до сих пор. А между тем все известные нам месторождения истощаются и новые открываются все реже и реже.

Надо не забывать, что радиоматерия нужна нам постоянно не только для того, чтобы давать этеронефам их громадную скорость. Вы знаете, что вся наша техническая химия построена теперь на этих веществах. Их мы затрачиваем при производстве «минус-материи», без которой те же этеронефы и наши бесчисленные аэропланы превращаются в негодные тяжелые ящики. Этим необходимым применением активной материи жертвовать не приходится.

Но всего хуже то, что единственная возможная замена колонизации — синтез белков — может оказаться неосуществимой из-за того же недостатка радиирующих веществ. Технически легкий и удобный для фабричного производства синтез белков при громадной сложности их состава немыслим на пути старых методов синтеза, методов постепенного усложнения. На том пути, как вы знаете, уже несколько лет тому назад удалось получить искусственные белки, но в ничтожном количестве и с большими затратами энергии и времени, так что вся работа имеет лишь теоретическое значение. Массовое производство белков из неорганического материала возможно только посредством тех быстрых и резких изменений химических составов, какие достигаются у нас действием неустойчивых элементов на обыкновенную устойчивую материю. Чтобы

добиться успеха в этом направлении, десяткам тысяч работников придется перейти специально на исследования по синтезу белков и поставить миллионы разнообразнейших новых опытов. Для этого, а затем, в случаях успеха, для массового производства белков опять-таки необходимо будет затрачивать громадные количества активной материи, каких теперь нет в нашем распоряжении.

Таким образом, с какой точки зрения ни посмотреть, мы можем обеспечить себе успешное разрешение занимающего нас вопроса только в том случае, если найдем новые источники радиоэлементов. Но где их искать? Очевидно, на других планетах, то есть либо на Земле, либо на Венере; и для меня несомненно, что первую попытку следует сделать именно на Венере.

Относительно Земли можно предполагать, что там есть богатые запасы активных элементов. Относительно Венеры это вполне установлено. Земные месторождения нам неизвестны, потому что те, которые найдены земными учеными, к сожалению, ничего не стоят. Месторождения на Венере нами уже открыты с первых шагов нашей экспедиции. На Земле главные залежи расположены, по-видимому, так же, как и у нас, то есть глубоко под поверхностью. На Венере некоторые из них находятся так близко к поверхности, что их радиации были сразу обнаружены фотографическим путем. Если искать радий на Земле, то придется перерыть ее материки так, как мы это сделали на нашей планете; на это могут потребоваться десятки лет, и есть еще риск обмануться в ожиданиях. На Венере остается только добывать то, что уже найдено, и это можно сделать без всяких промедлений.

Поэтому, как бы мы ни решили впоследствии вопрос о массовой колонизации, теперь, чтобы гарантировать возможность этого решения, надо, по моему глубокому убеждению, немедленно произвести маленькую, может быть, временную колонизацию Венеры, с единственной целью добывания активной материи.

Естественные препятствия, конечно, громадны, но нам вовсе не придется теперь преодолевать их полностью. Мы должны овладеть только маленьким клочком этой планеты. В сущности, дело сводится к большой экспедиции, которая должна будет пробыть там не ме-

сяцы, как прежние наши экспедиции, а целые годы, занимаясь добыванием радия. Придется, конечно, одновременно вести энергичную борьбу с природными условиями, ограждая себя от губительного климата, неизвестных болезней и других опасностей. Будут большие жертвы; возможно, что только малая часть экспедиции вернется назад. Но попытку сделать необходимо.

Наиболее подходящим местом для начала является, по многим данным, остров Горячих бурь. Я тщательно изучил его природу и составил подробный план организации всего дела. Если вы, товарищи, считаете возможным обсуждать его теперь, я немедленно изложу его вам.

(Никто не высказался против, и Мэнни переходит к изложению своего плана, причем обстоятельно рассматривает все технические детали. По окончании его речи выступают новые ораторы, но все они говорят исключительно по поводу его плана, разбирая частности. Некоторые выражают недоверие к успеху экспедиции, но все соглашаются, что попытаться надо. В заключение принимается резолюция, предложенная Мэнни.)

X. *Убийство*

То глубокое ошеломление, в котором я находился, исключало всякую даже попытку собраться с мыслями. Я только чувствовал, как холодная боль железным кольцом сжимала мне сердце, и еще перед моим сознанием с яростью галлюцинации выступала огромная фигура Стэрни с его неумолимо-спокойным лицом. Все остальное смешивалось и терялось в тяжелом, темном хаосе.

Как автомат, я вышел из библиотеки и сел в свою гондолу. Холодный ветер от быстрого полета заставил меня плотно закутаться в плащ, и это как будто внушило мне новую мысль, которая сразу застыла в сознании и сделалась несомненной: мне надо остаться одному. Когда я приехал домой, я немедленно привел ее в исполнение — все так же механично, как будто действовал не я, а кто-то другой.

Я написал руководящей фабричной коллегии, что на время ухожу от работы. Энно я сказал, что нам на-

до пока расстаться. Она тревожно-пытливо взглянула на меня и побледнела, но не сказала ни слова. Только потом, в самую минуту отъезда, она спросила, не желаю ли я видеть Нэллу. Я ответил: «Нет» — и поцеловал Энно в последний раз.

Затем я погрузился в мертвое оцепенение. Была холодная боль, и были обрывки мыслей. От речей Нэтти и Мэнни осталось бледное, равнодушное воспоминание, как будто это все было неважно и неинтересно. Раз только промелькнуло соображение: «Да, вот почему уехала Нэтти: от экспедиции зависит все». Резко и отчетливо выступали отдельные выражения и целые фразы Стэрни: «Надо понять необходимость... несколько миллионов человеческих зародышей... полное истребление земного человечества... он болен тяжелой душевной болезнью...» Но не было ни связи, ни выводов. Иногда мне представлялось истребление человечества как совершившийся факт, но в смутной, отвлеченной форме. Боль в сердце усиливалась, и зарождалась мысль, что я виновен в этом истреблении. На короткое время пробивалось сознание, что ничего этого еще нет и, может быть, не будет. Боль, однако, не прекращалась, и мысль опять медленно констатировала: «Все умрут... и Анна Николаевна... и рабочий Ваня... и Нэтти, нет, Нэтти останется, она марсианка... а все умрут, и не будет жестокости, потому что не будет страданий... да, это говорил Стэрни... а все умрут оттого что я был болен... значит, я виновен...» Обрывки тяжелых мыслей цепенели и застывали и оставались в сознании, холодные, неподвижные. И время как будто остановилось с ними.

Это был бред, мучительный, непрерывный, безысходный. Призраков не было вне меня. Был один черный призрак в моей душе, но он был — все. И конца ему быть не могло, потому что время остановилось.

Возникла мысль о самоубийстве и медленно тянулась, но не заполняла сознания. Самоубийство казалось бесполезным и скучным: разве могло оно прекратить эту черную боль, которая была все? Не было веры в самоубийство, потому что не было веры в свое существование. Существовала тоска, холод, ненавистное все, но мое «я» терялось в этом как что-то незаметное, ничтожное, бесконечно малое. «Меня» не было.

Минутами мое сознание становилось настолько невыносимым, что возникало непреодолимое желание бросаться на все окружающее, живое и мертвое, бить, разрушать, уничтожать без следа. Но я еще сознавал, что это было бессмысленно и по-детски; я стискивал зубы и удерживался.

Мысль о Стэрни постоянно возвращалась и неподвижно останавливалась в сознании. Она была тогда как будто центром всей тоски и боли. Мало-помалу, очень медленно, но непрерывно около этого центра стало формироваться намерение, которое перешло затем в ясное непреклонное решение: «Надо видеть Стэрни». Зачем, по каким мотивам видеть, я не мог бы сказать этого. Было только несомненно, что я это сделаю. И было в то же время мучительно трудно выйти из моей неподвижности, чтобы исполнить решение.

Наконец настал день, когда у меня хватило энергии, чтобы преодолеть это внутреннее сопротивление. Я сел в гондолу и поехал в ту обсерваторию, которой руководил Стэрни. По дороге я пытался обдумать, о чем буду с ним говорить; но холод в сердце и холод вокруг парализовали мысль. Через три часа я доехал.

Войдя в большую залу обсерватории, я сказал одному из работавших там товарищей: «Мне надо видеть Стэрни». Товарищ пошел за Стэрни и, возвратившись через минуту, сообщил, что Стэрни занят проверкой инструментов, через четверть часа будет свободен, а пока мне удобнее подождать в его кабинете.

Меня провели в кабинет, я сел в кресло перед письменным столом и стал ожидать. Кабинет был полон различных приборов и машин, частью уже знакомых мне, частью незнакомых. Направо от моего кресла стоял какой-то маленький инструмент на тяжелом металлическом штативе, оканчивавшемся тремя ножками, на столе лежала раскрытая книга о Земле и ее обитателях. Я машинально начал ее читать, но остановился на первых же фразах и впал в состояние, близкое к прежнему оцепенению. Только в груди вместе с обычной тоскою чувствовалось еще какое-то неопределенное судорожное волнение. Так прошло не знаю сколько времени.

В коридоре послышались тяжелые шаги, и в комнату вошел Стэрни со своим обычным спокойно-дело-

вым видом; он опустился в кресло по другую сторону стола и вопросительно посмотрел на меня. Я молчал. Он подождал с минуту и обратился ко мне с прямым вопросом:

— Чем я могу быть полезен?

Я продолжал молчать и неподвижно смотрел на него как на неодушевленный предмет. Он чуть заметно пожал плечами и выжидательно расположился в кресле.

— Муж Нэтти...— наконец произнес я с усилием и полусознательно, в сущности, не обращаясь к нему.

— Я *был* мужем Нэтти,— спокойно поправил он:— Мы разошлись уже давно.

— ...Истребление... не будет... жестокостью...— продолжал я, так же медленно и полусознательно повторяя ту мысль, которая окаменела в моем мозгу.

— А, вы вот о чем,— сказал он спокойно.— Но ведь теперь об этом нет и речи. Предварительное решение, как вы знаете, принято совершенно иное.

— Предварительное решение...— машинально повторил я.

— Что касается моего тогдашнего плана,— прибавил Стэрни,— то хотя я не вполне от него отказался, но должен сказать, что не мог бы теперь защищать его так уверенно.

— Не вполне...— повторил я.

— Ваше выздоровление и участие в нашей общей работе разрушили отчасти мою аргументацию...

— ...Истребление... отчасти,— перебил я, и, должно быть, вся тоска и мука слишком ясно отразилась в моей бессознательной иронии. Стэрни побледнел и тревожно взглянул на меня. Наступило молчание.

И вдруг холодное кольцо боли с небывалой, невыразимой силой сжало мое сердце. Я откинулся на спинку кресла, чтобы удержаться от безумного крика. Пальцы моей руки судорожно охватили что-то твердое и холодное. Я почувствовал холодное оружие в своей руке, и стихийно-непреодолимая боль стала бешеным отчаянием. Я вскочил с кресла, нанося страшный удар Стэрни. Одна из ножек треножника попала ему в висок, и он без крика, без стона склонился набок, как инертное тело. Я отбросил свое оружие, оно зазвенело и загремело об машины. Все было кончено.

Я вышел в коридор и сказал первому товарищу, которого я встретил: «Я убил Стэрни». Тот побледнел и быстро прошел в кабинет, но там он, очевидно, сразу убедился, что помощь уже не нужна, и тотчас вернулся ко мне. Он отвел меня в свою комнату и, поручив другому находившемуся там товарищу вызвать по телефону врача, а самому идти к Стэрни, остался вдвоем со мною. Заговорить со мною он не решался. Я сам спросил его:

— Здесь ли Энно?

— Нет,— отвечал он,— она уехала на несколько дней к Нэлле.

Затем снова молчание, пока не явился доктор. Он попытался расспросить меня о происшедшем; я сказал, что мне не хочется разговаривать. Тогда он отвез меня в ближайшую лечебницу душевнобольных.

Там мне предоставили большое удобное помещение и долго не беспокоили меня. Это было все, чего я мог желать.

Положение казалось мне ясным. Я убил Стэрни и тем погубил все. Марсиане видят на деле, чего они могут ожидать от сближения с земными людьми. Они видят, что даже тот, кого они считали наиболее способным войти в их жизнь, не может дать им ничего, кроме насилия и смерти, Стэрни убит — его идея воскресает. Последняя надежда исчезает, земной мир обречен. И я виновен во всем.

Эти идеи быстро возникли в моей голове после убийства и неподвижно воцарились там вместе с воспоминанием о нем. Было сначала некоторое успокоение в их холодной несомненности. А потом тоска и боль стали вновь усиливаться, казалось, до бесконечности.

Сюда присоединилось глубокое отвращение к себе. Я чувствовал себя предателем всего человечества. Мелькала смутная надежда, что марсиане меня убьют, но тотчас являлась мысль, что я для них слишком противен и их презрение помешает им сделать это. Они, правда, скрывали свое отвращение ко мне, но я ясно видел его, несмотря на их усилия.

Сколько времени прошло таким образом, я не знаю. Наконец врач пришел ко мне и сказал, что мне нужна перемена обстановки, что я отправляюсь на Землю. Я думал, что за этим скрывается предстоящая мне

смертная казнь, но не имел ничего против. Я только просил, чтобы мое тело выбросили как можно дальше от всех планет: оно могло осквернить их.

Впечатления обратного путешествия очень смутны в моих воспоминаниях. Знакомых лиц около меня не было; я ни с кем не разговаривал. Сознание не было спутано, но я почти не замечал ничего окружающего. Мне было все равно.

Часть IV

I. *У Вернера*

Не помню, каким образом я очнулся в лечебнице у доктора Вернера, моего старшего товарища. Это была земская больница одной из северных губерний, знакомая мне еще ранее из писем Вернера; она находилась в нескольких верстах от губернского города, была очень скверно устроена и всегда страшно переполнена, с необыкновенно ловким экономом и недостаточным, замученным работою медицинским персоналом. Доктор Вернер вел упорную войну с очень либеральной земской управой из-за эконома, из-за лишних бараков, которые она строила очень неохотно, из-за церкви, которую она достраивала во что бы то ни стало, из-за жалованья служащих и т. п. Больные благополучно переходили к окончательному слабоумию вместо выздоровления, а также умирали от туберкулеза вследствие недостатка воздуха и питания. Сам Вернер, конечно, давно ушел бы оттуда, если бы его не вынуждали оставаться совершенно особые обстоятельства, связанные с его революционным прошлым.

Но меня все прелести земской лечебницы нисколько не коснулись. Вернер был хороший товарищ и не задумался пожертвовать для меня своими удобствами. В своей большой квартире, отведенной ему как старшему врачу, он предоставил мне две комнаты, в третьей рядом с ними поселил молодого фельдшера, в четвертой под видом служителя для ухода за больными — одного скрывавшегося товарища. У меня не было, конечно, прежнего комфорта, и надзор за мною при всей деликатности молодых товарищей был гораздо грубее

и заметнее, чем у марсиан, но для меня все это было совершенно безразлично.

Доктор Вернер, как и марсианские врачи, почти не лечил меня, только давал иногда усыпляющие средства, а заботился главным образом о том, чтобы мне было удобно и спокойно. Каждое утро и каждый вечер он заходил ко мне после ванны, которую для меня устраивали заботливые товарищи; но заходил он только на минутку и ограничивался вопросом, не надо ли мне чего-нибудь. Я же за долгие месяцы болезни совершенно отвык разговаривать и отвечал ему только «нет» или не отвечал вовсе. Но его внимание трогало меня, а в то же время я считал, что совершенно не заслуживаю такого отношения и что должен сообщить ему об этом. Наконец мне удалось собраться с силами настолько, чтобы сказать ему, что я убийца и предатель и что из-за меня погибнет все человечество. Он ничего не возразил на это, только улыбнулся и после того стал заходить ко мне чаще.

Мало-помалу перемена обстановки оказала свое благотворное действие. Боль слабее сжимала сердце, тоска бледнела, мысли становились все более подвижными, их колорит делался светлее. Я стал выходить из комнат, гулял по саду и в роще. Кто-нибудь из товарищей постоянно был поблизости; это было неприятно, но я понимал, что нельзя же убийцу пустить одного гулять на свободе; иногда я даже сам разговаривал с ними, конечно, на безразличные темы.

Была ранняя весна, и возрождение жизни вокруг уже не обостряло моих мучительных воспоминаний; слушая чириканье птичек, я находил даже некоторое грустное успокоение в мысли о том, что они останутся и будут жить, а только люди обречены на гибель. Раз как-то возле рощи меня встретил слабоумный больной, который шел с заступом на работу в поле. Он поспешил отрекомендоваться мне, причем с необыкновенной гордостью — у него была мания величия,— выдавая себя за урядника,— очевидно, высшая власть, которую он знал во время жизни на свободе. В первый раз за всю мою болезнь я невольно засмеялся. Я чувствовал отечество вокруг себя и, как Антей, набирался, правда, очень медленно, новых сил от родной земли.

II. *Было — не было?*

Когда я стал больше думать об окружающих, мне захотелось узнать, известно ли Вернеру и другим обоим товарищам, что со мной было и что я сделал. Я спросил Вернера, кто привез меня в лечебницу. Он отвечал, что я приехал с двумя незнакомыми ему молодыми людьми, которые не могли сообщить ему о моей болезни ничего интересного. Они говорили, что случайно встретили меня в столице совершенно больным, знали меня раньше, до революции, и тогда слышали от меня о докторе Вернере, а потому и решились обратиться к нему. Они уехали в тот же день. Вернеру они показались людьми надежными, которым нет основания не верить. Сам же он потерял меня из виду уже несколько лет перед тем и ни от кого не мог добиться никаких известий обо мне...

Я хотел рассказать Вернеру историю совершенного мной убийства, но это представлялось мне страшно трудным вследствие ее сложности и множества таких обстоятельств, которые каждому беспристрастному человеку должны были показаться очень странными. Я объяснил свое затруднение Вернеру и получил от него неожиданный ответ:

— Самое лучшее, если вы вовсе не будете мне теперь ничего рассказывать. Это неполезно для вашего выздоровления. Спорить с вами я, конечно, не буду, но истории вашей все равно не поверю. Вы больны меланхолией, болезнью, при которой люди совершенно искренно приписывают себе небывалые преступления, и их память, приспособляясь к их бреду, создает ложные воспоминания. Но и вы мне тоже не поверите, пока не выздоровеете; и поэтому лучше отложить ваш рассказ до того времени.

Если бы этот разговор произошел несколькими месяцами раньше, я, несомненно, увидел бы в словах Вернера величайшее недоверие и презрение ко мне. Но теперь, когда моя душа уже искала отдыха и успокоения, я отнесся к делу совершенно иначе. Мне было приятно думать, что мое преступление неизвестно товарищам и что самый факт его еще может законно подвергаться сомнению. Я стал думать о нем реже и меньше.

Выздоровление пошло быстрее; только изредка возвращались приступы прежней тоски и всегда ненадолго. Вернер был явно доволен мною и почти даже снял с меня медицинский надзор. Как-то раз, вспоминая его мнение о моем «бреде», я попросил его дать мне прочитать типичную историю такой же болезни, как моя, из тех, которые он наблюдал и записывал в лечебнице. С большим колебанием и явной неохотой он, однако, исполнил мою просьбу. Из большой груды историй болезни он на моих глазах выбрал одну и подал ее мне.

Там говорилось о крестьянине отдаленной, глухой деревушки, которого нужда привела на заработки в столицу, на одну из самых больших ее фабрик. Жизнь большого города его, видимо, ошеломила, и, по словам его жены, он долго ходил «словно бы не в себе». Потом это прошло, и он жил и работал, как все остальные. Когда разразилась на фабрике стачка, он был заодно с товарищами. Стачка была долгая и упорная; и ему, и жене, и ребенку пришлось сильно голодать. Он вдруг «загрустил», стал упрекать себя за то, что женился и прижил ребенка и что вообще жил «не по-божески».

Затем он начал уже «заговариваться», и его отвезли в больницу, а из больницы отправили в лечебницу той губернии, откуда он был родом. Он утверждал, что нарушил стачку и выдал товарищей, а также «доброго инженера», тайно поддерживающего стачку, который и был повешен правительством. По случайности я был близко знаком со всей историей стачки — я тогда работал в столице; в действительности никакого предательства там не произошло, а «добрый инженер» не только не был казнен, но даже и не арестован. Болезнь рабочего окончилась выздоровлением.

Эта история придала новый оттенок моим мыслям. Стало возникать сомнение, совершил ли я на самом деле убийство или, быть может, как говорил Вернер, это было «приспособление моей памяти к бреду меланхолии». В то время все мои воспоминания о жизни среди марсиан были странно-смутны и бледны, во многом даже отрывочны и неполны; и хотя картина преступления вспоминалась всего отчетливее, но и она как-то путалась и тускнела перед простыми и ясными

впечатлениями настоящего. Временами я отбрасывал малодушные, успокоительные сомнения и ясно сознавал, что все *было* и ничем это изменить нельзя. Но потом сомнения и софизмы возвращались; они мне помогали отделаться от мысли о прошлом. Люди так охотно верят тому, что для них приятно... И хотя где-то в глубине души оставалось сознание, что это ложь, но я упорно ей предавался, как предаются радостным мечтам.

Теперь я думаю, что без этого обманчивого самовнушения мое выздоровление не было бы ни таким быстрым, ни таким полным.

III. *Жизнь родины*

Вернер тщательно устранял от меня всякие впечатления, которые могли бы быть «неполезны» для моего здоровья. Он не позволял мне заходить к нему в самую лечебницу, и из всех душевнобольных, которые там находились, я мог наблюдать только тех неизлечимо-слабоумных и дегенератов, которые ходили на свободе и занимались разными работами в поле, в роще, в саду; а это, правду сказать, было для меня неинтересно: я очень не люблю всего безнадежного, всего ненужного и обреченного. Мне хотелось видеть острых больных и именно тех, которые могут выздороветь, особенно меланхоликов и веселых маниакальных. Вернер обещал сам показать мне их, когда мое выздоровление достаточно продвинется вперед, но все откладывал и откладывал. Так дело до этого и не дошло.

Еще больше Вернер старался изолировать меня от всей политической жизни моей родины. По-видимому, он полагал, что самое заболевание возникло из тяжелых впечатлений революции; он не подозревал того, что все это время я был оторван от родины и даже не мог знать, что там делалось. Это полное незнание он считал просто забвением, обусловленным моей болезнью, и находил, что оно очень полезно для меня; и он не только сам ничего из этой области мне не рассказывал, но запретил и моим телохранителям; а во всей его квартире не было ни единой газеты, ни единой книжки, журнала последних лет: все это хранилось в

его кабинете в лечебнице. Я должен был жить на политически необитаемом острове.

Вначале, когда мне хотелось только спокойствия и тишины, такое положение мне нравилось. Но потом, по мере накопления сил, мне стало делаться все теснее в этой раковине; я начал приставать с расспросами к моим спутникам, а они, верные приказу врача, отказывались мне отвечать. Было досадно и скучно. Я стал искать способов выбраться из моего политического карантина и попытался убедить Вернера, что я уже достаточно здоров, чтобы читать газеты. Но все было бесполезно: Вернер объяснил, что это еще преждевременно и что он сам решит, когда мне можно будет переменить мою умственную диету.

Оставалось прибегнуть к хитрости. Я должен был найти себе подобного сообщника из числа окружающих. Фельдшера склонить на свою сторону было бы очень трудно: он имел слишком высокое представление о своем профессиональном долге. Я направил усилия на другого телохранителя, товарища Владимира. Тут большого сопротивления не встретилось.

Владимир был раньше рабочим. Малообразованный и почти еще мальчик по возрасту, он был рядовым революции, но уже испытанным солдатом. Во время одного знаменитого погрома, где множество товарищей погибло от пуль и в пламени пожара, он пробил себе дорогу сквозь толпу погромщиков, застрелив несколько человек и не получив по какой-то случайности ни одной раны. Затем он долго скитался нелегальным по разным городам и селам, выполняя скромную и опасную роль транспортера оружия и литературы. Наконец почва стала слишком горяча под его ногами, и он вынужден был на время скрыться у Вернера. Все это я, конечно, узнал позже. Но с самого начала я подметил, что юношу очень угнетает недостаток образования и трудность самостоятельных занятий при отсутствии предварительной научной дисциплины. Я начал заниматься с ним; дело пошло хорошо, и очень скоро я навсегда завоевал его сердце. А дальнейшее было уже легко; медицинские соображения были вообще мало понятны Владимиру, и у нас с ним составился маленький заговор, парализовавший строгость Вернера. Рассказы Владимира, газеты, журналы, политические бро-

шюры, которые он тайком приносил мне, быстро развернули передо мною жизнь родины за годы моего отсутствия.

Революция шла неровно и мучительно затягивалась. Рабочий класс, выступивший первым, сначала благодаря стремительности своего нападения одержал большие победы; но затем, не поддержанный в решительный момент крестьянскими массами, он потерпел жестокое поражение от соединенных сил реакции. Пока он набирался энергии для нового боя и ожидал крестьянского арьергарда революции, между старой помещичьей властью и буржуазией начались переговоры, попытки сторговаться и столковаться для подавления революции. Попытки эти были облечены в форму парламентской комедии; они постоянно оканчивались неудачей вследствие непримиримости крепостников-реакционеров. Игрушечные парламенты созывались и грубо разгонялись один за другим. Буржуазия, утомленная бурями революции, запуганная самостоятельностью и энергией первых выступлений пролетариата, все время шла направо. Крестьянство, в своей массе вполне революционное по настроению, медленно усваивало политический опыт и пламенем бесчисленных поджогов освещало свой путь к высшим формам борьбы. Старая власть наряду с кровавым подавлением крестьянства попыталась часть его подкупить продажею земельных участков, но вела все дело в таких грошовых размерах и до такой степени бестолково, что из этого ничего не вышло. Повстанческие выступления отдельных партизан и групп учащались с каждым днем. В стране царил небывалый, невиданный нигде в мире двойной террор — сверху и снизу.

Страна, очевидно, шла к новым решительным битвам. Но так долог и полон колебаний был этот путь, что многие успели утомиться и даже отчаяться. Со стороны радикальной интеллигенции, которая участвовала в борьбе главным образом своим сочувствием, измена была почти поголовная. Об этом, конечно, жалеть было нечего. Но даже среди некоторых моих прежних товарищей успели свить себе гнездо уныние и безнадежность. По этому факту я мог судить, насколько тяжела и изнурительна была революционная жизнь за минувшее время. Сам я, свежий человек, помнивший

предреволюционное время и начало борьбы, но не испытавший на себе всего гнета последующих поражений, видел ясно бессмысленность похорон революции; я видел, насколько все изменилось за эти годы, сколько новых элементов прибавилось для борьбы, насколько невозможна остановка на создавшемся мнимом равновесии. Новая волна революции была неизбежна и недалека.

Приходилось, однако, ждать. Я понимал, как мучительно-тяжела работа товарищей в этой обстановке. Но сам я не спешил идти туда независимо даже от мнения Вернера. Я находил, что лучше запастись силами, чтобы их хватило тогда, когда они понадобятся полностью.

Во время долгих прогулок по роще мы с Владимиром обсуждали шансы и условия предстоящей борьбы. Меня глубоко трогали его наивно-героические планы и мечты; он казался мне благородным милым ребенком, которому суждена такая же простая непритязательно-красивая смерть бойца, какова была его юная жизнь. Славные жертвы намечает себе революция, и хорошею кровью окрашивает она свое пролетарское знамя!

Но не один Владимир казался мне ребенком. Много наивного и детского, чего я раньше как будто не замечал и не чувствовал, я находил и в Вернере, старом работнике революции, и в других товарищах, о которых вспоминал. Все люди, которых я знал на Земле, представлялись мне полудетьми, подростками, смутно воспринимающими жизнь в себе и вокруг себя, полусознательно отдающимися внутренней и внешней стихийности. В этом чувстве не было ни капли снисходительности или презрения, а была глубокая симпатия и братский интерес к людям-зародышам, детям юного человечества.

IV. *Конверт*

Жаркое летнее солнце как будто растопило лед, окутывающий жизнь страны. Она пробуждалась, и зарницы новой грозы уже вспыхивали на горизонте, и снова глухие раскаты начинали доноситься с низов. И это солнце и это пробуждение согревали мою душу

и поднимали мои силы, и я чувствовал, что скоро буду здоров, как не был никогда в жизни.

В этом смутно-жизнерадостном состоянии мне не хотелось думать о прошлом и приятно было сознавать, что я забыт всем миром, забыт всеми... Я рассчитывал воскреснуть для товарищей в такое время, когда никому и в голову не придет меня спрашивать о годах моего отсутствия,— когда всем будет слишком не до того и мое прошлое потонет надолго в бурных волнах нового прилива. А если мне случалось подмечать факты, вызывавшие сомнение в надежности этих расчетов, во мне зарождались тревога, и беспокойство, и неопределенная враждебность ко всем, кто мог еще обо мне помнить.

В одно летнее утро Вернер, вернувшись из лечебницы с обхода больных, не ушел в сад отдыхать, как он делал обыкновенно, потому что эти обходы страшно его утомляли, а пришел ко мне и стал очень подробно расспрашивать меня о моем самочувствии. Мне показалось, что он запоминал мои ответы. Все это было не вполне обычно, и сначала я подумал, что он как-нибудь случайно проник в тайну моего маленького заговора. Но из разговора я скоро увидел, что он ничего не подозревает. Потом он ушел — опять-таки не в сад, а к себе в кабинет, и только через полчаса я увидел его в окно гуляющим по его любимой темной аллее. Я не мог не думать об этих мелочах, потому что ничего более крупного вокруг меня вообще не было. После различных догадок я остановился на том наиболее правдоподобном предположении, что Вернер хотел написать кому-то — очевидно, по специальной просьбе — подробный отчет о состоянии моего здоровья. Почту к нему всегда приносили утром в его кабинет в лечебнице; в этот раз он, должно быть, получил письмо с запросом обо мне.

От кого письмо и зачем, узнать, и притом немедленно, было необходимо для моего успокоения. Спрашивать Вернера было бесполезно — он почему-нибудь, очевидно, не находил возможным сказать мне это, иначе сказал бы сам, без всяких вопросов. Не знал ли чего-нибудь Владимир? Нет, оказалось, что он не знал ничего. Я стал придумывать, каким бы способом добраться до истины.

Владимир был готов оказать мне всякую услугу. Мое любопытство он считал вполне законным, скрытность Вернера — неосновательной. Он, не задумываясь, произвел целый обыск в комнатах Вернера и в его медицинском кабинете, но не нашел ничего интересного.

— Надо полагать,— сказал Владимир,— что он либо носит это письмо при себе, либо изорвал его и бросил.

— А куда он бросает обыкновенно изорванные письма и бумаги? — спросил я.

— В корзину, которая стоит у него в кабинете под столом,— отвечал Владимир.

— Хорошо, в таком случае принесите мне все клочки, которые вы найдете в этой корзине.

Владимир ушел и скоро вернулся.

— Там нет никаких клочков,— сообщил он,— а вот что я нашел там: конверт письма, полученного, судя по штемпелю, сегодня.

Я взял конверт и взглянул на адрес. Земля поплыла у меня под ногами, и стены стали валиться на меня...

Почерк Нэтти!

V. *Итоги*

Среди того хаоса воспоминаний и мыслей, который поднялся в моей душе, когда я увидел, что Нэтти была на Земле и не хотела встретиться со мной, для меня вначале был ясен только конечный вывод. Он возник как будто сам собой, без всякого заметного логического процесса и был вне всякого сомнения. Но я не мог ограничиться тем, чтобы просто осуществить его поскорее. Я хотел достаточно и отчетливо мотивировать его для себя и для других. Особенно не мог я примириться с тем, что меня не поняла бы и Нэтти и приняла бы за простой порыв чувства то, что было логической необходимостью, что неизбежно вытекало из всей моей истории.

Поэтому я должен был прежде всего последовательно рассказать свою историю, рассказать для товарищей, для себя, для Нэтти... Таково происхождение этой моей рукописи. Вернер, который прочитает ее первым,— на другой день после того, как мы с Владимиром исчезнем,— позаботится о том, чтобы она была

напечатана,— конечно, со всеми необходимыми ради конспирации изменениями. Это мое единственное завещание ему. Очень жалею, что мне не придется пожать ему руку на прощанье.

По мере того как я писал эти воспоминания, прошлое прояснилось передо мной, хаос уступал место определенности, моя роль и мое положение точно обрисовывались перед сознанием. В здравом уме и твердой памяти я могу теперь подвести все итоги...

Совершенно бесспорно, что задача, которая была на меня возложена, оказалась выше моих сил. В чем заключалась причина неуспеха? И как объяснить ошибку проницательного, глубокого психолога Мэнни, сделавшего такой неудачный выбор?

Я припоминаю свой разговор с Мэнни об этом выборе, разговор, происходивший в то счастливое для меня время, когда любовь Нэтти внушала мне беспредельную веру в свои силы.

— Каким образом,— спросил я,— вы, Мэнни, пришли к тому, что из массы разнообразных людей нашей страны, которых вы встречали в своих поисках, вы признали меня наиболее подходящим для миссии представителя Земли?

— Выбор был не так уж обширен,— отвечал он.— Его сфера должна была с самого начала ограничиваться представителями научно-революционного социализма; все другие мировоззрения отстоят гораздо дальше от нашего мира.

— Пусть так. Но среди пролетариев, образующих основу и главную силу нашего направления, разве не среди них могли вы всего легче найти то, что вам было надо?

— Да, искать там было бы всего вернее. Но... у них обыкновенно не хватает одного условия, которое я считал необходимым: широкого, разностороннего образования, стоящего на всей высоте вашей культуры. Это отклонило линию моих поисков в другую сторону.

Так говорил Мэнни. Его расчеты не оправдались. Значило ли это, что ему вообще некого было взять, что различие обеих культур составляет необходимую пропасть для отдельной личности и преодолеть его может только общество? Думать так было бы, пожалуй, утешительно для меня лично, но у меня остается серьез-

ное сомнение. Я полагаю, что Мэнни следовало бы еще проверить его последнее соображение — то, которое касалось товарищей-рабочих.

На чем именно я потерпел крушение?

В первый раз это произошло таким образом, что нахлынувшая на меня масса впечатлений чуждой жизни, ее грандиозное богатство затопили мое сознание и размыли линии его берегов. С помощью Нэтти я пережил кризис и справился с ним, но не был ли самый кризис усилен и преувеличен той повышенной чувствительностью, той утонченностью восприятия, которая свойственна людям социально-умственного труда? Быть может, для натуры, несколько более примитивной, несколько менее сложной, но зато органически более стойкой и прочной, все обошлось бы легче, переход был бы менее болезненным? Быть может, для малообразованного пролетария войти в новое, высшее существование было бы не так трудно, потому что хотя ему пришлось бы больше учиться вновь, но зато гораздо меньше надо было бы переучиваться, а именно это тяжелее всего... Мне кажется, что да; и я думаю, что Мэнни тут впал в ошибку расчета, придавая уровню культурности больше значения, чем культурной силе развития.

Во второй раз то, обо что разбились мои душевные силы, это был самый *характер* той культуры, в которую я попытался войти всем моим существом: меня подавила ее высота, глубина ее социальной связи, чистота и прозрачность ее отношений между людьми. Речь Стэрни, грубо выразившая всю несоизмеримость двух типов жизни, была только поводом, только последним толчком, сбросившим меня в ту темную бездну, к которой тогда стихийно и неудержимо вело меня противоречие между моей внутренней жизнью и всей социальной средой, на фабрике, в семье, в общении с друзьями. И опять-таки не было ли это противоречие гораздо более сильным и острым именно для меня, революционера-интеллигента, всегда девять десятых своей работы выполнявшего либо просто в одиночку, либо в условиях одностороннего неравенства с товарищами-сотрудниками, в качестве их учителя и руководителя,— в обстановке обособления моей личности среди других? Не могло ли противоречие оказаться

слабее и мягче для человека, девять десятых своей трудовой жизни переживающего хотя бы в примитивной и неразвитой, но все же в товарищеской среде, с ее, быть может, несколько грубым, но действительным равенством сотрудников? Мне кажется, что это так; и я полагаю, что Мэнни следовало бы возобновить его попытку, но уже в новом направлении...

А затем для меня остается то, что было между двумя крушениями, то, что дало мне энергию и мужество для долгой борьбы, то, что и теперь позволяет мне без чувства унижения подводить ее итоги. Это любовь Нэтти.

Бесспорно, любовь Нэтти была недоразумением, ошибкой ее благородного и пылкого воображения. Но такая ошибка оказалась возможной, этого никто не отнимет и ничто не изменит. В этом для меня ручательство за действительную близость двух миров, за их будущее слияние в один невиданно-прекрасный и стройный.

А сам я... но тут нет никакого итога. Новая жизнь мне недоступна, а старой я уже не хочу: я не принадлежу ей больше ни своей мыслью, ни своим чувством. Выход ясен.

Пора кончать. Мой сообщник дожидается меня в саду; вот его сигнал. Завтра мы оба будем далеко отсюда, на пути туда, где жизнь кипит и переливается через край, где так легко стереть ненавистную для меня границу между прошлым и будущим. Прощайте, Вернер, старый, хороший товарищ.

Да здравствует новая, лучшая жизнь, и привет тебе, ее светлый призрак, моя Нэтти!

Из письма доктора Вернера литератору Мирскому. (Письмо без всякой даты — очевидно, по рассеянности Вернера.)

. . . . . .

Канонада уже давно замолкла, а раненых все везли и везли. Громадное большинство их были не милиционеры и не солдаты, а мирные обыватели; было много женщин, даже детей: все граждане равны перед шрапнелью. В мой госпиталь, ближайший к театру

битвы, везли главным образом милиционеров и солдат. Многие раны от шрапнели и гранатных осколков производили потрясающее впечатление даже на меня, старого врача, когда-то несколько лет работавшего по хирургии. Но над всем этим ужасом носилось и господствовало одно светлое чувство, одно радостное слово — «победа!».

Это наша первая победа в настоящем большом сражении. Но для всякого ясно, что она решает дело. Чашки весов наклонились в другую сторону. Переход к нам целых полков с артиллерией — ясное знамение. Страшный суд начался. Приговор будет немилостив, но справедлив. Давно пора кончать...

На улицах кровь и обломки. Солнце от дыма пожаров и канонады стало совсем красным. Но не зловещим кажется оно нашим глазам, а радостно-грозным. В душе звучит боевая песня, песня победы.

. . . . . .

Леонида привезли в мой госпиталь около полудня. У него одна опасная рана в грудь и несколько легких ран, почти царапин. Он еще среди ночи отправился с пятью «гренадерами» в те части города, которые находились во власти неприятеля; поручение заключалось в том, чтобы несколькими отчаянными нападениями вызвать там тревогу и деморализацию. Он сам предложил этот план и сам вызвался на его выполнение. Как человек, в прежние годы много работавший здесь и хорошо знакомый со всеми закоулками города, он мог выполнить отчаянное предприятие лучше других, и главный начальник милиции после некоторых колебаний согласился. Им удалось добраться со своими гранатами до одной из неприятельских батарей и с крыши взорвать несколько ящиков со снарядами. Среди вызванной взрывами паники они спустились вниз, перепортили орудия и взорвали остальные снаряды. При этом Леонид получил несколько легких ран от осколков. Затем, во время поспешного отступления, они наткнулись на отряд неприятельских драгун. Леонид передал команду Владимиру, который был его адъютантом, а сам с последними двумя гранатами скользнул в ближайшие ворота и остался в засаде, по-

ка остальные отступали, пользуясь всякими случайными прикрытиями и энергично отстреливаясь. Он пропустил мимо себя большую часть неприятельского отряда и бросил первую гранату в офицера, а вторую в ближайшую группу драгун. Весь отряд беспорядочно разбежался, а наши вернулись, подобрали Леонида, тяжело раненного осколком своей гранаты. Они благополучно доставили его к нашим линиям еще до рассвета и передали на мое попечение.

Осколок сразу удалось вынуть, но легкое задето, и положение серьезное. Я устроил больного как можно лучше и удобнее, но одного, конечно, я не мог ему дать — это полного покоя, который ему необходим. С рассветом общая битва возобновилась, ее шум был слишком хорошо слышен у нас, и беспокойный интерес к ее перипетиям усиливал лихорадочное состояние Леонида. Когда начали привозить других раненых, он стал волноваться еще более, и я был вынужден, насколько возможно, изолировать его, поместивши за ширмами, чтобы он по крайней мере не видел чужих ран.

. . . . . .

Около четырех часов дня сражение уже кончилось, и исход был ясен. Я был занят исследованием и распределением раненых. В это время мне передали карточку той особы, которая несколько недель тому назад письменно справлялась у меня о здоровье Леонида, а потом была у меня сама после бегства Леонида и должна была заехать к вам с моей рекомендацией, чтобы ознакомиться с его рукописью. Так как эта дама, несомненно, товарищ и, по-видимому, врач, то я пригласил ее прямо к себе в палату. Она, как и прошлый раз, когда я ее видел, была под темной вуалью, которая сильно маскировала черты ее лица.

— Леонид у вас? — спросила она, не здороваясь со мною.

— Да,— отвечал я,— но не следует особенно тревожиться: хотя его рана и серьезна, однако, я полагаю, его возможно вылечить.

Она быстро и умело задала мне ряд вопросов, чтобы выяснить положение больного. Затем она заявила, что желает его видеть.

— А не может ли это свидание взволновать его? — возразил я.

— Несомненно, да,— был ее ответ,— но это принесет ему меньше вреда, чем пользы. Я ручаюсь вам за это.

Ее тон был очень решительный и уверенный. Я чувствовал, что она знает, что говорит, и не мог отказать ей. Мы прошли в ту палату, где лежал Леонид, и я жестом показал ей, чтобы она прошла за ширмы, но сам остался по соседству, у постели другого тяжелораненого, которым мне все равно предстояло заняться. Я хотел слышать весь ее разговор с Леонидом, чтобы вмешаться, если это потребуется.

Уходя за ширмы, она несколько приподняла вуаль. Ее силуэт был виден для меня через малопрозрачную ткань ширм, и я мог различить, как она наклонилась над больным.

— Маска...— произнес слабый голос Леонида.

— Твоя Нэтти! — отвечала она, и столько нежности и ласки было вложено в эти два слова, сказанные тихим, мелодичным голосом, что мое старое сердце задрожало в груди, охваченное до боли радостным сочувствием.

Она сделала какое-то резкое движение рукой, точно расстегивала воротничок, и, как мне показалось, сняла с себя шляпу с вуалью, а затем еще ближе наклонилась к Леониду. Наступило минутное молчание.

— Значит, я умираю? — сказал он тихо тоном вопроса.

— Нет, Лэнни, жизнь перед нами. Твоя рана не смертельна и даже не опасна...

— А убийство? — возразил он болезненно-тревожно.

— Это была болезнь, мой Лэнни. Будь спокоен, этот порыв смертельной боли не станет никогда между нами, ни на пути к нашей великой общей цели. Мы достигнем ее, мой Лэнни...

Легкий стон вырвался из его груди, но это не был стон боли. Я ушел, потому что относительно моего больного уже выяснил то, что мне было надо, а подслушивать больше не следовало и было незачем. Через несколько минут незнакомка, опять в шляпке и в вуали, вызвала меня снова.

— Я возьму Леонида к себе,— заявила она.— Леонид сам желает этого, и условия для лечения у меня лучше, чем здесь, так что вы можете быть спокойны. Два товарища дожидаются внизу; они перенесут его ко мне. Распорядитесь дать носилки.

Спорить не приходилось: в нашем госпитале все условия действительно не блестящие. Я спросил ее адрес — это очень близко отсюда — и решил завтра же зайти к ней навестить Леонида. Двое рабочих пришли и осторожно унесли его на носилках.

. . . . . .

. . . . . .

(Приписка, сделанная на следующий день).

И Леонид и Нэтти бесследно исчезли. Сейчас я зашел на их квартиру: двери отперты, комнаты пусты. На столе в большой зале, в которой одно огромное окно отворено настежь, я нашел записку, адресованную мне. В ней дрожащим почерком было написано всего несколько слов.

«Привет товарищам. До свидания.
Ваш Леонид».

Странное дело: у меня нет никакого беспокойства. Я смертельно устал за эти дни, видел много крови, много страданий, которым не мог помочь, насмотрелся картин гибели и разрушения, а на душе все так же радостно и светло.

Все худшее позади. Борьба была долгая и тяжелая, но победа перед нами... Новая борьба будет легче...

[1908]

Часть I
На Крайнем Севере

Глава I

Летом 19... года ламут Джергили, расставляя капканы на песцов по берегу речки Абагы-юрях, впадающей в Ледовитый океан, наткнулся на труп мамонта. От своих сородичей он слышал, что за это может быть награда — большой серебряный рубль на красной ленте,— и потому, вернувшись домой, сообщил о находке Усть-Ямскому урядник. Урядник доложил заседателю. Заседатель отправил рапорт Верхоямскому капитан-исправнику, а капитан-исправник послал донесение Начальнику Ленской области. А так как от места обнаружения мамонта до резиденции высшего начальства было около 3000 верст расстояния, то извещение пришло в областной город зимой, приблизительно к новому году.

Начальник края немедленно по телеграфу известил о редкой находке Столичную Академию Естественных и Сверхъестественных Наук, откуда через три дня пришел ответ, что организуется экспедиция, а пока — до ее приезда — необходимо принять меры к охране трупа. Начальник области задумался, кого бы ему послать на Север. Простым сторожем нельзя ограничиться. Кто знает, может быть, мамонт вымыт водой из вечной мерзлоты берега, и в таком случае его угрожает при весеннем разливе унести рекой. Тогда еще до наступления весны придется извлечь его на безопасное место, а такую работу нельзя поручать за глаза туземцам. Чиновников неудобно было отвле-

кать от исполнения их прямых обязанностей, а местная интеллигенция в это время воодушевленно занималась постановкой спектаклей на сербском, болгарском и других наречиях, которые усиленно старались привить населению.

Наконец подходящий человек нашелся в лице молодого натуралиста Виктора Антрацитова. Это был государственный ссыльный, который в долгие и томительные часы вынужденного досуга занимался кой-какими исследованиями и писал диссертацию на тему «О влиянии низких температур на степень удобоваримости малосъедобных предметов». Конечно, соответствующие опыты он производил над собой, а отчасти и над своей женой, которая самоотверженно предложила свой желудок для научных экспериментов. Это было легче, тем более, что предметы съедобные и удобоваримые редко имели случай попадать в домашний обиход супругов.

Когда Начальник края предложил Виктору отправиться на Север для охраны мамонта, тот с удовольствием согласился, причем в его решении играли роль два фактора — идеологический и экономический. С одной стороны, улыбалась возможность посетить малознакомые, интересные страны, с другой — обеспечивалась семья. Было хорошо во всех отношениях. Диссертацию отложили до черных дней, и Виктор стал готовиться в дорогу. Для услуг ему прикомандировали казака, добродушно-хитрая физиономия которого носила отпечаток слияния двух племен — монголо-тюркского и славянского. Он был вполне грамотен, читал, писал; исколесил область по всем направлениям и ездил однажды в Иркутск. Начальник края выдал Виктору деньги и охранный лист, а местная полицейская префектура снабдила казака секретной инструкцией: по ней он должен был заботиться 1) о том, чтобы вверенный его попечению натуралист не сбежал и 2) не занимался зловредной пропагандой и агитацией...

Скоро сборы были кончены, Виктор простился с женой и товарищами, и маленькая экспедиция выехала из города Ленска.

До Алдана ехали на лошадях, отсюда через Верхоямск до Усть-Ямска на оленях, а далее разрешалось делать выбор между оленями и собаками... Мы не ста-

нем описывать первую часть путешествия, а желающих ознакомиться с его условиями отсылаем к запискам барона Майделя, где читатель найдет описание перевала через Верхоянский хребет и много других не менее интересных вещей[1]. Скажем только, что станций — в примитивном, конечно, смысле этого слова — было немного, расстояния между ними достигали порой 230 верст, а в промежутках находились так называемые «поварни», где путники останавливались для отдыха и кормежки оленей. Поварня — это низенькое строение, кое-как сооруженное из самого разнообразного материала: дерева, камней, моха и снега. Необходимую ее принадлежность составляют камелек — род камина и ороны — нары. Олени освобождаются от упряжки и пускаются на волю, где без посторонней помощи вырывают себе пищу из-под снега, а путешественник входит в поварню. Это учреждение необитаемо, и желающий согреться, закусить и отдохнуть должен сначала нарубить дров и развести огонь в камельке, ибо температура помещения одинакова с температурой наружного воздуха. Пока труба прогревается, дым из нее нейдет и заполняет собой все пространство под потолком. В это время рекомендуется вырубить на близлежащем озере или тарыне[2] кусок льда или нагрести снега, чтобы приготовить воду для чая. После этого вы входите в поварню и, наслаждаясь негой теплоты у ярко пылающих дров, можете заняться вычислением, какое количество больших или малых калорий потребно для обращения в кипящую воду кусков льда, положенных в чайник и котелок. Хлеб и другие съестные припасы тоже кладутся к огню, ибо дорогой они превращаются в камень; по обыкновению хлеба не берут, а возят с собой муку. Разболтав ее в воде до надлежащей консистенции, полученную массу жарят на сковородке, после чего получаются удивительно вкусные оладьи. Закусив, путешественники ложатся спать, укутавшись с головой в заячьи одеяла. Это необходимо, так как температура возвращается к первоначаль-

[1] Путешествие по северо-восточной части Якутской области в 1868—1870 годах барона Герхарда Майделя. Перевод с немецкого, Приложение к 74-му тому, Зап. Имп. Ак. Н. Спб., 1894, №3.
[2] Тарын — покров из слоистого льда, возникающий зимой на дне долин рек (главным образом в Восточной Сибири).

ному состоянию, едва только сгорят дрова. Утром пьют чай, запрягают оленей — и снова в путь... Так поступали Виктор и казак — и благополучно доехали до Усть-Ямска.

Глава II

Усть-Ямск — самый северный из населенных пунктов Ленской области[1]. Отсюда до Абагы-юрях оставалось 400 верст по направлению к С.-В. Виктор, пользуясь кратковременной задержкой, отдохнул, нанял 4 рабочих ламутов, купил две ровдужные урасы и приводил в порядок путевые записки. Казак же принялся за составление доклада начальству о поведении «поднадзорного» натуралиста.

Этот акт ничуть не знаменовал собою отрицательного и враждебного отношения его к Виктору. Наоборот, дорогой наши путешественники сблизились и даже подружились; лишения в полярных странах часто сглаживают классовые и интеллектуальные перегородки; на угрюмом лоне северной природы как-то не приходит в голову ощущение разницы исповедуемых политических убеждений. Здесь во всем могуществе проявляет себя высокий инстинкт общественности и вытекающие из него разнообразные формы содружества и взаимной поддержки в борьбе с суровыми естественными силами... Казак писал свое донесение потому, что это было ему приказано, а сила дисциплины порой выступает ярче, чем сила внутреннего этического уклада, ибо первая никогда не входит в сферу сознания. Власть гипноза колоссальна...

«Г-н Антрацитов,— писал между прочим казак,— вел себя дорогой почти всегда мирно и по закону, и хотя обзывал меня несколько раз забастовочным словом «товарищ», то — надо полагать — по обмолвке. С усть-ямскими жителями преступных разговоров не ведет, но про себя читает недозволенные книги; одну из них я осмотрел, и она оказалась сочинением какого-то иностранца, а какого, не сказано. В ней, между прочим, говорится, как делать земляные трясения и потопы, а

[1] Шаронов. Устья Яны. Казачье. Усть-Янск и его окрестности. «Сибирь», 1884, №№ 9, 10, 40 и 42.

также о разных учениях запрещенных партий, например «приогидатоморфизме» и др.»[1].

— Ну, вот и кончил,— сказал, написав, казак,— посмотрите, барин, хорошо ли?

Виктор посмотрел и сказал, что хорошо.

Через три дня они выехали к Абагы-юрях. Путь лежал по голой безлесной тундре, где лишь чахлые кусты талынника подымались над необозримой снежной поляной. Бледное солнце только на два часа показывало свой лик, зато огненные пальцы, пурпурно-лиловые складки и красочные дуги северного сияния проявлялись во всей красе. На остановках наши путешественники разбивали свои две урасы, прочно укрепляли их, чтобы отдохнуть и ехать далее. Прутьев талынника едва хватало на то, чтобы вскипятить чай...

Наконец, желанная цель была достигнута. Скованная льдом Абагы-юрях представилась глазам Виктора и его утомленных спутников: довольно высокие берега реки слагались, где это было видно, постплиоценовыми отложениями, и стройные лиственницы, во множестве растущие здесь и там, оживляли пейзаж. Как известно, по берегам рек полярная граница распространения лесов отодвигается к северу.

Проводник указал место, в окрестностях которого должен находиться труп мамонта, и Виктор отдал приказ остановиться. Подкрепившись пищей и отдохнув, рабочие принялись рубить деревья, чтобы соорудить несколько юрт для себя и имеющей прибыть из столицы экспедиции. Мерзлое дерево с трудом поддавалось клинообразному железу, порой искры летели от топоров[2], но к вечеру благодаря дружным усилиям масса бревен лежала уже на снегу.

На другой день Виктор с Джергили и двумя ламутами отправились осмотреть мамонта. Но когда раскопали снег у высокого шеста, стоящего как отметка, то Виктор чуть не сошел с ума, а Джергили взвыл не хуже полярного волка. Мамонта не было; дикие звери, по-видимому, еще до зимы растаскали его по частям, и только несколько крупных костей с уцелевшими кос-

[1] Очевидно, казаку попалась в руки книга профессора Иностранцева «Курс геологии».

[2] Аналогичное явление см. у Маака: «Вилюйский округ», ч. II. Спб., 1886.

где сухожилиями кусков кожи сиротливо лежали под разрытым снегом. Один хвост сохранился в неприкосновенности и, изогнувшись наподобие вопросительного знака, как бы недоумевал, что ему теперь делать. Даже бивней не было; какой-то проезжавший здесь промышленник вырубил их и увез с собой на память.

Взяв под мышку хвост, Виктор грустно направился в лагерь; невеселые мысли бродили у него в голове. Какая потеря для науки! Сколько энергии пропало даром и еще будет затрачено, ведь нельзя уже остановить экспедицию, которая, вероятно, выехала теперь из Ленска... Что, если бы к услугам его был беспроволочный телеграф?.. А долгие дни прозябания в этой глуши, отягченные созерцанием рыжего хвоста?..

Но предаваться унынию было по меньшей мере бесполезно, и, чтобы скоротать время, Виктор принял деятельное участие в постройке. Через несколько дней три юрты красиво выделялись на фоне опушенных инеем лиственниц.

Глава III

Время шло. Дни удлинялись медленно, но упорно. Пользуясь стоящими холодами, наш натуралист решил заняться получением крио- и кристаллогидратов из растворов различных солей, которые он извлек из походной аптечки. К сожалению, приходилось ограничиваться только созерцанием красивых форм получаемых кристаллов да записью t° и весовых отношений берущихся веществ. При этом он вспоминал свою Alma mater, ее музеи и кабинеты и думал, как рад был бы старик профессор, если бы хотя одна комната его лаборатории имела бы температуру, равную —50° С. Но пока еще не принято строить университеты под 73° северной широты... Потом Виктор увлекся охотой, а казак производил начатые им метеорологические наблюдения; он вел свою работу точно и аккуратно, что впоследствии было по достоинству оценено Иркутской Метеорологической Обсерваторией. Ламуты спали большую часть времени.

Однажды, когда Виктор возвращался с довольно удачной охоты (в его сумке лежало около 5 мышей

и 1 лемминг), он увидел в разрезе берега торчащие наружу чьи-то голые волосатые ноги. Невероятное предположение осенило его мозг. Вся кровь прихлынула к голове, холодный ужас перед величественной загадкой сковал его члены. Придя в себя, он бросился к обнажению и, сдерживая внутреннее волнение, принялся внимательно читать раскрытые страницы гигантской книги, где бесстрастное Время отпечатало и сохранило сказание о начале четвертичного периода в истории Земли. Сомнения не было — данный слой принадлежал к ледниковой эпохе, и перед Виктором были ноги трупа (in situ!) первобытного человека, современника мамонта. Неописуемый восторг овладел душой молодого натуралиста. Да будет благословен случай, приведший его в эту страну! Да будет благословен камень, споткнувшись о который он обратил глаза на бесценное отныне место в береговом разрезе Абагы-юрях.

Эту ночь Виктор совершенно не спал; а на другой день его рабочие с раннего утра приступили к раскопкам с целью изолировать часть вечно мерзлой почвы, содержащую в себе необыкновенные останки, от общей массы берега. Наконец, большая параллелепипедальная глыба была отделена со всевозможными предосторожностями, положена на две соединенные нарты,— и легконогие олени помчались к жилищу, пугливо озираясь на свою странную кладь. Их острое обоняние говорило им больше, чем могли бы предполагать управлявшие ими люди...

Следующие дни Виктор посвятил тщательному отпрепариванию трупа от окружающей его породы. Это была трудная, кропотливая работа, так как приходилось щадить не только целость кожи, но и по возможности сохранить все волосы на ней. На трупе оказалось подобие одежды из шкуры мускусного быка, закрывшей случайно голову человека, что отчасти облегчило отделение посторонних частей... Кончен утомительный, но приятный труд. Вздох восхищения и радости вырвался из груди Виктора, когда он взглянул на лежащее перед ним тело. Потом оно было положено на высокий, специально для него построенный арангас (платформа на четырех столбах) и заботливо укрыто. Собаки подняли ужасный вой, когда убеди-

лись, что им не добраться до трупа. Они очень мешали во время препарирования: прыгали, нюхали, облизывались, видимо, думая полакомиться мясом двуногого неизвестного им зверя, так что постоянно приходилось их отгонять...

— Воля ваша, барин,— говорил казак Виктору,— а только беспременно надо донести по начальству: как-никак, а все мертвое тело.

— Друг мой,— отвечал ему Виктор,— начальство тут ни при чем. Этот человек жил и умер в то время, когда никаких властей не было на земле, и за смерть его уже никто не может ответить, ведь ему около пятидесяти тысяч лет.

— Шутить изволите,—сказал казак,—как это можно, чтобы не было тогда начальства, оно испокон века ведется на земле. Нет, надо доложить; кстати, ламуты наши на днях собираются в Усть-Ямск, боязно им здесь с покойником.

Через три недели Верхоямский капитан-исправник получил следующую бумагу:

«Честь имею донести Вашему Вы-дию, что в пределах управляемого Вами округа, на берегу р. Абагы-юрях откопано мертвое тело неизвестного звания. Знаков насилия на оном не замечено, а принадлежит оно человеку нехристианской веры, о чем заключаю по неимению креста» и т. д.

Капитан-исправник послал распоряжение о доставке трупа для освидетельствования окружным врачом; а через три месяца после этого в «Центральных Столичных Ведомостях» было напечатано объявление:

«На берегу р. Абагы-юрях, впадающей в Ледовитый океан, обнаружено тело неизвестного человека. Всякий, кому известно звание и местожительство покойного, обязан известить немедленно Верхоямскую полицейскую префектуру».

Глава IV

Между тем на место находки мамонта прибыла так долго ожидаемая экспедиция. Едва показались в просветах деревьев олени и нарты с людьми, на крыше юрты взвился флаг, залп ружейных выстрелов

огласил окрестности, и собаки подняли невообразимый лай и визг: встреча вышла торжественной.

Виктор представился начальнику экспедиции, который оказался профессором геологии N. В свою очередь, тот познакомил с натуралистом своих спутников. Один — зоолог-препаратор Шамиоль, француз по происхождению, другой — доктор Сабуров из Ленска, два остальные были студенты Коко Загуляев и Серж Лимонадов. Виктор обнялся с доктором, которого хорошо знал в Ленске, и радостно приветствовал гостей из далекой России. Ему передали письма и целый ворох газет.

...Когда улеглось немного волнение встречи и приехавшие утолили свой голод, первым вопросом их было, в каком состоянии находится труп мамонта.

Невозможно описать тот взрыв отчаяния, который последовал за коротким печальным рассказом Виктора. Профессор рвал на себе волосы, доктор потому не рвал, что их у него почти не было, но кричал, что это «провокация»; препаратор жестикулировал так энергично, что вышиб льдину, заменявшую окно, и с уст его слетали только «morbleu», «sacre chien!» и другие маловразумительные слова. Студенты прямо расплакались, да так, что испугавшийся казак бросился их утешать. Со всею нежностью, на какую была способна его суровая душа, он говорил молодым людям, что все в руке божией, что мамонт не приходился им ни отцом, ни братом, что авось, быть может, они найдут еще другого, получше...

Но пока экспедиция в полном составе предается своему горю, мы вкратце ознакомим читателя с ее членами.

Профессор N. был известный не только в России, но и за границей, прекрасный геолог. Его первая крупная работа—диссертация на степень магистра «О форме и размерах дельтидиального отверстия у спирифероз из пермского цехштейна» — считается классической и единственной в своем роде. Он был прямой, стойкий в своих убеждениях человек и пользовался огромной популярностью среди своих слушателей. Любимой фразой его были слова Бокля «храм науки — храм демократии», хотя он не принадлежал ни к одной из существующих партий.

Зоолог был выходец из Франции, откуда эмигрировал в Россию, благодаря перепроизводству ученых на своей прекрасной родине. Экспансивный, горячий, подвижной, как ртуть, он был, однако, чрезвычайно аккуратен и предусмотрителен и, отправляясь в какую-либо экскурсию, брал с собой румяна, белила, помаду для рук и тому подобные вещи. По-русски он совсем не говорил, ибо считал бесполезной тратой времени изучать этот варварский язык, но считал себя знатоком России и писал корреспонденции в «Figaro». Одна из них в свое время наделала шума в Парижском Обществе Антропологии и Культуры. Шамиоль подробно описал процесс зимней спячки мужика. Выходило так, что на зиму русский крестьянин (moujik) забирается на раскаленную добела печку, где лежит вплоть до весны, жуя кожаную перчатку (la roucavitza). Далее следовало описание подобного же занятия у медведя и — на основании сходства в анатомическом строении его подошвы с подошвой мужика — выводилось заключение о близком их родстве.

Доктор Сабуров был старожил города Ленска. Когда-то давно, еще молодым человеком, он попал в область и превосходно здесь акклиматизировался, не утратив ни одной из светлых юношеских сторон своего характера.

Как врач он прославился необыкновенно быстро. В Колымске, где он начал свою деятельность, до сих пор помнят первый серьезный случай из его практики. Больной, страдавший хроническим туберкулезом почек, без хлороформа перенес операцию, а Сабуров, вооруженный одним якутским ножом, блистательно произвел нефрэктомию. Операционной комнатой служила баня, в качестве ассистента был местный дьячок. Все обошлось благополучно. Через несколько лет Сабуров перебрался в Ленск. Круглый и живой, как мячик, с ясными детскими глазами, он был везде — и всегда успевал делать самые разнообразные дела. С раннего утра его можно было встретить разъезжающим от одного своего пациента к другому. В полдень он защищал в окружном суде какого-нибудь неудачника. Затем следовали дежурство и прием больных в гражданской лечебнице. Потом мы встречаем его на заседании родительского комитета; немного спустя

он доказывает в думе необходимость канализации. А вечером граждане видят доктора в роли Уриеля Акосты в любительской постановке пьесы на крошечной сцене местного клуба. Поздней ночью он писал в своем маленьком кабинете монографию о Верльгофовой болезни, а у ног его лежала большая коричневая собака и думала, когда же отдохнет ее хозяин... У доктора было немало врагов, но он ни к кому не питал злобного и враждебного чувства, он знал всю подноготную города, знал всех обывателей до мозга костей; а все знать, значит все прощать.

Одна слабость была у Сабурова: это — страсть отыскивать провокации. Оттого ли, что лучшая пора его деятельности протекала в те времена, когда приходилось много бороться с дегаевщиной или от чего иного, только доктору везде чудились провокации. И, надо сказать правду, он раскрывал их удивительно ловко. В то время, когда какой-нибудь пропившийся и скучающий абориген, желая взбудоражить общественную атмосферу, выпускал прокламации за подписью «Карающий Попугай» и полиция сбивалась с ног, отыскивая преступное сообщество, доктор уже знал все подробности дела и, летая по городу, успокаивал встревоженных перспективой обыска обывателей: «Пустяки! Это одна провокация»... Но объем понятия провокации у Сабурова был порою необычайно широк; под это определение подходило иногда всякое неожиданное событие. Рассказывают, что, когда от удара молнии загорелась сторожка на городском выгоне, доктор воскликнул: «Это провокация».

Неизвестно, что заставило его примкнуть к экспедиции,— желание ли отдохнуть, или инстинкт подсказывал ему, что он будет играть крупную роль в необыкновенном событии,— так или иначе, но в настоящее время мы видим доктора на берегу реки Абагыюрях.

Студенты Коко Загуляев и Серж Лимонадов были питомцы столичного университета. Они состояли в студенческой фракции Союза 17-го октября, науку любили до безумия, но имели к ней такое же отношение, в каком находится кембрийский трилобит к японской хризантеме. В России они носили монокли, но в Сиби-

ри пришлось оставить эту привычку, так как охлажденная морозом металлическая оправа обжигала нежную кожу лица, а к тому же зрение было у них прекрасное. Зато, проездом в Ленске, они отдали портному подбить свои студенческие мундиры белым песцовым мехом; выходило тепло и по моде. Сам профессор-геолог точно не знал, как они попали в его распоряжение, но примирился с существующим фактом, видя, насколько безвредны эти юноши...

Таков был ученый персонал экспедиции, снаряженной на Крайний Север Столичной Академией Естественных и Сверхъестественных Наук.

Глава V

Острый фазис горя у вновь приехавших путешественников миновал. Первыми пришли в себя студенты. Серж Лимонадов, пользуясь тем, что он как бы у себя дома, достал монокль и быстро вскинул его в правый глаз; а Коко Загуляев машинально взял хвост мамонта и начал смахивать им соринки, приставшие к мундиру. Но Шамиоль не преминул заметить, насколько кощунственно такое отношение к объектам науки, и отнял у него злополучный хвост. Доктор уже усмотрел трахоматозные фолликулы на соединительной оболочке нижних век Джергили и приготовлял раствор аргентамина для глазных капель. А профессор, вооружившись цейссовской лупой, внимательно разглядывал доставленные ему Усть-Ямским священником кусочки янтаря с оз. Хрома, ища в них третичных насекомых.

Все, как бы по внутреннему молчаливому соглашению, избегали пока говорить о том, что следует теперь делать...

На другой день утром, когда публика мрачно собралась у стола и, угрюмо пережевывая пищу, запивала ее чаем, Виктор рассказал о своей находке. Эффект был поразительный. Профессор едва не подавился юколой и сейчас же бросился искать доху; Шамиоль побежал за ним, причем изрыгал страшные клятвы, где брюхо ихтиозавра фигурировало рядом с о. Игнатием Лойолой; доктор завопил «провокация!», но тут же прибавил, что в наш век все возможно; а студенты кинулись обнимать казака и чуть не откусили ему усы.

Через две минуты все находились перед трупом ледникового человека; профессор поднял шкуры, покрывавшие тело, взглянул — и обнажил свою седеющую голову. Только раз в жизни он испытал подобное ощущение; это было в начале его научной карьеры, когда он под величественными сводами Вестминстерского Аббатства впервые остановился перед могилой Дарвина. Все последовали примеру почтенного геолога и, сняв свои шапки, долго стояли в благоговейно-восторженном созерцании.

Доктор первый разрушил торжественность минуты. Нагнувшись к трупу, он тщательно разглядывал все детали, сравнивал цвет кожных покровов в различных частях тела, даже обнюхал его и, наконец, сбегав в юрту, вернулся оттуда с полоской шведской бумаги, пропитанной раствором уксусно-кислого свинца (Plumbum aceticum neutr). Очистив от земли ноздри человека, он всунул в них по кусочку реактивной бумаги[1] и, прождав некоторое время, вытянул ее обратно. Бумажка была по-прежнему бесцветна, что указывало на отсутствие в легких сернистых газов — признаков разложения. Все с недоумением смотрели на доктора, у которого странная складка легла между бровей...

Потом все разом заговорили, какая прекрасная сохранность трупа, какое ценное приобретение, эта находка стоит десяти мамонтов — в какой восторг придут академики; ждали четвероногое, получат двуногое животное, ждали разрезанного на части мамонта, а вместо него цельный, без единой царапинки человек ледниковой эпохи; необходимо теперь же, совершенно обледенив труп, отправить его в Академию, чтобы он дошел туда зимним путем, во избежание порчи от гниения...

Доктор прервал эти разговоры и предположения категорическим заявлением, что труп надо осторожно оттаять.

— Коллега! — сказал ему профессор.— Это выполнят в Академии перед рассечением. При вскрытии будут присутствовать выдающиеся представители кафедр анатомии человека, сравнительной анатомии, палеон-

[1] Метод д-ра Икара (Icard) из Марселя.

тологии и, как мне кажется, не обойдется и без патологоанатома. Содержимое желудка и кишечника, несомненно, перейдет в распоряжение наших лучших паразитологов и бактериологов... Я полагаю, что в кишечном тракте человека ледниковой эпохи обнаружится флора и фауна...

— Мне в настоящий момент нет никакого дела до ледниковой эпохи,— отвечал доктор, к ужасу присутствующих.— Передо мной просто тело замерзшего человека. Есть основания думать, что он не умирал, и мой долг — подать ему медицинскую помощь.

— Разве это возможно? — вскричал Коко Загуляев.— Вы забываете, как сильно могли измениться за 50 000 лет форменные элементы его крови.

— А выкристаллизование под влиянием холода воды из плазмы? — поддержал товарища Серж Лимонадов.

— Дети мои,— сказал доктор,— как жалка была бы наука, если бы она умещалась в одних учебниках! Но для споров по этому предмету у нас еще найдется немало времени. А теперь,— и голос Сабурова зазвучал твердо и неумолимо,— я, как врач, вступаю в свои права, чтобы разбудить в этом теле неугаснувшую в нем жизнь!..

Среди жуткого молчания замерли последние слова доктора. Здесь, в необычайной обстановке, на Крайнем Севере, за лентой Полярного круга в зачарованном сознании исчезала грань между возможным и невозможным, действительность перемешивалась с фантазией. И дерзость безумной идеи ударяла по скрытому желанию чуда, а ожидаемое чудо казалось простым и естественным явлением...

Без прений, единогласно было постановлено передать тело доктору.

Глава VI

Человека перенесли в одну из трех юрт, которую Сабуров выговорил исключительно для своего личного пользования. Затем он попросил товарищей по экспедиции не посещать его до тех пор, пока он не разрешит этого. Все выразили полное согласие и искренне пожелали доктору успеха.

Казак обратился к Виктору за советом, не написать ли ему донесение в Ленск, что доктор занимается воскрешением мертвых.

— Не человеческое это дело,— тоном глубокого убеждения добавил он,— не по чину поступает Сабуров; как бы чего не вышло?..

Но Виктор отговорил казака от его намерения, указав на то, что доктор действует с разрешения начальника экспедиции. Казак несколько успокоился.

Мало-помалу жизнь колонии вступила в нормальное русло, каждый нашел какое-нибудь дело,— и публика не скучала.

Дни прибывали. В полдень глазам было больно смотреть на ослепительно-яркий снег. Солнце значительно дольше оставалось на небе и, казалось, говорило угасавшей зиме: «Погоди, старая колдунья, скоро я разобью твои белые чары...»

Только раз спокойствие членов экспедиции было нарушено. Из Усть-Ямска прибыл урядник с бумагой, предписывающей ему доставить мертвое тело в Верхоямск для судебно-медицинского вскрытия. В это время доктор выглянул из своей юрты и, узнав в чем дело, завопил: «Провокация! Здесь нет никакого мертвого тела». Студенты встревожились и, забыв мирную тактику октябристов, полезли в сундук за своими шпагами, чтобы оказать вооруженное сопротивление (злые языки говорят, что клинки шпаг были из жести); но профессор охладил их пыл и, любезно пригласив урядника закусить и выпить стаканчик коньяка марки President, спокойно объяснил ему, что произошло маленькое недоразумение. Затем он написал капитан-исправнику, что труп перешел в собственность Академии Естественных и Сверхъестественных Наук, которая и принимает на себя все последствия этого дела. Урядник уехал весьма обрадованный, ибо ему вовсе не хотелось путешествовать в компании с мертвецом.

А Сабуров работал. Мы не можем пока ознакомить читателя с тем, что творилось в юрте доктора. Но думаем, что скоро все будут иметь удовольствие читать новую книгу уважаемого врача, которую он на днях заканчивает к печати; она носит название «О радиоактивности почвенного льда в связи с сохранением в нем древних трупов и тел, а также о новом способе

оживления замерзших людей». Прибавим, что Сабурову много пришлось потрудиться, пока он не попал на верную дорогу. Якут, носивший ему пищу в юрту, передавал Джергили, как сильно похудел доктор, как он мало ест и спит...

Однажды, когда вся публика сидела за обеденным столом и Шамиоль откупоривал бутылку хорошего красного вина (был 1-й день Пасхи), в комнату вошел доктор. Он весь сиял торжеством победившего; молнии гордости с быстрыми искрами радости сверкали в его глазах, придавая лицу его какое-то необычайное выражение.

«Таким, вероятно, выглядел Прометей после своего подвига»,— мелькнуло в голове у Виктора.

Доктор взял бутылку, наполнил всем присутствующим стаканы и, подняв свой, сказал:

— Люди XX столетия! Я с помощью науки вернул к жизни ледникового человека... Он теперь спит. Выпьем за его здоровье. Пусть этот сон, первый в его новой жизни, будет ему легким мостом для перехода к нам через пропасть 50 000 лет!

Все с громкими криками вскочили из-за стола и бросились к доктору. Ему жали руки, обнимали, целовали его и наперерыв поздравляли с победой; всякое другое слово — успех, счастье — было бы тут тривиально и неуместно.

Профессор, как глава экспедиции, обратился к доктору:

— Досточтимый коллега! Вы своим проникновенным взором усмотрели огонек жизни, теплившийся в долговечном ледяном безмолвии. Вы своей сильной рукой исторгли из когтей Смерти ее добычу и возвратили Земле и Солнцу первобытного человека. Вы осязательно соединили нас с отдаленной ледниковой эпохой в лице высшего представителя ее органического мира. Приветствую вас и поздравляю!

Дружное «ура» буквально потрясло стены юрты. Доктор хотел что-то сказать, но вдруг побледнел, покачнулся и упал без чувств на руки товарищей. Бессонные ночи, усиленная мозговая деятельность и страшное нервное напряжение последних дней сказались на организме престарелого врача и вызвали глубокий обморок. Все приняли живейшее участие в ухо-

де за доктором, и к вечеру он, уже пришедший в себя и оправившийся, пригласил желающих взглянуть на ледникового человека.

Глава VII

В гробовом молчании, тихо вошли члены экспедиции в запретную до сего дня юрту. Окна ее были завешены зеленой материей, через которую слабо пробивался лунный свет. Доктор подбросил дров в камин и зажег свечу. Испуганные тени беспокойно задвигались, разбежались и притаились в темных углах комнаты. Прежде всего бросились в глаза большой стол и две полки, занятые разнообразной химической посудой: среди приборов выделялись румкорфова спираль, радиоскоп и еще несколько предметов неизвестного назначения. В наиболее удаленной от камина части на широком ложе, устланном оленьими шкурами, лежал Человек. Он был наг, но мягкие рыжеватые волосы, покрывавшие почти все его тело, производили впечатление оригинальной ткани и не давали у наблюдателя развиваться ощущению наготы. Лицо его, почти до глаз заросшее бородой, было бы красиво, если бы не узкий лоб и несколько выдающаяся вперед нижняя челюсть. Впрочем, не видно было еще глаз, которые могли бы смягчить грубое выражение физиономии... Человек все еще спал. Из ноздрей вылетало дыхание жизни. Широкая грудь мерно подымалась и опускалась.

Со странным чувством глядели гости доктора на своего предка. Теперь, когда они видели и могли осязать его, им меньше верилось в реальность происходящего, чем несколько часов тому назад — в момент торжествующего заявления Сабурова.

Это была какая-то фантасмагория...

Спустя несколько минут доктор знаком руки попросил товарищей удалиться. Все медленно, один за другим, вышли, а доктор, подвинув табурет, сел около спящего Человека.

Он ждал...

Конец 1-й части

Якутск, 1909 г.

I

Это было в одну из мрачных январских ночей 1864 года, когда Петропавловская крепость была переполнена политическими узниками. Сильная вьюга бушевала над окованной снежным покровом равниной и наносила порывистым ветром целые сугробы снега на серые угрюмые бастионы и на почти спрятавшийся под их покровом островок Алексеевского равелина, эту таинственную могилу, где бесследно исчезали жертвы политических гонений и абсолютизма.

В одной из небольших одиночных комнат низенького треугольного здания внутри этого островка тускло горела лампочка на деревянном столике и освещала своим желтоватым светом серые стены, покрытые внизу белыми узорами плесени, простую черную кровать и темный профиль заключенного, все лицо которого было в тени.

Он встал с трудом с постели и, шатаясь на опухших от цинги ногах, как бы проволочился несколько раз по комнате, прислушиваясь к вою ветра за деревянной рамой окна и к шуршанию снега, бьющегося порывами в матовые стекла рамы, на которые падал снаружи слабый мерцающий свет отдаленного фонаря и отражалась клетчатая тень железной наружной решетки. Страшная колючая боль в ногах, уже несколько месяцев сопровождавшая каждое его движение, заставила его сейчас же в изнеможении сесть на место. Но вдруг он снова поднялся, как бы под влиянием электрического тока, и выражение энергии отразилось на его исхудалом лице.

— Нет, назло врагам я не умру, я не должен умереть,— лихорадочно шептал он самому себе.— Во что бы то ни стало я должен жить и для этого должен ходить, потому что в моем теперешнем положении отсутствие движения — смерть. Я уже стою одной ногой в могиле, но силой воли я заставлю свое тело победить всякую болезнь. Я буду еще жить, и все, что я теперь знаю, еще увидит свет, и знание истины сделает людей счастливее.

Он снова встал с постели и снова, шатаясь, начал ходить взад и вперед, несмотря на то, что в его глазах темнело после каждого нового перехода через комнату и он должен был постоянно хвататься от слабости то за край стола, то за стены комнаты; он ходил и ходил, хотя после нескольких минут движения все-таки почти без чувств, в страшных мучениях валился на свою постель.

Что же заставляло его так страстно стремиться к жизни в этом унылом месте неволи, в этом заброшенном и безнадежном положении? Что такое он знал?

Он знал очень многое, чего не знало большинство его современников; он знал, что свет науки и сила истинного знания медленно, но верно разгоняет уродливые фантомы и дикие призраки невежества и суеверия, еще наполняющие головы людей и заслоняющие от их глаз весь чудный бесконечный мир. Он знал, что порыв могучей жизни низвергнет насилие и произвол и на месте этого жилища неволи будет некогда воздвигнута статуя свободы. Но не это волновало его теперь. Другое особенное знание было у него. Чудно и странно было это знание, не то первое откровение грядущей истины, не то первые симптомы начинающегося сумасшествия. Оно только что в эту ночь пришло к нему, в его напряженный и экзальтированный мозг, когда вьюга бушевала вокруг его жилища и порывы ветра наносили сугробы снега на его одинокое окошко.

В эту ночь он долго думал о загадках вечности и мировой жизни. Он думал об отдаленном будущем земного шара, когда человечество, пройдя длинную цепь веков, достигнет своего полного и пышного развития, достигнет абсолютного познания истины, и, наконец, подчиняясь неумолимому закону охлаждения земного шара, принуждено будет постепенно исчезнуть

сначала в полярных областях земли, затем в умеренных, а после всего и в экваториальных странах.

Ярко рисовалась в его уме торжественно-молчаливая картина будущего всеобщего обледенения, где солнечные лучи отражаются лишь от бесконечных снеговых полей и нагроможденных ледяных глыб, под холодным покровом которых лежит бесконечное кладбище миллионов поколений, и грустное чувство волновало его грудь. Что же будет дальше? Неужели здесь конец всему, конец всякой сознательной жизни на Земле и даже во всей Вселенной? И вдруг неожиданная идея блеснула в его уме и сразу изменила общий вид этого мертвого оцепенелого ландшафта. Он был когда-то страстным любителем физики и астрономии и посвящал изучению вечных законов природы все время, остававшееся у него свободным от политической борьбы, и он вспомнил теперь об одном виденном им когда-то опыте над углекислотой, где эта последняя под влиянием давления и охлаждения в замкнутых сосудах превращалась перед его глазами в жидкость, совершенно подобную воде.

— Нет, этот вечно оцепенелый покой будущей природы существует лишь в воображении современных поколений,— сказал он сам себе.— Царство льда и смерти будет непродолжительно. Всего лишь семьдесят восемь градусов холода, и невидимые, но громадные массы углекислоты, наполняющие земную атмосферу и завывающие в этом ветре и метели, увеличенные всеми новыми процессами горения, вулканической деятельности и полузамещения угольного ангидрида водою в известняках после их подземного прокаливания — все начнут обращаться в жидкость, и новый океан из углекислоты, образовавшийся сначала на обоих полюсах Земли, в виде двух отдельных изолированных морей, мало-помалу будет надвигаться к экваториальному поясу нашей планеты, пока оба новые моря не сольются воедино вокруг будущих ледяных континентов.

И он ясно видел бушующие волны этого океана, слышал шум их грозного прибоя о ледяные утесы и скалы нового мира. Ярко светило солнце на безоблачном небе, и его холодные для нашего тела лучи были страшно жгучи для будущей обледенелой природы.

Миллионы невидимых частиц поднимались под их влиянием с поверхности новых морей в прилегающие слои атмосферы и быстро уносились вверх порывами свежего ветра. Вот они достигли более холодного течения воздуха, и облачко углекислоты сгустилось на темно-голубом небе. Быстро появлялись все новые и новые облака; они собрались в свинцово-серую грозовую тучу; вот грянул первый удар грома, блеснула молния, и потоки крупного дождя из жидкой углекислоты полились на снежно-ледяную почву. Шумно зажурчали ручьи и потоки по давно прорытым оврагам, сбежали прыгающими каскадами между ледяных скал и влились в реки, моря и озера, нанося на их дно целые слои отмытых ледяных кристалликов и крупинок, перемешанных с частицами песка и глины. Быстро пронеслась гроза, и яркая радуга заблестела на последней завесе удаляющегося дождя углекислоты.

И все в этом новом мире было так же, как и в нашем. Так же клубились облака на небе, так же журчали весенние воды, так же медленно наслаивались на дне морей, озер и океанов наносные пласты ила. Кое-где по берегам ледяных континентов эта *новая вода* глубоко проникала под поверхность напластований измельченного льда, песку и глины, измолотых геологическою деятельностью земной коры, и те таинственные химические процессы, что производят в наше время выделение подземной теплоты и вулканическую деятельность, имели и там свое место. Быстро возвышалась температура глубоко лежащих слоев, сильно напрягались образовавшиеся внутри земли пары воды и углекислоты, грозно гудел первый удар землетрясения, и новый кратер изливал из своего жерла целые потоки расплавленного льда, перемешанного с продуктами подземной химической работы нового мира..

Да, все было то же в новом мире, и не было лишь в нем той одной одухотворяющей природу органической жизни, которую создает для современной теллурической эры — эры водного океана — физиологический обмен вещества в углеродистых соединениях, составляющих основу современных животных и растительных тел. Там были лишь одни остатки живых существ, повсюду оцепеневшие в этих снежно-ледяных полях. Да и эти остатки уже давно потеряли свой первоначаль-

ный вид, разложившись на различные сорта отверделой нефти, измолотой в порошок вековыми процессами движения все покрывающих ледников. Лишь местами, где вулканическая деятельность и передвижение земных пластов были сильнее, из них успели вытопиться значительные массы жирных углеводородов и снова застыли в окружающей природе подобно нашим современным металлическим жилам и самородкам, такие же ковкие и мягкие, если их нагреть до температуры, близкой к их плавлению, и такие же твердые, звонкие и прочные при охлаждении до леденящей температуры окружающей среды.

«И если бы были в этом мире разумные существа,— думал одинокий заключенный,— они стали бы разрабатывать эти жилы, для того, чтобы приготовить из них свою домашнюю утварь, как мы пользуемся нашими металлами, этим наследием от давно прошедших эпох развития земного шара...»

Тускло светила лампочка в одинокой комнате, порывисто бушевал ветер за окном, и, забыв невыносимую боль, задумчиво сидел узник на своей кровати, смотря далеко в воображаемое пространство, чуждый всего окружающего. Странное, торжественное чувство покоя наполнило его душу при этом мысленном созерцании будущих эпох, и тихо звучали в его ушах отдаленные отголоски вечной жизни природы.

Но вот его мысль полетела в новом направлении. Она унеслась теперь к прошлой жизни земного шара, когда палящий жар первобытного солнца еще не давал сгуститься большинству веществ, образующих наши современные континенты.

«Вычисления астрономов об устойчивости вращения земного шара,— размышлял он, сев на свой деревянный табурет,— доказали неосновательность всех прежних представлений об огненно-жидком ядре Земли. Отложение жидкого, а затем и твердого ядра, несомненно, происходило в первобытной газообразной массе зарождавшейся Земли путем постепенного наслоения концентрических слоев, начиная от самых тяжелых и тугоплавких, может быть, неведомых на земной поверхности элементов, которые сгущались ранее других и ложились в самом центре, и кончая наиболее легкоплавкими наслоениями новейших слоистых пород.

Я мало верю,— продолжал он думать,— в фантастические картины бурного хаоса элементов, которые рисуют современные геологи, зачем предполагать, что охлаждение и сгущение основных масс земного шара происходило по образцу остывания металлов в наших доменных печах, где непосредственное соприкосновение холодных слоев воздуха с расплавленным металлом неизбежно должно производить ряд бурных и хаотических явлений. Как можно вообразить, что все главные вещества земного шара, такие различные по степени плавкости, застыли в одно и то же время? При медленном и незаметном остывании ничего подобного не могло быть. Все на Земле происходило так же спокойно и постепенно, как это происходит на ней и теперь...»

И новая картина начала вырисовываться в его воображении.

«Если бы мы могли,— подумал он,— перенестись на много, много миллионов лет в прошлое нашей родной планеты, мы увидали бы, что жар, которым обладала тогда ее поверхность, удерживал в расплавленном состоянии все те громадные массы песка, что покрывают толстыми пластами почти всю земную поверхность, и этот кварцевый океан, расстилавшийся некогда над остывшими задолго до него слоями глины и карбидов, был не менее громаден, чем и современный».

И снова он ясно видел, как бушевали волны в этом океане под влиянием жгучего жара первобытного Солнца, как собирались в атмосфере кварцевые облака и падали на землю своеобразным дождем и снегом. Да и сама атмосфера, казалось ему, уже была иного состава, так как современный кислород и азот не могли держаться в ней по причине больших кинетических скоростей своих молекул.

И этот новый мир казался ему так же похожим на современный, как и будущий мир с океаном из углекислоты. Его жгучий жар был невыносим только для наших нервов, его огненно-светящийся вид был ослепителен только для наших глаз, приспособленных к восприятию лишь соответствующего ряда колебаний световых волн.

— Ну, а дальше, дальше в прошлом! — шептал он в непреодолимом увлечении своей идеи.— Ведь дальше, перед этой эпохой кварцевого океана должна была

начаться и давно окончиться еще другая эра — эра плавления хотя бы глины, представлявшей некогда при соответственной степени жара тоже прозрачную, водообразную жидкость, которая, судя по громадности современных залежей глинистых пород, должна была образовать океан, не менее обширный, чем и предыдущие. И кто знает, сколько таких эр откроется перед нашими глазами, если проникнуть в таинственную глубину земного шара и присмотреться к его внутренним, еще неведомым для нас напластованиям?

Будь во всех этих эрах теллурической жизни свои живые существа, их огненно-светящиеся глаза были бы приспособлены к более мелким колебаниям эфира, чем колебания нашего света, и они видели бы свой мир таким же обычным и не светлым, как видим мы окружающую нас природу. Ведь и она будет так же жгуча и ослепительна для существ грядущей углекислой эры, глаза которых были бы приспособлены к более крупным и холодным колебаниям.

Ведь с точки зрения физика нет ни одного вещества в природе, молекулы которого не производили бы волнообразных колебаний и, следовательно, не светили бы своим собственным светом. То, что абсолютная темнота для наших глаз есть ослепительный свет для глаз другого устройства и, наоборот, наш свет есть темнота для чуждых нам глаз,— и снова бесконечная цепь последовательных океанов, континентов и ландшафтов, во всем аналогичных один другому и так же оживленных всеми физическими феноменами нашей водной эры, потянулась перед его глазами и наполнила собою все время существования земного шара с того момента, как в его первичной газовой оболочке отложилось первоначальное небольшое ядро.

«А в будущем сколько таких эр предстоит еще нашей Земле? — думалось ему в его увлечении.— Какими инструментами могли бы мы уловить те эфирные и тонкие вещества, подобные материи солнечной короны, которые, может быть, еще только поглощаются земной атмосферой из мирового пространства, подобно тому, как могли быть поглощены оттуда же и все остальные массы земного шара, ее первоначально незначительной атмосферой, оторвавшейся от первобытной туманной массы Солнца».

Он снова встал с постели, проволокся на распухших ногах через всю комнату и, взволнованный и возбужденный, приложил ладонь к холодной каменной стене своей комнаты.

— И эти твердые камни,— тихо прошептал он,— когда-то бушевали могучими волнами и грозно били в давно минувшие берега. И неужели из всей этой бесконечной цепи океанов лишь один наш водный океан населен живыми существами? Неужели только азотистоуглеводородные соединения, всецело приспособленные лишь к современной эре земной жизни, одни способны к построению живого, чувствующего и разумного существа, когда та же единая и вечная материя, прибавив или убавив в каждой их частице несколько атомов, может образовать другие вещества, совершенно аналогичные им и способные к той же функции создания жизни и физиологического обмена, но при других температурах и стихиях? Разве химия не показывает нам многочисленных примеров замещения в сложных веществах одних ингредиентов и радикалов другими, аналогичными, причем все химические реакции тоже принимают аналогичный вид, но совершаются уже при других температурах и окружающих средах? И неужели нет нигде на Земле остатков прежней жизни, подобных тем, какими будут различные вещества, составлявшие наших животных и растения, в будущую углекислую эру? Ведь наши собственные остатки, превратившиеся в различные отвердевшие сорты нефти, будут лежать в земле, как металлические жилы, и новые разумные существа будут ковать и отливать из них различные принадлежности для своей домашней утвари...

И вдруг его глаза широко раскрылись. «Ведь эти самые металлы и могут быть остатками прежней жизни?» — мысленно воскликнул он. Его взгляд упал на железный болт, проходивший через всю толщу двери и поддерживавший с наружной стороны громоздкую задвижку, на которую она запиралась.

— Вот он, остаток прежней жизни! — повторил он, пораженный неожиданностью своего вывода. И чувство восторга от этого наглядного и неопровержимого для его ищущего и неудовлетворенного ума доказательст-

ва вечности бьющейся в нем сознательной жизни вдруг до краев переполнило его душу, в которой стремление видеть близ себя мыслящее и сочувствующее существо так долго не находило себе исхода. И масса аналогий между современными рудными металлами и нефтеобразными остатками наших животных и растений, какими они будут в эру углекислого океана, целой толпой ворвалась в его голову. «И те, как эти, находятся в незначительном количестве сравнительно с веществами, образовавшими первобытные океаны, а затем геологические напластования; и те, и эти распадаются по составу на гомологические ряды по отдельным группам и периодическим системам и, следовательно, все представляют собой сложные тела. И те, как современные металлы и металлоиды, будут считаться за простые элементы, пока будущие химики углекислой эры не достигнут при своих опытах современных, почти недостижимых для них температур. И те, как эти, выплавляются в виде жил и самородков из временно растопленных, а затем снова остывших окружающих масс, и наконец — о восторг и окончательное доказательство,— думал он в порыве своего увлечения,— в некоторых из окружающих нас металлов, напр. в железе, сохранился *магнетизм,* эта таинственная сила, аналогичная животному электричеству нашего собственного тела! Ведь этот магнетизм — только последний след того жизнеспособного строения частиц железа, которое делало его когда-то способным для построения живущих и мыслящих существ!»

Быстро врывались в его взволнованный мозг все новые и новые аналогии, и вся его душа стремилась в этот чуждый и далекий, но все-таки родной и близкий ему мир. Он ясно видел океан расплавленного кварца, бьющийся в берега из карбидов алюминия, видел на них огненно-светящиеся фигуры и одежды живых существ, которые почему-то представлялись ему в человеческой форме, и ясно понимал, что этот огненный их вид существует лишь для его собственного зрения, между тем как для их раскаленных глаз, видящих другими лучами спектра, они представляются такими же обыкновенными существами, как и мы сами. И он сам тотчас же мысленно приспособился к этим лучам, доступным для их зрения, и к этим привычным для них тем-

пературам,— и как обычной показалась ему тогда эта окружающая его картина!

Ему показалось, что осеннее солнце только что взошло над горизонтом. Ясное утро длинной полосой искристого света отражалось в голубых волнах кварцевого моря. Длинные тени вековых деревьев из первобытных химических соединений полосой тянулись по сырой от кварцевой росы равнине и пересекали извилистую речку, уже местами покрывшуюся кварцевым льдом. Две молодые и стройные фигуры шли по берегу, взявши друг друга за руки.

— Как холодно! — сказала девушка, пряча свою свободную руку под край плаща, сотканного из карбидных соединений, и он ясно понял, что им действительно должно быть холодно, когда в этой кварцевой речке замерзает их родная стихия, жидкость, составляющая их кровь.

«Да,— сказал он сам себе, снова севши и облокотившись рукой на подушку,— одна и та же единая жизнь одухотворяет и нас, и эти так различные с нами существа. И их, и нас составляет одна и та же единая материя; и их, и нас создали одни и те же биологические законы взаимного сродства и обмена веществ. Пусть фибры и клеточки их сердец образованы неведомыми пока аналогами наших белковых веществ, но эти сердца так же бьются и чувствуют, как и наши. Пусть их кровь из расплавленного кварца, но она так же течет по их жилам, их мускулы так же сокращаются, их нервы так же передают ощущение, их мозг так же работает и мыслит, хотя бы ткани его узлов и клеточек и были составлены из других веществ, отвердевающих при современных температурах земной поверхности».— И он почувствовал в этих отдаленных существах своих друзей и братьев, почувствовал единство своей жизни с вечной жизнью природы во всех ее разнообразных проявлениях.

Он встал с постели и подошел к железному болту своего окна. Мерцающее пламя фонаря внезапно вспыхнуло и заметалось на пустынном дворе под напором нового порыва бури; ярче и рельефнее, как в ясные лунные ночи, вырисовалась перед ним на матовых стеклах клетчатая тень железной решетки.

И вся та сила любви, которая таилась в его груди, вдруг излилась на этот неодушевленный предмет.

— Привет вам, остатки прошлой жизни! —сказал он с умилением и, наклонившись к затворам своего окна, благоговейно приник к ним своими губами.

Ощущение железа, холодное и жесткое, как взгляд тюремщика, одно отвечало на его восторженный порыв. Он тихо согрел его своей рукой и снова опустился на свою постель. Лунный свет на минуту пробился сквозь разорвавшиеся тучи и осветил зеленоватым светом его окно, пересилив свет отдаленного фонаря и переместивши клетчатую тень его внешней решетки на другое место. Несколько минут заключенный рассматривал этот свет и вдруг вспомнил о солнце и звездах, где составляющие их элементы находятся в таком же состоянии, в каком они были на Земле в предшествовавшие эры ее жизни. Он вспомнил о металлических испарениях, которые спектральный анализ открывает в их атмосферах, вспомнил о каналах на Марсе и его очень низкой температуре, заставляющей многих думать, что его моря состоят из жидкой углекислоты,— и вся картина современного мироздания вдруг предстала перед ним в совершенно неожиданном свете!

— Ведь эти жители на Марсе, прорывшие каналы,— тихо воскликнул он,— должны быть жителями углекислой эры, все эти темные линии светового спектра звезд — это, так сказать, тени живых существ, повсюду населяющих небесные светила! Пары металлов в звездных атмосферах — это невидимые эманации обитающих там живых существ, подобные тем следам газообразных углеводов, которые присутствуют и в нашей собственной атмосфере. Нет более сомнений! Сознательная жизнь наполняет всю вселенную, она мерцает и горит в каждой светящейся звездочке, и в тот момент, когда мы смотрим на ночное небо, миллионы мыслящих существ встречаются с нами на каждой звезде своими взорами и из бесконечной дали мироздания посылают нам свой братский сочувственный привет!..

В волнении он протащился на своих больных и распухших ногах несколько раз по камере и снова вспомнил о своей родной планете, Земле, и о ее *эрах жизни.* Снова длинной вереницей потянулись в его воображе-

нии периодические океаны невообразимо длинной жизни земного шара с их берегами и континентами, с реками, ручьями и водопадами из различных химических соединений. Но они уже не были более для него торжественно суровы и неодушевленны.

Вечная жизнь, многообразная в своих формах, но единая по существу и по характеру физиологического обмена веществ, наполняла и вдохновляла каждую из этих эр миллионами движущихся существ. И каждая эра была похожа на все другие эры, как один день земного шара похож на другой. И пробуждение земного шара к каждой эре жизни было похоже на пробуждение человека после покойного ночного сна. Сначала смутно проявлялась эта жизнь в первой зарождающейся из соответствующих веществ протоплазме и быстро стремилась по вечным законам своего развития все к большему и большему совершенству, пока не вырабатывала вполне сознательного существа. А вслед затем она опять переливалась, после временного *ледяного* тихого сна и успокоения земного шара, в новую эру жизни.

— Что за чудная, светлая истина открылась мне сегодня! — шептал с восторгом заключенный, и жгучее чувство нетерпения скорее поведать ее всему миру переполняло его грудь.

А на столе перед ним по-прежнему тускло горела лампочка, и мрак стоял по углам одинокой пустынной комнаты. И снова упорно боролся он с наступающей смертью, и сила его энтузиазма не давала смерти вонзить в него свои когти. А за окном на дворе по-прежнему бушевала вьюга, и порывы ночного холодного ветра заметали сугробами снега его одинокое здание и мрачные, обмерзлые бастионы Петропавловской крепости.

1910

Я, Генри Диббль, приступаю к правдивому изложению некоторых важных и необыкновенных событий моей жизни с большой осторожностью и вполне естественной робостью. Многое из того, что я нахожу необходимым записать, без сомнения вызовет у будущего читателя моих записок удивление, сомнение и даже недоверие. К этому я уже давно приготовился и нахожу заранее такое отношение к моим воспоминаниям вполне возможным и логичным. Да и надо признаться,— мне самому часто кажется, что годы, проведенные мною частью в путешествиях, частью на высоте шести тысяч футов на вершине вулкана Каямбэ в южноамериканской республике Эквадор, не прошли в реальной действительной жизни, а были лишь странным фантастическим сном или бредом мгновенного, потрясающего безумия.

Но отсутствие четырех пальцев на левой руке, но периодически повторяющиеся головные боли и то поражение зрения, которое называется в простонародье «куриной слепотой», каждый раз своей фактической неоспоримостью вновь заставляют меня верить в то, что я был на самом деле свидетелем самых удивительных вещей в мире. Наконец вовсе уж не бред, и не сон, и не заблуждение те четыреста фунтов стерлингов, что я получаю аккуратно по три раза в год из конторы «Э. Найдстон и сын», Реджент-стрит, 451. Это— пенсия, которую мне великодушно оставил мой учитель и патрон, один из величайших людей во всей человеческой истории, погибший при страшном крушении мексиканской шкуны «Гонзалес».

Я окончил математический факультет по отделу физики и химии в Королевском университете в тысяча... Вот, кстати, и опять новое и всегдашнее напоминание о пережитых мною приключениях. Кроме того, что каким-то блоком или цепью мне отхватило во время катастрофы пальцы левой руки, кроме поражения зрительных нервов и прочего, я, падая в море, получил, не знаю, в какой момент и каким образом, жестокий удар в правую верхнюю часть темени. Этот удар почти не оставил внешних следов, но странно отразился на моей психике: именно на памяти. Я прекрасно припоминаю и восстановляю воображением слова, лица, местность, звуки и порядок событий, но для меня навеки умерли все цифры и имена собственные, номера домов и телефонов и историческая хронология; выпали бесследно все годы, месяцы и числа, отмечающие этапы моей собственной жизни, улетучились все научные формулы, хотя любую я могу очень легко вывести из простейших последовательным путем, исчезли фамилии и имена всех, кого я знал и знаю, и это обстоятельство для меня очень мучительно. К сожалению, я не вел тогда дневника, но две-три уцелевшие записные книжки и кое-какие старые письма помогают мне до известной степени ориентироваться.

Словом, я окончил курс и получил звание магистра физики за два, три, четыре года, а может быть даже и за пять лет до начала XX столетия. Как раз к этому времени разорился и умер муж моей старшей сестры Мод, фермер из Норфолька, который нередко поддерживал меня во время моего студенчества материально, а главное — нравственно. Он твердо верил, что я останусь для продолжения ученой карьеры при одном из английских университетов и со временем воссияю яркой звездой просвещения, от которой падет луч славы и на его скромное семейство. Это был здоровый, крепкий весельчак, сильный, как бык, не дурак выпить, спеть куплет и побоксировать,— совсем молодчина в духе доброй, старой, веселой Англии. Он умер от апоплексического удара, ночью, объевшись за ужином четвертью беркширской баранины, которую он заправил крепкой соей, бутылкой виски и двумя галлонами шотландского светлого пива.

Его предсказания и пожелания не исполнились.

Я не попал в комплект будущих ученых. Еще больше: мне не посчастливилось даже достать место преподавателя или тутора в каком-нибудь из лицеев или в средней школе: я попал в какую-то заколдованную, неумолимую, свирепую, равнодушную, длительную полосу неудачи. Ах, кто, кроме редких баловней судьбы, не знает и не нес на своих плечах этого безрассудного, нелепого, слепого ожесточения судьбы? Но меня она била чересчур упорно.

Ни на заводах, ни в технических конторах — нигде я не мог и не умел пристроиться. Большей частью я приходил слишком поздно: место уже бывало занято.

Во многих случаях мне почти сразу приходилось убеждаться, что я вхожу в соприкосновение с темной, подозрительной компанией. Еще чаще мне ничего не платили за мой двух-, трехмесячный труд и выбрасывали на улицу, как котенка. Нельзя сказать, чтобы я был особенно нерешителен, застенчив, ненаходчив или, наоборот, обидчив, самолюбив и строптив. Нет, просто обстоятельства жизни складывались против меня.

Но я был прежде всего англичанином и уважал себя, как джентльмена, представителя величайшей нации в мире. Мысль о самоубийстве в этот ужасный период жизни никогда не приходила мне в голову. Я боролся против несправедливости рока с холодным, трезвым упорством и с твердой верой в то, что никогда, никогда англичанин не будет рабом. И судьба, наконец, сдалась перед моим англосаксонским мужеством.

Я жил тогда в самом грязнейшем из грязных переулков Бетналь Грина, в забытом богом Ист Энде и ютился за ситцевой перегородкой у портового рабочего, носильщика угля. За квартиру я платил ему четыре шиллинга в месяц и, кроме того, должен был помогать стряпать его жене, учить читать и писать трех его старших детей, а также мыть кухню и черную лестницу. Хозяева всегда радушно приглашали меня обедать, но я не решался обременять их нищенский бюджет. Я обедал напротив, в мрачном подвале, и бог ведает, сколько кошачьих, собачьих и конских существований лежат невольно на моей мрачной совести. Но за эту естественную деликатность мастер Джон

Джонсон, мой хозяин, платил мне большим вниманием: когда в доках Ист Энда случалось много работы и не хватало рук, а цена на них поднималась страшно высоко, он всегда умудрялся устраивать меня на не особенно тяжелую разгрузку или нагрузку, где я шутя мог зарабатывать восемь — десять шиллингов в сутки. Жаль только, что этот прекрасный, добрый и религиозный человек по субботам аккуратно напивался, как язычник, и имел в эти дни большую склонность к боксу.

Кроме обязательных кухонных занятий и случайной работы в порту, я перепробовал множество смешных, тяжелых и оригинальных профессий. Помогал стричь пуделей и обрезать хвосты фокстерьерам, торговал в колбасной лавке во время отсутствия ее владельца, приводил в порядок запущенные библиотеки, считал выручку в скаковых кассах, давал урывками уроки математики, психологии, фехтования, богословия и даже танцев, переписывал скучнейшие доклады и идиотские повести, нанимался смотреть за извозчичьими лошадьми, пока кучера ели в трактире ветчину и пили пиво; иногда, одетый в униформу, скатывал ковры в цирке и выравнивал граблями тырсу манежа во время антрактов, служил сандвичем, а иногда выступал на состязаниях в боксе, в разряде среднего веса, переводил с немецкого языка на английский и наоборот, писал надгробные эпитафии, и мало ли чего я еще не делал! По совести говоря, благодаря моей неистощимой энергии и умеренности я не особенно нуждался. У меня был желудок, как у верблюда, сто пятьдесят английских фунтов весу без одежды, здоровые кулаки, крепкий сон и большая бодрость духа. Я так приспособился к бедности и к необходимым лишениям, что мог не только посылать время от времени кое-какие гроши моей младшей сестре Эсфири, которую бросил в Дублине с двумя детьми муж ирландец, актер, пьяница, лгун, бродяга и развратник,— но и следить напряженно за наукой и общественной жизнью, читал газеты и ученые журналы, покупал у букинистов книги, абонировался в библиотеке. В эту пору мне даже удалось сделать два незначительных изобретения: очень дешевый прибор, механически предупреждающий паровозного машиниста в тумане или в снежную

бурю о закрытом семафоре, и особую, почти неистощимую паяльную лампу, дававшую водородный пламень. Надо сказать, что не я воспользовался плодами моих изобретений — ими воспользовались другие. Но я оставался верен науке, как средневековый рыцарь своей даме, и никогда не переставал верить, что настанет миг, когда возлюбленная призовет меня к себе светлой улыбкой.

Эта улыбка озарила меня самым неожиданным и прозаическим образом. В одно осеннее туманное утро мой хозяин, добрый мастер Джонсон, побежал в лавку напротив за кипятком для чая и за молоком для детей. Вернулся он с сияющим лицом, с запахом виски изо рта и с газетой в руках. Он сунул мне под нос газету, еще сырую и пахнувшую типографской краской, и, указывая на место, отчеркнутое краем грязного ногтя, воскликнул:

— Поглядите-ка, старик. Пусть я не разберу антрацита от кокса, если эти строки не для вас, парень.

Я прочитал не без интереса следующее (приблизительно) объявление:

«Стряпчие «Э. Найдстон и сын», Реджент-стрит, 451, ищут человека для путешествия к экватору, до места, где ему придется остаться не менее трех лет для научных занятий. Условия: возраст от 22-х до 30 лет, англичанин, безукоризненно здоровый, неболтливый, смелый, трезвый и выносливый, знающий один, а лучше два европейских языка (французский и немецкий), несомненно холостой и по возможности без больших фамильных или иных связей на родине. Первоначальное жалованье 400 фунтов стерлингов в год. Желательно университетское образование, в частности же больше шансов на получение службы имеет джентльмен, знающий теоретически и практически химию и физику. Являться ежедневно от 9 до 10 часов». Я потому так твердо цитирую это объявление, что в моих немногих бумагах сохранился до сих пор его текст, хотя и очень небрежно записанный и смытый морской водою.

— Тебе природа дала длинные ноги, сынок, и хорошие легкие,— сказал Джонсон, одобрительно хлоп-

пув меня по спине.— Разводи же машину и давай полный ход. Теперь там, наверно, набралось молодых джентльменов безупречного здоровья и честного поведения гораздо больше, чем их бывает на розыгрыше Дэрби. Анна, сделай ему сандвичи с мясом и вареньем. Почем знать, может быть, ему придется ждать очереди часов пять. Ну, желаю успеха, мой друг. Вперед, храбрая Англия!

На Реджент-стрит я попал как раз в обрез. И я мысленно поблагодарил природу за свой хороший шаговой аппарат. Отворяя мне дверь, слуга сказал с небрежной фамильярностью: «Ваше счастье, мистер. Вы как раз захватили последний номер». И тотчас же укрепил на дверях, снаружи, роковой анонс: «Прием по объявлению окончен».

В полутемной, тесной и достаточно грязной приемной — таковы почти все приемные этих волшебников из Сити, ворочающих миллионными делами,— дожидалось человек десять, пришедших раньше. Они сидели вдоль стен на деревянных, потемневших, засаленных и блестевших от времени скамьях, над которыми, на высоте человеческих затылков, старые обои хранили грязную широкую полосу. Боже мой, какой жалкий сброд, голодный, оборванный, загнанный вконец нуждою, больной и забитый, собрался здесь, как на выставку уродов. Невольно мое сердце защемило от жалости и оскорбленного самолюбия. Землистые лица, косые и злобно-ревнивые, подозрительные взгляды исподлобья, трясущиеся руки, лохмотья, запах нищеты, скверного табака и давнишнего алкоголя. Иные из этих молодых джентльменов не достигли еще семнадцатилетнего возраста, а другим давно перевалило за пятьдесят. Один за другим они бледными тенями проскальзывали в кабинет и возвращались оттуда с видом утопленников, только что вытащенных из воды. Мне как-то болезненно стыдно было сознавать себя бесконечно более здоровым и сильным, чем все они взятые вместе.

Наконец дошла очередь до меня. Кто-то приотворил изнутри кабинетную дверь и, невидимый за нею, крикнул отрывисто и брезгливо, кислым голосом:

— Номер восемнадцатый и, слава аллаху, последний!

Я вошел в кабинет, почти такой же запущенный, как и приемная, с тою только разницей, что он украшался облупленной клеенчатой мебелью: двумя стульями, диваном и двумя креслами, в которых сидели два пожилых господина, по-видимому, одинакового, небольшого роста, но старший из них, в длинном рабочем вестоне[1], был худ, смугл, желтолиц и суров с виду, а другой, одетый в новенький с шелковыми отворотами сюртук, наоборот, был румян, пухл, голубоглаз и сидел, небрежно развалившись и положив нога на ногу.

Я назвал себя и сделал неглубокий, но довольно почтительный поклон. Затем, видя, что мне не предлагают места, я сел было на диван.

— Подождите,— сказал смуглый.— Сначала снимите ваш пиджак и жилет. Вот доктор, он вас выслушает.

Я вспомнил тот пункт объявления, где говорилось о безукоризненном здоровье, и молча скинул с себя верхнюю одежду. Румяный толстяк лениво выпростался из кресла и, обняв меня, прилип ухом к моей груди.

— Наконец-то хоть один в чистом белье,— сказал он небрежно.

Он прослушал мои легкие и сердце, постучал пальцами по спине и грудной клетке, потом посадил меня и проверил коленные рефлексы и, наконец, сказал лениво:

— Здоров, как живая рыба. Немного недоедал в последнее время. Это пустяки, вопрос двух недель хорошего питания. Даже, к его счастью, я не заметил у него никаких следов обычного у молодежи переутомления от спорта. Словом, мистер Найдстон, я передаю вам джентльмена, как удачный, почти совершенный образчик здоровой англосаксонской расы. Я думаю, что я вам более не нужен?

— Вы свободны, доктор,— сказал стряпчий.— Но вы, конечно, позволите известить вас завтра утром, если мне понадобится ваша компетентная помощь?

— О мистер Найдстон, я всегда к вашим услугам.

Когда мы остались одни, стряпчий уселся против меня и внимательно взглянул мне в переносицу. У не-

[1] пиджаке (от *фр.* veston).

го были маленькие зоркие глаза цвета кофейных зерен и совсем желтые белки. Когда он глядел пристально, то казалось, что из его крошечных синих зрачков время от времени выскакивают тоненькие, острые, блестящие иголочки.

— Поговорим,— сказал он отрывисто.— Ваше имя, фамилия, происхождение, место рождения?

Я отвечал ему в таком же сухом и кратком тоне.

— Образование?

— Королевский университет.

— Специальность?

— Математический факультет. В частности, физика.

— Иностранные языки?

— Немецким владею довольно свободно. По-французски понимаю, когда говорят раздельно, не торопясь, могу и сам слепить десятка четыре необходимых фраз, читаю без затруднения.

— Родственники и их социальное положение?

— Это разве вам не безразлично, мистер Найдстон?

— Мне? Совершенно все равно. Я действую в интересах третьего лица.

Я рассказал ему сжато о положении моих двух сестер. Он во время моего доклада внимательно разглядывал свои ногти, потом бросил в меня две иглы из своих глаз и спросил:

— Пьете? И сколько?

— Иногда во время обеда полпинты пива.

— Холост?

— Да, сэр.

— Собираетесь сделать эту глупость? Жениться?

— О нет.

— Мимолетная любовь?

— Нет, сэр.

— Гм... Чем теперь занимаетесь?

Я и на этот вопрос ответил коротко и правдиво, опустив ради экономии времени пять или шесть моих случайных профессий.

— Так,— сказал он, когда я окончил.— Нуждаетесь сейчас в деньгах?

— Нет. Я сыт и одет. Всегда нахожу работу. Сле-

жу по возможности за наукой. Верю твердо, что рано или поздно выплыву.

— Не хотите ли денег вперед? В задаток?

— Нет, это не в моих правилах. Брать деньги ни с того ни с сего... Да мы еще не покончили.

— Правила ваши не дурны. Очень может быть, что мы и сойдемся с вами. Запишите вот здесь ваш адрес. Я вас извещу. И, вероятно, очень скоро. Доброго пути.

— Простите, мистер Найдстон,— возразил я.— Я только что отвечал вам с полной искренностью на все ваши вопросы, порою даже несколько щекотливые. Надеюсь, вы и мне позволите задать вам один вопрос?

— Прошу вас.

— Цель поездки?

— Эге! Разве вам не все равно?

— Предположим, что нет.

— Цель чисто научная.

— Этого мало.

— Мало? — вдруг закричал на меня мистер Найдстон, и из его кофейных глаз посыпались снопы иголок.— Мало? Да неужели у вас хватает дерзости предполагать, что фирма «Найдстон и сын», существующая уже полтораста лет и пользующаяся уважением всей коммерческой и деловой Англии, может вам предложить что-нибудь бесчестное или просто компрометирующее вас? Или что мы возьмемся за какое-нибудь дело, не имея в руках верных гарантий его безусловной законности?

— О сэр, я не сомневаюсь,— возразил я сконфуженно.

— Хорошо,— прервал он, мгновенно успокаиваясь, точно бурное море, в которое вылили несколько тонн масла.— Но видите ли, во-первых, я связан условием не сообщать вам существенных подробностей до тех пор, пока вы не сядете на пароход, отходящий от Соутгэмптона...

— Куда? — спросил я быстро.

— Пока этого я не могу сказать вам. А во-вторых, цель вашей поездки (если она вообще состоится) для меня самого не совсем ясна.

— Странно,— сказал я.

— Удивительно странно,—охотно подхватил стряпчий.— И даже, если угодно, я вам скажу больше: это

фантастично, грандиозно, неслыханно, великолепно и смело до безумия!

Теперь была моя очередь сказать «гм», и я это сделал с некоторою осторожностью.

— Подождите,— воскликнул с внезапной горячностью мистер Найдстон.— Вы молоды. Я старше вас лет на двадцать пять — тридцать. Вы уже многим великим завоеваниям человеческого гения совершенно не удивляетесь. Но если бы мне в ваши годы кто-нибудь предсказал, что я сам буду заниматься по вечерам при свете невидимого электричества, текущего по проволоке, или что я буду разговаривать с моим знакомым за восемьдесят миль расстояния, что я увижу на полотне экрана двигающиеся, смеющиеся, нарисованные образы людей, что можно телеграфировать без проволоки, и так далее и так далее,— то я бы поставил свою честь, свободу, карьеру против одной пинты плохого лондонского пива за то, что со мной говорит сумасшедший.

— Значит, дело заключается в каком-нибудь новейшем изобретении или величайшем открытии?

— Если хотите,— да. Но, прошу вас, не глядите на меня с недоверием или подозрением. Ну, что вы сказали бы, например, если бы к вашей молодой энергии, силе и знаниям обратился великий ученый, который, положим, работает над проблемой — из простых элементов, входящих в воздух, составить вкусное, питательное и съедобное, почти бесплатное вещество? Если бы вам предложили работать ради будущего устроения и украшения Земли? Посвятить свое творчество и душевную мощь счастию будущих поколений? Что вы сказали бы? Да вот вам живой пример. Поглядите в окно.

Я невольно привстал, повинуясь его властному резкому жесту, и посмотрел в мутные стекла. Там, на улицах, висел от неба до земли густой, как грязная вата, черно-ржаво-серый туман. И в нем едва-едва намечались мутно-желтые расплывчатые пятна фонарей. Это было в одиннадцать часов дня.

— Да, да, поглядите,— произнес мистер Найдстон,— поглядите внимательно. Теперь предположите, что гениальный самоотверженный человек зовет вас на великое дело оздоровления и украшения Земли. Он говорит вам, что все, что есть на Земле, зависит от ума,

воли и рук человека. Он говорит, что если бог в своем справедливом гневе отвернулся от человечества, то человеческий необъятный ум сам придет себе на помощь. Этот человек скажет вам, что туманы, болезни, крайности климатов, ветры, извержения вулканов — все подвержено влиянию и контролю человеческой воли, что, наконец, можно сделать земной шар настоящим раем и продлить его существование на несколько сотен тысяч лет. Что вы сказали бы этому человеку?

— Но что, если тот, кто предлагает мне эту радужную мечту, сам ошибается? Если я окажусь невольной игрушкой в руках мономана? Капризного безумца?

Мистер Найдстон встал и, протягивая мне руку в знак прощания, сказал твердо:

— Нет. На борту парохода, месяца через два-три (если, понятно, мы сговоримся), я скажу вам имя этого ученого и смысл его великой задачи, и вы снимете вашу шляпу в знак величайшего благоговения пред человеком и идеей. Но я, к сожалению, профан, мистер Диббль. Я только стряпчий — хранитель и представитель чужих интересов.

После этого приема я почти не сомневался в том, что судьбе, наконец, надоело мое неизменное созерцание ее непреклонной спины и что она решилась показать мне свое таинственное лицо. Поэтому в тот же вечер я устроил на остаток моих скудных сбережений неслыханно роскошное пиршество, которое состояло из вареного окорока, пунша, пломпудинга и горячего шоколада и в котором принимала участие, кроме меня, почтенная чета старых Джонсонов и, не помню,— человек шесть или семь Джонсонов младших. Левое плечо у меня совсем посинело и отвисло от дружеских шлепков доброго хозяина, сидевшего рядом со мною, слева.

И я не ошибся. На другой день вечером я получил телеграмму: «Жду завтра в полдень, Реджент-стрит, 451. Найдстон».

Я пришел к нему секунда в секунду в назначенное время. Его не было в конторе, но слуга предупреди-

тельно проводил меня в небольшой кабинет ресторана, помещавшегося за углом, шагах в двухстах. Мистер Найдстон был один. Ничто в нем сначала не напоминало того экспансивного и даже, пожалуй, поэтично настроенного человека, который так горячо говорил мне третьего дня о счастье будущих поколений. Нет. Это опять был тот сухой и немногоречивый стряпчий, который при первой встрече со мной в то утро повелительно приказал мне раздеться и потом допрашивал меня, как следователь.

— Здравствуйте, садитесь,— сказал он, указывая на стул.— Сейчас время моего завтрака, и у меня самый свободный час. Я хотя и зовусь Найдстон и сын, но сам — холостой и одинокий человек. Итак,— есть? Пить?

Я поблагодарил и спросил чаю с поджаренным хлебом. Мистер Найдстон неторопливо ел, пил маленькими глотками старый портвейн и молча время от времени пронзал меня сверкающими иглами своих глаз. Наконец он вытер губы, бросил салфетку на стол и спросил:

— Итак, согласны?

— Купить кота в мешке? — спросил я в свою очередь.

— Нет,— воскликнул он громко и сердито.— Прежние условия остаются in statu quo[1]. Перед отправлением на юг вы получите все наиболее полные сведения, какие я только смогу и сумею вам сообщить. Если они не удовлетворят вас, то вы с своей стороны можете не подписывать контракт, а я плачу вам некоторое вознаграждение за то время, которое вы потеряли в праздных разговорах со мной.

Я внимательно поглядел на него. В это мгновенье он весь был занят тем, что старался, обняв правой рукой кисть левой, раздавить два ореха. Острые иглы глаз были скрыты занавесками век. И тут я, точно в каком-то озарении, вдруг увидел в лице этого человека всю его душу — странную душу формалиста и игрока, узкого специалиста и необычайно широкую натуру, раба своих конторских профессиональных привычек и в то же время тайного искателя приключений, сутягу,

[1] в прежнем положении (*лат.*).

готового засадить за два пенни своего противника в долговое отделение, и в то же время чудака, способного пожертвовать все свое состояние, накопленное десятками лет каторжного труда, ради призрака прекрасной идеи. Эта мысль промелькнула у меня быстро, как молния, и Найдстон тотчас же, как будто наши души соединил какой-то незримый ток, открыл свои глаза, крепким усилием раздавил в мелкие куски орехи и улыбнулся мне ясной, детской, почти проказливой улыбкой.

— В конце концов вы мало чем рискуете, дорогой мистер Диббль. Прежде чем вы отправитесь на юг, я дам вам несколько поручений на континент. Эти поручения не требуют от вас большой затраты научного багажа, но потребуют большой механической аккуратности, точности и предусмотрительности. Это займет у вас на крайний случай месяца два,— может быть, неделей больше или меньше. Вы должны будете принять в разных местах Европы несколько очень дорогих и очень хрупких стекол, а также несколько чрезвычайно тонких и чувствительных физических инструментов. Их упаковку, доставку на железную дорогу, транзит морем и железной дорогой я целиком вверю вашей наблюдательности, ловкости и умению. Согласитесь с тем, что какому-нибудь пьяному матросу или носильщику ничего не стоит сбросить в люк ящик и разбить вдребезги маленькое двояковыпуклое стеклышко, над которым десятки людей работали десятки лет...

«Обсерватория! — радостно подумал я.— Конечно, это обсерватория! Какое счастие! Наконец-то я поймал тебя за хвост, неуловимая судьба».

Но я уже видел, что он понял мою мысль, а глаза его сделались еще веселее.

— Не будем говорить об оплате этого вашего первоначального труда. В мелочах мы, понятно, с вами сговоримся, это я вижу по вас, но,— и он вдруг совсем уж беззаботно, по-мальчишески расхохотался,— но мне хочется обратить ваше внимание на очень курьезную вещь. Смотрите, через мои руки прошло тысяч около десяти, двадцати чрезвычайно интересных дел. Из них некоторые на громадные суммы. Несколько раз я попадался впросак, и это несмотря на всю нашу утонченную казуистическую точность и аккуратность.

И вот, представьте себе, каждый раз, когда я отбрасывал в сторону все ухищрения ремесла и глядел человеку ясно и просто в глаза, как я сейчас гляжу на вас, я никогда не впадал в ошибку и не раскаивался. Итак?

Его глаза были ясны, тверды, доверчивы и ласковы. В эту секунду этот маленький, смуглый, сморщенный, желтолицый человек точно взял руками мою душу и покорил ее.

— Хорошо,— сказал я.— Я вам верю. С этой минуты я в вашем распоряжении.

— О, зачем так скоро,— возразил добродушно мистер Найдстон.— У нас впереди пропасть времени. Мы еще успеем с вами выпить бутылку кларета.— Он надавил кнопку висячего звонка.— Затем вы устроитесь со своими вещами и со всеми личными делишками, и сегодня же, в восемь часов вечера, вы ко времени отлива должны быть на борту парохода «Лев и Магдалина», куда я вам привезу ваш точный маршрут, чеки на различные банки и деньги для ваших собственных расходов. Милый юноша, пью за ваше здоровье и за ваши успехи. Ах, если бы вы знали,— вдруг воскликнул он с неожиданным энтузиазмом,— если бы вы знали, как я вам завидую, дорогой мистер Диббль!

Чтобы немножко и совсем невинно польстить ему, я возразил почти искренно:

— За чем же дело стало, дорогой мистер Найдстон? Клянусь, что душой вы так же молоды, как и я.

Смуглый стряпчий опустил свой тонко очерченный, длинный нос в стакан с кларетом, помолчал немного и вдруг сказал с искренним вздохом:

— Эх, мой милый! Контора, существующая чуть ли не со времен Плантагенетов, честь фирмы, предки, десятки тысяч уз, связывающих меня с клиентами, сотрудниками, друзьями и врагами... всего я и не перечислю... Значит, больше никаких сомнений?

— Нет.

— Итак, чокнемся и споем: «Roule Britannia!»[1]

И мы чокнулись и запели — я, почти мальчишка, вчерашний бродяга, и этот сухой деловой человек, вли-

[1] «Правь, Британия!» *(англ.)*.

явший из мрака своей грязной конторы на судьбы европейских держав и капиталов,— запели самыми невероятными и фальшивыми голосами в мире:

Правь, Британия,
Правь через волны,
Никогда, никогда, никогда
Англичанин не будет рабом!

Вошел слуга и, обращаясь почтительно к мистеру Найдстону, сказал:

— Простите меня, я с истинным наслаждением слушал ваше пение. Ничего более прекрасного я не слышал даже в Королевской опере, но рядом с вами, за стеной, собрание клуба любителей французской средневековой музыки. Может быть, я не так назвал собрание джентльменов... но у всех у них очень капризный музыкальный слух.

— Вы правы,— кротко ответил стряпчий,— и потому прошу вас принять на память этот маленький круглый желтый предмет с изображением нашего доброго короля.

Вот краткий список тех городов и мастерских, которые я посетил с тех пор, как впервые переплыл канал. Выписываю их целиком из своей записной книжки: Пражмовский в Париже и инструментальная фирма Репсольдов в Гамбурге, Цейсс, братья Шотт и Слаттф в Иене; в Мюнхене Фраунгоферский и оптический институт Уитшнейдера и там же Мерц; Шик в Берлине, Беннех и Вассерман там же. И там же неподалеку, в Потсдаме, чудесное отделение фабрики Пражмовского, работающего в сотрудничестве с весьма обязательным и просвещенным доктором Э. Гартнак.

Маршруты, составленные мистером Найдстоном, были необычайно точны, вплоть до указаний времени пересадок и адресов недорогих, но комфортабельных английских отелей. Он делал маршрут собственноручно. Но и тут сказалась его странная, способная на всякие неожиданности натура. На углу одной из страниц его угловатым твердым почерком, карандашом, была записана краткая сентенция: «Если бы Чанс и компания были настоящими англичанами, то они не забросили бы своего дела и нам не приходилось бы

ездить за стеклами и инструментами к французам и немецким шнурбартбиндхалтерам»[1].

Скажу по правде, не хвастаясь, что всюду я держал себя с надлежащим весом и достоинством, потому что много раз, в критические минуты, в моих ушах раздавался ужасный козлиный голос мистера Найдстона: «Никогда англичанин не будет рабом».

Впрочем, надо сказать, что я не мог пожаловаться на недостаток внимания и предупредительности ко мне со стороны ученых оптиков и знаменитых инструменталистов. Мои рекомендательные письма, подписанные какими-то крупными, черными, совершенно неразборчивыми каракулями и скрепленные внизу четким автографом мистера Найдстона, служили в моих руках подобием волшебной палочки, открывавшей мне все двери и сердца. С неослабным глубоким интересом наблюдал я за приготовлением и шлифовкой выпуклых и вогнутых стекол и за выделкой тончайших остроумных и прекрасных инструментов, сверкавших медью и сталью, сиявших всеми своими винтами, трубами и нарезами. Когда мне впервые показали в одной из самых знаменитых мастерских мира почти законченный пятидесятидюймовый рефрактор, который нуждался всего лишь в каких-нибудь годах двух-трех окончательной шлифовки,— у меня остановилось сердце и захватило дыхание от восторга и умиления перед мощью человеческого ума.

Но меня чрезвычайно смущало то настойчивое любопытство, с которым все эти серьезные, ученые люди старались, поочередно, по секрету друг от друга, проникнуть в тайные замыслы моего, неведомого мне самому, патрона. Иногда тонко и искусно, иногда с грубой неловкостью они старались выпытать у меня подробности и цель моей поездки, адреса фирм, с которыми мы имеем дело, характер и назначение наших заказов в других мастерских и т. д. и т. д. Но, во-первых, я твердо помнил очень серьезное предостережение мистера Найдстона насчет болтливости, а во-вторых, что я мог бы им ответить, если бы даже добросовестно согласился на это? Я сам ничего не знал и бродил ощупью, точно ночью в незнакомом лесу. Я принимал,

[1] наусникам (от *нем.* Schnurbartbindhalter).

сверяясь с чертежами и вычислениями, какие-то странные, чечевицеобразные стекла, металлические трубы и трубочки, нониусы, мельчайшие микрометрические винты, миниатюрные поршневые цилиндры, обтюраторы, тяжелые, стеклянные, странной формы, колбы, манометры, гидравлические прессы, множество совершенно мне непонятных, доселе не виданных мною электрических приборов, несколько сильных луп, три хронометра и два водолазных скафандра со шлемами. Одно лишь становилось мне все более ясным: загадочное предприятие, которому я служил, ничего не имело общего с постройкой обсерватории, а по виду принимаемых мною предметов я даже и приблизительно не мог догадаться о цели, которой они были предназначены служить. Я только с напряженным вниманием следил за их тщательной упаковкой, изобретая постоянно хитроумные способы, предохраняющие от тряски, поломки и погнутия.

От назойливых расспросов я отделывался тем, что внезапно умолкал и, не произнося ни звука, начинал глядеть каменными глазами в самую переносицу любопытного. Но однажды мне поневоле пришлось прибегнуть к весьма убедительному красноречию: толстый, наглый, самоуверенный пруссак осмелился предложить мне взятку в двести тысяч германских марок за то, чтобы я выдал ему тайну нашего предприятия. Это случилось в Берлине, в моей отельной комнате, расположенной в четвертом этаже. Я коротко и строго заметил этому жирному, наглому животному, что он разговаривает с английским джентльменом. Но он заржал, как настоящий першерон[1], хлопнул меня фамильярно по плечу и воскликнул:

— Э, бросьте, мой милейший, эти штучки. Мы прекрасно понимаем их цену и значение. Вы находите, что я предложил вам мало? Но ведь мы можем, как умные и деловитые люди, сойтись на...

Его пошлый тон и грубый жест совсем не понравились мне. Я распахнул огромное окно моей комнаты и, указывая вниз, на мостовую, сказал твердо:

— Еще одно слово — и вам для того, чтобы убраться отсюда, не надо будет прибегать к помощи лифта. Ну, раз, два...

[1] порода лошадей (от *фр.* percheron).

Он встал, побледневший, струсивший и разъяренный, хрипло выругался на своем картавом берлинском жаргоне и, уходя, так хлопнул дверью, что пол моей комнаты задрожал и все предметы на столе запрыгали.

Последняя моя остановка на континенте была в Амстердаме. Там я должен был вручить рекомендательные письма двум владельцам двух всемирно известных гранильных фабрик — Маасу и Даниэльсу. Это были умные, вежливые, важные и недоверчивые евреи. Когда я посетил их поочередно, то Даниэльс первым делом спросил меня лукаво: «Конечно, вы имеете поручение также и к господину Маасу?» А Маас, только что прочитав адресованное ему письмо, сказал пытливо: «Несомненно, вы уже виделись с господином Даниэльсом?»

Оба они проявили в сношениях со мною крайнюю осторожность и подозрительность, долго совещались между собою, посылали куда-то простые и шифрованные телеграммы, наводили точнейшие и подробнейшие сведения о моей личности и так далее. В день моего отъезда они оба явились ко мне. В их словах и движениях чувствовалась какая-то библейская торжественность.

— Извините нас, молодой человек, и не сочтите за знак недоверия то, что мы вам сейчас сообщим,— сказал старший из них и более важный — Даниэльс.— На линии Амстердам — Лондон все пароходы обыкновенно кишмя кишат международными ворами самых высших марок. Правда, мы держим в строжайшем секрете исполнение вашего почтенного заказа, но кто же может ручаться за то, что один или двое из этих пронырливых, умных, порою даже почти гениальных международных рыцарей индустрии не ухитрились проникнуть в нашу тайну? Поэтому мы считаем далеко не лишним окружить вас незримой, но верной охраной из опытных полицейских агентов. Вы, пожалуй, даже и не заметите их. Вы сами знаете, что осторожность никогда не помешает. Согласитесь, что и вашим доверителям и нам будет гораздо спокойнее, ежели то, что вы повезете, будет во все время пути под надежным, зорким и неусыпным надзором? Ведь здесь дело идет не о кожаном портсигаре, а о двух вещах, которые

стоят в сложности около миллиона трехсот тысяч франков и которым нет ничего подобного на всем земном шаре, а пожалуй, и во всей Вселенной.

Я самым искренним и любезным тоном поспешил уверить почтенного бриллиантщика о моем полнейшем согласии с его мудрыми и дальновидными словами. По-видимому, эта доверчивость еще более расположила его ко мне, и он спросил пониженным голосом, в котором я уловил какую-то благоговейную дрожь:

— Не хотите ли теперь взглянуть на них?

— Если это удобно и возможно для вас, то пожалуйста,— сказал я, с трудом скрывая свое любопытство и недоумение.

Оба еврея, почти одновременно, с видом священнодействующих жрецов, вынули из боковых карманов своих длинных сюртуков два небольших футляра,— Даниэльс дубовый, а Маас красный сафьяновый; осторожно отворили золотые застежки и подняли крышки. Оба ящичка внутри были выложены белым бархатом и сначала показались мне пустыми. Только нагнувшись совсем низко над ними и внимательно приглядевшись, я заметил две круглые выпуклые стеклянные, совершенно бесцветные чечевицы такой необычайной чистоты и прозрачности, что они казались бы совсем незаметными, если бы не тонкие, круглые, геометрически правильные очертания их окружности.

— Удивительная работа!— воскликнул я, восхищенный.— Вероятно, вам очень долго пришлось трудиться над этими стеклами?

— Молодой человек!— произнес Даниэльс испуганным шепотом.— Это не стекла, а два брильянта. Один, вышедший из моей мастерской, весит тридцать с половиною каратов, а брильянт господина Мааса целых семьдесят четыре.

Я был так поражен, что даже потерял свою обычную хладнокровную сдержанность.

— Брильянты? Брильянты, принявшие сферическую поверхность? Но ведь это чудо, о котором мне ни разу не приходилось ни читать, ни слышать. Ведь ничего подобного до сих пор не было достигнуто человеком!

— Я и говорил вам, что эти вещи единственные в мире,— важно подтвердил ювелир,— но меня, прости-

те, немного озадачивает ваше изумление. Неужели это новость для вас? Неужели вы в самом деле никогда не слыхали о них?

— Ни разу в жизни. Ведь вы сами знаете, что предприятие, которому я служу, держится в строжайшем секрете. Не только я, но и мистер Найдстон не посвящен в его подробности. Я знаю только то, что в разных местах Европы я принял части и приборы для какого-то грандиозного сооружения, в цели и смысле которого я сам — ученый по образованию — пока ровно ничего не понимаю.

Даниэльс пристально взглянул мне в глаза своими спокойными, умными глазами табачного цвета, и его библейское лицо омрачилось.

— Да... это так,— сказал он медленно и задумчиво после небольшого молчания.— По-видимому, вам известно не более, чем нам, но я сейчас только заглянул вам в душу и чувствую, что все равно, если бы вы были в курсе дела, вы, конечно, не поделились бы с нами вашими сведениями?

— Я связан словом, господин Даниэльс,— возразил я по возможности мягко.

— Да, это так... это так. Не думайте, молодой человек, что вы явились сюда, в наш город каналов и брильянтов, совершенным незнакомцем.

Еврей усмехнулся тонкой улыбкой.

— Мы знаем даже подробности о том, как вы в Берлине предложили одному известному коммерции советнику совершить воздушный полет из вашего окна.

— Неужели это могло быть кому-нибудь известно, кроме нас двоих? — удивился я.— Ну, и болтун же этот немецкий боров.

Лицо еврея сделалось загадочным. Он медленно и многозначительно провел рукой по своей длинной бороде.

— Представьте себе, немец никому не говорил о своем позоре. Но мы узнали об этом происшествии на другой день. Что делать! Нам, у которых в блиндированных несгораемых подвалах сохраняются свои и чужие драгоценности, иногда на многие сотни миллионов франков, приходится иметь свою собственную по-

лицию. Да. А через три дня о вашем поступке узнал и мистер Найдстон.

— Этого еще недоставало! — воскликнул я в смущении.

— Вы здесь ничего не потеряли, молодой англичанин. Скорее выиграли. Знаете, как отозвался о вас мистер Найдстон, когда узнал о берлинском случае? Он сказал: «Я заранее был уверен, что этот славный малый Диббль иначе и не мог бы поступить». И я со своей стороны могу только поздравить мистера Найдстона и его главного доверителя с тем, что их интересы попали в такие верные руки. Хотя... хотя... Хотя все это разрушает мои некоторые соображения, планы и надежды...

— Да,— подтвердил немногословный Маас.

— Да,— повторил тихо библейский Даниэльс, и снова лицо его заволоклось грустью.— Нам привезли эти брильянты почти в том же самом виде, в каком вы их теперь рассматриваете, но их поверхности, только что вынутые из матриц, были грубы и неровны. Мы отшлифовали их так терпеливо и любовно, как не сделали бы этого по заказу любого императора в мире. Вернее сказать, что лучше невозможно было сделать. Но мне, старику, старому профессионалу и одному из лучших знатоков камней на свете,— мне уже давно не дает покоя проклятый вопрос: кто мог придать алмазу такую форму. И притом взгляните,— вот вам лупа,— ни трещинки, ни пятнышка, ни пузырька внутри. До какой, однако, температуры были доведены эти цари камней и какому чудовищному давлению они потом подвергались. И я,— вздохнул грустно Даниэльс,— и я должен признаться, что очень сильно рассчитывал на ваш приезд и вашу откровенность.

— Простите, мне очень жаль, что я не в состоянии...

— Оставьте. Я знаю. Ну, желаем вам счастливого пути.

Вечером мой пароход отошел от Амстердама. Посланные со мной агенты вели себя так умело, что я действительно мог подозревать в любом пассажире мою охрану и в то же время не подозревать никого. Но когда к полуночи мне захотелось спать и я спустился в занятую мною каюту, то, к своему удивлению, нашел там бородатого, широкоплечего незнакомца, которого

я раньше не видел на палубе. Он расположился не на запасной койке, а прямо на полу, у дверей, подостлав под себя пальто, положив под голову надувную резиновую подушку и покрывшись пледом. Не без сдерживаемого гнева я заметил ему, что вся каюта, со всеми местами и со всем кубическим содержанием воздуха, принадлежит мне. Но он возразил мне спокойно и на хорошем английском языке:

— Не волнуйтесь, сэр. Моя обязанность — провести эту ночь около вас, на положении верного дога. Кстати, вот вам письмо и пакетик от господина Даниэльса.

Старый еврей писал коротко и любезно:

«Не откажите мне в маленьком удовольствии: примите на память о нашей встрече прилагаемое кольцо. В нем нет большой ценности, но это амулет, предостерегающий от морской опасности. Надпись на нем древняя, едва ли не на языке вымерших инков.

Даниэльс».

В пакетике было кольцо с небольшим плоским рубином, на поверхности которого были вырезаны диковинные знаки.

А мой «дог» запер каюту на ключ, положил около себя револьвер и, по-видимому, мгновенно заснул.

— Благодарю вас, дорогой мистер Диббль,— говорил мне через день мистер Найдстон, крепко пожимая мою руку.— Вы прекрасно справились со всеми поручениями, порою довольно сложными, сэкономили много времени и вдобавок держали себя с надлежащим достоинством. Теперь в продолжение недели отдыхайте и развлекайтесь, как хотите. В воскресенье утром мы с вами пообедаем и выедем в Соутгэмптон, а утром в понедельник вы уже будете плыть через океан на борту великолепного парохода «Южный крест». Кстати, не забудьте зайти к моему клерку и получить ваше двухмесячное жалованье и суточные деньги, а я за эти дни пересмотрю и вновь упакую накрепко весь ваш багаж. Опасно доверяться чужим рукам, а в деле упа-

ковки деликатных вещей вряд ли во всем Лондоне найдется мне хоть один соперник.

В воскресенье я распростился с милым мистером Джоном Джонсоном и его многочисленной семьей и уехал, сопровождаемый общими теплыми напутствиями. А в понедельник утром мы с мистером Найдстоном сидели в роскошной кают-компании гигантского парохода «Южный крест» в ожидании отплытия и пили кофе. По океану разгуливал довольно свежий ветер, и зеленые волны с белыми пенными гребнями бились о крепкие круглые стекла иллюминаторов.

— Я должен вас предупредить, мой милый, что вы поедете не один,— говорил мистер Найдстон.— С вами вместе отправляется некий мистер де Мон де Рик. Он по образованию электротехник и механик, за ним несколько лет безукоризненной практики, и я слышал о нем самые лестные отзывы как о работнике. Мне лично этот парень не по сердцу, но очень может быть, что в данном случае во мне говорит ошибочная беспричинная антипатия, попросту — старческий каприз. Его отец был французом, принявшим английское подданство, а мать ирландка, но в нем самом, в его жилах, очень много крови от галльского петуха. Он фат, красавец в шаблонном виде, страшно занят собой и своей наружностью и вечно трется около женских юбок. Его выбирал не я. Я только повиновался инструкциям, данным мне лордом Чальсбери, вашим будущим руководителем и наставником. Де Мон де Рик приедет минут через двадцать — двадцать пять с утренним поездом из Кардифа, и мы с вами успеем поговорить. Во всяком случае, советую вам войти с ним в ровные, хорошие отношения. Как-никак, а ведь вам придется прожить три-четыре года бок о бок черт знает в какой пустыне, на экваторе, на самой макушке потухшего вулкана Каямбэ, где вас, белых людей, будет всего пять-шесть человек, остальные же негры, метисы, индейцы и другой сброд. Вас, может, пугает такая невеселая перспектива? Помните — вы совершенно свободны. Мы сию минуту можем разорвать подписанный вами контракт и вместе возвратиться с одиннадцатичасовым поездом обратно в Лондон. И поверьте, это ничуть не уменьшит моего уважения и расположения к вам.

— Нет, дорогой мистер Найдстон, я уже на Каямбэ,— возразил я смеясь.— Я положительно стосковался по регулярному, в особенности научному, труду, и когда думаю о нем, то облизываюсь, как голодный оборванец из Уайтчэпля перед колбасной лавкой. Надеюсь, что у меня будет достаточно интересной работы, чтобы я не скучал и не погрязнул в мелких дрязгах и личных ссорах.

— О да, мой дорогой, у вас будет много прекрасной и возвышенной по своей идее работы. Теперь наступила пора быть мне с вами откровенным, и я передам вам то немногое, что мне известно. Лорд Чальсбери вот уже девять лет трудится над неимоверным по своей грандиозности предприятием. Он во что бы то ни стало решил достигнуть возможности сгустить материю солнечных лучей в газ, и даже еще больше — сжать этот газ при страшно низкой температуре и колоссальном давлении до жидкого состояния. Если ему бог поможет довести до конца свой план, то его открытие будет прямо неизмеримо велико по своим результатам...

— Неизмеримо! — повторил я тихо, подавленный и восхищенный словами мистера Найдстона.

— Вот и все, что я знаю,— произнес стряпчий.— Нет, знаю еще из личного письма лорда Чальсбери ко мне, что теперь он более, чем когда-либо, близок к счастливому окончанию своего труда и менее, чем когда-либо, сомневается в близком разрешении своей задачи. Я должен сказать вам, дорогой друг, что лорд Чальсбери — это одно из величайших светил науки, один из гениальнейших вдохновенных умов. Кроме того, он истинный аристократ по рождению и духу, бескорыстный и самоотверженный друг человечества, терпеливый и любезный учитель, очаровательный собеседник и верный друг. И, кроме того, он человек такой обаятельной душевной красоты, которая притягивает к нему все сердца... Но вот подымается по сходне и ваш спутник,— вдруг круто оборвал свою восторженную речь мистер Найдстон.— Возьмите же себе этот конверт. Там ваши пароходные билеты, точный дальнейший маршрут и деньги. Вам придется плыть дней шестнадцать — восемнадцать. На другой же день вами овладеет фиолетовая тоска. На этот случай я

приобрел и оставил у вас в каюте штук тридцать кое-каких книжек. Да еще среди вашего багажа вы найдете чемодан с запасом теплой одежды и обуви. Вы сами не подумали заранее о том, что вам придется жить в такой горной полосе, где лежит вечный снег. Я старался выбрать вещи по вашей мерке, но так как боялся сделать ошибку, то предпочел более широкие, чем узкие. Там же среди ваших мелочей вы найдете небольшой ящик со средствами против морской болезни. По правде, я в них не верю, но на всякий случай... Кстати, вас укачивает в море?

— Да, но не особенно мучительно. Впрочем, у меня есть талисман против всех опасностей на море.

Я показал ему рубин, подарок Даниэльса. Он внимательно рассмотрел, покачал головой и сказал задумчиво:

— Я где-то видел подобный же камень и, кажется, с совершенно одинаковой надписью. Но вот я вижу, что француз заметил нас и идет прямо сюда. От души желаю вам, дорогой Диббль, счастливого плавания, бодрости и здоровья... Здравствуйте, мистер де Мон де Рик. Познакомьтесь, господа. Мистер Диббль, мистер де Мон де Рик — будущие коллеги и сотрудники.

Мне самому тоже не особенно понравился этот франт. Он был высокого роста, худощав, изнежен и выхолен, но в то же время в его фигуре и движениях чувствовалась какая-то грациозная, ленивая и гибкая сила, подобная той, какую мы замечаем у больших хищников кошачьей породы. Скорее всего он походил наружностью на левантинца, со своими прекрасными, влажными темными глазами и блестящими черными небольшими усами, коротко подстриженными над красным ртом античного рисунка. Мы перебросились несколькими незначительными любезными фразами. Но в это время прозвонили наверху и заревела, сотрясая палубу своим густым мощным голосом, сигнальная труба.

— Ну, теперь прощайте, господа,— сказал мистер Найдстон,— от души желаю, чтобы вы сделались друзьями. Привет лорду Чальсбери. Желаю во время переезда через океан счастливой погоды. До свидания.

Он живо спустился по сходне с парохода, сел в дожидавшийся его на пристани кеб, сделал рукой в нашу сторону последний ласковый знак и, уже не оборачиваясь, скрылся из наших глаз. Не знаю сам почему, но меня на несколько минут охватила тихая нежная грусть, как будто бы вместе с этим исчезнувшим человеком я потерял верную, дружескую опору и моральную поддержку.

Я ничего не могу припомнить значительного из дней нашего океанского перехода. Скажу только, что эти семнадцать дней тянулись для меня, как сто семьдесят лет, но были так однообразны и скучны, что теперь издали представляются мне одним бесконечно длинным днем.

С де Мон де Риком мы встречались по нескольку раз в день за столом в кают-компании. Близких отношений между нами так и не завязалось. Он был холодно вежлив со мною, я тоже платил ему равнодушной предупредительностью, но все время я чувствовал, что его совершенно не интересует ни моя духовная личность, ни личность кого бы то ни было на свете. Зато, когда у нас случайно заходила речь о наших ученых специальностях, он прямо поражал и увлекал меня своими знаниями, смелостью и оригинальностью гипотез и, главное, удивительно точным, живописным изложением мысли.

Я пробовал читать книги, оставленные мне мистером Найдстоном. Большинство их были узко научные сочинения, заключавшие в себе теорию света и оптических стекол, наблюдения над высокими и низкими температурами и описания опытов над сгущением и разжижением газов. Было также несколько томов описаний замечательных путешествий и две-три книжки об экваториальных странах Южной Америки. Но читать было трудно, потому что все время дул сильный ветер и пароход качало длинными скользящими размахами. Все пассажиры отдали дань морской болезни, кроме де Мон де Рика, который, несмотря на свой длинный рост и изнеженный вид, держался до конца крепко, как старый опытный моряк.

Наконец-то мы прибыли в Аспинваль (он же Колон), на севере Панамского перешейка. Когда я вышел на берег, то ноги у меня были тяжелы и никак не хо-

тели подчиняться моей воле. Согласно инструкциям мистера Найдстона мы сами лично должны были следить за перевозкой нашего багажа на вокзал железной дороги и за установкой его в багажных вагонах. Самые нежные, чувствительные инструменты мы взяли с собою в купе. Драгоценные шлифованные брильянты были, конечно, при мне, но я — теперь мне стыдно в этом сознаться — не только не показал их моему спутнику, но даже не упомянул о них ни слова.

Дальнейший наш путь был утомителен и вследствие этого мало интересен. По железной дороге от Аспинваля до Панамы, от Панамы двухдневный переход на старом, зыбком пароходе «Гонзалес» до бухты Гваякиль, оттуда на лошадях и опять по железной дороге до г. Квито. В Квито, следуя указаниям мистера Найдстона, мы разыскали гостиницу «Эквадор» и там нашли ожидавший нас караван при проводниках и погонщиках. Мы переночевали в гостинице, а ранним утром, со свежими силами, тронулись в путь, в горы. Что за умные, добрые, прелестные животные — эти мулы. Позванивая бубенчиками, мерно покачивая головами, украшенными розетками и султанами, осторожно ставя на камень узкой неровной дорожки свои длинные стаканчиками копыта, они спокойно идут по самому краю обрыва над такой крутизной, что невольно зажмуриваешь глаза и хватаешься за луку высокого седла.

К пяти часам вечера мы вступили в снежную полосу. Дорога расширилась и стала ровной. Видно было, что над ней трудились культурные люди. Крутые завороты были повсюду обнесены невысокими каменными перилами.

В шестом часу, когда мы прошли небольшой тунель, пред нашими глазами вдруг открылось жилье: несколько белых одноэтажных домов, над которыми гордо возвышался белый купол, похожий на куполы византийских церквей и обсерваторий. Еще дальше торчали в небо железные и кирпичные трубы. Через четверть часа мы уж были на месте.

Из дверей одного дома, который был выше и просторнее других, вышел нам навстречу высокий сухощавый старик с длинной, безукоризненно белой бородой. Он назвал себя лордом Чальсбери и с непринужден-

ной ласковостью поздоровался с нами. Трудно было сказать по внешнему виду, сколько ему лет: пятьдесят или семьдесят пять. Его большие, немного выпуклые голубые глаза, настоящие глаза породистого англичанина, были юношески ясны, блестящи и зорки. Пожатие его руки было мужественно, тепло и откровенно, а высокий обширный лоб отличался изящно очерченными и благородными линиями. И когда, любуясь его тонким прекрасным лицом, я отвечал на его пожатие,— в моей голове вдруг мгновенно и ярко мелькнула мысль, что где-то очень давно я видел физиономию этого человека и неоднократно слышал его фамилию.

— Я бесконечно рад вашему приезду,— говорил лорд Чальсбери, поднимаясь с нами на ступеньки крыльца.— Хорошо ли вы доехали? Как поживает мой добрый друг Найдстон? Не правда ли, замечательный человек? Впрочем, вы, господа, расскажете мне все за обедом. Идите освежиться и привести себя в порядок. Вот наш метрдотель, почтенный Самбо,— указал он на рослого старого негра, встретившего нас в передней.— Он покажет вам ваши комнаты. Ровно в семь мы обедаем, об остальном распределении времени вам расскажет Самбо.

Почтенный Самбо весьма любезно, но без всякой тени рабской искательности, проводил нас к небольшому дому рядом. Каждому из нас были приготовлены по три комнаты,— простые, но в то же время как-то особенно уютные, светлые, веселые. Помещения наши были разделены каменной стеной, и на каждое приходился отдельный ход. Это обстоятельство почему-то мне было приятно.

С неописуемым наслаждением погрузился я в огромную мраморную ванну (на пароходе благодаря качке я был лишен этого удовольствия, а в гостиницах Аспинваля, Панамы и Квито ванны не внушили бы своей чистотой доверия даже моему другу Джону Джонсону). И во все время, пока я нежился в теплой воде, брал холодный душ, брился и потом одевался с особою тщательностью, меня не переставала преследовать мысль: почему мне так знакомо лицо лорда Чальсбери? И что такое, почти сказочное, как мне казалось, я давно-давно слышал о нем? Временами где-

то в затаенном углу моего сознания скользило неясное предчувствие, что вот-вот сейчас я вспомню, но оно тотчас же исчезало, подобно тому как сбегает легкий след дыхания с поверхности полированной стали.

Из окон моего кабинета был виден весь этот оригинальный поселок с пятью или шестью домами, с конюшнями и оранжереями, с низкими закопченными машинными зданиями, с массой воздушных проводов, с вагонетками, влекомыми по узким рельсам бойкими выхоленными мулами, с паровыми кранами, переносившими высоко и плавно по воздуху железные чаны, беспрерывно наполняемые из ряда штабелей каменным углем и горючим сланцем. Там и сям сновали рабочие, большинство из них полуголые, несмотря на температуру —5°, которую показывал термометр, привинченный снаружи моего окна, и почти все разных цветов: белого, желтого, бронзового, кофейного и блестяще-черного.

Я смотрел и думал: какая же, однако, пламенная воля и какое колоссальное богатство могли обратить бесплодную вершину потухшего вулкана в настоящее культурное место, в завод, мастерскую и лабораторию, поднять на высоту вечных снегов камни, деревья и железо, провести воду, построить дома и машины, завести драгоценные физические инструменты, из которых только две привезенные мною чечевицы стоят миллион триста тысяч франков, нанять десятки рабочих, пригласить дорогостоящих помощников... Опять в моем воображении четко встал образ лорда Чальсбери и вдруг — стоп! — внезапный свет озарил мою память. Я очень точно вспомнил, как пятнадцать лет тому назад, когда я был еще зеленым учеником лицея, все газеты в течение целого месяца трубили на разные лады о необычайном таинственном исчезновении лорда Чальсбери, пэра Англии, единственного представителя древнейшего рода, знаменитого ученого и миллионера. Повсюду печатались его портреты и комментировались причины этого странного события. Одни объясняли его убийством лорда Чальсбери, другие тем, что он попал под влияние злодея-гипнотизера, для преступных целей заставившего лорда уехать из Англии, скрыв свои следы; третьи предполагали, что лорд находится в руках бандитов, держащих его в плену в рас-

чете на громадный выкуп, четвертые, и наиболее догадливые, уверяли, что ученым секретно предпринята экспедиция к Северному полюсу.

Вскоре стало известным, что до своего исчезновения лорд Чальсбери очень выгодно ликвидировал и обратил в деньги, очевидно, руководимый чьим-то тонким дальновидным финансовым умом, все свои земли, леса, парки, фермы, угольные и каолиновые копи, дворцы, картины и коллекции. Но куда девались эти огромные суммы, никому не было известно. Также с его исчезновением пропали, неизвестно куда, знаменитые фамильные алмазы рода Чальсбери, алмазы, которыми по справедливости могла гордиться вся Англия. Никакие розыски полиции и добровольных сыщиков не осветили этого странного дела. Через два месяца пресса и общество забыли о нем, поглощенные другими животрепещущими интересами. Только ученые журналы, посвятившие много страниц памяти пропавшего лорда, долго еще перечисляли с проникновенным вниманием и благоговейной почтительностью его великие заслуги перед наукой в областях, касающихся света и теплоты, в частности расширения и сгущения газов, термостатики, термометрии и термодинамики, преломления световых лучей, теории оптических стекол и фосфоресценции.

Извне раздался протяжный, заунывный звон гонга. И почти тотчас же в мою дверь постучался и вошел маленький, веселый, ловкий, как обезьяна, мальчик-негритенок и, кланяясь мне, с дружелюбной улыбкой доложил:

— Мистер, я назначен лордом в ваше распоряжение. Не угодно ли вам, сэр, отправиться к обеду?

В моей гостиной на столе в фарфоровой вазе стоял небольшой изящный букет цветов. Я выбрал гардению и продел ее в петлицу смокинга. Но одновременно со мною вышел из своих дверей мистер де Мон де Рик. В петлице его фрака скромно красовалась ромашка. Какое-то смутное чувство недовольства шевельнулось во мне. И, должно быть, в то давнее время во мне много еще было юношеской, мелочной вздорности, потому что я очень утешился тем, что встретивший нас в го-

стиной лорд Чальсбери был не во фраке, а, подобно мне, в смокинге.

— Сейчас выйдет леди Чальсбери,— сказал он, посмотрев на часы.— Я предлагаю вам, джентльмены, собираться для обеда у меня. Во время обеда и после него у нас всегда найдутся два-три часа свободного времени для разговора о деле и безделье. Кстати, здесь же к вашим услугам есть библиотека, кегельбан и биллиард с курильной. Ими, как и всем, что я имею, прошу вас пользоваться по вашему усмотрению. Что же касается утреннего завтрака и ленча, то в этом отношении предоставлю вам полную свободу. Впрочем, то же относится и к обеду. Но я знаю, как ценно и плодотворно для молодых англичан дамское общество и потому...— Он встал и указал на дверь, через которую в эту минуту входила стройная, молодая, золотоволосая дама в сопровождении другой особы женского пола, плоскогрудой и желтой, одетой во все черное.— Потому, леди Чальсбери, я имею честь и удовольствие представить вам моих будущих сотрудников, и, надеюсь, друзей мистера Диббля и мистера де Мон де Рика.

— Мисс Соутни,— обратился он к увядшей спутнице своей жены (она потом оказалась дальней родственницей и компаньонкой леди Чальсбери),— это мистер Диббль, а это мистер де Мон де Рик. Прошу не отказать им в вашей любезности и внимании.

За обедом, одинаково простым и изысканным, лорд Чальсбери оказался самым радушным хозяином и прекрасным собеседником. Он с живостью расспрашивал нас о политике, о последних газетных и научных новостях, о здоровье и жизни того или другого крупного общественного деятеля. Впрочем, как это ни странно, он оказался в этих предметах гораздо осведомленнее нас обоих. Кроме того, надо сказать, что его погреб оказался выше всяких похвал.

Я изредка, украдкой, быстро поглядывал на леди Чальсбери. Она почти не принимала участия в разговоре и только изредка медленно поднимала темные ресницы в сторону говорившего. Она была на много, даже очень на много лет моложе своего мужа. Странной, нездоровой красотой было красиво ее бледное, не тронутое экваториальным загаром лицо, в рамке гу-

стых золотых волос, с темными, глубокими, серьезными, почти печальными глазами. И вся она своей наружностью, своей стройной, очень тонкой фигурой в белом газе, нежными белыми руками с длинными узкими пальцами напоминала какой-то редкий, прекрасный, а может быть, и ядовитый экзотический цветок, выращенный без света, во влажной темной теплице.

Но я также заметил во время обеда, что и де Мон де Рик, сидевший напротив меня, часто останавливал на хозяйке ласковый и значительный взгляд своих прекрасных глаз, взгляд, задерживавшийся, может быть, только на полсекунды дольше, чем это требуется приличием. Все мне в нем становилось более и более неприятным: изнеженная выхоленность лица и рук, томные и сладкие, какие-то обволакивающие глаза, самоуверенность поз, движений, интонаций. На мой мужской взгляд он казался противным, но я и тогда ни на минуту не сомневался в том, что в нем совокупились черты и качества настоящего, призванного от рождения, жестокого и неразборчивого в средствах покорителя женских душ.

После обеда, когда все перешли в гостиную и мистер де Мон де Рик попросил позволения пойти курить, я передал лорду Чальсбери футляр с брильянтами и сказал:

— Это от Мааса и Даниэльса из Амстердама.

— Вы везли их при себе?

— Да, сэр.

— И прекрасно сделали. Эти два камушка для меня дороже всей моей лаборатории.

Он ушел в свой кабинет и вернулся оттуда с восьмисильной лупой. Долго и внимательно рассматривал он брильянты на свет электрической лампы и, наконец, укладывая их обратно в футляр, сказал довольным тоном, хотя без всякого волнения:

— Шлифовка прямо безукоризненна. Она идеально точна. Сегодня вечером я проверю инструментами размеры чечевиц и кривизну их поверхностей. Завтра же утром, мистер Диббль, мы закрепим их на место. До десяти часов я займусь с вашим товарищем, мистером де Мон де Риком, покажу ему все его будущее хозяйство, а в десять прошу вас ждать меня у себя дома.

Я зайду за вами. Ах, дорогой мистер Диббль, я предчувствую, как мы с вами дружно двинем вперед одно из самых величайших дел, когда-либо предпринятых величайшим существом — Homo sapiens [1].

Когда он говорил, то глаза его горели голубым огнем, а руки ласково поглаживали крышку футляра. А жена пристально смотрела на него глубоким, темным, бездонным взором.

На другой день, ровно в десять часов, у моей двери раздался звонок, и шустрый негритенок, кланяясь до земли, впустил лорда Чальсбери.

— Вы готовы. Я очень рад,— сказал патрон, здороваясь со мной.— Вчера я пересмотрел привезенные вами вещи, и они все оказались в блестящем порядке. Благодарю вас за внимание и заботу.

— Три четверти этой чести, если не больше, сэр, по совести, принадлежат мистеру Найдстону.

— Да, это прекрасный человек и верный друг,— заметил со светлой улыбкой лорд.— А теперь, если вас ничто не задерживает, может быть, мы с вами пройдем в лабораторию?

Лабораторией оказалось массивное, круглое, похожее на башню, белое здание, увенчанное тем самым куполом, который вчера первый бросился мне в глаза по выходе из туннеля.

Не раздеваясь, прошли мы сквозь маленькую переднюю, слабо освещенную одной электрической лампочкой, и затем очутились в совершенной темноте. Но лорд Чальсбери щелкнул где-то вблизи меня электрическим выключателем, и яркий свет мгновенно залил огромную, совершенно круглую залу с поднимавшимся над нею правильным сферическим куполом сажен семи или восьми высотою. Посредине залы возвышалось нечто похожее на небольшую стеклянную комнату, вроде тех изолирующих врачебный персонал комнат, что недавно стали устраивать в университетских медицинских клиниках, посреди операционных зал, на случай тяжких и сложных операций, требующих особенно строгой чистоты и полной дезинфекции воздуха.

[1] Мыслящим человеком *(лат.)*.

От этой стеклянной камеры, занятой странными, невиданными мною приборами, поднимались вверх три солидных медных цилиндра. На высоте около двух человеческих ростов каждый из этих цилиндров как бы разветвлялся на три, более широкого диаметра, трубы; те в свою очередь тоже утраивались, а верхние концы последних медных, массивных труб упирались вплотную в самый верх, в выгнутую стену купола. Множество манометров, рычагов, круглых и прямых стальных рукояток, вентилей, изолированных проволок и гидравлических прессов довершали обстановку этой необыкновенной, совсем ошеломившей меня лаборатории. Крутые винтовые лестницы, железные столбы и стропила, воздушные узкие с тонкими поручнями мостки, переброшенные здесь и там высоко вверху, электрические висячие фонари, множество спускавшихся вниз толстых гуттаперчевых шлангов и длинных медных трубочек — все это переплеталось между собою, утомляло глаз и производило впечатление хаоса.

Точно угадав мое настроение, лорд Чальсбери заговорил спокойно:

— Когда человек впервые увидит незнакомый механизм, вроде механизма часов или швейной машины, он сначала опускает руки перед их сложностью. Когда я первый раз увидел разобранный на части велосипед, то мне казалось, что никакой самый мудрый механик в мире не сможет его собрать. А через неделю я его сам собирал и разбирал, удивляясь простоте его конструкции. Будьте же добры, терпеливо выслушайте мои объяснения. Если чего-нибудь не схватите сразу, не стесняйтесь предлагать мне сколько угодно вопросов. Это для меня будет только приятно.

Итак, в крыше здания проделано двадцать семь близко расположенных друг к другу отверстий. А в эти отверстия вставлены цилиндры, которые вы видите на самом верху, выходящие на воздух двояковыпуклыми стеклами громадной собирательной силы и великолепной прозрачности. Теперь, наверно, вы и сами понимаете идею? Мы собираем солнечные лучи в фокусы и затем благодаря целому ряду зеркал и оптических стекол, сделанных по моим чертежам и вычислениям, проводим их, то собирая, то рассеивая, через всю систему труб, пока самые нижние трубы не вольют кон-

центрированную струю солнца вот сюда, под изолированный колпак, в самый узкий и прочный цилиндр из ванадиевой стали, в котором двигается целая система поршней, снабженных затворами, наподобие фотографических, абсолютно не пропускающих света, когда они закрыты. Наконец к свободному концу этого главного внутреннего защищенного цилиндра я герметически привинчиваю приемник в виде колбы, в горлышке которой также имеются несколько затворов. Когда мне понадобится, я прекращаю действие затворов, затем изнутри, механически, ввожу в горлышко колбы винтовую втулку и свинчиваю весь приемник с конца цилиндра, и вот у меня готово превосходное хранилище солнечной сгущенной эманации.

— Значит, Гук, и Эйлер, и Юнг?..

— Да,— прервал меня лорд Чальсбери,— и они, и Френель, и Коши, и Малюс, и Гюйгенс, и даже великий Араго — все они ошибались, рассматривая явление света как одно из состояний мирового эфира. И это я докажу вам через десять минут самым наглядным образом. Правыми все-таки оказались мудрый старый Декарт и гений из гениев, божественный Ньютон. Труды Био и Брюстера в этом направлении лишь поддержали и укрепили меня в изысканиях, но гораздо позднее, чем я их начал. Да! Теперь для меня ясно, а скоро и для вас будет несомненным, что солнечный свет есть плотный поток страшно малых, упругих тел, вроде мячиков, которые со страшной силой и энергией несутся в пространство, пронизывая в своем стремлении массу мирового эфира... Впрочем, о теории после. Теперь я, для того чтобы быть последовательным, покажу вам манипуляции, которые вы должны будете производить ежедневно. Выйдем наружу.

Мы вышли из лаборатории, поднялись по винтовой лестнице почти на вершину купола и очутились на легкой сквозной галерее, обвивавшей спиралью в полтора оборота всю сферическую крышу.

— Вам не надо трудиться открывать поочередно все крышки, предохраняющие нежные стекла от пыли, снега, града и птиц,— сказал лорд Чальсбери.— Тем более что это, пожалуй, не под силу даже и атлету. Просто вы поворачиваете к себе этот рычаг, и все двадцать семь обтюраторов поворачиваются своими гутта-

перчевыми кольцами в соответствующих кругообразных пазах в сторону, обратную движению часовой стрелки, словом так, как отвинчивают все винты. Теперь крышки стекол освобождены от давления. Вы нажимаете вот эту небольшую ножную педаль. Глядите!

Кляк! И двадцать семь крышек, металлически щелкнув, мгновенно раскрылись внаружу, открыв засверкавшие на солнце стекла.

— Каждое утро вы, мистер Диббль,— продолжал ученый,— должны будете открывать чечевицы и тщательно чистой замшей вытирать их. Поглядите, как это делается.

И он, точно привычный рабочий, ловко, внимательно, почти любовно протер все стекла кусками замши, которую достал из бокового кармана завернутой в папиросную бумагу.

— Теперь пойдемте вниз,— продолжал он,— я вам покажу ваши дальнейшие обязанности.

Внизу в лаборатории он продолжал свои объяснения:

— Затем вы должны «поймать солнце». Для этого вы ежедневно в полдень проверяете вот эти два хронометра по солнцу. Кстати, они вчера мною уже проверены. Способ вам, конечно, известен. Узнайте, который теперь час. Определите среднее время: десять часов тридцать одна минута десять секунд. Вот три кривых рычага: большой — часовой, средний — минутный, малый — секундный. Глядите: поворачиваю большой круг до тех пор, пока стрелка индикатора не покажет десяти часов. Готово. Ставлю средний рычаг немного вперед, с запасом на тридцать шесть минут. Есть. Перевожу малый — это моя личная фантазия — еще на пятьдесят секунд. Теперь вставляю вот этот штепсель в гнездо. Вы слышите, как внизу под вами шипят и скрежещут шестерни. Это приходит в движение часовой завод, который заставляет всю лабораторию, вместе с ее куполом, инструментами, стеклами и с нами обоими, следовать неуклонно за движением солнца. Смотрите на хронометр, мы приближаемся к десяти часам тридцати минутам. Еще пять секунд. Дошли. Слышите, как звук часового завода изменился? Это вступают в ход минутные шестерни. Еще несколько секунд... Внимание! Момент! Теперь новый звук,

тонко и отчетливо отбивающий секунды. Конец. Солнце поймано. Но дело далеко не кончено. По своей громоздкости и вполне понятной грубости этот часовой завод не может быть особенно точным. Поэтому как можно чаще заглядывайте на этот циферблат, указывающий его ход. Здесь часы, минуты, секунды; вот регулятор — вперед, назад. А по хронометрам, чрезвычайно точным, вы уравниваете как можно чаще все круговое движение мастерской с точностью до десятой доли секунды.

Теперь солнце уже поймано нами. Но это не все. Свет должен проникать непременно сквозь безвоздушное пространство, иначе он нагреет и расплавит все наши приборы. А в замкнутых оболочках, откуда выкачан весь воздух, свет находится почти в том же холодном состоянии, в каком он проходит через бесконечные междупланетные области, вне земной атмосферы. Поэтому: присмотритесь,—вот кнопка электромагнитной катушки. В каждом из цилиндров есть притертая втулка, и около каждой из них — стальная полоса, обмотанная проволокой. Раз. Я нажимаю на кнопку и ввожу ток. Все полосы мгновенно намагничены, и втулки вышли из своих гнезд. Теперь пускаю этим медным рычагом в действие воздушный высасывающий насос, рукава от которого, как вы видите, проведены к каждому из цилиндров. Мельчайшая пыль, микроскопические соринки выкачиваются вместе с воздухом. Присматривайте за манометром F, на нем есть красная черта, предел давления. Прислушивайтесь к акустической трубе, ведущей вниз в насосный аппарат. Вот шипение прекратилось. Манометр переходит за красную черту. Размыкайте ток вторичным нажиманием на ту же кнопку. Стальные полосы размагничены. Втулки, повинуясь всасывающей силе пустоты, плотно втискиваются в конусообразные гнезда. Теперь свет проходит сквозь почти абсолютную пустоту. Для точности нашей работы и этого мало. Мы обращаем всю нашу лабораторию в безвоздушный колокол. Поэтому со временем мы будем работать в водолазных скафандрах. Нам подают воздух извне по гуттаперчевым трубам и регулярно выводят его наружу отработанным. А из самой лаборатории воздух все время выкачивается мощными насосами. Понимаете ли? Вы

будете в положении водолаза, с той только разницей, что у вас на спине находится баллон с сгущенным воздухом: в случае какой-нибудь катастрофы, порчи машины, разрыва подающих шлангов и мало ли чего еще — вы нажимаете на маленький клапан в шлеме, и дыхание вам обеспечено на четверть часа. Надо лишь не теряться, и вы выходите из лаборатории свежий и цветущий, как дижонская роза.

Теперь нам остается еще проверить наиболее точным образом установку труб. Каждая из них связана с другой очень прочно, но в местах их тройных соединений допущена некоторая, незначительная, в два-три миллиметра, поворотливость и возможность уклона. Таких пунктов тринадцать, и вы должны их все контролировать раза три в день сверху донизу. Поэтому пройдемте наверх.

Мы поднялись по узким ступенькам и по гибким мосткам к самому верху купола. Учитель впереди, легкой юношеской походкой, а я сзади, не без труда, от непривычки. У соединения первых трех труб он указал мне небольшую крышку, которую он отвинтил одним поворотом руки и откинул так, что она в пружинных защелках приняла строго вертикальное положение. Дно ее представляло из себя крепкое серебряное, превосходно отшлифованное зеркало с вырезанными по окружности делениями и цифрами. Три параллельные ярко-золотые полосы, тонкие, как телескопические паутинки, почти соприкасающиеся одна с другой, пересекали гладкую поверхность зеркальца.

— Это — маленький колодезь, через который мы будем тайно следить за течением света. Три полосы — это три отблеска от трех внутренних зеркал. Соедините их в одну. Нет, сделайте это сами. Вот здесь вы видите три микрометрических винта для управления изменением положения чечевиц. Вот очень сильная лупа. Соедините все три световые полосы в одну, но так, чтобы общий луч пришелся на 0. Это пустая работа. Вы скоро приучитесь исполнять ее в одну минуту.

Действительно, механизм оказался очень послушным, и минуты через три я, едва прикасаясь к нежным винтам, соединил световые полосы в одну резкую черту, на которую было почти больно смотреть, и ввел

ее в тонкую насечку под нулем. Потом я закрыл крышку и завинтил ее. Следующие двенадцать контрольных колодцев я проверял уже один, без помощи лорда Чальсбери. Дело шло у меня успешнее с каждым разом. Но уже на втором этаже лаборатории у меня от яркого света так заболели глаза, что слезы невольно покатились по лицу.

— Наденьте консервы. Вот они,— сказал патрон, протягивая мне футляр.

Но от последнего цилиндра, для проверки положения которого мы вошли в изолированную камеру, я должен был отказаться. Глаза не терпели больше.

— Возьмите более темные очки,— сказал лорд Чальсбери,— у меня их заготовлено до десяти номеров. Сегодня мы заключим в главный цилиндр привезенные вами вчера чечевицы, и тогда наблюдение станет втрое затруднительнее. Хорошо. Так. Теперь я пускаю в ход внутренние поршни. Открываю кран гидравлического насоса системы Натерера. Открываю другой кран с жидкой углекислотой. Теперь внутри цилиндра температура — сто пятьдесят градусов и давление равно двадцати атмосферам; первое показывает манометр, а второе термометр Витковского, усовершенствованный мной. В цилиндре сейчас происходит следующее: свет проходит сквозь него по вертикальной оси плотной, ослепительно яркой струей, приблизительно в карандаш толщиною. Поршень, приводимый в движение электрическим током, раскрывает и закрывает свой внутренний затвор в одну стотысячную секунды, то есть почти в один момент. Поршень посылает свет дальше, сквозь небольшую, очень выпуклую чечевицу. Из последней световая струя выходит еще более плотной, более тонкой и более яркой. Таких поршней и таких чечевиц в цилиндре пять. Под давлением последнего, самого маленького и самого прочного поршня, тонкая, как иголка, струя света вонзается в приемник, проходя последовательно через три его затвора, или, вернее, шлюза.

— Вот основа моего собирателя жидкого солнца,— сказал торжественно учитель.— И чтобы устранить в вас всякую тень сомнения, мы сейчас произведем опыт. Нажмите кнопку А. Это вы прекратили ход поршня. Подымите вверх этот медный рычаг. Теперь закрылись

наружные крышки собирательных стекол в куполе здания. Поверните вправо до отказа красный вентиль и опустите вниз рукоятку С. Прекращено давление и приток углекислоты. Остается завинтить изнутри колбу. Это достигается десятью поворотами маленького круглого рычажка. Все кончено, дорогой мой; следите теперь за тем, как я отвинчиваю приемник от цилиндра. Вот он у меня в руках. В нем не более двадцати фунтов. Его внутренние затворы изолируются микрометрическими винтами снаружи. Я открываю во всю ширину отверстия первый, самый большой затвор. Затем средний. Последний я отворю всего на диаметр величиною в половину микрона. Но прежде пойдите и закройте выключатель электрического освещения.

Я повиновался, и в зале наступила непроницаемая темнота.

— Внимание! — услышал я из другого конца лаборатории голос лорда Чальсбери.— Открываю!

Необычайный золотистый свет, нежный, рассеянный, точно призрачный, вдруг разлился по зале, мягко, но четко осветив ее стены, и блестящие приборы, и фигуру самого учителя. В тот же момент я почувствовал на лице и на руках нечто вроде теплого дыхания. Явление это продолжалось не более секунды, секунды с половиной. Потом густая мгла скрыла от меня все предметы.

— Дайте свет! — крикнул лорд Чальсбери, и я опять увидел его, выходящего из дверей стеклянного колпака. Лицо его было бледно и дышало отражением счастья и гордости.

— Это только первые шаги, первые ученические попытки, первые семена,— говорил он возбужденно.— Это еще не солнце, сгущенное в газ, а всего лишь уплотненная невесомая материя. Я целыми месяцами нагнетал солнце в мои хранилища, но ни одно из них не стало тяжелее кончика человеческого волоса. Вы видели этот чудесный, ровный, ласкающий свет. Верите вы теперь в мою задачу?

— Да,— ответил я горячо, с глубоким убеждением.— Верю и преклоняюсь перед величием человеческого гения.

— Но мы с вами пойдем дальше. Еще дальше! Мы доведем температуру внутри цилиндра до минус две-

сти семьдесят три градуса, до абсолютного нуля. Мы возвысим гидравлическое давление до тысячи, двадцати, тридцати тысяч атмосфер. Мы заменим наши восьмидюймовые верхние лучесобиратели могучими пятидесятидюймовыми. Мы расплавим по найденному мною способу фунты, пуды алмазов, сплавим их в чечевицы нужной нам кривизны и вставим в наши светопроводные трубы!.. Может быть, я не доживу до того времени, когда люди сожмут солнечные лучи до жидкого состояния, но я верю и чувствую, что сгущу их до плотности газа. Мне бы только увидеть, что стрелка электрических часов подвинулась хоть на один миллиметр влево,— и я буду безмерно счастлив.

Однако время бежит. Пойдем завтракать, а перед обедом займемся установкой новых алмазных чечевиц. С завтрашнего дня начнем втягиваться в работу. Одну неделю вы будете при мне в качестве обыкновенного рабочего, в качестве простого, послушного исполнителя. Через неделю мы поменяемся ролями. На третью неделю я вам дам помощника, которого вы при мне научите всем приемам с аппаратами. Потом я предоставлю вам полную свободу. Я верю вам,— сказал он живо, с очаровательной, прелестной улыбкой и протянул мне руку.

Мне очень памятен остался вечер этого дня и обед у лорда Чальсбери. Леди была в красном шелковом платье, и ее красный рот на бледном, немного усталом лице рдел, как пурпуровый цветок, как раскаленный уголь. Де Мон де Рик, с которым я впервые за этот день увиделся за столом, был свеж, красив и изящен, как никогда ни прежде, ни потом, между тем как я чувствовал себя утомленным и переполненным сверху донизу наплывом нынешних впечатлений. Я подумал было сначала, что ему выпала на сегодня привычная, нетрудная, наблюдательная работа. Но, однако, не я, а леди Чальсбери первая обратила внимание на то, что левая рука электротехника перевязана выше кисти марлевым бинтом. Де Мон де Рик очень скромно рассказал о том, как сполз с вала слишком слабо натянутый приводный ремень и как, падая, он оцарапал руку с наружной стороны. Вообще он в этот вечер

владел разговором, но владел очень мило, с большой тактичностью. Он рассказывал о своих путешествиях в Абиссинию, где разыскивал золото в горных долинах на границе Сахары, об охоте на львов, о последних Ипсомских скачках, о лисьих охотах на севере Англии, о вошедшем тогда в моду писателе Оскаре Уайльде, с которым он был лично знаком. У него в разговоре была одна удивительная и, вероятно, слишком редкая черта, какой я, кажется, не встречал никогда у других. Рассказывая, он был чрезвычайно эпичен: он никогда не говорил ни о себе, ни от себя. Но каким-то загадочным путем его личность, оставаясь на заднем плане, все время освещалась то нежными, то героическими полутонами.

Теперь он глядел на леди Чальсбери гораздо реже, чем она на него. Он лишь изредка скользил по ней ласково-томными, из-под длинных спущенных ресниц, глазами. Но она почти не отрывала от него своих темных серьезно-загадочных глаз. Ее взгляд следил за движением его рук и головы, за его ртом и глазами. Странно! Она в этот вечер напомнила мне детскую игру: в чаше с водой плавает жестяная рыбка или уточка с железом во рту и безвольно, покорно тянется за магнитной палочкой, влекущей ее издали. Часто я с тревожным вниманием следил за выражением лица хозяина. Но он был безмятежно весел и спокоен.

После обеда, когда де Мон де Рик отпросился курить, леди Чальсбери сама первая предложила ему сыграть партию на бильярде. Они ушли, а мы с хозяином перебрались в кабинет.

— Давайте сыграем в шахматы,— сказал он.— Вы играете?

— Неважно, но всегда с удовольствием.

— И знаете что еще? Давайте выпьемте какого-нибудь веселого ароматного вина.

Он нажал кнопку звонка.

— По какому-нибудь поводу? — спросил я.

— Вы угадали. Потому, что мне кажется, что я нашел в вашей особе моего помощника, и если будет угодно судьбе, то и продолжателя моего дела!

— О, сэр!

— Погодите. Какой напиток вы больше всего предпочитаете?

— Мне, право, стыдно сознаться, что я ни в одном из них ничего не понимаю.

— Хорошо, в таком случае я назову вам четыре напитка, которые я люблю, и пятый, который я ненавижу. Бордоские вина, портвейн, шотландский эль и вода. А не терплю я шампанского. Итак, выпьем шато-ля-роз. Почтенный Самбо,— приказал он безмолвно дожидавшемуся метрдотелю,— итак, бутылку шато-ля-роз.

Играл лорд Чальсбери, к моему удивлению, почти плохо. Я быстро сделал шах и мат его королю. После первой партии мы бросили играть и опять говорили о моих утренних впечатлениях.

— Послушайте, дорогой Диббль,— сказал лорд Чальсбери, кладя на кисть моей руки свою маленькую, горячую, энергичную руку.— И я и вы, конечно, много раз слыхали о том, что настоящее правильное мнение о человеке создается в наших сердцах исключительно по первому взгляду. Это, по-моему, глубочайшая неправда. Множество раз мне приходилось видеть людей с лицами каторжников, шулеров или профессиональных лжесвидетелей,— кстати, вы увидите через несколько дней вашего помощника,— и они потом оказывались честными, верными в дружбе, внимательными и вежливыми джентльменами. С другой же стороны, очень нередко, обаятельное, украшенное сединами и цветущее старческим румянцем, благодушное лицо и благочестивая речь скрывали за собой, как оказывалось впоследствии, такого негодяя, что перед ним любой лондонский хулиган являлся скромной овечкой с розовым бантиком на шее. Вот теперь я и прошу вас, если можете, помогите мне разобраться в моем затруднении. Мистер де Мон де Рик до сих пор ни на иоту не посвящен в смысл и значение моих научных изысканий. Он по своей матери приходится мне дальним родственником. Мистер Найдстон, который знает его с детства, однажды сообщил мне, что де Мон де Рик находится в чрезвычайно тяжелом (только не в материальном смысле) положении. Я тотчас же предложил ему место у меня, и он за него ухватился с такой радостью, которая ясно свидетельствовала об его крайнем положении. Я кое-что слыхал о нем, но слухам и сплетням не верю. На меня лично он произвел

такое впечатление, как будто не произвел совсем никакого впечатления. Может быть, я вижу первого такого человека, как он. Но мне почему-то кажется, что я видал таких уже миллионы. Я сегодня следил за ним на деле. По-моему, он ловок, знающ, находчив и работящ. Кроме того, он хорошо воспитан, умеет держать себя в любом, как мне кажется, обществе, притом энергичен и умен. Но в одном отношении какое-то странное колебание овладевает мной. Скажите мне откровенно, милый мистер Диббль, ваше мнение о нем.

Этот неожиданный и неделикатный вопрос покоробил и смутил меня; по правде сказать, я совсем не ожидал его.

— Но, право, я не знаю, сэр. Я, вероятно, знаком с ним меньше, чем вы и мистер Найдстон. Я увидал его впервые на борту парохода «Южный крест», а во время пути мы чрезвычайно редко соприкасались и разговаривали. Да и надо сказать, что меня мучила качка в продолжение всего перехода. Однако из немногих встреч и разговоров я вынес о нем приблизительно такое же впечатление, как и вы, сэр: знание, находчивость, энергия, красноречие, большая начитанность и... несколько странная, но, может быть, чрезвычайно редкая смесь сердечного хладнокровия с пылкостью головного воображения.

— Так, мистер Диббль, так. Прекрасно. Почтенный мистер Самбо, принесите еще бутылку вина, и затем вы свободны. Так. Иной характеристики я от вас почти и не ожидал. Но я еще раз возвращаюсь к моему затруднению: открыть ли ему, или не открыть все то, чему вы сегодня были свидетелем и слушателем? Представьте, что пройдет два года или год, а даже, может быть, и меньше, и вот ему, денди, красавцу, любимцу женщин, вдруг надоест пребывание на этом чертовском вулкане. По-моему, в этом случае он не прибегнет ко мне за благословением и разрешением. Он просто-напросто в одно прекрасное утро уложит свои вещи и уедет. Что я останусь без помощника, и очень дорогого помощника,— это вопрос второстепенный, но я не ручаюсь, что он, приехав в Старый Свет, не окажется болтуном, может быть, даже совершенно случайным болтуном.

— О, неужели вы этого боитесь, сэр?

— Говорю вам искренно — боюсь! Я боюсь шума, рекламы, нашествия интервьюеров. Я боюсь того, что какой-нибудь влиятельный, но бездарный ученый рецензент и обозреватель, основывающий свою известность на постоянном хулении новых идей и смелых начинаний, повернет в глазах публики мою идею, как праздный вымысел, как бред сумасшедшего. Наконец я еще больше боюсь того, что какой-нибудь голодный выскочка, жадный неудачник, бездарный недоучка схватит мою мысль нюхом на лету, заявит, как это бывало уже тысячи раз, о случайном совпадении открытий и унизит, опошлит и затопчет в грязь то, что я родил в муках и восторге. Надеюсь, что вы понимаете меня, мистер Диббль?

— Совершенно, сэр.

— Если это будет так, то я и мое дело погибли. Впрочем, что значит маленькое «я» в сравнении с идеей? Я твердо уверен в том, что в первый вечер, когда в одной из громадных лондонских аудиторий я прикажу погасить электричество и ослеплю десять тысяч избранной публики потоками солнечного света, от которого раскроются цветы и защебечут птицы,— в тот вечер я приобрету миллиард для моего дела. Но пустяк, случайность, незначительная ошибка, как я вам уже говорил, способны роковым образом умертвить самое бескорыстное и самое великое дело. Итак, я спрашиваю ваше мнение, довериться ли мистеру де Мон де Риху, или оставить его в фальшивом и уклончивом неведении. Это дилемма, из которой я не могу сам выйти без посторонней помощи. В первом случае возможность всемирного скандала и краха, а во втором — верный путь к возбуждению в человеке благодаря недоверию чувств озлобления и мести. Итак, мистер Диббль?..

Мне напрашивался на язык простой ответ: «Отправьте завтра же этого Нарцисса со всем почетом ко всем чертям, и вы сразу успокоитесь». Теперь я глубоко жалею, что дурацкая деликатность помешала мне подать этот совет. Вместо того чтобы так поступить, я напустил на себя холодную корректность и ответил:

— Надеюсь, сэр, что вы не рассердитесь на меня за то, что я не возьмусь быть судьей в таком сложном деле?

Лорд Чальсбери пристально поглядел на меня, печально покачал головой и сказал с невеселой усмешкой:

— Давайте допьем вино и пройдемте в бильярдную. Я хочу выкурить сигару.

В бильярдной мы увидали следующую картину. Де Мон де Рик стоял, опершись локтями на бильярд, и что-то оживленно рассказывал, а леди Чальсбери, прислонившись к облицовке камина, громко смеялась. Это меня гораздо более поразило, чем если бы я увидал ее плачущей. Лорд Чальсбери заинтересовался причиной смеха, и когда де Мон де Рик повторил свой рассказ об одном тщеславном снобе, который из желания прослыть оригиналом завел себе ручного леопарда и потом три часа сидел на чердаке от страха перед животным, мой патрон громко, совсем по-детски, рассмеялся...

Все в мире самым странным образом сцепляется. В этом вечере также неисповедимыми путями сошлись вступление, завязка и трагическая развязка наших существований.

Первые два дня моего пребывания в Каямбэ для меня памятны до мелочей, но остальное чем ближе к концу, тем туманнее. С тем большим основанием я теперь прибегаю к помощи моей записной книжки. В ней морская вода выела первые и последние страницы, а частью и середину. Но кое-что я могу, хотя и с большим трудом, восстановить. Итак:

11 декабря. Сегодня мы ездили с лордом Чальсбери в Квито верхом на мулах за медными гальванизированными проводами. Случайно зашел разговор о материальной обеспеченности нашего дела (причиной его вовсе не было мое праздное любопытство). Лорд Чальсбери, который уже давно, как мне кажется, дарит меня своим доверием, вдруг быстро повернулся на седле лицом ко мне и спросил неожиданно:

— Ведь вы знаете мистера Найдстона?

— Конечно, сэр.

— Не правда ли, прекрасный человек?

— Превосходный.

— И не правда ли, в деловом смысле сухой и немного формалист?

— Да, сэр. Но также и со способностью к большому душевному подъему и даже к пафосу.

— Вы наблюдательны, мистер Диббль,— ответил учитель.— Да, так знайте же, что этот чудак вот уже в продолжение пятнадцати лет упорно, как магометанин в свою Каабу, верит в меня и мою идею. Подумайте только, он лондонский стряпчий. Он не только ничего не берет с меня за мои поручения, но недавно предложил мне распоряжаться его собственным капиталом, в случае надобности, как я захочу. А я глубоко уверен в том, что он не единственный чудак в старой Англии. Поэтому будем бодры.

12 декабря. В первый раз лорд Чальсбери обратил мое внимание на силу, которая приводит в движение часовой механизм, вращающий лабораторию по солнцу. Это наивно, просто и остроумно. По склону кратера потухшего вулкана скользит вдоль крутых, почти отвесных, рельс базальтовый окованный монолит в две тысячи пудов весом, на стальном тросе в мужскую ляжку толщиной. Эта тяжесть приводит в движение механизм. Ее работы хватает ровно на восемь часов, а рано утром старый слепой мул поднимает эту часовую гирю при помощи другого троса и системы блоков опять наверх без всякого усилия для себя.

20 декабря. Сегодня мы долго сидели с лордом Чальсбери после обеда в оранжерее среди одурманивающего запаха нарциссов, померанцев и тубероз. За последнее время патрон очень осунулся, и глаза его как будто начали терять свой прекрасный юношеский блеск. Объясняю это переутомлением, потому что мы в эти дни очень много работаем. Я уверен, что он *ни о чем* не догадывается. Он вдруг, странно поворачивая, по своему обыкновению, разговор, заговорил:

— Наша с вами работа самая бескорыстная и честная на свете. Ведь думать о счастии своих детей или внуков так вполне естественно и так эгоистично. Но мы с вами думаем о жизни и счастии человечества таких

отдаленных времен будущего, в которых не будут знать не только о нас, но и наших поэтах, королях и завоевателях, о нашем языке и религии, об очертаниях и даже названиях наших стран. «Не ближнему, а дальнему», не так ли сказал ваш теперешний любимый философ? В этом бескорыстном, чистом служении отдаленному грядущему я почерпаю свою гордую уверенность и силы.

3 января. Ездил сегодня в Квито принимать пришедшие из Лондона заказы. С мистером де Мон де Риком отношения становятся холодными, почти враждебными.

Февраль. Мы сегодня закончили работу по заключению всех наших труб в футляры с понижающими температуру растворами. Лед-соль дает — 21°, твердая углекислота плюс эфир — минус 80°, кислород — 118°, испарение углекислоты — 130°, атмосферическое давление мы способны, кажется, развить до бесконечности.

Апрель. Мой помощник продолжает не на шутку интересовать меня. Он, кажется, какой-то славянин. Не то русский, не то поляк и, кажется, анархист. Он интеллигент, хорошо говорит по-английски, но, кажется, предпочитает не говорить ни на каком языке, а молчать. Вот его наружность: он высок, худ, сутуловат в плечах; волосы прямые и длинные и так падают на лицо, что лоб имеет форму трапеции, суженной кверху, нос, вздернутый кверху, с огромными, открытыми, волосатыми, но очень нервными ноздрями. А глаза у него ясные, серые, до безумия дерзкие. Он слышит и понимает все, что мы говорим о счастии будущих поколений, и часто усмехается добродушно-презрительной улыбкой, которая напоминает мне выражение лица большого старого бульдога, наблюдавшего развозившихся той-терьеров. Но к учителю он относится — это я не только знаю, но чувствую всей душой — с безграничным обожанием. Совсем наоборот поступает мой коллега де Мон де Рик. Он часто говорит учителю об идее жидкого солнца с таким неестественным восторгом, что я вчуже краснею от стыда и боюсь, не насмехается ли электротехник над патроном. Но он ничуть не интересуется им, как человеком, и самым неприлич-

ным образом и именно в присутствии его жены пренебрегает его положением мужа и хозяина дома, хотя это у него выходит, вероятно, против расчета и здравого смысла, под влиянием исказившейся воли, а может быть, и ревности.

Май. Да здравствуют три талантливых поляка — Врублевский, Ольшевский и Витковский и завершивший их опыты Дэвар. Сегодня мы, обратив гелий в жидкое состояние и мгновенно уменьшив давление, довели температуру в главном цилиндре до —272°, и стрелка электрических весов впервые подвинулась не на один, а на *целых пять миллиметров*. Безмолвно, в одиночестве, я становлюсь пред вами на колени, дорогой мой наставник и учитель.

26 июня. По-видимому, де Мон де Рик поверил в жидкое солнце, и теперь — уже без слащавого заигрывания и наигранного восхищения. По крайней мере сегодня за обедом он отличился удивительной фразой. Он сказал, что, по его мнению, жидкому солнцу предстоит громадная будущность в качестве взрывчатого вещества или приспособления для мин и огнестрельных ружей.

Я возразил, правда, довольно грубо, на немецком языке:

— Так говорит прусский лейтенант.

Но лорд Чальсбери возразил кратко и примирительно:

— Мы мечтаем не о разрушении, а о созидании.

27 июня. Пишу впопыхах, и руки у меня дрожат. Вчера ночью я задержался в лаборатории до двух часов. Была спешная работа по установке охладителей. Я возвращался к себе. Очень ярко светил месяц. На мне были теплые сапоги из тюленьей кожи, и шаги мои по обледенелой дорожке не издавали никакого звука. Дорога у меня шла все время в тени. Почти у самых моих дверей я остановился, потому что услышал голоса.

— Зайдите же, дорогая Мери, ради бога, зайдите ко мне хоть на минуту. Почему вы каждый раз боитесь этого? И каждый раз убеждаетесь, что ваши страхи напрасны?

Я тотчас же увидал их обоих при ярком, южном свете луны. Он обнимал ее за талию, а ее голова по-

корно лежала на его плече. О, как они оба были прекрасны в это мгновение!

— Но ваш товарищ...— робко произнесла леди Чальсбери.

— Какой же он мне товарищ? — беспечно рассмеялся де Мон де Рик.— Это только скучный и сентиментальный сурок, который каждый день аккуратно ложится спать в десять часов, чтобы проснуться в шесть. Мисс Мери, идемте, умоляю вас.

И оба они, не размыкая объятий, взошли на крыльцо, освещенное голубым сиянием луны, и скрылись за дверью.

28 июня, вечером. Сегодня утром я пришел к мистеру де Мон де Рику, не принял его протянутой руки, не сел на указанный им стул и сказал ему спокойно:

— Сэр, я должен высказать вам свое мнение о вас. Я полагаю, сэр, что в том месте, где мы должны бы были с вами работать радостно и самоотверженно на пользу человечества, вы ведете себя самым недостойным и бесстыдным образом. Вчера в два часа ночи я видел, как вы вошли к себе домой.

— Вы подглядывали, негодяй? — закричал де Мон де Рик, и глаза его заблестели фиолетовым огнем, как у кошки ночью.

— Нет, я сам очутился в наиболее неприятном положении, какое только может придумать воображение. Я не выдал своего присутствия единственно из-за того, чтобы не причинить страданий не вам, а другому человеку. И это тем более дает мне право сказать вам теперь один на один, что вы, сэр, настоящий подлец и гадина.

— Вы заплатите мне за это кровью, с оружием в руках,— крикнул де Мон де Рик, вскакивая и разрывая ворот своей сорочки.

— Нет,— твердо ответил я.— Во-первых, у нас к этому нет повода, кроме того, что я назвал вас подлецом, но без свидетелей, а второе, вот что: я нахожусь при деле огромной, мировой важности и не считаю возможным уйти от него из-за вашей дурацкой пули, пока дело не дойдет до конца. В-третьих, не проще ли вам сейчас же, захватив лишь необходимый багаж, сесть на первого попавшегося мула, спуститься вниз, в Квито, а затем прежней дорогой вернуться в гостеприимную

Англию? Или и там вы украли чью-нибудь честь или чьи-нибудь деньги, господин подлец?

Он прыгнул к столу и судорожно схватил с него хлыст из гиппопотамовой кожи.

— Я изобью вас, как собаку! — заревел он.

Тогда во мне проснулась старая боксерская школа. Не давая ему опомниться, я обманул его левой рукой, а кулаком правой нанес быстрый удар в нижнюю челюсть между ухом и подбородком. Он завыл, завертелся, как волчок, и из носу у него хлынула черная кровь.

Я вышел.

29 июня.— Отчего я сегодня не видел целый день мистера де Мон де Рика? — вдруг спросил лорд Чальсбери.

— Кажется, ему нездоровится,— ответил я, внимательно глядя в землю.

Мы сидели с ним на северном склоне вулкана. Было девять часов вечера, луна еще не всходила. Около нас стояли два негра носильщика и мой таинственный помощник Петр. На спокойной темной синеве неба едва рисовались тонкие линии электрических проводов, установленных нами за сегодняшний день. А на большом возвышении, сооруженном из камня, покоился приемник № 6, прочно укрепленный среди базальтовых глыб и готовый каждую секунду привести в движение затворы.

— Приготовьте шнур,— приказал лорд Чальсбери,— прокатите катушку вниз, я слишком устал и взволнован, поддержите меня, помогите мне спуститься. Вот здесь как будто хорошо. И мы не рискуем ослепнуть. Подумайте, дорогой Диббль, подумайте, милый мой мальчик, сейчас мы с вами, во имя славы и радости будущего человечества, озарим весь мир солнечным светом, сгущенным в газ. Алло! Зажгите стопин.

Быстро побежала вверх огненная змея пороховой нитки и скрылась вверху над нами, за краем глубокого уступа, под которым мы сидели. Мой напряженный слух уловил мгновенное щелканье соединившихся контактов и пронзительный визг моторов. По нашим расчетам, солнечный газ должен был выходить из кювета рядом последовательных взрывов, приблизительно око-

ло шести тысяч в секунду. И в тот же момент над нами взошло ослепительное солнце, навстречу которому зашелестели внизу деревья, зарозовели облака, засверкали дальние крыши и окна домов города Квито и громким криком разразились наши домашние петухи в поселке.

А когда свет так же мгновенно погас, как и загорелся, учитель щелкнул секундомером, посветил на него карманным электрическим фонариком и сказал:

— Время горения одна минута одиннадцать секунд. Это настоящая победа, мистер Диббль. Ручаюсь вам, что через год мы наполним громадные резервуары жидким и густым, как ртуть, золотым солнцем и заставим его светить нам, греть нас и еще приводить в движение все наши машины.

А когда мы вернулись около полуночи домой, то мы узнали, что за наше отсутствие леди Чальсбери и мистер де Мон де Рик еще засветло, тотчас же после нашего ухода, пошли как будто для прогулки, а потом на заранее оседланных мулах спустились вниз, в Квито.

Лорд Чальсбери и тут остался верен себе. Он сказал без горечи, но с печалью и страданием:

— Ах, зачем они не сказали мне об этом? Зачем ложь? Разве я не видел, что они любят друг друга? Я не стал бы им мешать.

Тут кончаются мои записки, впрочем, так попорченные водою, что я восстановил их лишь с большим трудом и не совсем ручаюсь за их точность. Да и в дальнейшем я не ручаюсь за свою память. Ведь это и всегда так бывает: чем ближе к развязке, тем путаннее воспоминания.

Около двадцати пяти дней мы напряженно работали в лаборатории, наполняя все новые и новые кюветы золотым солнечным газом. За это время мы успели придумать остроумные регуляторы к нашим солнцеприемникам. Мы снабдили каждый из них часовым механизмом и таким же простым указателем времени, как у будильника. Перемещая известным образом указатели трех циферблатов, мы достигли возможности получить свет через любой промежуток времени, растя-

нуть время его горения и его интенсивность от слабого получасового мерцания до мгновенного взрыва — все зависело от часового завода. Мы работали без увлечения, точно нехотя, но надо сказать, что этот период был самым плодотворным за все время моего пребывания на Каямбэ. Но все это окончилось внезапно, фантастично и страшно.

Однажды, в начале августа, ко мне в лабораторию зашел лорд Чальсбери, еще более усталый и постаревший, чем в предыдущие дни; он сказал мне с брезгливым спокойствием:

— Милый друг, я чувствую, что близится моя смерть, и во мне проснулись старые предрассудки. Хочу умереть и быть похороненным в Англии. Оставляю вам немного денег, все дома, машины, землю и мастерские. Денег вам хватит, соразмерно с теми расходами, которые я имел, года на два-три. Вы моложе и энергичнее меня, и, может быть, у вас что-нибудь выйдет. Милый наш друг мистер Найдсон поддержит вас с радостью в любую минуту. Подумайте же хорошенько.

Этот человек давно стал мне дороже отца, матери, брата, жены или сестры. И поэтому я ответил ему с глубоким убеждением:

— Дорогой сэр, я не оставлю вас ни на одну секунду.

Он обнял меня и поцеловал в лоб.

На другой день он созвал всех служащих и, заплатив каждому из них двухгодовое жалованье, сказал, что дело его на Каямбэ пришло к концу и что всем им он приказывает сегодня же спуститься с Каямбэ вниз, в долины.

Они ушли веселые, неблагодарные, предвкушавшие сладкую близость пьянства и разврата в бесчисленных притонах, которыми кишит город Квито. Один лишь мой помощник, молчаливый славянин,— не то албанец, не то сибиряк,— долго не хотел уходить от своего хозяина. «Я останусь при вас до моей или вашей смерти»,— сказал он. Но лорд Чальсбери поглядел на него убедительно, почти строго, и сказал:

— Я еду в Европу, мистер Петр.

— Все равно, и я с вами.

— Но ведь вы знаете, что вам грозит там, мистер Петр.

— Знаю. Веревка. И, однако, все равно я не покину вас. Я все время в душе смеялся над вашими сентиментальными заботами о счастии людей миллионных столетий, но никому не говорил об этом, но, узнавши близко вас самого, я также узнал, что чем ничтожнее человечество, тем ценнее человек, и поэтому я привязался к вам, как старый, бездомный, озлобленный, голодный, шелудивый пес к первой руке, приласкавшей его искренно. И поэтому же я остаюсь при вас, Баста.

Я с изумлением и с восторгом глядел на этого человека, которого я раньше считал окончательно не способным на какие-нибудь возвышенные чувства. Но учитель сказал ему мягко и повелительно:

— Нет, вы уйдете. И сейчас же. Мне дорога ваша дружба, мне дорога ваша неутомимая работа. Но я еду умирать к себе на родину. И ваши возможные страдания только отяготят мой уход из мира. Будьте мужчиной, Петр. Возьмите деньги, обнимите меня на прощание, и расстанемся.

Я видел, как они обнялись и как суровый Петр несколько раз горячо поцеловал руку лорда Чальсбери, а потом бросился прочь от нас, не оборачиваясь назад, почти бегом, и скрылся за ближайшими зданиями.

Я поглядел на учителя: он, закрыв лицо руками, плакал...

Через три дня мы шли на знакомом мне пароходе «Гонзалес» из Гваякиля в Панаму. Море было неспокойно, но ветер дул попутный, и в подмогу слабосильной машине капитан распорядился поставить паруса. Мы с лордом Чальсбери все время не покидали каюты. Его состояние внушало мне серьезные опасения, и временами я даже думал, что он мешается в уме. Я глядел на него с беспомощной жалостью. Особенно поражало меня то, что через каждые две-три фразы он непременно возвращался мыслями к оставленному им на Каямбэ кювету № 21б и каждый раз, вспоминая

о нем, твердил, стискивая руки: «Неужели я забыл, ах, неужели я мог забыть?» Но потом речь его становилась опять печальной и возвышенной.

— Не думайте,— говорил он,— что маленькая личная драма заставила меня сойти с того пути трудов, упорных изысканий и вдохновений, который я терпеливо прокладывал в течение всей моей сознательной жизни. Но обстоятельства дали толчок моим размышлениям. За последнее время я многое передумал и переоценил, но только в иной плоскости, чем раньше. Если бы вы знали, как тяжело в шестьдесят пять лет перестраивать свое мировоззрение. Я понял, вернее, почувствовал, что не стоит будущее человечество ни забот о нем, ни нашей самоотверженной работы. Вырождаясь с каждым годом, оно становится все более дряблым, растленным и жестокосердым. Общество подпадает власти самого жестокого деспота в мире — капитала. Тресты, играя в своих публичных притонах на мясе, хлебе, керосине, сахаре, создают поколения сказочных полишинелей-миллиардеров и рядом миллионы голодных оборванцев, воров и убийц. И так будет вечно. И моя идея продлить солнечную жизнь Земли станет достоянием кучки негодяев, которые будут править ею или употреблять мое жидкое солнце на пушечные снаряды и бомбы безумной силы... Нет, не хочу этого... Ах, боже мой, этот кювет! Ах, неужели я забыл! Неужели! — вдруг воскликнул лорд Чальсбери, хватаясь за голову.

— Что вас так тревожит, дорогой учитель? — спросил я.

— Видите ли, милый Генри... Я опасаюсь того, что сделал маленькую, но, может, очень роковую...

Больше я ничего не слышал. На востоке вдруг вспыхнуло огромное, как вселенная, золотое, огненное пламя. И небо и море точно потонули на мгновение в нестерпимом сиянии. Тотчас же вслед за этим оглушительный гром и какой-то горячий вихрь свалил меня на палубу.

Я потерял сознание и пришел в себя, только услышав над собою голос учителя.

— Что? — спрашивал лорд Чальсбери.— Вас ослепило?

— Да, я ничего не вижу, кроме радужных кругов перед глазами. Ведь это катастрофа, профессор? Зачем вы сделали или допустили это? И разве вы не предвидели этого?

Но он мягко положил мне на плечо свою маленькую прекрасную белую руку и сказал глубоким нежным голосом (и от этого прикосновения и от этого уверенного тона его слов я сразу стал спокоен):

— Неужели вы не верите мне? Подождите, зажмурьте крепко глаза и закройте их ладонью правой руки и держите так, пока я не перестану говорить или пока у вас не пройдет в глазах световое мелькание, потом, прежде чем открыть глаза, наденьте очки, которые я вам сейчас сую в левую руку. Это очень сильные консервы. Слушайте, мне казалось, что вы успели узнать меня гораздо лучше за это короткое время, чем знали меня самые близкие люди. Уже ради только вас, моего настоящего друга, я не взял бы на свою совесть такого жестокого и бесцельного опыта, который грозит смертью нескольким десяткам тысяч людей. Да и то сказать, чего стоит существование этих развратных негров, пьяных индейцев и вырождающихся испанцев? Образуйся сейчас на месте республики Эквадор с ее сплетнями, торгашеством и революциями сплошная дыра в преисподнюю, от этого ни на грош не потеряют ни наука, ни искусство, ни история. Немножко жаль моих умных, терпеливых, милых мулов. Правда, скажу вам по совести, я ни на секунду не задумался бы принести в жертву торжеству идеи и вас и вместе с вами миллион самых ценных человеческих жизней, если бы только я был убежден в правоте этой идеи, но ведь всего три минуты тому назад я вам говорил о том, что я окончательно разуверился в способности грядущего человечества к счастью, любви и самопожертвованию. Неужели вы можете подумать, что я стал бы мстить маленькому кусочку человечества за мою громадную философскую ошибку? Но вот чего я себе не прощаю: это чисто технической ошибки, ошибки рядового привычного работника. Я в данном случае похож на мастера, который стоял двадцать лет около сложной машины, а через двадцать лет и один день вдруг взгрустнул о своих личных семейных делах, забыл о деле, перестал слушать ритм, и вот сорвался привод-

ный ремень и своим страшным размахом убил несколько муравьев-рабочих. Видите ли, меня все время мучила мысль о том, что я по рассеянности, приключившейся со мной первый раз за все эти двадцать лет, забыл остановить часовой завод у кювета № 216 и поставил его нечаянно на полный взрыв. И это сознание все время, точно во сне, преследовало меня на пароходе. Так и оказалось. Кювет взорвало, и от детонации взорвались и другие хранилища. Опять моя ошибка. Прежде чем хранить в таком громадном запасе жидкое солнце, мне нужно было бы раньше, хотя бы с риском для собственной жизни, проделать в малых размерах опыты над взрывчатыми качествами сгущенного света. Теперь оглянитесь сюда,— и он мягко, но настойчиво повернул мою голову на восток.— Отнимите руку и теперь медленно, медленно откройте глаза.

В один момент с необычайной яркостью, как это, говорят, бывает в предсмертные минуты, я увидел полыхавшее на востоке, то сжимавшееся, то разжимавшееся, точно дышащее зарево, накрененный борт парохода, волны, хлеставшие через перила, мрачно-кровавое море и тускло-пурпуровые тучи на небе и прекрасное спокойное лицо, все в седых шелковистых сединах, с глазами, сиявшими, как скорбные звезды. Удушливый жаркий ветер дул с берега.

— Пожар? — спросил я вяло, точно во сне, и обернулся к югу. Там, над вершиной Каямбэ, стоял густой дымный огонь, который прорезывали быстрые молнии.

— Нет, это извержение нашего доброго старого вулкана. Взрыв жидкого солнца разбудил и его. Согласитесь, все-таки черт знает какая сила! И подумать только, что все это напрасно.

Я ничего не понимал. У меня кружилась голова. И вот я услышал около себя странный голос, одновременно нежный, как у матери, и повелительный, как у деспота:

— Сядьте на этот корабельный бунт и повинуйтесь слепо всему, что я вам прикажу. Вот вам спасательный круг, наденьте его сейчас же на себя, завяжите крепко под мышками, но не стесняйте дыхания; вот вам фляжка с коньяком, спрячьте ее в левый боко-

вой карман вместе с тремя плитками шоколада, вот вам пергаментный конверт с деньгами и письмами. Сейчас «Гонзалес» будет опрокинута таким страшным валом, который вряд ли видало человечество со времен потопа. Лягте вдоль правого борта. Так. Обвейтесь руками и ногами о поручни. Хорошо. Голова у вас за железным щитом. Это поможет, чтобы вас не оглушило ударом. Когда вы почувствуете, что вал обрушился на палубу, постарайтесь задержать дыхание секунд на двадцать, затем бросайтесь вправо, и да благословит вас бог! Это все, что я могу вам пожелать и посоветовать. А затем еще, если вам суждено умереть так рано и так нелепо... То мне хотелось бы услышать, что вы мне прощаете. Понимаете ли, другому я не сказал бы этого, но я знаю, что вы англичанин и настоящий джентльмен.

Его слова, исполненные хладнокровия и достоинства, вернули мне самообладание. Я нашел в себе достаточно силы, чтобы, пожимая ему крепко руку, ответить спокойно:

— Верьте, дорогой учитель, что никакие радости жизни не изменили бы мне тех прекрасных часов, которые я провел под вашим мудрым руководством. Я бы хотел только спросить, почему вы сами о себе не заботитесь?

Я до сих пор ясно помню его, прислонившегося к ящику с запасным компасом, помню, как ветер трепал его одежду и седую бороду, такую страшную на красном фоне вулканического извержения. Тут же я на секунду с удивлением заметил, что уже не было нестерпимо горячего ветра с берега, наоборот — с запада дул порывистый, холодный ураган, и судно наше почти лежало на боку.

— Э! — воскликнул небрежно лорд Чальсбери и устало махнул рукой.— Мне нечего терять. Я одинок во всем этом мире. У меня есть единственная привязанность — это вы, но и вас я подвергаю смертельной опасности, из которой вам выкарабкаться — только один шанс на миллион. У меня есть богатство, но, право, я не знаю, что с ним делать, разве только,— и голос его зазвучал печальной и кроткой насмешкой,— разве только раздать его неимущим Норфолькского

графства и расплодить лишнюю банду тунеядцев и попрошаек. У меня есть знания, но вы сами видите, что они потерпели крах. У меня есть энергия, но уже теперь я не смог бы найти для нее приложения. О нет, дорогой друг, я не самоубийца; если в эту ночь мне не суждено погибнуть, я употреблю мой остаток жизни на то, чтобы скромно возделывать спаржу, артишоки и дыни на каком-нибудь маленьком клочке земли, где-нибудь подальше от Лондона. А если смерть,— он снял шляпу, и странно было мне видеть его развевающиеся волосы, мечущуюся бороду и ласковые, печальные глаза и слышать его голос, звучавший, как органный хорал.— А если смерть, то с покорностью предаю мое тело и мой дух вечному богу, который да простит мне заблуждения моего слабого человеческого ума.

— Аминь,— сказал я.

Он повернулся спиной к ветру и закурил сигару. Четким, фантастическим, великолепным видением рисовалась его черная фигура на фоне багряного неба. До меня долетел тонкий запах прекрасной гаванны.

— Готовьтесь. Еще останется минута, две. Не трусите?

— Нет... Но экипаж, пассажиры!..

— Я во время вашего обморока предупредил их. Впрочем, на всем судне нет ни одного трезвого человека и ни одного спасательного пояса. За вас я не боюсь, у вас на руке надет талисман. У меня, представьте, был такой же, но я его потерял. Эй! держитесь!.. Генри!..

Я обернулся к востоку и обомлел от смертельного ужаса. На наш скорлупу-пароход быстро двигался от берега огромный вал с Эйфелеву башню высотой, весь черный, с розово-белым, пенистым гребнем наверху. Что-то заревело, задрожало... и точно весь мир обрушился на палубу.

Я опять потерял сознание и пришел в себя через несколько часов в небольшой рыбачьей барке, спасшей меня. Моя изуродованная левая рука была грубо перевязана тряпкой, а голова замотана какими-то лохмотьями. Через месяц, поправившись от ран и душевных потрясений, я уже плыл обратно в Англию.

История моих странных приключений окончена. Мне остается только прибавить, что я теперь скромно живу в самой тихой части Лондона и ни в чем не нуждаюсь благодаря щедрой доброте покойного лорда Чальсбери. Я много занимаюсь наукой и даю частные уроки. Каждое воскресенье мы с милым мистером Найдстоном обедаем поочередно друг у друга. Нас связывают самые тесные дружеские узы, и наш первый тост всегда бывает в честь и память великого лорда Чальсбери.

Г. Диббль.

P. S. Все имена собственные в моем рассказе не настоящие, а нарочно изобретены мною.

Г. Д.

[*1912*]

Мы и дома

Мы и улицетворцы

Вонзая в человечество иглу обуви, шатаясь от тяжести лат, мы, сидящие на крупе, показываем дорогу туда! и колем усталые бока колесиком на железной обуви, чтобы усталое животное сделало прыжок и вяло взяло, маша от удовольствия хвостом, забор перед собой.

Мы, сидящие в седле, зовем: туда, где стеклянные подсолнечники в железных кустарниках, где города, стройные как невод на морском берегу, стеклянные как чернильница, ведут междуусобную борьбу за солнце и кусок неба, будто они мир растений; «по-солонь» ужасно написано в них азбукой согласных из железа и гласных из стекла!

И если люди — соль, не должна ли солонка идти по-солонь? Положив тяжелую лапу на современный город и его улицетворцев, восклицая: «Бросьте ваши крысятники» и страшным дыханием изменяя воздух, мы, будетляне, с удовольствием видим, что многое трещит под когтистой рукой. Доски победителей уже брошены, и победители уже пьют степной напиток, молоко кобылиц; тихий стон побежденных.

Мы здесь расскажем о вашем и о нашем городе.

I. Черты якобы красивого города прошлецов (пращурское зодчество).

1. Город сверху: сверху сейчас он напоминает скребницу, щетку. Это ли будет в городе крылатых жителей? В самом деле, рука времени повернет вверх ось зрения, увлекая за собой и каменное щегольство прямой угол. На город смотрят сбоку, будут — сверху.

Крыша станет главное, ось стоячей. Потоки летунов и лицо улицы над собой город станет ревновать своими крышами, а не стенами.

Крыша, как таковая, нежится в синеве, она далека от грязных туч пыли. Она не желает, подобно мостовой, мести себя метлой из легких, дыхательного горла и нежных глаз; не будет выметать пыль ресницами и смывать со своего тела грязь черную губкой из легкого. Прихорашивайте ваши крыши; уснащайте эти прически узкими булавками. Не на порочных улицах с их грязным желанием иметь человека, как вещь, на своем умывальнике, а на прекрасной и юной крыше будет толпиться люд, носовыми платками приветствуя отплытие облачного чудовища, со словами «до свиданья» и «прощай!» провожая близких.

Как они одевались? Они из черного или белого льна кроили латы, поножи, нагрудники, налокотники, горла, утюжили их и таким образом вечно ходили в латах цвета снега или сажи, холодных, твердых, но размокающих от первого дождя, доспехах из льна. Вместо пера у иных над головой курилась смола. В глазах у иных взаимное смелое, утонченное презрение. Поэтому мостовая прошла выше окон и водосточных труб. Люд столпился на крыше, а земля осталась для груза; город превратился в сеть нескольких пересекающихся мостов, положивших населенные своды на жилые башни — опоры; жилые здания служили мосту быками и стенами площадей колодцев. Забыв ходить пешком или на собратьях, вооруженных копытами, толпа научилась летать над городом, спуская вниз дождь взоров, падающих сверху; над городом будет стоять облако оценки труда каменщиков, грозящее стать грозой и смерчем для плохих кровель. Люд на крыше вырвет у мотыги ясную похвалу крыше, и улице, проходящей над зданиями. Итак, его черты: улица над городом, и глаз толпы над улицей!

2. Город сбоку. «Будто красивые» современные города на некотором расстоянии обращаются в ящик с мусором. Они забыли правило чередования в старых постройках (греки, Ислам) сгущенной природы камня с разреженной природой — воздухом (собор Воронихина), вещества с пустотой; то же отношение ударного и не ударного места — сущность стиха. У улиц нет бле-

ния. Слитные улицы так же трудно смотрятся, как трудно читаются слова без промежутков и выговариваются слова без ударений. Нужна разорванная улица с ударением в высоте зданий, этим колебанием в дыхании камня. Эти дома строятся по известному правилу для пушек: взять дыру и облить чугуном. И точно, берется чертеж и заполняется камнем. Но в чертеже имеет существование и весомость — черта, отсутствующая в здании, и наоборот: весомость стен здания отсутствует в чертеже, кажется в нем пустотой; бытие чертежа приходится на небытие здания, и наоборот. Чертежники берут чертеж и заполняют его камнем, т. е. основное соотношение камня и пустоты умножают (в течении веков не замечая) на отрицательную единицу, отчего у самых безобразных зданий самые изящные чертежи, и Мусоргский чертежа делается ящиком с мусором в здании. Этому должен быть положен конец! Чертеж годится только для проволочных домов, так как заменять черту пустотой, а пустоту камнем — то же, что переводить папу римского, знакомым римской мамы. Близкая поверхность похищена неразберихой окон, подробностями водосточных труб, мелкими глупостями узоров, дребеденью, отчего большинство зданий в лесах лучше законченных. Современный доходный дом (искусство прошлецов) растет из замка; но замки стояли особняком, окруженные воздухом, насытив себя пустынником, походя на громкое междометие! А здесь, сплющенные общими стенами, отняв друг от друга кругозор, сдавленный в икру улицы,— чем они стали с их прыгающим узором окон, как строчки чтения в поезде! Не так ли умирают цветы, сжатые в неловкой руке, как эти дома крысятники? (потомки замков?)

3. Что украшает город? На пороге его красоты стоят трубы заводов. Три дымящиеся трубы Замоскворечья напоминают подсвечник и три свечи невидимых при дневном свете. А лес труб на северном безжизненном болоте заставляет присутствовать при переходе природы от одного порядка к другому; это нежный, слабый мох леса второго порядка; сам город делается первым опытом растения высшего порядка, еще ученическим. Эти болота — поляна шелкового мха труб. Трубы это прелесть золотистых волос.

4. Город внутри. Только немногие заметили, что вверить улицы союзу алчности и глупости домовладельцев и дать им право строить дома — значит без вины вести жизнь одиночного заключения; мрачный быт внутри доходных домов очень мало отличается от быта одиночного заключения; это жизнь гребца на дне ладьи, под палубой; он ежемесячно взмахивает веслом, и чудовище алчности темной и чужой воли идет к сомнительным целям.

5. Так же мало замечали, что путешествия лишены полноты удобств и неприятны.

II. Лекарства Города Будрых.

1. Был выдуман ящик из гнутого стекла или походная каюта, снабженная дверью, с кольцами, на колесах, со своим обывателем внутри, она становилась на поезд (особые колеи, площадки с местами) или пароход, и в ней ее житель, не выходя из нее, совершал путешествие. Иногда раздвижной, этот стеклянный шатер был годен для ночлега. Вместе с тем, когда было решено строить не из случайной единицы кирпича, а с помощью населенной человеком клетки, то стали строить дома-остовы, чтобы обитатели сами заполняли пустые места подвижными стеклянными хижинами, могущими быть перенесенными из одного здания в другое. Таким образом было достигнуто великое завоевание: путешествовал не человек, а его дом на колесиках, или, лучше сказать, будка, привинчиваемая то к площадке поезда, то к пароходу.

Как зимнее дерево ждет листвы или хвои, так эти дома-остовы, подымая руки с решеткой пустых мест, свой распятый железный можжевельник, ждут стеклянных жителей, походя на ненагруженное невооруженное судно, то на дерево смерти, на заброшенный город в горах. Возникло право быть собственником такого места в неопределенно каком городе. Каждый город страны, куда прибывал в своем стеклянном ящике владелец, обязан был дать на одном из домов-остовов место для передвижной ящико-комнаты (стекло-хаты). И на цепях с визгом подымался путешественник в оболочке. Ради этого размеры шатра во всей стране—одного и того же образца. На стеклянной поверхности чернело число, порядок владельца. Сам он во время подъема

что-нибудь читал. Таким образом, возник владелец: 1) не на землю, а лишь на площадку в доме-остове, 2) не в каком- нибудь определенном городе, а вообще в городе страны, одном из вошедших в союз для обмена гражданами. Это было сделано для польз подвижного населения.

Строились остовы городами; они опирались на союз стекольщиков и железников Урала. Похожий на кости без мышц, чернея пустотой ячеек для вставных стеклянных ящиков, ставших деньгами объема, в каждом городе стоял наполовину заполненный железный остов, ожидавший стеклянных жителей. Нагруженные ими же, плавали палубы и ходили поезда, носились по дорогам площадки. Такие же остовы-гостиницы строились на берегу моря, над озерами, вблизи гор и рек. Иногда в одном владении были две или три клетки. 1) Шатры в домах чередовались с гостиными, столовыми и резварнами. 2) Современные дома-крысятники строятся союзом глупости и алчности. Если прежние замки-особняки распространяли власть вокруг себя, то замки-сельди, сплющенные бочонком улиц, устанавливают власть над живущими в нем, внутри его. В неравной борьбе многих обитающих в доме с одним владеющим им, многих, не сделавших ни одного яркого душегубства, но живущих в мрачной темнице, в заключении в доходном доме, под тяжелой лапой союза алчности и глупости; на помощь многим сначала приходили отдельные союзы, а потом государство. Было признано, что город — точка узла лучей общей силы и в известной доле есть достояние всех жителей страны и что за попытку жить в нем гражданин страны не может быть брошен (одним из случайно отнявших у него город) в каменный мешок крысятника и вести там жизнь узника пусть по приговору только быта, а не суда. Но не все ли равно сурово наказанному, даже если он не подозревает о страшном равенстве своего жилища: суд или быт бросил его, как военного пленника, в темный подвал, отрезанный от всего мира?

Было понято, что постройка жилищ должна быть делом тех, кто их будет населять. Сначала отдельные улицы объединились в товарищества на паях, чтобы строить, чередуя громады с пустотой, общие замкоулицы и заменить грязный ящик улицы одним прекрас-

ным улочертогом; в основу лег порядок древнего Новгорода. Вот вид большой улицы Тверской. Высокий избоул окружался площадью. Тонкая башня соединялась мостом с соседним замкоулом. Дома стены стояли рядом, как три книги, стоящие ребром.

Жилая башня двумя висячими мостами соединялась с другой такой же, высокой, тонкой. Еще один дворцеул. Все походило на сад. Дома соединялись мостами, верхними улицами градоула. Так были избегнуты ужасы произвола частного зодчества. Растительный яд стал караться наравне с зодческим мышьяком. За частными лицами осталось право строить дома: 1) вне города, 2) на окраинах его, в деревнях, пустынях, но и то для своего личного пользования. Позднее к улицетворству перешла государственная власть. Это были казенные улочертоги.

Присвоив права улицетворца и очертив кругом своих забот жианиц и жиянство (от жить, словопроизводство по словам: пианство и пианиц), власть стала старшим каменщиком страны и на развалинах частного зодчества оперлась о щит благодарности умученных в современных крысятниках.

Нашли, что черпать средства из постройки стеклянных жилищ нравственно. Измученные равнодушным ответом: «пущай дохнут, пущай живут», ушли под крыло государства-зодчего.

Запрет на частное зодчество не распространялся на избы, хаты, усадьбы и жилища семей. Война велась с крысятниками. Занятая избоулом, земля оставалась во владении прежних собственников. Житеул: 1) сдавался обществам городов, врачей, путешествий, улиц, приходам; 2) оставался у строителя; 3) продавался на условиях, ограничивающих алчность, право содержания. Это был могучий источник доходов. Градоулы, построенные на берегах моря и в живописных местах, оживили ее высокими стеклянными замками. Итак, основным строителем стало государство; впрочем, оно стало таким в силу превосходства своих средств как самое могучее частное общество.

III. Что строилось? Теперь внимание. Здесь рассказывается про чудовище будетлянского воображения, заменившее современные площади, грязные как душа Измайлова.

a) Дома-мосты; в этих домах и дуги моста и опорные сваи были населены зданиями. Одни стекложелезные соты служили соседям частями моста. Это был мостоул. Башни-сваи и полушария дуг.
(Корень ул от слов: улица, улей, улика, улыбка, Ульяна). Мостоулы нередко воздвигались над рекой.
b) Дом-тополь. Состоял из узкой башни, сверху донизу обвитой кольцами из стеклянных кают. Подъем был в башне, у каждой светелки особый выход в башню, напоминавшую высокую колокольню (100 200 саж.). Наверху площадка для верхнего движения. Кольца светелок тесно следовали одно за другим на большую высоту. Стеклянный плащ и темный остов придавали ему вид тополя.
c) Подводные дворцы; для говорилен строились подводные дворцы из стеклянных глыб, среди рыб, с видом на море, и подводным выходом на сушу. Среди морской тишины давались уроки красноречия.
d) Дома-пароходы. На большой высоте искусственный водоем заполнялся водой и в нем на волнах качался настоящий пароход, населенный главным образом моряками.
e) Дом-пленка. Состоял из комнатной ткани, в один ряд натянутой между двумя башнями. Размеры 3×100×100 сажен. Много света! Мало места. Тысяча жителей. Очень удобен для гостиниц, лечебниц, на гребне гор, берегу моря. Просвечивая стеклянными светелками, казался пленкой. Красив ночью, когда казался костром пламени среди черных и угрюмых башен-игл. Строится на бугре холмов. Служит хорошим домом-остовом.
f) Тот же с двойной тканью комнат.
g) Дом-шахматы. Пустые комнаты отсутствовали в шахматном порядке.
i) Дом-качели. Между двумя заводскими трубами привешивалась цепь, а на ней привешивается избушка. Мыслителям, морякам, будетлянам.
k) Дом-волос. Состоит из боковой оси и волоса комнат будетлянских, подымающихся рядом с нею на высоту 100—200 саж. Иногда три волоса вьются вдоль железной иглы.
l) Дом-чаша; железный стебель 5—200 сажен вышиной подымает на себе стеклянный купол для 4—5 ком-

нат. Особняк для ушедших от земли; на ножке железных брусьев.

m) Дом-трубка. Состоял из двойного комнатного листа, свернутого в трубку, с широким двором внутри, орошенным водопадом.

1) Порядок развернутой книги; состоит из каменных стен, под углом и стеклянных листов комнатной ткани, веером расположенной внутри этих стен. Это дом-книга. Размеры стены 200—100 саж.

2) Дом - поле, в нем полы служат опорой пустынным покоям, лишенным внутренних стен, где в живописном беспорядке раскинуты стеклянные хижины, шалаши, не достающие потолка, особо запирающиеся вигвамы и чумы; на стенах грубо сколоченные природой оленьи рога придавали вид каждому ярусу охотничьего становища; в углах домашние купанья. Нередко полы подымаются один над другим в виде пирамиды.

3) Дом на колесах: на длинном маслоеде одна или несколько кают; гостиная, светская ульская для цыган 20 века.

Начала: 1) Оседлый остов дома, бродячая каюта.
2) Человек ездит по поезду, не выходя из своей комнаты.
3) Право собственности на жилище в неопределенно каком городе.
4) Казна-строитель.
5) Правило построек особняков; гибель улиц; удары замкоулов, междометия башен.

Прогулка; читая изящное стихотворение из 4-х слов гоум, моум, суум, туум и вдумываясь в его смысл, казавшийся прекраснее больших созвучьерубных приборов, я не выходя из шатра был донесен поездом через материк к морю, где надеялся увидеть сестру. Я почувствовал скрип и покачивание. Это железная цепь подымала меня вдоль дома-тополя; мелькали клетки стеклянного плаща и лица. Остановка; здесь, в пустой ячейке дома, я оставил свое жилище; зайдя к водопаду и надев стиль одежд дома, я вышел на мостик. Изящный, тонкий, он на высоте 80 сажен соединял два дома-тополя. Я наклонился и вычислял себя, что я должен делать, чтобы исполнить волю его в себе. Вдали, между двух железных игл, стоял дом-плен-

ка. 1000 стеклянных жилищ, соединяемых висячей тележкой с башнями, блестели стеклом. Там жили художники, любуясь двойным видом на море, так как дом иглой-башней выдвинулся к морю. Он был прекрасен по вечерам. Рядом на недосягаемую высоту вился дом-цветок, с красновато-матовым стеклом купола, кружевом изгороди чашки и стройным железом лестниц ножки. Здесь жили И и Э. Железные иголки дома-пленки и плотно стеклянных сот озарялись закатом. У угловой башни начинался другой протянутый в поперечном направлении дом. Два дома-волоса вились рядом один около другого. Там дом-шахматы; я задумался. Роща стеклянных тополей сторожила море. Между тем четыре «Чайки № 11» несли по воздуху сеть, в которой сидели купальщики, и положили ее на море. Это был час купанья. Сами они качались на волнах рядом. Я думал про сивок-коурок, ковры-самолеты и думал: сказки, память старца или нет? Иль детское ясновидение? Другими словами, я думал: потоп и гибель Атлантиды была или будет? Скорее я склонен был думать — будет.
Я был на мостике и задумался.

Лебедия будущего

Небокниги

На площадях, около садов, где отдыхали рабочие или творцы, как они стали себя называть, подымались высокие белые стены, похожие на белые книги, развернутые на черном небе. Здесь толпились толпы народа и здесь творецкая община, тенепечатью на тенекнигах, сообщала последние новости, бросая из блистающего глаза светоча нужные тенеписьмена. Новинки Земного Шара, дела Соединенных Станов Азии, этого великого союза трудовых общин, стихи, внезапное вдохновение своих членов, научные новинки, извещения родных своих родственников, приказы советов. Некоторые, вдохновленные надписями тенекниг, удалялись на время, записывали свое вдохновение и через полчаса брошенное световым стеклом, оно, теневыми глаголами, по-

казывалось на стене. В туманную погоду пользовались для этого облаками, печатая на них последние новости. Некоторые, умирая, просили, чтобы весть о их смерти была напечатана на облаках. В праздники устраивалась «живопись пальбой». Снарядами разноцветного дыма стреляли в разные точки неба. Например, глаза — вспышкой синего дыма, губы — выстрелом алого дыма, волосы — серебряного. Среди безоблачной синевы неба знакомое лицо, вдруг выступившее на небе, означало чествование населением своего вождя.

Земледелие
Пахарь в облаках

Весною можно было видеть, как два облакохода, ползая мухами по сонной щеке облаков, трудолюбиво боронили поля, вспахивая землю прикрепленными к ним боронами. Иногда небоходы скрывались. Когда туча скрывала их из виду, казалось, что борону везут трудолюбивые облака, запряженные в ярмо как волы. Позднее неболеты пролетали как величественные лейки, спрятанные облаками, чтобы оросить пашню искусственным дождем и бросить оттуда целые потоки семян. Пахарь переселился в облака и сразу возделывал целые поля, земли всей задруги. Земли многих семей возделывались одним пахарем, закрытым весенними облаками.

Пути сообщения
*Искропись*ма

Подводная дорога со стеклянными стенами местами соединяла оба берега Волги. Степь еще более стала походить на море. Летом по бесконечной степи двигались сухопутные суда, бегая на колесах с помощью ветра и парусов. Грозоходы, коньки и парусные сани соединяли села. Каждый ловецкий поселок обзаводился своим полем для спуска воздушных челнов и своим приемником для лучистой беседы со всем земным шаром. Услышанные искровые голоса, поданные с другого конца земли, тотчас же печатались на тенекнигах.

Лечение глазами

Засев полей из облаков, тенекниги, сообщающие научную общину со всей звездой, паруса сухопутных судов, покрывавшие степь точно море, стены площадей, как великие учителя молодости, сильно изменили Лебедию за два года. В теневых читальнях дети сразу читали одну и ту же книгу, страница за страницей, перевертываемую перед ними человеком сзади них... В отгороженном месте получали право жить, умирать и расти растения, птицы и черепахи. Было поставлено правилом, что ни одно животное не должно исчезнуть. Лучшие врачи нашли, что глаза живых зверей излучают особые токи, целебно действующие на душевно расстроенных людей. Врачи предписывали лечение духа простым созерцанием глаз зверей, будут ли это кроткие покорные глаза жабы, или каменный взгляд змеи, или отважные — льва, и приписывали им такое же значение, какое настройщик имеет для расстроенных струн. Лечение глазами использовалось в таких же размерах, как теперь лечебные воды.

Деревня стала научной задругой, управляемой облачным пахарем. Крылатый творец твердо шел к общине не только людей, но и вообще живых существ земного шара.

И он услышал стук в двери своего дома крохотного кулака обезьяны.

Радио будущего

Радио будущего — главное дерево сознания — откроет ведение бесконечных задач и объединит человечество. Около главного стана Радио, этого железного замка, где тучи проводов рассыпались точно волосы, наверное будет начертана пара костей, череп и знакомая надпись: «Осторожно», ибо малейшая остановка работы Радио вызвала бы духовный обморок всей страны, временную утрату ею сознания.

Радио становится духовным солнцем страны, великим чародеем и чарователем.

Вообразим себе главный стан Радио: в воздухе паутина путей, туча молний, то погасающих, то зажигаю-

щихся вновь, переносящихся с одного конца здания на другой. Синий шар круглой молнии, висящий в воздухе точно пугливая птица, косо протянутые снасти. Из этой точки земного шара, ежесуточно, похожие на весенний пролет птиц, разносятся стаи вестей из жизни духа. В этом потоке молнийных птиц дух будет преобладать над силой, добрый совет над угрозой.
Дела художника пера и кисти, открытия художников мысли (Мечников, Эйнштейн), вдруг переносящие человечество к новым берегам...
Советы из простого обихода будут чередоваться с статьями граждан снеговых вершин человеческого духа. Вершины волн научного моря разносятся по всей стране к местным станам Радио, чтобы в тот же день стать буквами на темных полотнах огромных книг, ростом выше домов, выросших на площадях деревень, медленно переворачивающих свои страницы.

Радиочитальни

Эти книги улиц — читальни Радио! Своими великанскими размерами обрамляют села, исполняют задачи всего человечества.
Радио решило задачу, которую не решил храм как таковой, и сделалось так же необходимым каждому селу, как теперь училище или читальня.
Задача приобщения к единой душе человечества, к единой ежесуточной духовной волне, проносящейся над страной каждый день, вполне орошающей страну дождем научных и художественных новостей,— эта задача решена Радио с помощью молнии. На громадных теневых книгах деревень Радио отпечатало сегодня повесть любимого писателя, статью о дробных степенях пространства, описание полетов — и новости соседних стран. Каждый читает, что ему любо. Эта книга, одна и та же для всей страны, стоит в каждой деревне, вечно в кольце читателей, строго набранная, молчаливая читальня в селах.
Но вот черным набором выступила на книгах громкая научная новость: химик Х., знаменитый в узком кругу своих последователей, нашел способы приготовления

мяса и хлеба из широко распространенных видов глины.

Толпа волнуется и думает: что будет?

Землетрясение, пожар, крушение в течение суток будут печатаны на книгах Радио... Вся страна будет покрыта станами Радио...

Радиоаудитории

Железный рот самогласа пойманную и переданную ему зыбь молнии превратил в громкую разговорную речь, в пение и человеческое слово.

Все село собралось слушать.

Из уст железной трубы громко несутся новости дня, дела власти, вести о погоде, вести из бурной жизни столиц.

Кажется, что какой-то великан читает великанскую книгу дня. Но это железный чтец, это железный рот самогласа; сурово и четко сообщает он новости утра, посланные в это село маяком главного стана Радио. Но что это? Откуда этот поток, это наводнение всей страны неземным пением, ударом крыл, свистом и цоканием и целым серебряным потоком дивных безумных колокольчиков, хлынувших оттуда, где нас нет, вместе с детским пением и шумом крыл?

На каждую сельскую площадь страны льются эти голоса, этот серебряный ливень. Дивные серебряные бубенчики, вместе со свистом, хлынули сверху. Может быть, небесные звуки — духи — низко пролетели над хаткой. Нет...

Мусоргский будущего дает всенародный вечер своего творчества, опираясь на приборы Радио в пространном помещении от Владивостока до Балтики, под голубыми стенами неба... В этот вечер ворожа людьми, причащая их своей душе, а завтра обыкновенный смертный! Он, художник, околдовал свою страну; дал ей пение моря и свист ветра! Каждую деревню и каждую лачугу посетят божественные свисты и вся сладкая нега звуков.

Радио и выставки

Почему около громадных огненных полотен Радио, что встали как книги великанов, толпятся сегодня люди отдаленной деревни? Это Радио разослало по своим приборам цветные тени, чтобы сделать всю страну и каждую деревню причастницей выставки художественных холстов далекой столицы. Выставка перенесена световыми ударами и повторена в тысячи зеркал по всем станам Радио. Если раньше Радио было мировым слухом, теперь оно глаза, для которых нет расстояния. Главный маяк Радио послал свои лучи, и Московская выставка холстов лучших художников расцвела на страницах книг читален каждой деревни огромной страны, посетив каждую населенную точку.

Радиоклубы

Подойдем ближе... Гордые небоскребы, тонущие в облаках, игра в шахматы двух людей, находящихся на противоположных точках земного шара, оживленная беседа человека в Америке с человеком в Европе... Вот потемнели читальни; и вдруг донеслась далекая песня певца, железными горлами Радио бросило лучи этой песни своим железным певцам: пой, железо! И к слову, выношенному в тиши и одиночестве, к его бьющим ключам, причастилась вся страна.

Покорнее, чем струны под пальцами скрипача, железные приборы Радио будут говорить и петь, повинуясь ее волевым ударам.

В каждом селе будут приборы слуха и железного голоса для одного чувства и железные глаза для другого.

Великий чародей

И вот научились передавать вкусовые ощущения — к простому, грубому, хотя и здоровому, обеду Радио бросит лучами вкусовой сон, призрак совершенно других вкусовых ощущений.

Люди будут пить воду, но им покажется, что перед ними вино. Сытый и простой обед оденет личину рос-

кошного пира... Это даст Радио еще большую власть над сознанием страны...

Даже запахи будут в будущем покорны воле Радио: глубокой зимой медовый запах липы, смешанный с запахом снега, будет настоящим подарком Радио стране.

Современные врачи лечат внушением на расстоянии по проволоке. Радио будущего сумеет выступить и в качестве врача, исцеляющего без лекарства.

И далее:

Известно, что некоторые звуки, как «ля» и «си», подымают мышечную способность, иногда в шестьдесят четыре раза, сгущая ее на некоторый промежуток времени. В дни обострения труда, летней страды, постройки больших зданий эти звуки будут рассылаться Радио по всей стране, на много раз подымая ее силу. И наконец — в руки Радио переходит постановка народного образования. Верховный совет наук будет рассылать уроки и чтение для всех училищ страны — как высших, так и низших.

Учитель будет только спутником во время этих чтений. Ежедневные перелеты уроков и учебников по небу в сельские училища страны, объединение ее сознания в единой воле.

Так Радио скует непрерывные звенья мировой души и сольет человечество.

Утес из будущего

Люди сидят и ходят, скрытые в пятнах слепых лучей светлыми облаками лучевого молчания, лучевой тишины.

Некоторые сидят на высоте, на воздухе, в невесомых креслах. Иногда заняты живописью, мажут кисточкой. Общества других носят круглые стеклянные полы и столы.

Другие шагают по воздуху, опираясь на посох, или бегают по воздушному снегу, по облачному насту на лыжах времени; большая дорога для ходьбы по воздуху, большак для толп небесных пешеходов, проходит над осями низких башен для скрученной в катушки молнии. По тропинке отсутствия веса ходят люди точно

по невидимому мосту. С обеих сторон обрыв в пропасть падения; черная земная черта указывает дорогу.
Точно змея, плывущая по морю, высоко поднявшая свою голову, по воздуху грудью плывет здание, похожее на перевернутое Гэ. Летучая змея здания. Оно нарастает как ледяная гора в северном море.
Прямой стеклянный утес отвесной улицы хат, углом стоящий в воздухе, одетый ветром — лебедь этих времен.
На крылечках здания сидят люди — боги спокойной мысли.
— Второе море сегодня безоблачно.
— Да! Великий учитель равенства, второе море над нами, нужно поднять руку, чтобы показать на него. Оно потушило пожар государств, лишь только к нему был приставлен рукав насоса, пожарной кишки. Это было очень трудно в свое время сделать.
Это была великая заслуга второго моря! В знак благодарности, вечно на одном из облаков отпечатано лицо человека, точно открытка знакомому другу.
— Борьба островов с сушей, бедной морем, окончилась. Мы равны морем, заметив его над головой. Но мы не были зорки. Песок глупости засыпал нас курганами.
Я сейчас курю восхитительную мысль с обаятельным запахом. Ее смолистая нега окутала мой разум точно простыней.
Именно мы не должны забывать про нравственный долг человека перед гражданами, населяющими его тело. Эту сложную звезду из костей.
Правительство этих граждан, человеческое сознание, не должно забывать, что счастье человека есть мешок песчинок счастья его подданных. Будем помнить, что каждый волосок человека — небоскреб, откуда из окон смотрят на солнце тысячи Саш и Маш. Опустим свой мир сваями в прошлое.
Вот почему иногда просто снять рубашку или выкупаться в ручье весной дает больше счастья, чем стать самым великим человеком на земле. Снять одежды — понежиться на морском песке, снова вернуть убежавшее солнце — это значит дать день искусственной по-

чи своего государства; перестроить струны государства, большого ящика звенящих проволок, по звукам солнечного лада.
Не надо быть Аракчеевым по отношению к гражданам своего собственного тела. Не бойтесь лежать голыми в море солнца. Разденем тело и наши города. Дадим им стеклянные латы от стрел мороза.
С другой стороны:
— С вами спички еды?
— Давайте, закурим снедать.
— Сладкий дым? Клейма Гзи-Гзи?
— Да, они дальнего происхождения из материка А. Превосходный съедобный дым, очаровательны голубые пятна неба, тихая звездочка, в одиноком споре спорящая с синим днем.
Прекрасны тела, освобожденные из темниц одежд. В них голубая заря борется с молочной.
Впрочем, уравнение человеческого счастья было решено и найдено только тогда, когда поняли, что оно вьется слабым хмелем около ствола мирового. Слышать шелест рагоз, узнавать глаза и душу своего знакомого в морском раке, вбок убегающем, с поднятой клешней, не забывая военного устава,— часто дает большее счастье, чем все, что делает славу и громкое имя, например, полководца.
Счастье людей — вторичный звук; оно вьется, обращается около основного звука мирового.
Оно — слабый месяц около земель вокруг солнца, коровьих глаз нежного котенка, скребущего за ухом, весенней мать-мачехи, плеска волн моря.
Здесь основные звуки счастья, его мудрые отцы, дрожащая железная палочка раньше семьи голосов. Проще говоря, ось вращения. Вот почему городские дети в разлуке с природой всегда несчастливы, а сельским оно знакомо и неразлучно, как своя тень.
Человек отнял поверхность земного шара у мудрой общины зверей и растений и стал одинок: ему не с кем играть в пятнашки и жмурки; в пустом покое темнота небытия кругом, нет игры, нет товарищей. С кем ему баловаться? Кругом пустое нет. Изгнанные из туловищ души зверей бросились в него и населили своим законом его степи.
Построили в сердце звериные города.

Казалось, человек захлебнется в углероде себя.
Его счастье было печатный станок, в котором для счета не хватало знаков многих чисел, двоек, троек; и прекрасная задача без этих чисел не могла быть написана. Их уносили с собой в могилу уходящие звери, личные числа своего вида.
Целые части счета счастья исчезали, как вырванные страницы рукописи. Грозил сумрак.
Но свершилось чудо: храбрые умы разбудили в серой святой глине, пластами покрывавшей землю, спящую ее душу хлеба и мяса. Земля стала съедобной, каждый овраг стал обеденным столом. Зверям и растениям было возвращено право на жизнь, прекрасный подарок.
И мы снова счастливы: вот лев спит у меня на коленях, и теперь я курю мой воздушный обед.
Закон множеств царил в этой бочке сельдей больших городов. Туго набитая человеческая селедка принимала очертания своих соседей. Сосед давил соседа в этом могучем бочонке, полном небоскребов, и на боку одной сельди, быстро носившейся с бумагами по городу, выдавливалась худая с острой хищной челюстью голова ее соседа.
Я узнавал своих знакомых, выдавленных под мышками быстро пробежавшего молодого человека: там они ухитрились отпечатать свои лица. И вообразите: на одной пятке оказалось отпечатанным лицо одной прехорошенькой девушки. Не удивительно, что я любил идти сзади и следить за мелькающей пяткой и смеющейся головкой девушки на ней. Итак, закон бочонка работал над населением города, туго набитого духовными селедками с зелеными вытянутыми лицами и впалыми глазами. Странное дело: туловища этих людей торопились, спешили по улицам, бегали по делам, в то время как рядом громадно и неподвижно, с мертво-раскрытым ртом, лежали их души страшной тяжестью, оправдывая слова одного мудреца: «Не надо светописца, не надо художника там, где теснота: роковым образом вы оставите ваше лицо в его зрачках, на голенище его сапог, на рукаве локтя. Это зовется законом сельди больших городов». Но вообразите прекрасный лоб мыслителя, узнающего свое лицо на пятке пробегающего мальчишки!

Он остановится в недоумении на углу улицы и долго будет махать палкой! На большие здания, с золотыми прямоугольными ночными очами, надвигался первобытный лес другой правды. Дикий, прекрасный лес новых видений надвигался на человечество, лес сновидений, недоступный старому железу. Уравнения нравов, уравнения смерти, сверкающим почерком, висели в воздухе среди больших улиц. Скитаться среди огромных стволов. Хвататься за невидимые суки воздушных деревьев, вставших среди города. Одиноким зверем в множестве листьев скользить среди стволов второго мира, дремучей чащей обступившего первый. Люди стали хитры и осторожны и, бессильные победить судьбы всего мира, стали относиться к ней как к мертвой природе.

Грибок жрецов, ведущих куда-то милостью чисел по закону рождения, быстро опутывал человечество, и слова их проповеди звучали набатом дальнего пылающего храма. Шест сетки был у меня. «Хорошо! — подумал я,— теперь я одинокий игрок, а остальные — весь большой ночной город, пылающий огнями,— зрители. Но будет время, когда я буду единственным зрителем, а вы — лицедеями».— Эти бесконечные толпы города я подчиню своей воле. Волнующий разум материка, как победитель, выезжающий из тупиков наречий, победа глаза над слухом, вихрь мировой живописи и чистого звука, уже связавший в один узел глаза и уши материка, и дружба зелено-черных китайских лубков и миловидных китаянок с тонкими бровями, всегда похожих на громадных мотыльков, с тенями Италии на одной и той же пасмурной стене городской комнаты, и ногти, любовно холимые славянкой, все говорило: час близок!

Не даром пришли эти божества — мотыльки Востока с кроткими птичьими глазами на свидание с небесными лицами Италии. Вернее — это черные мотыльки уселись на белые цветы лица. Золотые луковицы соборов, приседая на голубых стенах, косым столбняком рушились и падали в пропасть. Колокольни с высокими просветами клонились как перешибленный палкой и вдруг согнувшийся и схватившийся за живот человек или сломанный в нескольких местах колос.

Это сквозь живопись прошла буря; позднее она пройдет сквозь жизнь, и много поломится колоколен. Я простился с художником и ушел.

Лысый мерин через синее прясло глядит — хорошо, а? Так на море во время учебной стрельбы сначала блестит огонь, потом доносятся раскаты выстрела и наконец, долго спустя, подымается столб воды — весть того, что ядро долетело.

— Ну, что же это? что же это? — воскликнула Бэзи, хлопнув в ладоши.— Боже, как глупо! боже, как глупо!

В самом деле на Западе, северные откосы Монблана, с большого плоскогорья черным потоком камней ринувшиеся вниз, а выше — стеной подымавшиеся по отвесу, были искажены в суровой красоте столетних сосен правильным очерком человеческой головы. Как мухи, в вышине неба жужжали летчики и суровые тени в черных пятнах собрались на нахмуренный лоб пророка и черные, спрятанные под нависшими бровями глаза, похожие на чаши с черной водой. Это была голова Гаяваты, высеченная на северных склонах Монблана, вырезанная ножом великана художника.

В знак единства человеческого рода Новый свет поставил этот камень на утесах старого материка, а взамен этого, как подарок Старого света, одна из отвесных стен Анд была украшена головой Зардушта.

Голова божественного учителя была вырублена так, что ледники казались белой бородой и волосами древнего учителя, струясь снежными нитями.

—Этой каменной живописи натянуты паруса взаимности между обоими материками,— заметил Смурд.

— Паруса из множества людских сердец.

— Не правда ли, хороши эти пласты острого каменного угля, обработанные в черные глаза пророка? Говорят, что пастухи по ночам жгут из пламенной руды свои голубые костры, и тогда его глаза блещут гневом. Между тем столетние сосны были раскинуты на разных высотах лица.

— Боже, как глупо! Зачем портить природу? — недоумевала Бэзи.

— Если горы вторят гулким раскатом, отчего не искать каменных созвучий лицу?

— Друзья, знаете что, проведемте ночь на поверхности сурового глаза Гаяваты! Едва заметная тропинка ведет к нему.
— Я согласна! Ура, за мною бегом! — Этот голос был Бэзи. Но уже с третьего шага молодая девушка присела и произнесла: — Здесь чертовски острые камни. Я не понимаю, как можно идти? Разве стать козой? Что делать?
— Нет, нет, мы провели бы ночь как боги сумрака там наверху! Каменные терновники гор в уме мы бы венцами возложили на седые и черные кудри.
— Я полагаю, что хороший ужин внизу стоит воображаемых богов в воображаемых кудрях.
— Внизу есть сливки!
— Целый кувшин сливок.
— И чай, дивный золотой чай, старого душистого настоя! Что делать?
— И все же, и все же — вперед!
— Когда взойдет солнце, мы огласим горы древними криками и предложим святому бычка.— Закури солнце!
— Молодые боги, не слишком ли тяжелая участь — мерзнуть и дрожать? — А там внизу настоящие сливки.
— Зашейте рты!
— На чем ты сидишь?
— На мертвеце. Он шел, боясь смерти, и умер.
Высокомерно пышны щеки дитяти. Мать печальна. Угол здания каменного зверя спереди,— воздуха сзади вонзен в толпу. Дом этот — лоб слона.
Трубы незримых голосов приклеены к нему, как свернутые рукописи ученого, идущего учить.
Три черных знака Е, И, Т, чернеют голосом другой воли. Т, упав на развалины, темнее воли, как листья других столетий.
Завитки улитки, кривые близорукие глазки слона на доске лица, яйцевидной стены здания. Плачет ли оно? Окон ливень, жилой водопад.
Ножик плоскостей, чешуйчатое пространство. Панцирь досок залит дождем теней.
Толпы или прямоугольные глыбы?
Лезут, тянутся, громоздятся.
На сером рубле подпись казначея — это подпись месяца.

Дикий запорожец-свет разрубил на камни ночные облака, или юноша из ряда серых плоскостей склонен трудолюбиво над рукописью?
Но там, за облаками, как увядший осенний лист, изгрызенный червями, лице.— Одетый одеждою площадей, Город встал и несет рукопись.
Мне понятно только первое слово из его свертка.
А на ремнях, на горбу пустой и дикий небоскреб темнеет мертвыми дырами окон точно ранец.
Город съеден червями окон, как осени лист.

[*1914—1915*]

«На границе грядущего с беспредельным...»

Литература красоты одна лишь спасет.

Ф. М. Достоевский

Русская фантастика уходит своими корнями в древность незапамятную, во времена доклассовых, дообщинных отношений. Далекий наш пращур уже задумывался не только над хлебом насущным, но и над вопросами космогонии. В старинном стихе о Голубиной (Голубинной) книге прямо ставятся вопросы:

От чего зачался наш белый свет,
От чего зачался сонцо праведно[1],
От чего зачался светел месяц,
От чего зачалася заря утрення,
От чего зачалася темна ночь,
От чего зачалися часты звезды.

Под стать этим вопросам и богатырство героев эпических сказаний: они облачаются небесами, подпоясываются зорями, застегиваются звездами!

Истинным кладезем фантастики стала волшебная сказка. Ее герои одолевают просторы на ковре-самолете, заглядывают в чудесное говорящее зеркальце — как бы прообраз современного телевидения, оживляют умерших водою целящей и живой, восседают в алмазном вертящемся дворце, из окон коего вся Вселенная видна. Не менее чудесны их взаимоотношения с казалось бы неумолимым Хроносом — Временем. Для одних сказочных персонажей оно растягивается, как тетива лука, для других сжимается, как шкура змеи на огне, или вовсе перестает существовать. И все-таки не эти многоразличные чудеса главное в сказке. Главное — поиски героем некоего тридевятого цар-

[1] По языческим поверьям славян, Солнце несло в себе мужское начало. *(Прим. сост.)*

ства, где явлено дивное согласие природы и человека, где вообще отсутствует зло. Чем заканчиваются волшебные сказки? Победою героя над силами тьмы, началом счастливой гармонии быта и бытия в его судьбе. В судьбе индивидуальной, поскольку счастье в сказке герою удается добыть только для себя самого.

С возникновением классового общества фантастике пришлось решительно перестроиться, обрести черты социальности, попытаться отыскать ключи для благоденствия не *одного* человека, но *всех* людей. Так родилась утопия, мечта о счастье всеобщем, о граде Китеже, Беловодье, воплотившая в себе народный идеал Правды [1].

Один из родоначальников научной фантастики не только в русской, но и в мировой литературе, философ и энциклопедист Владимир Одоевский, размышлял в «Психологических заметках»:

«При всяком происшествии будем спрашивать самих себя, на что оно может быть полезно, но в следующем порядке:

1-е, человечеству,

2-е, родине,

3-е, кругу друзей или семейству,

4-е, самим себе.

Начинать эту прогрессию наизворот есть источник всех зол, которые окружают человека с колыбели. Что только полезно самим нам, то, отражаясь о семейство, о родину, о человечество, непременно возвратится к самому человеку в виде бедствия».

Таков круг идей и образов, четко обозначенных творениями и авторов нашего сборника, и тех, кто в него не вошел. А среди невошедших можно назвать В. А. Левшина, И. В. Киреевского, Г. П. Данилевского, Н. А. Некрасова, М. С. Лескова, Л. Н. Толстого, И. Г. Гончарова, Н. Н. Златовратского, П. И. Мельникова (Печерского) и многих других мастеров. Полная антология русской дореволюционной фантастики составила бы не один и не два, а десятки томов.

Трудные, мучительные поиски идеала человека и общества были подытожены в романе Н. Г. Чернышевского «Что делать?» — первой русской социалистической утопии, созданной в казематах Петропавловской крепости в 1863 году.

Читатель вправе спросить: почему же до недавних пор исторический приоритет в развитии жанра научной фантастики безраздельно отдавался нашими литературоведами Западу? По этому поводу Е. П. Брандис писал: «Действительно, фантастов такого

[1] Подробнее об этом см. двухтомное исследование А. И. Клибанова «Народная социальная утопия в России». М., Наука, 1977—1978.

масштаба, как Жюль Верн или Уэллс, русская литература не выдвинула. Но, во-первых, фантастическая проза имеет множество разновидностей, включающих, иногда в полусказочной форме, социальные и технические идеи, обращенные к будущему, а во-вторых, школярское разграничение жанров заведомо сужает представление о месте и роли фантастики в общем литературном процессе. Исследования последних лет (работы А. Бритикова, В. Ревича, И. Семибратовой и др.) со всей очевидностью показали, что русская дореволюционная фантастика была куда более разветвленной и многоликой, чем утверждали иные литературоведы и критики, не вдаваясь в детальное изучение фактов».

Добавим: опровергнуть утверждения «иных литературоведов и критиков» помогли прежде всего произведения, впервые собранные воедино в сборниках «Взгляд сквозь столетия» и «Вечное солнце»[1]. Легко вообразить себе трудности работы составителей сборников, если первый «опыт биобиблиографии» по интересующему вопросу появился лишь недавно (см. В. Бугров, И. Халымбаджа. Фантастика в дореволюционной русской литературе. Опыт биобиблиографии. В сборнике «Поиск-83». Средне-Уральское книжное изд-во. Свердловск, 1983). В интереснейшей этой работе представлены 250 произведений 120 авторов, и создатели ее утверждают, что далеко не все направления удалось описать. Представляя читателям «биобиблиографию», Е. П. Брандис писал: «Вопреки вульгарным нигилистическим теориям Пролеткульта, требовавшим начинать все с нуля, советская научная фантастика вырастала на уже подготовленной почве, критически осмысливая наследие прошлого, но не пренебрегая им, впитывая все лучшее и плодотворное, что оставила старая русская фантастика, запечатлевшая и глубинные течения общественной мысли, и чаяния социального обновления».

Все лучшее и плодотворное... По существу, широкое знакомство с «фантастическим» наследием прошлого только начинается. И поневоле приходит на ум размышление нашего великого историка Карамзина: «Мы никогда не будем умны чужим умом и славны чужою славою: французские, английские авторы могут обойтись без наших похвал; но русским нужно по крайней мере внимание русских».

[1] Взгляд сквозь столетия. Русская фантастика XVIII и первой половины XIX вв. Сост. и коммент. В. Гуминского. Предисловие А. Казанцева. Изд-во «Молодая гвардия». М., 1977.

Вечное солнце: Русская социальная утопия и научная фантастика второй половины XIX — начала XX века. Сост., предисловие, коммент. С. Калмыкова. Изд-во «Молодая гвардия», М., 1979.

Открывает сборник «Ученое путешествие на Медвежий остров» Осипа Сенковского. Произведение это появилось в 1833 году в книге «Фантастические путешествия Барона Брамбеуса», было восторженно встречено читателями и... бранью критики. Как так? Еще не утихла скорбь по поводу кончины двух всемирно известных ученых, палеонтолога Жоржа Кювье и основателя египтологии Жана-Франсуа Шампольона-младшего, а уж Барон Брамбеус позволяет себе высмеивать их! Это была не первая (и не последняя) литературная мистификация Сенковского. Ученый-востоковед с европейской известностью, знаток древних языков, блистательный журналист, он был одной из самых противоречивых личностей эпохи. Издавая популярный журнал «Библиотека для чтения», «барон» помещал в ней рядом с творениями Пушкина, Жуковского, Вяземского ничтожные писания «корифеев вульгарного романтизма» — так сказать, все на продажу. «Пишите весело,— говаривал он,— давайте только то, что общественный желудок переваривает». Казалось бы, литературный фат, срыватель мимолетных удовольствий... Но почему его «Сказку буланого коня» расхваливал Пушкин? Почему о его деятельности одобрительно отзывались Белинский, Чернышевский, Писарев, а Герцен в шутках «Мефистофеля николаевской эпохи» увидел «принужденные шутки человека, сидящего за тюремной решеткой»?..

Общество тех времен увлекалось «месмерическими опытами» на основе «животного магнетизма» и столоверчением, ходили настойчивые слухи о комете Галлея (или Беллы, или Вьелы), коя намерена «сделать удар в нашу бедную Землю» и т. д. Отголоски этих слухов и этих увлечений присутствуют и в «Ученом путешествии на Медвежий остров», рассказывающем о поездке по Сибири двух всемирно известных деятелей науки. Но время, как известно, все ставит на свои места, и ныне мы замечаем в первую очередь не иронию, пародию и самопародию повести, а изображенные в ней картины гибнущего человечества. Да, вот такие случаются в литературе «перевертыши». В наш термоядерный век произведение Сенковского вдруг предстает как одна из первых в мировой литературе *антиутопий*. Описание катастрофы, где сама планета сдвинулась в мировом пространстве так, что на месте прежнего Запада стал Север, вызывает в воображении отнюдь не удар кометы «в нашу бедную Землю». Сенковский, как беспощадный патологоанатом, не боится приблизить к нам мертвое тело Земли: волнуемые на поверхности воды странного вида предметы, темные, продолговатые, походившие издали на короткие бревна черного дерева, оказываются трупами воинов противоборствующих армий. Враги еще истребляли друг друга, когда грянула *всеобщая* катастрофа и

умертвила тех и других, умертвила, перемешала, выбросив на скалу жалкий манускрипт — «Высокопарное слово, сочиненное накануне битвы для воспламенения храбрости воинов». Весьма современно и поучительно именно теперь, когда человечество начало осознавать возможность самоуничтожения...

Там же, в Сибири, разворачиваются события еще двух «фантастических путешествий», представленных в настоящем сборнике. Их авторы—Константин Константинович Случевский (1837—1904) и Петр Людовикович Драверт (1879—1945). Оба сочиняли и стихи, и прозу, но на этом сходство и кончается. Случевский, сын сенатора, сам дослужился до высших придворных званий, получил степень доктора философии в Гейдельберге. Драверт, потомок обрусевшего наполеоновского офицера, детство и юность провел в Вятке, где в ту пору прозябало немало ссыльных революционеров. Он и сам, учась в Казанском университете, угодил в ссылку за причастность к освободительному движению — сначала в Пермскую губернию (1901 г.), затем в Якутию (1905 г.). «Страна-холодырь» стала его подлинной родиной, он изъездил Якутию вдоль и поперек, открыл несколько месторождений полезных ископаемых.

Редактор «Правительственного вестника» К. Случевский при всех своих чинах и регалиях был прогрессивно настроен, общался с Достоевским, Тургеневым, Нестором Котляревским и, что немаловажно, понимал главный изъян буржуазной позитивистской науки и техники. «Наука эта быстро выявила свою бескрылость и ограниченность, чуждый полета мечты механический материализм,— отмечает Вс. Сахаров в статье, предваряющей недавно появившийся однотомник избранных стихотворений поэта.— Случевский смело вводит в свою поэзию образы машин, работающих двигателей, проводов, теорию Дарвина, термины геологии и этнографии, вслед за астрономами и физиками говорит о «великой дробности» расширяющейся Вселенной, о необходимости взглянуть на мир и человека в телескоп и микроскоп».

Повесть «Капитан Немо в России» — это не только резкая отповедь чужеземцам, которые от века считали Россию «царством мрака и сальных свечей», но и проникновенная картина северных просторов, своеобразное завершение трехтомного географо-этнографического труда К. Случевского «По северу России» (1888).

В «Повести о мамонте и ледниковом человеке» сбывшихся технических идей вроде бы нет. «Совершенно фантастическая история» сильна другим. Во-первых, резкой сатирой на правительственную администрацию, во-вторых, гимном таким подвижникам, как доктор Сабуров, решивший оживить нашего далекого пращура.

И опять эту повесть можно рассматривать как антиутопию, как своеобразный «перевертыш»: за последнее десятилетие на Западе добровольно согласились себя заморозить уже несколько тысяч людей, желающих проснуться через пятьдесят, сто и более лет. В капсулах, заполненных жидким азотом, они ждут, когда всемогущая медицина будущего снова вдохнет в них жизнь, разум, здоровье. Для них ледниковый период еще не закончен, как и для замерзшего аборигена в повести якутского ссыльного.

Но вернемся в 30-е годы прошлого столетия, к тревожной эпохе после разгрома восстания декабристов. Тревога эта коснулась и представлений о грядущем. Петербургское общество наводнилось шарлатанами, гадалками, побасенками об отживших мертвецах, россказнями о «пророчествах» Нострадамуса и самозваного графа Калиостро. Снова заходила по рукам «Абевега русских суеверий, идолопоклоннических жертвоприношений, свадебных простонародных обрядов, колдовства, шеманства и проч.», впервые напечатанная в 1786 году. 17 декабря 1833 года Пушкин записал в дневнике: «В городе говорят о странном происшествии. В одном из домов, принадлежащих ведомству придворной конюшни, мебели вздумали двигаться и прыгать. Дело пошло по начальству: князь В. Долгорукий нарядил следствие, и один из чиновников призвал попа, но во время молебна стулья и столы не хотели стоять смирно. Об этом идут разные толки».

Неудивительно, что появление гоголевской повести «Нос» одними было воспринято как «пересказ общеизвестного анекдота», другими отвергнуто «по причине ее (повести. —*Ю. М.*) пошлости и тривиальности». И только А. С. Пушкин отметил в примечании к первопубликации «Носа» (1836 г.) в «Современнике»: «...мы нашли в ней так много неожиданного, фантастического, веселого, оригинального...»

Справедливости ради отметим: соединение чудесного и повседневного, фантастического и социально-бытового для обличения «мерзостей жизни» еще до Гоголя широко использовалось Владимиром Федоровичем Одоевским (1803—1869). Теперь окончательно установлено, что «Нос» в мельчайших деталях напоминает «Сказку о мертвом теле, неизвестно кому принадлежащем». Энциклопедически образованный Одоевский был первопроходцем во многих областях. Его роман «Русские ночи», соединивший науку и искусство, — предтеча духовных поисков утопических социалистов, петрашевцев, романов Достоевского, наконец, «Доктора Фаустуса» Томаса Манна и многих других произведений современности.

Не менее значительна его утопия «4338-й». Мотивы сатиры и гротеска здесь приглушены, хотя легко распознаются намеки и на «месмеризм», и на «падение Галлеевой кометы», и на борьбу литературных «аристократов» с «торговым» направлением (Одоевский терпеть не мог О. Сенковского). Но во всей мощи в утопии проявился и провидческий дар мыслителя. В описываемом им будущем электроходы несутся по туннелям, проложенным под Каспийским морем и даже «насквозь земного шара». Работают магнетические телеграфы, посредством которых живущие на далеком расстоянии разговаривают друг с другом. «Воздушные гальваностаты», электрические газосветные лампы, система теплохранилищ для управления климатом, что тянется почти по всему северному полушарию, — прообраз современных газопроводов. Всех чудес не перечесть, тем более что кое-что из предсказанного еще ждет своего осуществления: обогрев всей Камчатки теплом вулканов; снабжение нашей планеты лунными ресурсами, или «разными житейскими потребностями, чем отвращается гибель, грозящая Земле по причине ее огромного народоселения...»

Подчеркнем: и ныне удивляющие читателя предсказания и проекты Одоевского обнародованы *за четверть века* до первых романов Жюля Верна и *за полвека* с лишним до Уэллса.

В своей утопии Одоевский не зря изображает Россию будущего столь процветающей обителью поэзии и философии. Он верил, что «чудная понятливость русского народа, возвышенная умозрительными науками, могла бы произвести чудеса». Завершая «Русские ночи», он провозглашал на весь мир:

«Не бойтесь, братья по человечеству! Нет разрушительных стихий в славянском Востоке — узнайте его, и вы в том уверитесь, вы найдете у нас частию ваши же силы, сохраненные и умноженные, вы найдете и наши собственные силы, вам неизвестные, и которые ~~по несчастию от разделе с вами~~».

Несколько наособицу стоят в нашем сборнике фантастические повести «Упырь» Алексея Константиновича Толстого (1817—1875) и «Облако» Константина Сергеевича Аксакова (1817—1860). Оба произведения как бы подводят итог столь распространенной в 20—30-х годах «романтической» повести («Пиковая дама» Пушкина, «Штосс» Лермонтова, «Косморама» Одоевского, «Ночь перед рождеством» Гоголя и т. д.). Такого рода сочинения имели широкое хождение и на Западе. В них преобладала «поэзия роковых тайн и ужасов» — старинные замки, привидения, оживающие портреты, вмешательство ирреальных сил. Читатель вынужден постоянно выбирать между бытовым и сверхъестественным, но ин-

тересно, что конфликта в его сознании между чудесным и рациональным не возникает. Белинский нашел в «Упыре» все признаки «еще слишком молодого, но тем не менее замечательного дарования, силу фантазии и мастерское изложение». Действительно, «сюжетная дерзость»— сильнейшая сторона фантастической повести А. К. Толстого. А изящная (и вполне материалистическая) идея «Облака» неожиданно «откликнется» через столетие и в «Солярисе» Станислава Лема (разумный океан), и в «Черном облаке» Ф. Пола и П. Корнблата (разумное облако).

Если «Упырь» — повесть, в какой-то мере пародирующая «романы ужаса», то применительно к научно-художественной фантазии «За пределами истории (за миллионы лет)» следует говорить о новаторстве. Это первая в мировой литературе пассеистическая (обращенная в прошлое) утопия, изображающая первобытного человека. Романы на эту тему братьев Рони — «Хищник-гигант», «Борьба за огонь»— появятся много позднее.

Создатель этой утопии Михаил Ларионович Михайлов (1829—1865) — известный поэт и переводчик, революционер-демократ, сподвижник Н. Г. Чернышевского и А. И. Герцена. 14 сентября 1861 года он был арестован царской охранкой по обвинению в написании прокламации «К молодому поколению» и приговорен к вечному поселению в Сибирь после отбытия двенадцатилетней каторги. 14 декабря того же года (в годовщину восстания декабристов на Сенатской площади) Михайлова на «позорной колеснице» вывезли из Петропавловской крепости и препроводили на Сытную площадь. Палач поставил узника в арестантской одежде на колени и переломил шпагу (вскоре этот позорный фарс будет повторен с Чернышевским). В Сибири Михайлов встретится с Николаем Гавриловичем, будет читать другу и наставнику «свои переводы иностранных поэтов и сцены из быта первых людей» (Н. Шаганов. Воспоминания. СПБ., 1907). Не вынеся ужасов каторги, М. Л. Михайлов в 1865 г. скончался. Утопия, как и многие другие сочинения, была опубликована только после его смерти.

С идиллическими сценами жизни наших далеких предков, воспроизводимыми в утопии Михайлова, перекликается та обстановка на планете, куда попадает герой «Сна смешного человека» Ф. М. Достоевского (1821—1881). «Сон» — завершение «фантастической триады» из «Дневника писателя». Триада воспроизводит подобие вертикального разреза мировой жизни (подземный мир—«Бобок»; земной—«Кроткая»; космический—«Сон смешного человека») и напоминает Вселенную в древнерусской литературе (ад—земное бытие—рай). Писатель не касается общественного устройства и технических особенностей вымышленной им цивилизации,

где люди понимают, как в сказках, язык деревьев и животных, пользуются благами первозданно чистой природы. Главное для Достоевского — проповедь всеобщей гармонии, вселенского братства.

«Фантастическая триада», равно как и все творчество Достоевского, оказала сильнейшее влияние и на русскую, и на мировую литературу. Эпизод из «Сна смешного человека», где герой несется в пространстве далеко от земли и свершается все так, как всегда во сне, когда перескакиваешь через пространство и время, через законы бытия и рассудка и останавливаешься лишь на точках, «о которых грезит сердце», другой гениальный писатель, Михаил Булгаков, положил в основу художественной концепции романа «Мастер и Маргарита». А фразу «А наша-то жизнь, не сон?» из финала вполне можно поставить эпиграфом к рассказу «Между жизнью и смертью» Алексея Николаевича Апухтина (1840—1893), одного из «последних романтиков» пушкинской ориентации. Рассказ Апухтина написан под сильнейшим воздействием Достоевского. Здесь отправная точка — та сцена в «Сне смешного человека», где герой как бы ослеплен, онемел и лежит «на чем-то твердом», ничего не видит и не может сделать ни малейшего движения. Этот прием позволил Апухтину создать злую сатиру на светское общество, перемежающуюся тонко прописанными картинами природы, деревенской жизни, философскими размышлениями. «Между жизнью и смертью» уже обрисовывает в будущем «Смерть Ивана Ильича» Льва Толстого в реалистической прозе и лучшие рассказы Рэя Бредбери — в фантастической.

Знал ли К. Э. Циолковский, скромный преподаватель арифметики и геометрии в начальном училище заштатного городка Боровска, русскую фантастику? Безусловно. Юношей он три года провел в Москве, занимаясь самообразованием в Румянцевской и Чертковской библиотеках, куда неукоснительно доставлялось по одному экземпляру всех изданий, выходящих в России. Так что будущему ученому и фантасту было из чего выбирать.

В Боровске тридцатилетний Циолковский создает свое первое законченное литературное произведение — фантастическую повесть «На Луне» (1887 г.). Уже здесь в полной мере проявляется его талант писателя, популяризатора, ученого.

Константин Эдуардович «осмелился объявить» Луну безжизненным мертвым небесным телом (не забудем: вслед за В. Ф. Одоевским!). Созданная им картина мало в чем противоречит совре-

менным научным представлениям. Показательно, что некоторые его догадки и предположения подтвердились только в нашем веке — к примеру, характер нагревания и охлаждения лунной поверхности.

Герои повести «На Луне» очутились там во сне. До сих пор остается загадкой, почему Циолковский не предпочел ракету. Ведь четырьмя годами раньше в монографии «Свободное пространство» (1883 г.) он впервые сформулировал принцип реактивного движения для свободного пространства.

Для своего времени повесть «На Луне» была явлением необычайным. Не зря ее опубликовал в своем журнале «Вокруг света» (а затем и отдельным изданием) Иван Дмитриевич Сытин, которого по праву можно назвать «просветителем всея Руси». Так рядом с именами Редьярда Киплинга, Виктора Гюго, Эдгара По, Джека Лондона, Жюля Верна в 1893 году впервые встало имя Циолковского.

Вдохновленный литературным успехом, молодой автор пишет три обширных научно-фантастических труда — «Изменение относительной тяжести на Земле» (1894), «Грезы о Земле и небе и эффекты всемирного тяготения» (1895), «Вне Земли» (в 1896 г. было закончено 9 глав). Освоив мысленно нашу планету и Луну, он приглашает читателя в странствия по Солнечной системе. Эффект присутствия при этом воистину необычайный. Даже теперь трудно отделаться от ощущения, что автор как бы ведет репортаж с борта космического корабля. Не зря Юрий Алексеевич Гагарин называл Циолковского первокосмонавтом прошлого века.

В литературе, как и в науке, множество странствующих идей и сюжетов. Но при этом существуют еще и понятия приоритета, первоидеи, первосюжета. А таких приоритетных находок у Циолковского — тысячи! Мимоходом, легко, играючи, как и положено гению, он высказывает одну из самых глубоких мыслей, которая станет впоследствии краеугольной в трудах наших отечественных «космистов» — В. А. Вернадского, А. Л. Чижевского, Н. В. Бугаева, Н. Г. Холодного и других. Это мысль о человечестве как едином существе, об ограниченности на планете запасов воздуха, почвы, даже солнечной энергии. Об ответственности каждого из нас за бессмертие человеческого рода, бессмертие, обеспечить которое удастся не иначе как расселившись по Галактике, когда «через десятки миллионов лет ослабнет сияние Солнца».

Циолковский угадал и революцию 1917 года, и учреждение Организации Объединенных Наций в 1945 году, и многое другое. Однако секрет художественного воздействия — не только в пред-

угаданном. Книги его овеяны поэтикой космогонических тайн, занимавших лучшие умы прошлого.

Одним из самых ревностных почитателей идей Циолковского был народоволец Николай Александрович Морозов (1854—1946). Судьба его фантастична. Еще юношей он вел революционную пропаганду, преследовался охранкой, эмигрировал, встречался в эмиграции с Карлом Марксом, по возвращении в Россию примкнул к террористическому крылу организации «Земля и воля». В 1881 году его приговорили к пожизненному заключению, и он провел в тюрьме около четверти века. Среди многочисленных трудов Морозова, созданных в Шлиссельбургской крепости, выделяется книга «Периодические системы строения вещества», в которой содержится предвидение основных фактов атомной физики. По мнению Циолковского, Николай Александрович «очевидно» узрел, чем все это грозит человечеству, испугался атомного чудовища и... остановился, отложил развитие нечеловеческой идеи превращения материи в энергию. Первым Морозов выдвинул гипотезу о космическом, или межзвездном, магнитном поле слабой напряженности — за четверть века до Ферми (подробнее см.: А. Л. Чижевский. Вся жизнь. Изд-во «Советская Россия». М., 1974). Ему принадлежит и первое в отечественной литературе описание состояния невесомости (1882 г., рассказ «Путешествие в мировом пространстве»).

Провидческий дар ученого — он был астрономом, астрофизиком, историком — сказался и в публикуемой «научной полуфантазии», извлеченной нами из сборника «На границе неведомого», который был написан «для развлечения товарищей по заточению». Перекликаясь с Циолковским, автор создает свою светлую космическую мелодию: «Сознательная жизнь наполняет всю Вселенную, она мерцает и горит в каждой светящейся звездочке, и в тот момент, когда мы смотрим на ночное небо, миллионы мыслящих существ встречаются с нами на каждой звезде своими взорами и из бесконечной дали мироздания посылают нам свой братский сочувственный привет». Пройдут многие годы, человечество переживет апокалипсис мировых войн, и вновь заэвучит мелодия космического братства — в «Туманности Андромеды» Ивана Ефремова, в стихах Николая Заболоцкого, чутко внимавшего «Пифагорову пенью светил».

Среди крупных писателей начала XX века увлечение жанром фантастики наиболее заметно у В. Я. Брюсова и А. И. Куприна.

Валерий Яковлевич Брюсов (1873—1924) известен скорее как поэт-символист и переводчик, автор исторических романов «Огнен-

ный ангел» и «Алтарь победы», однако следует отметить и его фантастический роман «Гора Звезды», драматические сцены «Земля», повесть «Первая междупланетная», рассказы «Восстание машин» (1908) и «Мятеж машин» (1914).

Антиутопия «Республика Южного Креста» (1904—1905) продолжает тему «Города без имени» В. Ф. Одоевского, где была жестоко высмеяна теория родоначальника утилитарной морали Иеремии Бентама. Английский правовед свято верил, что «польза есть единственное основание нравственности и единственный закон для всех действий человека». Но если у Одоевского терпит крах небольшая колония поселившихся на неприступном утесе, то Брюсов показывает крах многомиллионного государства, где безраздельно господствует дух рационализма, «казарменного равенства», где все нормировано до мельчайших подробностей, включая одинаковую одежду и пищу. «И эта демократическая внешность прикрывала чисто самодержавную тиранию»,—ставит социальный диагноз автор, а мы поражаемся точности его предсказания. Господство монополий превращает Республику в «величайший и отвратительнейший бедлам».

Обличенйю безраздельной власти капитала, бездуховности торгашества посвящена и научно-фантастическая повесть Александра Ивановича Куприна (1870—1938) «Жидкое солнце». Главное в ней — не идея концентрации солнечной энергии, а идея моральной ответственности ученого перед обществом за свои открытия. Гениальный изобретатель Чальсбери хочет облагодетельствовать весь мир, залить его потоками золотого солнечного сияния. Но беда в том, что в нем самом очень заметна нравственная недостаточность, выражающаяся в сознании им своей элитарности. По забывчивости ученого (а может, по злому умыслу), обещанные человечеству потоки солнечного сияния обращаются в «огромное, как вселенная, золотое, огненное пламя», по существу, в термоядерный взрыв. И что из того, что «прозревший» Чальсбери обличает «полишинелей-миллиардеров», «кучку негодяев», готовых употребить жидкое солнце «на пушечные бомбы и снаряды безумной силы»! Ведь и сам лорд пользуется услугами именно таких полишинелей — благообразных банкиров Мааса и Даниэльса. А. И. Куприн оказался провидцем. Изобретение атомной и нейтронной бомбы, лазерного оружия, перемещаемого пентагоновскими маньяками в космоземное пространство, подтвердили самые мрачные опасения автора «Жидкого солнца».

И все же А. И. Куприна не упрекнешь в пессимизме. Писатель верил в победу светлого начала в человеке над темным, злым. В рассказе «Тост» (1906) Земля XXX столетия показана

А. И. Куприным как союз свободных людей, преодолевших болезни, подчинивших себе неистощимую магнитную силу планеты, поддерживающих постоянную связь с жителями других миров, познавших «целые бездны мировых тайн», «бесконечность и всесильность знания».

«Марсианская эпопея» в истории литературы и науки ни по объему, ни по занимательности не уступает эпопее лунной. Спутники Фобос и Деймос открыл «на кончике пера» Иоганн Кеплер. Их довольно точно описал — опять-таки не видя! — Джонатан Свифт. Джованни Скиапарелли обнаружил на Марсе «каналы» — происхождение этих линий не выяснено до сих пор.

Посвящено Марсу и самое значительное фантастическое произведение начала XX столетия — роман «Красная звезда» Александра Александровича Богданова (1873—1928), философа, экономиста, естествоиспытателя. Богданов — литературный псевдоним, настоящая фамилия писателя была Малиновский. Видный деятель РСДРП, он тесно общался с В. И. Лениным, хотя и расходился с ним по ряду философских вопросов. После революции Богданов возглавлял первый в мире Институт переливания крови, где и погиб после неудачного опыта.

В мировой литературе роман «Красная звезда» едва ли не последняя классическая утопия. По богатству предвиденного и угаданного она превосходит не только «Борьбу миров» Г. Уэллса, но и многие современные романы. Не менее оригинальны разрабатываемые автором вопросы «космической этики», которые предстоит решать в грядущем Союзу миров. Призыв Достоевского «Главное — люби других, как себя» Богданов переосмысляет для ситуаций кризисных, которые стали главной приметой нашего переменчивого времени. Вспомним, как герои книги Богданова обсуждают предложение математика Стэрни «безболезненно» и «незаметно» уничтожить все человечество. Подавляющее большинство отвергает чудовищный замысел. Посягать на прекрасный океан разума преступно, нельзя собственные затруднения и опасности взваливать на других.

Завершают сборник утопические наброски Велимира Хлебникова (1885—1922), известного поэта-символиста, затем футуриста, принявшего полушутовской обряд посвящения в «Председатели Земного шара». Как и другие талантливые поэты (Есенин, Маяковский, Блок), Хлебников чувствовал удары волн революционной бури в двери старого мира. И попытался распознать образы мира нового. Он «угадал» и генную инженерию и «дороги для ходьбы по воздуху», и многие другие диковины, прежде всего архитектурные. Но, пожалуй, самое важное — это то, что автор-

ские поиски были перевоплощением фольклорных сивок-каурок и ковров-самолетов, иными словами, в воображении поэта-утописта и в истории фантастики сомкнулись тысячелетия.

Итак, забота о земной и вселенской гармонии, прежде всего социальной, о красоте человеческих отношений плюс оригинальность замысла и воплощения. К двум этим коренным свойствам русской литературы Мечты добавим третье. Оно, без сомнения, замечено всеми читателями сборника: речь идет о прицельном взгляде в будущее, о способности разглядеть в нем (намного опережая современников) отдельные детали, контуры, черты.

«Одно только время может удостоверить в справедливости описываемого события,— размышлял А. Ф. Вельтман. Его романы и повести, в том числе фантастические, где впервые, более чем за полвека до Г. Уэллса, была упомянута «машина времени», хорошо знала читающая публика России XIX века.— Воображение человека не создавало еще вещи несбыточной; что не было, чего нет, то будет. Обычаи, нравы и мнения людей описывают параболу в пространстве времен, как кометы в пространстве Вселенной. Если б человек был бессмертен, то в будущем он встретил бы прошедшее, ему знакомое».

Иными словами: как бы далеко ни отстояли друг от друга стволы разных исторических эпох и явлений, корни их тесно переплетены в земле.

Человек смертен. Но бессмертно человечество, которому «не мешает знать те мировые силы», что могут его погубить. В распознании этих чужеродных разуму сил велика роль научной фантастики, хаосу и разрушению противопоставляющей гармонию и красоту.

Юрий Медведев

Примечания

Настоящий сборник фантастической прозы включает в себя произведения XIX — начала XX столетия. В конце каждого произведения приводится в квадратных скобках дата его создания или, если таковая неизвестна, первопубликации (авторская датировка дается без скобок).

Осип Сенковский

Ученое путешествие на Медвежий остров

Текст печатается по изданию: Взгляд сквозь столетия. Русская фантастика XVIII и первой половины XIX века. М., «Молодая гвардия», 1977, с. 130—214.

Стр. 11. *Эпиграфы* — придумал сам Сенковский.

Стр. 14. *Потопы... в одном Париже было их четыре!..* — Это установил геолог и палеонтолог Александр Броньяр (1770—1847), изучавший совместно с Ж. Кювье третичные отложения Парижского бассейна.

Обербергпробирмейстер — горный мастер (нем.).

Стр. 15. *Гульянов* Иван Александрович (1789—1841) — русский египтолог.

Стр. 17. *Египетский мост* — был воздвигнут через Фонтанку; его чугунные ворота испещряли металлические иероглифы. Мост украшал Петербург 80 лет, пока в 1905 году не обрушился под тяжестью отряда кавалерии.

Берд К. И. — владелец чугунолитейного завода в Петербурге.

Стр. 18. *Паллас* Петр-Симон (1741—1811) — немецкий естествоиспытатель. Был приглашен в Россию, где по поручению Петербургской академии наук совершил несколько путешествий от Урала до Китая, а также на Кавказ.

Гмелин Иоганн-Георг (1709—1755) — немецкий ботаник, совершил под руководством Витуса Беринга путешествие по северу России. Автор трудов «Путешествие по Сибири» и «Флора Сибири».

Стр. 19. *Клапрот* Генрих Юлий (1783—1835) — немецкий востоковед, автор сочинений по истории и этнографии Азии и Кавказа. Известен также как автор книги на французском языке о Сибири, вышедшей в 1823 г.

Конфуций (ок. 551—479 до н. э.)—древний китайский философ.

Плано Карпини (1182—?) — итальянский путешественник, побывавший у монгольского императора. Среди правдивых описаний в его сочинениях содержатся и вымыслы о мифических существах, однако упоминаний о «любопытной пещере» с надписями на языке, «которым говорили в раю», нет.

о. Иакинф Бичурин (1777—1853)—русский китаевед.

Стр. 27. *Шейхцер* И.-Я. (1672—1733)—швейцарский естествоиспытатель, веривший в гибель древних организмов от «всемирного потопа».

Стр. 29. *...могущественной Барабии* — фантастическая страна выдумана О. Сенковским по названию Барабинской степи.

Стр. 34. *Гом* Эверард (1756—1832) — английский анатом и хирург.

Букланд Вильям (1784—1856) — английский геолог и палеонтолог.

Гомбольдт Александр (1769—1859) — немецкий натуралист и путешественник.

Стр. 68. *Вертеп* — здесь: пещера.

Стр. 69. *Персть* — земля, прах.

Стр. 73. *Кислотвор* (устар.) — кислород.

Стр. 83. *Просяклою* — т. е. пронизанною.

Стр. 85. *Десть* — мера бумаги: 24 листа.

Николай Гоголь

Нос

Публикуется по изданию: Н. В. Гоголь. Собрание сочинений в восьми томах. Т. 3. М., изд-во «Правда», 1984, с. 40—65.

Стр. 98. *Коллежский асессор* — чин 8-го класса, соответствующий майору в военной табели о рангах.

Стр. 100. *...в ранге статского советника* — чин 5-го класса, в армии соответствовал званию полковника.

Стр. 103. *...в бостоне обремизивался, когда играл восемь* — ремиз — штраф в карточной игре.

Управа благочиния — полицейская управа.

Стр. 105. *Переторжка* — перекупка и перепродажа базарных товаров.

Стр. 112. *Съезжая,* съезжий дом — полицейский участок.

Бортище — дюжина.

Стр. 116. *Спекулятор* — предприимчивый торговец.

Стр. 117. *Хозрев-Мирза* — персидский принц, во главе посольства посетивший Россию в 1829 году.

Владимир Одоевский

4338-й год

Печатается по тексту: «Взгляд сквозь столетия», с. 240—274.

Стр. 122. *Нехао,* или Нехо II (609—595 до н. э.) — египетский фараон.

Дарий I — (521—486 до н. э.) — персидский царь; завоеватель Вавилона.

Псамметих I — египетский фараон, правящий в 663—610 гг. до н. э.

Солон (между 640 и 635 — около 559 до н. э.) — афинский политический деятель, один из семи легендарных греческих мудрецов.

Стр. 127. *Негоциации* — переговоры.

Стр. 128. *Камер-обскура* — оптическое устройство из линз и зеркал, прообраз фотоаппарата.

Стр. 134. *...записные же фешонабли* — модники, франты.

Стр. 142. *Петрополь с башнями дремал...* — строка из поэмы Державина «Видение мурзы».

Стр. 147. *...порцию сгущенного азота à la fleur d'orange* — с запахом цветов апельсинного дерева.

Стр. 150. *«Последний человек»* — роман английской писательницы Мэри Шелли (1826), где показана гибель человечества от бедствий и голода.

А. К. Толстой

Упырь

Печатается по изданию: А. К. Толстой. Собрание сочинений в четырех томах. Т. 2. М., изд-во «Правда», с. 5—72.

Стр. 185. *Палладий* — Палладио А. (1508—1580), знаменитый итальянский архитектор, автор трактата об архитектуре.

Луини Бернардино (ок. 1480—1532) — итальянский живописец.

Стр. 189. *Ариостов «Орландо»* — поэма итальянского поэта Л. Ариосто (1474—1533) «Неистовый Роланд». Ангелика с Медором — герои поэмы.

Стр. 192. *Ветурин* — извозчик.

Стр. 201. *Подеста* — глава местного городского самоуправления.

Стр. 221. *Карлисты* — сторонники испанского короля дон Карлоса Старшего (1788—1855), противники его предшественника Фердинанда VII. После междоусобиц, охвативших всю Испанию, карлисты потерпели поражение.

Константин Аксаков

Облако

Текст приводится по изданию: К. С. Аксаков. Сочинения. Т. I. Пг., 1915, с. 255—269.

Стр. 227. *...одним из первых fashionables* — одним из первых модников, франтов.

Михаил Михайлов

За пределами истории
(за миллионы лет)

Публикуется с небольшими сокращениями по изданию: М. Михайлов. Сочинения в 3-х томах. Т. 2. М., 1958, с. 458—521.

Стр. 256. *Гексли* Томас Генри (1825—1895) — английский биолог, пропагандист учения Ч. Дарвина, автор трудов «Место человека в царстве животных», «Начальные основания сравнительной анатомии» и др.

Стр. 262. *Первым оружием были руки...* — из поэмы «О природе вещей» Тита Лукреция Кара (98—55 до н. э.), древнеримского философа и поэта.

Стр. 263. *...были Бартами и Ливингстонами* — Барт Генрих (1821—1865) — немецкий исследователь Африки; Ливингстон Давид (1813—1873) — английский исследователь Африки.

Стр. 272. *...у циклопа Полифема* — эпизод из IX песни «Одиссеи» Гомера в переводе В. Жуковского.

Стр. 274. *Мальтус* Томас Роберт (1766—1834) — английский экономист, установивший «закон абсолютного избытка людей» на нашей планете. Концепция мальтузианства — одна из самых реакционных в науке.

Стр. 275. *Мандевил* Джон (1300—1372) — автор многочисленных компилятивных сочинений о путешествиях.

Стр. 293. *Векша* — белка.

Стр. 296. *Веста* — в римской мифологии покровительница очага.

Стр. 297. *Зенд-Авеста* — священная религиозная книга древних персов, в основе которой лежит учение о вселенском торжестве светлого начала (огня) над темным, злым.

Федор Достоевский

Сон смешного человека

Печатается по изданию: Ф. М. Достоевский. Полное собрание сочинений в 30 томах. Т. 25. Л., «Наука, 1983, с. 104—119.

Стр. 308. *...человек шесть стрюцких* — по объяснению Достоевского, слово «стрюцкий» означает «пьяница, пропойца, потерянный человек».

Штос — карточная игра.

Стр. 315. *...греческий архипелаг* — цепь островов в Эгейском море, колыбель цивилизации.

Алексей Апухтин

Между жизнью и смертью

Публикуется с небольшим сокращением по изданию: Сочинения А. Н. Апухтина. СПб., 1905, с. 429—456.

Константин Циолковский

На Луне

Печатается по изданию: К. Э. Циолковский. На Луне. М., «Детская литература», 1984, с. 4—43.

Стр. 359. *Чикуши* — часы, часто щелкающие маятником.

Стр. 361. *Мушо* — автор популярных в конце прошлого века фантазий на темы астрономии.

Стр. 373. *Явления волосности* — капиллярность.

Стр. 380. *Солнце, как во времена Иисуса Навина, остановится* — по библейскому преданию, полководец Навин остановил на время битвы Солнце.

Стр. 381. *Реомюр* Рене Антуан (1683—1754) — французский естествоиспытатель, предложивший свою шкалу измерений температуры. В настоящее время она уже вышла из употребления.

Константин Случевский

Капитан Немо в России

Публикуется по изданию: Сочинения К. К. Случевского. Т. 6. СПб., 1898, с. 39—65.

Валерий Брюсов

Республика Южного Креста

Печатается по изданию: В. Я. Брюсов. Земная ось. Рассказы и драматические сцены. М., «Скорпион», 1907, стр. 3—25.

Стр. 411. *Надир* — нижняя точка пересечения отвесной линии с небесной сферой.

Александр Богданов

Красная звезда

Публикуется по изданию: Вечное солнце, с. 250—379.

Стр. 438. *Этеронеф* — космический корабль (дословно: корабль для странствий по эфиру; этер — эфир, греч.).

Петр Драверт

Повесть о мамонте и ледниковом человеке

Печатается по изданию: П. Драверт. Незакатное вижу я солнце. Новосибирск, 1979, с. 163—180.

Стр. 573. *Ровдужные урасы* — легкие чумы с покрытием из оленьих кож.

Стр. 574. *...бороться с дегаевщиной* — деятель организации «Народная воля» С. П. Дегаев стал провокатором, «дегаевщина» — синонимом провокаторства.

Стр. 580. *Игнатий Лойола* (1491—1556) — основатель ордена иезуитов.

Николай Морозов

Эры жизни

Публикуется по изданию: Н. Морозов. На границах неведомого (научные полуфантазии). М., 1910, с. 10—29.

Александр Куприн

Жидкое солнце

Печатается по изданию: А. И. Куприн. Собрание сочинений. Т. 5. М., «Художественная литература», 1972, с. 396—450.

Стр. 601. *Тырса* — смесь опилок и песка для посыпания манежа.

...служил сандвичем — т. е. человеком-рекламой, носящим щиты с объявлениями на спине и на груди.

Стр. 632. *Гук* Роберт (1635—1703) — математик, физик, астроном. Значительную часть своих открытий сделал в России.

Юнг Томас (1773—1829) — английский ученый, один из создателей волновой теории света.

Френель Огюстен Жан (1788—1827) — французский физик, один из основоположников волновой оптики.

Коши Огюстен Луи (1789—1857) — французский математик.

Малюс Этьенн Луи (1775—1812) — французский физик, исследователь явлений поляризации света.

Гюйгенс Христиан (1629—1695) — нидерландский ученый, один из создателей волновой теории света.

Араго Доминик Франсуа (1786—1853) — французский физик и астроном, исследователь поляризации света.

Декарт Рене (1596—1650) — французский философ, физик, математик, автор трудов «Начало философии», «Рассуждение о методе» и др.

Био Жан Батист (1774—1862) — французский физик, работавший в области оптики и акустики.

Брюстер Дейвид (1781—1868) — шотландский физик, исследователь поляризации света.

Стр. 636. *Витковский* Август Виктор (1854—1913) — польский физик, автор трудов по термодинамике и метеорологии.

Стр. 646. *Врублевский, Ольшевский и завершивший их опыты Дэвар* — польские физики Вроблевский Зыгмунт Флоренты (1845—1888) и Ольшевский Станислав (1845—1915), впервые получившие жидкий кислород. Дэвар Дьюар Джемс (1842—1923) — английский химик, получивший жидкий и твердый водород.

Стр. 648. *Зажгите стопин* — т. е. бумажную нить, обмазанную пороховой массой, прообраз бикфордова шнура.

Велимир Хлебников

Кол из будущего

Публикуется по изданию: Собрание произведений В. Хлебникова. Л., 1931, с. 275—299.

Стр. 658. *Прошлецы* — люди прошлого, так именует автор своих современников, противопоставляя их «будрым» — «будущим, бодрым».

Стр. 659. *Собор Воронихина* — Казанский собор в Петербурге, возведенный А. Н. Воронихиным в начале прошлого века.

Стр. 662. *Улочертог... избоул...* — неологизмы из слов улица, чертог, изба.

Стр. 663. *Измайлов* А. А. (1873—1921) — литературный критик, противник модернизма и футуризма.

В послесловии и примечаниях использованы наблюдения и факты, которые содержатся в трудах ученых: Е. М. Беленького, В. В. Виноградова, В. М. Гуминского, С. Б. Джимбинова, Р. В. Иезуитовой, А. И. Клибанова, Г. Ф. Коган, Е. А. Маймина, В. И. Сахарова, К. В. Чистова, И. Г. Ямпольского и других.

Выражаю благодарность академику Л. М. Леонову и сотрудникам Библиотеки СССР им. В. И. Ленина Н. П. Игумновой и И. В. Морозовой за помощь и советы.

Ю. Медведев

Содержание

Александр Казанцев	*Приглашение к Мечте*	5
Осип Сенковский	*Ученое путешествие на Медвежий остров*	11
Николай Гоголь	*Нос*	95
Владимир Одоевский	*4338-й год* Петербургские письма	121
А. К. Толстой	*Упырь*	155
Константин Аксаков	*Облако* Фантастическая повесть	224
Михаил Михайлов	*За пределами истории* За миллионы лет	238
Федор Достоевский	*Сон смешного человека* Фантастический рассказ	305
Алексей Апухтин	*Между жизнью и смертью* Фантастический рассказ	325
Константин Циолковский	*На Луне* Фантастическая повесть	352
Константин Случевский	*Капитан Немо в России* Глава из Жюля Верна, никем и нигде не напечатанная	389
Валерий Брюсов	*Республика Южного Креста* Статья в специальном № «Северо-Европейского Вечернего Вестника»	411
Александр Богданов	*Красная звезда*	431
Петр Драверт	*Повесть о мамонте и ледниковом человеке* Совершенно фантастическая история	569
Николай Морозов	*Эры жизни* Научная полуфантазия	

Александр Куприн — *Жидкое солнце* 598

Велимир Хлебников — *Кол из будущего* 658

Юрий Медведев — *«На границе грядущего с беспредельным...»* Послесловие 680

Примечания 694

Р 89 Русская фантастическая проза XIX — начала XX века / Сост. и послесл. Ю. Медведева; Предисл. А. Казанцева; Ил. И. Мельникова; — М.: Правда, 1986.— 704 с., ил., 4 л. ил.

Сборником «Русская фантастическая проза XIX — начала XX века» открывается 24-томная «Библиотека фантастики», куда включены лучшие произведения отечественных и зарубежных авторов. В настоящий сборник входят фантастические повести и рассказы как писателей-классиков, так и малоизвестных русских писателей.

Р $\frac{4702010000-1199}{080(02)-86}$ 1199—86 (подписное) 84 Р

„Библиотека фантастики“ в 24 томах

Русская фантастическая проза XIX — начала XX века

Составитель *Юрий Михайлович Медведев*
Редактор *В. Т. Башкирова*
Оформление художника *Н. А. Ящука*
Художественный редактор *Т. Н. Костерина*
Технический редактор *Т. Б. Слизун*

ИБ 1199

Сдано в набор 05.11.85. Подписано к печати 17.03.86. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура «Литературная». Печать высокая. Усл. печ. л. 37,38. Усл. кр. отт. 39,48. Уч.-изд. л. 36,45. Тираж 400 000 экз. (1-й завод: 1—200 000 экз.). Заказ № 450. Цена 3 р. 30 к.

Набрано и сматрицировано в ордена Ленина и ордена Октябрьской Революции типографии имени В. И. Ленина издательства ЦК КПСС «Правда». 125865, ГСП, Москва, А-137, улица «Правды», 24.

Отпечатано в типографии «Уральский рабочий», 620151, г. Свердловск, проспект Ленина, 49.

3 р. 30 к.

5-100

БИБЛИОТЕКА ФАНТАСТИКИ

Русская фантастическая проза XIX—начала XX века